

ЗЕРКАЛО

XX ВЕК



Зорик  
Мридронов

# ЗЕРКАЛО

## XX ВЕК

*«Словно зеркало русской стихии,  
Отстояв назначенье свое...»*

Н. Рубцов



*Юрий*  
*Миссроденов*

**Рассказы**

**Повести**

**Роман**

**Воспоминания**

**Эссе**

Екатеринбург  
У-Фактория  
1999

**ББК 84Р7**  
**Т 69**

**Составитель Л. Быков**  
**Художественное оформление**  
**В. Брагин, А. Зарубин**

**Трифонов Ю. В.**

**Т 69** Рассказы. Повести. Роман. Воспоминания. Эссе.  
(Серия «Зеркало — XX век») — Екатеринбург:  
изд-во «У-Фактория», 1999. — 752 с.

**ISBN 5-89178-127-1**  
**ISBN 5-89178-078-X (серия)**

**ББК 84Р7**

© О. Р. Трифонова, В. Ю. Трифонов,  
О. Ю. Тангян, 1999.  
© ООО «У-Фактория», серия,  
составление, оформление, 1999.

*Он был по всей своей сути писателем. И принадлежал к тому уникальному в мировой культуре явлению, которое называется русской интеллигенцией.*

*И, как многие русские писатели, умер на больничной койке еще совсем не старым человеком. Скромным человеком. Писатель с мировым именем, он не хотел никаких привилегий ни в чем: даже в том, как умирать.*

*Он познал нищету, благополучие, безвестность, славу, злобную хулу, лесть и умер свободным. Обрести свободу ему помог талант и те «неисчезающие элементы», которые неистребимы в истинном русском интеллигенте.*

*Сейчас, когда можно прочесть обо всем, обнаруживаешь с почти мистическим удивлением, что Юрий Трифонов писал об этом в самые глухие времена. Перечитывая его повести и романы, сталкиваешься с событием феноменальным — писатель может сказать обо всем, о чем хочет... если умеет это выразить художественно.*

*Он «не пережил зиму», но есть его книги. И осталось незанятым его место, потому что он, как никто, стремился осмыслить, постичь возможности одного человека в пределах выпавшего ему времени и места. Осмыслить время, протекающее сквозь всех нас. И еще. Во все времена есть такие личности, которые беспокоят, заставляют на себя оглядываться, кого-то лишая душевного комфорта, кому-то помогая жить...*

*Ольга Трифонова*



*Юрий  
Мрифонов*

---

**РАССКАЗЫ**

**Вера и Зойка**

**Голубиная гибель**

**В грибную осень**

**Путешествие**



## ВЕРА И ЗОЙКА

Перед обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят, — аккуратная такая, чистенькая, в плаще «болонья», белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много, — и спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город — убрать дачу. Вера спросила: много ли дел? Виду не показала, что обрадовалась. А обрадовалась очень, потому что деньги нужны были до зарезу, и этот зарез обозначился именно сегодня, утром, и Вера до сих пор не могла прийти в себя и, бегая от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую половицу. Это уж как закон: чуть понервничает — всегда за эту половицу цепляется, чтоб она пропала, зараза.

Клиентка объясняла: вымести сор, помыть полы в четырех комнатах, три внизу, одна наверху, открыть рамы, ну как полагается после зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, о чем не стоит распространяться подробно. Но Вера-то поняла, что она хитрит, ей важно получить согласие, а на самом деле работы там, конечно, будь здоров сколько, и работы тяжелой, тем более что зимой в доме никто не жил, не убирались. Но никакой работы Вера не боялась и поэтому подумала даже с радостью, что это хорошо, что работы много: заплатят больше. Деньги были очень нужны. Утром одна клиентка, старуха, сорок восемь сорок четыре — и цифра-то гадостная, одни четверки, — подняла шум из-за одеяла: подменили, мол, сунули вместо шестирублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права, но спохватилась поздно, когда уже расписалась на двух квитанциях. Напутали упаковщицы. Вера была виновата только в том, что, выдавая, не проверила тщательно, а лишь поштучно. Да ведь всегда так проверяла, и ничего

не случилось. Искали-искали шестирублевое, нигде не нашли. Предлагали старухе замену, она отказывалась, требовала свое, и тут Вера вспыхнула — потому что упаковщицы ее виноватили — и сказала, что старуха, мол, уже расписалась, и мое дело маленькое. Та пошла к заведующей, к Раисе Васильевне, вызвали Веру, упаковщиц, орали, шумели — упаковщицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень дробный, пронзительный, — и, главное дело, было обидно, что ее одну виноватят, а упаковщицы как будто ни при чем. А сколько раз она упаковщиц выручала? Сколько раз чужое отдавала: возьми, не грехи, мне чужого не нужно. Ничего знать не хотели, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей — деньги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, войти в положение: у обеих мужья зарабатывают, могли бы по рублю кинуть, все легче. Куда там! А Евдокия, старшая упаковщица, еще насмеялась: ничего, мол, на два пол-литра Сережка страдает, и все дела. Такая ехидная, зараза: ее это касается, на что Вера деньги тратит! Сама, паразитка, живет за мужниной спиной, а как другие мучаются, об этом у нее понятия нет...

— Так как же, Вера? Беретесь? — спросила пятьдесят два восемьдесят (Вера успела в квитанции прочитать фамилию: Синицына). — А то я с другими буду договариваться.

— Отчего же? Возьмусь. Где наша не пропадала!

— Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну — маленькая...

— За это вы не беспокойтесь, что маленькая. Я никакой работы не боюсь. Я на заводе с мужиками работала, заготовки таскала. — Вера немного шепелявила, у нее получалось так: «Жаготовки ташкала». — А помощницу можно и найти. Найдем!

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про Зойку: и когда работа подворачивалась, и когда гулянье, и если в продовольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка — нет. Но Вера на нее не обижалась.

Она знала, что Зойка больная, у нее печень испорчена, оттого она всегда злая, недовольная, да и забот у нее больше: двое ребят на руках и бабка старая. Кроме того, Вера понимала, что они с Зойкой никакие не подружки — подруг у Веры сроду не было, если не считать одной давнишней, Настеньки, с которой вместе во второй класс ходили, — а просто соседки, обе безмужние: у Веры вовсе мужа не было, а Зойкин ушел лет пять назад, платил алименты.

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес на бумажке, туда же телефон записала и фамилию: Синицына Лидия Александровна.

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома и заранее спросить насчет субботы. Зойка работала уборщицей в школе. В воскресенье она наверняка была свободна, а насчет субботы нужно было узнать, если нет — договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в бараках, от прачечной через двор. Работа удобная, прекрасная, две минуты ходьбы — и дома.

«Бараками» жители Песчаных улиц называли пять деревянных двухэтажных домов, которые странным образом затесались в гущу многоэтажных корпусов, возникших тут — на месте пустырей, свалок, огородов, домиков сезонных рабочих — после войны, в начале пятидесятых годов. Никто не знал, почему эти пять бараков уцелели. Скорей всего произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти бараков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, ссылались на то, что их «неказистые строения портят общий замечательный вид района», им было обидно, что жители остальных бараков давно получили квартиры в новых домах, — а чем они, собственно, лучше? — но исправить ошибку было, видимо, нелегко, стройка ушла из этих мест, сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех сторон. Они напоминали деревушку в горной долине. И жизнь там шла своя, деревенская: с палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах.

На скамейке перед входной дверью сидела, как всегда, баба Люба — Зойкина бабушка, старуха лет под девяносто,

в черном платке до глаз. Вера спросила, дома ли Зойка. Баба Люба кивнула, медленно опустив желтоватое лицо в глубоких морщинах, и рот сжатый, без губ, тоже был как морщина. Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но Вера уже не слышала, бежала по лестнице: она жалела бабу Любу, защищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговаривать. Ей казалось, что от бабы Любы пахнет как-то нехорошо, могильно.

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых тапках на босу ногу стояла на кухне, варила кашу для ребят. Услышав насчет уборки дачи, она сразу грубо ответила: дураков, мол, нет за город ехать, а уборки и в Москве завались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее предложения встречала в штыки, подозревая за ними какой-то умысел, невыгодный для себя и чересчур выгодный для Веры, и спокойно ответила:

— Смотри, я и одна могу.

Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня нажарила. Полную сковороду навалила, подсолнечным маслом полила, яичко туда кокнула и остаток колбасы «отдельной», гузку граммов в пятьдесят, настрогала: вот и обед готов — дай бог всякому! Вера знала, что через минуту Зойка, одумавшись, спросит, как, да что, да за сколько договорились. И верно, спросила. Вера сказала, что насчет цены разговору пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять можно. Почему-то втемяшилась Вере именно эта цифра.

— Ладно, поглядим завтра, — буркнула Зойка и, взяв кастрюлю, с сердитым лицом пошла из кухни. И уже из коридора, скрывшись, вдруг крикнула: — Тебе бабка передала? Николай приезжал.

— Николай? — ахнула Вера. — А что сказал?

Вот человек: нет чтобы сразу сказать! Вера метнулась в коридор. Зойка шла к своей комнате и, не оборачиваясь, ответила:

— А я знаю? Он с бабкой разговаривал, у нее спроси.

Вера — опрометью вниз, к бабе Любе. Та подтвердила: приезжал Николай, огорчился, что не застал Веру дома,

и велел сказать, что приедет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от радости даже чмокнула бабушку в щеку. Она не видела Николая месяцев пять и думала, что никогда уж больше не увидит. На улице это было, после кино, смотрели в «Дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбежать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал: спасибо, ничего не нужно, и давай, мол, прощаемся по-хорошему, потому что я женюсь. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целый месяц потом Вера была как больная, травиться хотела, но Зойка отговорила.

В субботу, в четыре, как было условлено, Вера и Зойка пришли к Синицыной на квартиру, в восьмиэтажный дом напротив «Гастронома». Зойка взяла своего Мишку, одиннадцатилетнего малого, который неделю назад закончил учебу и сейчас без дела шатался во дворе в ожидании лагеря.

Синицына поздоровалась приветливо, пригласила зайти в дом, но заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «болонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя Вере понравилась, и она сразу сказала:

— Как у вас хорошо-то. Я у одной артистки убираюсь — здесь, на Чапаевском, — у нее тоже красиво отделано. Только у них коридор не так расположен, а вот так, так... — Вера стала показывать руками.

— Мальчик тоже с нами поедет? — спросила Синицына.

— Если вы разрешите, конечно, — сказала Зойка, заулыбавшись лъстиво, и, как просительница, склонила длинное худое лицо набок. — Он у нас смиренный! И помочь может.

Миша стоял, глядя в пол. В правой руке он держал сачок для ловли бабочек.

— Ага, он хороший мальчик, очень хороший, — подтвердила Вера. — Лида Александровна, только знаете, мне в воскресенье часам к шести надо непременно чтоб вернуться.

— Зависит от вас, девушки. Если кончим рано, может, и к обеду вернетесь.

— А вот... ты насчет цены, Вера, не спрашивала? — робко подала голос Зойка.

— Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, Лида Александровна? Вы нас, я думаю, не обидите, и мы вас тоже. А вообще денег побольше берите! — и Вера захохотала по-своему, дробно, раскатисто.

В коридор вышел молоденький черноватый паренек в очках, в белой рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал:

— Ну что, отправляетесь в путь?

— Кирилл, я тебя прошу завтра приехать, — сказала Синицына.

— Не знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрываться, — слышишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно?

— Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные помощницы, но я тебя завтра жду. Ты понял, Кирилл? Анатолий Владимирович поедет на машине, он тебя заберет. Тебе необходимо отдохнуть, подышать воздухом. — Сын подошел к ней, она взяла его за руку. Он был выше, смотрел на нее свысока и слегка улыбался. — И я надеюсь...

— Все будет нормально, мать. Но у меня масса дел, ты же знаешь...

— Анатолий Владимирович поедет утром.

— Хорошо. Как-нибудь доедем.

— Ну, до свиданьица! — сказала Вера и улыбнулась молоденькому пареньку в очках так, как она привыкла улыбаться мужчинам, — поджимая губы: впереди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила.

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали пакеты порошка для мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка, неся две сумки: одну с едой, другую большую клетчатую, в которую были набиты какие-то занавески, коврики, чайник, электроплитка и сверху лежала черная настольная лампа. За матерью ковылял, изогнувшись, волоча тюк с одеялами, Мишка. Последней шла

Синицына, несла еще одну сумку, маленькую сумочку и толстый рулон зеленой бумаги, который держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступенек, Синицына сказала:

— А насчет цены я не знаю, право... В прошлом году за такую же примерно работу я заплатила пятнадцать рублей.

— Вы прошлый год с нынешним не равняйте, Лида Александровна! — крикнула Вера снизу.

— Я не равняю, просто сказала, как платила в прошлом году. Но вам тоже спорить не резонно: вы же работы не видели.

— Конечно, конечно, — сказала Зойка рассудительно. — Надо посмотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка...

— А сын у вас черненький. В отца, наверно? — крикнула Вера.

— В отца, — сказала Синицына.

— Ага, я и гляжу, вы светленькие, а он — черненький-черненький!

Возле «Гастронома» на стоянке взяли такси. Синицына села с шофером, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, поехали.

День был ясный, теплый, середина июня, на сквере цвела зелень, народу повсюду было полно, как бывает в субботу в эти часы: и на троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продовольственный, и возле табачного киоска, у старика Моисеича. Вера радостно, во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз виденный и знакомый до последнего окошка, до кирпичика район заново, и сообщала:

— А у Моисеича-то какой хвост, гляди-ка! Во мужиков наставилось! И за мороженым, у Клавки... А вон мой клиент идет! Пятьдесят восемь десять! Вон, вон, вон! — закричала она вдруг так азартно, что Синицына вздрогнула и обернулась, а шофер матюкнулся тихо. — Лида Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем — вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десять! Очень хороший человек. Всегда сам приходит, а жена редко когда

придет. Жена у него тоже симпатичная женщина, я ее знаю. Она здесь, у Сокола, в институте работает...

Выехали на Ленинградский проспект. Вера продолжала болтать. Настроение у нее было прекрасное, она как будто забыла о вчерашних невзгодах, рыданиях из-за одежды, о необходимости платить шесть рублей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые сутки работать; ей казалось, что она едет гулять на дачу, в лес, где поют птицы, а завтра вечером к ней придет Николай. О чем бы она ни говорила, о чем ни думала, она помнила одно: завтра придет Николай.

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо Ваганьковского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство ей небесное, надо бы навестить, цветочков принести, а то с прошлого лета не была. На Красной Пресне сносили старые дома. Некоторые просто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими кучами лежали кострища, кое-где еще дымившиеся, а за этой полосой пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома в пять этажей.

— Отмучились наконец, — сказала Зойка.

— А мне жаль эти домики. Все-таки старая Москва, к тому же историческая: Красная Пресня, — сказала Синицына. — И так их безжалостно жгут...

— И правильно! Чего их жалеть, клоповники эти? — с неожиданной злобой сказал шофер. — Там люди друг на дружке жили, по десять человек на семи метрах. Нужна им ваша история! По крайности жильё человеческое получают.

Синицына поглядела в окно, помолчала.

— Но эти новые дома тоже, знаете, не украшение, — сказала она. — Довольно уродливы. И без лифтов.

— А шут с ними, давай без лифта, — сказал шофер. — Народ рабочий, небалованный, мы и пешком ходим.

— Конечно! — сказала Зойка. — Мы вон какой год пишем, чтоб наши бараки снесли...

— А чего? Мне наши бараки нравятся, — сказала Вера. — У нас очень хорошие бараки. Во-первых, у нас



тепло. Во-вторых, зелень кругом, никакой дачи не нужно, верно, Миш? — Она толкнула Мишку плечом и захохотала.

Зойка махнула рукой:

— Да ну, болтай...

— Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень даже замечательные, крепкие, они еще сто лет простоят. — И Вера вновь еще пуще захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в промежутках вскрикивала тоненьким голосом: «Ой, не могу!.. Ой, верно, еще сто лет простоят!» Кроме нее, никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, потом попросила у шофера папироску и закурила. Вера понемногу успокоилась, повторяя хриплым шепотом, в изнеможении: «Ой, не могу!..» — и вытирая ладонью наслезившиеся глаза.

Выехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост — на Ленинский проспект, вскоре с обеих сторон появились деревянные домики, за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, потом новостройки исчезли, остались одни домики, а потом и домики исчезли и остались поля, холмистые, нежно-зеленые под вечеряющим солнцем.

Лидия Александровна опустила стекло, машина наполнилась густым, ошеломительно свежим полевым воздухом, и все почему-то примолкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать.

Как всегда, когда наступало молчание или когда Вера оставалась одна и болтать было не с кем, приходили мысли о неприятном. Опять вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется заплатить, дьявол с ними, она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить: чуть где промашку дадут, она их сразу прищемит. Если они так, тогда и она так. Теперь она им, паразиткам, спуску не даст. А деньги возьмите, подавитесь, кинет в рожу Раисе Васильевне, вы от моих шести рублей не разбогатеете, а я не обедняю. Хорошо, Лида Александровна подвернулась, по десятке если заплатит — как раз отдать, кинуть в рожу. И еще четыре рубля останется, Николая встретить.

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалась жарко, радостно, и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала, тем больше томила тревога. Зачем он, черт проклятый, объявляется? Зачем душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим человеком, татаринном, слесарем из института: он и зарабатывает прилично, и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, сердцем болеет. И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они с Сережкой поженятся. Сережка-то больше ей подходит, по годам ровня, тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее: ты, мол, для меня старая. Старая-старая, а четыре года гуляли и на молоденьких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая жена не по вкусу, к старой потянуло? Ох, Коля-Николай, такой лафы уж тебе не будет...

И много еще о чем думала Вера: и о том, как сынишку Юрку сдала в интернат, Николай потребовал, как было горько вначале, а потом привыкла, и о том, как болела после аборта, лежала в больнице, ко всем женщинам приходили мужики, несли гостинцы, передавали письма, а ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дура была на всю палату, женщины ее жалели, но она виду не показывала и только ночью ревела, а на четырнадцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора, сияет во всю рожу, с букетом, — говорил, что в какую-то командировку угнали, в дальнюю, а может, так и было, — и много еще разных разностей, обид, счастливых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не заметила, как машина свернула с шоссе на проселок, пошли дачи, березки, заборы, проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернули направо — Лидия Александровна командовала, — потом еще направо и остановилась возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся заборчике.

Дача оказалась большая, деревянная, но старая и запущенная. На терраске были выбиты стекла, дверь заколочена доской. Участок тоже был запущен, меж нескольких высоких сосен густо росли кусты бузины, мелкий ельник, осина.

— И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-хе-хе... — сам с собой разговаривал шофер. Он помогал переносить вещи из машины в дом.

Лидия Александровна не слышала, искала ключи в сумке, а Вера отозвалась:

— А кто спроворил, тот и молодец, — верно, Лида Александровна? Тот и жить будет! Верно я говорю?

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили мусор, терли тряпками отсыревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропылившиеся старые ковры, циновки, от которых пахло затхлостью, выметали, мыли, скребли. Лидия Александровна повязалась платочком, надела штаны синие, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавную и возила без отдыха, так же как Зойка с Верой, не отставала. Зойка даже больше филонила — то присядет на минутку: «Поясницу схватило», — то курить пойдет в сад. В двенадцатом часу решили кончать. На другой день осталось только окна помыть на втором этаже.

Мишку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху, в самой теплой комнате, и он мгновенно заснул, а сами сели ужинать на терраске. Оказалось — нет заварки, забыли взять из Москвы. Лидия Александровна пошла куда-то к соседям. Вера и Зойка сидели тем временем на терраске — окна были закрыты от комаров, да и прохладно стало, хотя прохлада и комары сочились сквозь разбитые стекла, — и ели лапшу, которую Вера привезла в кастрюльке.

— Как думаешь, сколько Лиде Александровне лет? — спросила Зойка.

— А лет тридцать пять, думаю. Мне ровесница. Эх, лапша-красавица! Мало взяла, правда? Лида Александровна — хорошая женщина, очень хорошая, трудолюбивая.

— Конечно, хорошая, когда жизнь хорошая, — сказала Зойка, и ее длинное худое лицо приняло знакомое Вере выражение скрытой обиды, после чего Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на потолок терраски, на желтый, из вощенной бумаги абажур и на его отражение в черном стекле... — А я думаю, под пятьдесят есть. Сын-то какой здоровый...

Когда Лидия Александровна вернулась с заваркой, Вера спросила, сколько ей лет. Та ответила: сорок четыре. Кириллу уже восемнадцать. Ходит на первый курс института. Вера очень изумилась.

— Ну, не скажешь, Лида Александровна, ни за что не скажешь! Я против вас старуха, у меня и зубов нет, и морщины кругом, а ведь я на восемь лет моложе. Почему ж такое? Наверно, у вас характер покойный, а я изо всего переживаю.

Зойка молча, все с тем же выражением скрытой обиды разливала чай в чашки.

— По-моему, вы на себя наговариваете, Вера, вы очень симпатичная, кругленькая такая. Как колобок, — сказала Лидия Александровна и засмеялась. — И, наверно, мужчинам нравиться, правда?

Вера тоже засмеялась, польщенная.

— Вот как сказать, Лида Александровна: когда в кино пойдешь, обязательно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой называют. В потемках-то не видать!

— Она им, конечно, нравится, потому что она их на свои деньги кормит, — сказала Зойка.

— Кого я кормлю?

— Да всех. Что ж я, не знаю?

— Ну, кого я кормлю? Кого, кого?

— Кольку кормила всю дорогу? Кормила. Аркашу-милиционера кормила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кормишь.

— Вы, верно, Вера, чересчур добрая?

— Да не слушайте вы ее, Лида Александровна! Врет она. Она вообще такая завистная.

— Уж чему завидовать...

— Конечно, завистная, потому что меня навешают, а к ней — раз в год по обещанию. Меня мужчины уважают, Лида Александровна, очень даже уважают, я с ними как товарищ: я и выпить могу — ну, немного, конечно, зачем много пить, правда же? — и закусить, и одолжить, если до полочки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как обычно. Я с ними как товарищ, ей-богу, Лида Александровна.

— Дура, у тебя комната отдельная! — сказала Зойка. — А нас четверо на двенадцати метрах.

Вера хотела было ответить, но вместо этого начала вдруг икать. Минуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на Зойку рукой: чего, мол, с тобой говорить? Продолжая икать, она положила на колени свою круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого темно-зеленого цвета, а сейчас сильнопотертую, с расшатанным замком, и стала торопливо рыться в ней, выкладывая на стол разные предметы: гребень, зеркало, какие-то бумажки, огрызки карандашей, которыми она писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покоробившуюся, на глянцевого бумаге фотографию.

— Прочитайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в День Военно-Морского Флота. — Она еще раз икнула и прошептала: — Ой господи, спаси и помилуй...

Лидия Александровна взяла фотографию, прочитала вслух:

— «На добрую память в День Военно-Морского Флота от Николая З.». Да, — сказала Лидия Александровна. — Ну что ж, очень хорошая надпись. Девушки, а что, если потушить свет и открыть окна? Сейчас чудесный воздух в саду.

— И вот представьте, Лида Александровна, — сказала Вера, вставая, чтоб потушить свет. — Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не осталось, одна фотография. Хоть бы колечко какое или сережки, например. А мне ничего не нужно.

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что небо еще светлое, как бывает в июне. На терраску вместе с прохладой вливался чистый хвойный, травяной, уже сыреющий по-ночному воздух леса.

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть на плитке. Вечерами Вера любила попить чайку как следует, стакана по три. Пока ее не было, Зойка успела рассказать Лидии Александровне, что Вера не такая уж простенькая, как кажется, что она все «хихом» да «хэхом», а дела свои обделывает очень ловко, сына вон сдала в интернат: одна клиентка помогла, из райисполкома. Самой бы ни за что

не устроить, а вот клиентка помогла. Сумела, значит, упрямая. Одной-то жить, конечно, в тысячу раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успевает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на руках, старый да малый, и крутись как хочешь.

Пришла Вера с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александровна стала рассказывать о своей жизни: ее первый муж умер восемь лет назад от туберкулеза, человек был очень хороший, научный работник, и Лидия Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сынишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было платить в кооператив, но кое-как перебились, стали пускать жильцов на лето, а потом Лидия Александровна встретила хорошего человека, тоже научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. А она уж не надеялась жить когда-нибудь хорошо. Женщина никогда не должна терять надежды. У нее есть одна знакомая, художница, ей пятьдесят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный военный, они прожили двадцать лет. Влюбился в одну балерину, ленинградку из театра Кирова, и уехал в Ленинград. А эта женщина, художница, живет сейчас замечательно и счастлива. Муж у нее очень талантливый, он декоратор, оформляет наши выставки за границей, без конца разъезжает, навез ей массу вещей...

Вера и Зойка слушали жадно, молча. Обе устали, зевали по очереди, им хотелось спать и одновременно хотелось слушать: жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее. Особенно поразили их слова Лидии Александровны насчет того, что женщина не должна терять надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но никогда не догадались бы выразить так ясно и четко. И постепенно они обе, уже не слушая Лидии Александровны, стали думать о себе, о своих надеждах.

Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой.

Потом стало холодно, Лидия Александровна закрыла окна, и все пошли спать. Спали плохо, мерзли, дом был сырой. Вера и Зойка поверх пальто накрывались еще коврами и циновками.

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и Вера бегали по саду, по влажной траве, ловили сачком бабочек. Посмотреть издали: оба маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой.

Зойка, неумытая, с лицом серым, отекившим, стояла на крыльце, чесала волосы.

— Хватить вам проклаждаться! Мишка, беги за водой! — кричала сердито. — Кончаем по-быстрому — и домой. Нечего тут...

Лидия Александровна рано утром ушла на станцию звонить в Москву, вернулась веселая: к двенадцати придут оба — муж и сын. По словам Лидии Александровны, муж ее был человек добрый, но бесхозяйственный и больше всего на свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Александровна старалась все работы по дому делать в его отсутствие. К одиннадцати часам окна наверху были помыты, но пришлось еще разбирать сарай и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад, к забору.

Никто не приехал ни в двенадцать, ни в час. Вера с Зойкой все кончили и теперь ждали приезда мужа; он должен был привезти деньги. У Лидии Александровны было с собой только семь рублей.

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колодца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса, просить ли прибавки. Вера сомневалась, а Зойка говорила, что просить надо непременно, потому что насчет сарая не договаривались и насчет веранды тоже. Двадцать шесть рублей должна дать, это законно. И еще Зойка подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять пустые бутылки из-под вина, которые за сараем, их там шестнадцать штук и

вроде они брошены как на свалку, а если их помыть да сдать — все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки насовать и в Москву свезти.

— Ну и спроси, — сказала Вера. — Спроси, спроси!

— Зачем я? Ты спроси. Ты ж договаривалась.

— А мне ни к чему. — Вера беспечно махнула рукой. — Таскаться...

Зойка даже побледнела от злости.

— Ах ты, барыня дерьмовая, таскаться ей, — зашипела она. — Конечно, тебе свободно, парня сдала, можно и не таскаться. А мне как же жить?

— Я и говорю: спроси...

Подошел Мишка, в руке у него был странный овальный предмет, оплетенный соломкой.

— Мам, гляди, походная фляжка! — заговорил Мишка тихо, радостным голосом. — Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем новая. Давай возьмем?

— Не смей ничего брать без спроса! — Зойка вырвала у него из рук фляжку и положила на скамейку. — Отнесешь, где взял.

— Да ее ж выбросили...

— Значит, дрянь какая-то, и нечего дрянь подбирать. Не бегай никуда, мы через пятнадцать минут поедем.

— Ма-ам, а мне в лагере в походы ходить, фляжку нужно... — заныл Мишка.

— Сунь в сумку, и все дела, — сказала Вера. — Если выбросили — значит, не нужна. Подумаешь, разговору.

Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку, но Зойка сильно шлепнула его по руке.

— Я тебе что сказала? А ты, дура, его не учи.

Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв немного, он вдруг решительными шагами пошел к калитке.

— Не уходи далеко, скоро поедем! — крикнула Зойка.

— Ага, а купаться когда же?

— Без меня на речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю!

— Ага, сама обещала... — Сварливый Мишкин голос все удалялся.

— На речку не смей! Михаил! Слышишь, что ль?



Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна второго этажа, крикнула обрадованно: «Приехали?» Вера ответила: «Нет, это Миша пошел». А Зойка ворчала зло: «Приедут, дождайся... Полное воскресенье тут потеряли... А нету денег — не нанимай людей...»

Но когда Лидия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила с ней своим льстивым, умильным голосом, склонив голову набок:

— Лидия Александровна, я вот чего хотела спросить — насчет посуды...

Никто не приехал и в три часа.

Зойка потребовала себе семь рублей, взяла пустые бутылки и уехала с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Лидией Александровной на терраске, пила чай с хлебом — ничего больше у них не осталось, и денег не было, чтоб купить, — и советовалась о жизни: как ей быть, когда Николай придет? Соглашаться ли, если он снова гулять захочет, или послать его, проклятого, куда подальше? Сережка, татарин, человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему татарку найти, а они матерей очень слушаются, татары: он поперек матери ни за что не пойдет. Он и ночевать-то у Веры редко когда остается, а все норовит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать волновалась. А чего ей волноваться? Она Веру прекрасно знает. Сколько раз Вера к ним заходила, картошку с рынка приносила и белье стираное всегда сама им привозит, а по субботам полы моет, во всех комнатах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоколамке живут. Иной раз уж троллейбус не ходит, второй час ночи, так Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и разобрать его тяжело.

Лидия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у нее была занята другим, и только говорила: «Главное, Вера, помните о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, Лида Александровна! Это уж обязательно...» Вера рассказывала и о своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском,

о сиротстве, о войне, о том, как в ремесленном училась, как тетка померла и Вера осталась хозяйкой в комнате, как к ней сватался один старичок, шестьдесят пять лет, из города Камышина, но Вера его прогнала: догадалась, что зарится на комнату. Рассказывала Вера, а сама думала про Николая и вдруг решила, что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет. Нет, не будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до полочки попросит, вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла к ней в голову эта внезапная простая мысль, она сразу замолчала. Лидия Александровна тоже молчала, сидела задумавшись.

Вера вздохнула.

— А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?

Лидия Александровна покачала головой.

— Нет, Вера, никакого несчастья.

В пятом часу пошел дождь, и когда он кончился, очень скоро, Вера собралась ехать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, а то ей не на что было возвращаться.

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для косьбы трава с обеих сторон проселка едва заметно шевелилась, дышала, ее колебало парным дождевым воздухом, поднимавшимся снизу. Вера сняла туфли, пошла босая. Много лет не ходила она по такой теплой летней дороге босыми ногами; она шла медленно, совсем одна на большом лугу, и никуда не хотелось ей торопиться.

## ГОЛУБИНАЯ ГИБЕЛЬ

Однажды утром, уже одевшись, в шапке, Сергей Иванович подошел к окну, чтобы посмотреть, какова погода и надевать ли галоши, и увидел голубя. Голубь был похож на борца: могучая спина и крохотная головка. Он сидел на узеньком железном отливе и, склонив головку набок, косым шпионским взглядом засматривал в комнату. День был сырой, всю ночь шел мокрый снег, окна запотели, и голубь не много смог увидеть через стекло.

Он увидел грязную вату между рамами, пролежавшую там ползимы и успевшую почернеть от копоти; две поллитровые стеклянные банки на подоконнике, одну с клюквой, другую с кислой капустой, и на одной банке он увидел блюдце, на котором лежал кусочек масла в вошеной бумаге; и веревочную авоську, прицепленную к замку форточки и висевшую между стеклами, в которой хранилось несколько сморщенных сосисок. И еще он увидел старое, заметно опухшее со сна лицо Сергея Ивановича, его седые брови, немигающий взгляд и желтые от табака пальцы с широкими, плоскими и тупыми ногтями, почесывающие подбородок. Это увидел голубь. А Сергей Иванович увидел то, что привык видеть по утрам в течение многих лет: семиэтажную пропасть, кирпичную, с дождевыми потеками изнанку дома, и крыши напротив, утыканные трубами и антеннами, и внизу, на дне пропасти, — туманный, заваленный серым снегом двор, беззвучную суетню людей, бегущих по утренним своим делам кто куда. И голубя на карнизе. Дымчато-синего, с розоватым отливом, цвета остывшей после горна стали. Станный, неожиданный гость! Никто поблизости не держал голубей, и вдруг — пожалуйста.

Сергей Иванович, размышляя, продолжал чесать ногтями подбородок. Потом стукнул по стеклу мундштуком

трубки. Голубь подергал туда-сюда головкой, но не двинулся с места.

— Глянь-ка, мать, кто к нам залетел, — сказал Сергей Иванович. — А погода собачья, хуже вчерашнего.

Он зажег трубку, сунул ноги в галоши и вышел поспешно, ибо уже запаздывал минуты на три против обычного. А Клавдия Никифоровна, проводив мужа до входной двери, вернулась в комнату, подошла к окну и тоже увидела голубя, прибитого непогодой. Внизу, на дворе, чернела мокрядь. По стеклу змейками сочился истаявший снег. «Ах ты, господи, склизь-то какая, — огорчилась Клавдия Никифоровна. — И верно, хуже вчерашнего». Она открыла форточку и бросила на карниз горсть хлебных крошек, думая о своем старике: как бы не поскользнулся доро́гой.

...Жили одиноко. Сын Федя погиб на войне; дочка с мужем, механиком по автоделу, лет девять назад завербовалась на Север, да так и прикрепилась там, писала редко. Сергей Иванович, несмотря на года — седьмой десяток на половине, трудился на той же фабрике, где полжизни отработал; теперь, правда, не мастером в кроватном цехе, а кладовщиком в инструментальной кладовке. А Клавдия Никифоровна хозяйство вела. Хотя какое в Москве хозяйство? В «Гастроном», да в молочную, да сапожнику обувь снести.

Клавдия Никифоровна и пригрела нечаянного голубя: начала подкармливать мимоходом, а потом и привыкла. Ядрицу для него покупала, булку крошила, обязательно белую: от черной голубь клюв воротил. Сергей Иванович шутил: что, мать, забаву нашла? Скоро, спрашивал, на крышу полезешь, — свистеть в два пальца и тряпкой махать?

Шутил-шутил, а, приходя с работы, стал, между прочим, интересоваться:

— Ну, как наш иждивенец? Прилетал нынче?

Голубь прилетал ежедневно и вскоре совсем освоился на седьмом этаже и даже голубку привел, белую, как молочный кипень, с черными глазками в аккуратных янтарных оболочках. Когда потеплело и можно было открыть

окно, Сергей Иванович смастерил — так, скуки ради, чтоб руки занять, — деревянный ящик с круглым очком и выставил на карниз: «Вот вам, уважаемые, квартира от Моссовета. И безо всякой очереди». В квартире этой скоро запищал птенец, беленький, в мамашу, очень прожорливый и ленивый. Через месяц он стал размером со взрослого голубя, но все еще не умел ворковать и летал, как курица.

Особенно полюбились голуби соседской Маришке, девочке лет девяти, которая по болезни неделями не ходила в школу и слонялась, скучая, по большой, безлюдной в дневные часы квартире, не зная чем заняться. Клавдия Никифоровна жалела эту Маришку — бледненькую, на тонких мушиных ножках, — всегда зазывала ее к себе, и та сидела у окна, грызла морковку и смотрела на голубей. А родители Маришкины были люди занятые, пропадали на работе до вечера: Борис Евгеньевич инженером в стройконторе, а Агния Николаевна учила в школе, в старших классах. И была еще у них бабушка, Софья Леопольдовна, старушка лет под восемьдесят, совсем почти глухая, но еще крепкая, на ногах, — на всех готовила и в магазины ходила.

Весна между тем забирала круче.

Расталкивая облака, гуляло над городом влажное синее небо. В овощном магазине, где всю зиму торговали консервами и черной картошкой, появился парниковый лук. По утрам мимо окна проносились стремительные, пугавшие Клавдию Никифоровну серые тени, внизу ухало, наверху гремело железо: рабочие сбрасывали снег с крыши.

Несколько теплых апрельских дней дотла сожгли хоронившийся кое-где снег, залили Москву мутной быстрой водой, но солнце высушило эту сырость очень скоро, и к маю тротуары были сухи. В мае на балконе седьмого этажа появился мальчик в бордовом свитере и в зеленых брюках от лыжного костюма. Мальчик готовил на балконе уроки. Он сидел на стуле, положив одну толстую ногу на другую, и, жмурясь от солнца, что-то зубрил и царапал карандашом в тетрадке. Но чаще он держал карандаш во

рту, делая вид, что курит трубку, или же строгал карандаш ножичком, а заодно подравнивал ножичком стул. Время от времени из двери высовывалась рука и протягивала мальчику бутерброд или яблоко. Съев яблоко, мальчик метал огрызок в балкон четвертого этажа, целясь в алюминиевое ведро, стоявшее там, и, если выстрел бывал удачным, ведро отзывалось гулким колокольным звуком. Иногда он просто кидал огрызок вниз, наобум, и, подождав немного, выглядывал через перила: в кого попал?

А скоро мальчик обнаружил голубей, стал приходить на балкон с рогаткой и стрелять в голубей абрикосовыми косточками и кусочками цемента, которые он отколупывал от балкона. Сергей Иванович как-то заметил это, пристыдил из окна: «Эй, дяденька большой, ты что ж хулиганишь?» Мальчик засмеялся, покраснел и убежал в комнату.

Однако через день или два мальчик вновь появился на балконе и вновь готовил уроки и стрелял из рогатки. Потом неделю шли дожди, и голуби получили передышку. А в середине мая, когда снова наладилась солнечная погода, однажды утром пришла неожиданная посетительница: высокая молодая дама в шуршащем плаще и с длинным цветастым зонтиком.

— Здравствуйте, я Моргунова из шестого подъезда, — сказала дама, входя в коридор и с треском складывая зонтик. — Я пришла относительно голубей.

— Заходите в комнату, милости просим, — сказала Клавдия Никифоровна.

— Нет, спасибо, я на минутку. Я только насчет голубей. Голуби ваши, да? Дело в том, что ваши голуби, эти милые существа, играют совершенно роковую роль в нашей семье. Нет, поймите меня правильно! Я против голубей в принципе ничего не имею... — Моргунова говорила таким громким, жизнерадостным голосом, что из своей комнаты вышла соседка Мария Алексеевна, и даже старушка Софья Леопольдовна, глухая-глухая, а тоже услышала, приползла из кухни.

Сергей Иванович не сразу сообразил, чего хочет дама с зонтиком. Упорным взглядом исподлобья он рассматривал

ее полное румяное лицо с маленьким ротиком, красиво обрисованным розовой помадой, ее шуршащий переливчатый плащ, сопел трубкой и думал: до чего же народ стал балованный, это на удивление! И то им не так, и другое, и черта лысого не хватает, а как в войну переживали, — об этом уж никто не помнит. Вникнув, догадался: дама просит, чтоб голубей убрали. А спроси ее — зачем? Почему такое это нужно, чтоб убрать? Кому птицы мешают? Она и не ответит, потому что одна блажь в голове, баловство.

Все это Сергей Иванович подумал про себя, а в разговоре не проронил ни слова. Клавдия Никифоровна очень вежливо и разумно отвечала даме. Она сказала, что ученику не обязательно готовить уроки на балконе и что от голубей никому не может быть беспокойства, если не обращать на них внимания и не шмалять в них из рогатки. Конечно, сказала она, с учениками хлопот довольно, кто говорит. Сама, слава богу, двоих вырастила, и внучка уже в третий ходит, в Мурманске живет. Конечно, кто говорит, учиться нынче не сахар. Хоть в Москве, хоть где. С ребят требуют очень крепко...

Моргунова сказала, что ей, к сожалению, некогда разговаривать, она должна идти по делам, но напоследок повторила:

— Вы уж, пожалуйста, ваших птиц уберите. Это наша категорическая просьба. А то муж хотел обратиться к общественности.

И, улыбнувшись приветливо, она ушла.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна были несколько озадачены последними словами Моргуновой, но, поразмыслив, сочли все происшествие пустяком, не стоящим внимания. А Мария Алексеевна, женщина деловитая (одиннадцать лет кассиршей на одном месте, в «Гастрономе»), сказала, что она хоть эту Моргунову не знает, но слышала, что у нее в прошлом году работала в домработницах такая Даша, хроменькая, которая сейчас работает у одного профессора в доме, где овощной магазин, и вот она, Мария Алексеевна, однажды познакомилась с этой Дашей в химчистке и та порассказала ей всякого-разного про этих Моргуновых: сама,

говорит, колотит мужа почем зря и он ей тоже не дает спуска. Каждую субботу у них гости, выпивка, музыку на полную силу запускают, так что соседи стучат в стенку и жалуются. Так что если она чего скажет, можно и про нее сказать. Можно эту Дашу в крайнем случае разыскать, она в доме, где овощной, ее там каждый знает, она хроменькая, приметная.

Старушка Софья Леопольдовна тоже была возмущена и кипятилась: «Какая наглость, вы подумайте! Я бы на вашем месте, Клавдия Никифоровна, ей ответила хорошенько! На мой характер я бы ей задала перцу, нахалке этакой!»

Сергей Иванович махнул рукой и ушел в комнату. В окно увидел, как по двору идет Василий Потапович, направляясь к деревянному столу, врытому подле забора, а за столом, в окружении мальчишек, уже сидят старик Колосов и молодой парень Мишаня Жабин, игрок хитрый и прижимистый, собираются воскресного «козла» забивать. Сергей Иванович играл обычно вечером, когда сходились люди солидные, испытанные годами и злопамятные друг против друга противники. Но сейчас, коли Василий Потапович нацелился играть, да и старик Колосов тут, — грех не выйти.

— Пойду постучу до обеда, — сказал Сергей Иванович, выходя в коридор, где Клавдия Никифоровна продолжала пустой разговор с женщинами. — Позовешь тогда...

Прошло несколько дней, и Клавдия Никифоровна опять заметила, как мальчишка в голубей стреляет. Только начала она ему выговаривать, как на балконе появилась Моргунова в длинном, из блестящего китайского шелка халате и, не говоря ни слова — раз! раз! раз! — отхлопала парня по рукам. Тот — в слезы, а Моргунова повернулась к Клавдии Никифоровне и пригрозила на весь двор: если, мол, до завтра голубей не уберете, будете иметь дело с домкомом.

Сергей Иванович, конечно, и не подумал голубей убирать. Да и куда их? В шкаф? Суп из них варить?

Спустя день-другой после этого случая пришел член домкома Брыкин. Этого Брыкина все в доме хорошо знали: с утра до вечера топтался он во дворе, следил за



порядком, подгонял дворников или же сидел в домоуправлении и командовал как общественник слесарями и водопроводчиками, которые ему вовсе не подчинялись и часто даже не желали его слушать, но он никак не мог жить без того, чтобы кем-нибудь не командовать. Было ему лет семьдесят, но оттого, что он днями гулял на свежем воздухе, цвет лица у него был, как у милиционера, очень красный и здоровый. Еще этот Брыкин ходил по квартирам и воевал с неплательщиками, а на самых злостных писал заявления в те места, где неплательщики работали.

Зайдя в квартиру, Брыкин в первую очередь спросил: — Сысойкина дома?

— Нету, — сказала Клавдия Никифоровна.

— Передайте, что, если в течение двух дней не оплатит мартовскую жировку, будем разбирать в товарищеском суде. И напишем по месту работы.

— Хорошо, товарищ Брыкин, обязательно передадим. А мы-то уж давно!

— Вы-то, я знаю. Насчет вас тоже есть разговор. Можно к вам пройти?

Не дожидаясь ответа, Брыкин шагнул в комнату, сразу к окну, посмотрел на голубей и сказал:

— Это надо убрать, граждане. Соседи протестуют, из шестьдесят второй квартиры. Согласно положению не имеете права.

— Согласно какому такому положению? — спросил Сергей Иванович, который недавно пришел с работы и сидел за столом, пил чай. И тут же за столом сидела маленькая Маришка и тоже пила чай.

— Имеется положение, а как вы думали? Если соседи протестуют, то не можете держать никаких домашних животных и птиц то же самое. Касается одинаково домашних животных или птиц, это безразлично. Могут до штрафа довести, так что советую убрать.

— Ну что ж, — Сергей Иванович вздохнул. — До штрафа мы, конечно, не допустим, товарищ Брыкин. Мы их не заводили, нам что были они, что нет, все едино. Вот девочка с ними занимается, а нам — что ж, пускай.

— Девочка тем более не ваша. Это не причина.

— Наша, наша, — сказала Клавдия Никифоровна и погладила Маришку по голове.

— Где ж ваша? И масть не та. — Брыкин усмехнулся, передние зубы у него были золотые.

Тут в комнату заглянула Агния Николаевна, позвала Маришку ужинать.

— А она уж ужинает, — сказала Клавдия Никифоровна. — Вон как хорошо ужинает.

— Нет, нет, не надо мешать чужим людям, Мариша, скажи спасибо, и пойдем.

Агния Николаевна вошла в комнату, поздоровалась с Брыкиным, на что тот как-то неопределенно, не глядя, кивнул, а может, просто опустил голову, и вышло похоже, что кивнул, и взяла Маришку за руку. Но девочка не хотела вставать, неспешно допивала чай с блюдца и задала баранкой.

— Нам ваша дочка нисколько не мешает, — сказал Сергей Иванович.

— Я понимаю, но у вас люди, а ей пора домой.

— А ничего, пускай чайком погреется.

— Мариша, я тебя прошу — быстрее!

Все, даже Брыкин, смотрели на девочку, уплетавшую баранку, с улыбкой, только мать стояла мрачно, глядя на дочь совсем не материнским, холодным взглядом.

— Ну? — сказала Агния Николаевна.

— Мам, а дядя говорит, что голубков надо убрать.

— Надо, значит, надо.

— Мам, а мне их жа-алко!

— Мало ли что жалко. Вставай! Скажи спасибо, и пойдем. Нас бабушка ждет. — И она потянула Маришку за руку из-за стола.

— Да, да, голубков ваших надо убрать непременно, — сказал Брыкин.

Бледное личико Маришки вдруг скривилось, глаза закрылись, и она заревела. Клавдия Никифоровна стала ее успокаивать, совала баранку, Сергей Иванович тоже встал из-за стола, Агния Николаевна тащила Маришку силой, а та ревела все отчаянней. Агния Николаевна не говорила

ни слова, лицо ее как будто застыло, и только у самых дверей она вдруг стала кусать губы.

Брыкин сказал, когда мать и дочь скрылись:

— Ну и соседи у вас! — и покрутил головой. — А насчет птиц не затягивайте. К завтраму чтоб.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна особенно не огорчились: жили без голубей и проживут. Штраф платить никому неохота. Клавдия Никифоровна сгребла все голубиное семейство — и птенца великовозрастного, который уже летать начал, — и отнесла вместе с ящиком одному знакомому малому, сыну лифтерши. Вот малый обрадовался-то!

Вечером о голубях не говорили. Точно их и не было никогда. После ужина пошли к Марии Алексеевне в дурачка перекинуться. Потом, когда вернулись и уже спать постелились, старушка Софья Леопольдовна постучала: Маришка плачет, не засыпает, хочет на голубков посмотреть.

— Нету голубков! Все! Улетели! — сказал Сергей Иванович сердито.

А на другой день, лишь только вошел Сергей Иванович в дом, Клавдия Никифоровна ему радостно:

— А у нас гости!

— Кто такие?

— Погляди вот...

Очень смеялись в тот вечер Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна. «Мы-то их жалели, мы-то их кормили, а они нас разорить хотят, под штраф подвести!» Вскоре и малый, лифтершин сын, прибежал испуганный: «Тетья Клава, у вас голуби?» — «Здесь, здесь. Забирай свое добро и береги лучше...»

Отдали ему голубей, а Сергей Иванович взял молоток и подбил железный отлив таким манером, чтобы, если прилетят голуби в другой раз, сесть им было невозможно.

Утром Сергей Иванович прямо из постели, босой, подошел к окну, глянул — мать честная! — голуби тут как тут. Сидеть им нельзя, так они прицепились к железу и повисли. Все трое повисли. И как ухитрились, на чем держались — непонятно. Эти висящие голуби выглядели

так странно, жутко и трогательно, что Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна растерялись. Марию Алексеевну с племянником пригласили смотреть и Маришку позвали. Маришка оказалась больной, лежала в постели, вместо нее старушка Софья Леопольдовна пришла — совсем согнутая, голова трясется. Племянник Марии Алексеевны, человек ученый, студент института, сказал, что у голубей действует особенная привычка. Им, сказал, отбиться от вашего окна так же трудно, как, например, Сергею Ивановичу — бросить трубку курить. Старушка Софья Леопольдовна тоже удивлялась, ахала: «Нет, ваши птицы исключительно редкие! На мой характер, я бы их ни за что не отдала!»

Сергей Иванович хмурился, глядя на голубей.

— Ничего, ладно, — ворчал. — Долго не провисят, устанут...

И голуби, правда, улетали куда-то, но потом возвращались и снова, прицепившись к отливу, терпеливо висели. Так провисели они целый день. И тогда, пораженный этой удивительной преданностью, Сергей Иванович решил: будь что будет, пускай птицы остаются. Нельзя таких птиц отдавать. Два дня прошли спокойно, а на третий явился Брыкин.

— Что ж, граждане? Акт будем составлять?

Ему показали, что ящика нет и даже отлив подогнут нарочно, и рассказали про лифтершина сына и про то, как голуби возвращаются и висят, окаянные, и сделать с ними ничего невозможно. Брыкин разглядывал висящих голубей, качал головой, и его красные щеки тряслись, как два мешочка. Он спрашивал, который тут голубок и которая голубка, пытался взять их в руки и даже положил несколько крошек на карниз.

Поиграв с голубями, вздохнул, сказал тихо:

— А все равно, граждане, убрать надо неминуемо. И зачем вам, ей-богу, эту пакость держать, прости господи? А нам, видишь, поступило заявление, и мы обязаны прислушаться и принять меры. И тем более ученик занимается, и они ему мешают.

— Ну, понятно, чего говорить. У вас тоже служба...

— А как вы думали? Легко ли мне, старику, какой раз к вам на седьмой лезть да вниз топтать? Одни вы, что ли, у меня? — Красное лицо Брыкина стало еще гуще, малиново-красным, голос возвысился, белые стариковские глаза с неожиданной злобой уставились в Сергея Ивановича. — Зачем столько уговоров? Пригласить вас повесткой на товарищеский суд, акт составить да штраф влепить — и вся недолга!

Едва упросил Сергей Иванович отсрочку на два дня.

В субботу вечером Сергей Иванович посадил голубей в корзину, накрыл тряпкой и поехал на Ленинградский вокзал. Он решил отвезти голубей своей сестре, которая жила за Клином, в ста пяти километрах от Москвы. Клавдия Никифоровна очень тревожилась за своего старика, особенно огорчалась тем, что не заставляла Сергея Ивановича надеть вязаную телогрею и взять зонтик. Последнюю неделю зачастили грозовые дожди, в воскресенье тоже была гроза. Клавдия Никифоровна проклинала голубей, соседей, Брыкина, ей мерещились всякие напасти.

Сергей Иванович вернулся за полночь — продрогший, измученный, но довольный и с букетом сирени. Он рассказал, что голуби устроены прекрасно, лучшего и желать нельзя. Обе племянницы, девчонки, счастливы до невозможности. Голубям отвели квартиру на чердаке, со всеми удобствами, с окном в сад, — не то что ржавый отлив, где даже сесть некуда. А там-то помещение богатое, простор, воздух, сирень цветет, воркуй на здоровье хоть сто лет.

— Так что попали наши птахи как в дом родной, — закончил свой рассказ Сергей Иванович, усмехнулся устало. — Теперь уж не воротятся...

Воротились голуби во вторник.

Клавдия Никифоровна плакала, встречая мужа в дверях. Она сказала, что голуби прилетели днем, незадолго перед обедом, и мальчишка уже стрелял в них из рогатки.

Сергей Иванович на цыпочках, боком, подходил к окну, охваченный странным чувством, смесью восторга и испуга. Голуби висели в своей излюбленной позе,

опрокинутые навзничь, зацепившись за ржавый отлив. Их крохотные бисерные глаза метали на Сергея Ивановича любовные взгляды.

В третий свой приход Брыкин принес повестку в товарищеский суд: на субботу, на семнадцать часов, в помещении красного уголка.

Был сухой, жаркий, уже клонившийся к вечеру день начального лета. В пустынном дворе — детвора разъехалась по дачам и лагерям — легкий ветер мел по асфальту невесомый, прозрачно-серый тополевым пух. Отдельные пушинки достигали седьмого этажа, залетали в окна, а самые отважные, подхваченные теплым воздухом, подымались еще выше, над крышей, над палками антенн, в синее небо. Клавдия Никифоровна смотрела из окна, как ее старик плетется по двору, помахивая корзиной.

Через час он вернулся. Корзина была пуста. Клавдия Никифоровна сразу заметила, что от Сергея Ивановича пахнет вином и у него дрожат руки.

— Отдал? — спросила Клавдия Никифоровна, почему-то испугавшись.

— Не волнуйся, мать. Теперь — все, порядок... Порядок, мать.

— С какой же ты радости наклюкался? Постой-ка... — Клавдия Никифоровна осторожно сняла прицепившееся к пиджаку Сергея Ивановича маленькое белое перышко.

— Это пух, мать. Пух с тополей — поняла? Поняла, старая, чего тебе говорят? Ух ты, мордаха! — Сергей Иванович с глупой пьяной суровостью взял пальцами Клавдию Никифоровну за щеки, сжал их и потряс грубовато, как делал когда-то давно, в молодости. И Клавдия Никифоровна вдруг вспомнила это, что было когда-то, и улыбнулась.

Белое перышко, которое она сняла с пиджака, медленно плыло в воздухе, кружилось, снижалось, но ветер из окна подхватил его, и оно взмыло вверх и тихо — никто не заметил — село на плечо Сергея Ивановича.

А потом — что ж?

Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде,

приходил Брыкин, составляли акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифоровна мучилась с зубами, Агния Николаевна с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переехали куда-то на другой край Москвы, Борис Евгеньевич еще раньше в Якутск уехал, завербовался на три года, а в их комнаты вселились новые жильцы, семь человек, все армяне, потом зима кончилась. Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь садился за домино с раннего утра. Потом вышел приказ насчет голубей — разводить их как можно больше к фестивалю, встречать иностранцев — и за них теперь не то что штраф, а спасибо говорили. И развелось их видимо-невидимо. Повсюду их кормили, на площадях, во дворах, ходили они стаями, толстые, вперевалку, летать ленились, а только ворковали целодневно да гадили где попало, особенно в углах дворов, на балконах и карнизах, и спасу от их пакости, желтовато-свинцовой, не было никакого.

1968

## В ГРИБНУЮ ОСЕНЬ

Надя возвращалась с Колюшкой и Витей из Москвы, куда ездили на день купаться, а Антонина Васильевна оставалась на даче — сентябрь стоял ясный, грибной, решили пожить до холодов, ребятам последний вольный годик до школы. Было около семи, уже чуть свечерело, кое-где зажглись окна, и Надя лишь только зашла с ребятами на участок и стала подходить к дому, бессознательно заметила темную веранду и темное окно в кухне, что в следующую секунду показалось ей странным, но не очень, потому что мама забывчива и могла задремать, хотя обычно она зажигает свет рано. Надя поднялась по крыльцу, ребята за нею, она постучала в запертую дверь веранды — никто не отозвался; стала стучать сильнее, потом звать громко, ребята весело, изо всех сил орали: «Баба! Ба-ба!» — и, сцепив руки, размахивали ими, глядя друг на друга, как два восторженных дурачка, а Надино беспокойство вспыхнуло внезапно и жутко, и она задышавшись сбегала по крыльцу вниз и стала кричать с клумбы. На втором этаже стукнула ставня, высунулась белая голова Веры Игнатьевны. Надя спросила, не видела ли Вера Игнатьевна сегодня маму, старуха ответила, что видела утром: Антонина Васильевна колола возле сарая полешки. «Зачем же она это делала? — крикнула Надя с возмущением. — Почему не могла подождать нас? Я столько раз говорила!» Сердце ее сильно колотилось, она снова взбежала по крыльцу наверх, стала рвать дверь, та не поддавалась, тогда Надя побежала к дому Евлентьевых — она задышалась уже не только от волнения, но и от физического напряжения, при ее восьмидесяти пяти килограммах и нетренированном сердце бегать было тяжело. На дверях Евлентьевых висел замок, но лестничка лежала, как обычно, прислоненная к стенке гаража. Надя



схватила лестничку — правую Надину руку все еще оттягивала сумка с хлебом, помидорами, бутылками кефира и туфлями мальчишек, взятыми из починки, — и потащила лестничку к веранде. Ребята стояли, притихнув, и испуганно смотрели на мать. «Господи, господи...» — повторяла Надя шепотом. Она бросила сумку на землю, приставила лестничку к тому месту веранды, где, Надя знала, было окно, которое легко можно было открыть снаружи, и забралась на лестничку, толкнула раму, с трудом взгромоздилась коленями на подоконник и рухнула оттуда на пол веранды с таким громом, что на втором этаже могли подумать, что опрокинулся гардероб. Хромая от острой боли в ступне, она бросилась к двери, ведущей в комнаты: кухня была пуста, печка не горела, возле печки на железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и кусок полуобгоревшей газеты; в следующей за кухней комнате в странной позе на полу, прислонившись к краю кушетки и запрокинув голову, сидела Антонина Васильевна. В ее глазах оставалась жизнь. Антонина Васильевна ждала Надю, чтоб умереть. Но Надя осознала это позже, а в тот миг, когда она увидела мать сидящей на полу, когда бросилась к ней, нагнулась, упала на колени, обняла ее за плечи, закричала: «Мама, я здесь! Я сейчас!» — когда оглядывалась по сторонам незрячим взором, ища что-то, еще в тот миг не определенное сознанием, но смертельно нужное, — лекарство, или стакан воды, или книжку с адресом доктора, живущего на 3-й линии, который уехал в Серпухов, — господи, он же уехал позавчера в Серпухов; она все делала, повинувшись какой-то темной, надземной силе, возникшей внезапно, как ураган, которая с этого мига овладела ею.

В комнате совсем смеркло, но Надя, не зажигая света, одеревеневшими руками стала втаскивать тело Антонины Васильевны на кушетку, шепча одно и то же: «Сейчас, сейчас, мама, сейчас, сейчас, сейчас».

Надины руки и все ее существо дрожали от напора этой сверхчеловеческой силы, с которой никогда прежде не соприкасалась Надина жизнь, и вдруг она поняла,

что эта сила есть время, превратившееся в нечто совершенно реальное, вроде ураганного ветра, оно подхватило Надю и несет. От платья Антонины Васильевны шел сильный запах валерианы, а из кухни пахло горелой бумагой.

И как у каждого человека, у нее был поступок, осветивший всю жизнь: двадцать пять лет назад она прогнала мужа, которого любила, но он стал пьяницей, и жизнь с ним сделалась невозможной. Он уехал в другой город, на край земли. Наверное, он там погибал. У него была женщина. Иногда он писал детям странные письма: «Милая Надюша! Дом, в котором я сейчас живу, представляет собою деревянный барак в два этажа с двадцатью четырьмя окнами, тремя дверями, водоразборная колонка недалеко, дымоходы отличаются хорошей тягой...» Надя показывала письма матери, та читала, мучаясь, но не выдавая себя — по аккуратному и бессмысленному слогу понимала, что письма писаны в пьяном виде — и плакала украдкой, но сделать ничего было нельзя. А когда-то была хорошая жизнь, мать вспоминала ее; она плакала, вспоминая, а не жалея: отец был главным инженером завода, ездил в «эмке», приносил паек, была дачка в Крюкове, казенная, от завода, и на участке росли яблони. И вдруг все разрушилось так внезапно и быстро. Мать постарела, выбивалась из сил, особенно в войну, изобретала, металась от одного занятия к другому — работала нормировщицей на фабрике, секретарем-машинисткой в конторе ОЗГУПа, ходила с группой детишек на бульваре, была шеф-поваром в столовой, красила дома шелковые платки для одной артели — тянула детей, никто не помогал: старшая сестра, тетя Фрося, хотя жила богато (муж ее, дядя Лева, тридцать лет по министерствам) и была бездетна, но в чужую жизнь не вникала. Ах, бог с ней, с тетей Фросей! Она будет рыдать. Их оставалось двое из большой семьи, она и мама. Она такая завистливая. Чему завидовать? Она находила и завидовала маме. Мама говорила, что у Фроси дурной глаз. Только раза два в голодные годы, дойдя до точки, мама стучалась

к Фросе за помощью и та одолжала самой малой малостью, но с разговорами («Кто ж тебя неволил детский сад заводить?» или «Кто тебе виноват, что ты женихов гоняешь, о детях не думаешь?», намекая на одного ветврача, родственника дяди Левы, приехавшего из Орши в надежде тут прописаться), и мама заклалась когда-нибудь у Фроськи просить.

Мама ее жалела. Говорила, что дядя Лева подлец, обманывает ее, а она все знает и терпит. Пусть она приезжает завтра, сегодня не надо, сегодня один Володя. Никого не хочу, не могу видеть, кроме Володи. Господи, если только он дома, если не ушел играть в шахматы к Левину!

Темный ветер гнал Надю по шоссе. Она бежала на станцию звонить в Москву. Навстречу шли люди только что с поезда, нагруженные сумками, свертками, портфелями — из другого мира, где можно идти медленно, можно быть усталыми. Некоторые из них с изумлением смотрели на Надю. Что-то было в ее лице, заставлявшее их смотреть: может быть, она шевелила губами.

Она сейчас думала об одном: о том, что Володи может не быть дома. Когда они ссорились, он всегда уходил из дома — на футбол или к Левину играть в шахматы. Надя была уверена в нем. Ничего другого быть не могло. Однако, когда мирились, она спрашивала, томясь тайным непобедимым страхом: «А где вы были вчера, молодой человек? Скажете, опять играли в шахматы у Левина?» — «Какие там шахматы! — говорил он. — Мы были у девочек. Чудесно провели время». Обрывалось и холодело внутри, хотя она твердо знала, что это шутка, примитивная шутка. Ничего не могла поделать с собой. Он тут же старался поцеловать ее, а она закрывала глаза и отворачивала лицо. Когда касалось Володи, его отношения к ней, что-то происходило с сознанием, какое-то затмение мозгов: она становилась тупа, теряла чувство юмора. Проклятая дача! Еще в мае, когда приезжали снимать, она не понравилась Наде — место невзрачное, хозяйка какая-то угрюмая и хапуга,

триста пятьдесят за две комнатки с верандой, — но Володя и мама настояли, потому что близко от станции, и хозяйка до октября уезжала на юг, и надоело искать, а для мамы было главное, что рядом базарчик. Как чувяло Надино сердце, что дача проклятая. Они с Володей почти и не жили там: завезут продукты на неделю и исчезнут, мама одна управлялась. Вечерами играла в карты с ребятишками на кухне, где было всего теплее, а так-то дача холодная, даже летом подтапливали, стены дощатые — и за доски такие деньги дерут! «Где же наши гулёны? Верно, в концерт пошли. По радио передавали — сегодня большой концерт в Москве...» Но Надя и Володя ходили в концерты редко. Чаще в кино, к приятелям на чаек или на футбол, а то сидели дома и телевизор смотрели. И как раз больше всего Надя любила дома сидеть, чтоб с Володей вдвоем, никаких приятелей, и чтоб знать, что дети в порядке — дышат сосной, едят вкусно и правильно, потому что мама великая кулинарка, — и полежать на тахте в тихой квартире с книжкой в руках под верблюжьим одеялом, и чтоб Володя спустился в «Гастроном», купил бы сырку, колбаски, и пораньше лечь спать, часов полдесятого нырнуть в свежие простыни, — но зачем же, зачем мама выбрала это проклятое место, куда душа не лежала приезжать?

Он был дома. Надя услышала родной недовольный голос. Не смогла договорить, он закричал на другом конце провода: «Надя, я еду! Меня ждет Левин! Я к нему на секунду и сейчас же беру такси!» Зачем к Левину, на секунду? Она силилась понять. Ссора вчера была ничтожна: она рассердилась на то, что он собрался идти в субботу на день рождения своей двоюродной сестры Риты, вместе с Надей, разумеется, но Надя должна была ехать на дачу, дать передохнуть маме, и, кроме того, Надя не любила Риту, считая ее фальшивой и скрытно недоброжелательной. Не простила ей, что когда-то давно, когда они с Володей еще не были знакомы, Рита хотела женить Володю на своей подруге. Подруга могла там быть. Конечно, все это вздор, подруга давно замужем, родила детей и превратилась в драную кошку.

И Володя сам не пошел бы, но тут он впал в амбицию. Решил, что ущемляют его свободу. «Ну, конечно! — говорил он. — Я должен делать только так, как тебе угодно!» Мама умела их мирить. Всегда держала сторону Володи. И сколько раз Надя злилась на нее из-за этого, называла «оппортунисткой», а мама была просто умница, самая настоящая умница. Что ж теперь будет? Как жить? Вдруг Надю охватил страх: она оставила ребят у Веры Игнатьевны, старуха рассеянна, и у нее открытый балкон. Телефон тети Фроси все еще был занят.

Надя побежала в другой конец здания, где принимали телеграммы, и отправила срочную брату Юрию в Петрозаводск. Потом вернулась, и тут как раз дали Москву, но номер не тети Фроси, а Ларисы, Надиной лучшей приятельницы. Лариса похоронила свою мать полтора года назад; она сразу сказала дельное: «Обязательно достань снотворное и прими на ночь. Завтра у тебя будет очень тяжелый день». Надя подумала: завтра? Наконец дали номер тети Фроси. Надя не понимала, говорит она тихо или кричит. Когда она вышла из кабины, к ней подошла незнакомая женщина и, глядя ей прямо в глаза, сказала тихо: «Выдержать, выдержать!» Наверное, Надя кричала.

Только одна фраза, сказанная ею самой, как только она прибежала на почту, врубилась в сознание: «Девушка, мне нужно срочно в Москву: умер человек!» Почему она назвала маму *человеком*? Ужаснуло даже не это, а то, что она смогла произнести эту фразу, не пресекаясь голос, не подломились ноги, она стояла спокойно, протягивая девушке рубль, и потом взяла у нее сдачу.

На улице было черно. Надя перешла через пути: аптека находилась в другой части поселка. Из шашлычной вышли два человека. У одного на груди болтался транзистор, из которого раздавалась музыка. Надя отчетливо подумала: «Это Моцарт». И еще: «Он давно умер». Когда Надя проходила мимо, человек с транзистором сделал движение, чтобы схватить Надю за руку, и позвал: «Эй, чудачка!» Надя увернулась и побежала.

Она слышала за спиной музыку Моцарта и ругань, но оба пьяницы едва стояли на ногах. В аптеке Надя попросила капли Зеленина, валокордин и снотворное. Она задыхалась, сильно щемило сердце, и она посидела две минуты на стуле, приняв валокордин. Она подумала о том, что все ее болезни, ее полнота, гипертония, все, что ее гнело и мучило, теперь будет гнести и мучить ее одну. Но страх перед всем этим, ее привычный страх исчез: она подумала, что могла бы легко расстаться с жизнью, вот сейчас же, здесь, в аптеке. Ничто не остановило бы, даже дети. «Лариса так же убивалась в прошлом году, — вдруг вспомнила Надя. — А сейчас бегаёт по Москве, ищет осеннее пальто». Но и эта подлая мысль, которая пришла нарочно, чтоб облегчить, ничего не облегчила. И было что-то, о чем Надя не могла думать, что она отталкивала всем существом, всей кожей, всем своим несчастным и пустым сердцем.

Володя приехал в двенадцатом часу вместе с Левиным. Они где-то выпили, как видно, на скорую руку: Надя почувствовала запах водки, когда Володя поцеловал ее. Левин работал в том же НИИ, где и Володя, но в другой лаборатории. Надя его не очень любила, считала, что он дурно влияет на Володю, и хотя прямых улик такого влияния не было, но теоретически они могли быть: Левин был холостяк, игрок, а Володя легко поддавался чужой воле.

В первую минуту Надя болезненно поразились, увидев Левина, но потом ей стало все равно. Левин, стягивая берет с лысой головы и целуя Наде руку, бормотал слова соболезнования и извинения за свой приезд, в котором виноват Володя. В маленьких карих глазах Левина, как всегда, что-то посверкивало.

— Может быть, я окажусь чем-то полезен, — говорил Левин. — Куда-нибудь съездить, что-нибудь привезти. Нет? Не нужно? Я все знаю, дорогая, все понимаю. У меня самого столько потерь за последнее время. — Он поправил манжету, вытянул здоровенную руку и стал загигать крепкие толстые пальцы. — В начале шестьдесят

пятого — мама. В июле того же года — родной дядя, брат отца. И сразу через неделю — бабушка. Представляете? Крематорий стал для меня, простите, родным домом. А в прошлом году — мой старинный друг, со школьной скамьи. Скоротечный рак, и ни-че-го нельзя было сделать! Красавец парень, семья, малютки дети. Талантливейший биохимик. И ни-че-го! А как умирала моя мама? Тоже кошмар. Десятимесячные мучения. Кто-то сказал: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». Теперь скажите вот что: вы отсюда повезете или с городской квартиры? Я советую отсюда. Во-первых, вам не надо будет дважды заказывать машину. Во-вторых, зачем вам лишние волнения, перенос тела вверх, вниз? Теперь так: этот дачный эскулап, который констатировал смерть, для вас ничто, пустое место, вам нужно вызвать врача официально, и тот напишет заключение, причем вызывайте сейчас же, тогда у вас с утра будут развязаны руки и вы сможете действовать. Только надо решить: отсюда или с городской квартиры?

Надя смотрела на Левина, как будто не слыша вопроса. Она встала и вышла в соседнюю комнату, где было темно. Володя пошел за ней. В темноте он обнял ее, и они стояли несколько минут обнявшись, посередине комнаты.

— Ничего не понимаю, что он говорит... — сказала она дрожащим шепотом. Было похоже, что у нее начинается озноб.

— Ну, ладно. Сейчас ни о чем не думай. — Он обнимал ее одной рукой, а другой гладил ее спину.

Она прижималась к нему. Зубы ее стучали, она не могла остановиться. Она чувствовала его ладонь, нежно и твердо ласкавшую ее тело, сотрясаемое ознобом, и что-то громадное, как тот темный ураган, обнимало, наполняло ее, и, наверное, это была любовь, но такая, какой она еще никогда не испытывала: может быть, это была любовь к жизни и одновременно любовь к смерти или, может быть, любовь к себе.

Было слышно, как Левин, скрипя ботинками, ходит по кухне. Он передвинул стул, что-то упало.

— Кстати, машину надо заказывать тоже с утра, — раздался из кухни его голос. — Там всегда очереди. И заказывайте только на Смоленской.

Володина рука замерла.

— Дурак, зачем я его привез? — прошептал Володя.

— Ничего. Пусть...

Ребята спали наверху, у Веры Игнатьевны. Часа в три ночи Надя разделась и легла спать, приняв снотворное. Левин и тут оказался на высоте. «Что вы глотаете? Дайте сюда! — Почти силой он вырвал из Надиных рук таблетки. — Выкиньте и забудьте. Вот что пьет интеллигенция...» Володя посидел немного на кровати, держа Надину руку в своей. Надя лежала, закрыв глаза. Сил не было. Вдруг она заснула. Проснувшись, испуганно вскочила на кровати, отбросила одеяло: ей показалось, что давно уже утро или вторая ночь, что она проспала что-то бесконечно важное. В следующую секунду услышала голос из сна: умерла мама. Эти слова были бредом, не имели смысла, но прошла еще одна секунда, еще, и еще, и смысл возникал, рос, становился гигантским, отчетливым, опрокинул; она упала навзничь и лежала, неживая, со стиснутым сердцем. Часы рядом на стуле показывали без четверти четыре. В щелке двери, которая вела на кухню, был виден свет. Надя надела платье, босая подошла к двери и приоткрыла ее. За кухонным столом сидели Володя и Левин и играли в шахматы.

Через два дня погода испортилась, полил дождь, и после похорон все приехали озябшие; тетя Фрося забыла зонт в траурном автобусе, ругала за это дядю Леву и погнала его в гараж искать пропажу. Сидели на кухне. В комнате уложили мальчишек, которые все равно не спали, а хулиганили: то и дело прибежали на кухню, нацепив волчьи маски, и рычали: утихомирить их не удавалось. Кончилось тем, что Надя сильно нашлепала обоих, Володя заступался, они ревели, тетя Фрося со словами: «Ах, бедные мои сиротки!» — бросалась целовать внучатых племянников, те ревели пуще, с ними



случилось что-то вроде истерики, никто не мог успокоить, и Надя с тяжелым отчаянием думала: «Господи, как все разваливается без мамы!» Она долго сидела в комнате, разговаривая с сыновьями, напрягая силы, чтобы говорить спокойно, и проделала весь традиционный — когда-то она улыбалась в душе, а сейчас было невыносимо, потому что вспомнилось, с какой серьезностью это делала мама, — обряд примирения: шлепая ладонями о раскрытые ладошки сыновей, повторяла трижды: «Миришь, миришь, миришь и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться».

Наконец заснули, а Надя все сидела в потемках на стуле. В кухню идти не хотелось. Заходил Володя, спросил шепотом: «Ну, что ты?» — она отослала его к гостям: «Иди, а то неудобно». Через стенку было слышно, как он разговаривал с Аркадием, мужем Надиной двоюродной сестры Зиной, о парапсихологии. «Примерно за час до Надюшкиного звонка я почувствовал очень сильную боль в сердце. Причем никогда в жизни я на сердце не жалуясь. Потом я вычислил...» Голос тети Фроси: «Ребята оч-чень тяжелые. Не ребята — бой...» — «Абсолютно точно вычислил: это было именно в ту минуту, когда у Антонины Васильевны случился удар. Другой случай был со мной в Гурзуфе...» Аркадия и Зину, так же как мать Зиной, Евгению Глебовну, — все это была семья погибшего на войне брата Антонины Васильевны — Надя видела раз в пятилетку, а то и реже. Встреть она Аркадия на улице, наверное бы, не узнала. И вот эти чужие люди сидели на кухне, ели, пили, смотрели сочувственно, что-то вспоминали, лица их были скорбные, но, вдруг забывшись, они начинали говорить оживленно и совсем о другом. Все время слезилась одна тетя Фрося, которая пришла вдвоем со старухой Марией Давыдовной, дальней и мало известной Наде родственницей. А от Юрия пришла телеграмма из Петрозаводска о том, что он болеет воспалением среднего уха и находится в госпитале. Была еще одна женщина, которую Надя не знала по имени: она когда-то работала с Антониной Васильевной в артели, красила

шелковые платки. Эта женщина пила водку наравне с мужчинами и несколько раз порывалась рассказать, какая прекрасная была эта работа — красить на дому шелковые платки анилиновыми красками — и как выгодно за нее платили. Была там еще Лариса, Надина подруга, и Левин, которые раньше не были знакомы, но сегодня, в крематории, нашли друг друга и весь вечер разговаривали вдвоем. Но почему же они не уходят? Уже одиннадцать часов.

Надя еще и потому тяготилась идти к гостям, что все это происходило на кухне. Весь вид этой комнатки, где с утра и до вечера проходила мамина жизнь, был нестерпим и ранил каждой своей подробностью. Надя слышала через стенку, как кто-то открывал ящик кухонного стола — задребезжали ножи, вилки, — и Надино сердце содрогнулось потому, что Надя мысленно увидела этот ящик, который мама так часто приводила в порядок, застилала внизу чистой белой бумагой, в особые отделения складывала ножи, в особые — вилки, ложки, а в углу ящика хранила стопку бумажных салфеток. Сидя в темноте с закрытыми глазами, Надя видела всю кухню, вещь за вещью: полки большого чешского шкафа, где внизу в правом отсеке лежали кастрюли, терки, чугуны, старинная медная ступка, принадлежавшая еще маминной маме, а в левом отсеке — разные снадобья, лекарственные травы в пакетах, банки с сушеной малиной, цикорием, содой, аккуратно связанные кусочки шпагата, которые мама берегла, за что Надя звала ее Плюшкиным, и там же стояли пустые пол-литровые банки и баночки из-под майонеза и сметаны, вымытые маминими руками и припрятанные для чего-то. Все это осталось, все жило. Остались газеты, сложенные кипой на столе рядом с гладильной доской и успевшие выцвести за лето. Передник из темно-красного ситца висит, как всегда, возле раковины на фаянсовом крюке. Только нет, нет, нет. Нет ни в ванной, ни в прихожей. Нет на даче. Там темные комнаты, все закрыто, на этой проклятой даче, по деревянному крыльцу льет дождь. Нет нигде. Нигде, нигде.

В кухне задвигали стульями. Кто-то уходил. Надя встала с осторожностью и вышла на цыпочках из комнаты. Левин и Лариса уже стояли в коридоре. Надя прошла мимо них, Лариса шепнула ей очень ласково: «Ну как, уснули ребятки?» — и поцеловала Надю в шею. Шурясь от света, Надя вошла на кухню. Она сразу увидела сонные, в красных веках, замученные Володины глаза. Поняла, что он выпил лишнее, что ему худо, тоскливо, но, как подобает хозяину, он продолжает вести с гостями разговор. От телепатии уже перешли к грибам. Все в эту осень помешались на грибах.

Зина подвинула Наде тарелку с салатом: «Ешьте, Надя. У вас должны быть силы». Володя налил ей водки. Его рука легла на могучую Надину спину. Надя любила, когда он трогал ее. Но сейчас она ничего не испытывала. Его рука была как чужая, а ее собственное тело было бесчувственно, и она движением плеча слегка сдвинула его руку. Ей стало неприятно от того, что он говорил о грибах.

Тетя Фрося упорно смотрела Наде в глаза. Лицо тети Фроси было рыхло, вислощечно, густого розового цвета, какой бывает у хорошо промытого в воде парного телячьего мяса. Из глаз тети Фроси катились слезы — она тоже говорила о грибах, но при этом вытирала щеки платком, — и Надя вдруг сердцем почувствовала, что тетя Фрося единственный тут родной ей по крови человек. Увидела знакомые, похожие на маминны пальцы, знакомую неуловимую скуластость. И испытала к тете Фросе внезапную нежность, как никогда прежде.

— Наденька, — сказала мать Зины Евгения Глебовна, — а ведь я в этой вашей квартирке первый раз. Это вы выменяли свои комнаты на Мытной?

Надя кивнула.

— Там у вас, кажется, были две комнаты в коммунальной квартире? В старом доме?

— Да, — сказала Надя.

— А тут однокомнатная?

Надя кивнула.

— Сколько же метров тут?

Так как Надя не отвечала, а сидела как бы в оцепенении, глядя на блюдо с салатом, Володя сказал:

— Двадцать четыре вроде.

— Я почему спрашиваю, Володя, — сказала Евгения Глебовна, — потому что мы тоже загорелись меняться. У нас ведь прекрасные две комнаты. Ну, я потом, потом! — Она вдруг замахала рукой и зашептала: — Потом спрошу! Как-нибудь. Ладно, потом!

— Тоня-то где спала? — спросила старушка Марья Давыдовна.

— Здесь, — сказал Володя.

— Где же ей спать? — сказала Евгения Глебовна. — Там у них дети, и их двое. А здесь очень хорошо и отдельно. Только, конечно, газом чуть отзывает, но можно проветривать.

Мария Давыдовна с сомнением оглядывала кухню, где сейчас нельзя было повернуться.

— Это как же здесь?

— Стол сдвигаем сюда, к рукомойнику. А здесь ставим раскладушку, — показал Володя. — Неудобно, конечно, да выхода не было. Мне квартиру обещают на будущий год.

Мария Давыдовна кивала:

— Очень хорошо, верно, верно...

Тетя Фрося вдруг грубым и долгим голосом всхлипнула, закрыла лицо платком и залилась рыданием. Надя, тоже едва сдерживая слезы, обняла ее, стала успокаивать:

— Тетя Фросечка, милая, ну не надо же, миленькая...

— Заездила мать! — рыдающим голосом проговорила тетя Фрося, локтем отодвигая Надю.

— Ну что вы, тетя Фрося! — еще не почувствовав удара, все так же нежно и успокаивающе говорила Надя.

— Заездила, заездила мать, — повторила тетя Фрося, тряся головой.

— Зачем такое говорить? Ах ты, боже мой! — сказала женщина, красившая с Антониной Васильевной платки.

Тетя Фрося сделала слабое движение рукой, означавшее: «Да что говорить...» Ее лицо перекошилось от нового приступа рыдания; она захлопала, засморкалась и, посмотрев на Надю, заговорила плаксиво:

— Ты прости меня, Надежда. Я очень Тоню любила... Я правду говорю, истинную правду...

Надя почувствовала лицом, как побелела: так бывало у нее в часы мигреней, когда она валилась на кровать колодой. Стиснула ладонями лоб. И удивление: «Почему никто не возражает?» Она видела со стороны свое белое лицо, такое белое и невозможно маленькое по сравнению с грузным, отяжелевшим и старым телом. Потом услышала, как заговорили, задергались. Возник Левин, ухватил Надю под мышки. Поташил из-за стола вверх. Володя кричал: «Вы! Злобная тварь! Чтоб вашей ноги!..» Надю увели в комнату. Она лежала в темноте, слыша сквозь забытие, озноб, как кричат в коридоре.

Очнулась глубокой ночью. Володя спал рядом. Все ушли. Надя встала, вышла, шатаясь, в прихожую — посмотреть на себя в зеркало, — оттуда на кухню. Грязные тарелки были сложены в раковине. Ходики показывали три часа. Надя открыла кран горячей воды, взяла свившуюся жгутом тряпочку из обрывка капронового чулка, висевшую на кране, намылила ее и принялась за посуду.

На другой день, в четверг, Надя должна была выходить на работу. Она работала на заводе за Крестьянской заставой, ездила в один конец час двадцать минут, метро и автобусом, и обычно выходила из дома в половине седьмого. Но в четверг она договорилась по телефону — позвонила своей начальнице в ПТО, — что придет к десяти часам, потому что надо было устроить ребят. Детский сад «Ласточка» при ЖЭК № 4 был самый близкий, одна остановка троллейбусом, а можно и пешком. Говорили, что дети там часто болеют. Но выхода не было.

На работе Наде выражали сочувствие, каждый по-своему. Знакомая старуха гардеробщица сказала Наде: «С печалью тебя!» Одни целовали ее, и Надя даже видела мелькавшие на миг слезы, другие молча трясли руку, а некоторые просто смотрели чуть пристальней обычного Наде в глаза, стараясь что-то понять. Были и такие, которые делали вид, будто ничего в Надиной жизни не произошло. Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше.

*1968*

## ПУТЕШЕСТВИЕ

Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как — самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале — уехать немедленно. Почему мне стало так худо — это другая история, рассказывать ее долго и ни к чему. Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди, — врачи объясняли это вегетативным неврозом, но я-то знал, что дело в чем-то другом, может быть в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву, — мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что, если я не вырвусь завтра же из этой клетки из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, — я умру.

Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой.

Пришел день. Он был сер. Лишь немного погода оказалось, что он синь и безоблачен. Первый раз в этом году я вышел без шапки на улицу и отправился в редакцию одной газеты, чтобы взять командировку и немедленно уехать. Люди из этой газеты однажды предлагали мне командировку, но сейчас они не могли понять, чего я хочу. Заведующий промышленным отделом, маленький болезненный человечек в рубашке джерси, рассказывал о том, что в Соликамске и Кондопоге полным ходом разворачивается стройка громадных комбинатов по производству бумаги, а в Тюменской области открыты новые

месторождения нефти. Еще более интересные дела творятся в Иркутской области, где создается новый промышленный бассейн. А если говорить о большой химии, сказал он, то нельзя не упомянуть о Навоинском химическом комбинате, где досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии. Я сказал, что все это для меня одинаково необыкновенно интересно. Но именно поэтому мне трудно сделать выбор. Я намекнул, что мне хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых раскрывались бы судьбы людей и разные точки зрения на жизнь.

— Это вы найдете где угодно, — быстро проговорил заведующий отделом. На его лице застыло странное двойное выражение: скорби и надменности одновременно. И, разговаривая со мной, он все время катал пальцами по столу заграничный шариковый карандаш.

Я поблагодарил его и вышел, сказав, что подумаю. Молодой человек, молча присутствовавший при нашем разговоре, вышел вместе со мной в коридор. Мы стали спускаться по лестнице.

— Вам нужны впечатления? — спросил молодой человек неожиданно.

— Ну конечно! — сказал я. — В том-то и дело, что мне нужны впечатления, черт бы их побрал! Я остался совершенно без впечатлений. Это как-то глупо звучит, но это так.

Мне было немного стыдно: я как будто признавался в том, что оказался без денег, и просил в долг. Но молодой человек искренне хотел помочь, я это чувствовал.

— Если вам нужны впечатления, — сказал он, — тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк, там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу.

— Вы так думаете? — спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли. — Конечно, вы правы: дело не в километрах...

Когда я вышел на улицу, солнечный полдень был в разгаре. Перед входом в кинотеатр стояла толпа. Я прошел



через толпу, повернул налево, миновал памятник, возле которого всегда стояло несколько провинциалов в длинных пальто с фотоаппаратами в руках, и пошел вниз по широкой улице. Навстречу мне двигался густой и медленный, весенний поток людей. Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезающие сзади, за спиной, исчезающие бесследно, для того чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал: зачем ехать в Курск или в Липецк, когда я как следует не знаю Подмосковья. Я никогда не был в Наро-Фоминске. Не знаю, что такое Мытищи. Да и в самой Москве есть улицы и районы, совершенно мне неведомые.

Через полчаса я вышел из троллейбуса возле своего дома. На углу Второй Песчаной, где находится диетический «Гастроном», я остановился и поглядел кругом: я увидел сквер с нагими деревьями, сырые ветви которых искрились на солнце. На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них. Солнце ласкало их старую, в мешках и складках кожу. Некоторые из стариков улыбались, лица других казались окаменевшими и тупыми, некоторые дремали.

Постояв немного, я направился к своему подъезду, сел в лифт и поехал на шестой этаж. Там, на шестом этаже, из квартиры напротив вышел Дашенькин, мой сосед. Он молча протянул мне свою руку, всегда немного дрожащую, и побежал вниз по лестнице. Он всегда торопился, ходил сутуля плечи, и в глазах его тлеяла какая-то безумная озабоченность. Он работал жестянщиком в трамвайном депо. Его соседка по коммунальной квартире считала его сумасшедшим и написала заявление в психдиспансер с требованием, чтобы его забрали. Несколько дней назад она пришла ко мне и попросила тоже написать заявление или хотя бы подтвердить, что Дашенькин изводит свою жену и дочку, ученицу третьего класса, нескончаемыми скандалами. Шум скандалов и даже драк доносился в мою квартиру часто; иногда соседка, ее муж и Дашенькин с криками выскакивали на лестничную площадку,

что я и подтвердил. Потом спохватился: зачем я это сделал? Ведь человека могут действительно забрать в больницу. В тот же вечер я пошел к соседке и попросил вернуть заявление, мной подписанное, но она сказала, что уже отослала его. Она успокоила меня: Дашенькина не заберут, только попугают. По-видимому, заявление еще не начало действовать, ибо Дашенькин пожал мне руку с чувством, как доброму другу. Я слышал, как он, стуча тяжелыми башмаками, бежал по ступеням вниз и где-то на четвертом или на третьем этаже громко откашлялся и харкнул на лестницу. У него никогда не хватало терпения добежать до улицы.

Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили навагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю.



*Юрий  
Трифонов*

---

**ПОВЕСТИ**

**Обмен**

**Другая жизнь**

**Дом на набережной**

**Опрокинутый дом**

## ОБМЕН

В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая, что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре ее отправили домой, пополневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.

Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже. И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, *всегда при себе*, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она говорила: «Вот поэтому я и с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, потому что ты — вылитая она, а с меня хватит одного тебя».

Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь ехидного

словца, сказанного Леной; из-за жены пускался в тягостные «выяснения отношений» с матерью, после чего мать не разговаривала с ним по нескольку дней. Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного из всего этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и преодолеть ее они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины — Ксения Федоровна работала старшим библиографом одной крупной академической библиотеки, а Лена занималась переводами английских технических текстов и, как говорили, была отличной переводчицей, даже участвовала в составлении какого-то специального учебника по переводу, — почему две хорошие женщины, горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердую с годами взаимную неприязнь?

Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил. Поэтому, когда Лена вдруг заговорила об обмене с Маркушевичами — поздним вечером, давно отужинали, Наташка спала, — Дмитриев испугался. Кто такие Маркушевичи? Откуда она их взяла? Двухкомнатная квартира на Малой Грузинской. Он понял тайную и простую мысль Лены, от этого понимания испуг проник в его сердце, и он побледнел, сник, не мог поднять глаз на Лену.

Так как он молчал, Лена продолжала: материнская комната на Профсоюзной им понравится наверняка, она их устроит географически, потому что жена Маркушевича работает где-то возле Калужской заставы, а вот к их собственной комнате потребуются, наверно, доплата. Иначе не заинтересуешь. Можно, конечно, попробовать обменять их комнату на что-то более стоящее, будет тройной обмен, это не страшно. Надо действовать энергично. Каждый день что-то делать. Лучше всего найти маклера.

У Люси есть знакомый маклер, старичок, очень милый. Он, правда, никому не дает своего адреса и телефона, а появляется сам как снег на голову, такой конспиратор, но у Люси он должен скоро появиться: она ему задолжала. Это закон: никогда нельзя давать им деньги вперед...

Разговаривая, Лена стелила постель. Он никак не мог посмотреть ей в глаза, теперь он хотел этого, но Лена стояла к нему то боком, то спиной, когда же она повернулась и он взглянул ей прямо в глаза, близорукие, с расширенными от вечернего чтения зрачками, увидел — решимость. Наверно, готовилась к разговору давно, может, с первого дня, как узнала о болезни матери. Тогда же ее и осенило. И пока он, подавленный ужасом, носился по врачам, звонил в больницы, устраивал, терзался, — она обдумывала, соображала. И вот нашла каких-то Маркушевичей. Странно, он не испытывал сейчас ни гнева, ни боли. Мелькнуло только — о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности. Кроме того, можно ли сердиться на человека, лишенного, к примеру, музыкального слуха? Лену всегда отличала некоторая душевная — нет, не глухота, чересчур сильно, — некоторая душевная неточность, и это свойство еще обострялось, когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: умение добиваться своего.

Он зацепился за то, что было вблизи: зачем нужен маклер, если квартира на Малой Грузинской уже найдена? Маклер нужен, если придется менять их комнату. И вообще чтоб ускорить весь процесс. Она не заплатит ему ни копейки до тех пор, пока не получит ордер на руки. Стоит это не так уж дорого, рублей сто, максимум полтораста. Так и есть! Его мрачность она расценила по-своему. Какая тонкая душа, какой психолог. Он сказал, что лучше бы она подождала, пока он начнет этот разговор сам, а не начнет — значит, не нужно, нельзя, не об этом сейчас надо думать.

— Витя, я понимаю. Прости меня, — сказала Лена с усилием. — Но... (Он видел, что ей очень трудно, и все-таки она договорит до конца.) Во-первых, ты уже

начинал этот разговор, правда же? Много раз начинал. А во-вторых, это нужно всем нам, и в первую очередь твоей маме. Витька, родной мой, я же тебя понимаю и жалею как никто, и я говорю: это нужно! Поверь...

Она обняла его. Ее руки стискивали его все сильнее. Он знал: эта внезапная любовь неподдельна. Но почувствовал раздражение и отодвинул Лену локтем.

— Ты не должна была сейчас начинать! — повторил он угрюмо.

— Ну, хорошо, ну, извини меня. Но я же забочусь не о себе, правда же...

— Замолчи! — почти крикнул он шепотом.

Лена отошла к тахте и продолжала раскладывать постель молча. Она вынула из ящика, стоявшего в головах тахты, толстую клетчатую скатерть, служившую обыкновенно подкладкой под простыню, но иногда применявшуюся и по своему прямому назначению для обеденного стола, на скатерть положила простыню, которая вздулась и легла не очень ровно, и Лена нагнулась, вытягивая вперед руки, чтобы достать до дальнего края тахты — лицо ее при этом мгновенно налилось краской, а живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим, — и расправила завернувшиеся углы (когда стелил Дмитриев, он никогда не расправлял углов), потом бросила на простыню, к ящику, две подушки, одна из которых была с менее свежей наволочкой, эта подушка принадлежала Дмитриеву. Вытянув из ящика и кладя на тахту два ватных одеяла, Лена сказала дрожащим голосом:

— Ты меня как будто обвиняешь в бестактности, но, честное слово, Витя, я действительно думала обо всех нас... О будущем Наташки...

— Да как ты можешь!

— Что?

— Как ты можешь вообще говорить об этом сейчас? Как у тебя язык поворачивается? Вот что меня изумляет. — Он чувствовал, что раздражение растет и рвется на волю. — Ей-богу, в тебе есть какой-то душевный дефект. Какая-то недоразвитость чувств. Что-то, прости



меня, недочеловеческое. Как же можно? Дело-то в том, что больна моя мать, а не твоя, правда ведь? И на твоём бы месте...

— Говори тише.

— На твоём бы месте я никогда первый...

— Тихо! — Она махнула рукой.

Оба прислушались. Нет, все было тихо. Дочка спала за ширмой в углу. Там же за ширмой стоял её письменный столик, за которым вечерами она готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для книг, провел туда электричество для настольной лампы — сделал за ширмой особую комнатку, «одиночку», как называли её в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти знакомых. Тахта стояла у окна, её отделял от «одиночки» дубовый, с резными украшениями буфет, доставшийся Лене в наследство от бабушки, — вещь нелепая, которую Дмитриев много раз предлагал продать, Лена тоже была не против, но возражала теща. Вера Лазаревна жила недалеко, через два дома, и приходила к Лене почти ежедневно под предлогом «помочь Наташеньке» и «облегчить Ленусе», а на самом деле с единственной целью — беспардонно вмешиваться в чужую жизнь.

Вечерами, ложась на свое чешское ложе — оказавшееся не очень-то прочным, вскоре оно расшаталось и скрипело при каждом движении, — Дмитриев и Лена всегда долго прислушивались к звукам, доносившимся из «одиночки», стараясь понять, заснула дочка или нет. Дмитриев звал, проверяя, вполголоса: «Наташ! А Наташ!» Лена подходила на цыпочках и смотрела сквозь щелку в ширме. Лет шесть назад взяли няньку, она спала на раскладушке здесь же в комнате. Фандеевы, соседи, возражали против того, чтоб в коридоре. Старуха страдала бессонницей и обладала острейшим слухом; ночами напролет она что-то бормотала, кряхтела и прислушивалась: то мышшь скребется, то бежит таракан, то кран на кухне забыли закрутить. Когда старуха ушла, у Дмитриевых началось что-то вроде медового месяца.

— Опять сидела с физикой до одиннадцати часов, — сказала Лена шепотом. — Надо брать кого-то... У Антонины Алексеевны есть хороший репетитор.

То, что Лена перевела разговор на Наташкины невзгоды и смирилась со всеми дмитриевскими оскорблениями, пропустила их мимо ушей — что было на нее непохоже, — означало, что она твердо хочет примириться и довести дело до конца. Но Дмитриеву еще не хотелось мириться. Наоборот, его раздраженность усиливалась оттого, что он вдруг осознал главную бестактность Лены: она заговорила так, будто все предрешено и будто ему, Дмитриеву, тоже ясно, что все предрешено, и они понимают друг друга без слов. Заговорила так, будто нет никакой надежды. Она не смела так говорить!

Объяснять все это было невозможно. Дмитриев рывком вскочил со стула, схватил пижаму и полотенце и, ни слова не говоря, почти выбежал из комнаты.

Когда через несколько минут он вернулся, постель была готова. В комнате стоял запах духов. Лена в незастегнутом халате расчесывала волосы, стоя перед зеркалом, и ее лицо выражало безучастность и даже, пожалуй, хорошо скрытую обиду. Но запах духов выдавал ее. Это был зов, приглашение к перемирию. Придерживая полы халата одной рукой у подбородка, а другой — на животе, Лена быстрым и деловым шагом, не посмотрев на Дмитриева, прошла мимо него в коридор. Ему снова вспомнились стихи, которые он бормотал все последние дни: «О, господи, как совершенны дела твои...» Закрыв глаза, он сел на край тахты. «Думал, больной...» Просидел так несколько секунд. Он знал, что в глубине души Лена довольна, самое трудное сделано: она сказала. Теперь надо зализать ранку, впрочем, и не ранку, а небольшую царапинку, сделать которую было совершенно необходимо. Вроде внутривенного укола. Подержите ватку. Немножко больно, зато потом будет хорошо. Важно ведь, чтоб *потом было хорошо*. А он не закричал, не затопал ногами, просто выпалил несколько раздраженных фраз, потом ушел в ванную, помылся, почистил зубы и сейчас будет спать. Он лег на свое место к стене и повернулся лицом к обоям.

Скоро пришла Лена, щелкнула дверным замком, зашуршала халатом, зашелестела свежей ночной рубашкой, выключила свет. Как ни старалась она двигаться легко и быть как можно более невесомой, тахта под ее тяжестью затрещала, и Лена от этого треска зашептала с некоторой даже шутливостью:

— Ой, боже мой, какой кошмар...

Дмитриев молчал, не двигался. Прошло немного времени, и Лена положила руку на его плечо. Это была не ласка, а дружеский жест, может быть, даже честное признание своей вины и просьба повернуться лицом. Но Дмитриев не шелохнулся. Ему хотелось сейчас же заснуть. С мстительным чувством он наслаждался тем, что погружается в неподвижность, в сон, что ему уже некогда прощать, объясняться шепотом, поворачиваться лицом, проявлять великодушие; он может лишь наказывать за бесчувственность. Рука Лены стала слегка поглаживать его плечо. Окончательная сдача! Робкими прикосновениями она жалела его, вымаливала прощение, извинялась за черствость души, которой, впрочем, можно найти оправдание, и призывала его к мудрости, к доброте, к тому, чтобы и он нашел в себе силы и пожалел ее. Но он не уступал. Что-то неостывшее в нем мешало повернуться, обнять ее правой рукой. Сквозь надвигавшуюся дремоту он видел крыльцо деревянного дома, Ксению Федоровну, стоявшую на самой верхней ступеньке крыльца и вытиравшую руки мятым вафельным полотенцем, и ее медленный взгляд прямо в глаза Дмитриеву, мимо русой головы, мимо ярко-голубого шелкового платья, и услышал глухой голос: «Сынок, ты хорошо подумал?» Глухой потому, что издали, из того ледяного майского дня, когда все были очень молодые, Валька полез купаться, Дмитриев поднимал двухпудовую гирю, Толик мчался куда-то на своем «вандерере» за вином, по дороге сломал забор, вызывали милицию, а потом на холодной верандочке, по стеклам которой шатался свет фонаря, Лена плакала, мучилась, обнимала его, шепча, что никогда, никого, на всю жизнь, это не имеет значения. Мама села утром на мотопед, повесила на руль бидончик и поехала на станцию

за молоком и хлебом. Ее несчастье — говорить сразу то, что приходит в голову. «Сынок, ты хорошо подумал?» Что могло быть бессильнее этой нелепой и жалкой фразы? Он ни о чем не мог думать. Май с ледяными ветрами, обрывавшими нежную, едва родившуюся листву, — вот что было тогда, чем они дышали. Мама учила английский просто так, для себя, чтоб читать романы, а Дмитриев собирался в аспирантуру, они вместе занимались с Ириной Евгеньевой и вместе вдруг прекратили, когда появилась Лена. Концом зонтика мама стучала в стекло верандочки — было не поздно, часов семь вечера: «Вставай! Ирина Евгеньевна ждет!» Дмитриев и Лена, притаясь под просторным ватным одеялом, делали вид, что спят. Раза два еще нерешительно стучал зонтик в окно, потом хрустели шишки под туфлями — мама уходила в молчании. Она сама не желала больше заниматься английским и утратила интерес к детективным романам. Однажды она услышала, как Лена, смеясь, передразнивает ее произношение. Вот оттуда, с той деревенской верандочки в мелком оконном переплете, началось то, что теперь поправить нельзя.

Рука Лены проявляла настойчивость. За четырнадцать лет эта рука тоже изменилась — она была раньше такой легкой, прохладной. Теперь же, когда рука лежала на плече Дмитриева, она давила немалой тяжестью. Дмитриев, ни слова не говоря, повернулся на левый бок, обнял Лену правой рукой, сдвинул ее ближе, сонно внушая себе, что имеет право, потому что уже спал, видел сны и, может быть даже, все еще спит. Во всяком случае, он ничего не говорил, глаза его были закрыты, как у человека действительно спящего, и в те секунды, когда Лене очень хотелось, чтобы он ей что-нибудь сказал, он продолжал молчать. Только потом, когда он глубоко и по-настоящему заснул, часа в два ночи, он бормотал со сна какую-то невнятицу.

Дмитриеву в августе исполнилось тридцать семь. Иногда ему казалось, что еще все впереди.

Такие приступы оптимизма бывали по утрам, когда он просыпался вдруг свежим, с нечаянной бодростью — много

содействовала тому погода — и, открыв форточку, начинал в ритме размахивать руками и сгибаться и разгибаться в поясе. Лена и Наташка вставали на четверть часа раньше. Иногда с раннего утра, чтобы проводить Наташку в школу, являлась Вера Лазаревна. Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, переговаривались громким шепотом, гремели посудой, Наташка ворчала: «Опять каша! Неужели у вас фантазии нет?» Лена реагировала с привычным утренним гневом: «Я тебе покажу фантазию! Сядь как следует!» — а теща бубнила: «Если б другие дети имели то, что имеешь ты...» Это была заведомая ложь. Другие дети имели все то же самое и даже гораздо больше. Но в те утра, когда Дмитриев просыпался, охваченный невразумительным оптимизмом, его ничто не раздражало. Он смотрел с высоты пятого этажа на сквер с фонтаном, улицу, столб с таблицей троллейбусной остановки, возле которого сгушалась толпа, и дальше он видел парк, многоэтажные дома на горизонте и небо. На балконе соседнего дома, очень близко, в двадцати метрах напротив, появлялась молодая некрасивая женщина в очках, в коротком, неряшливо подпоясанном домашнем халате. Она присаживалась на корточки и что-то делала с цветами, стоявшими на балконе в горшках. Она их трогала, поглаживала, заглядывала под листочки, а некоторые листочки поднимала и нюхала. Оттого, что она садилась на корточки, халат раскрывался, и становились видны ее крупные синевато-белые колени. Лицо женщины было такого же тона, как колени, синевато-белое. Дмитриев наблюдал за женщиной, сгибаясь и разгибаясь в поясе. Он смотрел из-за занавески. Непонятно почему — женщина ему совсем не нравилась, — но тайное наблюдение за ней вдохновляло его. Он думал о том, что еще не все потеряно, что тридцать семь — это не сорок семь и не пятьдесят семь и он еще может кое-чего добиться.

Топоча по коридору, в суматохе, сопровождаемые криками Лены: «А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети, attention», — Наташка и фандеевская Валя, шестиклассница, покидали дом в тридцать минут

девятого. Под их прыжками содрогалась лестница. Дмитриев проскальзывал в ванную, запирался, через три минуты легкий стук прерывал его размышления: «Виктор Георгиевич, сегодня пятница, у меня стирка, я вас умоляю — побыстрее!» Это был голос соседки Ираиды Васильевны, с которой теща Дмитриева не разговаривала, Лена была в холодных отношениях, но Дмитриев старался быть корректен, оберегая свою объективность и независимость. «Хорошо! — отвечал он сквозь шум воды. — Будет сделано!» Он быстро брился, включив газовую колонку и полоская кисточку под горячей струей, потом мыл лицо над старым, пожелтевшим, с отбитым краем умывальником — его давно полагалось сменить, но Фандеевым один черт, над каким умывальником мыться, а Ираида Васильевна жалела деньги — и вскоре, слегка насвистывая, с газетами в руке, которые он успевал по пути из ванной по коридору достать из ящика, возвращался в комнату. Стол еще был загроможден посудой после недавней еды Наташки и Лены. Теперь торопилась Лена, она уходила на десять минут позже Наташки, и утреннее обслуживание Дмитриева принимала на себя теща. Дмитриеву это не особенно нравилось, теща тоже ухаживала за зятем без энтузиазма — это была ее маленькая утренняя жертва, один из тех незаметных подвигов, из которых и состоит вся жизнь таких тружениц, таких самозабвенных натур, как Вера Лазаревна.

Иногда Дмитриев замечал, что Лена лишь старается показать, что ей некогда, а на самом деле у нее вполне хватило бы времени приготовить ему завтрак, но она нарочно уступала эту миссию матери: как бы затем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай на минуту, теще обязан. Она даже могла шепнуть ему на ухо: «Не забудь поблагодарить маму!» Он благодарил. Он видел все эти уловки по регулированию семейных связей и в зависимости от настроения то не обращал на них внимания, то тихо раздражался. На тихое раздражение Вера Лазаревна всегда отвечала по-своему — нежнейшим ехидством. «Как быстро-то Виктор Георгиевич освободил ванную! Вот молодец! — улыбаясь, говорила она

и влажным кухонным полотенцем вытирала на клеенке местечко для Дмитриева. — Что значит — соседка попросила...» Лена решительно пресекала: «При чем тут соседка? Витя всегда моется быстро». — «Я и говорю: молодец, молодец, по-военному...»

В то утро начального октября за окном была синь, комната наполнилась светом, отраженным от залитого солнцем бело-кирпичного торца противоположного дома, и голоса Веры Лазаревны не было слышно. В первый миг едва разлепив глаза, Дмитриев бессознательно — из-за солнца и света — ощутил радость, но уже в следующую секунду все вспомнилось, синева смеркла, за окном установился безнадежно ясный и холодный осенний день. До завтрака ни он, ни Лена не сказали друг другу ни слова. Но после того, как Дмитриев позвонил Ксении Федоровне — он звонил сестре Лоре в Павлиново, где сейчас мать жила, и Ксения Федоровна бодрым голосом рассказала, что вчера поздно заезжал Исидор Маркович, нашел состояние хорошим, давление в норме, советовал с первым снегом поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий, затем следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, исправила ли тройку по физике, дают ли ей морковку, сырую, тертую, самое полезное питание для глаз, и что слышно с командировкой Дмитриева, — он испытал внезапное облегчение, точно отлив боли от головы. Вдруг показалось, что все, может, и обойдется. Бывают же ошибки, самые невероятные ошибки. И с этой ничтожной радостью и минутной надеждой он пришел после телефонного разговора в комнату — Наташка уже убежала, а Лена поспешно что-то шила, наполовину одетая, в юбке и в черной нижней рубашке с голыми плечами — и, проходя мимо Лены, он легонько шлепнул ее пониже спины и спросил дружелюбно:

— Ну-с, как настроение?

Вдруг сухо Лена ответила, что настроение у нее плохое.

— Да что ты? — сказал Дмитриев, задетый тем, что так сухо отвечают на его дружелюбие. — Это отчего же?

— Причин, по-моему, больше, чем достаточно. Мама заболела.

— Твоя мама?

— Ты думаешь, только твоя может болеть?

— А что с Верой Лазаревной?

— Что-то очень серьезное с головой. Второй день лежит, я уж тебе не говорила вчера, но сегодня утром позвонила... Какие-то мозговые спазмы.

Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво — руки у Лены сверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках. Ей надо носить только длинные рукава, но сказать ей об этом было бы неосмотрительно. Какая выдержка — ни звука о своем вчерашнем предложении! Может, ей стало стыдно, но скорее тут была некоторая амбиция: ее обвинили в бестактности, в отсутствии чуткости, как раз в тех качествах, которые ей самой особенно неприятны в людях, и она проглотила эту несправедливость и даже просила прощения и как-то унижалась. Но теперь она будет молчать. Зачем всегда ходить в плохих? Нет уж, теперь станете просить — не допроситесь. К тому же ей не до того, она озабочена болезнью матери (Дмитриев готов был отвечать ста рублями против рубля за то, что у тещи ее обычная мигрень). Господи, как он научился читать вслепую в этой книге! Не успел Дмитриев насладиться последней мыслью, полной самодовольства, как Лена ошеломила его. Совершенно буднично и мирно она сказала:

— Витька, я тебя прошу — поговори сегодня же с Ксенией Федоровной. Просто предупреди, что Маркушевичи могут смотреть ее комнату, и надо взять ключ.

Помолчав, он спросил:

— Когда они хотят смотреть?

— Завтра, послезавтра, не знаю точно. Они позвонят. А ты, если поедешь сегодня в Павлиново, не забудь, возьми ключ у Ксении Федоровны. Кефир, пожалуйста, поставь в холодильник, а хлеб — в мешочек. А то всегда оставляешь, и он сохнет. Пока!

Махнув приветственно, она вышла в коридор. Хлопнула входная дверь. Загудел лифт. Дмитриеву что-то хотелось



сказать, какая-то мысль, неясно-тревожная, возникала на пороге сознания, но так и не возникла, и он, сделав два шага вслед за Леной, постоял в коридоре и вернулся в комнату.

От ранней синевы не осталось и помину. Когда Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, сеялся мелкий дождь и было холодно. Все последние дни дождало. Конечно, Исидор Маркович прав — он опытный врач, старый воробей, его приглашают на консультации в другие города — надо вывозить мать за город, но не в такую же гриппозную сырость. Но если он советует подмосковный санаторий, значит, не видит близких угроз — вот же что! И Дмитриев второй раз за сегодняшнее утро с робостью подумал о том, что, может быть, все и обойдется. Они обменяются, получают хорошую отдельную квартиру, будут жить вместе. И чем скорее обменяются, тем лучше. Для самочувствия матери. Свершится ее мечта. Это и есть психотерапия, лечение души! Нет, Лена бывает иногда очень мудра, интуитивно, по-женски — ее вдруг осеняет. Ведь тут, возможно, единственное и гениальное средство, которое спасет жизнь. Когда хирурги бессильны, вступают в действие иные силы... И это то, чего не может добыть ни один профессор, никто, никто, никто!

Уже ни о чем другом не мог думать Дмитриев, стоя на троллейбусной остановке под морозящим дождем, и потом, пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто, пахнущих сырым сукном, и об этом же он думал, сбегая по грязным, скользким от нанесенной тысячами ног дождевой мокряди, ступеням метро, и стоя в короткой очереди в кассу, чтобы разменять пятиалтынный на пятаки, и снова сбегая по ступеням еще ниже, и бросая пятак в щель автомата, и быстрыми шагами идя по перрону вперед, чтобы сесть в четвертый вагон, который остановится как раз напротив арки, ведущей к лестнице на переход. И все о том же — когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору, где был спертый воздух и всегда пахло сырым алебастром, и когда он стоял на эскалаторе, втискивался в вагон, рассматривал пассажиров, шляпы, портфели, куски

газет, папки из хлорвинила, обмякшие утренние лица, старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр, — у любого из этих людей мог быть спасительный вариант. Дмитриев готов был крикнуть на весь вагон: «А кому нужна хорошая, двадцатиметровая?..»

Без четверти девять он выбрался из подземелья на площадь, без пяти пересек переулок и, обогнув стоявшие возле подъезда автомобили, вошел в дверь, рядом с которой висела под стеклом черная таблица «ГИНЕГА».

В этот день решался вопрос о командировке в Голышманово, в Тюменскую область. Командировку утвердили еще в июле, и ехать обязан был не кто иной, как Дмитриев. Насосы — его вотчина. Он один отвечал за это дело и один в нем по-настоящему разбирался, если не считать Сниткина. Неделю назад Дмитриев затеял с ним разговор, но Паша Сниткин, хитроумный деятель (в отделе его называли «Паша Сниткин С-мирупо-ниткин» за то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали), сказал, что поехать, к сожалению, никак не может — тоже по семейным обстоятельствам. Наверное, врал. Но тут было его право. Кому охота ехать в ненастье, в холода в Сибирь? Сниткину было неловко отказывать, и у него вырвалось с досадой: «Ты же говорил, что твоей матушке стало лучше?»

Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой: «Где лучше...» А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей, вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев был почему-то совершенно уверен. Но почему? С какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью: «Ну, как у вас дома дела?» — но просто это сочувствие и эта проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Паша Сниткин переводил дочку в музыкальную школу, этим хлопотливым делом мог заниматься один он — ни

мать, ни бабушка. И если б он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году безусловно пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать — умирает человек и девочка поступает в музыкальную школу? Да, да. Можно. Это шляпы примерно одинакового размера — если умирает *чужой* человек, а в музыкальную школу поступает своя *собственная*, родная дочка.

Директор ждал Дмитриева в половине одиннадцатого. Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор сказал:

— Так что же будем делать?

Дмитриев ответил:

— Не знаю. Ехать я не могу.

Директор молчал, трогая белыми широкими пальцами кожу на щеках, на подбородке, словно проверяя, хорошо ли побрился. Взгляд его становился задумчивым. Он действительно о чем-то крепко задумался и даже бессознательно замурлыкал какую-то мелодию.

— Н-да... Так как же быть, Виктор Георгиевич? А? А если дней на десять?

— Нет! — отрывисто сказал Дмитриев.

Он понял, что может стоять как скала и его не сдвинут. Только не надо ничего объяснять. И директор, подумав, назвал фамилию Тягусова, молодого парня, год назад окончившего институт и, как казалось Дмитриеву, порядочного балбеса.

Еще недавно Дмитриев стал бы протестовать, но теперь вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. А почему не Тягусова?

— Конечно, — сказал он. — Я посижу с ним дня два, все ему объясню. Он справится. Парень толковый.

Придя в свою комнату на первом этаже, Дмитриев полтора часа работал не разгибаясь: готовил документацию для Голышманова. Хотя он и раньше не верил в то, что его заставят поехать, все же мысль о командировке давила, была ко всем его тягостям еще одной гирькой, и теперь, когда гирьку сняли, он испытал облегчение. И подумал

с надеждой, что сегодня, может быть, будет удачный день. Как у всех людей, которых гнетет судьба, у Дмитриева выработалось суеверие: он замечал, что бывают дни везения, когда одна удача цепляется за другую, и в такие дни надо стараться проворачивать как можно больше дел, и бывают дни невезения, когда ни черта не клеится, хоть лопни. Похоже на то, что начинается день удач. Теперь надо занять деньги. Лора просила привезти хотя бы рублей пятьдесят. На одного Исидора Марковича ушло за месяц — четырежды пятнадцать — шестьдесят рублей. А где взять? Такая гадость: занимать деньги. Но делать надо сегодня, раз уже сегодня *день удач*.

Дмитриев стал думать, к кому бы ткнуться. Почти все — он вспомнил — жаловались недавно, что денег нет, прожились за лето. Сашка Прутьев строил кооперативную квартиру, сам был весь в долгах. Василий Герасимович, полковник, партнер по преферансу и по поездкам на рыбалку, всегда выручавший Дмитриева, переживал трагедию — ушел от жены, просить его было неловко. Приятели Дмитриева по КПЖ (клуб полуженатиков), к которым Дмитриев кидался в минуты отчаянья, когда ссорился с Леной, были люди малоимущие — их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски «Белая лошадь», купленных случайно в Столешниковом и хранящихся на всякий пожарный дома в книжном шкафу, — и могли одолжить не больше четвертака, сороковки от силы, а достать необходимо было не меньше полутора сот. Была, конечно, последняя возможность, предел мучительства: попросить у тещи. Но это уж значило — докатиться. Дмитриев еще мог бы сделать над собой усилие, перемучиться, но Лена переживала такие вещи чересчур болезненно. Она-то знала свою мать лучше. Внезапно Дмитриеву пришло в голову — это была та самая мысль, что неясно тревожила, а теперь вдруг прорезалась, — как же сказать матери насчет обмена? Она прекрасно ведь знает, как Лена относилась к этой идее, а теперь почему-то предложила съезжаться. Почему?

Дмитриева даже бросило в пот, когда он все это вдруг сообразил. Он вышел в коридор, где на тумбочке стоял телефон, и позвонил Лене на работу. Обычно дозваться ее было нелегко. Но тут повезло (день удач!): Лена оказалась в канцелярии и сама сняла трубку. Дмитриев, торопясь, одной длинной сумбурной фразой высказал свои сомнения. Лена молчала, потом спросила:

— Значит, что же, ты не хочешь говорить?

— Я не знаю как. Не могу же я внушить ей мысль — ты понимаешь?

Лена, снова помолчав, сказала, чтобы он позвонил через пять минут по другому телефону, откуда ей удобней говорить. Он позвонил. Лена говорила теперь громко и энергично.

— Скажи так: скажи, что ты очень хочешь, а я против. Но ты настоял. То есть вопреки мне, ясно? Тогда это будет естественно, и твоя мама ничего не подумает. Вали все на меня. Только не перебарщивай, а так — намеками... — Неожиданно она заговорила изменившимся, льстивым голосом: — Извините, пожалуйста, одну минуточку, я сейчас уйду! Значит, все ясно? Ну, пока. Да, Витя, Витя! Поговори там с кем-то у вас на работе, кто удачно менялся, слышишь? Пока!

То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска стиснула сердце Дмитриеву. Он не мог сразу вернуться в комнату и несколько минут бродил по пустому коридору.

До обеда он ни к кому не пошел и не стал ничего узнавать, а после обеда поднялся на третий этаж к экономистам. Лишь только он отворил дверь, Таня сразу же увидела его и вышла. Ничего не спрашивая, она испуганно смотрела на него.

— Да нет, ничего плохого, — сказал он. — Даже, может, немного лучше. Тань, ты не знаешь: у вас кто-нибудь менялся? Квартиры менял?

— Не знаю. Кажется, Жерехов. А что?

— Мне надо посоветоваться. Мы должны срочно меняться, понимаешь?

— Вы?

— Да.

— Вы хотите... — лицо Тани покраснело, — съезжаться с Ксенией Федоровной?

— Да, да! Это очень важно. В общем, долго объяснять, но это просто необходимо сейчас.

Таня молчала, опустив голову. В ее волосах, упавших на лицо, было много седых. Ей тридцать четыре, еще молодая женщина, но за последний год она здорово сдала. Может, больна? Уж очень она похудела, тонкая шея торчит из воротника, на худом лице из просяной, веснушчатой бледности одни глаза — добрые — сияют во всегдашнем испуге. Этот испуг — за него, для него. Таня была бы, наверное, ему лучшей женой. Три года назад это началось, длилось одно лето и кончилось само собой: когда Лена с Наташкой вернулись из Одессы. Нет, не кончилось, тянулось слабой ниткой, рвалось на месяцы, на полгода. Знал, что, если рассуждать разумно, она была бы ему лучшей женой. Но ведь — разумно, разумно... У Тани был сын Алик и муж, носивший странную фамилию Товт. Дмитриев никогда его не видел. Знал, что муж сильно любил Таню, простил ей все, но после того лета, три года назад, она больше не могла с ним жить, и они расстались. Дмитриев очень жалел, что так получилось, что муж сделался несчастным человеком, бросил работу, уехал из Москвы, и Таня тоже стала несчастным человеком, но ничего поделать было нельзя. Таня хотела уйти из ГИНЕГА, чтобы не видеть каждый день Дмитриева, но уйти оказалось трудно. Потом она постепенно смирилась со всем этим и научилась спокойно встречаться с Дмитриевым и разговаривать с ним, как со старым товарищем.

Дмитриев вдруг понял, о чем она сейчас думает: значит — все, никогда.

— Ну, что можно сделать? — сказал он. — Понимаешь, это какой-то шанс, какая-то надежда. Мать же мечтала со мной жить.

— О чем ты говоришь? Она мечтала, наверное, не об этом.

— Я знаю.

— Ой, Витя... Ну, поговори с нашим Жереховым. Я его сейчас вызову. Только он большой болтун и враль, имей в виду. — Вдруг она спросила: — Тебе деньги нужны?

— Деньги? Нет.

— Витя, возьми. Я знаю, что значит болеть. Моя тетка болела восемь месяцев. Отложены двести рублей на летнее пальто, но лето, как видишь, кончилось, а я ничего не купила. Так что совершенно спокойно могу дать до весны.

— Нет, деньги мне не нужны. У меня есть. — Он поморщился. Еще чего: занимать у Тани! Вдруг усмехнулся. — Действительно, какой-то странный день! Одно за одним...

— Зайдем ко мне после работы, и я тебе дам, хорошо? Помолчав, он сказал:

— Я вру, денег у меня нет. Но не хочу брать у тебя.

— Дурак! — Она шлепнула его по щеке.

Дмитриев видел, что она обрадовалась. Она даже взяла его за руку, когда они вместе подошли к дверям комнаты, в которой сидел Жерехов.

— Леонид Григорьевич! — крикнула Таня. — Можно вас на минутку?

Жерехов, маленького роста приветливый старичок, совершенно лысый, с ровными и белыми вставными зубами, очень любезно и с охотой стал рассказывать, как он менялся. Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и приветлив со всеми — наверное, потому, что, находясь в жалком пенсионном возрасте, старичок боролся за место и желал со всеми подряд находиться в наилучших отношениях. Оттого он рассказывал невыносимо подробно и длинно. Кто-то уехал за границу. Кто-то оказался в безвыходном положении. Кому-то пришлось заплатить. Все это было не то. Но затем Жерехов вдруг воскликнул, и его голубые старческие глаза от прилива любезности расширились:

— Да! Вот с кем вам надо — с Невядомским! Вы Невядомского знаете, Алексея Кирилловича? Из КБ-3? У него такая же история, он тоже менялся, оттого... — Жерехов понизил голос, — что теща безнадежно хворала. У нее

была отличная комната, чуть ли не двадцать пять метров, где-то в центре. А Алексей Кириллович жил на Усачевке. Все надо было делать очень срочно. И удалось, вы знаете, замечательно удалось! Вот он вам расскажет. Правда, у него были зацепки в райжилотделе. Словом, так: он успел оформить обмен, сделал ремонт в той квартире — это его обязали через ЖЭК, — перевез тещу, получил лицевой счет, и через три дня старушка померла. Представляете? Он, бедняга, в ту зиму натерпелся, я помню. Чуть не слег. Но сейчас у него квартира исключительная, просто генеральская, люкс. Лоджии, два балкона, масса всякой подсобной кубатуры. Он на одном балконе даже помидоры выращивает. Вы зайдите, зайдите, он расскажет! Желаю успеха!

Жерехов благожелательно кивал и, пятясь, вперся назад в свою комнату. Пока он говорил, Таня стояла рядом с Дмитриевым и незаметно держала его за кончик мизинца.

— В шесть спускайся вниз, и сразу поедem, — сказала шепотом.

— Ты понимаешь, я должен сегодня к Лоре в Павлиново. Меня ждет мать. Она сейчас у Лоры.

Он знал, что наносит удар некоторым надеждам Тани, но лучше уж было сказать сразу.

— Ну, хорошо. Делай, как тебе нужно. — На ее лице все отпечатывалось мгновенно: оно смеркло.

— Нет, я к тому, что...

— Я понимаю! Неужели думаешь, что я не понимаю? Ни на секунду тебя не задержу. Возьмешь деньги и тут же — катись.

Кивнув, она быстро пошла от него по коридору. Еще недавно, год назад, в ее высокой фигуре было что-то, волновавшее Дмитриева. Особенно те минуты, когда она уходила от него и он смотрел ей вслед. Но теперь ничего не осталось. Все куда-то исчезло. Теперь это была просто высокая, худая, очень длинноногая женщина с пучком крашенных хною волос на тонкой шейке. И все-таки каждый раз, глядя на нее, он думал о том, что она была бы для него лучшей женой.



Дмитриев вернулся в отдел, посидел полчаса над документацией — мысли его вертелись вокруг того же: мать, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен — и понял, что надо уйти с работы раньше, иначе попадет в Павлиново чересчур поздно. Таня жила в неудобнейшем месте, хуже не придумаешь — в Нагатине. Дмитриев пошел в кабинет Сотниковой Варвары Алексеевны, своей начальницы, и сказал, что хотел бы, если можно, уйти сегодня в пять. Варвара Алексеевна согласилась. Все в отделе знали, что происходит в жизни Дмитриева, и относились с пониманием: каждую неделю разок-другой он мог уйти с работы раньше срока. Однажды даже, был такой грех, он бегал под этой маркой в универмаг «Москва», покупал форму для Наташки. Вновь Дмитриев поднялся на третий этаж и сказал Тане, чтоб она тоже отпросилась уйти в пять. Потом пошел в КБ-3 к Невядомскому — тут же, на третьем этаже.

Идти к Невядомскому Дмитриев решил после некоторых колебаний. Отношения между ними были прохладные — по вине одного дмитриевского приятеля, который уже полгода, правда, не работал в ГИНЕГА. У Невядомского с этим приятелем были какие-то скандалы в профкоме. И они не здоровались. А когда Невядомский встречал Дмитриева в компании этого приятеля, он — заодно уж — не здоровался и с Дмитриевым, и точно так же из солидарности с приятелем поступал Дмитриев. Однако когда Невядомский и Дмитриев встречались по отдельности, они вполне корректно, хотя и несколько прохладно здоровались и даже обменивались двумя-тремя фразами. Все это была чепуха собачья, и Дмитриев решил наплевать и пойти. А вдруг у Невядомского действительно *есть зацепки* и он ими поделится?

Невядомский, худощавый брюнет с черновато-рыжей курчавой бородкой, удивленно вскинул брови, когда Дмитриев, зайдя в комнату, попросил у него «краткой аудиенции». За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Невядомский стоял рядом и смотрел. У «кабетришников» любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки,

а у «кабедвашников» процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали и от рабочего времени, особенно к концу дня. Невядомский, сказав: «Одну минуту! Сейчас, сейчас!» — продолжал наблюдать за игроками. Те хлопали фигурами по доске со скоростью автоматов, пока один не вскрикнул: «Ах, черт!» — и ударом пальца не опрокинул своего короля. Невядомский рассмеялся злорадно и произнес:

— И сказал тут балда с укоризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!

После этого с выражением злорадной улыбки на лице он двинулся к дверям, но, наткнувшись взглядом на Дмитриева, согнал улыбку, и его брови опять с удивлением поднялись. Дмитриев стал нескладно излагать свою просьбу, вернее, намек на просьбу, окутанный торопливым и малосодержательным бормотанием. Невядомскому следовало догадаться: его просили поделиться советом о том, как поступать в известных ему обстоятельствах. Но Невядомский не догадывался. Его черновато-рыжая курчавая бородка поднималась выше, глаза смотрели все более холодно и, как показалось Дмитриеву, высокомерно.

— Простите, я не пойму, собственно...

— Сейчас я объясню. Дело в том, что причины, побудившие вас и меня... Словом, у нас одинаковая ситуация...

— Что вы имеете в виду?

— Что я имею в виду? — Дмитриев почувствовал, как его шея и щеки наливаются краской. — Я имею в виду вот что: мне тоже надо меняться как можно скорей. Я и хотел с вами посоветоваться, как это делается вообще? С чего начинать?

— С чего начинать? Как — с чего начинать? С бюро обмена, разумеется. Заплатить три рубля и дать объявление в бюллетене.

— Но вы же понимаете, что, если человек серьезно болен, очень серьезно, и дорог каждый час...

— А никак иначе вы начать не можете. С бюро обмена. Других путей я не знаю. — Невядомский засунул большой палец в ноздрю, указательным прижал ее сверху и стал сосредоточенно что-то оттуда выкручивать. По-видимому,

напряженно соображал, стоит или не стоит посвящать Дмитриева в свои *зацепки*. Решил: не стоит. — У меня не было никаких иных путей. — Вдруг Невядомский фыркнул. — Знаете, вы напомнили мне глупейшую историю! Когда я был студентом, у меня умер отец. Прошло месяца два или три... — Рассказывая, он продолжал большим пальцем выкручивать что-то из носа. — И неожиданно ко мне заходит сосед, незнакомый человек из другого подъезда, и говорит: «У меня умер отец, а я слышал, что у вас тоже недавно умер отец. Вот я пришел к вам познакомиться и попросить вас поделиться опытом». Каким опытом? Что? Как? Я его, разумеется, вежливо выставил.

«И это вынести тоже, — думал Дмитриев, ощущая оцепенение. Повернуться и уйти, но он продолжал стоять, глядя в черновато-рыжую бороду. — На тещиной могиле помидоры. Ну, все равно. И это тоже. И будет еще другое».

— Если хотите, у меня где-то есть телефон некоего Адама Викентьевича, маклера. Могу поискать...

Преодолевая оцепенение, Дмитриев повернулся и пошел по коридору прочь. В пять вышли с Таней на площадь, и тут же — редкий случай! — подвернулось пустое такси. Дмитриев свистнул, они вскочили, поехали. Переулок был заполнен толпой, двигавшейся в одном направлении, к метро. Кончилась заводская смена. Такси ехало медленно. Люди заглядывали в кабину, кто-то постучал ладонью по крыше. Когда проехали метро и вырвались на проспект, Дмитриев заговорил — о Невядомском, со злобой.

Таня взяла его за руку.

— Ну, зачем злишься? Не надо. Перестань...

Он чувствовал, как ее спокойствие и радость переливаются в него. Таня, улыбаясь, сказала:

— Все мы очень же разные. Мы — люди... У моей двоюродной сестры умер маленький сынок. Конечно, безумное горе, переживания и при этом какая-то новая, страстная любовь к детям, особенно больным. Она всех жалела, старалась чем могла помочь. И есть у меня знакомая, у которой тоже мальчик умер, от белокровия.

Так эта женщина всех возненавидела, она всем желает смерти. Радуетя, когда читает в газете, что кто-то умер...

Таня придвинулась. Положила голову ему на плечо, спросила:

— Можно? Тебе не мешает?

— Можно, — сказал он.

Ехали окраинами, через новые районы. Дмитриев рассказывал о Ксении Федоровне. Таня спрашивала с сочувствием — это было истинное, Дмитриев знал, к его матери она испытывала симпатию. А Ксении Федоровне нравилась Таня, они виделись раза два летом, в Павлинове. Таня держала его руку в своей, иногда начинала тихо щекотать его ладонь пальцем. Ласки Тани всегда были какие-то школьные.

Не отнимая руки, он подробно рассказывал о матери: что говорил профессор Зурин, что сказал Исидор Маркович. Таня засмеялась:

— Ах, гнусная баба! Одалживает деньги и пристаёт с нежностями, правда? — Она вдруг ткнулась носом к его щеке, прижалась. — Прости меня, Витя... Я не могу...

Он гладил ее голову. Долго ехали молча. Проехали Варшавку.

— Ну, что ты? — спросил он.

— Ничего. Не могу...

— Что?

— Жалко — тебя, твою маму... И себя заодно.

Дмитриев не знал, что сказать. Просто гладил ее голову, и все. Она стала хлюпать носом, он почувствовал на щеке мокрое. Тогда она отодвинулась от него и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Наконец миновали набережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора. Возле пивного ларька густела черная толпа мужчин. Некоторые в одиночку и парочками с кружками в руках стояли поодаль. Дмитриев почувствовал, что сушит горло — захотелось хлебнуть чего-то, взбодриться. «Надо спросить, — подумал он. — У Танюшки бывало. Хоть что-нибудь».

Новый шестнадцатизэтажный дом стоял на краю поля. Дорога шла в объезд, вокруг поля.

— Вот здесь, — сказала Таня.

Дмитриев отлично помнил, что здесь. Последний раз он был тут около года назад.

— Ты машину оставишь? — спросила Таня.

Конечно, надо было оставить. Но его всегдашнее слабодушие — он видел, что Тане страстно этого не хотелось, — заставило ответить:

— Да ладно, пусть едет. Я тут найду.

— Конечно, найдешь! — сказала Таня.

Поднялись на одиннадцатый этаж. Таня вдвоем с сыном жила в большой трехкомнатной квартире. Бедняга Товт выстроил этот корабль в кооперативном доме, только успели въехать, и тут все случилось. Алик был тогда в лагере, Товт трудился где-то в Дагестане — он был горный инженер, — и Таня жила одна в пустых, без мебели, комнатах, пахнущих краской. На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван, больше ничего. И любовь Дмитриева была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, еще ни разу не натертых. Босой, он шлепал по газетам на кухню, пил воду из крана. Таня знала множество стихов и любила читать их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть — так, отдельные четверостишия. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». А Таня могла шептать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока. И вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шептать: «О господи, как совершенны дела твои, думал больной...» Или еще: «Сними ладонь с моей груди, мы провода под током».

Иногда, устав от однообразного шелестения губ, он говорил: «Ну, хорошо, моя радость, передохни. А почему этот ваш Хижняк с Варварой Алексеевной не здороваётся?» После паузы она отвечала печально: «Не знаю». Все ее обиды были мгновенны. Даже тогда, когда она могла бы обидеться по-серьезному. Почему-то он был уверен

в том, что она *не разлюбит его никогда*. В то лето он жил в этом состоянии, не испытанном прежде: любви к себе. Удивительное состояние! Его можно было определить как состояние привычного блаженства, ибо его сила заключалась в постоянстве, в том, что оно длилось недели, месяцы и продолжало существовать даже тогда, когда все уже кончилось.

Но Дмитриев не задумывался: за что ему это блаженство? Чем он заслужил его? Почему именно он — не очень уже молодой, полноватый, с нездоровым цветом лица, с вечным запахом табака во рту? Ему казалось, что тут нет ничего загадочного. Так и должно быть. И вообще, казалось ему, он лишь приобщился к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны — и будут со временем — всегда находиться люди. Таня же, наоборот, жила в неизбывном страхе и в каком-то страстном недоумении. Обнимая его, шептала, как стихи: «Господи, за что? За что?»

Она ни о чем не просила и ни о чем не спрашивала, и он ничего не обещал. Нет, ни разу ничего не обещал. Зачем было обещать, если он твердо знал, что все равно она *не разлюбит его никогда*. Просто ему приходило в голову, что она была бы для него лучшей женой.

В комнатах появилась новая мебель — в одной комнате сервант и круглый полированный стол, в другой — полупустой книжный шкаф. Но паркет по-прежнему был не натерт и выглядел грязновато. Из комнаты вышел Алик, заметно подросший, бледное веснушчатое создание лет одиннадцати, в очках на тонком носике. Голову он держал слегка откинув назад и набок, может быть, оттого, что был нездоров, а может быть, так лучше видел через очки. Эта посадка головы и маленький сжатый рот придавали мальчику выражение надменности.

— Мам, я пойду к Андрюше. Мы будем марками меняться, — проговорил он скрипучим голосом и метнулся через коридор к двери.

— Постой! Почему ты не поздоровался с Виктором Георгиевичем?

— Здравсьте, — не глядя, бросил через плечо Алик.

Торопясь, отомкнул замок и выскочил, хлопнув дверью.

— Приходи не позже восьми! — крикнула в закрытую дверь Таня. — Воспитанием юноша не блещет.

— Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был.

— А даже если пришел незнакомый человек? Здраваться не нужно? — Таня прошла в большую комнату, открыла боковую дверцу серванта и сказала: — Он тебя не забыл.

Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег. Он спрятал деньги в карман.

— Ну, иди, — сказала Таня. — У тебя же времени нет.

Он вдруг выдвинул стул и сел к полированному столу.

— Посижу малость. Что-то я устал. — Он снял шляпу, ладонью потрогал лоб. — Голова болит.

— Хочешь покушать? Дать что-нибудь?

— А выпить ничего нет?

— Нет... Постой! — глаза ее обрадованно засияли. — Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы с тобой не допили. Помнишь, когда ты был последний раз? Сейчас посмотри!

Она побежала на кухню, через минуту принесла бутылку. На дне было граммов сто коньяку.

— Сейчас будет закуска. Одну минуту!

— Да зачем тут закуска?

— Сейчас, сейчас! — Она снова опрометью кинулась на кухню.

Дмитриев встал, подошел к балконной двери. С одиннадцатого этажа был замечательный вид на полевой простор, реку и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу автобусом до Серпуховки, оттуда на метро, не так уж долго. Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки. Он налил себе полную рюмку, а Тане — что осталось. Она всегда пила мало, сразу пьянела.

— За что мы пьем? — спросила Таня.

— За то, чтоб тебе было хорошо.

— Ну, давай! Нет. За это не надо. Мне и так будет хорошо. А вот давай за то, чтоб тебе было хорошо. Давай?

— Ладно. — Ему было все равно. Он уже выпил и жевал помидор. Хмыкнул: — Эти помидоры не с могилы тещи Невядомского?

— Потому что тебе, Витя, — сказала она, — вряд ли когда-нибудь будет хорошо. Ну а вдруг, а все-таки? Вот за это.

Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Лишние разговоры. После коньяка стало тепло, он с удовольствием жевал помидор и смотрел на Таню, которая сгорбилась в задумчивости, опершись локтями о стол и глядя в угол комнаты.

— Не сутулься! — Он по-отечески слегка шлепнул ее по лопаткам.

Таня выпрямилась, продолжая глядеть в угол комнаты. На ее застывшем лице с зарозовевшими от капли коньяку пятнами на скулах было отчетливо видно страдание. На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки, его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, поэтому — чего ж ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти. И все, что подвластно первой, — счастье, а все, что принадлежит второй... А все, что принадлежит второй, — уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Дмитриев поднялся рывком, с внезапной поспешностью, точно кто-то сильный схватил и дернул его за руки, и, сказав: «Пока! Я бегу!» — понесся быстрыми шагами по коридору к двери. Таня ничего не успела ему сказать. Может быть, она ничего и не хотела ему говорить.

Дмитриев доехал автобусом до метро — никакого такси, конечно, не было, — сделал две пересадки и вышел на последней станции нового радиуса. Накрапывал мелкий дождь. Москва была далеко, белела громадными домами на горизонте, а тут было поле, изрытое котлованами, на мокрой глине лежали трубы и возле столба на шоссе



стояла очередь, ждавшая троллейбус. Небо было в тучах, располагавшихся слоями — наверху густело что-то неподвижное, темно-фиолетовое, ниже двигались светлые, рыхлые тучи, а еще ниже летела по ветру какая-то белая облачная рвань вроде ключев пара.

Лет сорок назад, когда отец Дмитриева Георгий Алексеевич строил дом в поселке Красных партизан, это место, Павлиново, считалось дачным. Оно было дачным и до революции, ездили сюда конкой от заставы. В тридцатые годы мальчик Витя, посредственный ученик, но привлекательный велосипедист, рыболов, игрок в «пятьсот одно», глотатель Сенкевича и Густава Эмара, приезжал сюда летними днями на скрипучем старом автобусе, отходившем с часовыми промежутками от булыжной Звенигородской площади. В автобусе всегда было душно, окна не открывались, пахло дерюгами. Мимо волоклись пустыри, огороды, одна деревенька, другая, холодильник, радиополе, школа за каменным, из белого кирпича, забором, снова поле, огороды, церковь на бугре, и вдруг открывалась дуга запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов, и у мальчика Вити сжималось сердце. Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей годами некрашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной — в двадцатых годах упал самолет, и роща горела, — а слева продолжали тянуться заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на *дом фактории* где-нибудь в лесах Канады или на *гасиенду* в аргентинской саванне.

Дом был построен кооперативом, звучно называвшимся «Красный партизан». Георгий Алексеевич не был красным партизаном, его пригласил в кооператив брат Василий Алексеевич, красный партизан и работник ОГПУ,

владелец двухместного спортивного «оппеля». Неподалеку на том же участке жил в маленькой дачке третий брат, Николай Алексеевич, тоже красный партизан, служивший во Внешторге, месяцами живший то в Японии, то в Китае. Николай Алексеевич привез из Китая игру ма-чжонг — в шкатулке красного дерева на четырех выдвигаемых полочках помещались сто сорок четыре камня, с одной стороны бамбук, с другой слоновая кость. В ма-чжонг сначала резались взрослые на деньги, потом, когда взрослым надоело или стало не до того, игра перешла во владение детей Николая Алексеевича и всей оравы павлиновской детской коммуны. Ничего не осталось от тех вечеров с патефонной музыкой «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», с громким разговором двух глухих красных партизан, всегда споривших о чем-то на втором этаже, со стуком китайских костяшек на верандочке Николая Алексеевича. В этом мире, оказывается, исчезают не люди, а целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, музыкой. Исчезают дочиста, так, что нельзя найти следов. Хотя там, в Павлинове, осталась Лора. Но кроме Лоры — никого, ни единого человека. Из братьев раньше всех умер старший, Георгий Алексеевич. Мгновенная смерть от инсульта — тогда это называлось апоплексическим ударом — случилась душным днем прямо на улице.

Дмитриев помнил отца плохо, отрывочно. Помнил — темные усы и бородка, очки в золотых ободках, очень тонкая и мягкая на ощупь желтоватенькая чесучовая рубашка в табачных крошках, толстый живот под ней и всегдашний, надо всем, всеми, смешок. Георгий Алексеевич был инженером-путейцем, но всю жизнь мечтал оставить эту работу и заняться сочинением юмористических рассказиков. Ему казалось, что в этом его призвание. Всегда он ходил с записной книжечкой в кармане. Дмитриеву запомнилось, как быстро и легко сочинял отец смешные истории — шли вечером на огород поливать огурцы и увидели, как Марья Петровна, тетка одного красного партизана, пытается сбить с сосны мячик своего внука Петьки. Сначала бросила палку, палка застряла на сосне, тогда стала кидать туфлю, туфля тоже застряла. Пока

дошли до огорода, отец рассказал Дмитриеву утомительную сказку о том, как Марья Петровна забросила на сосну вторую туфлю, потом кофту, пояс, юбку, все это висело на сосне, а Марья Петровна голая сидела внизу, потом прибежал дядя Матвей, тоже стал кидать ботинки, штаны. А через несколько дней отец приехал из города и привез журнал, где был напечатан рассказ «Мячик». Над братьями Георгий Алексеевич подсмеивался, считал их недалекими, звал в шутку «колунами». Сам он окончил университет, а братья даже в гимназии не успели доучиться: завертела гражданская война, кинула одного на Кавказ, другого — на Дальний Восток. Иногда удивлялся, разговаривая с матерью: «И как это таких людей за границу посылают, когда они ни бе ни ме ни по-каковски?» Еще корил братьев за жадность, за сытую жизнь, издевался над китайскими костяшками, над вечной по выходным дням автомобильной возней — братнин «оппель» называл не иначе как с буквы «ж». А в Козлове родные тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что было приехать в Москву. Один Георгий Алексеевич помогал как мог.

Ссоры между братьями бывали большие — месяцами ни он к ним, ни они к нему. Мать считала, что в ссорах и во всех последующих несчастьях братьев виноваты были жены, Марьянка и Райка, зараженные мелкобуржуазным мещанством, но потом им, беднягам, тоже пришлось несладко.

Вообще отец был лучше, умнее братьев, человек неплохой. Только неудачливый. Рано умер, ничего не успел. Что сохранилось от его записных книжек, в которых было столько смешного, прекрасного? Книжечки исчезли, как и все остальное. Как исчезла Райка, жена Николая Алексеевича, бывшая когда-то красавицей и самой большой модницей поселка Красных партизан. Как исчез песчаный откос на берегу реки, где по утрам, очень рано, бывал отличный клев. После восьми рыба уходила отсюда — между причалом и деревней начинал тарыхтеть речной трамвайчик, появлялись моторные лодки. Надо было переезжать на другой берег; там были тихие бухточки,

где пряталась рыба, но в солнцепек сидеть было невыносимо — ни дерева, ни куста, голый луг в жесткой траве.

Дмитриев неожиданно выскочил из троллейбуса на одну остановку раньше, чем нужно. Захотелось подойти к тому месту, где был когда-то его любимый откос. Он знал, что там сейчас бетонированная набережная, но рыбаки приходят все равно. Новые рыбаки из пятиэтажных домов, что за мостом. Им очень удобно — подъезжают на троллейбусе.

Он спустился по каменным ступеням — все было сделано фундаментально, как в парке культуры, — и прошел низом по бетонным плитам, возвышавшимся метра на два над уровнем воды. Так, вдоль реки, можно было дойти почти до самого дома. Теперь уже берег не поползет. Каждую весну здесь рушились ломти берега, иногда прямо со скамейками, с соснами.

На мокрых плитах блестело небо и не видно было ни одного дурака. Хотя нет, вдалеке сидел кто-то скрюченный, и Дмитриев медленно пошел к нему. Вода казалась очень чистой, незамусоренной, но темной — осенняя вода. Дмитриев остановился за спиной рыболова и стал глядеть на поплавок. Он глядел минут пять, со все большей тревогой и каким-то внезапным ослаблением духа, думая о том, как тяжело будет говорить. Невозможно тяжело. И с Лорой тоже. Может быть, с Лорой даже тяжелей, чем с матерью. Что же делать? Они все, конечно, поймут. Впрочем, мать может и не понять — если представить дело именно так, как предлагает Лена, мать же очень простодушна, — но Лора-то поймет сразу, Лора хитра, прозорлива и очень не любит Лену. Если мать при всем неприятии Лены все же с нею смирилась, научилась чего-то не замечать, что-то прощать, то Лора с годами твердеет в неприязни — из-за матери. Она сказала однажды: «Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы относиться к нашей матери без уважения». Верно, Ксению Федоровну любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по павлиновской даче, потому что она доброжелательна, уступчива, готова прийти на помощь и *принять участие*. Но Лора не понимает... Ах, она не понимает,

не понимает! Лора так и не научилась заглядывать немного глубже того, что находится на поверхности. Ее мысли никогда не гнутся. Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого пиджака. Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!

Все правда, истинная правда: мать постоянно окружают люди, в судьбе которых она *принимает участие*. В ее комнате подолгу живут какие-то пожилые полужнакомые люди, друзья Георгия Алексеевича, и еще более ветхие старухи, друзья деда, а то и случайные приятельницы по домам отдыха, желающие попасть к московским врачам, или провинциальные девочки и мальчики, дети отдаленных родственников, приехавшие поступать в институты. Всем мать старается помогать совершенно бескорыстно. Хотя где там — помогать! Связи давно порастеряны, и сил нет. Но все-таки — кровом, советом, сочувствием. Очень любит помогать бескорыстно. Пожалуй, точнее так: любит помогать таким образом, чтобы, не дай бог, не вышло никакой корысти. Но в этом-то и была корысть: делая добрые дела, все время сознавать себя хорошим человеком. И Лена, учуяв маленькую слабость матери, в минуты раздражения говорила про нее Дмитриеву: ханжа. А он приходил в ярость. Орал: «Кто ханжа? Моя мать ханжа? И ты посмела сказать...» И — начиналось, катилось... Ни мать, ни Лора не знали, как он буйствует из-за них. Кое о чем они, конечно, догадывались и кое-чему бывали свидетелями, но в полной мере — со всем набором оскорблений, с плачем Наташки, *неразговором* в течение нескольких дней, а порой даже легким рукоприкладством — это было им неизвестно. Они считали, особенно твердо считала Лора, что он их тихонько предал. Сестра сказала как-то: «Витька, как же ты олухьянился!» Лукьяновы — фамилия родителей Лены.

Дмитриев вдруг решил, что надо продумать что-то важное, последнее. Не было сил идти в дом, и он оттягивал минуту.

Он сел неподалеку от рыбака на деревянный ящик — тоже рыбацкая чья-то принадлежность, — лежавший тут

давно, побуревший и насквозь сырой. Как только Дмитриев сел, ящик стал мягко крениться, и пришлось очень крепко упереться ногами, чтоб удержать равновесие. На противоположном берегу, где когда-то был луг, теперь устроили громадный пляж с балаганами, ларьками. Лежаки были сложены штабелями, но два лежака до сих пор почему-то стояли у самой воды, смутно голубея на темно-сером песке. Все на том берегу было темно-серого, цементного цвета. За пляжем курчавилась молодая роща берез, насаженная лет десять назад, а за рощей туманно-белыми глыбами высились горы жилья, среди которых стояли две особенно высокие башни. Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось». Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукуянилось — окончательно и безнадежно. Но, может быть, это не так уж плохо? И если это происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой, — значит, может быть, это естественно и так и должно быть?

Первый год Дмитриеву и Лене пришлось жить в Павлинове. Лора, тогда еще без Феликса, жила в Москве с Ксенией Федоровной, дача пустовала, а Дмитриеву и Лене хотелось побыть одним. Но это все равно не удалось. Дачная квартира в Павлинове давно пришла в запустение. Протекала крыша, прогнило крыльцо. Больше всего забот доставляла канализационная яма — то и дело переполнялась, особенно с дождями, и невыносимая вонь распространялась по участку, мешаясь с запахом сирени, лип и флоксов. Жители давно смирились с этим переплетением запахов, которое сделалось для них неизбежной принадлежностью дачной жизни, и с мыслью о том, что ремонт ямы безнадежен, стоит баснословные деньги, каких ни у кого нет. Поселок-то обеднял, жители стали не те, что прежде, — бывшие владельцы перемерли, сгинули кто куда, а их наследники, вдовы и дети, жили довольно трудной и вовсе не дачной жизнью. Петька, например, внук Марьи Петровны и сын красного профессора, работал простым грузчиком на лесоторговой базе. А Валерка,

сын Василия Алексеевича, двоюродный брат Дмитриева, сошелся со шпаной, стал вором и пропал где-то в лагерях. Иные из наследников, утомившись дачными поборами и заглядывая вперед — город-то надвигался, — продали свои паи, и в поселке появились вовсе чужие люди, не имевшие к красным партизанам никакого отношения. И только березы и липы, посаженные сорок лет назад отцом Дмитриева, страстным садоводом, выросли мощным лесом, сомкнулись листвой и горделиво оповещали прохожих, заглядывавших через забор, о том, что все в поселке кипит, цветет и произрастает, как должно.

И вдруг Иван Васильевич Лукьянов, отец Лены, который заехал проведать молодых и погостить денек, сказал, что Калугин, водопроводный мастер, чинивший трубы в поселке в течение тридцати лет, жулик и негодяй и что он вкупе с ассенизаторами, приглашаемыми регулярно для откачки ямы, грабит красных партизан и что ремонт ямы можно произвести быстро и недорого. Все были ошеломлены. Собрали деньги. Иван Васильевич привез рабочих, и через неделю ремонт был закончен. Наследники красных партизан очень боялись, что Калугин, разобидевшись, покинет их поселок, бросит на произвол судьбы, но Иван Васильевич сделал как-то так, что старый пьянчужка ни на кого не обиделся, а к Ивану Васильевичу даже проникся почтением — стал называть его «Василич».

Лора с ее манерой высказываться прямолинейно заметила тогда, что это, наверно, потому, что Калугин почуял в Иване Васильевиче родного человека. Где он нанял рабочих? Откуда достал кирпич? Цемент? Ясно, что слева. Путьями не очень благородными. Мать была возмущена. «Откуда ты знаешь? Какое у тебя право так грубо, бездоказательно наговаривать на людей?» — «Ну, не знаю, не знаю, мама. Может быть, я ошибаюсь. — Лора таинственно улыбалась. — Это просто предположение. Поглядим...»

А Иван Васильевич был действительно человек могучий. Главной его силой были связи, многолетние знакомства. Через полгода он поставил телефон на павлиновской даче. По профессии Иван Васильевич был

кожевенником, начинал когда-то у хозяина в городе Кирсанове, но уже с 1926 года, когда его выдвинули на директора фабрики — маленькой, реквизированной у нэпмана фабрички на Марьиной Роще, — он двинулся по линии административной. Когда Дмитриев познакомился с ним, Иван Васильевич был уже сильно стар, грузен, страдал одышкой, пережил инфаркт, всяческие невзгоды и бури вроде снятия с работы, партийных взысканий, восстановлений, назначений с повышением, клевет и наветов разных мерзавцев, норотивших его погубить, но, как признавался сам, «в отношении этих моментов спасался только одним: был начеку».

Привычка к постоянному недоверию и неусыпному бдению втерлась в его натуру настолько, что Иван Васильевич проявлял ее повсюду, по малейшим пустякам. Спросит, например, Дмитриева вечером перед сном: «Виктор, вы крючок на дверь накинули?» — «Да», — ответит Дмитриев и слышит, как тесть шлепает по коридору к двери проверять. (Это было уже после, когда жили на Лукьяновской квартире в городе.) Иногда Дмитриева так разопрет, что он крикнет: «Иван Васильевич, да зачем же вы спрашиваете, ей-богу?» — «А вы не обижайтесь, золотой человек, это я автоматически, без злого умысла». Забавно было, что таким же недоверием ко всем и каждому — и в первую очередь к людям, живущим бок о бок, — была заражена и Вера Лазаревна. Иногда позвонит откуда-нибудь по телефону, спросит Лену. Дмитриев ответит, что Лены нет. Через некоторое время снова звонок, и Вера Лазаревна, изменив голос, опять зовет Лену. А какие комические сцены разыгрывались иногда вечерами, когда тесть и теща поили друг друга лекарствами! «Что ты мне дал, Иван?» — «Я тебе дал то, что ты просила». — «Ну, что, что именно? Произнеси!» — «Ты просила, по-моему, дибазол». — «Ты мне дал дибазол?» — «Да». — «Это точно?» — «А почему ты подняла этот вопрос?» — «Вот что: принеси, пожалуйста, обертку, из которой ты взял, — мне почему-то кажется, что это не дибазол...»

Дмитриева такие разговоры, слышанные мимоходом, когда-то потешали, так же, как манера тестя выражаться:



«В этом отношении, Ксения Федоровна, я вам скажу от себя следующую аксиому». Или вот эдакое: «Я никогда не был техническим исполнителем отца и от Елены требовал аналогичного». Посмеивались потихоньку. Мать называла нового родственника «ученый сосед» — за глаза, разумеется, — и считала его человеком недурным, в чем-то даже симпатичным, хотя, конечно, вовсе, к сожалению, не интеллигентным. И он и Вера Лазаревна были другой породы — из «умеющих жить». Ну что ж, не так плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Попользоваться чужим умением. Неумеющие жить при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг друга — как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся.

Разве могли бы Дмитриев, или Ксения Федоровна, или кто-нибудь другой из дмитриевской родни организовать и повернуть так лихо ремонт дачи, как это сделал Иван Васильевич? Он и денег одолжил подо всю эту музыку. Дмитриев и Лена уехали в первое свое лето на юг. Когда вернулись в августе, старые комнатки было не узнать — полы блестели, рамы и двери сверкали белизной, обои во всех комнатах были дорогие, с давленным рисунком, в одной комнате зеленые, в другой синие, в третьей красновато-коричневые. Правда, мебель среди этого блеска стояла прежняя, убогая, купленная еще Георгием Алексеевичем. Раньше было незаметно, а сейчас бросалось в глаза; до чего ж бедность! Какие-то железные сетки на козлах вместо кроватей, столы и шкафы из крашеной фанеры, плетеный топчан, еще что-то плетеное, ветхое до невозможности. Из большой комнаты с зелеными обоями, где расположились молодые, Лена всю рухлядь, конечно, вынесла и купила несколько вещей самых простых, но новых: матрац на ножках, ученический письменный столик, два стула, лампу, занавеску, а из других комнат принесла два ковра, старых, но очень хороших, бухарских, один на стену, другой на пол. Дмитриев удивлялся: как все чудесным образом изменилось! Даже матери говорил: «Смотри, какой у Лены вкус! Мы столько лет жили и ни разу не догадались

повесить этот ковер на стену. Нет, у нее очень тонкий вкус!»

В средней комнате, синей, поселились временно, на август и сентябрь, чтоб помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич, а в маленькой, красновато-коричневой, жила Ксения Федоровна и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда ее нудный роман с Феликсом, ей было не до дачи. Был еще жив дед, отец Ксении Федоровны, тоже приезжал иногда погостить — спал в проходной комнате на топчане. Чудно вспоминать. Неужто было так: сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай, Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог? И Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних? Было, наверно. Было, было. Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг, духота, жаркий Батум, старуха Властопуло, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной, абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане; сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву, Лена лежала без сил голая и черная на простыне, и он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал — летело с разгона одно дикое лето, — опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купания почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал.

Ему нравилась легкость, с которой она заводила знакомства и сходилась с людьми. Это было как раз то, чего не хватало ему. Особенно замечательно ей удавались *нужные* знакомства. Едва поселившись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника милиции, сторожей на лодочной станции, была на «ты» с молодой директоршей

санатория, и та разрешала Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачей, почти недостижимой для простых смертных. А как она отчесала Нижнюю Дусю, жившую в полуподвале, когда та с обычной наглостью явилась требовать, чтобы очистили их собственный, дмитриевский, сарай, которым, правда, Нижняя Дуся пользовалась самостоятельно последние десять лет! Нижняя Дуся так и слетела с крыльца, как будто ее ветром сшибло. Дмитриев восхищался, шептал матери: «Ну, как? Это не то, что мы с тобой, мямли?» Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали, потому что он уже знал, что нет и не может быть женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому — чего же восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей. Ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены. Никто не умел так увлекательно читать романы Агаты Кристи, тут же переводя с английского на русский. Никто не умел любить его так, как Лена. А сам Дмитриев — тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом — жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть ни пить и только дремлет, валяется в полусне на кровати в комнате с занавешенными окнами.

Но однажды вечером, в конце лета Лора сказала: «Витька, на два слова...» Они спустились с крыльца на дорожку и, пока были в квадрате света, падавшего с веранды, шли молча, а как только вошли в тень, под липы, Лора, неуверенно засмеявшись, сказала: «Вить, я хочу поговорить о Лене, можно? Ничего особенного, не пугайся, это пустяки. Ты знаешь, я отношусь к ней очень хорошо, она мне нравится, но главное для меня то, что ты ее любишь». Это вступление его сразу задело, потому что *главное* было вовсе не то, что он ее любил. Она была прекрасна безотносительно к нему. И, уже настороженный, стал слушать дальше.

«Меня просто удивляют некоторые вещи. Наша мать никогда сама не скажет, но я вижу... Витька, ты не обидишься?» — «Нет, нет, что ты! Говори». — «Ну, это действительно вздор, чепуха — то, что Лена, например,

забрала все наши лучшие чашки, и то, что она ставит ведро возле двери в мамину комнату...» («Господи! — подумал он. — И это говорит Лорка!») — «Я не замечал, — сказал он вслух. — Но я скажу ей». — «Не надо, не надо! И не надо было тебе замечать. — Лора опять как-то сконфуженно засмеялась. — Еще не хватало замечать тебе всякий вздор! Но я ругала маму. Почему просто не сказать: «Леночка, нам нужны чашки и не ставьте, пожалуйста, ведро здесь, а ставьте там». Я сегодня так сказала, и она, по-моему, на меня вовсе не обиделась. Хотя говорить о таких мелочах, поверь, очень неприятно. Но меня покорило другое — она зачем-то сняла портрет папы из средней комнаты и повесила его в проходную. Мама очень удивилась. Вот об этом должен знать ты, потому что это не бытовая какая-то мелочь, а другое. По-моему, просто бестактность». Лора замолчала, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам сирени, чувствуя, как колются мелкие острые веточки. «Ну пожалуйста! — сказал он наконец. — Насчет портрета я скажу. Только вот что: а если б ты, Лорхен, попала в чужой дом? Не делала ли бы ты каких-нибудь невольных бестактностей, промахов?» — «Возможно. Но не в таком роде. В общем, надо не молчать, а говорить — я думаю, что правильно, — и тогда все образуется».

Он сказал Лене насчет портрета не в этот вечер, а наутро. Лена была удивлена. Она сняла портрет только потому, что нужен был гвоздь для настенных часов, и никакого иного смысла в этом поступке не было. Ей кажется странным, что о такой совершеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей сама, а посылает послем Виктора, чем придает ерунде преувеличенное значение. Он заметил, что Ксения Федоровна с ним вовсе об этом не говорила. А кто же говорил? Тут он брякнул по глупости — сколько по глупости будет «брякнуто» потом! — что говорила Лора. Лена, покраснев, сказала, что его сестра взяла, по-видимому, на себя роль делать ей замечания: то самостоятельно, то через третьих лиц.

Когда Дмитриев вернулся в этот день из города, в квартире было необычно тихо. Лена не вышла его встречать сразу, а появилась через минуты две и задала ненужный вопрос: «Тебе разогревать обед?» Лора уехала в Москву. Мать не выходила из своей комнаты. Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, напудренная, с бусами на мощно выдававшемся вперед бюсте, и сказала, улыбаясь, что они с Иваном Васильевичем благодарят за гостеприимство и ждут его, чтоб попрощаться. Иван Васильевич сейчас приедет с машиной. В открывшуюся на миг дверь Дмитриев увидел, что портрет отца висит на прежнем месте. Он поинтересовался: почему же так вдруг? Хотели жить весь сентябрь. Да, но возникли дела — у Ивана Васильевича на работе, а у нее — домашние, надо варить варенье, и вообще — дорогие гости, не надо-ели ли вам... Ксения Федоровна вышла попрощаться с родственниками — вид у нее был обескураженный, — приглашала приезжать еще. Вера Лазаревна не обещала. «Боюсь, что не удастся, милая Ксения Федоровна. Уж очень много всевозможных забот. Нас столько друзей хотят видеть, зовут, тоже на дачу...»

Они уехали, а Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу играть в покер. Поздно ночью, когда Дмитриев вернулся, Ксения Федоровна зазвала его в свою комнату в красновато-кирпичных обоях и сказала, что у нее скверное настроение и она не может заснуть из-за этой истории. Он не понял: «Какой истории?» — «Ну вот из-за того, что они уехали».

Дмитриев выпил у соседей две рюмки коньяку, был слегка взвинчен, неясно соображал и, махнув рукой, сказал с досадой: «Ах, чепуха, мать! Стоит ли говорить?» — «Нет, все же Лора не выдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, та — своей матери, тут был глупейший разговор... Полная нелепость!» — «А потому, что не перевешивайте портретов! — сказал Дмитриев, твердея голосом и со строгостью покачивая пальцем. Вдруг он ощутил себя в роли семейного арбитра, что было даже приятно. — Ну и уехали, ну и на здоровье. Ленка не сказала мне *абсолютно* ничего, ни единого

слова. Она же умная баба. Так что не волнуйся и спи спокойно». Он чмокнул мать в щеку и ушел.

Но когда пришел к Лене и лег рядом с ней, она отодвинулась к стене и спросила, зачем он заходил в комнату к Ксении Федоровне. Почувяв какую-то опасность, он начал темнить, отнекиваться, говорил, что устал и хочет совсем другого, но Лена, действуя то строгостью, то лаской, все же выудила из него то, что ей нужно было узнать. Она сказала затем, что ее родители очень гордые люди. Особенно горда и самолюбива Вера Лазаревна. Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, поэтому малейший намек на зависимость воспринимает болезненно. Дмитриев подумал: «Как же не зависела, когда она никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича?» — но вслух не сказал, а спросил, чем ущемили независимость Веры Лазаревны. Оказывается, когда Лена передала Вере Лазаревне разговор насчет портрета, та просто ахнула: боже, говорит, неужели они подумали, что мы можем претендовать на эту комнату? Дмитриев что-то ничего уж не понимал: «Как претендовать? Почему претендовать?» Кроме того, ему хотелось другого. Кончилось тем, что Лена заставила его пообещать, что он завтра же с работы позвонит Вере Лазаревне и мягко, деликатно, не упоминая ни о портрете, ни об обидах, пригласит в Павлиново. Они, конечно, не приедут, потому что люди очень гордые. Но позвонить нужно. Для очистки совести.

Он позвонил. Они приехали на другой день. Почему вспомнилась эта древняя история? Потом было много похуже и почерней. Но, наверное, потому, что первая, она отпечаталась навеки. Он помнил даже, в каком пальто была Вера Лазаревна, когда приехала на другой день и с видом непоколебленного достоинства — гордо и самолюбиво глядя перед собой — подымалась по крыльцу, неся в правой руке коробку с тортом.

Потом были истории с дедом. Той же осенью, когда Лена ждала Наташку. Ах, дед! Дмитриев не видел деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен тлела в сердце эта заноза — детская преданность. Старик был

настолько чужд всякого *лукьяноподобия* — просто не понимал многих вещей, — что было, конечно, безумием приглашать его на дачу, когда там жили эти люди. Но никто тогда еще ничего не понимал и не мог предвидеть. Деда пригласить было необходимо, он недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год он получил комнату на Юго-Западе.

Дед говорил, изумляясь, Дмитриеву: «Сегодня приходил какой-то рабочий перетягивать кушетку, и твоя прекрасная Елена и не менее прекрасная теща дружно говорили ему «ты». Что это значит? Это так теперь принято? Отцу семейства, человеку сорока лет?» В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине — и, веселясь, рассказывали об этом — пятьдесят рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснить. Лена, смеясь, говорила: «Федор Николаевич, вы монстр! Вам никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!» Дед был не монстр, просто был очень стар — семьдесят девять, — таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше, а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой Засулич, — и вовсе раз-два и обчелся. Может быть, в каком-то смысле дед и был монстр.

И какие у него могли находиться разговоры с Иваном Васильевичем и Верой Лазаревной? Как ни тужились обе стороны, ничего общего не подыскивалось. Ивана Васильевича и Веру Лазаревну прошлое деда не интересовало начисто, а в современной жизни дед смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного, поэтому они и относились к нему безучастно: старичок старичком. Шаркает по веранде, чадит дешевыми вонючими папиросками. Вера Лазаревна обыкновенно разговаривала с дедом насчет курения.

Дед был маленького роста, усохший, с сизовато-медной дубленой кожей на лице, с корявыми, изуродованными

тяжелой работой, негнушимися руками. Всегда аккуратно одевался, носил рубашки с галстуком. Ботиночки свои мальчишковые, сорокового размера, начищал до блеска и любил гулять по берегу. Было какое-то воскресенье, последнее теплое в сентябре, когда собрались все на прогулку, — давно уже возникла натуга в разговорах — никому эта вылазка была не нужна, но как-то так сошлось: собрались одновременно и побрели вместе.

Народу в тот день было полным-полно. Толклись в лесочке, по берегу, обсели все скамейки: кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, собачками, гитарами, пол-литрами на газетке. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками: шут, мол, знает, что за публика. А до войны, помнится, гуляли тут эдакие с бородками, в пенсне... Вера Лазаревна неожиданно его поддержала, сказав, что Павлиново и до революции было чудесное дачное местечко, она девочкой бывала здесь у своего дяди. Ресторан был с цыганами, назывался «Поречье», его сожгли. Вообще жилали солидные люди: биржевые игроки, коммерсанты, адвокаты, артисты. Вон там на просеке шалашинская дача стояла.

Ксения Федоровна поинтересовалась: кто был дядя? На что Вера Лазаревна ответила: «Мой папа был простой рабочий-скорняк, он очень хороший, квалифицированный скорняк, ему заказывали дорогие работы...» «Мамочка! — засмеялась Лена. — Тебя о дяде спрашивают, а ты рассказываешь про отца». Дядя, как выяснилось, имел магазин кожаных изделий: сумки, чемоданы, портфели. На Кузнецком, на втором этаже, где сейчас магазин женской одежды. Там и во время нэпа был магазин кожаных изделий, но уже не дядин, потому что дядя в девятнадцатом году, в голодное время, куда-то пропал. Нет, не сбегал, не умер, а просто куда-то пропал. Иван Васильевич прервал супругу, заметив, что эти данные автобиографии мало кому интересны.

И тут дед, до того молчавший, вдруг заговорил, обращаясь к Дмитриеву: «Так, милый Витя, представь себе, если б дядя твоей тещи дожил до тех времен, когда тут гуляли бородки и пенсне, что бы он сказал?»



Наверно бы: ну и публика, мол, теперь в Павлинове! Какая-то шпана в толстовках, в пенсне... А? Так ли? А еще раньше тут имение было, помещик разорился, дом продал, землю продал, и лет полста тому какой-то наследник заскочил бы сюда мимоездом, для печального интереса, глядел на купчих, на чиновниц, на господ в котелках, на дядюшку вашего, — дед поклонился Вере Лазаревне, — который прикатил на извозчике, и думал: «Фу, гадость! Ну и дрянь народишка!» А? — засмеялся. — Так ли?»

Вера Лазаревна заметила с некоторым удивлением: «Не понимаю, почему — дрянь? Зачем же так говорить?» Тогда дед объяснил: презрение — это глупость. Не нужно никого презирать. Он сказал это для Дмитриева, и тот вдруг подумал, что дед в чем-то прав... В чем-то, близко касающемся его, Дмитриева. Все немного задумались, затем Ксения Федоровна сказала, что нет, она не может согласиться с отцом. Если мы откажемся от презрения, мы лишим себя последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть. Тогда Лена, усмехаясь, сказала: «А я совершенно согласна с Федором Николаевичем. Сколько людей кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно!» — «Кто именно и чем кичится?» — спросил Дмитриев в полушутливом тоне, хотя направление разговора стало его слегка тревожить. «Мало ли! — сказала Лена. — Все тебе знать...» — «Кичливость, Леночка, и спокойное презрение — вещи разные», — произнесла Ксения Федоровна, улыбаясь. «Ну, это смотря откуда глядеть, — ответила Лена. — Вообще я ненавижу гонор. По-моему, нет ничего отвратительнее». — «Вы говорите таким тоном, будто я доказываю, что гонор — это нечто прекрасное. Я тоже не люблю гонор». — «Особенно когда для него нет оснований. А так, на пустом месте...»

И вот отсюда, с невинного препирательства, возрос тот разговор, который завершился ночным сердечным припадком у Лены, вызовом неотложки, криками Веры Лазаревны об эгоизме и жестокосердии, их поспешным отъездом на такси утром, а затем отъездом Ксении Федоровны

и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое: Дмитриев и старик. Они гуляли у озера, подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене — ее отъезд мучил его, — ругать ее за вздорность, родителей за идиотизм, а может быть, проклинать себя, как-то терзать эту рану, но дед не произнес ни о Лене, ни об ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в этой жизни, вот и все. «Боже мой, — думал Дмитриев, — как же она там? А вдруг это серьезно, с сердцем?»

Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом. С интересом он смотрит только вперед, но, к сожалению, он увидит немногое.

«Звонить или нет? — думал Дмитриев. — Все же, какое бы ни было состояние, это не дает права...»

Он позвонил вечером.

Дед умер через четыре года.

Дмитриев приехал в крематорий прямо с работы и выглядел глупо со своим толстым желтым портфелем, в котором лежало несколько банок «сайры», купленных случайно на улице. Лена очень любила сайру. Когда вошли со двора в помещение крематория, Дмитриев быстро прошел направо и поставил портфель на пол в углу, за колонной, так, чтобы его никто не видел. И мысленно твердил: «Не забыть портфель, не забыть портфель». Во время траурной церемонии он несколько раз вспоминал о портфеле, поглядывал на колонну и в то же время думал о том, что смерть деда оказалась не таким уж ужасным испытанием, как он предполагал. Было очень жалко мать. Ее поддерживали под руку с одной стороны тетя Женя, с другой — Лора, и лицо матери, белое от слез, было какое-то новое: очень старое и детское одновременно.

Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, а когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала и, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, самый лучший из всей дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне,

на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто, с черными зонтами, у Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: «Как много людей-то было!» С этим и пришли, стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать. Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И, главное, приползли откуда-то в немалом числе те, будто бы исчезнувшие, ан нет, еще живые странные старики, старухи курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда, некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Пришла одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать когда-то говорила, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу. Эта горбатенькая и говорила речь над гробом. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Значит, и Лора и мать полагали, что он, если захочет, может не ехать, то есть что ему ехать не обязательно, ибо — он вдруг это понял — в их глазах он уже не существовал как частица семьи Дмитриевых, а существовал как нечто другое, объединенное с Леной и, может быть, даже с теми в черных пальто, с черными зонтами, и его надо было спрашивать, как постороннего.

«Вы поедете к тете Жене?» Вопрос был задан бегло, но как много он означал! И среди прочего: «Если бы ты был один, мы не стали бы спрашивать. Мы всегда хотим тебя видеть, ты знаешь. Но когда у нас горе, зачем нам чужие люди? Если можно, лучше обойтись без них. Если можно, но — как ты хочешь...» Дмитриев сказал, что они, пожалуй, не поедут к тете Жене. «Почему? Ты поезжай! — сказала Лена. — Я себя неважно чувствую, а ты поезжай. Конечно, поезжай!» Нет, он не поедет, у Лены

сильно болит голова. Лора понимающе кивнула, даже улыбнулась Лене с сочувствием и спросила, не дать ли ей таблетку. «Да! — сказал Дмитриев. — Я же забыл портфель!» Он вернулся в помещение крематория, где на постаменте лежал в гробу уже новый покойник, вокруг которого ютилась жидкая кучка людей, и на цыпочках прошел за колонну. Взяв портфель, остановился, чтоб побыть минутку в одиночестве. Чувство непоправимости, *отрезанности*, которое бывает на похоронах — одно безвозвратно ушло, отрезалось навсегда, а продолжается то, да не то, что-то уже новое, в других комбинациях, — было самой томящей болью, даже сильнее, чем печаль о деде. Дед был ведь стар, должен был угаснуть, но вместе с ним исчезало что-то, прямо с ним не связанное, существовавшее отдельно: какие-то нити между Дмитриевым, и матерью, и сестрой. И это исчезновение обнаружилось так неумолимо и сразу, спустя несколько минут после того, как вышли из тяжелого цветочного запаха на воздух. Лора спокойно согласилась с тем, что он не поедет к тете Жене, а он легко примирился с ее спокойствием. И только мать, полуобернувшись, сделала слабое, прощальное движение кистью, и он вдруг почувствовал, что добавил ей боли, рванулся догнать — рванулось внутри, секундно, — но было уже поздно, непоправимо отрезалось. Лена тянула его к такси, чтобы ехать домой.

Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он приехал и раньше, но Дмитриев заметил его, только когда вышли во двор. Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блестел очками. К Дмитриеву он не подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: «Откуда здесь Бубрик?» Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, сказал: «Ну как же? Он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе».

Впервые за несколько месяцев после той тягостной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика. И сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал:

«Мы с Ксенией ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удивительный».

А с Левкой были знакомы с детства, учились в одном институте. Не то что друзья «водой не разольешь», но связанные крепью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолетстве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно. Мать очень хотела, чтобы он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лориного Куня-Ургенча — каких-нибудь шестьсот километров, пустыки! — брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой кок-чая и скучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой, болела, Лена тоже болела, не было молока, нашли кормилицу Фросю, школьную уборщицу, жившую в бараке на Таракановке, Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе! Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам, в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: «А хорошо бы...» И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. «Витя, — говорила Лена (или Витенька, если был период безмятежности и любви), — зачем ты себя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь! Все кончено! Ты опоздал. Надо было раньше...» И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да, да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже четыре года с тех пор, как он окончил институт, потом прошло пять, семь, девять. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вождения,

зависти, мерило родительской любви и *расшибаемости в лепешку*. Другой микрорайон, почти немислимо. И никому, кроме Лены, было бы не под силу. Ибо она вгрызалась в свои желания, как бульдог. Такая миловидная женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания — прямо у нее в зубах — не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни. Свойство настоящих мужчин.

«Ни в какие экспедиции. Не дольше, чем на неделю» — это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов.

Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было устроиться в ИМКОИН. О ИМКОИН, ИМКОИН, недостижимый, заоблачный, как Джомолунгма! Разговоры об ИМКОИНЕ, телефонные звонки насчет ИМКОИНА, слезливое отчаянье, вспышки надежды.

«Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу ИМКОИНА?» — «Леночка, тебе звонили из ИМКОИНА!» — «Откуда?» — «Из ИМКОИНА!» — «О боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?» Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в ИМКОИНЕ — Институте международной координированной информации. Наконец удалось. ИМКОИН стал плотью и хрустел на зубах как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено — в минуте ходьбы от ГУМа, — а прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было «о'кей». В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой

трудыга, хитрый Митрий, который во всем себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла, Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела, но через полгода он сдался. Наверное, потому же: поезд ушел. Не хватало сил, каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием — поскорей завалиться спать. Он и заваливался, — если по телевизору не было чего-нибудь стоящего — футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надирать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами. В это время, как нельзя более кстати — а может, некстати, — подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА.

Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, ни кто другой не попал бы в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков согласился. В конце концов не Левкин же тесть ездил к Прусакову, а дмитриевский! Правда, ради Левки. Это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку и его жену, эту толстую клушу Инночку. Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях у общих друзей, кричала: «Ты жуткий человек!» Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. «Виновата я, одна я, Витьку не вините! А вы бы хотели, чтобы мы жили на сто тридцать и Витька убивал три часа на дорогу?»

Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитриев действительно не хотел. Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки. «Я Леву уважаю, — говорила Лена, — и даже люблю, но почему-то моего мужа я люблю больше. И если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал...»

Надо было сказать им сразу, но не хватило духу — тянули, отмалчивались. Они узнали стороной. И как отрезало: не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже не делается: придите, поговорите по-хорошему, узнайте как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через четыре или пять — был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля — вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Лены какой же спрос? С Леной приходилось мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери...

Отчетливо, как сейчас: поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Теккерера «Ярмарка тшеславия», а Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмитриева: «Ой, боже мой, боже мой, боже мой...» Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя. И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом — все больше через силу. Что поделаешь? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает.



Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно: все равно что отапливать улицу. Нарочно ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее: «Как, мартышка, довольна, что пришла к бабушке?» — «Ага». — «Любишь сюда ходить?» — «Люблю!» А Лена, улыбаясь, добавляет: «Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтобы не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, десятого встаем и едем».

Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял: несдобровать. Лена гораздо умнее ее, но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломляли: «Почему твоя кухня весь вечер меня язвила?» — «Как язвила?» — «А ты не слышал?» — «Что именно?» — «Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока? Насчет их задов и ног?» — «Позволь, но ты ведь, кажется, не женщина Востока?» — «Ах, что с тобой говорить...»

И тогда, в феврале — почему-то запомнилось до последнего слова, — началось с невиннейшего, с подводных толчков. А запомнилось потому, что — последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже лет пять ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней — нет. «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» — «Конечно! А как у тебя? Служишь все там же?» Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: «Ну, как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева». — «А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью. Не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством». Марина работала тогда редактором в издательстве. Сейчас где-то на телевидении.

«А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время?» — «Кое-что издали. Это у тебя что за материал? Брала в ГУМе?» И тут были упругие удары под водой: «О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила?» — «Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла потому, что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб». Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она хлопотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало.

Все ненавистное, что для Марины соединялось в слове «мещанство», для Лены было заключено в слове «ханжество». И она объявила, что «все это ханжество». «Ханжество?» — «Да, да, ханжество». — «Любить Пикассо ханжество?» — «Разумеется, потому что те, кто говорят, что любят Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество». — «Бог мой! Держите меня! — хохотала Марина. — Любить Пикассо ханжество! Ой-ой-ой!» Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо! Ван Гог! Сублимация! Акселерация! Поль Джексон! Какой Поль Джексон? Не важно, потому что ханжество! Ханжество? Ханжество, ханжество. Нет, ты объясни тогда: что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, с желанием выставить себя в лучшем виде «А-а! Значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксене на день рождения и приносишь ей конфеты?»

Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество (я предсказывала, но ты настоял, так что получай, кушай!), сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому, что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались. Мать спотыкалась. Тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем — неизвестно. Она всегда хочет

сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала: возмутительная история, и она долго не верила, что Витя мог так поступить. «Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем?» — «Виктора я не оправдываю». — «Но все-таки — я?!» — Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны проступали гранитные черты.

«Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила». Тетя Женя сказала, тряся благожелательной сивой головкой: «Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню». — «Мало ли что я объясняла! Я заботилась о своем муже. И вы не имеете, не имеете...» — «Перестань кричать!» — «А ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать». Схватив Наташку, рванулась из-за стола. «Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?» И — на лестницу, на мороз, навсегда.

Он бежал вниз, поскользнулся на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус, дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше, что же будет. Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, ни к кому. Нет, еще однажды после того февраля она пришла к матери — не было выхода, Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на Золотые пески — не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга. Днем номер накалялся, хотя опускали шторы, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга.

Дмитриев стоял перед домом и смотрел на единственное освещенное окно — кухни. Второй этаж и левая сторона дома были темны. В это время года здесь никто не жил. В кухне что-то делала Лора. Дмитриев видел ее опущенную к столу голову, черные с сединой волосы, блестящие под электрической лампочкой, загорелый лоб — ежегодные пять месяцев в Средней Азии сделали ее почти узбечкой. Из темноты сада он рассматривал Лору точно

на светящемся экране, как чужую женщину — видел ее немолодость, болезни, заработанные годами жизни в палатках, видел грубую тоску ее сердца, охваченного сейчас одной заботой.

Что она там делает? Гладит, что ли? Он почувствовал, что ничего не сможет ей сказать. Во всяком случае, сегодня, сейчас. К черту все это! Никому это не нужно, никого не спасет, только принесет страдания и новую боль.

Потому что нет дороже родной души.

Когда он поднимался по ступенькам крыльца, сердце его колотилось. Лора резала ножницами на кухонном столе газету на длинные полосы. Вошел Феликс с миской, где был разведенный клейстер. Дмитриев стал им помогать. Сначала заклеили окно на кухне, потом перешли в среднюю комнату. Мать с шести часов заснула, но скоро, наверное, проснется. Примерно около половины пятого ей сделалось плохо, начались боли. Лора очень перепугалась и хотела вызывать неотложку, но мать сказала, что бесполезно, надо звать Исидора Марковича или врача из больницы. Приняла папаверин, боли прошли. В чем дело? Мать очень подавлена. Такое внезапное ухудшение. После больницы это впервые. Она говорит, что все совершенно как в мае: боли такой же силы и в том же месте.

Разговаривали вполголоса.

— Я тебе звонил в четвертом часу!

— Да, и все было хорошо. А через час...

Феликс, мурлыча что-то, запикивал кухонным ножом старый нейлоновый чулок в щель между створками рам, Лора намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитриев клеил. Потом сели пить чай. Все время прислушивались к комнате матери. Глаза у Лоры были жалкие, она отвечала невпопад, а когда Феликс зачем-то вышел из комнаты, быстро прошептала:

— Я тебя прошу: сейчас он начнет о Куня-Ургенче, скажи, что ты решительно против... Что не можешь...

Феликс вернулся с черным пакетом, в котором были фотографии. Все еще мурлыча, стал показывать. Это были

цветные фотографии куня-ургенчских раскопок: черепки, верблюды, бородатые люди. Лора в брюках, в ватнике, Феликс на корточках с какими-то стариками, тоже на корточках. Феликс сказал, что в конце ноября нужно ехать. Самое позднее — начало декабря. К пятнадцатому быть там как штык. Лора сказала, что он будет, будет, пусть не волнуется. Она его отпустит. Конечно, ехать необходимо, восемнадцать человек ждут. Собирая фотографии и засовывая их в черный пакет — пальцы слегка дрожали, — Феликс сказал, что Лора, к сожалению, тоже должна ехать. Потому что восемнадцать человек ждут и ее.

— Мы же договорились: сначала едешь ты...

— Как ты себе это представляешь?

Очки подпрыгнули на крупном носу Феликса, он приподнимал их каким-то особым движением щек и бровей.

— А как ты себе все представляешь?

— Но есть Витя, по-моему, родной сын...

— Ну, хватит! Витя, Витя. Мало ли что Витя... Не сегодня это обсуждать.

Феликс спрятал пакет в карман байковой курточки, направился к двери в другую комнату, но остановился в дверях.

— А когда прикажешь обсуждать? Надо давать телеграмму Мамедову.

Лора еще раз махнула рукой, более энергично, и Феликс исчез, тихо затворив дверь. Лора сказала, что Феликс очень хороший, любит маму, мама любит его, но он бывает туп. Редкостно туп. Лоре даже кажется иногда, что тут некоторая патология. Есть вещи, которые ему невозможно объяснить, тогда надо просто категорически сказать: так и так, мол, и никаких! И он смиряется. Спорить он не умеет. Надо, чтобы Дмитриев твердо сказал, что *не может* остаться с мамой, и тогда он перестанет нудить. А как действительно Дмитриев может остаться? Взять маму к себе? Переехать на Профсоюзную? Лена не согласится ни на то, ни на другое. Феликсу, конечно, важно поехать в Куня, ей тоже важно, все верно, но что поделаешь?

В комнате Ксении Федоровны по-прежнему было тихо. Феликс взял угольное ведро и протопал через веранду вниз по лестнице, в сарай. Гремел там лопатой, набирая уголь. Дмитриев сказал, что можно, конечно, попробовать обменять две комнаты на двухкомнатную квартиру — то, что он пытался сделать когда-то, — чтоб жить вместе с мамой, но это целая история. Не так-то просто. Хотя сейчас такая возможность есть.

Не хотелось это говорить, но как-то удобно и кстати сказало само. Лора поглядела на Дмитриева слегка удивленно. Потом спросила:

— Это идея Лены, что ли?

— Нет, моя. Старая моя идея.

— Только не сообщай эту *свою идею* Феликсу, хорошо? — сказала Лора. — Потому что он ухватится. А маме это совершенно не нужно. Когда она в таком состоянии, еще испытывать что-то... Я же знаю: сначала все будет мило, благородно, а потом начнется раздражение. Нет, это ужасная идея. Какой-то кошмар. Бр-р, я себе представила! — И Лора передернула плечами с выражением мгновенного страха и отвращения. — Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь обойдется.

Вернулся Феликс с ведром угля. Было слышно, как он тихо, чтоб не будить Ксению Федоровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и с осторожностью кладет куски на железный лист перед печкой. Раздался легкий, со звоном, скрежет чугунной заслонки. Лора ухмыльнулась, желая что-то сказать, но промолчала.

— Что? — спросил Дмитриев.

— Нет, ничего. Я, между прочим, часто удивлялась: почему вы не постройте себе кооперативную квартиру? Не так уж дорого. Родственники помогут. Они же так любят внучку... — Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба. Это было старое, знакомое по давним годам лицо Лоры. В детстве они часто дрались, и Лора, расвирепев, могла ударить чем угодно, что подворачивалось: вилкой, чайником.

— О чем вы там? — спросил Феликс из кухни. Он почуял что-то в голосе Лоры.

— Я говорю: почему бы Виктору и Лене не построить кооперативную квартиру? Маленькую, в две комнаты. Верно?

— Не нужно нам никакой квартиры, — сказал Дмитриев задыхающимся голосом. — Не нужно, понятно тебе? Во всяком случае, *мне* не нужно. Мне, мне! Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта. Кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить со мной всегда, ты это знаешь, и если сейчас это может ей помочь...

Лора закрыла ладонями лицо. Только губы остались видны: они мучились, сжимались. Дмитриев думал с отчаяньем: «Идиот! Зачем я это говорю? Мне же действительно ничего не нужно...» Ему хотелось броситься к сестре, обнять ее. Но он продолжал сидеть, прикованный к стулу. Феликс, стоя в дверях, с рассеянным видом смотрел то на жену, то на брата жены. Он ходил как хозяин по этим комнатам — незнакомый коротышка в байковой курточке с накладными карманами, что-то галочье, круглое, чужое, в скрипучих домашних туфлях со стельками, — по комнатам, где прошло детство Дмитриева. Смотрел на плачущую сестру с недоумением, как на непорядок в доме. Как на зачем-то открывшуюся дверцу буфета. Дмитриев пробормотал:

— Феликс, сгинь на минуту!

Человек в байковой курточке сгинул. Дмитриев подошел к Лоре, с неловкостью пошлепал ее по плечу:

— Ну, перестань...

Она мотала головой, не в силах ее поднять.

— Как хотите, как хотите... Если хочет — пускай...

Ровно через минуту за дверью был голос Феликса: «Можно, друзья?»

Он вошел с каким-то конвертом.

— Сегодня, смотри вот, пришло послание от Аширки Мамедова. Бедняга спрашивает, покупать ли на нашу долю спальные мешки. Это в Чарджоу, на базе Губера. Деньги у него есть, но надо ответить немедленно: брать или нет. Даже телеграфом.

Он мурлыкал и скрипел стелькой, стоя возле стула Лоры с конвертом в руке. В комнате Ксении Федоровны слышался шум. Дмитриев на цыпочках рванулся к двери. Сразу увидел, что у матери другое лицо.

— Ну, ты видишь это безобразие? — сказала Ксения Федоровна слабым голосом и попыталась привстать.

Лежавшая на одеяле книга скользнула на пол. Дмитриев нагнулся: все тот же «Доктор Фаустус» с закладкой на первой сотне страниц.

— Я же разговаривал с тобой сегодня утром! — сказал Дмитриев с каким-то страстным упреком, точно этот факт был крайне важен для состояния матери и всего хода болезни.

— А как сейчас, мама? — спросила Лора. — Вот лекарство. И поставь градусник.

Ксения Федоровна мгновение сидела на кровати не двигаясь, с выражением отрешенно-сосредоточенным — всеми чувствами впивалась в себя. Потом сказала:

— А сейчас как будто бы... — Осторожно протянула руку и взяла у Лоры чашку с водой. Немного наклонилась вперед. — Как будто ничего. Вроде нет. Фу-ты, какая чепуха! — Она улыбнулась и сделала Дмитриеву знак, чтобы он сел на стул рядом с кроватью. — Все-таки ужасная гадость эта язвенная болезнь. Я возмущена, мне хочется писать протест. Требовать жалобную книгу. Только вот у кого? У господ бога, что ли?

— Тебе удобно так лежать? — спросила Лора. — Придвинься сюда поближе. Сейчас поддержи градусник, а потом я принесу чай. Дай мне грелку.

Лора вышла. Дмитриев сел на стул.

— Да, Витя! Хорошо, что ты приехал, — сказала Ксения Федоровна. — Мы с Лорой сегодня поспорили. На плитку шоколада. Ты видишь свой детский рисунок? Вон там, на подоконнике. Лорочка нашла его в зеленом шкафу. По-моему, ты рисовал это летом тридцать девятого года или в сороковом, а Лорочка говорит, что после войны. Когда тут жил, помнишь, этот, как его... ну! Неприятный такой, с восточной фамилией. Я забыла, скажи сам.



Дмитриев не помнил. Рисунка тоже не помнил. Все, что касалось его художеств, было вычеркнуто навсегда. Но мать лелеяла эти воспоминания, поэтому он сказал: да, тридцать девятый или сороковой. После войны фигурного забора уже не было, его сожгли. Ксения Федоровна спросила про командировку Дмитриева, и он сказал, что как раз сегодня решилось, что он не едет.

Ксения Федоровна перестала улыбаться.

— Надеюсь, не из-за моей болезни?

— Нет, просто отложили. При чем тут твоя болезнь?

— Я не хочу, Витя, чтобы нарушались малейшие ваши дела. Потому что дело прежде всего. А как же? Все старухи болеют, такова профессия. Полежим, покряхтим, встанем на ноги, а вы теряете драгоценное время и ломаете свою работу. Нет, так не годится. Например, сейчас меня мучает... — она понизила голос, — Лорочка. Она же мне бессовестно врет, говорит, что в этом году ехать не обязательно, Феликс тоже мямлит, отвечает уклончиво. Но я-то знаю, что у них происходит! Зачем же они так делают? Разве я беспомощная старуха, которую нельзя оставить одну? Да ничего подобного! Конечно, могут быть ухудшения, как сегодня, даже сильные боли, я допускаю, потому что процесс идет медленно, но в принципе я же иду на поправку. И прекрасно справлюсь одна. Тетя Паша будет приходить. Ты рядом, есть телефон — господи, какие проблемы? Есть, наконец, Маринка, есть Валерия Кузьминична, которая с удовольствием... — Она умолкла, потому что в комнату вошла Лора с чаем.

— Мама, не возбуждайся, — сказала Лора. — Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбуждалась?

— Некоторые люди меня возмущают, которые говорят неправду.

— А! Ну-ну. Дай-ка сюда градусник... — Лора взяла градусник. — Нормальная. Витька, не давай матери возбуждаться, слышишь. А то я тебя прогоню. И через десять минут приходи ужинать.

Когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же: как устроить так, чтобы старые люди могли

спокойно болеть и у детей ничего бы не нарушалось. Как всегда, мать говорила полушутя, полувсерьез. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить. Потом Дмитриева позвали к телефону. Лена спрашивала, придет ли он домой или останется ночевать в Павлинове. Был уже одиннадцатый час. Дмитриев сказал, что останется здесь. Лена велела передать Ксении Федоровне большой привет и спросила, взял ли он ключ. Он ответил: «Спокойной ночи», — и повесил трубку.

Это касалось его одного. Он один мог решить: спрашивать ключ или нет. Часа через полтора, перед тем как ложиться спать, он улучил минуту, когда Ксения Федоровна была одна, и сказал:

— Есть еще такой вариант: можно обменяться, поселиться с тобой в одной квартире — тогда Лора будет независима...

— Обменяться с тобой?

— Нет, не со мной, а с кем-то, чтобы жить со мной.

— Ах, так? Ну, конечно, понимаю. Я очень хотела жить с тобой и с Наташенькой... — Ксения Федоровна помолчала. — А сейчас — нет.

— Почему?

— Не знаю. Давно уже нет такого желания.

Он молчал, ошеломленный.

Ксения Федоровна смотрела на него спокойно, закрыла глаза. Было похоже, что она засыпает. Потом сказала:

— Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел... — Вновь наступило молчание. С закрытыми глазами она шептала невнятицу: — Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...

Посидев немного, он встал и вышел на цыпочках.

Дмитриев лег спать в комнате, где когда-то жил с Леной, в первое лето. Там по-прежнему висел на стене ковер, прибитый Леной. Но красивые, зеленого цвета обои с давленным рисунком заметно выцвели и полысели.

Засыпая, Дмитриев думал о старом акварельном рисунке: кусок сада, забор, крыльцо дачи и собака Нельда на крыльце. Была такая похожая на овцу собачонка. Как же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было? После войны он рисовал как помешанный. Не расставался с альбомом. Особенно здорово получалось пером, тушью. Если б не провалился на экзамене и не бросился с горя в первый попавшийся, все равно какой — химический, нефтяной, пищевой... Потом стал думать о Гольшманове. Увидел комнату в бараке, где прожил в прошлом году полтора месяца. И подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой. Один раз он проснулся среди ночи и слышал, как в комнате за стеной Феликс и Лора разговаривают вполголоса.

Утром Дмитриев уехал рано, когда Ксения Федоровна еще спала. Он дал Лоре сто рублей. Лора сказала, что очень кстати. Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет. С деревьев в саду сбежал ночной дождь. На остановке стояли два человека, и чуть поодаль сидела на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли, после всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы. Двое испуганно прошли вперед, а Дмитриев остановился в нерешительности. Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завезти ее далеко и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: «Выходи, выходи!» — и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него.

Ксения Федоровна позвонила через два дня Дмитриеву на работу и сказала, что согласна съезжаться, только просила, чтоб побыстрее. Началась эта волын-

ка. Маркушевичи, конечно, отпали, потом отпало много других, потом появился мастер спорта по велосипеду, и с ним-то все совершилось в середине апреля. Ксения Федоровна была не так уж плоха. Устроили даже новоселье, пришли родственники, не было только Лоры и Феликса, которые не вернулись еще из своего Куня, где торчали, как обычно, до большой жары. Но хлопоты на этом не кончились: нужно было перевести оба лицевых счета на имя Дмитриева, что оказалось делом не менее тяжким, чем обмен. Поначалу исполком отказал потому, что заявление было составлено неудачно и не хватало каких-то бумаг. Старичок Спиридон Самойлович, маклер, который все хвастался, что юрист райжилотдела его добрый знакомый, оказался просто лгуном. Юрист с ним даже не поздоровался, когда они столкнулись лицом к лицу. А этот юрист был главным винтом дела, потому что заявителей на заседание не вызывают и решение выносится лишь на основе заключения юриста и предоставленных документов. В конце июля Ксении Федоровне сделалось резко хуже, и ее отвезли в ту же больницу, где она была почти год назад. Лена добилась вторичного разбора заявления. На этот раз юрист был настроен как нужно, и все документы были в порядке: а) документ, подтверждающий родственные отношения, то есть свидетельство о рождении Дмитриева; б) копия ордеров, выданных в свое время на право занятия жилых площадей; в) выписки из домовых книг; г) копии финансовых лицевых счетов, выданных бухгалтерией ЖЭКа; д) выписка из протокола общественно-жилищной комиссии при ЖЭКе, в которой ОЖК просила исполком удовлетворить просьбу об объединении лицевых счетов. Ну, и на этот раз решение было благоприятное. После смерти Ксении Федоровны у Дмитриева сделался гипертонический криз, и он пролежал три недели дома в строгом постельном режиме.

Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды у общих знакомых и он мне все это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал,

Юрий Трифонов

посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька. Я ведь помню его мальчишкой по павлиновским дачам. Тогда он был толстяком. Мы звали его «Витучный». Он младше меня года на три, и в те времена я больше дружил с Лорой, чем с ним. Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же как и все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион «Буревестник» и гостиницу для спортсменов, а Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в девятиэтажный дом.

1969

*Посвящаю Алле*

## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. *Но то, что будило*, требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом все кончилось? «Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня дочь».

Однако она легко думала о смерти, как о чем-то неприятном, но неизбежном, что следует пережить, как о том, например, что надо лечь в клинику на операцию. Мысли о смерти были гораздо легче памяти. Та доставляла боль, а эти ничего, кроме мимолетной задумчивости. Вот оно, начинается: он приходил, подвыпив после полочки в музее — когда-то давно — обыкновенно из «Севана», рядом с музеем, или же Федоров затаскивал его к себе, засиживались там, и всегда сразу ложился, не мешкая ни минуты, и засыпал мгновенно. Но обязательно просыпался ночью, часа в три, в четыре, как она теперь. Мешал ей спать, шаркал на кухню за водой или за каким-нибудь питьем из холодильника, она сердилась, ругала его сквозь сон. В те минуты, когда будил, она его ненавидела: «Какой же ты эгоист!»

А он, бывало, скрывал подпитие, держался находчиво и хитро, был очень ловкий актер, и она не замечала ни запаха, ни покрасневших глаз, верила его словам: «Устал как собака», жалела его, стелила поскорей постель,

он бухался под одеяло и начинал храпеть, но ночью непременно выдавал себя, просыпаясь задолго до утра. Теперь с нею похожее. Ее алкоголем были память и боль, она скрывала днем, никто не должен был замечать — ни на работе, ни дома, ни Иринка, ни свекровь, уж тем более ни свекровь, потому что, если бы замечала, боль бы усилилась, и все свои силы днем она употребляла на скрывание, но на ночные часы ее не хватало.

А иногда он проснется ночью без всякого подпития — просто так, неизвестно отчего. Это уж было вовсе блажь. Ведь не старик он. Бессонница бывает у стариков. И она раздражалась, потому что спала чутко и просыпалась, как только он начинал вздыхать, ворочаться и в особенности смотреть на часы — он брал часы с крышки ящика для постельного белья, чтобы поднести их к глазам, и всегда звякал металлической пряжкой о ящик. Из-за этого звяканья было много разговоров. Она очень сердилась. Это было так глупо. Он старался, бедный, манипулировать с часами бесшумно, но почему-то ничего не получалось: обязательно хоть чем-то, хотя бы концом маленького металлического хоботка, задевал за ящик — и раздавался звякающий звук, очень ясный в ночной тишине, она вздрагивала, потому что просыпалась раньше (как только он принимался вздыхать), и, замерев, со сжавшимся сердцем ждала звяканья.

Свекровь продолжала жить с нею в одной квартире. Куда ей было деться?

Эта женщина твердо считала, что в смерти сына, умершего в ноябре прошлого года в возрасте сорока двух лет от сердечного приступа, виновата жена. Жить вместе было трудно, хотели бы разъехаться и расстаться навсегда, но удерживало вот что: старуха была одинока и, расставшись с внучкой, шестнадцатилетней Иринкой, обрекала себя на умирание среди чужих людей (ее сестра и племянница не очень-то звали ее к себе, да и Александра Прокофьевна жить бы с ними не согласилась), а кроме того, Ольга Васильевна должна была считаться с дочерью, которая бабушку любила и без бабки оказалась бы совсем без призора. Все это затянулось таким каменным, неразъемным

узлом, что выхода, казалось, тут не было: просыпайся среди ночи и ломай в отчаянии голову, а днем уходи из дому, убегай, исчезай. В командировки она теперь рвалась как могла чаще. Понимала, что неправильно, что слабость, что Иринка нуждается в ней сейчас гораздо больше, чем раньше, — и она нуждалась в Иринке и в поездках истерзывалась тоской по дочери, торопилась вернуться, каждый вечер по телефону наговаривала на пять рублей, а вернувшись, обнаруживала, что дочка прекрасно жила без нее, увлеченная своими делишками, и это несколько успокаивало, хотя и прибавляло боли, и опять тянулась уехать, спастись, наперед зная, что спасения не будет. Ах, как бы она жалела, как бы ценила старуху, если бы та жила где-нибудь далеко! Но в этих комнатках, в этом коридорчике, где прожитые годы стояли тесно, один к одному впритык, открыто и без стеснения, как стоит стоптанная домашняя обувь в деревянном ящике под вешалкой, сколоченном Сережей, здесь, в этой тесноте и гуще, не было места для жалости. Свекровь могла сказать: «Помнится, вы такие крендельки раньше не покупали. Где это вы брали, на Кировской?» Одна фраза вмиг уничтожала всю жалость, копившуюся по крупичам. Значило: его крендельками не баловали, а нынче, для себя, стали покупать. И такая мура, такая ничтожнейшая, смеха достойная глупость ранила, как удар железом. Потому что на самом деле — злобность, пытка.

Подобное кренделькам — пыточное — вышло и с телевизором. Давно еще, при Сереже, хотели купить новый, большой вместо старенького, с допотопной линзой, и деньги откладывали. Ольга Васильевна часто раздражалась, — может, и не следовало, но, боже мой, что ж теперь делать, — раздражалась напрасно, несправедливо, никак не могла перебороть себя, потому что, по совести говоря, были причины, теперь эти воспоминания тоже пытка, — оттого, что мог часами, забыв обо всем, смотреть любую спортивную дребедень. Заваливался в зеленое кресло, ногу на ногу, сигарету в зубы, круглую пепельницу с рыбкой ставил рядом на пол — и как приклеенный, не допросишься, не докричишься. Но почему все



подряд? Неужели все так уж одинаково интересно? Я отдыхаю! Имею я право на отдых, в конце концов? Гнев был слегка наигран: все обязаны знать, что он чудовищно устает на работе.

Он действительно уставал, кроме того, были неприятности. Но ведь они у всех. У него не хватало выдержки. И еще: он скрывал, скрывал, многое обнаружилось позже. Она о своих неприятностях рассказывала и этим облегчала себя, а он скрывал, стыдился своих неудач. И тогда, перед телевизором, жаловался полужестко-полудурачась:

— Господа, мои нервные клетки нуждаются в отдыхе. Собаки едят траву, интеллигенция слушает музыку, а я смотрю спорт — это мое лечение, мой бром, мои «эссенцики», черт бы побрал вашу непонятливость, господа...

Обыкновенное шутовство, но Александра Прокофьевна честно вставала на защиту сына. Иногда, чтобы поддержать его, садилась рядом в кресло и смотрела хоккей или волейбол, все равно что, ей-то уж было еще более все равно, и перебрасывалась с сыном замечаниями, от которых Ольга Васильевна едва не прыскала со смеху. Бывало, он скрытно и тонко, — но так, что Ольга Васильевна понимала, — подшучивал в этих беседах у телевизора над Александрой Прокофьевной, но старуха с упорством делала вид, будто спорт ее крайне интересует. Ах, да, лет сорок или тридцать назад она была завзятой туристкой! Еще недавно наряжалась в древнейшие штаны цвета хаки, немислимую куртку эпохи военного коммунизма, закидывала за спину рюкзачок, пригодный для сбора утиля, и отправлялась куда-то на электричке совершенно одна. Сережа относился к этому спокойно. Другим он не разрешал шутить над бабкой и даже улыбаться молча за ее спиной. Кажется, она посещала места, по которым ходила когда-то давно с мужем, Сережиным отцом, профессором математики, страстным ходоком, туристом и фотографом. Вид у свекрови в туристском одеянии времен наркома Крыленко был трагикомический. Даже Ольгу Васильевну коробило, а Иринка просто страдала: над бабушкой потешались местные дуры, охранительницы

подъезда. Серезин отец в сорок первом пошел добровольцем в ополчение и осенью погиб под Москвой. Старуху с ее печальными чудачествами можно было понять, но почему же ее-то, Ольгу Васильевну, не понимали? Почему ее горя не видели? Никакой силой нельзя было заставить свекровь, женщину неглупую, с юридическим образованием, признать право Ольги Васильевны на страдание.

— А конечно, покупайте телевизор, покупайте, не задумывайтесь! — говорила она, когда Ольга Васильевна слгупу решила с нею советоваться.

Очень уж просила большой телевизор Иринка. Ольге Васильевне было все равно, но тут в ближайший универмаг, в соседний дом, куда Иринка любила бегать за всякой ерундой, привезли телевизоры очень хорошей марки, которые бывали редко, и нужно было решать.

— Я вам говорю: покупайте! Зачем вы будете отказывать себе в удовольствии?

Ольга Васильевна сказала, что ей не до удовольствий.

— Я понимаю, но, с другой стороны, вы же не собираетесь заточить себя в монастырь.

— Нет, в монастырь не хочу, это правда.

Теперь Ольга Васильевна нажала нарочно, чтобы старухе стало больно, — ведь и та хотела доставить ей боль, говоря об удовольствии.

— Так что не мучайтесь, снимайте денежки, Сережа на это и откладывал, то была его воля... — На плоском, скуластеньком, как у старой татарки, лице Александры Прокофьевны стыла любезная улыбочка, а глаза свекрови — маленькие, прозрачно-голубые щелочки, Серезины, — смотрели холодно, без пощады.

Ожесточившись от этих укусов, Ольга Васильевна решила телевизора не покупать старухе назло. Накричала на Иринку, та ревела. Но потом, ожесточившись еще сильнее, Ольга Васильевна решила наоборот — и купила. Свекровь за четыре месяца не смотрела телевизора ни разу. Говорила, что бережет глаза и боится излучений, но, кроме того, тут была и демонстрация. Кто-то из знакомых успокаивал: обживетесь, обтерпитесь, одно у вас

горе, одна девочка, которую любите. Ольга Васильевна тоже думала, что как-то приладутся, но до одного случая, когда поняла, что нет, никогда.

Было в январе, двух месяцев не прошло, и боль давила непереносная. Вот уж когда жить не хотелось. Ночью, промаявшись без сна, Ольга Васильевна встала, пошла на кухню и там давилась слезами, пила то валокордин, то заварку из чайника холодную. Вдруг услышала: Александра Прокофьевна шлепает на кухню. Тоже не спалось. И это шлепанье Ольгу Васильевну пронзило, потому что — знакомое, Сережа так же шлепал в этих же тапочках без задников, старуха зачем-то их себе взяла и в них ходила. Она и одеяло его верблюжье зеленое себе забрала. И показалось Ольге Васильевне, будто Сережа идет. Придет на кухню, когда все трое там, остановится в дверях в газетном колпаке, руку поднимет и скажет: «Приветствую тебя, мой бедный народ!» Иринка, конечно, покатится со смеху. Он все пытался объединять, сблизить хотя бы на минуту, хотя бы шутками, дурачеством. И вот нахлынуло внезапно от этого шлепанья, и не смогла удержаться, зарыдала громко, это было непростительно и ужасно, потому что слез не должен видеть никто. Александра Прокофьевна вошла — в рубашке, седые волосы распущены космами, лицо желтое, недовольное, — поглядела на Ольгу Васильевну, подошла к буфету, взяла чашку и налила в нее воду из чайника. Нет, не дала воду Ольге Васильевне, вода была нужна ей самой. Она как будто не видела и не слышала рыданий Ольги Васильевны и обычным своим ворчливым голосом спросила:

— Где у нас сода?

Ольга Васильевна, не ответив, вышла из кухни. Этого вопроса насчет соды, невидящих глаз — не забыть. Потому что вдруг глянуло явственно то, что днем скрыто. Ночью обнажается истинное. Ольга Васильевна плакала, а старуха смотрела с ненавистью. Самые горькие разговоры бывали ночью. Он сказал однажды ночью, что, если бы не Иринка, он бы с нею, с Ольгой Васильевной, расстался, и это показалось ей такой смертоубийственной правдой, что едва дожидая до рассвета, а днем он острил,

городил чепуху, ничего не помнил, и ночной разговор схлынул бесследно, как кошмар. Но спустя несколько месяцев опять случился разговор ночью — он вздумал поехать один в дом отдыха, под Новый год, это напугало ее, не хотела его отпускать, требовала, чтоб он взял ее, в то время было несложно получить десять дней за свой счет, но возникала трудность с Иринкой, свекровь чем-то болела, ничего серьезного, будь это нужно Сереже, она бы отпустила их непременно, а тут, поняв, что нужно невестке, отказалась наотрез. Все было шито белыми нитками, нарочно пригласили Веру Прокофьевну с дочкой, Сережиной кузиной Тamarой, невропатологом из закрытой поликлиники. Ольга Васильевна ее не любила, не верила ни одному ее слову, и эта Тамара за ужином долго и вычурно объясняла заболевание Александры Прокофьевны, явно что-то преувеличивая, нагоняя туману. Ольга Васильевна, не желая обострять разговор, промолчала, смирилась, хотя тут был возмутительный сговор, но ночью все же не удержалась, разбудила его вопросом — и опять испытала то кошмарное состояние, когда все кругом закачалось, земля пошла из-под ног.

— Признайся, у тебя кто-то есть, с кем ты хочешь побыть вдвоем?

— Да, есть, есть, — заговорил он шепотом, мгновенно проснувшись. — Этот кто-то — я сам. Я хочу побыть вдвоем с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех...

В первую секунду верила, как привыкла верить всегда, но затем недоумение: разве он нуждается в одиночестве? Ей казалось, не было никаких причин, по которым следовало бежать одному за сто верст от Москвы. Поэтому хоть и поверила и слегка успокоилась, но не до конца. В глубине души терзалась загадкой, вызывавшей одну тошнотную мысль: «У него кто-то есть!»

Ему нравились маленькие блондинки. Однажды она случайно это выяснила. Тянуло к миниатюрным женщинам, которых можно баюкать, держать на руках. Как-то сказал Ольге Васильевне с нежностью:

— Как жаль, что ты грузна, матушка. Мне бы хотелось поносить тебя на руках.

Все его женщины были крупные. Просто совпадение, так получилось, он сам рассказывал. У него было пять женщин. Четыре до нее и пятая она. Может, были еще, даже наверняка, не могло не быть, но про тех четырех она знала точно, а про других могла лишь догадываться и подозревать. Зато про тех четырех выведала все подробности, называла их по именам — Валька, Светланка — и не упускала случая как-то кольнуть их и его заодно, сказать о них что-нибудь злое, глумливое. Она их ненавидела, этих мерзавок, этих шлюх, две из которых были старше него, учили его всяким безобразиям, одна была его ровесница, мнившая себя высокой интеллектуалкой, а на самом деле распутная тварь, мечтавшая женить его на себе любым способом, но он, слава богу, не поддался на ее уловки и поступил с нею решительно, хотя, может быть, не совсем благородно, но так ей и надо, твари, и была еще какая-то бело-розовая, пастозная, с которой он работал в музее, манерная дура, но очень красивая, она все время куда-то убегала от него, а он догонял. Однажды ему надоело — она побежала от него из дому, где они встречались, а он не стал догонять, и все кончилось. Эта четвертая, пастозная, несмотря на свой истеризм, была могучего сложения, и он называл ее Брунгильдой. Говорил, что груди у нее тяжелые и круглые, как супные тарелки. Ольга Васильевна ненавидела ее особенно. Она ненавидела их и теперь, всех четверых, потому что Сережа все еще мучил ее, продолжал ее мучить. И вот, думала она, у него никогда не было маленьких блондинок, и поэтому, может быть, его тянуло к таким. Он уехал в какое-то Пересветово по Горьковской дороге на двенадцать дней. Ей казалось: простить нельзя. Даже не потому, что непременно изменяет ей в Пересветове, а потому, что уехал, перешагнув через ее мольбы, отчаянье. Но спустя три дня пришла телеграмма: «Привози Ирину здесь прекрасно». Она взяла на работе отгульный день, поехала с Иринкой в Пересветово, и, конечно, он был прощен, катались на финских санях с гор, а утром, провожая ее на электричку,

он бормотал: «Какая же ты глупая, глупая женщина!» — и тыкался ей в рот небритым лицом. Ведь недавно, когда брали курортную карту, врач написал: «Практически здоров». Все было ничего, анализы, сердце, давление. Что же случилось за это время? Никто не может понять. Непонятно: как жить без него? И как удалось — вот уже пять месяцев и двадцать пять дней! Она и сама не понимала: все длилось бессмысленно, тянулось, жилось...

Будильник позвонит в семь. Еще полтора часа она будет лежать, погруженная в забытие — не в забытие сна, а в забытие исчезнувшей жизни, — потом медленно встанет, наденет стеганый нейлоновый халат, Сережин подарок ко дню рождения, а то и без халата, в одной рубашке, нечесаная, теперь она не следит за собой, побредет на кухню и поставит на плиту чайник, кастрюльку с водой для каши и другую для яиц, вынет из холодильника творог, кефир, чтобы, пока они с Иринкой моются и одеваются, творог и кефир немного согрелись в теплом воздухе кухни. Включит репродуктор, который стоит на верху буфета. И все время, что бы ни делала, о чем бы ни думала, она будет чувствовать пустоту и холод за спиной.

Был такой Влад, очень добрый, хороший, скучный, безнадежный, талантливый, с широким рябым лицом и глазами слегка навывкате, выразившими серьезность и преданность. Он носил очки в черепаховой оправе. Когда он смеялся — что случалось редко и всегда неожиданно, — он прикрывал рот рукой, ибо верхняя губа задиралась немного больше, чем нужно. Это не была настоящая заячья губа, но какой-то намек на заячью губу. Один из давнишних приятелей, остряк, назвал Влада зло «полузаяц», общучивая фамилию Полысаев. Влад был студентом мединститута, и еще тогда ему прочили большую судьбу в медицине. Мать Ольги Васильевны, для которой всякая *внешность* — будь то человека, пальто, шкафа, портьеры и даже букета цветов — не имела ровно никакого значения, а важно было лишь то достаточно спорное, что она определяла внутренним оком и называла *сутью*, очень хотела, чтобы дочь вышла замуж за Влада. Но Ольга

Васильевна никак не могла на это решиться, хотя и не хуже матери понимала, какой хороший человек Влад. Однако — всю жизнь видеть перед собой мощное рябое лицо со скифскими скулами...

И все это продолжалось, полувялое ухаживание, полудетская дружба, без надежды для Влада, без радости для Ольги Васильевны, в течение лет двух или трех (одновременно с Владом нагонял скуку еще один ухажер, некий Гендлин, инженер, совсем никудышник, хотя мать к нему тоже благоволила), пока не наступила роковая пора, завершение учебы, начало самостоятельной жизни, школа на Палихе, двадцать четыре года, отступать некуда, все подруги, проклятые, замужем, и вдруг Влад приходит с молодым человеком, недавним знакомцем, сошлись зимою в Звенигороде, в студенческом лагере, и мгновенно сдружились. Влад вообще был восторженный гуманист. Он увлекался людьми, хотя, надо сказать, разбирался в них не блестяще. Мать Сергея, например, он считал благороднейшей женщиной, трепетал перед ней, даже заискивал, и все лишь потому, что Александра Прокофьевна что-то там делала на фронте во время гражданской войны, в политотделе армии стучала на машинке. Но это уж было после. А до Сергея он приводил какого-то летчика, то чемпиона по борьбе, похожего на обезьяну, то книжного барышника, торговавшего детективами столетней давности, знатока всего на свете, говоруна и морфиниста. Новый знакомый Влада был историк, недавно окончивший, работал в каком-то невидном учреждении не по своей специальности. Кроме того, как представил его Влад, был абсолютным чемпионом Звенигородского района по «балде» и чтению слов наоборот.

И правда, в первый же вечер он поразил Ольгу Васильевну потрясающим искусством. Влад кричал восторженно: «Столовая!» И гость отвечал: «Яволотс». «Портфель!» — восклицал Влад. И немедленно следовало: «Лефтроп». «Землетрясение!» — коварно предлагал Влад, втайне ликуя от неминуемого победоносного ответа своего друга. И верно, тот, лишь на мгновенье запнувшись, отвечал: «Еинес...яртелмез». «Как, как, как? — кричал Влад. —

Повтори, пожалуйста! Надо проверить!» Проверяли, все было точно. Произвело огромное впечатление. Влад подбавлял жару: «Да что там — гений! Самый обыкновенный гений...» Он был тогда худ, строен, пышноволок, пружинисто двигался, весело и странно говорил, был не похож ни на кого из знакомых. Она почувствовала: что-то произошло. И тоже, поборов волнение, спросила: «Взгляд?» — «О! — закричал Влад. — Это очень трудно!» Гость посмотрел на нее одну секунду, будто соглашался — да, это трудно, — и негромко, но твердо сказал: «Дялгзв...»

Загадочное слово пронзило ее, как игла. Тут был, может быть, произнесен пароль, определивший жизнь. Никогда нигде не слышанное, не читанное, дикое слово «дялгзв». Но оно было зеркальным отражением другого слова, истинного, в которое она бесконечно верила, — «взгляд». Эта игра, это смешное, бессмысленное знакомство и дикословие под водку и шпроты остались в памяти намертво, потому что было внутреннее ошеломление и предчувствие перемены судьбы. И было еще: начало весны, той тревожной, неясной, которую еще предстояло разгадать, как слово «дялгзв», когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили. Но матери этот гость, изобретавший слова, не понравился тем, что в первый же вечер побежал за водкой. Узнав его лучше, Ольга Васильевна догадалась, что тут была вульгарная стеснительность и особая, чрезмерная нервность, толкавшая на нелепейшие поступки, но вовсе не страсть к спиртному. Мать не могла забыть Сережину фах рас много лет. «А ты помнишь, — говорила она, когда зять в чем-нибудь провинялся, — как он в первый же вечер побежал за водкой?» Мать, которая так стремилась к пониманию сути, не в силах была уразуметь, что этот смешной поступок совершенно не выражал сути. Она твердо считала, что более других дочери подходит Влад: в этом и состояла суть. Бедная мать, при всей ее любви к дочери она не могла преодолеть свойственного ей наивного эгоизма — наивного потому, что ей даже в голову не приходило усмотреть в своем поведении какие-либо следы эгоизма, ей казалось как раз обратное, будто она



окутана облаком альтруизма, живет для других, ради других, это походило на правду, хотя, если приглядеться внимательно, «другими» оказывался один человек, Георгий Максимович, — и она полагала, что заботится о дочери, настаивая на том, что Влад для нее лучше, а на самом деле заботилась о себе, ибо Влад был лучше для нее. И ей не нравились игры в слова и рассказ Сережи о том, как он с Владом ходил в психиатрическую клинику. А Сережа рассказывал гениально! Георгий Максимович, который зашел из мастерской попить чайку, тоже смотрел сурово.

У матери с Георгием Максимовичем всегда была замечательная синхронность. Мать высказывала суждения, а Георгий Максимович кивал подтверждающе, сопровождая кивки фразами вроде «пожалуй, что так» или «боюсь, что ты права». Родной отец умер давно, когда Ольге Васильевне было шесть лет. Мать в эвакуации познакомилась с Георгием Максимовичем, они работали на одном заводе: мать в плановом отделе, а Георгий Максимович в клубе, художником. Он был старый художник, учился до революции у какого-то знаменитого грека, ездил за границу, участвовал в выставках, за что-то его громили, перевоспитывали, оттесняли, постепенно он счах и сник, и к тому времени, когда попал в эвакуацию в маленький уральский городишко, из художника он превратился в полуголодного мазилу и зарабатывал на хлеб рисованием лозунгов и плакатов. Однако потом, когда он вернулся в Москву с новой семьей, с матерью и Ольгой Васильевной, ему дали мастерскую и комнату в доме художников, стали его привечать, упоминать в печати, давать ему договора и заказы, потому что в эвакуации, как выяснилось, он времени зря не терял, работал как вол, ибо искусство делают волю, по утверждению Ренара, любимого писателя Георгия Максимовича, создал галерею тружеников тыла под названием «Уральская сталь», эти рисунки выставлялись не раз, были репродукции, даже почтовые открытки, — и в жизни Георгия Максимовича наступил своего рода ренессанс, вторая молодость, или, как он выражался, «мой розовый период», и все бы шло хорошо

и ладно, если бы как раз в те годы, в конце сороковых, Георгий Максимович не стал болеть. Что-то с головой, потом с глазами, запрещали работать, он уезжал в санаторий, потом начались сердечные неприятности, и незадолго до появления Сергея случился инфаркт. Сколько ему было тогда? Да уж очень порядочно. Мать моложе на семнадцать лет. А ей было в то время, когда появился Сергей, сорок три, значит, Георгию Максимовичу было шестьдесят.

Он еще ходил прямо, руку пожимал крепко и, знакомясь с людьми, имел обыкновение упорно и зорко вглядываться человеку в лицо, обшаривать его с бесцеремонностью. Новых людей это коробило. Сережа признался потом, что первая встреча с Георгием Максимовичем его слегка озадачила.

— Он смотрел на меня так, будто я что-то украл.

Правда, у Георгия Максимовича была еще и другая привычка: изучив нового человека досконально, он сообщал, что у того «интересное лицо» и что его «очень интересно написать». В этом звучала покровительственная нота человека искусства, стоящего над остальными людьми, и в то же время была невинная лесть, приятная всем. Но Сереже Георгий Максимович этого не сказал. Настороженность была с первой минуты. Впрочем, Георгий Максимович был тут несамостоятелен, он лишь улавливал, подобно чуткой мембране, настроение матери. Да, они очень подходили друг другу. Ну и прекрасно, слава богу. Ольга Васильевна не ревновала, отца едва помнила, Георгий Максимович относился к матери хорошо, по-видимому, любил ее, а уж она, бедная, его обожала, и с годами у них образовались одни вкусы, одни взгляды на людей, на живопись, на книги, на деньги, на все. Мать постоянно была погружена в его дела и болезни. Ее просто не хватало на чью-то другую жизнь. Когда родилась Иринка, мать поначалу разрывалась между внучкой и мужем, ей хотелось быть нужной, вездесущей, но сил не стало, и она сдалась, уступила место другой бабке. Ольга Васильевна ее простила. Некоторое время жила с матерью и Георгием Максимовичем на Сушевской, где была

мастерская, в квартире с соседями, потом у свекрови случилось горе — умерла дочь, незамужняя, какая-то невезучая, больная, свекровь ее очень любила, — и решили переехать к ней в двухкомнатную квартиру на Шаболовку. Тут прошло Сережино детство. Все ему было тут мило, близко, и хотя Ольга Васильевна сразу почувствовала, что жить со свекровью будет несладко, но Сережа очень хотел, и старухе, — впрочем, какой старухе, она была тогда шумливой, суетной пожилой женщиной, — надо было пойти навстречу. Дать ей хотя бы внучку. Грустно было уезжать от матери. Но ничего поделать было нельзя. Все это двигалось своим ходом и началось в тот вечер, когда он пришел, лохматый, в ковбойке, в пиджаке с накладными плечами, и говорил слова наоборот.

А после того вечера: весна, дворы, подворотни, подъезды, кафе, забегаловки, начало лета, ничего не понимавший Влад, поиски денег, вагоны на юг, жара, прохлада, освобождение. Вчетвером: Ольга Васильевна с Ритой, подружкой тех лет, сгнувшей потом бесследно, и Влад с Сережей. У Влада был знакомый, вернее — знакомый его отца, генерала медслужбы, владелец дома в Гаграх. Он обещал снять комнаты. Нужны были две: для Риты и Ольги Васильевны и для Сережи с Владом. Почему-то в доме доброго знакомого жить было нельзя. Лето пылало, в Гаграх стояла одуряющая духота. Отчего-то вышло так, что знакомый Влад — некий, кажется, Порфирий Николаевич, то ли, может быть, Парфентий Михайлович, невнятный человек, работавший когда-то в Москве в ответственном учреждении, а теперь, пенсионером, живший в Гаграх в собственном особнячке, — снял только одну комнату, довольно паршивую, далеко от моря, на горе, и еще предложил летнюю хибарку в своем саду. Комнату отдали ребятам, а девушки поселились в хибарке — у самого пляжа. Это было легкое сооружение вроде шалашика или того, что теперь называется «бунгало» и вошло в моду по всему Черноморскому побережью. Вначале все было восхитительно, но затем обнаружились неудобства. За водой и в туалет ходили через весь сад в дом. Кроме того, постояльцы особнячка, родные, близкие и дальние

знакомые Порфирия Михайловича, которых было множество и приезжали на машинах все новые, жили какой-то шумной, утомительной жизнью. Ежедневно там пили, гуляли, горланили песни, заводили громко радиолу и танцевали на веранде, жарили шашлыки в саду, а вечерами толпою ходили на море купаться: спускались тропкой через калитку в заборе на каменистый пляж. Дом стоял на берегу.

Весельчаки из дома Парфентия Николаевича зазывали в свою компанию Влада с Сережей и девушек, ребята не отказывались, денег у всех в обрез, в Гаграх дороговизна, да и ничего не достать, а там угощали щедро, хванчкары и чачи сколько душе угодно, и Рита, невзрачнейшая хитруша, прибитая московским одиночеством, тоже рвалась к этому водовороту, казавшемуся хоть и опасным, но обольстительным.

Но Ольга Васильевна твердо: «Нет!» Среди людей, бродивших вечерами по саду, попадались хамы, и раза два кто-то ломился поздним часом в хибарку, дверь трещала, глупая Рита хихикала, но Ольга Васильевна догадывалась, что Рита им не нужна. «Эй, гордая! — кричали снаружи. — Пойдем с нами купаться!» Ольга Васильевна суровым голосом грозила милицией.

Наутро жаловались Владу, тот бежал в дом, оттуда приходила жена Порфирия Парфентьевича, статная дама, всегда в белом, черные волосы с проседью, на пальцах золото, в ушах золото, и когда улыбалась синим большим ртом, обнаруживалось много золота во рту: «Девочки, простите моих хулиганов. Они дети юга. У них солнце в крови... Солнце делает людей безумными...»

Сережа здорово плавал, нырял, прыгал с вышки. Он и Рита заплывали далеко за буйки, а Ольга Васильевна с Владом полоскались у берега. Вообще Сережа, такой неумелый и робкий в житейских делах, в отношениях с людьми и самим собой, обладал большой физической смелостью. Поговорить с Порфирием о том, сколько нужно заплатить за хибарку, и одновременно насчет водопровода, который жители особнячка часто перекрывали, ставя Риту и Ольгу Васильевну в затруднительное положение,

он никак не решался — боялся обидеть, малодушно тянул, но и не отказывался от хванчары и сидения на веранде с гостями, и она с досадой угадывала что-то шаткое, немужское в этом характере, — и он же мог с легкостью ввязаться в любую драку на пляже, мог прыгнуть шутя с десятиметровой вышки. И с каждым днем она все отчетливей сознавала, что пропадает.

Никогда раньше она не испытывала такого безысходного, отчаянного пропадания. Прекратилась всякая другая жизнь. Пропали все другие мысли. Ведь прошло лишь несколько дней — что же могло измениться? — а казалось, что изменилось все вокруг: цвет неба, запах моря, вкус шашлыков. И в ней самой сдвинулась какая-то стрелка. Все внутри завертелось гораздо быстрее, чем раньше. Возникло что-то тревожащее и новое в ней самой, какая-то посторонняя тяжесть, доставлявшая неудобства и мучения. Например: она не могла теперь вынести, когда он заходил в дом Порфирия и задерживался там надолго. Какая, подумать, ерунда. А она терзалась: зачем он там? с кем? чей смех доносился с веранды? Мужской смех задевал так же, как женский, одинаково чувствительно. Значит, там ему слаще, милей, чем здесь, с нею. Это были странные мучения, изолированные от рассудка, подчинявшиеся наитию: ведь он не был мужем, они еще не были близки, только еще намечалось, мечталось втайне, и, однако, ее ощущения и муки были такие, будто все уже произошло. Как-то она не утерпела, поднялась на веранду, чтобы позвать его. Он унес шахматы, а тут собрались на пляж — она начала учиться играть в шахматы, ей хотелось делать все то же, что делал он, и однажды, поборов страх, даже прыгнула с трехметрового трамплина солдатиком, — и, открыв стеклянную дверь, увидела, как несколько человек, мужчины и женщины, сидели вокруг стола с закусками и глядели на Сережу, который стоял чуть в стороне, чтобы быть на виду, и изображал нечто мимическое. Он умел эти мимические штуки делать отлично. Особенно «старого аптекаря» и «динамовского болельщика». Вообще в нем было много талантов, он ведь и рисовал, и пел хорошо, и самоучкою выучился на гитаре.

Тогда, на веранде, она почувствовала вдруг бурное отвращение, как приступ тошноты, — и к нему, и к людям за столом, глазевшим на него с веселым, пьяным дружелюбием, как в ресторане. Как же она разозлилась! Те аплодировали, кричали: «Браво!», «Аллаверды к тебе, Серго!», тянули к нему рюмки, а она сказала зло:

— Ну, а теперь прочитай какое-нибудь слово наоборот, — например, «шутовство», — и скажи «до свиданья». Нас на пляже ждут.

Он с изумлением уставил на нее узкие синие глаза и даже рот раскрыл, чтобы что-то сказать — то ли возразить, то ли прочитать слово «шутовство» наоборот, — но она взяла его за руку, он молча подчинился, и они вышли.

По дороге на пляж она ему внушала, испытывая при этом острое наслаждение оттого, что он молчал, а она пилила с материнской строгостью:

— Пойми, ведь это стыдно, это мерзко, ты себя унижаешь, ты был шутком перед пьяными рожами. Ты, интеллигентный человек, потешал этих господ, этих прощелыг...

Потом он стал защищаться довольно добродушно:

— Ты уж слишком максималистка... Имей в виду, максимализм до добра не доводит, говорю тебе как историк...

Но ему как будто все это нравилось: и то, что она вела его за руку, и то, что была оскорблена за него. Именно тогда, может быть, возникла в ее сознании модель, что в течение долгих лет представлялась единственной благодатью, к которой следовало стремиться всеми силами, а он, хитрец, делал вид, что подчиняется, но на деле был далек и безучастен: *вести его за руку* и поучать с болью, с сокрушением сердца. А на пляже разгорелась дискуссия. Влад, услышав ее нападки, ринулся товарища защищать: «Ты не знаешь местных обычаев. Здесь нельзя отказываться, когда тебя угощают».

И Рита, давно уже скрытно раздраженная, — она соображала своим умишком, что ни Влад, ни Сережа ею не интересуются, и начала понемногу Ольгу Васильевну

ненавидеть, — сказала, что Ольга по своему обыкновению делает из мухи слона. Что касается Парфентия и его гостей, то, по мнению Риты, они люди добрые, простые, не надо их презирать... «Не надо высокомерничать» — ее фраза. Но чем они занимаются, бог ты мой? Откуда средства для такой сказочной щедрости? Неприлично считать чужие деньги, это дурной тон. Ведь не жулики они. Потому что иначе сидели бы в тюрьме, а они прекрасно живут. Такова была логика этой глупышки, с которой Ольга Васильевна загадочным образом сошлась на короткое время. Рита была худошавая рыжеватая блондинка с белой конопатой кожей, голубыми глазами и острым носиком. У нее не иссякала твердая вера в то, что она красавица, и годы проходили в негаснущем недоумении: почему никто этого не замечает?

Была какая-то странная жизнь вчетвером. Повсюду ходили вместе: на базар, в кино, в дымную чебуречную, где толстяк с маленькой головкой, Датику, угощал молодым вином и прыскающими жиром чебуреками, по набережной, по главной улице, где слонялась вялая белая толпа, и вечерами на теннисный корт, где играли классные игроки, а Сережа и Влад глядели на них с ненасытной жадностью, потом им самим разрешали немного попрыгать, они оба еще только учились, тренер Отто Янович давал указания, Влад был бездарен, но у Сережи получалось хорошо, с каждым вечером все лучше, он мог при желании стать настоящим теннисистом — с его талантом мог стать настоящим кем угодно, настоящим пловцом, музыкантом, рисовальщиком, ядерным физиком! — и Отто Янович говорил, что «прыгучесть прекрасная», но не было ни мячей, ни ракеток, все стоило дорого, сэкономили деньги на обратную дорогу, а Ольга и Рита сидели на длинных скамейках в тени тополей и смотрели на игроков. И когда она смотрела на Сережу в тельняшке, в белой шапочке с козырьком, на его загорелое худое лицо, на его немного полные, тяжеловатые ноги в вязаных носках, которые он вез из Москвы, специально чтоб надевать под кеды, — правда, он не знал, что займется теннисом, думал, что будет играть в волейбол, был заядлым

волейболистом, — у нее как-то ломко, счастливо падало сердце. Она наслаждалась, глядя на него и видя все его страсти, напряжение, досады, радости, все было обнажено, а он не видел ее. Однажды Отто Янович, бородастый гномик, сунул незаметно записку. Она развернула осторожно, чтоб Рита не увидела, и прочла: «Приходите завтра к девяти утра. Я буду вас учить совершенно бесплатно и сколько угодно». Гномик брал порядочные деньги за час и, говорят, был богатым человеком. Она улыбнулась ему и покачала головой. Отто Янович скорчил гримасу, означавшую глубокое горе. Ах, много их было в то лето, стремившихся учить ее совершенно бесплатно и сколько угодно!

Верно, она была тогда хороша. Еще не располнела. Все у нее было в меру, все ладно, гибко, плотно, и хоть не умела плавать, но бегала легко, играла в волейбол, делала без труда мостик. Сейчас — попробуй! А тогда хоть бы что. Десять раз подряд без натуги. Мужчины на пляже на нее пялились. В те годы она очень ровно и быстро загорала — потом это свойство почему-то ее покинуло. Но ведь лежала на солнцепеке часами, не жалея сердца, такая дура. Волосы носила по тогдашней моде растрепанными до плеч. Сережа говорил: «Голова Медузы». А ей очень шло. Такая пышная, густая, темно-русская чаша, а лоб весь открыт, круглый, чистый, еще без единой морщины. Наверно, то был лучший год всей ее жизни, год расцвета. Она замечала это по взглядам мужчин, по тому, как кавказцы, глядя на нее — когда она выходила из моря, — нахально цокали языками и причмокивали. Ну, и приставали, конечно, бессовестно. Навязывались в друзья, в собеседники, в партнеры по кингу, по волейболу. Сережа и Влад жили в постоянном ожидании драки.

Были какие-то ленинградцы, какой-то капитан, какой-то гость Порфирия по фамилии Цнакис, какие-то обгорелые дочерна эстрадники, с одним из которых Сережа затеял скандал и даже ударил его резиновым надувным дельфином, нанеся легкое повреждение типа царапины, отчего был шум, крики, явилась милиция, и Сережу спас



от беды Порфирий. А тот, что пристал в лесу, когда ездили на озеро Рица? Был еще смешной человек, пожилой, с оливковым лицом, тоже из гостей Порфирия, который ухаживал одновременно за Ритой и Ольгой, где выгорит, был деликатен, услужлив, ходил поутру на базар и приносил зелень, кислое молоко и ягоды, к Владу и Сереже относился с отеческой благожелательностью и, кажется, не считал их серьезными соперниками для себя, увязывался на пляж и донимал нудными разговорами, не знали, как от него отделаться, уж очень был хорошо воспитан. Но однажды он под секретом, потребовав сохранения тайны, показал Рите медицинскую справку, где говорилось: такой-то, обладая нормальной половой потенцией, лишен способности к деторождению, что подтверждает главный врач поликлиники имярек. Рита, разумеется, поделилась новостью, веселья было много. Оливковый человек куда-то исчез, пропал навсегда.

Сережа учил ее плавать. Им так нравилось это учение! Было бы скучно, если бы она умела плавать так же хорошо, как он. Он держал ее на руках, она барахталась, висла у него на шее, хохотала, тонула, слепла от брызг и все время чувствовала его руки, которые были очень смелые в воде. Влад поглядывал на них, напрягая зрение — в море он был без очков, — стараясь разглядеть, что же там происходит, в этом хохоте, в брызгах, иногда предлагал:

— Если хочешь, могу тебя поучить. Если Сереже надоело...

Бедный, он сам держался в воде ненамного лучше. Но он был рыцарь. Его вводили в заблуждение грубоватые, будто бы раздраженные окрики Сергея: «Как ты непонятлива, матушка! Ногами делай вот так, как лягушка!» Тогда он любил это «матушка», «мать», словно прожили вместе целую жизнь. Потом явились другие ласковые слова, — например, «слоненок», «слониха». Знакомым казалось странным, что она терпит такое неэстетическое обращение, а ей нравилось: она знала, в какие минуты это возникло. Влад доплывал, пытался учить, они хохотали. До чего все казалось смешным! И Влад, который надувал щеки от добросовестного желанья помочь, мозолил

глаза, ничего не понимал, и Рита, которая все понимала, тихо злилась — она решила, что Сережа был приглашен на юг для нее, и теперь все происходящее расценивала как измену, — и они сами казались друг другу радостными источниками веселья, любое слово, всякая глупейшая детская шутка вызывали хохот.

Рита ночью затеяла ссору: требовала закрыть окно. Ольга протестовала. Было очень душно.

— А мне холодно! — упорствовала Рита.

— Дышать же нечем.

— Я не желаю по твоей милости получить воспаление легких!

— Мы спать не сможем при закрытом окне.

— Ты будешь спать прекрасно. Я за тебя не волнуюсь...

Так препирались долго, и Рита, разумеется, взяла верх — окно было закрыто. Ольга чувствовала себя сильной и счастливой. Озлобление Риты не иссякало, она стала упрекать Ольгу в эгоизме:

— Какая я дура, что согласилась с тобой поехать! Ты думаешь только о себе. Жить с тобой и десять дней невыносимо, ты законченная эгоистка.

Ольга слушала оскорбления, но не испытывала ни вражды, ни желаний отвечать: в глубине души даже жалела Риту. Но чем могла ей помочь? Если бы Влад хоть слегка стал приударять за ней, было бы прекрасно, но Влад относился к Рите с непрошибаемой товарищеской добротой, что было совсем не то.

— Не знаю, почему я эгоистка, — говорила Ольга, зевая и улыбаясь сквозь дрему. — Давай спать, мне спать охота.

— Конечно, тебе охота, ты напрыгаешься, наорешься, — ворчала Рита. — Ты потому эгоистка, что все себе, себе. О других не думаешь... Ужасней отдыха не было в моей жизни... Какой-то кошмар, какая-то мука...

И в довершение всего разревелась. Ольга бегала в дом за каплями, за водой, будила людей. Рита лежала бездыханная, с мокрым полотенцем на голове, жалким голосом просила достать ей билет в Москву, проклинала свою судьбу, Ольга говорила какой-то успокоительный вздор,

а сама думала: завтра, в море... И ничьи слезы, никакие беды не могли омрачить радости.

Потом Рита встретила какую-то приятельницу в Ахали-Гаграх и переехала к ней. Однажды ее видели с этой приятельницей, толстой соломенной блондинкой среднего возраста, они шли под руку, рядом шагали двое мужчин в пижамах — тогда была такая мода на юге, в полосатых пижамах мужчины гуляли по городу вроде как бы в летних костюмах, — все четверо шумно разговаривали, Рита поглядела мельком и прошла мимо, едва кивнув. А первую ночь спать в хибарке одной было неудобно. Ольга и не спала почти до рассвета, слушала гул моря, томилась то тревогой, то радостью, то не поймешь чем: неизвестностью. Какие-то люди ходили по саду. Скрипели цикады. Гудел автомобиль. Кто-то выезжал за ворота. Ольга думала: куда это они среди ночи? К духанщику за вином, что ли? Утром жаловалась ребятам, что совсем не спала от страха. Говорила неправду, неудобность была от непосильного ожидания, от смутных мыслей.

А верно: с первой же ночи, как осталась в хибарке одна, ждала, что он придет. Ребята сказали, что будут ее охранять. И ночью пойдут купаться.

Ночь была темнейшая, в двух шагах ничего не видеть. Южная ночь, без звезд. Облака нависли, дышать было трудно. На пляже слышались разговоры, гремели шаги по камням, много людей купалось ночью, тоже не дураки. Разговаривали вполголоса, иные шептались, в воздухе была разлита какая-то таинственность, и Ольга с волнением это почувствовала, но подумала, что это ей мнится, что тайна в ней самой. Потом обнаружилось, что люди действительно шептались и тайна была истинная, не имевшая к ней отношения. А тогда кружилась голова и ноги подкашивались от душности, от тьмы и предчувствия тайны. Мрак был такой, что можно было купаться голыми. Ольга подходила к морю, не видя воды. Никогда в жизни, ни до, ни после той ночи, она не купалась в такой теплой воде. В ней было, наверно, градусов двадцать шесть. И никакой волны, совершенное спокойствие и беззвучность, моря не существовало, просто теплая вода, как

в бассейне, и в потемках тихий плеск и неясный говор людей.

Она поняла, что будет необыкновенная ночь. Влад куда-то ушел. Может, он был поблизости, но молчал, не выдавал себя. Сережа тянул ее за руку на глубину, и она его не видела. Остановилась, когда вода стала ей до плеч. Он сказал, что похоже на священное купание то ли в водах Ганга, то ли в Иордане, где-то в тропических реках, где вода как парное молоко. Русский князь Владимир крестил в Днепре, там все-таки попрохладней. Она посмеялась над ним:

— И все-то ты знаешь!

А он спросил:

— Хочешь, буду учить тебя плавать?

Она удивилась: днем только этим и занимались. Подошла к нему, обняла его за шею, и стояли так долго, целовались, это было впервые и вышло совсем просто, как будто много раз целовались до этого, но странно было одно: кругом люди, и никто не видит. Влад издалека звал их. Ей сделалось неловко, стала вырываться, они боролись, выбежали из воды и повалились на камни. Камни были теплые. Но ей стало зябко, она дрожала.

— Где вы тут, чертушки? — кричал Влад.

Сережа зажал ей ладонью рот. Не выдержав, оба прыгнули смехом и упали с большого камня, на котором сидели.

— А, вот... замаскировались... — Влад тяжело сел рядом. — А я, братцы, договорился насчет билета.

Ее бил озноб, она боялась спросить, какого билета, чтобы голосом не выдать, как она дрожит. Нелепо дрожать в душную ночь. Все-таки ей не хотелось, чтобы Влад догадывался, что с ней происходит. Он сказал, что условился с клиникой Первого мединститута, что будет там работать в августе. Ведь он был тогда еще студентом, пятикурсником, хотя старше ее и Сергея года на три. Позже начал учиться.

По его голосу она поняла, что он догадался. Было его очень жаль. Язык его не слушался, он бормотал невнятицу, какие-то жалчайшие поручения перед отъездом. Часов до двух ночи тягостно разговаривали на берегу, потом она

призналась, что хочет спать. Ей не так уж хотелось спать, мозг был воспален, но что-то побудило ее так сказать: просто сидеть дольше втроем было невозможно. Влад спросил: нужна ли охрана? Оставался рыцарем, несмотря ни на что. А каким бы он был исключительным мужем, если бы... Мать Ольги Васильевны считала, что в нем есть «какая-то долька» от Пьера Безухова. Пьер — ее любимый герой, потому «какая-то долька» значило в ее устах много. Георгий Максимович говорил, что у Влада лицо как у мордовского бога Кереметь и что его интересно писать, — писал и мучил Влада многократно, — и очень хотел, чтобы у Ольги с ним все сладилось: «Не будь вороной, лучшего друга тебе не найти». Сейчас он доцент, заведует отделением, у него трое детей, жена — добродушная бесформенная толстуха с широкой жирной спиной, врач-рентгенолог. А тогда был раздавлен, несчастен, спрашивал убитым голосом: нужна ли охрана?

Оба ушли, она осталась одна, мокрый купальник лежал на дощатом подоконнике в ожидании солнца. Спать не хотелось, не было страха, не было шагов, голосов, ничего. Она лежала с открытыми глазами, сердце колотилось, она знала, что ночи осталось мало и он скоро придет. Спустя минут двадцать он пришел. Снова ее тревожил Влад: вдруг заметил, как он уходил, и догадался куда; и она спросила, почему он не подождал до завтра, пусть бы Влад уехал. Он спросил:

— А что тебе Влад?

В самом деле, Влад был для нее ничто.

— Я не мог ждать до завтра.

Не было разговоров, обещаний, клятв, она ему просто поверила навсегда.

Потом было много, бесчисленно, других ночей в городе и на даче, летом, в дождь, холодной осенью, когда еще не работало отопление и комнату согревал рефлектор, почти каждую ночь они становились женой и мужем. Это был редкостный дар, подруги иногда делились интимностями, она — никогда, если бы когда-нибудь рассказала, они бы не поверили и сочли бы такой же ложью, какую сочиняли сами, но суть заключалась в простом: то, чего

не хватало одному, находилось у другого, а то, что было у них обоих, соединялось в целое слитно и полно, но это сделалось понятно не сразу, не в первую ночь и не в первый год. Потом она поняла, что ни с кем у нее не могло быть того, что было с ним. А тогда, в хибарке, — что ж? Душная, забытая ночь...

И еще один день болтался с ними ненужный Влад. В море Сережа не подошел к ней ни разу, все время был с Владом, даже как будто сторонился ее. Она пугалась, успокаивала себя: делает так нарочно, хитрец, ведь и он знал и она знала, что ночью он придет снова. Потом какой-то человек отозвал Влада в море, они отплыли от берега, и человек передал новость. Тогда было много разных слухов и новостей. Она забыла, что именно. Помнила только: Влад и Сергей необычайно возбудились, побежали к Порфирию, но домработница сказала, что хозяин уехал в Москву, хозяйка больна и никого видеть не может, а гости разъехались. В саду не было ни одной машины.

Пошли в город, на базар, по магазинчикам. Когда Влад отходил куда-то или отворачивался, Сережа брал ее руку, сжимал пальцы, норовил как-то прижаться к ней, прикоснуться. Влад и Сергей много спорили в тот день, шумели, рассуждали, а она все время думала о том, как будет ночью. На базаре продавали ранний виноград. Она понимала, конечно, что новость, может быть, интересна, но ее переполняло другое событие, и она слегка недоумевала: как мог Сережа в *такой день* увлекаться чем-то иным и даже мог, например, не слышать ее, когда она о чем-то спрашивала?

Усатая гречанка-домработница шаркала по саду с граблями, да овчарка Титан тосковала на крыльце, положив морду на лапы. Все разбежались, исчезли, и статная дама с синими губами, похожая на гоголевскую покойницу, тоже куда-то сгнула. А хорошо было тогда в доме, в саду! Прожили дней пять на втором этаже, на веранде, гречанка страшилась одна ночевать и позвала. Все там было исполинских размеров, диван — как будто приспособленный для свального греха, и в комнатах стоял

не выветриваясь кислый винный запах с оттенком псины, а на веранду втекал изнуряющий и заново придающий силы воздух моря. Ночи и дни шел разговор, ненасытно узнавали друг друга. И уже тогда было так, будто все давно решено. А в октябре Влад поразился, когда его пригласили на свадьбу. Все-таки он не думал, что дело пойдет так далеко и, главное, так быстро.

Ведь только что познакомились — и вот уже веранда над морем, никаких тайн, нет человека ближе, август, его мать с тяжелыми разговорами, но это уже ничего не меняло. Перхушково, осень, вечерние электрички, встречи у пригородных касс, и тут же возникла Светлана, этот кошмар, который рассеялся не скоро и едва не задушил ее.

Когда она впервые услышала это имя? От его матери?

Нет, его мать произносила это имя так, что Ольга Васильевна содрогнулась: оно было знакомо. Оно уже сидело в сознании ничтожной занозой, воспаляя ткань, набухая медленной болью. Он был честен, легкомыслен, болтлив, пробалтывал многое, и она слышала про ту очкастую, которая не гнушалась ничем, чтобы удержать его, но сначала Ольга Васильевна не относилась к ней чересчур всерьез, ибо не могло же не быть прошлого, и у нее тоже было прошлое: например, Гендлин. Совершенно вытеснилось, погребено тысячелетиями, вроде фараона Тутанхамона. Кажется, познакомились в консерватории. Кажется, он был инженер, высокого роста, ходил как-то странно, чуть приседая на каждом шагу. Укоризненный голос мамы: «Опять звонил Гендлин». И след виноватого чувства — не к Гендлину, а к маме. Расправиться с Гендлиным не составляло труда, он сам отпал тихо, как отпадает лист от осеннего ветерка, но она, однако же, говорила гордо и в поучение: «Вот я: сказала прямо, чтоб не звонил больше, потому что не нужно, и он понял — и все. Надо рвать, как больной зуб, сразу». Сережа соглашался: да, да, разумеется. Как больной зуб. Тогда еще она не знала этот характер, исполненный зыбкости и причуд, и в покорном кивании, в незамедлительном и легком согласии находила покой, длившийся, впрочем, не так уж долго: до первого разговора с будущей свекровью.

Комната на Шаболовке удивила: какая-то шестигранная, обрубок зала с потолком необычайной высоты, лепные амурчики беспощадно разрезаны по филейным частям. Одна ножка и крылышко осеняли шестигранную комнату, а другая ножка и ручонка, держащая лук, висели над коридором. Голов у амурчиков не было. Они приходились на перегородку. На стенах, оклеенных темно-вишневыми обоями в белых корзиночках, развешано множество фотографий. На одну Сережа тут же обратил ее внимание: пирамида усатых мужчин во френчах, папахах, шинелях и сбоку едва заметная, с неразличимым лицом фигура в белом платке.

— Это мать в политотделе армии. Двадцатый год.

Было обозначено сразу: не чета другим матерям, не просто начинающая старуха, а делательница истории. Но Ольга Васильевна и так смотрела на остроглазую скуластую женщину, очень морщинистую, тонкогубую, с громадной симпатией и честным желанием полюбить ее — не потому что делательница: ко всяким реликвиям, развалинам, свидетелям старины она относилась равнодушно, но потому что — его мать. Пили чай из дешевейших чашек, чуть ли не детских. Пришла его сестра, закутанная в старушечью шаль, толстая, нескладная девушка, совсем на него не похожая, с какой-то блуждающей многозначительной улыбкой. Разговаривая, улыбалась криво и смотрела в сторону. Она была старше его года на три.

Все в этом доме — стены, потолок, посуда, мебель и люди, тут обитавшие, — отличались какой-то тайной несуразностью. И, однако, как она это все полюбила! Он побежал в магазин за красным грузинским вином. В Гаграх пристрастились к красному! И вот когда сестра ушла в другую комнату и Ольга Васильевна осталась с будущей свекровью наедине, та вдруг спросила:

— Вы что-нибудь знаете о Светлане?

Ольга Васильевна призналась, что знает. Но смутно.

— Так вот вам не смутно. — И глаза, синие щелочки со стальным зрачком, впелись в глаза. — Эта Светлана, о которой я слыхом не слыхивала до позавчерашнего дня, ждет ребенка от Сергея.



Оказывается, та особа приходила сюда, рассказала, взвинтила (потом все прояснилось как обыкновенный шантаж, расчет на дураков), и вот теперь допытывали — плохонькая гостиная вдруг превратилась в комнату призрачного трибунала, не хватало кожанки и маузера в деревянной кобуре.

— Вы уверены, что можете быть счастливы ценою несчастья другого человека?

Ольга Васильевна лепетала:

— Я не знаю... А вы уверены, что это правда?

Женщина со стальными зрачками кивала холодно.

— Но ведь любовь... если любят... если бросают, уходят... — жалким голосом пыталась сопротивляться Ольга Васильевна.

— Вы говорите о подлецах. Мой сын не подлец. Он просто безответственный тип.

Внезапно возникла сестра, все слышавшая, и, кривя рот улыбкой, нервно, с напором, произнесла:

— Не обращайтесь внимания на ее разговоры, она, как обычно, все низводит до схемы! — И, повернувшись к матери, очень зло и отчетливо: — Ты опять говоришь вздор! Уши вянут тебя слушать.

Старая женщина сникла. Прибежал Сережа с вином. Ольга Васильевна крепилась изо всех сил, чтобы не расплакаться. Сережа все понял, стал допрашивать мать, снова появилась сестра и теперь взяла мать под защиту; как они относились к этой змее, к Светланке, было непонятно, ее как бы не существовало, был важен принцип, из-за которого все трое жестоко ссорились, каждый отстаивал какую-то свою правоту, и Ольга Васильевна ничего не понимала. Но одно, казалось ей, она понимала: *они ее не хотят*. Несуразность сидела в натуре этих людей, делать выводы по их речам и поступкам было опрометчиво. Сережа говорил, что Светланка лжет. Она ему верила. Но почему-то было очень трудно порвать с ней, она грозила самоубийством, он мучился, ездил к ее родственникам, встречался с ее братом-боксером, ходил к врачам, в лабораторию, анализы были отрицательные, та действовала, как настоящая аферистка, а на свекровь всегда влияли

фальшивые люди, хотя — Ольга Васильевна догадывалась — Светланку свекровь *не хотела* еще сильнее, чем ее.

Весь кошмар длился недели три в сентябре, и в какой-то миг показалось, что та своего добилась: оторвала Сережу, хоть и не к себе, но — от Ольги Васильевны. Решила с ним расстаться — таков был удар этой суки, убийственно рассчитанный, — но что-то спасло ее, она устояла.

Звонок в двенадцатом часу ночи. Плюгавая, взъерошенная, на тонких кривых ножонках девица в очках. Вы Ольга? Да, я. Сразу все поняла, и кровь хлынула в голову. Ненависть к мозглячке была страшная: схватить бы и сбросить с лестницы, чтоб руки-ноги переломала! Но, конечно, вежливо пригласила зайти, разговаривали в коридоре. Та убеждала, что Ольгу Васильевну он не любит и любить не может, пусть она не обманывается, он «таких, как вы», вообще не выносит, нашло затмение, пройдет, «вы будете несчастны» и еще что-то бредовое. Ольга Васильевна чувствовала, как внутри у нее все сдавилось. Онемев, глядела в худое, треугольное личико с острым подбородком, который дергался, а в глазах под стеклами очков дрожали громадные зрачки, как у больных. И чтоб доказать, что говорит правду, та сказала — ради этого и пришла, — что он у нее две ночи провел недавно, в августе, после возвращения с юга. Ольга Васильевна ответила твердо:

— Ты лжешь!

Не поверила ни на секунду. Но та с наслаждением поведала такую подробность, о которой знать не могла, если б лгала.

И все же не верила, такая дура, такая тетеха наивная! И на другой день, когда бежала под дождем в книжный магазин у «Метрополя», где договорились о встрече, — чтоб прогнать его, проклясть, — на дне души было нелепое спокойствие. Втайне верила, что сейчас он возмутится, что-то объяснит, оправдается, рассеет этот напавший внезапно ужас. Никогда в жизни ни с чем подобным она не сталкивалась. Матери не рассказывала, отчиму тоже. Она сражалась в одиночку. Надо было решать в течение нескольких секунд. А он, потемнев лицом, набычившись, —

тут-то она стала узнавать странный характер, — сказал: «Она дрянь, но говорит правду. Только не два раза я у нее был, а один раз».

Боже мой, да зачем же, зачем? Зачем он у нее был? Зачем говорить об этом? Даже если правда. «Я ее пожалел. Знал, что расстаюсь, и было жалко». Ее пожалел, а женщину, которую полюбил, обрекает на страдания, выложил ей все как на духу. Тогда, под дождем, возле «Метрополя», они бродили как лунатики, наталкивались на людей и говорили, говорили, старались понять — что-то там строилось, красилось, дом был в лесах, в трубах, и они то и дело, когда дождь припускал сильнее, забирались под дощатый настил и стояли там, — как жить дальше, надо ли быть вместе или, может, расстаться навеки. Она думала тогда то так, то этак. Расстаться и проклясть его — с каждой минутой силы для этого убывали. Вдруг она подумала: ниспослано испытание, если перебороть его, — значит, быть счастливой. И кончилось тем, что пошли в ресторан «Метрополь» и хорошо пообедали; в тот день он получил зарплату в музее, половину ее потратили на обед.

Свадьба была через месяц. Конец октября, холодный и солнечный, заклеивали окна газетной бумагой, чтоб гостям не простыть, и принесли от соседей радиолу с пластинками. Какая свадьба — обыкновенная вечерушка, водка, закуски, котлеты по-киевски из близлежащего ресторана. Сережа сочинил и напечатал на машинке уморительные пригласительные билеты, что-то вроде: «Дорогой друг! Если хочешь отдохнуть душой, забыться от тягот семейной, холостой, производственной, учебной (не-нужное зачеркнуть) жизни, приходи к нам на домашнюю свадьбу-концерт...» В программе было наворочено много всякой смешной чепухи, он был мастер на такие штуки, какие-то мимические номера в исполнении жениха, чтение слов наоборот, застольные песни, лекция доктора Польшаева о пользе голодания, черта в ступе, все забылось, исчезло, — нет, осталось в памяти вот что: «Гастрономические оргазмы. Ответственная — мать невесты, именуемая в дальнейшем теща». Потому что из-за этой

фразы среди ночи, во время мытья посуды — мама, Ольга и еще одна женщина, пришедшая помогать, мыли тарелки, Георгий Максимович вытирал, а Сережа, мертвецки пьяный, храпел где-то в комнатах, — возникла легкая словесная распря.

Георгий Максимович высказал недоумение: что за гастрономические оргазмы? Если это юмор, то какой-то антисанитарный. Если не юмор, то позволительно спросить, что имелось в виду. Намеки на какую-то болезнь, что ли? И затем: для чего многократно обыгрывать слово «теща»? Все остроты вокруг тещи исчерпаны еще в девятисотом году. Мама иронически улыбалась, говоря, что несколько этим юмором не задета, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но она никогда бы не призналась, если б была задета. Вообще, как обнаружилось позже, мать не хотела ощущать себя тещей, не любила это слово и уж меньше всего претендовала на то, чтобы отличаться в области гастрономии.

Всякий брак — не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем? Пришли его родственники, его *мир*, и открыли в безумном любопытстве глаза, и увидели ее родственников, ее *мир*, и хотя, кажется, никогда больше за семнадцать лет не было такой обширной встречи, такого открытого, глаза в глаза, противостояния, но — сшибка тогда началась и длилась все годы неотступно, иногда незримо, неведомо ни для кого. И вот — Сережи нет, а старая война длится.

Войны-то никакой не было. Все устроилось покойно и мирно, если не считать слабых подземных толчков. А Ольга Васильевна нервничала: она угадывала в будущей свекрови углы и колючки, да и сестра, девица с причудами, могла что-нибудь отколоть. Еще боялась за маминого брата, дядю Петю: и он сам, и его семейство люди резкие, крикливые.

Перед тем, как сесть за стол, Георгий Максимович всех пригласил в мастерскую. Надо пройти длинным

коридором: справа двери в мастерские, слева общая ванная, общая кухня, общая уборная для всех жителей третьего этажа. Был такой нелепый дом постройки двадцатых годов. Гости шествовали, топоча по коридору, а в дверях общей кухни и общей ванной стояли любознательные жильцы — жены, матери и дети художников, да и сами художники приоткрывали двери мастерских и выглядывали на шум. Жены и матери художников были не очень-то добры к Ольге Васильевне и ее матери, хотя те жили в этом доме уже восемь лет и можно было бы к ним привыкнуть. Но жены и матери художников почему-то хорошо помнили первую жену Георгия Максимовича и его сына Славу, с которыми Георгий Максимович расстался за несколько лет до войны.

Процессия гостей двигалась в полном молчании, были тягостные секунды, из общей ванной тянуло мыльным паром, там шла стирка, в общем туалете клокотала вода, и вдруг Сережа, сжав пальцы Ольги Васильевны, громким, нахальным голосом запел: «Трам-па-па...» — «Свадебный марш» Мендельсона. Кто-то подхватил, засмеялись, зашумели, и тягостное исчезло. И тут появилась рыжая Зика, жена художника Васина, с букетом роз. Она немо совала букет Ольге Васильевне и, нагнувшись — длинная, нескладная, — норовила поцеловать Ольгу Васильевну в щеку. Эту Зику Ольга Васильевна почти не знала. Зато потом узнала хорошо.

В мастерской Георгия Максимовича был необыкновенный порядок, чего, конечно, никто не заметил. Все столпились в середине большой комнаты, под сильной, двухсотсвечевой лампой, а Георгий Максимович метал на кресло, служившее пьедесталом, одну за другой свои работы. Ольге Васильевне эти работы не очень нравились. Но, наверно, она чего-то не понимала, потому что жильцы дома говорили о Георгии Максимовиче с уважением и показывали ему свои картины, спрашивали совета. А Ольге Васильевне казалось, что все эти написанные маслом прудики, рощицы, речки, овраги, все эти на больших листах сангиной старики, дети, собаки, руки и головы похожи на множество других картин и рисунков,

сделанных давным-давно другими художниками, и было непонятно, зачем нужно повторять то, что уже существует в мире.

Но, по-видимому, зачем-то было нужно. Потому что картины Георгия Максимовича принимались на совете, покупались заказчиками и Георгий Максимович не бедствовал. Он был добрый, образованный, учился в Париже, был знаком с Модильяни и Шагалом, любил вставлять в разговор французские словечки, хотя читал и говорил по-французски очень скверно, когда-то его называли «Русский Ван Гог», но казалось странным: неужели можно, так хорошо все понимая у других, ничего не понимать у себя? Рассказывали, что в юности он писал подружому. Но те вещи почему-то не сохранились. Георгий Максимович очень любил зазывать людей в мастерскую и забивать их, заморочивать своими картинами. Очевидно, этими прудиками и рошицами он гордился всерьез. Все это было простительно для старика, не избалованного ни славой, ни благоденствием, и, кроме того, мать так сильно его любила, но в день свадьбы тащить людей в мастерскую — это было уж чересчур. И Ольга Васильевна немного на отчима сердилась. Он не постеснялся поставить на кресло серию рисунков — обнаженная женщина на диване, широкие бедра, талия, распущенные волосы, лица не видно. Никто не знал, что это мама. Ольге Васильевне было неприятно, и она старалась не смотреть на рисунки. Все было бы прекрасно, гости одобрительно кивали и, тихо вздыхая, говорили: «Да-а...» — но мать Сергея вдруг задала бестактный вопрос, не относящийся к творчеству Георгия Максимовича.

«Э-э, скажите, будьте любезны, — сказала она, — что это за картина?» — «Это знаменитая «Герника», — быстро ответил Георгий Максимович, не желавший надолго отвлекаться от своих произведений. — Не картина, а репродукция». — «Чем же она знаменитая? Я что-то слышу о ней впервые».

Потом эта фраза Александры Прокофьевны: «Я что-то слышу о ней впервые» — стала чем-то вроде девиза или пароля, обозначающего *систему* Александры Прокофьевны.

Ольга Васильевна и мать иногда переглядывались и говорили друг другу шепотом: «Я что-то слышу о том-то впервые». И принимались хохотать. Но в тот вечер до хохота было еще далеко, и Георгий Максимович, с неохотой оторвавшись от собственных картин, стал добросовестно излагать, в чем слава и величие «Герники». Гости были озадачены. Георгий Максимович объяснял пылко и усердно. Все понемногу склонились перед его авторитетом и как будто поняли, что хотел изобразить Пабло, но Александра Прокофьевна упорно гнула свое:

— «Нет, ваши доводы я нахожу несостоятельными. Ничего, кроме битых черепков и рваных газет, я тут не вижу». — «Мама, это твое личное дело», — сказала Сережина сестра. «Я с ней поработаю, она подтянется, разберется», — сказал Сережа. Александра Прокофьевна ответила сыну довольно строго. И тут неожиданно ее поддержал дядя Петя, уже под хмельком раньше всех.

«Вы, милая, совершенно правы в этом вопросе! — заговорил он, наставительно поднимая палец. — А тебя, Егорша, лупцевали за формализм, да, видно, мало. Зачем ты эту дребедень сюда вывесил?»

Александра Прокофьевна добавила: «Вы сами, Георгий Максимович, работаете как реалист. У вас женщина — это женщина, голова — голова, нога — нога, это — это... — При этом Александра Прокофьевна смело показывала пальцем на рисунок, изображавший обнаженную мать Ольги Васильевны. — Все у вас на месте. Как же так: проповедуете одно, а творите другое?»

У Георгия Максимовича было трудное положение. Он побледнел, вынул большой фиолетовый платок, стал сморкаться. Что он мог объяснить гостям за пять минут до закусок, до водок, до криков «горько»? Мог ли рассказать жизнь? Ольге Васильевне стало его жаль. Но не успела она открыть рот, чтобы выручить отчима, как мать уже бросилась ему на помощь. «Петя, дорогой мой, — сказала она, — ты, кажется, всю жизнь занимаешься станкостроением. Что бы ты сказал, если бы Егор вздумал учить тебя, как строить станки?» — «Что бы сказал? Да я бы его в порошок стер! — Дядя Петя гоготал, свирепо

мотая лохматой седой башкой. — Я бы из него котлет наделал! Я бы его в капусту порубал, нахала этакого!» Все засмеялись, лукаво поглядывая на Александру Прокофьевну. Тогда сестра Сережи сказала: «Знаете ли, будет тоска, если все станут высказываться только по специальности».

На этом, кажется, дискуссия кончилась. И все-таки это были два мира, два клана, уходящие корнями в им самим неизвестную глубь, и, столкнувшись, они стремились — невольно — пообмять и потеснить друг друга. Сестра свекрови Вера Прокофьевна тоже что-то бормотала по поводу живописи. А у Ольги Васильевны осталось отчетливое ощущение счастья и страха: кто-то кому-то не то скажет, обидит... Наконец был торжественный миг, — ради которого все и приглашались в мастерскую, — и Георгий Максимович достал с антресолей большую картину в громоздком золоченом багете, свадебный подарок жениху и невесте. Подлинник французского художника Дювернуа, изображавший старый Петербург. Потом, в тяжелые минуты, на этого Дювернуа не раз покушались, однажды даже вызвали оценщика из комиссионного магазина, но, пораженные малой суммой, — не малой, но значительно меньшей, чем та, которую долгие годы лелеяли в мыслях, — решили оставить. Висит до сих пор. Когда гости выходили, почтительно подталкивая друг друга, из дверей мастерской в коридор, Александра Прокофьевна сказала вполголоса Георгию Максимовичу (в тоне ее прозвучало торжество, Ольга Васильевна услышала, и сердце ее ёкнуло): «А все-таки, дорогой сват, я с вами не могу согласиться...»

Ночью в общей кухне, где, стараясь не шуметь, мыли посуду, Георгий Максимович шептал: «Родственница у тебя — ой-ой! С характером... Это хорошо, что вы первое время у нас... — И, помолчав, добавил великодушно: — У нее интересное лицо. Было бы интересно ее написать». Они были совсем разные люди. Из разных недр земных.

Единственный раз, когда Георгий Максимович напомнил всем, что он ответственный съемщик, и проявил неуступчивость, случился в мае: решалась судьба Иринки.



Была первая весна их жизни. Ничего еще не устоялось, все было непрочно, зыбко. Она еще работала педагогом, но искала место, чтобы уйти. Работа в школе была тяжела, ездить далеко. Подруги по университету обещали найти что-нибудь получше, но пока не находилось, и она тянула эту лямку: каждое утро вполседьмого на другой конец города. Сережа испортил отношения с директором музея и тоже намеревался менять службу. С деньгами было худо. И тут обнаружилось, что будет ребенок. Матерям не говорили. Решили срочно что-то предпринимать, потому что — невозможно, нельзя никак. Знакомых докторов по этой части не было, вообще никаких медиков, кроме Влада. Да и с тем полгода не виделись. Он уже окончил, работал ординатором в клинике.

Не хотелось Сереже к нему идти. Она тоже колебалась, но так как Влад всегда был для нее *ничего*, очень верное, древнее, с детских лет испытанное *ничего*, она все-таки решила плюнуть на Сережу, которому было неприятно — ей-то самой было вполне *ничего*, и даже почему-то казалось, что Влад обрадуется, — и позвонила старому другу. Влад, к ее удивлению, не обрадовался, даже как-то растерялся и обомлел, но затем с горячностью и быстротой стал действовать. Приехали к нему, он сделал укол. Сережа стоял рядом с диваном, держал ее за руку и смотрел в сторону.

Признавался потом, что в какую-то минуту почувствовал к Владу ненависть: тот должен был отказаться! Но Влад с его ослиной добросовестностью... Укол не помог. Влад рекомендовал знакомого доктора, старичка, тогда это запрещалось. Нужно было делать дома, втайне, при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Пришлось сказать матери, та сказала Георгию Максимиовичу — скрыть было нельзя, да и мать перепугалась, не знала, как быть. Сама она никогда этого не делала. Ей казалось, что это какая-то невероятно постыдная, преступная и к тому же смертельная операция. Она смотрела на Ольгу Васильевну глазами, полными паники, в слезах, и шептала: «Девочка моя, что же нам делать?» Во многом она осталась наивной до конца своих дней, когда

превратилась в старуху. Ольга Васильевна делала это потом несколько раз и в больнице и поняла, что это не самая страшная боль на свете. Хотя бы потому, что у этой боли есть конец.

Но тогда, в мае, было еще все неизвестно. Георгий Максимович вдруг ошеломил всех: «Я, как ответственный съемщик, запрещаю!» Так и осталось неведомо: то ли действительно боялся нарушить закон, то ли поддался паническому настроению матери...

Иринка появилась на свет благодаря фразе Георгия Максимовича: «Я, как ответственный съемщик...» Когда-то Ольга Васильевна мучила себя нестерпимыми воспоминаниями. Дочка не знала, что ее не хотели. Все успели забыть — Сережа, мать, Георгий Максимович и, наверное, Влад. Но она-то знала, помнила. И когда осенью слякотным днем бежала по Гоголевскому бульвару в сторону Арбата, спешила в магазин и вдруг что-то сжало низ живота с такой силой, что она качнулась, едва не упала, какой-то человек подхватил под руку и повел на бульвар, чтобы посадить на скамью, она тут же подумала: «Это мне за то...» Ирина родилась семимесячная. Только приехали из роддома, и она крикнула, заслоня собой: «Не смотри, не смотри! Потом! Уйди!» Не могла, чтоб увидел такое жалконькое, тщедушное. Дня через три показала ему это тельце, уже напоминавшее ребенка. Теперь Иринка, кажется, самая высокая в классе. А Сережи нет на земле.

Так быстро все это пронеслось.

Ведь была долгая жизнь, не обозримая памятью, — отчего же так быстро? Все перепуталось. Оно и быстро, и кратко. То, что было долгим, теперь похоже на миг, а нынешний миг тянется без конца, без смысла. Как-то в декабре, вскоре после того дня, разрубившего жизнь, она сказала дочери — минута отчаяния, ведь ближе нет никого, хоть от кого-то получить каплю утешения, но было слабостью ждать этой капли от девочки, — сказала, впрочем, больше для себя и для кого-то, кто не мог слышать: «Какая у нас с отцом была хорошая жизнь!» В этом вздохе была, конечно, не вся правда. В этом вздохе была

ложь. Просто жизнь, хорошая ли, не очень хорошая, плохая, скверная, не имело значения, жизнь — этим все сказано. Жизнь есть, и жизни нет, промежуточного не существует. Все в мире относится туда или сюда, и, может, в этом в единственном скрыто не только вечное ее, Ольги Васильевны, страдание, но и надежда. Тогда она этого не понимала, теперь лишь догадывается, и то смутно.

Девочка почувствовала ложь фразы, сказанной «для кого-то, кто не мог слышать», и, посмотрев косо, произнесла: «Хорошенького понемножку».

Ольгу Васильевну это сразило. Не нашлась, как ответить. Фаина, умнейшая женщина, старинная подруга, еще с детства, с довоенных лет, сказала: «Она у тебя, конечно, эгоистка каких мало, тут уж вы с Сережкой постарались, а особенно бабка. Но дело не в этом. Она сейчас за тебя боится, вот и предупреждает: «Хорошенького понемножку»...» Фаина считала, что нужно срочно искать мужа: «Не будь душой. Сергея не вернешь, а себя погубишь. Имей в виду, у тебя времени в обрез: год, два, потом пиши пропало». Еще и двух месяцев не прошло, она звала в какую-то компанию, но Ольга Васильевна отказалась — какие там компании, когда от чужих людей тоска еще жутче, потом звала в Новгород на рождество, тоже отказалась, поехали с Иринкой в пансионат «Березки», но и там тоска, сбежала оттуда, Иринку оставила с молодежью, а Фаина не отвязывалась, упорная девка — сорокатрехлетняя девка, мужем брошенная, сын в армии, мать в богадельне, — звала на старый Новый год к знакомым архитекторам, милым, интеллигентным: не бойся, дура, никто на тебя не посягнет, просто отдохнешь, музыку послушаешь. Не могла ни к милым, ни к грубым, ни к интеллигентным, ни к каким.

Не почему-либо, не в силу каких-то принципов, а просто — нет охоты.

Тогда, после безжалостных слов дочери, Фаина, колебавшись, тоже высказала некую правду, не слишком усладительную, — наверное, полагала, что дает лекарство, горчайшее, но нужное: «А ты на самом деле считаешь, что жизнь у вас была хорошая?» Ольга Васильевна

ответила: да. Что было отвечать? Не знаю? Вам видней? Долгие годы бок о бок с лучшей подругой, лучшей советчицей, лучшей завистницей, лучшим шпионом всех кратковременных счастливых и бед, научили главному правилу в отношениях с этим существом: ставить себя на место Фаины и пытаться поглядеть оттуда. Фаина, разумеется, была глубоко несчастна. Рядом с нею Ольга Васильевна всегда ощущала себя бесстыдной, возмутительной богачкой. Происходил постоянный перелив избыточного добра, благоденствия, наглого женского довольства — так временами казалось Ольге Васильевне, она даже себя одергивала — из одного сосуда в другой. Впрочем, точнее говоря: ей казалось, что так кажется со стороны, и в первую очередь так кажется бедной Фаинке.

Вдруг обнаружилось, что Фаина представляла себе все иначе. И теперь с помощью этих неожиданных и так упорно скрывавшихся представлений даже осмелилась ее, Ольгу Васильевну, ободрять. Да полно! Неужто их жизнь нельзя назвать хорошей? *Их жизнь* — это было цельное, живое, некий пульсирующий организм, который теперь исчез из мира. В нем было сердце, как в живом организме, были легкие, гениталии, органы чувств; он развивался, расцветал, болел, изнашивался, но умер не от старости и не от болезней, а оттого, что исчезла материя, дававшая ток его крови. Странное создание была *их жизнь*! Никто не мог понять, что это такое. Все только догадывались, улавливали какие-то формы в воздухе, фантазировали, неясно предполагали, что *их жизнь* выглядит так-то, состоит из того-то и этого. А они сами... И они сами не могли бы ничего определить словами. То Ольга Васильевна думала совершенно искренне, что *их жизнь* хороша, то тяготилась ею, а временами — были такие часы, дни — ей казалось, что она ужасна.

Теперь не верилось, что такие мысли приходили в голову, что она иногда ненавидела *их жизнь*.

Но было, было! Хотя бы той зимой на Суцевской, когда он мучил ее рыжей Зикой, женой Васина. Кончилось унижением, почти забылось, память выдавила эти страдания и этот стыд из себя, но ведь было — давно,

четырнадцать лет назад — и тоже принадлежит к *их жизни*. Ей казалось, что он равнодушен к Зике. То, что та с ним кокетничала и, наверное, не шутя стремилась его обольстить, было естественно: женщинам он нравился. Она это знала и страдала. Но знала она и то, что он ленив, тяжел на подъем, что к кокетливым, глупым женщинам равнодушен и женскому обществу предпочитает разговор с мужиками под водку и огурцы. Однажды, когда она выпытывала у него, мог бы он ей изменить, он со вздохом сказал: «Помнишь Хемингуэя: «Если б не надо было с ними разговаривать»...»

Зика была молодая, здоровенная, с длинными руками и ногами, могучими чреслами. Скульпторы с первого этажа просили ее позировать для тематических работ, всяких там дискоболок или колхозниц с корзинами на плечах, олицетворяющих изобилие. Зикина телесная мощь пугала Ольгу Васильевну: ей казалось, что для него этот тип притягателен и напоминает забытую Брунгильду. Лицо у Зики было ничего, круглое, свеженькое, всегда слегка улыбающееся, в белокурых кудряшках. Простоватое личико. Она что-то делала в детском издательстве как книжный график, марала акварелькой вполне бездарно. А Васин был тщедушен, некрасив, стар — Ольге Васильевне казалось тогда, что стар, — лет сорока с лишком. Вдвое старше Зики. Все началось с дружбы, взаимных приглашений, чаепитий, выпивок под магнитофон: тогда это увлечение вошло в моду, Васин купил громоздкий и тяжелый, как сундук с железом, магнитофон «Днепр», всех записывал, всем велел петь, болтать, читать стихи, и тут же наговоренную ерунду с восторгом слушали.

Васин много зарабатывал официальными портретами, которые делал с напарником Аркашей. Они размечали холст клетками и лепили фабричным способом, быстро и ловко. Иногда Зика помогала. Кроме того, Васин работал для себя, или, как он выражался, «на модистку», — писал этюды, очень недурные. Георгий Максимович считал его талантливым и беспутным, говорил, что «такими талантами Дорогомиловка вымощена». Васин был пьяница.

Он повторял стихи Саши Черного насчет модистки для тела и дантистки для души. «Теперь всю неделю, — говорил, — буду работать для модистки». Или же: «Сегодня полдня провел с дантисткой. Такая сладость, так хорошо!» Это значило — мчался куда-то с этюдником на электричке, где-то мерз, мок, писал, наслаждался. В общем, Валера Васин — жаль, умер еще не старым, до шестидесяти, пьянство его своротило, а Зика бросила — был художник истинный, жил как во сне, работал как во сне и просыпался только за мольбертом, когда делал настоящее и любимое. К гостям он был равнодушен, мог жить один, пить один, но Зика изнывала от скуки и тянула его в суету. Он Зику сильно любил и делал все, что она хотела.

А та была хитра, подлаживалась к Ольге Васильевне, льстила ей, лезла в подруги. «Хочешь, с девкой погуляю? Молока не надо? Иду в магазин...» И все попросту, товарищески. Однажды деньги в долг дала. Ольга Васильевна сперва поддавалась, а потом сообразила, что дело нечисто. Стала от Зикиных приглашений отлынивать и Сережу не пускать.

Сережа — в амбицию. Почему притесняют? Она не могла объяснить, а он не догадывался. Тут была мизерная ревность. Настолько мизерная и, по-видимому, на пустом месте, что говорить о чем-то было стыдно. Но она не могла побороть себя. «В чем дело? Почему ты не хочешь, чтоб я ходил к Валерию?» — «Не хочу — и все». — «Это диктат!» Он вспыхивал и бежал к Васину. Всю жизнь боялся, что из него хотят сделать подкаблучника. В то время он ушел из музея, еще нигде не устроился, был нервен, нетерпелив. Она пропадала днями в школе, а он оставался дома, помогал матери Ольги Васильевны ухаживать за Иринкой, ходил на Минаевский рынок, приносил еду, притаскивал ведрами воду — воду набирали в кухне, в большом коридоре, ходить нужно было раза три в день.

От домашней колготни, от безделья, безденежья и, главное, от неизвестности, куда и как дальше, — из музея ушел наспех, не успел подготовить места, — он вечерами падал духом. Маялся, не знал, куда себя деть. Тут дылда

и подстерегала его. Только непонятно: зачем он был ей нужен?

Теперь его нет, он никому не нужен.

Однажды Ольга Васильевна пришла в мастерскую к Васину и увидела, что Сережа сидит за столом, повязанный, как салфеткой в ресторане, грязноватым вафельным полотенцем, а Зика стрижет его. «Что сие значит?» — поинтересовалась Ольга Васильевна. В ответ ей был хохот. И Васин, и кто-то из его приятелей так хохотали, что не могли вымолвить ни слова. Оказалось, он проиграл волосы в покер. Зика очень естественным, веселым тоном успокаивала: «Не волнуйся, Олечка, я сниму чуть-чуть, самую малость. Чисто символически. Ему будет даже лучше».

Ее поразило, что он сидел покорный, как овца.

Неизвестно, что там было между ними. Может, что-то и было. Может, и ничего. Ольга Васильевна перестала с Зикой здороваться. Та сделалась врагом. Вся эта перемена — от близкой дружбы до лютой вражды — произошла с необыкновенной быстротой, за два или три месяца. Совершенно исчезло из памяти, как эта ссора развивалась, были ли какие-то разговоры с Зикой до той встречи в пустом коридоре. Весною Ольга Васильевна уже стала ее бояться. Зика смотрела исподлобья в упор, а когда случайно сталкивались на кухне или в коридоре, никогда не уступала дороги, всегда шла напрямик и еще норовила задеть. Кажется, Ольга Васильевна что-то сказала про нее очень метко, женщины передали, и началась ненависть. Все подробности испарились, но вот что осталось: ее война с Сережей из-за этой несчастной испарившейся Зики, из-за пустого, химеры какой-то, но Ольге Васильевне тогда казалось, что от исхода этой войны зависит жизнь. Любит ли он ее настолько, что готов отказаться — если она умоляет — от мелкого удовольствия потрепаться за рюмкой в васинской мастерской? Как она страдала и как верила в свою правоту! Что может быть яснее, думала она: если любит, значит, откажется. Если не любит, значит, будет ходить. Безошибочная проверка. Но он почему-то ясности тут не видел. Ему нужны были доказательства. Он требовал ордера на арест.

«В тысячу первый раз: почему? Может, ты дошла до такого безумия, что ревнуешь меня к Зике?» — «Я просто прошу! — едва не плача, говорила она. — Прошу, прошу, больше ничего! Я тебя умоляю на коленях!» И однажды вправду бухнулась на колени, он испугался и обещал сделать все, что она просит. Хорошо, больше туда не пойдет. Она очень любила его в те минуты, потому что вдруг открылось то, что она жаждала увидеть. Но прошло часа полтора — дело происходило на рассвете, не спали всю ночь, — и он опять за свое: «Нет, чистой воды сумасшествие, невозможно... Ты требуешь слепой веры, как отцы церкви... Верую, хотя это абсурдно...» И к ней после прилива радости приходили печальные мысли: слезами, бессонными ночами она выманила у него уступку в ничтожном деле. Подумаешь, перестанет ходить к Васину! А как дальше? Каждый раз рыдать, на колени? Могут быть просьбы куда серьезней. А он будет стоять как скала.

И еще мучило сознание, что ссорятся так отчаянно, до слез, из-за пустой девицы, которая не стоит и того, чтобы тратить на нее презрительный взгляд. Вот бы та ликовала, если б узнала, какие из-за нее страсти! Конечно, это было безумие. И Ольга Васильевна была глупа, не понимала важного, мучилась из-за чепухи...

Он продолжал ходить к Васину. Теперь делал это из упрямства и из принципа.

Они занимались еще вот чем: пытались друг друга воспитывать для будущей жизни. Были тяжелые дни. Ольга Васильевна рвалась уйти к матери, хотела с ним развестись, вот тогда она ненавидела *их жизнь*, которая лишь начиналась. И совсем не осталось в памяти, что же предшествовало встрече в коридоре, которой вся эта история завершилась. Может быть, она и наговорила что-то лишнее общим знакомым. Из тех сплетен, что ходили про Зику. Некоторые перестали у Васиных бывать. Все в доме уже знали, что между Зикой и Ольгой Васильевной вражда. Васин тоже перестал здороваться с Ольгой Васильевной, а заодно и с матерью Ольги Васильевны и с Георгием Максимовичем. А Георгий Максимович, как член закупочной комиссии, зарезал две картины Васина. И тот



напился пьяный, подходил к двери и кричал всякие дерзости. Ольга Васильевна увидела на улице Зику с заплаканным лицом. Кажется, теперь уж было невероятно, чтобы он бегал к Васиным.

Шла большим коридором, а впереди из-за угла вывернулась Зика. Они были одни. Зика шла не сворачивая, прямо на Ольгу Васильевну, и уставились друг на друга, зрочки в зрочки. Успела подумать: «Глаза сумасшедшей...» Та подошла вплотную, белыми губами задвигала: «Я все поняла, мелкая душонка, ты своего мужа погубишь, ну это черт с ним. А если меня и Валерия не оставишь в покое, я тебя уничтожу! Поняла?» И рукой громадную замахнулась.

Ольга Васильевна побежала по пустому коридору. Страх был как жар — охватил всю. Вспоминать немислимо.

А с Фаиной любили покупать горячие бублики в ларьке на углу улицы Чехова и Садовой. Там и до войны продавались горячие бублики. По шесть копеек. И осталось в крови, в зубах неизжитое детское наслаждение: уличная благодать, квадратное маленькое окошко, туда монетку, оттуда, из пахучей глубины, высунется добрая рука с мягким, живым, только что из утробы, воздушным, прожаренным бубликом. Потом гулять, жевать, жуировать жизнью: по Садовой вниз, к Самотеке, оттуда на Цветной бульвар, там суета, многолюдство, цирк, рынок, такси, цыганки, комиссионка, кинотеатр — что душе угодно. И ресторан «Нарва» рядом. Когда надо было утешиться, поговорить на свободе, — а Фаина в те годы обреталась на Красногвардейской, в коммунальном муравейнике, в одной комнатке с матерью, сыном, мужем и еще какой-то пыльной, лежалой родственницей, не разговоришься, — шли туда, на Цветной. В кино с горя, а то на рынок, наглядятся, натолкаются, ягод купят, грушу бера сладчайшую, или арбуз, или просто семечек жареных по стакану, походят, походят по бульвару, пожалуются друг дружке — и легче жить.

Фаина сказала: сейчас же к районному прокурору. И одновременно к ней на работу, где она своими акварельками промышляет. У Фаины был друг, газетный

работник, прямо с бульвара, из автомата, позвонили ему насчет статьи или скорей всего фельетона. Ольга Васильевна кипела страстным желанием отомстить. Хотелось упечь Зику не меньше чем года на два за хулиганство.

Но когда поздним часом подходила к дому, не испытывала ничего, кроме головной боли и какой-то тяжелой разбитости во всем теле, будто после болезни. И решила никому не рассказывать. Стало жаль Сережу нестерпимо: что бы он испытал, если б рассказала! Так это и погибло в пустом коридоре. И мать не узнала.

Не вспоминать, не вспоминать! Но видеть Васиных, сталкиваться с этой женщиной в коридоре или в общей кухне Ольга Васильевна не могла. Впрочем, и та стала Ольгу Васильевну избегать — в глаза не смотрела и сторонилась. Вскоре переехали на Шаболовку. Свекровь осталась одна после смерти дочери, Сережа просил Ольгу Васильевну переехать, она согласилась с облегчением: там не было длинного нелепого коридора, в котором попахивало масляными красками и скипидаром, не было шумных сборищ по вечерам, не было споров о колорите, французах, супрематизме, не было возбужденной толкотни по всем этажам в дни работы закупочных комиссий, не было общей ванной с цементным полом и объявлением на стене: «Мыть кисти над ванной категорически запрещено!», не было кухни с четырьмя плитами и четырьмя столами, не было мамы, не было Георгия Максимовича, все еще мечтавшего кого-то удивить, если не мир, то просто соседей по этажу, и не было Васина и его жены Зики. Зато там была свекровь. Фаина говорит: если бы жили не со свекровью...

Это неправда, ведь для него житье с матерью вовсе не было таким искусом, как для нее. Если бы причина была в старухе, скорее остановилось бы сердце у нее, а не у него. Но, конечно, ее присутствие и всегдашнее поучительство были добавком к чему-то главному. После сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута. Вот и он подпал под чары такой

смуты. Это возникло незаметно после того, как Праскухин перетащил его в институт. В музее было тихо, безденежно и безнадежно, но зато невероятное спокойствие, а в институте началось: обещания, надежды, проекты, страсти, группировки, опасности на каждом шагу. Праскухин против Демченко, Демченко против Кисловского, потом Гена Климук, потом затеялась вся эта история с переменной темы диссертации. Он метался, сначала то, потом другое, потом третье. То история московских улиц, а то охранка, а то и вовсе посторонняя наука. Его сгубили метания. Сначала увлекался, потом неизбежно остывал и рвался к чему-то новому. Вечно рвущийся куда-то неудачник. Боже мой, ну и что? Она никогда не попрекала его, не требовала чего-то неисполнимого. Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове, у тети Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио. Никогда в жизни не говорила ему: вот тот уже там-то, а ты еще здесь. Не заставляла его надрываться, выбиваться из сил, чужие успехи ее не задевали.

Наоборот, говорила ему: не нужна нам твоя диссертация! Нам нужно твое здоровье. Оставайся младшим научным, только, ради бога, не мучайся, не гоношись, не тарань лбом стену, твой лоб для этого не пригоден.

Скорее уж свекровь страдала оттого, что сын не процветает, как другие. Александра Прокофьевна очень не любила некоторых его товарищей школьных лет, которые кое-чего добились, и когда они приходили в гости, она была с ними холодна. Ей казалось, что ее сын замечательный и достоин лучшей участи. А Ольге Васильевне были чужды муки тщеславия. Ее мучило другое. Конечно, семь лет угроблено на музей, никакой отдачи, никаких накоплений, сам виноват: постоянно разжигали его пустые грезы. Но и они виноваты, все, все, кто был вокруг! Виноваты злодейски, жестоко: не могли остановить эти колеса, вертевшиеся впустую...

Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девять лет. Были какие-то планы, делались изыскания

в архивах, велись переговоры с издательством на тему «Москва в восемнадцатом году», и был некий Илья Владимирович, который что-то обещал и продвигал, но все кончилось ничем. После множества встреч, телефонных звонков, застолий и чаепитий Илья Владимирович обнаружил полнейшую никчемность. Александра Прокофьевна возмущалась: «Почему к тебе липнет всякая дрянь?» Он по обыкновению оправдывался и защищал прощелыг, которые его подводили: «Но ведь Илья Владимирович не хозяин издательства, он такой же клиент, как я!» Работа нескольких лет — за эти годы выросла и поступила в школу Иринка, произошла перемена квартиры, капитальный ремонт с настилкой паркета, и она, Ольга Васильевна, стала старшим научным сотрудником, а затем и заведующей лабораторией ВНИИС, — вся его долгая возня с «Москвой в восемнадцатом году» кончилась неудачей, книга не вышла. Правда, некоторые материалы оттуда он использовал для первого варианта диссертации, но ведь этот вариант отпал. Появилась новая тема: Февраль, царская охранка и прочее. И тут образовался тупик, какая-то непрошибаемая стена, и последовали прочие неприятности: ссора с Климуком, увлечение этим домом на набережной и все, что с ним было связано, предательство Климука...

Она знала все выражения его лица, знала его походку и то, как у него менялся голос, когда обрушивалась очередная неудача или же наплывала новая изумительная греза.

Конечно, когда познакомились, он был другим.

Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута, — пружинил, но не ломался. И это было бедой. Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаяние и терзал всем этим свое бедное сердце, он все же не хотел ломать то, что было

внутри него, такое стальное, невидимое никому. А она все равно любила его, прощала ему и ничего от него не требовала.

Спустя две недели после похорон возник Безъязычный. Ольга Васильевна не была с ним знакома, но слышала фамилию от Сережи. Забыла, в какой связи. Кажется, он участвовал в разбирательстве Сережиного «дела», но Ольга Васильевна совершенно не помнила, какова была его позиция. Люди там разделились, по словам Сережи, на три категории: было несколько подлецов, были умеренные и были люди, которые вели себя безукоризненно. Ольга Васильевна нервничала оттого, что не знала, с кем был Безъязычный и как ей с ним разговаривать. Он пришел с пожилой женщиной по фамилии Сорокина.

— Вы меня извините, я вот зашла к вам в гастроном, — говорила Сорокина, улыбаясь виновато и искательно, и показывала зачем-то сумку с продуктами.

Секунды две она шарила глазами, определяя, куда сумку поставить, и не нашла ничего лучше, как поставить ее на ящик для обуви. Ольга Васильевна молча взяла сумку и перенесла ее на столик под телефоном.

— Какой ваш гастроном-то чудный! И «докторская» колбаса, и сырки глазированные, а у нас редко когда бывают. Хотя наш вот тоже считается диетический...

Произнося эту муру, женщина смотрела на Ольгу Васильевну с таким чувством и придала голосу такое выражение проникновенной сострадательности, будто ее похвала гастроному, рядом с которым посчастливилось жить, могла хоть на ничтожнейшую крупницу облегчить горе Ольги Васильевны. Заметив, что Ольга Васильевна не поддерживает разговора о гастрономе, Сорокина, вздыхая, сняла плащ, шляпку и затем некоторое время никак не высказывалась, а только вздыхала.

Прихода людей с Сережиной службы Ольга Васильевна ждала с тоской. Они не могли принести ничего, кроме боли. Все люди, хоть как-то, хоть немного знавшие Сережу, приносили боль. Но было ясно: надо выдержать, и чем скорее они придут и уйдут, тем лучше. Оба эти

человека были из профкома и, как поняла Ольга Васильевна, выполняли какое-то общественное поручение. Похороны миновали, захоронение урны произошло, так что похоронная комиссия была распущена, а эти люди принадлежали к «бытовой комиссии» или к какой-нибудь еще в этом роде. Они пришли ненадолго. Творог мог подкиснуть, если разговор затянется, но Ольга Васильевна не предложила сунуть его в холодильник. Она не могла делать над собой никаких усилий. Безъязычный топтался на коврике перед дверью, оглядывался, мычал невнятно, Ольга Васильевна не понимала, чего он хочет, потом вдруг решительно стал снимать ботинки и остался в носках. Ага, он не хочет грязнить пол, на улице мокро. Как будто Ольгу Васильевну могли сейчас заботить полы.

Почему эти люди так ничего не понимают? Пришлось дать ему Сережины летние босоножки, стоявшие на виду, возле дверей. Это было неприятно, и с его стороны бестактность: брать Сережины босоножки.

Свекровь что-то делала на кухне, куда Ольга Васильевна зашла, чтобы поставить на огонь чайник. Надо же было как-то их принимать. Александра Прокофьевна сказала, что не выйдет к ним.

— Видеть их никого не желаю, — сказала старуха. — Сначала травят, потом приходят выражать сочувствие. Не знаю, о чем можно с ними разговаривать.

Выходило, будто Ольга Васильевна может с ними разговаривать, потому что как бы занималась с ними одним делом: травила Сережу. Хотела пропустить мимо ушей, но не сдержалась:

— Эти люди не травили Сережу, не надо говорить лишнего. Они ни в чем не виноваты и пришли проявить обыкновенное, казенное внимание. Вообще Сережу никто не травил.

— Травили, — сказала Александра Прокофьевна и вышла из кухни.

Ольга Васильевна села на табуретку и минуту-другую сидела не двигаясь: сильно билось сердце. Сережу не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои цели. Это другое.

Она слышала, как Александра Прокофьевна прошла в свою комнату и щелкнула замком. Было неловко перед чужими людьми. Впрочем, пускай! Не имело значения. Она поднялась, пошла в большую комнату, неся что-то в вазочке. Двое из профкома сидели у стола в окаменевших позах, означавших глубокое уныние. Женщина при этом чуть заметно качала головой, глядя в одну точку, в пол. Вероятно, ей представлялось, что такой позой и таким чуть заметным покачиванием головы должно выражаться истинное сочувствие. «Какая дура!» — подумала Ольга Васильевна. Безъязычный тотчас вскочил, стал говорить, что они пришли буквально на минуту, не нужно никаких хлопот, никакого чаю. Он был коротконожка, румяный, с крепким, моложавым лицом, волосы подстрижены бобриком, совсем седые. Непонятно, какого возраста, наверное, лет пятидесяти. На нем был черный костюм, пиджак, очень широкий и мятый, с несоразмерно большими плечами, подбитыми ватой. «Надел специально, чтоб прийти к вдове, — подумала равнодушно. — Черный. Из сундука».

— Вот несколько предметов, принадлежавших Сергею Афанасьевичу... — Он вынул из портфеля железную коробку из-под чешских сигарет, в которой что-то брэнчало, линейку, складной туристический нож, применявшийся, по-видимому, для открывания консервов и вытаскивания пробок в часы «сабантуйчиков», которые в отделе устраивались нередко, три затрепанные книжки, гребень с длинной ручкой, футбольный календарь за 1969 год, номер «Иностранной литературы» и какую-то старую записную книжку, телефонную, с загнутыми завитком страницами. Каждую вещь он доставал и выкладывал на стол с осторожностью, как будто это было стекло.

Ольга Васильевна остановившимся взором смотрела на всю эту мелкую, случайную чепуху, которую зачем-то принесли сюда, и думала: «Должно быть, больно глядеть на вещи мужа, который умер. Для чего же тогда это делают?» Ей хотелось взять все это и выбросить. Она собрала вещи и перенесла их на подоконник, чтобы не видеть.

Безъязычный протянул конверт, говоря что-то. Она поблагодарила и стала разливать чай. Какие-то деньги от профкома. Безъязычный, отпивая неслышными глотками чай, говорил о том, что все в отделе горюют и как недостает Сережи, потому что его многие любили. Эта фраза задела Ольгу Васильевну, и она как бы очнулась. Почему он сказал *многие любили*? По правилам этой игры он должен был сказать «его все любили», или же «его у нас любили», или, на худой конец, просто «его любили». Но он сказал: *многие любили*, что означало, что находились — и находят-ся теперь, когда его уже нет, — какие-то *немногие*, которые его не любили и все еще не любят. Разумеется, такие есть. Ольга Васильевна несколько не сомневалась в существовании *немногих*, но намекать на них вдове в первые же минуты визита было как-то странно.

Она смотрела внимательно на Безъязычного, стараясь еще раз припомнить, что говорил о нем Сережа. Ничего не вспоминалось.

— Вы говорите так, будто Сергей Афанасьевич до последнего дня работал в институте, находясь со всеми в мире и согласии. Будто не подавал заявления об уходе, — сказала Ольга Васильевна. — Практически он считал себя уволенным.

— Но это неверно! Вы глубоко заблуждаетесь! — Безъязычный прикладывал руку к груди. — Я знаю про заявление. Но, во-первых, вопрос оставался открытым до того, как сказать, до трагического дня... Директор был в отпуске. А Геннадий Витальевич этот вопрос решать категорически не хотел.

— Геннадий Витальевич не хотел? Про Геннадия Витальевича можете мне не рассказывать. Он-то как раз хотел больше всех, но только — чтоб чужими руками.

— Я уверяю вас: вы заблуждаетесь!

— Нет, не заблуждаюсь.

Этот человек неспроста сказал: *многие любили*. Он проговорился. Теперь ясно, что это был враг Сережи или, может быть, сочувствовал его врагам. Неужели дошли до такой низости, что посылали сюда с деликатным поручением Сережиного врага?



— Сергей Афанасьевич работал вот как раз в нашем секторе, — дрожащим голосом заговорила женщина и, сняв очки, уткнув мясистый подбородок в грудь, стала протирать очки платком. Лицо ее приняло совсем плачущее выражение, голос звучал едва слышно. — Революции вот и гражданской войны... Мы с ним работали шесть лет вместе... Он был прекрасный человек, очень вот добрый, отзывчивый... хороший человек...

Мясистый подбородок дрожал. Ольга Васильевна смотрела на женщину холодно.

— Интересно, как вы оба голосовали при разборе этого пресловутого Сережиного «дела»? — спросила она.

Женщина вздрогнула, глаза ее расширились и проделали мгновенное вращательное движение. Разумеется, Ольга Васильевна спросила грубо и, наверное, поставила гостей в неловкое положение, но ведь они тоже: сидят тут, пьют чай, разговаривают о Сереже...

— Я не голосовал вовсе по причине моего отсутствия в столице. Я был в Польше, в командировке, — сказал Безъязычный и махнул презрительно рукой. — Да ну, знаете ли...

Жест и тон означали: стоит ли вспоминать об этой чепухе? Сорокина сказала:

— А я, кстати, голосовала за то, чтобы вот на вид... — Она покраснела. — Это было единственное, это было вот самое в тех условиях...

Тут вошла, вернее бесцеремонно влетела по своей привычке, Иринка и попросила полтора рубля поскорее, пока не закрылся универмаг. Выпалив это, она заметила гостей и сказала:

— Здрасьте!

Ольга Васильевна представила дочь, та очень приветливо, обаятельно улыбнулась, как она умела улыбаться, когда нужно было выклянчить деньги.

Ольга Васильевна рылась в сумочке, собирая серебро и медь.

— Ой, что я вижу? — обрадованно крикнула Иринка, бросившись к подоконнику. — А я его искала, искала! Откуда он здесь?

Она схватила гребень с длинной ручкой.

— Это принесли с папиной работы. Вот тебе полтора рубля.

— А... — Поколебавшись, Иринка положила гребень назад, на подоконник, потом спросила: — Мам, можно я его возьму? Ведь ты мне купила, помнишь?

— Возьми, — сказала Ольга Васильевна.

Иринка убежала. Видимо, кто-то ждал в прихожей, зашептались, хлопнула дверь. Гости сидели. Говорить было не о чем. Казалось, сейчас встанут и пойдут, но Безъязычный завел разговор о незаконченной Сережиной диссертации. Будто бы есть мнение ученого совета — решения пока нет, но раздаются голоса, — чтобы работу завершить силами института и издать в виде монографии. Выделить специальных людей. Работа плановая, весь отдел заинтересован. Придется подобрать неиспользованные материалы, найти то, что осталось у Сергея Афанасьевича в папках, на рабочем столе. Все рассчитывают на помощь Ольги Васильевны. Она почувствовала, как в ней закипает раздражение.

— Я займусь этим, когда будут силы и время, — сказала она. — Сейчас ничего искать не стану.

— Конечно, конечно! Разумеется, Всеволод Борисович... — залопотала Сорокина. — Когда Ольга Васильевна сможет...

— Это абсолютно в интересах Ольги Васильевны, — сказал Безъязычный.

В коридоре Безъязычный неожиданно сказал своей спутнице, подав ей палец:

— Полина Романовна, извините, я не смогу вас проводить. Мне надо Ольге Васильевне два слова...

Вернулись в комнату. Ольга Васильевна не хотела вести разговор в коридоре, под дверью комнаты свекрови. Почувствовала, что предстоит неприятное. Безъязычный сказал, что ему неловко говорить, но выхода нет, потому что дело общественное. Он председатель правления кассы взаимопомощи. Сергей Афанасьевич взял сто шестьдесят рублей с обязательством вернуть в течение полугода, но прошло почти два года, деньги не возвращены,

и теперь возникла сложность: касса пуста, есть заявления с просьбой о небольших ссудах, удовлетворить невозможно. Есть правление, есть решение, есть суждения всех без исключения, есть мнение, есть изумление... Так вот: каково положение?

Ольга Васильевна слушала ошеломленно. Слова долетали сквозь плотный воздух.

— Таких денег у меня нет, — сказала она.

— Собственно говоря, тут дело обстоит таким образом... Понимаете, мы не имеем права... Если только общее собрание всех пайщиков, но захотите ли вы... — Безъязычный бормотал, дергаясь румяным тугим лицом, как бы неслышно и нарочно чихая, что означало, по-видимому, сильную степень смущения. — Поверьте, мне неприятно... Но я выполняю...

Ольга Васильевна сказала, что на Сережиной книжке лежит сто рублей. Но эти деньги она сможет получить не скоро, когда вступит в права наследства. Что касается ста шестидесяти рублей, взятых в кассе взаимопомощи, то она слышит о них впервые.

— Когда он брал эти деньги?

Безъязычный достал из кармана блокнот, полистал его, нашел: деньги были выданы пятого марта семьдесят первого года. Откуда все это свалилось? Зачем ему понадобились такие деньги? Женщина. Это сразу пришло в голову, бросило в жар, она очень спокойно сказала:

— Я действительно впервые слышу. Обычно он делился со мною всеми тратами, долгами... — Это была неполная правда, но все же в общих чертах — правда.

— Тогда мне еще более неприятно. Извините меня.

После паузы сказал:

— Я постараюсь сделать все, чтобы убедить членов правления, учитывая обстоятельства... Вам придется, может быть, сочинить бумагу... Что смогу, я сделаю! — Он прикладывал руки к груди и наклонял голову. — Большинство товарищей хорошо относились, так что я надеюсь... Я поговорю кое с кем предварительно...

В таком духе он продолжал бормотать, прижимая руку к груди и кланяясь, пока двигался из комнаты в коридор.

Кажется, было сказано все. На сей раз конец. Зачем же дали деньги в конверте, если сами требуют от нее? Все было смутно. Ольга Васильевна смотрела на коротенького, седого, в черном и мятом старомодном, пятидесятих годов, костюмчике и что-то говорила, не слыша себя. На прощание он сказал:

— Так вам позвонят насчет монографии. Вы уж там поищите, соберитесь. Ту папку, про которую я говорил, с розовыми шнурочками.

Раньше, когда возникали внезапные неприятности и она не знала, как поступить, всегда советовалась с Сережей. Обыкновенно вечером, перед сном, когда Иринка уже спала, а свекровь забивалась к себе в комнату. В своих делах он ничего не мог добиться, но ей советовал толково. Легко умел успокаивать, когда ее обижали. А теперь — к кому? Свекровь знать не должна, потому что ничего, кроме злорадства, не испытывает. Усмотрит в этом подтверждение своей веры в то, что они не были близки, и он жил отдельной жизнью. Ольга Васильевна ощущала томящее чувство, которое не было ревностью, а было чем-то совсем другим, иного качества: как бы перегоревшей ревностью. Ей как бы вручили урну с этим странным прахом. Ревности уже не было на земле, но ее останки она держала в руках, прижимая к груди.

Почему-то была убеждена в том, что тут замешана женщина. Прах, прах, ничего, кроме праха. Но руки ее дрожали. На ее собственной сберкнижке лежало двести восемьдесят рублей, накопленные Сережей и ею для целевой траты — покупки телевизора. Снимать оттуда деньги для покрытия сомнительного долга глупо. Сережа говорил:

— Старуха, не суетись.

Это была его фразочка, которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню. Хороши эти господа: месяца не прошло — бегут к вдове с векселем! Но одно она знала твердо: они были близки по-настоящему. Ближе человека у него не было. Пусть свекровь замолчит. Последние годы он с матерью не делился, скрывал от нее разные свои неприятности. Говорил:

— Есть вещи, которые не могу ей объяснить.

Мать многого не понимала, и это непонимание его злило. А между ними такого непонимания не было. Она понимала все досконально, до малейшего вздоха. И даже если кто-то был у него, это не имело значения.

Так она убеждала себя, стараясь оставаться невозмутимой и спокойной, но спокойствия не было. И помочь ей не мог никто. Фаине рассказать нельзя, потому что лучшая подруга поймет по-своему. И тоже, наверное, втайне обрадуется, ибо тут соответствие ее цели, в которой сама признавалась: вывести Ольгу Васильевну из оцепенения. Для этого требовалось слегка наклепать на Сережу. Но она не верила, не хотела верить! Тут была какая-то тайна. От всего этого разболелась голова, Ольга Васильевна оделась, взяла сумку и вышла на улицу.

Сеялся слабый дождь. В гастроном забежали последние посетители: было минут двадцать до закрытия. Ольга Васильевна зашла купить мясо, кефир, что-нибудь к чаю для Иринки. Уборщица шаркала шваброй, отгоняя посетителей от прилавка и ворча злобно. Ольга Васильевна постояла в небольшой очереди в кассу, потом подошла к молочному прилавку, думая о том, что людей вокруг много, знакомых много, есть подруги, но нет близкого человека и это значит — нет никого. Худшее, что предстоит в жизни, подумала она, это одиночество. Смерть и несчастье — только прелюдия к худшему. Как жить, если не с кем посоветоваться, некому сказать? У людей, стоявших с чеками, был какой-то суетный и случайный вид. Будто забежали сюда по ошибке. Вечерние посетители, озабоченные далекими отсюда мыслями. На самом деле: опаздывали домой, в этот час обыкновенно они сидели у телевизоров в домашних туфлях, или занимались мелкою стиркой в ванной, или гладили школьную форму на кухне, постелив на стол старое, в желтых пятнах от утюга байковое одеяльце, все это им еще предстояло, но они не торопились. Продавщицы двигались медленно. На их лицах, как тяжелый грим, лежала дневная усталость.

Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась: Иринка! Дочь стояла возле высокого столика, где пьют кофе и едят пирожки, но теперь было

поздно для кофе, буфет закрыт, она стояла с двумя подружками, и все трое болтали и жевали что-то. Длинные худые ноги Иринки в темных чулках, ее куцеватое пальтишко, из которого она выросла, надо менять, — каждый раз при взгляде на это пальтишко Ольга Васильевна испытывала какое-то душевное ущемление, мгновенный укол, но не заводила речи о покупке, Иринка тоже молчала: осень уж как-нибудь доходит, а на зиму есть неплохая шубка, — вся сутулая, долговязая фигура дочери с распущенными по нынешней моде волосами вызвали у Ольги Васильевны судорожный прилив нежности. Было так сильно, что она чуть не побежала к ней. «Моя сирота, — подумала она чуть не со слезами. — Она еще не понимает, что это. Но я знаю!»

Ольга Васильевна сделала несколько шагов к девочкам, думая о том, что самая высокая среди них, самая бедно одетая, самая красивая и добрая — это и есть близкий человек. С нею говорить обо всем. Теперь ближе этой девочки нет. Она подошла к столику, одна из девочек — любимая Иринкина подруга Даша, восточная красоточка, всегда чересчур бледная, с подкрашенными длинными глазами, — заметив Ольгу Васильевну, перестала щебетать и улыбаться и глядела испуганно.

— Вот они где прожигают жизнь! — сказала Ольга Васильевна. — Интересно, что вы тут обсуждаете?

— А мы, Ольга Васильевна, обсуждаем завтрашний урок по обществоведению, где будет очень интересный разговор на тему личность и общество. Вот думаем, как получше подготовиться. — Выражение испуга на хорошеньком личике Даши сменилось выражением победоносной иронии.

Другая девочка прыснула. Иринка смотрела на Дашу исподлобья, но с тайным восторгом: исподлобный взгляд относился к появлению матери, а восторг адресовался, разумеется, Даше. Бедная Иринка была в эту стервочку влюблена. Ольге Васильевне Даша не нравилась, она считала ее неискренней, манерной и, что хуже всего, преждевременно взрослой. По некоторым Иринкиным обмолвкам она поняла, что у Даши какая-то сложная личная

жизнь, есть человек гораздо старше ее, которого она называет другом. Неизвестно, как далеко эта дружба зашла. Ольга Васильевна пыталась осторожно выведать, но Иринка не поддавалась. Не хотелось верить во что-то серьезное, ведь девочкам нет еще семнадцати, и она сама, Ольга Васильевна, в их годы не думала ни о чем, кроме учебы. Десятый класс, такая ответственность!

— А деньги, между прочим, были даны на универмаг, — сказала Ольга Васильевна. Наглость Даши задела. Эта дурочка с нее глаз не сводит. — А ты, я вижу, транжиришь на пирожные и сигареты. Девчонки, ну зачем вы курите?

Они что-то залопотали хором, совершенно невнятное, шутовское и понарошке. Кажется, тоже в ироническом стиле. Ольга Васильевна почувствовала, что ее присутствие тяготит. Иринка, глупо смущенная, даже не смотрела на нее, зато ловила каждое слово подружек и неестественно громко хохотала. Вторая девочка, Лена Кукшина, была вялая, анемичная толстуха из очень обеспеченной семьи, на ней было пальто из замши, на пухлом пальчике кольцо с камнем — безобразие, раньше ни одна девчонка в школе не посмела бы надеть кольцо! — рядом с нею на столике лежал складной японский зонтик, очень изящный, Ольга Васильевна видела такой у приятельницы, и вообще от Кукшиной пахло, как иногда пахнет от человека дешевыми парикмахерскими духами, благополучием и богатством. Ольга Васильевна этот запах выносила с трудом. Но Иринка говорила, что Кукшина добрая. Правда, Иринке не нравилось, что Кукшина подхалимничает перед Дашей. А уж эта Даша у них — прямо царица некооронованная, великий авторитет, этакая пигалица. Ольга Васильевна сказала строго:

— Ира, пойдем домой, будем ужинать. — И взяла ее руку выше локтя. Не потому, что собиралась потянуть ее от столика, а просто хотелось до нее дотронуться. — Пора, девочка, пойдем.

— Мама, я пойду домой, когда захочу, — отчеканила Иринка с внезапной враждебностью.

— Что значит: когда захочешь?

— То и значит: когда захочу, тогда пойду.

— Нет, ты пойдешь сейчас со мной.

— Нет, не пойду.

Ольга Васильевна почувствовала, как хлынула изнутри какая-то слабая ярость.

— Да как ты можешь... со мной... сейчас... — заговорила, задыхаясь.

— А как ты можешь? У меня тоже неприятности. Мне надо поговорить с друзьями.

— У тебя тоже! — крикнула Ольга Васильевна. — Эх ты...

Она повернулась и пошла из магазина. Кто-то догнал, схватил сзади за руку.

— Ольга Васильевна! Пойдите!

Даша. Опять выражение испуга в карих прелестных глазах.

— У Ирки правда неудача с одним мальчиком, — да вы знаете, с Борей, — и нужно поговорить совсем немножко, минут десять. Сейчас все равно выгонят, мы по бульварчику погуляем.

— Она просто дрянь, — сказала Ольга Васильевна.

Когда поднималась лифтом на восьмой этаж, подумала: вот истина. Одна в закрытой коробке. Можно читать надписи, нацарапанные гвоздями. Но некому сказать, какая боль в сердце. Никто не услышит. В одиночестве человек ползет в шахте все выше и выше или все ниже и ниже, это безразлично, смотря что считать верхом, что низом. «Никто не услышит!» — произнесла она вслух. «Алло? Говорите громче!» — рявкнул над ухом гулкой и страшный голос. Она вздрогнула: диспетчер из третьего корпуса. Обычно не докличешься, а тут услышали. Значит, надо говорить, надо кричать, даже если голые стены. Кто-нибудь услышит.

Иринка пришла не через десять минут, а спустя час. Ольга Васильевна уже простила ее, и когда, отворив дверь, увидела ее с поникшей головой, шмыгающим носом, — конечно, прозябла в тонком пальтишке, целый час на бульваре, — увидела детское виноватое выражение ее лица, опять охватило волною тепла и жалости. «Бессовестная я! Зачем рычала на нее? — пронеслось в сознании, помутившемся



от жалости. — Ведь она сирота, нет отца, нет защитника. Если не я, то кто же...»

Ничего не сказала, провела рукою по волосам дочери. Та вдруг рванулась, обняла мать, ткнулась холодноносой, щенячьей мордочкой в щеку, в ухо, шепча что-то жалобное, и Ольга Васильевна тоже шептала, они друг друга не слышали, все произошло в течение двух секунд. И обе вдруг ослабели, обнявшись, и, едва сдерживая слезы, пошли на кухню, чтобы побыть одним, совсем одним, без бабки, потому что ближе их людей не было. Двое самых близких на свете. Там долго сидели, пили чай, Иринка рассказывала о Боре. Она была скрытной, делилась переживаниями редко, молча вела свою маленькую житейскую битву. Но это значило, что теперь силы ее оставили, она нуждалась в помощи. Боря перестал звонить, а в школе совсем не подходит. Она предполагала, что влияет одна девчонка, с которой он отдыхал на юге. Даша обещала выведать. Боря был мальчик из параллельного класса, некрасивый, Иринке он никогда особенно не нравился, но все было похоже на настоящее горе.

Ольга Васильевна шептала какой-то ласковый вздор. Иринка успокоилась и ушла в ванную мыть голову. Ольга Васильевна стала убирать со стола, грязные тарелки сложила в мойку, горячая вода в этот поздний час шла плохо и была недостаточно горячей, а нагревать воду в чайнике не хотелось. Решила: все завтра, завтра, встать часов в семь. И тут позвонила та женщина, что приходила с Безъязычным.

— Извините, что так поздно. Пока доехала до своей деревни, до Кузьминок, пока вот дела, то, другое... А звоню вот зачем, Ольга Васильевна. Всеволод Борисович вас, наверное, кассой взаимопомощи пугал, долгом Сергея Афанасьевича, а вы не пугайтесь — долг будет списан. Это, можно сказать, уже решено. Понимаете? И вы, пожалуйста, ни одной папочки, ни одного листочка не отдавайте. То, что я вам сейчас звоню, это, конечно, к моей невыгоде, но просто я уж очень Сергея Афанасьевича уважала. Извините, милая Ольга Васильевна, что побеспокоила вас на ночь глядя. Будьте!

Этот странный разговор, это «будьте!» озадачили Ольгу Васильевну, но не настолько, чтобы придать ее мыслям другое течение. Ночью она могла думать только о прошлом, но не о будущем.

Давно надо было взяться. Но не хватало духу. Все его папки, блокноты, тетради толстые и тонкие, вырезки из газет, аляповато расклеенные по альбомам, выданные из журналов страницы, кипы исписанной бумаги, рассованные по разным местам — часть находилась в ящиках стола, часть на нижних полках в шкафах, какие-то папки пылились на самом верху шкафов, под потолком, куда месяцами не достигала тряпка, и Ольга Васильевна сердилась и во время каждой уборки требовала, чтобы он куда-нибудь пристроил «свой хлам», лучше всего в мусорный бак, именно «хлам», потому что, будь это ценное, он не держал бы на верхотуре, в пыли, а еще какие-то бумаги в дни ремонта попали на антресоли, — все это еще было его плотью, несло в себе его запах, эманацию его существа, поэтому притрагиваться было страшно. Она знала, что рано или поздно это пройдет, но пока она не могла. И так же не могла видеть и трогать его вещи в гардеробе. Фаина сказала, что надо продать. Говорила, что так делают все вдовы, чтобы не травить душу. Обещала найти покупателя. Жена Феди Праскухина Луиза, овдовевшая восемь лет назад, сказала, что продала Федины вещи тотчас, единым духом, но Ольга Васильевна никак не могла решиться.

Да и времени не было на такие дела. Луиза не работала — это сейчас, кажется, пошла работать страховым агентом, — а то сидела дома с детьми. У нее и нянька была и бабушка, ее мать. Сидеть дома — с ума сойти.

И еще непереносимое: фотографии. На стене висела одна очень хорошая, юных лет, он улыбался мягко и задумчиво, с травинкой во рту, Ольга Васильевна любила эту фотографию, повесила ее давно, при Сережиной жизни, и привыкла к ней. Но даже на нее Ольга Васильевна, когда входила в комнату, старалась не смотреть или — как-то бегло, секундно. Про альбом говорить нечего. Спрятала

его подальше. Всякое прикосновение — боль. А жизнь состоит из прикосновений, потому что — тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей — бесчисленно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним. Разве хватит жизни? Вчера ездила по делам на Ново-Басманную, вышла из метро «Лермонтовская», и сразу — укол в сердце, вспомнила, как зимою, в сильный мороз, бежали отсюда по Садовой вниз, в гости к кому-то. Седьмой месяц, но легче не делается. Люди говорят, что должно пройти пять лет, но Луиза сказала: что-то непохоже, она бы почувствовала, ведь у нее прошло уже больше.

Видела Луизу недавно на улице, случайно. Так обрадовались друг другу, так много хотелось сказать, спросить: ну как ты? что ты чувствуешь? что происходит с тобой? Стало ли... вот хоть на столько, хоть на крупицу?

Луиза смотрела серыми, вымершими глазами:

— Я не знаю, чем измерять. Нет инструмента...

Ольга Васильевна еще хотела спросить: «Есть у тебя кто-нибудь?» — но не осмелилась. В этой битве все сражаются в одиночку. Выглядела Луиза хорошо в своей старой дубленке, но уже чищенной, отчего коричневый цвет посветлел и приобрел пошлый розоватый оттенок. Ольга Васильевна спросила: как дети?

— Очень хорошо, — ответила Луиза. На все вопросы она отвечала: «Очень хорошо».

Восемь лет назад в сентябре ранним утром — Иринка еще не ушла в школу — трезвонили в дверь. Ольга Васильевна поразилась, увидев Гену Климука — тогда еще Гену, старого приятеля, — который обязан был в этот час делать утреннюю гимнастику на каменистом коктебельском пляже перед завтраком. Лицо Климука было в багровых пятнах. Не здороваясь, он спросил: «Где Сергей?» — шагнул в прихожую и привалился плечом к стене. Сережа вышел из ванной, намыленный для бритья.

— Сережа, ты должен ей все рассказать... Я не могу... У меня нет, нет... — И этот гигантский мальчик со старобразным круглым лицом качнулся, ноги его согнулись, и он легко сполз по стене на пол. Он не упал, а как-то вдруг оказался на корточках и сидел так секунды две или три, тяжело дыша.

Два дня назад Климук и Федя поехали вдвоем на юг на неделю. Федя только что купил нового «Москвича». Они иногда устраивали холостяцкие побег, или, как Климук любил выражаться в старославянском стиле, «убэги», заманивали и Сережу, но она делала все возможное, чтобы его от этих вылазок отклонять. Не то чтобы ревновала к мужской дружбе, не то чтобы беспокоилась о его нравственности в компании старых приятелей, еще не утративших навыков студенческой вольницы, — когда собирались втроем, эти навыки как бы гальванизировались, они начинали чудить, хорохориться и бог знает о чем мечтать, — и не то чтобы заботилась о его здоровье: ведь там, где Климук, там выпивка. Она просто не любила, когда он исчезал из поля ее зрения. Он должен быть всегда рядом, поблизости, лучше всего в одной комнате с нею. Это было, наверно, большой неправильностью в ее жизни, но переделать себя она не могла, да и не пыталась.

Всегда противодействовала Климуку, Феде и кому бы то ни было в их кознях отнять у нее Сережу! Иногда ловко находила причины, удачно присочиняла, — например, ссылалась на недомогание, требовавшее его неотлучного присутствия, — а иногда грубо и прямолинейно взывала к его совести, великодушию. Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной мороки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, может быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко. Этот редкий случай был в сентябре. В институте

заканчивался ремонт, занятия прекратились, все торчали по домам, и Федя с Климуком замыслили проветриться недельку у моря и подбивали Сережу. Была такая неразбериха, что никто бы не хватился. Кому хвататься? Федя Праскухин сам хозяин, ученый секретарь.

Сережа очень хотел поехать. А ей чутье подсказывало: не пускай ни за что! Ах, никакого чутья, просто обидно было, что покатит на юг один, станет там веселиться, хорохориться и пить, конечно. Она ссылалась на отсутствие денег, на то, что у него ничего не двигается — ни диссертация, ни книга с тем жуликом Ильей Владимировичем, — и что хорошо прожигать жизнь Феде Праскухину и Гене Климуку, у них прочное положение, а куда он-то как рак с клешней?

— Тридцать рублей, которые я тебе могу дать на дорогу, — говорила она, — сделают тебя прихлебателем. Тебя это не пугает?

Он сказал: не пугает. Сказал, что у них здоровые мужские отношения, не то что жалкая дамская дружба, когда считаются друг с дружкой копейками. Он даже позволил себе этак высокомерно:

— Ты этого не поймешь!

Бедный, как он ошибался. Ольга Васильевна сказала, что если он поедет с ними, тогда — развод. Кто-то звонил, то ли Луиза, то ли эта дурочка Мара Климук, по наущению мужиков, уговаривали ее смягчиться и разрешить. Но она была непреклонна. Если уедет — развод.

Пожалуйста, уезжай, тебя не держат, но когда вернешься, ее здесь не будет: она переедет на Сушевскую. Неужели было подсказано провидческим голосом из тех неземных пространств, куда Сережа углубился потом и где ждала его гибель? Сережа рассвирепел, не разговаривал с нею несколько дней, но поехать все же не осмелился. На рассвете на Симферопольском шоссе, южнее Харькова, старик переходил дорогу, не слышал сигналов, а Федя не мог погасить скорость и выскочил на левую сторону, где его ударил «МАЗ». Федя умер в сельской больнице, не приходя в сознание, а Климук отделался ссадинами. Он как-то уперся руками в стенки кабины — руки у него

сильные — и, хотя машина два раза перевернулась, остался цел.

Теперь он едва шевелил белыми губами:

— Тело везут автобусом... Я дал сто двадцать рублей...

Он умолял Сережу пойти к Луизе. Сережа пошел. Он умел быть другом. Поэтому его *многие любили*, и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его умение.

Ночью она не выдержала — этого ни в коем случае не следовало говорить, но ее распирало — и сказала ему тихо на ухо:

— Сережа, ведь я тебя спасла... Ты видишь, какая я пророчица?

Он, ни слова не говоря, отодвинул ее и повернулся к стене.

И она сразу почувствовала, что сказала нехорошее. Но уж очень сильно ее распирало: и страх, и жалость к Феде, которого она любила, и какое-то странное, непобедимое внутри себя чувство тайного самодовольства. Наверное, думала она, похожее испытывали люди на войне, когда рядом убивали товарищей, а они почему-то оставались живы и невредимы. Говорить не нужно было. Как раз та минута, когда мысль изреченная неминуемо оказывалась ложью.

Он, помолчав, сказал:

— Я все-таки надеялся, что ты прикусишь язык... Нет, сказала...

Конечно, не следовало говорить. Но и ему не следовало быть с нею таким злым. Ведь и в самом деле: спасла жизнь. Он говорил о Феде, о том, что другого такого товарища в его жизни не будет. Верно, они были приятели, учились все трое на одном курсе — когда-то, страшно давно, — Сережа, Федя и Гена Климук. Ну и что? Ее удивляла эта наивная привязанность к старым друзьям, то ли школьным, то ли институтским. Старался не замечать их недостатков, не видеть их смешного, неприятного. «Парень из нашей школы» или «парень с нашего курса» — для него это звучало высшей аттестацией, включало в себя все добродетели. Дружба не по выбору, а по воле

обстоятельств: с кем оказался за партой, с тем и дружу. Впрочем, у всех мужчин эта странность. Не могут жить без старых дружков. А Ольга Васильевна отлично обходилась без подруг и, когда был Сережа, могла месяцами не видеть ни Фаинку, никого. Ей нужен был он один. Ну, и с Луизой, с Марой виделась по необходимости, потому что мужики очень любили «обща́»: «Давайте обща́!», «Что-то мы давно не обща́!»

Теперь их объединяли одни интересы: институт и все, что там творилось. Гена Климук шутил, подмигивал:

— Давайте сколотим свою группку, свою клибочку, свою маленькую, уютную бандочку!

А Федя не болтал, он делал. Он помогал по-настоящему: втащил Сережу в институт, всячески продвигал, добился повышения оклада, переубедил пучеглазого Ивана Евдокимовича Демченко, директора, насчет перемены темы диссертации и умаслил Серезиноного руководителя, профессора Вяткина, который был вовсе не рад этой перемене. Все было нелегко. Но Федя сделал. Если бы Федя был жив и оставался ученым секретарем, он, конечно, никогда бы не допустил всей этой пакости, что повалилась на Сережу год назад по вине старого друга Климука и его «маленькой бандочки».

Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно.

С его приходом на должность что-то неуловимо нарушилось. Она долго не замечала. Когда Гена звонил, он был так же бодро-шутливо приветлив с нею, как раньше, иногда и Мара звонила, делилась с Ольгой Васильевной новостями по части трикотажа и косметики — она работала в золотом месте, на Петровке, рядом с Пассажем, — но прошло несколько месяцев, прежде чем Ольга Васильевна сообразила, что она совсем не видит ни Гену, ни Мару, общение ограничивалось звонками. Давно не раздавался радостный Генкин клич: «Будем обща́!» Сообразивши, она отнесла этот факт на счет Фединой смерти. Все-таки чаще собирались у Феде. Кроме них троих

там бывали еще Федины друзья — физик Щупаков с женой-болгаркой по имени Красина и чета врачей Лужских, она рентгенолог, он психиатр, из-за Лужских Ольга Васильевна, собственно, и ходила к Феде и Луизе, потому что медицина очень интересовала ее и она любила разговаривать с врачами.

Но Луиза после смерти Феде не собирала друзей, были у нее лишь однажды на поминках и потом еще раз в шестилетие Фединой гибели. Гена Климук и раньше-то не особенно звал к себе, вечно он что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы. Теперь, кажется, обосновался на новом Арбате, в небоскребе, где магазин «Мелодия».

Сереза как-то сказал, посмеиваясь:

— А наш Гена действительно стал важной птицей. Даже бросается в глаза. Когда Федя был на этом месте, я почему-то не замечал...

Она спросила: что именно важное и птичье проявилось в Гене? Сереза похмыкивал, отмалчивался. Она знала, что рано или поздно не выдержит и расскажет. Так и вышло: через несколько дней «раскололся». В профкоме возникли туристские путевки во Францию, одиннадцать дней, шесть дней Париж, пять — Марсель, Ницца и прочее, мечта жизни стоимостью в кругленькую сумму. Так как путевок было всего четыре, в профкоме решили не рекламировать, а распределить, что называется, втихаря. Сереза узнал случайно, и вовсе не от друга Гены, а от секретарши Ивана Евдокимовича, которая к Серезе благоволила. Желаящих поехать было много. Сначала профком нацелился кинуть жребий, но затем тот же Климук проявил осмотрительность, сказав, что жребий внесет ажиотаж и опасную бесконтрольность, выдав путевки тем, кому вовсе *не нужно* ехать во Францию, и обойдя тех, кому это действительно *нужно*. Собственно, тут была разумная логика, как во всем, что отстаивал Климук. Но вот загвоздка: кто будет решать, кому нужно и кому не нужно? Сереза как-то прямо сказал Климуку, что Париж ему необходим не для прогулок и развлечений — тут была



капля лицемерия, конечно, — а для того, чтобы порыскать там за материалами, нужными для работы. Всякий знает — и Климук знал прекрасно, — что, изучая русскую охранку, историк непременно сталкивается с Францией, с эмиграцией, русскими агентами. Можно было все это внятно объяснить, потому что Сережа был прав, имел полнейшее законное основание претендовать на поездку, но Климук как-то кряхтел, переспрашивал, уточнял — хотя чего было кряхтеть, когда дело абсолютно правое? — и Сережа, потеряв терпение, сказал ему что-то грубое, по-свойски. Что-то вроде: «Брось занудствовать!» или «Брось пыжиться, Генка!»

Климук пожал плечами и холодно-холодно ответил:

— Ты изложи свои доводы, треугольник будет решать. Пойми, вопрос этот не такой простой, как кажется.

Слово «пойми» было единственным прежним и человеческим во всем разговоре.

Сережа был подавлен, рассказывая про Климук.

Она решила, что Сережа, может быть, преувеличил, уязвлен мелочами, и в особенности главной мелочью: тем, что Климук разговаривал с ним как начальство. А что делать? С этим надо смириться. Он начальство, ты подчиненный. С этим надо жить. Втайне от него, когда он ушел куда-то из дому, она позвонила Маре просто как приятельница. Почему не звоните, куда пропали, что у вас слышно и так далее. Она поняла, что надо действовать. Сережа был удручен, хотя ничего еще не случилось, а что же будет, когда на самом деле откажут? Ей хотелось, чтоб он поехал. «Убег» в Париж мог бы дать ему силы и стать поворотом. Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга, издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него полторы

тысячи старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери.

И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятельским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось, Мара разговаривала таким же манерным и якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала некстати, была, в сущности, невыносима, но все это было не ново, и Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что ничто не изменилось и он напрасно впал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и не тонкой организацией, чтобы реагировать чутко, следовало поговорить с Климуком, и Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости. На дачу, в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора, покупаться, позагорать, пошататься в лесу... А? Почему бы не собраться без долгих размышлений — хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена. Он ужасно много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, просил передать привет и сказать, что как-нибудь приедут непременно.

Сереза ворчал:

— Получается нелепо: я вижу его чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда — и зовешь...

Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала:

— Ты видел Климука? Они собираются к нам?

— Видел, но не спросил... Навязываться не хочу...

То, что было раньше естественно и легко, превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: «Гена, когда вы к нам приедете?» Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение в Васильково остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго.

— Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна.

— Ну, не знаю. Он так сказал.

В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива и на такси поехали в Васильково. Всю неделю там жили Иринка и свекровь одни, с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было тяжело: далеко от станции, рано вставать, электричкой почти час. И все же, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена долгим путем, толкотнею в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз свертков, кульков, батонов, банок и книг, набитых в сетки и сумки, ни тащила, — сразу орошал ее прохладный лесной воздух, она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вздохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость и все ее существо полнится новой силой. Было так здорово! Откуда она бралась, эта сила, после изнурительного дня, дробившего без пощады, без роздыху? От неба, леса? Оттого, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки, или рассказывал, покуривая, о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо. Рыжик опять гонял курей у соседей...

У него были присутственные дни в институте, остальные дни — иногда три-четыре кряду — он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге, вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники рассеивались, и, когда, миновав лесок, выходили к полю, на васильковский большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу, за увалом, казалась провалившейся, закатившейся как бы за край поля, кое-где торчали из провала крыши изб с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными грудями серебрились ивы вдоль невидимой речки, мальчик в красной рубахе ехал тропой поперек поля на велосипеде, и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх.

До деревни было версты три, и еще в городе мечта-лось: лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, на-питься чаю — и на боковую, в большую тети Пашину комнату с запахом свежего сена и чабреца, растыканных пучочками по углам для «духа», потому что никаких сил не было. А получалось каждый раз так: после чаю шли с Иринкою в рощу, в десять укладывали ее и потом еще долго гуляли вдвоем, — если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и возвращались скоро, но свекровь осмеливалась на этакое не часто, все же соо-бражала, что мужу и жене надо побыть вдвоем, — а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда-то брались силы и не хотелось спать.

Но были, конечно, и дожди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма, Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсе-строй Агнией...

Климук приехал на своей старой «Победе» и привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кис-ловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходящего из машины Кисловского, съезжился на секунду и сделал губами хорошо ей знако-мую гримасу, означавшую: «Вот те на!» С Климуким была Мара в сногшибательном темно-зеленом брючном костю-ме — тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы, — в белых босоножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратив-шаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в Маре с голо-вы до ног было ново и неузнаваемо и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало: сидишь дома в фартуке, в затрапезном — и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этаких перьях... Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так и сочилась. Если бы она, бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима, но ей хотелось непременно высказываться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии.

Нет, Мара не могла испортить Ольге Васильевне настроение.

Испортила другая. Та, что приехала с Кисловским. Имя ее теперь забылось. Эта молодая особа, какая-то развинченная, цыганистая смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она была вся в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню и говорило, конечно, о дурном вкусе.

Ольга Васильевна сразу же, улучив минуту, спросила у Мары тихонько: чем занимается *жена* Кисловского? На что Мара, как и предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как «я твоя бабушка».

Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долге товарищества, уже готовился поить их остатками французского коньяка и угощать печеньем, но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердой рукою все это пресекала и незваных спровадила. Климук был тогда очень зол. Но теперь чувствовал себя хозяином: ведь его так зазывали! И кроме того, теперь он явился с Марой.

— Мы на одну минуту... Мы по дороге на водохранилище... Просто секунду передохнем... — говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит, стало быть, случаен, мимоездом, и не следует принимать его всерьез.

Ольга Васильевна сбивалась с ног, Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибков соленых, гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом — тот мчался на мотоцикле, радостно вполосенный от предвкушения выпивки, — и только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на терраске, разгороженной куском холстины надвое, своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где

вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсультация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольге Васильевне не верилось, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилось ничем, но с Сережей она об этом не говорила.

Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду, Колька носил ведрами, бегал к колодцу — а вода в Василькове была в самом деле удивительная! Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала... В Ереване хуже, чем они хвалятся, что у них какая-то особенно замечательная... Ах, что вспоминать! Томило что-то, раздражала та девица, что приехала с Кисловским, задевали ее поглядыванья на Сергея, и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары, и беспокоило то, что не хватит еды, вина и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции, и как себя вести с этим Кисловским, прилизанным, каучуковым, похожим на циркового артиста, — а все-таки было такое истинное, летнее, молодое, неповторимое — ну, ну, что же? — счастье, наверно... Тогда оно и было, на деревенском двореке, где пахло землей, навозцем, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломилось с мыком и топом узкой улочкой — Матильда, умница, сама, треща воротами, завалилась в свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком: «А ну ее к богу в рай, шалопутку!» — потому что их «секунда» давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер, а они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уже опорожнились бутылки, и Колька на мотоцикле гонял к какой-то бабке Кренделихе на другой край деревни за самогоном.

Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, брэнча серебром, сопротивлялась.

Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно

пустом и несущественном, сказала ему на ухо, что видела сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное.

— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.

— Ну, для такой любви есть определенные заведения, — сказала она, — а не изба тети Паши.

Тетя Паша, не поняв, о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:

— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребята, всех тут раскурочу... — И трясла пальцем. — Все ваши тайности разберу... Коль, ты там этого, скажи...

Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы носил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца, пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма, — но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.

Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят, — да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы, — а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.

И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу — Кисловского едва выманили из горницы, — Александра Прокофьевна завела

придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил, драный, тощий и голодный, из общежития («Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое») и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменялись не заметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.

— Что-то я позабыла, память стала изменять, — говорила она. — Кстати, странно, памятью я всегда гордилась, с гимназических лет... В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла... Какое-то дело, связанное с хищением...

— Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна,



догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору.

— Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете Марковне в городскую коллегия, а если Елизавете Марковне — это значит дело хозяйственное, она такие дела любит, не то что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию... Ведь там что важно? Сумма хищения. Надо каждую копейку отбивать...

Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. Напрасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать:

— Слушайте, это же театр абсурда! Какой-то гиньоль! Бог мой, зачем все это помнить — мне, вам, кому бы то ни было?.. Есть такое понятие: историческая целесообразность... Вы знаете, кто сейчас мой брат?

Хохоча и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так, беспричинно смеясь, подошли к излуине реки, где был песчаный бережок, место купанья. Днем тут бултыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодная и пахла тиной. Мужчины купались, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали, но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанистым, и она сообщила, что тоже будет купаться, в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через двадцать из-за ольхи раздался зов о помощи: Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтоб Сережа подал руку.

Мара, при всей ее недалекости, кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне:

— Я тебе сочувствую!

Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то больное. Сначала они мирно

перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки, потом спор стал тяжелеть, и на обратном пути в деревню спорили вовсю, хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости, в спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю.

Может, с того пьяного вечера в Василькове, — на самом деле, наверное, раньше, но в сознании Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом — затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которая так мучила его и кончилась печально. Когда пришли в тети Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уже кричали друг на друга в озлоблении. Она не думала, что Климук может быть таким злым.

Про Сережу-то знала: когда влезал в спор, его охватывала неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии. Ему нужно было одно — доказать.

— Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре! Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне.

— А я знай! Отец откель приволок, наменял, говорит, в голодные года...

— Наменял, приволок — все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают верно и каждые полчаса играют Штрауса. Правильно я говорю, тетя Паша?

Тетя Паша чопорно поджимала губы:

— Мне ни к чему, милый человек, только я вам не позволяла меня тетей Пашей звать...

— Правильно, руби меня сплеча! Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности, — запомни это, тетя Паша, и плесни, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая же тетя Паша, вроде вас, только зовут ее тетя Павлина и живет она в Белгородской области, Шебекинском районе...

— Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь, — говорил Сережа, — это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота...

— Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться!

— Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нет? Ученый совет большинством голосов?

Он настолько зарвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и молотившие ерунду, позабудут кто, что и зачем говорил всерьез, но, как оказалось, те запомнили Сережины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.

Когда Сережа браво шутил: «Ученый совет, что ли, большинством голосов?» — и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильнее, чем слова. И уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Сколько их он наплодил — шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Чего стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло: Геннадия Витальевича прозвал Генитальич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно — так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки — Кольку опять гоняли к Кренделихе, — женщины клевали носом, Иринку давно уложили спать, Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала, и в открытые окна глядел из темной синевы высокий месяц.

Нет, не уезжали! Тоже зевали, потягивались и тоже всем видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Сережей и Климуком — мужчины ходили в домик на другой конец двора, и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло: после нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность гульнуть

мужчинам. Странно: глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала, довольная:

— Правильно, что он их не оставил! Ну их... Подумаешь, персоны граты!

Колька свистел в бригадмилский свисток и, размахивая руками перед фарами машины, орал:

— Эт-та почему такое — выпимшие за рулем? Кто разрешил? А ну, вылазть, машина не пойдет!

Сережа рассказал, что Климук просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески:

— Ты меня приглашал с ночевкой, я имею право на два койко-места на твоей даче, ну, так я уступаю эти места своим друзьям... — Потом стал угрожать: — Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя... — И, наконец, едва не со слезами в голосе умолял: — Старик, сделай это ради меня! Я твердо обещал! С твоих слов! Как я буду выглядеть после такого обмана?

Сережа сказал, что почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение.

— Я вдруг догадался, что передо мною торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся сделка рушилась... Какую он мне закатил истерику! Как шипел, как клокотал в ярости! «Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться. Ты ненавидишь людей». И этот неподдельный гнев не оттого, что он сочувствовал приятелю, а оттого, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь?

А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзка, но если Кисловский столь важная фигура и Климук просил... Уложить их в комнате, самим на терраске... Но у Сережи было несуразное, *вкусовое* отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось.

Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений.

— Вдруг, чувствую, что я тоже торгаш и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало тошно, и я отказал. Сославшись на тебя. Дескать, ты у меня строгих правил... Да ну его к бесу!

Боже мой, теперь очевидно, какая это была цепь глупостей и жалких изобретений! Не надо было зазывать их на дачу. Не надо было, коль уж зазвали, фордыбачить и обижать. И не надо было так уж рваться в прекрасную Францию...

Разумеется, в Василькове Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но — зачем тогда это судорожное гостеприимство? Прошло два дня. Он поехал в институт. Вернувшись вечером домой, на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказал: Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригадмила Коли и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливом тоне:

— А Эдуард Николаевич не говорил каких-нибудь слов? В связи с нехваткой мест в гостинице?

Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем: до самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос: «Принесли?» Так никто и не понял, что это значило.

Постояли, поохотали в коридоре и разошлись. А что насчет Франции? Пока ничего. Полная неясность. Вообще-то Климук поговорит с кем нужно, он обещал.

— Старуха, не суетись! Генка сделает, это не проблема...

В ту минуту он, кажется, искренне в это верил.

Проблема была — добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы займы и просто так, без отдачи, но тут мать заколебалась: сумма ошеломила ее. Таких денег у матери не было, Георгий Максимович давал ей на расходы помесечно.

— Неужели этот вояж так уж необходим? — Мать слабо пыталась сопротивляться. — В вашем доме столько дыр. Тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла... И потом: если бы уж вдвоем!

Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да и никто не предлагает вдвоем, а ему такая поездка была бы полезна во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно, речь шла о понятиях таинственных, — например, о присутствии духа, о самоутверждении, — но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонила и сказала, что Георгий Максимович просил Сережу зайти.

Были уверены, что «зайти» значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже три года жили на новой квартире, недалеко от прежнего дома на Суцевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распорядился, где-то преподавал и работал слегка. Много работать запрещали врачи. Но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картинами, маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы, кое-что поправлял, не напрягая зрения, или же приглашал какого-нибудь приятеля со второго или первого этажа, и они согревали чай на плитке, обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам.

Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к нему нечто вроде благодарности: не за то, что тот творил на полотне и бумаге, а за то, как вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне:

— Есть такие детские картинки: смотреть на них сквозь розовую пленку — видишь одно, сквозь голубую — совсем

другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает такую картинку. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы...

Ольге Васильевне не понравилось, ей показалось, тут унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело: она полюбила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека... А кто процветал в эвакуации? Если б он был дельцом, он бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб. Не умел ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми, расплюснутыми носами, — они хорошо ей запомнились, — он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились и он стал легко зарабатывать деньги.

Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Конечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да и ей самой в худую минуту было куда ткнуться...

Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тестю. Он как будто чуял неприятное...

— Пойди одна. Я тебя прошу...

— Нет, Сережа, неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты и так ходишь к ним редко.

— Скажи, что я заболел. Я действительно плоховато себя чувствую.

— Нет, если не пойдешь, я не пойду тоже. Тогда все отменяется.

Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест — у кого бы он занял такую сумму? у дружков-приятелей? черта с два! — а от него требовался минимум внимания; посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну, и, конечно, сказать «спасибо» или «я вам благодарен», два слова в знак признательности. Неужто трудно? Нет, не трудно, даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже, на рю де Муфтар, о чем мы много наслышаны, но...

Э, да что говорить! Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость — вот что такое просьбы, и это делает все разговоры, чаепития и родственные встречи фальшивыми.

— Поэтому я тебя просил, — видишь, опять просьба, опять невыносимость! — если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет — пожалуйста, идем...

Она должна была понять его, но — не поняла, потому что мысли ее были заняты матерью, которой тоже было непросто и, может быть, невыносимо, но она пересилила себя и *попросила*.

— Приходится иногда делать неприятное, — сказала она непреклонно. — Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай: пойдём или останемся дома?

Всю дорогу ехали молча. Она еще разжигала себя: интересно, почему это он считает себя вправе обижаться? На что, собственно? На то, что едет во Францию, а она остается? Иринка тоже молчала. Она чутко улавливала трещины и размолвки, возникавшие между родителями, и реагировала по-своему, — нет, не пыталась рассеивать, веселить или мирить, как, по рассказам, делали другие дети, а вела себя точно так же, как родители: если они угрюмо молчали, и она тотчас замыкалась, если были сварливы и раздражительны, и она разговаривала точно так же раздражительно, ворчливо, как маленькая старушонка.

Так, в молчании, доехали до Суцевской, прошли мимо старого дома, углубились в переулки, где все теперь было неузнаваемо, сломано, перестроено. Удивительная загадка: почему у нее было мрачнейшее настроение, когда подходили к дому матери? И у него тоже? Ведь были молоды, здоровы, занимались делом, он собирался за границу, она надеялась за это время сделать небольшой ремонт в квартире, а еще рассчитывала на то, что он привезет какие-нибудь парижские тряпки, и, порасспросив, даже наметила, какие именно... И они все трое были вместе, вместе! Это была *их жизнь*.

Но они мрачно вошли в подъезд, мрачно погрузились в лифт. Единственная фраза, которую произнесла Ольга Васильевна, было строгое приказание дочери:

— Не трогай грязную стенку!



Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая в красивых, карминного цвета, венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Георгий Максимович со вкусом расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки, и все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид. Кроме того, на стенах, конечно, было множество картин, гравюр и рисунков под стеклом, не только Георгия Максимовича, но и других художников, среди этих вещей были два этюдика Левитана и Коровина, рисунки еще каких-то знаменитостей и, гордость Георгия Максимовича, волнистый прочерк карандашом Модильяни, изображавший нечто неясное и эротическое.

На всех этажерках, полочках и на книжном шкафу стояли свечки, свечечки и толстые, узорчатые, необыкновенных форм и оттенков свечи для запаха, купленные за границей знакомыми Георгия Максимовича — сам он за границу не ездил, запрещали врачи, — и все это теперь курилось, мерцало, горело и пахло благовожно и сладко.

— Иллюминация в вашу честь, медам и месье! — Георгий Максимович парадным жестом приглашал в комнату.

Французские слова были сказаны не без смысла, и это Сереже, как видно, не понравилось: она заметила, как его губы слегка надулись в знакомой гримасе. Благородный поступок — дача ссуды родственникам жены — производился хотя и в домашней, но в торжественной обстановке. И сам Георгий Максимович выглядел торжественно: в широкой, из черного вельвета, художнической куртке, недавно пошитой в ателье МОСХа, с фиолетовым фуляровым платком на шее, в белоснежной рубашке, в брюках модного серого цвета «гудрон», но, правда, внизу у него были старые шлепанцы со смятыми задниками.

Сначала пили чай, ели торт. Иринка рассказывала о школьных делах — Ольга Васильевна слушала с большим интересом, потому что дома Иринка никогда ничего не

рассказывала, негодница, а в присутствии бабушки, дедушки или каких-нибудь не самых близких людей, но и не слишком посторонних в ней открывался дар рассказчицы, и она им щеголяла, — а затем мать увела Ольгу Васильевну и Иринку к себе в комнату, а мужчины остались для беседы.

Георгий Максимович заговорил о своей жизни в Париже, на рю де Муфтар, которую они, русские парижане, называли «Муфтаркой», о своих тогдашних приятелях, двое были из Одессы, один из Елизаветграда и один из Витебска, тот, что потом прославился на весь мир. А про остальных Георгий Максимович ничего в точности не знал: кажется, кто-то уехал в Америку, другие умерли в безвестности, одного убили немцы, когда вошли в Париж. Все это было чудовищно давно. Это была юность века, юность эпохи, юность аэропланов, кинолент, игры в футбол, разложенческой живописи, всего того, от чего теперь сходит с ума мир, и — совпадение! — это была его собственная, Георгия Максимовича, юность. Поэтому он запомнил девушек, их шутки, их жесты, то, как они сбрасывали платья и закрывали глаза, и что они при этом говорили, он запомнил голод, он запомнил кафе, он запомнил радостную, неутомимую работу по ночам неизвестно для кого и зачем, не приносящую заработка. Вспоминая, Георгий Максимович стал волноваться, и его крупное мягкое лицо с большим носом покраснело, и он вынул из кармана куртки шелковый фиолетовый платок и вытирал лысую голову и щеки.

Все это Ольга Васильевна представляла себе очень отчетливо, потому что Сережа потом подробно и красочно — подражая движениям и голосу Георгия Максимовича, совершенно по-актерски, как он умел, — изобразил разговор.

— Собственно говоря, я был в Париже дважды... Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах, но тогда я ничего не понимал... Второй раз — в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше... Ну что вам сказать? Второй раз мы жили на улице Вожирар... Это самая длинная улица Парижа...

Сереза думал: вступление затянулось. Когда же он перейдет к делу? Георгий Максимович еще некоторое время что-то говорил с затухающим энтузиазмом, потев и обмахиваясь платком, что-то про свою первую жену, с которой жил на улице Вожирар, она работала машинисткой в нашем посольстве, а он делал эскизы к большой картине о Парижской коммуне. Почему-то эта картина так и не была закончена.

— Ну что вам сказать о Париже? — неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович. — Париж, конечно, красив... Но не более красив, чем Одесса, чем Киев... И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река... Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать...

Сереза спросил: не намекает ли Георгий Максимович на то, что ехать в Париж не имеет смысла?

Георгий Максимович покачал головой и улыбнулся хитро и значительно. О нет! Совсем нет. Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая получить удовольствие и промотать денежки. А о том, кескесе современный туризм, Георгий Максимович не имеет представления и не берется судить... Сереза смеялся: вас понял! Я не отношусь ни к первой, ни ко второй категории и, стало быть... Бог с вами, дорогой зять, я не отговариваю вас и даже приготовил по просьбе Галины Евгеньевны некую сумму «аржэн» для приобретения...

Из кармана вельветовой куртки появилась пачка десятирублевков.

— Пожалуйста, — сказал Георгий Максимович, очень радостно и добро улыбаясь всеми своими пластмассовыми зубами, и протянул пачку Серезе.

— Спасибо, — сказал Сереза. Но пачку не взял. По его словам, он испытал в ту секунду какой-то странный сдвиг: точно все побежало вдруг в обратном направлении.

Георгий Максимович положил пачку на стол рядом с Сережей. Они продолжали разговор. Георгий Максимович расспрашивал о работе, о том, как подвигается диссертация.

Диссертация подвигалась плохо. Сережа не любил говорить об этом. Он стал отвечать отрывисто и небрежно, а на какой-то вопрос Георгия Максимовича не ответил вовсе, замолк, отключился и, замурлыкав мотивчик, глядел в окно, размышляя о постороннем.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросил Георгий Максимович.

Сережа, поблагодарив, сказал, что помочь ему не может никто. Да и как, собственно, помогать? Это ведь не забор красить и не огород копать. Он стал понемногу накаляться. Ему показалось, что Георгий Максимович проявляет к нему сочувствие, а сочувствие было нечто особенно ненавистное ему, и тут он решил окончательно, что денег не возьмет.

— Вы знаете, как я поступал, когда работа не ладилась? — бормотал старик, не догадываясь, что в эту минуту ему надо было помолчать. — Я находил в себе силы уничтожить начало и начать снова...

— Да, да, понимаю... — кивал Сережа, улыбаясь.

— Вы зашли в тупик. Так? — Старик изображал что-то руками. — Вам следует отойти на несколько шагов и поискать — так? — какой-то другой путь, другой ход... Надо находиться в непрестанном движении, и тогда...

— Вы совершенно правы, дорогой метр. И ваше творчество прекрасно подтверждает... (Ольга Васильевна вошла в комнату и, услышав эти слова, ахнула про себя: поняла, что Сережа находится в последней стадии раздражения, ибо перешел к язвительностям.) Но вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Георгий Максимович. Все будет в порядке. Я вам обещаю. — Увидев вошедшую Ольгу Васильевну, он сказал быстро: — Собирайся, мы засиделись. Надо ехать домой!

Георгий Максимович воскликнул:

— Возьмите! Вы что-то забыли! — Он размахивал пачкой, держа ее над головой, как флаг.

Это «что-то» вызвало у Сережи новый приступ язвительности:

— Не «что-то», а определенную сумму дензнаков, которую вы, Георгий Максимович, очень любезно и так далее... Я вам горячо благодарен, но — спасибо, я обошелся. Большое спасибо!

На улице после долгого молчания он сказал Ольге Васильевне, чтобы она ни своим родителям, ни кому бы то ни было не рассказывала о его делах с диссертацией. И вообще о его делах. Присутствие Иринки сдерживало его, но Ольга Васильевна видела, что он клокочет. Он выбрасывал короткие шипящие фразы, смысла которых Иринка, конечно, не понимала, но видела, что родители ссорятся, отец нападает, и поэтому взяла Ольгу Васильевну за руку и смотрела на отца сердито. Ей было тогда лет одиннадцать, и она уже всю влезала в разговоры взрослых. Он говорил, что всякого рода сочувственные расспросы, советы, рекомендации из собственного опыта ему не только не нужны и бесполезны, но и — пошли они к черту! Ольга Васильевна долго крепилась, видя, что он взвинчен сверх меры. Но когда он заявил явную ложь: «Я тебя не раз предупреждал, чтобы ты никому не сообщала о моих делах, а ты болтаешь, трепло!» — она не выдержала и сказала, что это неправда, она не болтает и не надо свое раздражение изливать на нее.

— Откуда же он знает подробности?

— Да ты ему сам говорил!

— А почему же ты не можешь написать диссертацию? — крикнула Иринка.

— Тебя тут не хватает... — Он шелкнул дочь по макушке. — Цыц!

Иринка отбежала вперед и, приплясывая, кричала:

— Эх ты! Эх ты! Диссертацию не можешь написать!.. Эх, эх, эх! Диссертацию не можешь написать!

Эта глупая Иринкина выходка подействовала неожиданно: он прыснул со смеху, потом замолчал и до дома не проронил ни слова.

Но что с ним происходило? Она не могла понять. Не потому, что была чересчур занята работой, лабораторией,

сложными отношениями, которые существовали в ее мире так же, как повсюду, — она, кстати, умеет ладить с людьми и не боится сложностей, — но потому, что его предмет представлялся ей странным слитком простоты и тайны. Что, казалось бы, могло быть проще *того, что уже было*? Всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа, — история, — пересооружает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком, — следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди...

Однако Сережа очень мучился на этой простой милицейской должности. И тут-то заключалась тайна. Было недоступно ее уму. Почему нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытащить из гигантской *очереди* все, что касается московской охраны накануне Февраля, и добросовестно это вытасченное обработать? Ведь не надо создавать невиданного. Не то что они с Андреем Ивановичем бьются над БСС — биологическим стимулятором совместимости. Пытаются сотворить нечто еще не существовавшее в мире, ни в Америке, ни в Японии, ни в Древней Греции, ни в Египте, нигде. Сережа сидел в архивах с утра до вечера. Заполнил выписками тридцать шесть толстых общих тетрадей. Тридцать шесть! Она недавно пересчитала. И все-таки чего-то ему не хватало — какого-то последнего знания, последнего опыта — или, может быть, не хватало страсти, охоты...

С ним бывало: вдруг пропадал интерес. Вернее, возникал интерес к чему-то совсем другому.

Так было с Францией — вдруг сказал, что исчезло всякое желание ехать: «Мне сейчас не с руки». Позвонили

из профкома, сообщили, что группа сократилась и он, к сожалению, не поедет. Выслушал равнодушно и вялым голосом — будто из вежливости — пробормотал несколько слов: «Что вы говорите? Как жаль...» — а там, наверное, думали, что он здорово владеет собой, что на самом деле убит горем. Но она видела, что ему действительно плевать: пропал интерес.

Сказал ей:

— Чего я там не видел? То, что мне нужно, я могу найти только здесь...

Сначала ему нужно было очень много. Не вполне представляя себе объем и суть работы, которую он задумал, она все чаще догадывалась, что он замахнулся на нечто слишком большое, даже безграничное. Она приводила в пример диссертацию — докторскую! — Андрея Ивановича о биологических стимуляторах, написанную удивительно емко, сжато. Там не было ни единой лишней детали. Она вся будто на пружине, простая и динамичная, как английский замок, а пружиной была мысль. Одна гениальная догадка Андрея Ивановича: о диффузионной структуре стимуляторов. И вот она добивалась: а какая мысль у тебя? Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадошки, выписки, факты, цитаты?

Это говорилось из желания помочь, а не в укор. Но он не разговаривал с нею о своей работе всерьез, вернее — никогда не высказывался до конца, она чувствовала, что какие-то мысли он оставляет в своем подполье, как неприкосновенный запас. А может быть... Вдруг — никакого запаса и не было? И все это блеф или, точнее сказать, *самоблеф*? Как раз на это намекал Генка Климук, когда пришел однажды — еще в начале своей деятельности на высоком посту — доверительно поговорить о Сереже.

Трудно было понять, чего он хотел. И тогда-то было неясно, а теперь и подавно: подробности исчезли. Пришел внезапно в тот день, когда Сережа был в Ленинграде. Вошел с мимозой, в красной рубашке, в красных носках, как молоденький, обнял Ольгу Васильевну и даже чмокнул в щеку по-свойски. Она ему сказала:

— Генитальнич! — И погрозила пальцем: — Жен приятелей целуют в присутствии мужей...

А он сказал, чтобы не называла этой собачьей кличкой, которая только дам отпугивает.

В его лице старого мальчика на миг мелькнуло лукавство. Но она почувствовала — сердцем, как обычно, когда дело касалось Сережи, — что под этим лукавством таится озлобление. Какова была цель? Что-то нудно толковал о «ложном положении», о каких-то «обязательствах», о том, что Сережу взяли на определенных условиях, но Сережа добился — с помощью Феди — перемены темы диссертации, и это почему-то было плохо. Не могла понять — почему. Нарушался план института или что-то в этом роде.

— Мы пошли ему навстречу! — говорил он тоном все строже. — Мы в ущерб себе согласились с его просьбой!

Он говорил не как приятель, а как доброжелательный чиновник. Ее это поразило. В первые минуты она держалась с ним фамильярно и чуть пренебрежительно, потому что знала, что он меняется к худшему, и ей хотелось его проучить, но затем его речь и тон так ее ошеломили, что от растерянности и совершенно невольно она стала разговаривать с ним как подчиненная.

— Хорошо, — говорила она, — я ему скажу. Я передам.

Одно было ясно: они могут сделать так, что защита не состоится. Все преподносилось в форме заботы о нем: он себя губит, пошел куда-то не туда, зарылся в дебри, потерял путеводную нить.

— Сережка дико упрям, ты это знаешь, — произнес он вдруг человеческую фразу. — И если вовремя не остановить, он себе голову расшибет.

Она не знала: рассказать Сереже или, может быть, скрыть на время? Он вернулся из Ленинграда усталый, сердитый, все там было плохо — погода, гостиница, знакомые недостаточно почтительны, не проявляли внимания, и, главное, не нашел в архивах того, что искал. Но она все-таки рассказала. К удивлению, он принял рассказ спокойно и даже как-то свысока посмеялся:

— Бедные дурачки, они все боятся, что я буду защищать Бросова...



Там был такой Толя Бросов, которого Климук сживал со света.

Но дело было в другом. Бросов оказался ни при чем, и спустя два года, когда разбиралось «дело» самого Сережи, Бросов и Климук выступали дружно, в одной упряжке. Им не нравился метод, с которым он носился и который назвал полушутливо-полусерьез «разрывание могил».

На многих его тетрадях написано на обложке «РМ», что означает «разрывание могил» и говорит о том, что он относился к этой романтической метафоре более всерьез, чем шутливо. Он искал нити, соединявшие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим.

Из того, что она уловила когда-то: человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду... Она улыбалась, слыша такие его речи за ужином и в постели, когда на него вдруг находил стих курить и философствовать. Надо ли было ей, биологу и материалисту, опровергать эти рассуждения? Господи, если бы она могла переделать себя! Хоть на минуту. Но, к сожалению, это было ей недоступно. Знала твердо: все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами. Несколько раз он спрашивал у нее вполне серьезно:

— Нет, ты действительно думаешь, что можешь исчезнуть из мира бесследно? Что я могу исчезнуть?

А она отвечала ему с искренним изумлением:

— А ты действительно думаешь, что не можешь?

И он говорил, что как ни тщится умом, как ни силит воображение, представить себе не может...

И вот он исчез. Его нет нигде, он присоединился к бесконечности, о чем говорил когда-то легко, куря сигарету. Боже мой, если все начинается и кончается химией —

отчего же боль? Ведь боль не химия? И *их жизнь*, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве была соединением формул? Человек уходит, его уход из мира сопровождается эманацией в форме боли, затем боль будет гаснуть, и когда-нибудь — когда уйдут те, кто испытывает боль, — она исчезнет совсем. Совсем, совсем. Ничего, кроме химии... Химия и боль — вот и все, из чего состоит смерть и жизнь.

У него это началось — то, что он называл «разрыванием могил», а на самом деле было прикосновением к нити, — с его собственной жизни, с той нити, частицей которой был он сам. Он начал с отца. Он очень любил слабую память о нем. Ему казалось, что его отец был замечательный человек, что было, наверное, преувеличением и в некотором смысле гордыней. Это во многом шло от Александры Прокофьевны, которая мужа боготворила и числила примерно так: Горький, Луначарский, Надежда Константиновна и Афанасий Дементьевич Троицкий. После гражданской войны он что-то делал на ниве просвещения. А в семнадцатом, после Февраля, будучи студентом Московского университета, работал в комиссии, разбиравшей архивы жандармского управления. Комиссия выявляла тайных сотрудников бывшего охранного отделения.

Когда Сережа наткнулся на этот факт — участие отца в работе такой комиссии, — он стал копаться, полез в архивы и увлекся всей этой историей. А потом дальше — почему? откуда? — стал изучать семью отца, и деда, и даже прадеда, для чего ездил в Пензу.

Она догадывалась, что он пошел куда-то чересчур вглубь. Все это было любопытно, занимательно, — но зачем? Как-то сказали, что в одном доме можно познакомиться с правнуком знаменитого поэта, он с радостью ухватился:

— Пойдем непременно!

Повела одна женщина с работы Ольги Васильевны. Сказала, что у правнука поэта времени мало, он попьет чай, посидит полчаса и уйдет не позже пяти. Встреча происходила в блочной новостройке в Черемушках. Все в этой комнатке, стандартной, с низким потолком, состояло

как бы из обломков. Вокруг стола, покрытого простой скатертью — хозяйка отмахнула край и показала инкрустированную музейную поверхность, тщательно отполированную, — стояли рядом с обычными мебельторговскими стульями два скромных произведения начала прошлого века с золочеными головками сфинксов на высоких спинках, а чай пили из кузнецовских и гарднеровских чашек, бывших, разумеется, тоже обломками каких-то рассыпавшихся сервизов.

Правнук поэта был средних лет, белесый, морщинистый, с модно подстриженными бачками. На нем был синий пиджак, украшенный медальками и значками. Он звенел ложкой в стакане, постукивал пальцами по столу и, торопясь, очень многословно и невнятно рассказывал какую-то запутанную историю жилищного обмена. При этом повторял то и дело: «В отношении того». Ольга Васильевна смотрела на правнука во все глаза и сначала робела, не зная, о чем говорить с ним, Сережа тоже молчал и выглядел хмуро, но затем Ольга Васильевна стала разговаривать с правнуком насчет обмена и давала ему советы, так как сама недавно менялась.

— В отношении того, — бубнил правнук, — что приближается юбилейная дата... Я составил в отношении того письма... Академик Велегласов обещал подписать, артист Сонин подписал...

Старушки говорили между собой по-французски. Вскоре правнук заторопился уходить, одну из старушек он чмокнул в щеку, другим поцеловал ручки и, взяв со стола бутерброд, завернув его в салфетку, сказал:

— Там и буфета нет поблизости, гиблое место в отношении того.

Одна из старушек спросила:

— Куда вы сегодня, Alexis?

— О, далеко, ma tante. — Правнук присвистнул. — Но сообщение отсюда превосходное. На метро до Сокольников, а там автобусом пять минут...

Когда он ушел, старушки рассказали, что по воскресеньям он судит футбольные матчи. Что делать? Он инженер, заработок невелик, жена больная, двое детей...

Шли темным бульваром. Сережа был мрачен.

— Лучше бы не приходиться... Одно из двух: либо в этом оболтусе есть нечто скрытное, неразгаданное, либо в знаменитом поэте было что-то «в отношении того»...

Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются неисчезающие элементы. Это больше относилось к биологии, чем к истории. И вот когда он вплотную занялся изучением охранки, в частности московской охранки накануне Февраля, составил по документам списки секретных сотрудников с обозначением всех их служебных «подвигов» и «заслуг» перед отечеством — кропотливейшая работа отняла не меньше двух лет, а ведь это была лишь часть диссертации, — его, кроме прочего, интересовало то же, что погнало на встречу с правнуком поэта: отыскивание нитей. Ему мерещилось, что тут таится необыкновенно важное. Временами он работал с бешеным энтузиазмом. Когда возвращался домой из библиотеки или из архива, бывал землистого цвета, едва держался на ногах и не мог сразу сесть за ужин: лежал несколько минут, успокаивал сердце. Последние года два он так ослаб, что даже перестал выпивать. Приглашали — отказывался. Так его поглотила работа. Он вкладывал в нее гораздо больше, чем следовало, чем она могла вместить.

Однажды пришел вечером, и вид был такой, будто выпил. Улыбался странно. Она испугалась, потому что, если выпил, значит, что-то стряслось.

— Ты выпил? — спросила она.

— Ничего. Только что в буфете.

Продолжал улыбаться странно. Она видела, что неспроста.

Его мать тоже что-то почуяла и крутилась на кухне, где Ольга Васильевна готовила ужин. Она знала, что он не всегда готов откровенничать при матери, и, пока та крутилась тут, не стала ничего спрашивать. А он, как посторонний, сидел нога на ногу, покачивал носком и смотрел в окно. Как только мать вышла, Ольга Васильевна сказала тихо:

— Объясни, что случилось... Я же вижу.

Он покачал головой и ничего не сказал. Омлет был готов. Он потыкал вилкой, отставил. Свекровь опять зашла на кухню, прислушивалась к каждому слову, и Ольга Васильевна стала нарочно рассказывать ему какую-то чепуховую сплетню, услышанную на работе. Потом он выпил крепкого чая, и было видно, что ему стало лучше, бледность исчезла. Они пошли в свою комнату — теперь, после обмена, у всех было по комнате, у Иринки, у свекрови и у них вдвоем, где протекала *их жизнь*, — он закрыл плотно дверь, взял Ольгу Васильевну за руку и сказал:

— Ну что, меня гробанули. Было обсуждение на секторе. Накидали столько замечаний, что нужно сидеть еще два года, если не... Только матери не говори!

Произнес все это померкшим голосом, но последнюю фразу: «Только матери не говори!» — высказал нервно и бойко, и в голосе слышался истинный испуг. Как бы мать не узнала! Не могла понять, что тут: забота о материнском покое, чтобы та не расстраивалась, или же, что было ужасно, его вечная зависимость от ее мнения, настроения, его обязанность отчитываться и оправдываться перед нею.

Новость, конечно, была плохая. Она знала, что это такое, когда предварительное обсуждение проваливается, с тревогой ждала этого дня, но он скрыл, что сегодня обсуждение. Удивительные люди он и его мать! Все время подчеркивают: мы сами, мы одни, мы обойдемся. Он уходит на обсуждение, никого не предупредив, а она едет в больницу на опасную операцию — как было лет восемь назад, — и тоже никто об этом не знает. «Бабушка ушла утром и сказала, что придет поздно», — сказала Иринка. А бабушка звонит вечером и говорит, что находится в больнице, все уже позади — да что позади, боже ты мой?! — через день вернется домой. То, что рассказал Сережа, Ольгу Васильевну сразило. И еще раздосадовали фраза и истинный испуг в голосе: «Только матери не говори!» Она сказала, что это глупая фраза и вообще не об этом надо теперь заботиться. Он спросил: о чем же? Надо заботиться о деле, о том, чтобы выплыть, а не о всякой домашней чепухе. Конечно, она выставила свою досаду совершенно напрасно. Ну что с того, что он примерный

сынок? Впрочем, он был вовсе не примерный сынок, она-то знала и потому еще сильнее раздражалась, когда он вдруг настаивал на том, что он примерный сынок. Все это нужно было крикнуть про себя и прикусить язык до боли.

Потому что — на него свалилась гора. Лежачего не бьют. Однако бес толкал ее, подзуживал непобедимо, и она негромко — боясь, что свекровь может постучаться, а то и без стука войти, — с неизвестно откуда взявшимся гнуснейшим ядом сказала:

— Вместо того чтобы оберегать мамочку, ты бы столь же бережно отнесся к своей защите...

Он поглядел загнуанно и равнодушно, как человек, готовый ко всему, и спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Надо было подготовить. Поговорить с людьми. Со всеми, от кого что-то зависит... А ты по своей обычной халатности пустил все на самотек. Ты виноват сам. Так не делают.

Он пожимал плечами:

— Но я думал...

— Почему же ты думал? Почему они должны? Кто ты такой для них?

И еще что-то поучительное и скрипучее. Сережа молчал, глядя на нее остановившимся взором: такой взор бывал у него, когда он внезапно погружался в задумчивость.

— Ты всерьез? — спросил он.

Она пылко продолжала его учить. Кипело низкое раздражение. Он махнул рукой и куда-то вышел. Через минуту вернулся с чемоданом. Она не сразу поняла, что он собрался уезжать. А когда он сказал, что поедет на несколько дней в деревню к тете Паше — что было нелепостью, никто его в Васильково не звал, жить там было негде, вся родня тети Паши уже перебралась из клетушек и сараюшек в избу, лето кончилось, — она рассердилась, не могла сдержаться и громко кричала о том, что это бегство, малодушие и что, если он сейчас уедет в деревню, она снимет с себя всякую ответственность за его здоровье, быт и вообще не даст ему денег. Орала вздорно,

постыдно, как можно орать только в большом гневе. На крик пришла свекровь. Прибежала Иринка из своей комнаты. И он тут же выложил матери про обсуждение, про то, что его зарубили и что защита откладывается не меньше, чем на год. Понять нельзя: свирепо требовал, чтобы ни в коем случае ей не рассказывать, и тут же сам выложил все в подробностях!

Разумеется, это был удар для матери, но ведь не такой, как для Ольги Васильевны. Старуха всегда как-то приосанивалась в трудные минуты, когда надо было проявить мудрость и хладнокровие. Ей казалось, что тут она незаменима.

— Спокойно, товарищи, без паники! Только без паники! — говорила она тоном комиссара, ободряющего бойцов. — Что, собственно, произошло? Дали замечания? Очень хорошо! Чем больше замечаний, тем лучше для нас. Тем ценней станет содержание. Мне непонятно, почему ты раскис, сын...

— Никто не раскис. Но мне вся эта гадость не нравится.

— Нравиться она не может. Кому она может нравиться? Однако нельзя, в конце концов... Когда твоему отцу... Если бы твой отец...

Она успокаивала его, постепенно переходя от комиссарского тона к тону доброй бабушки, и даже слегка потрепала его по щеке. Этот жест показался Ольге Васильевне фальшивым. Разговаривала с ним как с десятилетним мальчиком. И он поддерживал этот стиль. Ольга Васильевна сказала, что паники, собственно, нет, надо спокойно все обдумать, учесть замечания, переделать, что необходимо и с чем ты внутренне согласен, — словом, взяться засучив рукава, но не поддаваться слабости. Сережа хочет уехать в деревню, что неправильно, это бегство от трудностей.

Так сказала Ольга Васильевна, что было, может, верно по существу, но неуместно именно в ту минуту. Она не должна была произносить слово «слабость». Сережа слушал мрачно, продолжая кидать вещи в чемодан.

— Нет, вы неправы, Оля, — сказала Александра Прокофьевна, вновь переходя от тона бабушки к металлической

комиссарской твердости. — Вы глубоко неправы! Если он чувствует, что ему нужно поехать, пусть едет в Васильково. Пусть возьмет книги, тетради, поработает в тишине.

— Да не будет он работать! Он будет пить водку с Колькой. А ночью ему станет плохо.

— Папочка, мама не хочет, поэтому не ездь! — сказала Иринка и, подойдя к чемодану, стала выбрасывать оттуда отцовские вещи.

Он ее шлепнул, она убежала, схватив белье и машинку для бритья. Разговор — ехать, не ехать — длился до десяти вечера, ничем не кончившись. Ехать было поздно. Александра Прокофьевна продолжала гнуть свою линию семейного судии, исполненного благородства и справедливости:

— Не понимаю, почему у вас обоих траур на лицах? Откладывается защита — откладывается ставка, что ли? Ничего, можно перетерпеть. Мы в вашем возрасте о деньгах совершенно не думали. Кто думал о деньгах? Какие-нибудь нэпманы, кулаки и лишенцы. А у нас не хватало на это времени. Мы были слишком увлечены жизнью, трудом, друзьями, событиями. Да, да, событиями! Ты не улыбайся, Ирина, в твоём возрасте я была в курсе всех политических новостей, знала ход военных действий, делала вырезки из газет, а у тебя на уме только кино да мороженое. В двадцатые годы Афанасий Дементьевич получал очень скромную зарплату, мебель в нашей квартире была казенная... И нам ничего не было нужно, кроме книг... Впрочем, и книги Афанасий Дементьевич брал в библиотеке... У него никогда не было черного костюма, он не носил галстуков... Ты не беспокойся, сын, я тебе в крайнем случае помогу, если будет туго. Ты должен работать, не думая ни о чем.

Через два дня он уехал в Васильково.

Ее мучило вот что: когда ему бывало плохо, он стремился куда-то уехать, и не с нею, а один. Это значило — она не могла быть поддержкой. Так считала его мать. Это было бессовестно. Так же, как то, что она внушала ему, будто вся беда с провалом диссертации — по мнению ее,



Ольги Васильевны, — состоит в том, что кандидатская ставка уплыла. О деньгах она не думала! Никаких денег не держала в уме! И никто в их семье, кроме Иринки, которая копит то на какую-то пластинку, то на трехрублевое ожерелье, о деньгах не думает. Не надо так уж кичиться бессребреничеством. Ольгу Васильевну больно ударило, отчего она взорвалась и так постыдно кричала, то, что его мгновенной реакцией было: *уехать от нее*. Как будто в ней — вся беда. А без нее — спасение. Но потом, немного успокоившись, она смирилась с этим, а он, тоже поостыв и поразмыслив, решил в Васильково не ехать, но приход Климука опять все нарушил.

Климук пришел на другой день после обсуждения. Они пошли с Сережей гулять. Гуляли долго. Ольга Васильевна уже стала волноваться. Сережа вернулся в половине двенадцатого.

— Все! — сказал он. — *Finita la comedia!* С Геннадием разругались вдрызг. Он безнадежен.

В его голосе не слышалось скорби. Случилось то, к чему дело шло. Она только спросила: из-за чего?

— А! — Он махнул рукой. — Из-за всего...

Вид у него был рассеянный, будто рассказывать не хотелось и не стоило труда. Но рассказал в тот же день, вскоре. Была любовь. Почему-то очень запомнилась любовь той ночью, когда он впервые рассказал про Кисловского. Обыкновенно он засыпал сразу, на него действовало как наркотик, а она, наоборот, не могла заснуть долго, и чем сильнее было, тем дольше не спалось, но в ту ночь он был возбужден, ему хотелось разговаривать, и он сказал, что Климук уговаривал его отдать какие-то материалы Кисловскому, которому они нужны для докторской. Он отказался. Сказал, что не хочет лишаться таких ценных материалов, которых нет даже в архиве, а есть только у него. Климук сказал, что лучше лишиться материалов, чем диссертации. Ну и поругались. Оказалось, что это старая история. Климук назвал его идиотом, а он сказал Климуку: «Ты дерьмо!»

Что это было? Какие материалы? Она помнила только, что Сережа, когда достал их, — это произошло как-то

случайно и неожиданно, — безмерно радовался. Списки секретных сотрудников московской охраны за десятые годы, вплоть до Февраля семнадцатого. Конечно, материалы ценнейшие, потому что архивы охраны были уничтожены, сожжены. Откуда-то он эти списки раздобыл. Нашел какого-то человека, то ли пропойцу, то ли жулика, то ли просто опустившегося, несчастного босняка — она ни разу его не видела, звали его странно, Селифон или Селиван, что-то в таком роде, — который списки продал Сереже за тридцать рублей. Кажется, его дед был связан с охранкой, был там мелким чиновником и сохранил списки, чтобы шантажировать людей и вымогать у них деньги. Одно время Сережа был очень увлечен всей этой историей, совершенно фантастической. Какие-то люди Сереже не верили и говорили, что Селифон его надул, что списки поддельные, кто-то сфабриковал их если и не теперь, то в двадцатые годы, и, может быть, даже с их помощью кого-то шантажировали. В институте был такой профессор Вяткин, особенно горячо возражавший. В споре с Вяткиным Сережа придумал всю эту поездку в Городец. И, конечно, об этих списках — в папке с розовыми шнурочками — говорил Безъязычный и хлопчет Климук.

Зачем? Кисловского уже нет в институте. Она им не даст ничего. Было бы странно: чем-то помогать Климuku.

И вот когда он уехал один в Васильково — был теплый сентябрь, двадцатые числа, — начались ее страдания. Прошел день, другой, третий... Сначала она боролась с собой. Хотела победить грызущее беспокойство, тоску по нему и тревогу о нем, что было на самом деле *унизительной и смертельной зависимостью от него*, и заклинала себя не думать, не вспоминать о нем, погрузиться в работу. Он не хотел, чтобы она приезжала. Ему нужно побыть одному. И она понимала это, понимала! Но тревога, или тоска, или бог знает что это было, какое-то беспощадное, сжигавшее душу смятение росло в ней неудержимо, и она уже знала, что поедет, должен был только найтись повод. И тут как раз пришло письмо с казенным штампом из института, официальное уведомление из сектора: состоялось

обсуждение, такие-то поправки, длинный перечень, срок защиты отодвигается до такого-то месяца будущего года. С этим письмом, даже не дождавшись субботы, а взяв на работе отгульный день в пятницу, она помчалась.

Васильково возникло в *их жизни* давно. Иринке было годика четыре или пять, дача на Клязьме отпала, бросились искать, им посоветовали Северную дорогу, и вот однажды поехали безо всякого адреса, сошли через пятьдесят минут — просто понравилась безлюдная платформа, купы деревьев, луговой простор — и пошли к деревушке на горизонте. Дом тети Паши был украшен табличкой с топориком. Этот топорик и остановил их. Зачем топорик? Отчего топорик? Стояли, рассуждали вместе с Иринкой, и тут вышла тетя Паша во двор, они ее спросили: вот, мол, девочка интересуется. Тетя Паша объяснила: когда пожар, надо, значит, топор тащить. А на других домах другие таблички — где ведро, где багор. Так и остались у тети Паши, в «доме с топориком». Потом, спустя годы, когда прожили у тети Паши несколько жарких и хмурых, гнилых и солнечных лет — а мужик ее, дядя Ваня, Иван Пантелеймонович, был невидный и тихий, малого роста, плотник и без конца разъезжал с артелью, так что дома его по летам не бывало, и никто его хозяином не считал, а все тетя Паша, да тетя Паша, баба могучая, рослая, работающая, крикунья и добрая душа, — и вот потом уж, распознав их хорошенько, и сына Кольку, бригадмилыца, Сережа часто возвращался в мыслях и разговорах к началу, к топорнику. В особенности любил рассуждать на эту тему, подвыпив: «Дом с топориком! Это, мать, неспроста... Тут символ... Тут заложено ой-ой сколько...»

Иногда философствовал будто бы всерьез, а иногда, в присутствии забредших на чаек или на грибки дачников вроде Льва Семеновича, физика, или Горянского, артиста эстрады, милейшего старика, болтал насчет топорика, дурачась, подделываясь под некий высокопарный старорежимный стиль: «Господа, а знаете ли вы, где водку пьете? Это ведь изба с топориком... Вы тут поосторожнее...» Дурачился-дурачился, потом и вышло: накаркал.

День был отчетливо ясный, но уже с прохладцей, небо высокое, дорога через лес пахла опавшим листом, любимый запах Ольги Васильевны, похожий на запах прогорклого, отстойного вина, — и она бежала, торопясь, ничего не замечая вокруг, вдыхая этот запах и опьяняясь им. Так спешила увидеть его скорей, будто не виделись много лет! А прошло лишь четыре дня. Он сидел на терраске с книгой и, увидев ее, сказал:

— А, это ты...

Он не улыбнулся, не вскочил со стула, не поцеловал ее и даже не взял у нее из рук тяжелых сумок с продуктами, с банками, коробками и двумя бутылками красного венгерского вина «бикавер» — их симпатия к красному сухому, зародившаяся бесконечно давно, все еще как бы продолжалась, хотя теперь это была скорее традиция, гнездившаяся в сознании как память о лучших временах, особенно бережно хранила память о красном вине Ольга Васильевна, и то, что она тащила из города две бутылки, значило на их языке много, — он сделал слабое движение рукой, которое могло означать то ли полуприветствие, то ли жест «все пропало...», и ушел с терраски в комнату. Так он ее встретил. Она решила все прощать. Взяла книгу, которую он читал: Пушкин. Книга была довольно потрепанная и грязноватая. Вероятно, из Колькиной библиотеки.

Ольга Васильевна сидела на терраске, не зная, куда и зачем он ушел от нее и что ей теперь делать. Но она твердо решила все прощать. Сумки положила на пол.

Через короткое время он вернулся и спросил, глядя зло:

— Зачем ты приехала?

Она должна была объяснить, что просто не вынесла жизни без него, нет сил для такого испытания, это глупо, ведь они не в ссоре, расстались по-хорошему, и она понимает, что ему необходимо побыть одному, но — что делать, если нет сил? Вместо этого она размахивала письмом из института, говоря казенным тоном какую-то чепуху. Он закричал:

— Зачем ты приехала? — И затряс кулаками перед своим лицом.

Она испугалась, что сейчас он заплачет и упадет, и побежала в избу, зовя тетю Пашу. Дом был пустой. Она зачерпнула кружкой воду в ведре — колодезная вода в Василькове изумительная! — прибежала на терраску. Сережа лежал на топчане, отвернувшись к окну. Она присела рядом, гладила его волосы и говорила вполголоса, что беспокоилась за него, он уехал в таком дурном состоянии. Все беспокоились, и мать, и Иринка. Упоминание о матери и дочке должно было смягчить его, но он вдруг выкрикнул:

— Не ври! Не впутывай Иринку и мать!

Она пыталась объяснить, но он не хотел слушать.

— Не ври! Не ври, тебе говорят! — повторял он. — Ты приехала по собственной воле и, конечно, только оттого, что тебя гложут идиотские подозрения...

— Ничего подобного! Какой вздор!

Она искренне отрицала, потому что в подозрениях, которые ее действительно мучили, она не признавалась себе. Ей казалось, что ее мучает что-то другое. Поэтому подозрений как бы не существовало и она могла с честным выражением гнева на лице отрицать эти обвинения. Но, боже мой, как стало вдруг тепло и покойно, когда она увидела, что он сидит на терраске один и читает книгу.

— О чем ты говоришь? Какие подозрения? Успокойся, мой милый, это не для нашего возраста... Ты уже опоздал, да и я тоже...

А ей было тогда тридцать восемь. Ему сорок. Но она не упускала случая внушить: твой, мол, поезд ушел, не заглядывайся, не тормозишь. Всегда смешило: сядет в метро и пялится на какую-нибудь девицу напротив. Затевала иногда разговоры по этому поводу, он сердился... Опять стала говорить про письмо из института, все еще держа его в руках. Он вырвал письмо, смял и выбросил в окно.

— Не хочешь читать, все мне известно... К черту... — бормотал он. — Тоже умница! Надо забыть, отсечь, не помнить всей этой дряни, а она, как нарочно... На черта оно мне нужно, это письмо!

Ей хотелось помочь ему, она не знала как. Пришли тетя Паша и Иван Пантелеймонович, копали картошку где-то на дальнем поле. Очень обрадовались, увидев ее:

— Батюшки! Васильевна! А твой-то совсем счах без тебя...

Все перепуталось. Эти люди не понимали, что с ними происходит. Ей было безумно жаль его и хотелось помочь. Что его загнало сюда, в эти черные доски старенькой деревенской терраски с вязками лука на рамах, с какими-то банками и мешками на полу? От рук тети Паши, когда она собирала ужин, пахло землей. Иван Пантелеймонович крутил транзистор и разговаривал с Сережей об американском президенте и Суэцком канале, тетя Паша с истовым и горячим волнением выпрашивала про Ирину и Александру Прокофьевну, а также про мать Ольги Васильевны и про Георгия Максимовича, которые, хоть и редко, навевались в Васильково, и Георгий Максимович говорил, что у тети Паши «интересное лицо», и заставлял ее позировать. Потом тетя Паша и Иван Пантелеймонович жаловались на то, что картошка уродилась мелкая, что копать припозднились, лошадь с телегой никак не выпросишь, а на горбе таскать далеко, нынче картофельное поле «на столбах»: это где линия высоковольтной передачи, там с обеих сторон раскопали да засадили. «На столбах» называется. Ольга Васильевна слушала, глядела на тетю Пашу и Ивана Пантелеймоновича и думала: ведь старые люди, тете Паше за шестьдесят, ему под семьдесят, но они трудятся, напрягают все силы, копают землю, таскают мешки с картошкой, и делают все остальное бесконечно тяжелое изо дня в день, и не считают свою жизнь особенно трудной. Она сказала вдруг просто так, ради шутки:

— Сережа, ты книжки читаешь, а старые люди надрываются, картошку копают — пошел бы да помог...

Тетя Паша на нее накинулась, Иван Пантелеймонович рукой махал:

— Это зачем? И не думай, и пускай отдыхает! И никогда чтоб такого разговору!

Зарыкал мотоцикл под крыльцом, приехал Колька. Оба мужика, отец и сын, были невысоки, худощавы, с бледноватой тонкостью в лицах, оба голубоглазы, светловолосы, у старика седина впрожелть, и манера была у обоих

плутовато тянуть губы, улыбаясь, а Колька еще и глаза отводил в разговоре, как девушка. Только подвыпивши он становился смел и горласт.

Хлебная щи, которые заедал то ломтем серого, то сосиской, он привез сосисок громадный куль, килограмма два, тетя Паша тут же бухнула десяток варить и была очень довольна Колькиной добычей, — он рассказывал, как на лесоскладе в Истомине, где он и сосисками разжился в буфете, появились штакетник, прожилины и брус для ворот и он хотел с дедом договориться, но тот почему-то не соглашался. Говоря все это, Колька странно конфузился и на Ольгу Васильевну не глядел. Она давно уже замечала, что парень в ее присутствии робеет. Однажды не удержалась, сказала об этом Сереже:

— Ты знаешь, мне кажется, что Колька... ко мне...

— Ну?

— Я ему немного нравлюсь...

Он посмотрел с удивлением:

— А зачем ты мне это говоришь?

Нарочно напускал на себя холодность и равнодушие, когда возникал хоть малейший повод для ревности. Да поводов-то... откуда им быть? Не было никаких. Иногда она придумывала что-нибудь, чтоб его подразнить, вызвать его волнение, и он привык, разгадывал, перестал обращать внимание. Но с Колькой было что-то похожее на правду. Она это чувствовала. Может, и он чувствовал? И все равно — наплевать? Мысли его были увлечены другим. Понемногу он примирился с ее приездом, а к концу дня — после прогулки на речку — даже радовался, говорил, что она молодец, что приехала. Ночью было хорошо. Они совсем не спали. Заснули к утру. Он рассказывал о своей работе все-все, с подробностями. Советовался с нею: как быть? Главное вот что: он безнадежно испортил отношения с людьми. Климука обхамил, сделал врагом, причем оскорбительные слова сказал в присутствии посторонних, что, разумеется, не простится. Но с Климуком все уже шло к разрыву, тут неизбежность, а вот зачем говорить резкости профессору Вяткину, человеку влиятельному? Ах, неумно, неумно! А с Кисловским?

С этим хитрейшим, каучуковым, который Ольге Васильевне представлялся человеком крайне опасным и готовым на все? Черт бы с этими несчастными материалами, за которые плачены тридцать рублей, отдал бы их — и дело с концом. Тридцатку спас, а диссертация завалилась. Теперь была очевидна суть неудачливости этой странноватой семьи: отец когда-то был крупный работник, но так никуда и не вылез, мать — домашняя юристка с принципами и запросами, и он сам им под стать. И была еще сестра той же масти. Она умерла старой девой, обездоленность и тоска привели к болезни, говорят, кто-то любил ее очень сильно и мог бы составить ее счастье, но она всю жизнь любила школьного товарища, жалкого человечка. Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей...

Ночью он вдруг сказал:

— Знаешь, почему все у меня с таким скрипом? — Шептал едва слышно: — Потому что нити, которые тянутся из прошлого... ты понимаешь? — они чреваты... Они весьма чреваты... Ты понимаешь?

Она не понимала:

— Чем?

— Ну как чем! — Он засмеялся. Ей стало страшно, показалось, что он сходит с ума. — Ведь ничто не обрывается без следа... Окончательных обрывов не существует! Ты понимаешь? Должно быть продолжение, не может не быть, это так понятно...

Она смотрела на него, похолодев от ужаса.

Безумие! То, чего она страшилась, зная неустойчивость его нервной организации. Она обняла его голой рукой, прижала его голову к своей груди и гладила его волосы. Он тихонько фыркнул, вновь она содрогнулась от этого смеха.

— Ты, наверно, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед...



Это не было безумием. Впрочем, какую-то долю это было, возможно, безумие, какую-то долю шутка и частично всерьез. Безумие и всерьез — это было одно. Она заплакала, слушая его невнятный лепет. Тогда, ночью, ей показалось, что он погиб. Он говорил что-то путаное насчет своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости, — во всех них клокотало и пенилось *несогласие*... Тут было что-то не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни столетиями, заложенное в генетическом стволе... Вдруг терялось ощущение бреда и казалось, что он говорит нечто разумное, стройное, может быть, очень умное, но тут же пронизывал страх: не сходит ли он с ума? Какая могла быть связь между пензенским распопом, жившим сто двадцать лет назад, и трудностями с диссертацией, с обсуждением в секторе? Он говорил, что связь есть. Тогда же, ночью, возникла идея поездки в Городец.

Профессор Вяткин сомневался в списках, добытых Сережей не вполне научным путем.

Совсем недавно она отрыла папку с розовыми тесемками, погребенную под ворохом других папок на нижней полке большого книжного шкафа. Папка из глянцевого желто-мраморного картона, который был в моде в десятых годах. Она читала, плохо понимая, буквы прыгали перед глазами, потому что думалось с горечью о том, что жизнь состоит из непоправимостей. Какая огромная часть его существа осталась неизведанной! А ведь ей казалось, что она достаточно, сверхдостаточно знает о нем. Нет, ей казалось, что все это бесконечно неинтересно. Ничего поправить нельзя. Она переворачивала хрупкие, пахнувшие тленом странички, старалась вдумываться в смысл и с отчаянием понимала, что смысл от нее отлетает: пустой и безжизненный, он мог лететь, лететь...

Какие-то фамилии, годы, села, волости, города, клички, занятия, адреса. У многих было по несколько кли-

чек. Что с этим делать? Невозможно понять. Тоска сжимала сердце. Прежде чем спрятать листочки в папку, завязать бантиком тесемки и сунуть папку под пресс десятка других папок, толстых и тяжелых, она нашла в списке фамилию Кошелькова Евгения Алексеевича, 1891 год рождения, крестьянина села Городец, Московской губернии, портного, служившего в магазине «Жак» на Петровке.

С этим Кошельковым связывало единственное: сентябрьское утро в дымке, тишина пустой дороги, земля, уже чуть стылая, затвердевшая за ночь, пожелтевший и звенящий березняк и запах грибов (Сережино непрерывное бормотание: «Грибы прошли, но крепко пахнет...» — и еще другое, его любимое: «Какая холодная осень. Надень свою шаль и капот...»), когда шли просекой не торопясь, но и не очень медленно, дорога предстояла далекая, у него было чудесное, веселое настроение, он шутил, дурачился и брал ее руку, заставляя размахивать сцепившимися руками с видом влюбленного школьника. И даже читал слова наоборот. Вдруг он становился таким, каким был когда-то давно. Она тогда подумала: это, что ли, называется счастьем? Ясное утро, дорога, желтые рощи... Нет, не хватало Иринки... А вот когда-то приехали в Васильково в марте, на Иринкины каникулы, шли лесом на лыжах — Сережа убежал далеко вперед, Иринка едва телепалась, и было уже под вечер, красноватая желтизна за темными стволами, слепил глаза сумеречный снег, — и Иринка спросила: «Мама, а что это — счастье?»; ей было лет десять, на все вопросы следовало отвечать всерьез, и она задумалась всерьез, чтобы ответить понятно и кратко, но ничего не придумывалось, и тогда она вдруг сказала: «Вот этот вечер в лесу, мы трое на лыжах — это счастье. Понимаешь? Это и есть...» Иринка, конечно, не поняла. Да и она, сказав, не понимала по-настоящему. Должна была исчезнуть *их жизнь*.

А когда шла сентябрьским утром из Василькова на станцию, все боялась, что натрет ногу. Туфли были жесткие, новые. Не для дальней дороги. Но, кажется, все обошлось. Они отправились в село Городец в надежде отыскать хоть

какие-нибудь следы Кошелькова Евгения Алексеевича, имевшего в московской охранке клички Тамара и Филипчук. Сережа говорил: разумеется, никаких родственников и отпрысков не найдется, сколько лет прошло, все перепахано, перемолото, но ведь что-то должно остаться, какие-то обрывки нитей, искры чьей-то памяти. Если хоть что-то найдется — просто запись в местной церкви о рождении и крещении, — значит, список не врет. Городец выбрали потому, что ближайший пункт к Василькову, двадцать восемь километров всего. Сначала ехали электричкой, потом автобусом. Село превратилось в городишко. Вокруг старенькой, еще когда-то французом поставленной сукновальной фабрики выросли четырехэтажные блочные дома с телевизионными палками на крышах, а когда шли мостком через тинистую, в зеленой ряске, речонку по имени Вопря, слева громоздился склон, весь облепленный черными, изгнившими сараями и домушками, в которых непонятно что хранилось, жил ли кто или же это береглось как историческая реликвия, как свидетельство дореволюционной нищеты и бесправия. Перед кирпичным одноэтажным домом с вывеской «Продтовары» стояли несколько мужчин с тем бездельным и лениво-рассеянным видом, который безошибочно обозначал вынужденную праздность, бюллетени, ночные смены и нехватку чего-то нужного им всем в эту минуту. Сережа пошел к ним узнавать. Через четверть часа он уже стоял в компании троих возле торцовой кирпичной стены дома ипил водку из бумажного стаканчика, закусывая помидором. Ей это очень не нравилось, она нервничала. Мужчины шутили. Он благодумствовал. Был замечательный сине-золотой день. Они бродили по городку, который местами напоминал деревню, заходили в дома, разговаривали в палисадниках, где пахло яблоками. К концу дня нашли старика, очень румяного, крепкого на вид, ходившего мелкими-мелкими медленными шажками в черных валенках: в прошлом году случился удар, думал, что помирает, но выжил. Старик говорил, улыбаясь красивым белозубым ртом:

— Бабыя лета нынче удалась...

Это был сам Кошельков Евгений Алексеевич.

В марте в первый же час возвращения из Ленинграда — она примчалась самолетом, так извелась по Иринке — услышала жалобы от обеих.

Иринка сказала, что бабка держала ее на казарменном положении, денег не давала, никуда не пускала, а с друзьями, которые приходили в гости, обращалась возмутительно. Выставляла грубым образом. Было не поздно, ну, полдвенадцатого от силы. Ребята, конечно, ушли, она пошла провожать, вернулась через час, а бабка в истерике — звонила всем подряд — Дашке, Тамарке, Бэле. Люди спать легли, она их поднимала. Совсем уж *офигела*.

— Я с ней после этого три дня не разговаривала.

— Но, может быть, ты тоже не вполне тут права?

— В чем же я не права?

— Зачем пошла провожать так поздно? По-моему, это было лишнее. Она беспокоилась за тебя.

— А зачем она им хамила? Потому что не надо было хамить...

Разговор этот возник сразу, она не успела переодеться, распаковать чемодан, где лежали нехитрые подарки, купленные в Гостином дворе. Настроение еще не успело омрачиться. Слушая дочь и коря ее, она поглаживала Иринку по костлявой спине: лопатки выпирали, а трикотажная синяя кофточка с короткими рукавами заметно стала мала и для лета не пригодится. Но через четверть часа, когда Ольга Васильевна, переодевшись в халат, пошла в ванную, включила горячую воду, принялась с ожесточением тереть и мылить ванну старой мочалкой с помощью порошка «Гигиена» и что-то напевала вполголоса — как не напевала давно, может быть полгода, разучилась напевать, и сейчас это получилось бессознательно, и если бы она вдруг сообразила, что напевает, она бы, наверное, сразу замолкла, — дверь ванной комнаты скрипнула и раздался голос Александры Прокофьевны:

— Больше никогда Ирину на меня не оставляйте. Не хочу, хватит с меня, она взрослая девушка, пускай живет как хочет.

— Хорошо, после поговорим, — сказала Ольга Васильевна.

— Или уж вы сидите дома, поскучайте немного. А у меня есть работа, я должна ее делать.

Старуха очень гордилась своей ерундовой работой для газетной «Юрконсультации», получаемой нерегулярно, после многих звонков и просьб: ее там просто жалели, как пенсионерку и ветерана соцзаконности. Но вообще-то, как испытанный в судебных ристалищах боец, она умела нацелиться и кольнуть в больное. Так и теперь: слова «поскучайте немного» кольнули Ольгу Васильевну, однако она все еще не была в настроении ссориться и ответила миролюбиво:

— Хорошо, Александра Прокофьевна, дайте мне принять душ, потом поговорим.

Затем выяснилось: Иринка чудовищно распустилась, ничего не допросишься, ни в магазин, ни в прачечную, ни просто пол подмести, отвечает дерзко и все только требует, требует, требует. Иринка, подошедшая к дверям кухни и слушавшая обличения бабки с насмешливым видом, спросила:

— Что я у тебя требовала? — Голос у нее действительно был дерзкий и грубый.

— Я с тобою не желаю разговаривать. Матери объясню, пусть голову ломает, как с тобой быть.

— Ах, не желаешь? Ничего я у тебя не требовала.

— Ирина, не огрызайся. Пойди в комнату, дай нам поговорить.

— Ага, я пойду, а она тут будет врать...

— Слышите? «Она», «врать»...

— Ирина, уйди!

— Я уйду, но ты, пожалуйста, ей не верь. Единственное я просила — деньги на «Вкус черешни» в «Современнике». Она не дала. Я заняла у Дашки три рубля. А зимние сапоги, которые она обещала, я все равно знала, что она не купит. Так что ничего удивительного.

— Я, кажется, тебе объяснила, в чем дело, почему я не могу дать денег ни на театр, ни на сапоги, — сказала Александра Прокофьевна. — Спекулянтами никогда

не пользовалась и пользоваться не стану, не дождетесь. Подлецов я не поддерживаю. Когда увидишь в магазине хорошие сапоги, скажешь мне, пойдем и купим. Я тебе многократно говорила. Но теперь, впрочем, придется отложить.

Ольга Васильевна почувствовала, как в голову над бровями вступила боль. Ирина ушла. Свекровь продолжала обличать Иринку: доказывала, что плоха, неумна, скверно воспитана и виновата в этом, конечно, мать. От всего этого, что стянулось узлом и выхода не предвиделось, никакого выхода, кроме начинающейся мигрени, которую лечить неизвестно чем, Ольга Васильевна стала ненужно и зло спорить, защищая дочь:

— Вы не видите в ней ничего хорошего. А она нуждается в доброте, в ласке, ведь она лишилась отца...

— Вы смеете мне объяснять!

В узеньких глазах свекрови показались слезы, лицо ее побелело, губы обвисли. Это внезапно изменившееся лицо Александры Прокофьевны как бы подстегнуло Ольгу Васильевну, она поднялась и, стискивая рукою лоб, будто желая удержать рвущуюся наружу боль, а другою рукой потрясая перед собой — самообладание покинуло ее, — заговорила громко, сбивчиво:

— Потому что у вас нет доброты! Вы злая женщина! Но я не разрешу! Я не дам... Если нет отца, вы думаете — некому заступиться? Я... я вам не дам! — Спазма перехватила горло. — Почему вы не дали несчастные три рубля? Боялись, что не верну? Девочка должна побираться, как нищая! Она не нищая, нет! Пока есть мать, она не нищая — вы слышите? Зачем вы лгали и заманивали ее сапогами, будь они прокляты?..

Свекровь, глядя на нее презрительно и брезгливо, качала головой и отступала к двери. Лицо ее окаменело. Ольга Васильевна не слышала своего голоса. Вдруг крик:

— Мама! Замолчи!

Она увидела искаженное страхом лицо дочери. Иринка обняла ее, потащила куда-то. Потом Иринка исчезла, может быть, ушла в школу или в магазин, ее не стало, Ольга Васильевна лежала в полумраке, с занавешенными

окнами, и думала: «Взрослая дочь. Она меня защитит. Не могу без нее. Старухе раз навсегда сказать: не смейте...»

Встала в потемках. Обедала на кухне одна — Иринка убежала в кино. Свекровь доставала что-то из холодильника, молча подавала на плиту. Почему Иринка смылась в кино, зная, что мать так расстроена, что была ссора? Станный характер! Что-то неустоявшееся, гибкое, жесткое, отцовское. Такие же «убеги», исчезновения. Вдруг проявит человеколюбие, откроет умение жалеть и сочувствовать, обнаружит — на миг — взрослый и трезвый ум, а затем ошарашит какой-нибудь полудетской выходкой, капризом или же таким матерым эгоизмом, что оторопь возьмет. Ну да, тянули в разные стороны. От отца слышала одно, от бабки — другое. Для Ольги Васильевны главное — научить самостоятельности, независимости от людей. Нет никого жальче тех бедняг, которые зависят душевно от других. Мать Иринки всю жизнь такая. Теперь кончилось. И настигла другая мука: душа независима и пуста.

А у Иринки при всей избалованности, вспышках эгоизма и грубости есть эта слабость: незащищенность от чужой воли. Та история с театром в январе, на каникулах. Раньше билеты в театр доставал Сережа. У него сохранились приятели студенческих лет по театральному кружку: один стал артистом Театра Моссовета, другой сделался могущественным театральным администратором. Но вот заставить позвонить им было задачей. Как он не любил просить! Наседали на него вдвоем. Долбили неделю подряд. Если удавалось добыть три билета, тогда шли все вместе, если два, он уступал дочери. Иринка любила ходить с отцом: он был щедрее в буфете. И вот после ноября пошла в театр впервые. Билеты достала Даша. И как раз в тот театр, куда Иринка ходила с отцом чаще всего, — в Моссовета. Ольга Васильевна беспокоилась, девочке многое там будет напоминать. Сама бы не пошла в этот театр ни за что. Весь вечер Ольга Васильевна изнывала, томилась, звонила Дашиной матери: не будет ли кто девчонок встречать? Мать у Даши поразительно беспечна. Иринка пришла около двенадцати, мрачная, ни слова

не говоря, пробежала в свою комнату, ужинать отказалась: «Болит голова!» Ольга Васильевна заглянула через четверть часа: девчонка плакала. Захлестнуло жалостью. Обнимала дочь, гладила, успокаивала и сама едва сдерживалась. А затихнув, Иринка рассказала неожиданное: Даша, оказывается, пригласила в театр еще одну девочку и весь вечер разговаривала с нею, а не с Иринкой. В антракте гуляли под руку вдвоем, а Иринка была как посторонняя. И шептались о чем-то секретно. Иринка так огорчилась, что после театра убежала не попрощавшись. Ольга Васильевна была поражена. Ведь так любила отца! А страдает из-за дрянной девчонки, притворщицы. Примирилась со своей Дашенькой скоро, встретила Ольгу Васильевну счастливая: «Дашка сказала, что Майка дура! С ней разговаривать не о чем. Она Феллини не признает...»

Звон, гром, хлопанье двери, бег по коридору — возвращение из кино в одиннадцатом часу. Не раздеваясь, стоя посреди комнаты и раскручивая длинный шерстяной шарф, дочь сообщила новость: завтра хочет поехать за город дня на два. К Даше на дачу. Понимала, конечно, что наносит удар. Мать истосковалась, хотела провести субботу и воскресенье с дочерью. В глазах Иринки пряталась жалкая шкодливость. Ольга Васильевна старалась не показать ошеломления.

— Сначала разденься.

Иринка разделась, села к столу. Могла бы сесть на диван, рядом, но села подальше, к столу, это значило: готовится сопротивление. Тут вошла Александра Прокофьевна со словами, что чай горячий. Ольга Васильевна спросила, кто собирается на эту дачу.

Последовал пересказ имен, частью незнакомых, человек восемь. Надо же ей немного подышать воздухом для здоровья. Это же необходимо, правда же?

— А школу вы пропускаете?

— Да ну! — махнула рукой. — У нас в субботу один урок. Все болеют, такой ужасный грипп в Москве.

— Какой урок?

— Физика.



— Нет, — сказала Ольга Васильевна, — мне это не нравится.

— Mamочка, ну почему?

— Пропускать урок — мне это не нравится.

— Но почему, почему? Что такого? Один урок, подумаешь!

— Если не понимаешь, объяснять не желаю. Не нравится мне это.

Ей не нравилось не только это и, наверно, гораздо больше не это, а то, что дочь так легко расставалась с нею, едва встретившись после десятидневной разлуки. Бог знает что. Быть такой тупой, так ничего не понимать в близких людях. Это от отца. На него находили периоды глухоты. Свекровь стояла рядом и слушала молча. Одобрить Иринкину авантюру она, конечно, не могла, но и сказать два слова в поддержку Ольги Васильевны было свыше ее сил.

— Мало ли что тебе не нравится. Мне тоже, может быть, кое-что не нравится... — Иринка сидела, выпрямившись, у стола, нога на ногу, с высокомерным видом, глядела в скатерть. Правой ногой она сильно раскачивала. Был как раз тот самый независимый облик, к которому так стремилась Ольга Васильевна.

— Что тебе не нравится?

— Кое-что.

— Например?

— Мало ли... Например, то, что ты часто уезжаешь из дома. То в Челябинск, то в Ленинград.

— Я уезжаю, милая моя, в командировки. Меня посылают, хочешь не хочешь. («Вот уже и оправдываюсь перед ней».) Ты думаешь, я так, по своей воле?

— Знаю, что в командировки, но ведь и самой хочется немного отвлечься, правда же?

— От чего отвлечься? Что за глупости мелешь?

Но то были не глупости. Кровь прилила к лицу Ольги Васильевны. Свекровь продолжала стоять молча.

— С чего ты взяла, что я хочу отвлечься? Кто тебе сказал такой вздор? — Ольга Васильевна не смотрела на свекровь, но всем нутром ощущала ее присутствие. Ей казалось, что свекровь улыбается.

— Всем нам, конечно, тяжело без папы, — продолжала бормотать девчонка, — но мы с бабушкой никуда не можем уехать. А ты...

— Что я?

— Ну, делаешь себе такие отдушины... А мне, может, тоже грустно дома сидеть, и я хочу отвлечься. Каких-то два дня.

— Дура ты, дура... — слабым голосом сказала Ольга Васильевна, вытирая ладонью глаза. — Я себе в этих командировках места не нахожу, стремлюсь домой... Каждый вечер по телефону... Дни считаю, когда увижу тебя, бессовестную... А ты — отвлечься... Неблагодарный ты человек. Уходи, видеть тебя не желаю!

Иринка выбежала.

Александра Прокофьевна произнесла в пространство: — Пускать за город, конечно, не следует.

— Почему вы это ей не сказали? — спросила Ольга Васильевна. — Хотите быть хорошей?

Потом стирала до полночи. Иринка, чертовка, ничего своего не выстирала. Да все равно перестирывать, только грязь развезет. На другой день перед школой, уловив минуту, когда бабка отлучилась из кухни, Иринка просила прощения. Как обычно, делала это казенножалобной скороговоркой: «Мам, прости меня, пожалуйста, если хочешь, я не поеду», но Ольге Васильевне показалось, что это важный акт смирения. Она простила, сказав, что поговорит с Дашиной матерью по телефону, после чего будет принято решение. Но главное: опять обволокла и обессилила жалость! Опять взглянула на девочку со стороны, и сжалось сердце: сирота, все одна, одна в своей комнате, отца нет, мать в разъездах... Как не отпустить? И — отпустила.

Старичок в черных валенках ходил по саду бесшумно, даже листьями не шуршал и все улыбался:

— Бабья лета нынче удалась...

Ольге Васильевне старичок не нравился. Она думала с беспокойством: «Боже мой, но почему же удалась?» В том золотом дне, в глушине сада, в беспамятности старичка была тревога, она ощущала отчетливо, только не могла

понять: откуда и почему? Все эти поиски были ненужной забавой. Ну вот нашел замшелого старичка, когда-то служившего в магазине «Жак» на Петровке, — выдернул его, как туза из колоды, ну, а дальше? Тот ничего не помнил, не знал, не желал, не ведал, ибо после магазина «Жак» свалилась на него громадная жизнь, как гора камней, и все засыпало и задавило, что едва шевелилось в памяти.

— А господин Жак был знаете какой? Ого! Чуть что не по-ихому...

— А конец февраля? Вы помните?

Нет, ничего не высекалось, не вылущивалось из пещерных недр. Ведь были войны, лихолетья, далекие страны, ледяная стынь, смерти и погубления, а Городец с садиком, с тишиной возник лишь недавно, как поздняя зарница на краю жизни. И то спасибо, господи, за поздноту! Сережа вынул тетрадку с карандашом, да так ничего путного не записал. Дочка старичка, приземистая мрачноватая баба, позвала ужинать на терраску. Там же была невестка этой бабы, медсестра, и двое ее ребят, а вскоре пришел муж медсестры, стариков внук, которого звали Пантюшей, это имя хорошо запомнилось.

Пантюша был сутул, на голову ниже Сергея, черен, броваст, из провальных глазниц так и зыркали злые, колючие, как у крысака, глазенки. То ли был он пьян, то ли болен чем-то, то ли просто злоба кипела и душила его, как иных душит слишком густая кровь. Сначала молчал и все рассматривал Сережины брюки, ботинки, часы, свитер, потом так же внимательно изучал туфли Ольги Васильевны, ее замшевую курточку, тогда еще новую, нигде не засаленную и очень красивую. На курточку смотрел особенно долго. Ольга Васильевна даже подумала: «Неприятно смотрит». Сережа не замечал злобной внимательности Пантюши — как вообще не замечал внешности, взглядов и выражений лиц людей, его интересовали слова — и продолжал упорно добиваться у старичка подробностей насчет московской охранки. Пантюша вдруг спросил, притрагиваясь к рукаву замшевой курточки:

— И где же такие пиджаки берут?

— Это из Венгрии, — объяснила Ольга Васильевна.

— А! Не наш, значит? Ишь ты, как бархат...

— Да это замша, — сказала медсестра. — Что ж ты, не видишь?

— Я вижу. Я-то вижу.

— Ну и сиди молчи. Руками не трог. Рук не отмыл небось, а на него всякая грязь садится, на замшу. Ах ты горе! Вроде чуток загрязнил!

Она схватила платок, бросилась к рукаву замшевой курточки оттирать. Дети тоже подскочили, сгорая от желания потрогать необыкновенную курточку. Пантюша скрипел зубами. Старичок, как будто занятый беседой с Сережей и к тому же крепко недослышавший, внезапно и очень кстати вступил в разговор о курточке:

— Почему у нас нет? В Камергерском переулке, магазин братьев Шульц, «Земиш-ледер» называется... Перчатки, кофры...

Пантюша махнул на деда рукой.

Принесли картошку в чугуне. День неожиданно смерк, зажгли электричество. Сережа начал что-то записывать. Он все старался разузнать насчет пожара в Феврале семнадцатого: кто приказал, да кто тушил, да кто тогда командовал. Старичок был ничтожно мал в ту пору, пылинка в бурю, однако прошло пятьдесят три года — пылинка странным образом еще существует, еще пляшет в луче солнечного света, хотя все вокруг смыто, унесено... И Ольга Васильевна понимала, отчего с такой жадностью вслушивается Сережа в полувнятное бормотание. Одно изумляло, и хотелось спросить: как же уцелел? Неужто никогда ничего... не тягали?

— Как не тягать? Это беспрерывно... — говорил старичок, улыбаясь. — То на войну, то излишки... У нас, конечно, специальность хорошая, так что нигде не пропасть... Мы начальство обшивали, всегда с куском хлеба... И даже на другой пункт затребуют, а наш начальник, товарищ Гравдин, не отдает, так что ссорились из-за нас...

И старичок подмигивал, радостный.

Пантюша, уходивший куда-то, опять возник за столом.

— Вы чего у деда пытаете?

— У вашего деда богатейшая жизнь, — сказал Сережа. — Разговариваем о жизни...

— А записываете на кой?

— Я историк, мне все это важно для истории.

— Какой еще истории?

— Истории Февраля семнадцатого года, февральской революции и всего, что с нею связано. Это сложный, еще не полностью изученный период, и каждое новое свидетельство для нас ценно. Так что вы извините за то, что мы вам надоедаем, мы скоро уйдем.

Сережа говорил спокойно, терпеливо, но тот хотел ругаться. Стал вдруг кричать:

— Не хрена выпытывать! Будя! Историки, туды вас! — И тряс перед лицом Сережи узластым пальцем. — Я вам не позволяю!

Мать и жена успокаивали Пантюшу, но как-то робко. Ольга Васильевна испугалась. Надо было уходить. Но Сережа никогда не мог уйти вовремя, ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснить или же доругаться. И он вдруг, побагровев шеей, надувшись, пустился с пьяным дураком объясняться, что есть история и зачем она нужна. Пантюша слушал усмешливо и враждебно и, возражая, тряс пальцем:

— Да мы в школе эту историю читали. Зна-аем! Чего вы мне мозги пудрите? История, история... Хватит, есть одна история, а больше не нужно.

— Послушайте, Пантелей, вы кем работаете, собственно?

Когда Сережа разговаривал с простыми людьми, в особенности когда затевал с ними спор, у него возникал почему-то неприятный высокомерный тончик, по-видимому невольный, но людей раздражало. Пантюша грубо ответил: какое, мол, дело, где работает? Может, на Богородском кладбище за трояк могилы копает. А вы, случаем, не из милиции или из ОБХСС проверщики? Все это говорилось с угрозой и с трясением уже не пальца, а кулака перед носом Сережи. Ольга Васильевна тянула Сережу из-за стола. Но тот упорно сидел, втягивался в скандал.

— Нет, послушайте, я вас, кажется, ничем не обидел... Просто интересно — за что вы на меня взъелись?

— Да на хрена мне твоя история! Нечего выпытывать!

— История не моя, она и ваша тоже, и вашего деда. Она принадлежит всем. Вот, к примеру, село Городец очень древнее...

Медсестра шептала Ольге Васильевне, чтоб на мужа не обижались, он чумовой, у него голова слабая, и, если выпьет, обязательно начудит и к людям пристанет, за что его бьют тяжелым боем, а работает он механиком на элеваторе и вообще хороший человек. Старичок Кошельков, давнишний сотрудник московского охранного отделения, столь давнишний, что это потеряло теперь всякий запах и цвет, перегорело и выдохлось, дремал безмятежно, опустив на грудь голову в венчике младенческих белесых волос. Сережа что-то рассказывал о здешних князьях, о татарах. Ребятишки слушали. Пантюша шурил бешеный, неподкупный глаз.

— А ежели по шее? А? — Скрипел зубами. — Во будет история...

До автобусной станции идти было долго, шли впотьмах. Ольга Васильевна дрожала то ли от страха, то ли от холода. Золотой день сменился осенним ледяным вечером. Она Сережу торопила, а он еле шкандыбал, разморившись от водки, и благодумствовал, и болтал, радуясь своей удаче со старичком. Ей это казалось вздором. Кому все это нужно? Лаяли собаки, некоторые, особенно злые, выскакивали на дорогу и бежали следом, он на них замахивался, швырял камни, они свирепели пуше.

— Перестань! — просила она.

Но он как будто получал удовольствие от войны с собаками. Каждую минуту могли появиться из темных дворов какие-нибудь парни с батогами, с вилами. Ох, как она на него сердилась! Все было нелепым мальчишеством: поездка, сидение до ночи, разговоры со стариком, выжившим из ума.

— А-рр! А-рр! — дразнил он собак и хохотал, слушая лай.

«Боже мой, — думала она, — и этот человек, почти пожилой, почти кандидат, почти ученый... Нет, ничего не добьется». Эта догадка, смешанная со страхом, пронзила ее в тот вечер на черной улице, где он сражался с собаками. Их окружала уже целая свора, от здоровенных псов до визгливых малявок, которые прыгали вокруг них, как блохи. И вдруг спасение — треск мотора, и, разгоняя псов и слепя фарой, подкатил сзади и остановился мотоцикл.

— Садись! История! — гаркнул Пантюша. Белый мотоциклетный шлем и белые перчатки с крагами, как у милиционера, светились в темноте. — Айда до электрички, до Вороновской, докачу! Семь километров, это мы сейчас!

Ольга Васильевна колебалась — все-таки чумовой, да и пьян, — но Сережа уже толкал силой в коляску, сам влез на багажник, обхватил недавнего супротивника под мышками, как лучшего друга, — мужчины, конечно, поразительны в том смысле, как легко их мирит и сплавливает хмель и как быстро они прощают друг другу оскорбительное, — свистнул по-бандитски, как не свистел много лет, и — помчались. Путешествие было недолгое, каких-нибудь четверть часа, но незабываемое. Ольга Васильевна полагала, что живыми из этой переделки не выйти. Бросало, кренило, дергало, зубы колотились, хотела крикнуть, но не могла разжать рта и набрать достаточно воздуха, и самым ужасным был страх за Сережу, который все норовил приподняться на своем багажнике и, выкидывая вверх руку, кричал громовым, парадным голосом: «Славным труженикам Го-родца — ура-а!» — или: «Героическим колхозникам села Барановка — ура-а!» Пантюше эти лозунги, как видно, нравились, он тоже кричал «ура», а дорога была мутна, призрачные избы летели навстречу, мелькали столбы, озаренные на миг, какие-то тени шарахались в кювет. «Одиноким прохожим — ура-а!» — орал Сережа и махал шарахающимся рукою с кепкой.

Ольге Васильевне было страшновато, но она смеялась про себя, даже плакала от смеха, а может быть, от того,

что переполняло ее тогда. Она и сердилась на него, и любила его. Недолго этому крикуну, неизжитому мальчику оставалось шуметь на земле. Климук вдруг потребовал, чтоб Сережа подтвердил, что Кисловский просил у него документы для своей диссертации, а взамен обещал поддержку во время защиты — так оно и было, наверно, но ведь Сережа знал об этом только от самого Климука, тот был посредником, а теперь почему-то перевернулся на сто восемьдесят градусов и плел сеть на Кисловского. Сережа не умел интриговать, его это отвращало и злило, и он от злости совершал нелепейшие поступки. Господи, если бы он тогда объединился с Климуком! Тот его так просил! Все могло бы сложиться иначе. Он бы остался жить. Он бы прекрасно жил, работал, шутил, катался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх. Но неизвестно отчего умирают люди. Неожиданно что-то иссякает, *благо жизни*, как говорил Толстой. *Благо* его жизни еще длилось, он еще тормозился, еще чего-то хотел, стремился куда-то.

Он еще мог знакомиться с новыми людьми и приобретать, как ему казалось, новых друзей. Вдруг появилась Дарья Мамедовна. Вспоминать о ней тягостно. Но и отвязаться нельзя. Эта женщина впервые и по-настоящему напугала Ольгу Васильевну, потому что вдруг отчетливо представилось, как Сережа исчезает — с ней. Он и исчез потом, и она оказалась дальней виновницей, той точкой несчастья, из которой размоталось потом все непомерное несчастье, как буран в «Капитанской дочке», разросшийся из чуть заметного облачка. Люди в долгой жизни окружают нас какими-то скоплениями, друзьями: внезапно кристаллизуются и внезапно пропадают, подчиняясь неясным законам. Когда-то были друзья юности вроде Влада, студенческие компании, — сгнули без следа; потом Сушевская, художники, старики, пьянчужки, Валерка Васин с Зикой, — тоже канули в воду; потом люди из музея, те, другие, Илья Владимирович, — точно не было никогда! Потом институтские, васильковские, — теперь уж и эти провалились в тар-тарары... А потом Дарья Мамедовна со своими умниками...



Как только Ольга Васильевна увидела в первый раз зеленовато-смуглые щеки, белки с синевой, смоляные гладкие волосы без единого завитка, без волнистости, как облитую водой маленькую, змеиную голову, сердцем почувала: беда! Сорок с небольшим, а фигура двадцатилетней девицы. Но не фигура тут была страшна, не смуглота, не ноги стройные, а та слава, что шла о ней и раздувалась подпевалями и дружками, шарлатанами разных мастей: о том, что будто бы умна необыкновенно. Челуха это! Выдумка! Ольга Васильевна видела ее несколько раз, в гостях, в театре, и у Лужских, и однажды даже в собственном доме, и разговаривала с нею на всякие темы, от ее излюбленной парапсихологии до современной поэзии, и поняла скоро: королева-то голышом. Все показное, нахвтанное, приблизительное, но при этом, конечно, самоуверенность адская и манера выражаться твердо и категорично, как бы вынося приговор, который обжалованию не подлежит. Неприятнейшая особа. Но какие-то дураки на нее клевали.

Ну, подумаешь, кандидат наук, почти доктор, — забавно, что про нее так и говорили, вероятно, сама такую аттестацию про себя распускала: «без пяти минут доктор» — ну, философ, психолог, передрала массу книг, язык хорошо подвешен, но ведь это не все. Можно нафаршировать себя информацией, но ума не прибавится.

Было шесть лет со дня Фединой смерти, Луиза пригласила друзей — Лужских Борю и Верочку, Щупакова с его Красиной, еще кого-то из института и Генку Климука с Марой. Сережа с Климуком уже были почти врагами. Луиза из-за этого нервничала, советовалась с Ольгой Васильевной по телефону: как быть? Не позвать Климука было невозможно. Он ведь изменился как раз после Фединой смерти, а при жизни Феде вел себя сносно, и Луиза знала его как доброго малого, старого приятеля. Сережа сказал:

— Черт с ним, пусть приглашает, я его трогать не буду.

Луиза Сережу любила, и, разумеется, он был для нее самым дорогим гостем — потому что и Федя его любил, — но Климук тоже был товарищем Феде, спутником в

последней поездке и, кроме того, организовал Луизе какую-то помощь от института. Устроил единовременную безвозвратную ссуду — и, как Ольга Васильевна потом узнала, сумма была не маленькая, вдвое больше, чем получила она, — и каждое лето отправлял Фединых детишек в институтский пионерлагерь. В общем, не пригласить его она не могла.

— Я знаю, его многие не любят, считают подонком, но ко мне он хорош. Не могу же я быть свиньей, — объясняла она Ольге Васильевне. — Каждый Новый год присылает открытки. И в Федин день рождения поздравляет, даже цветы привозил. А Сережа забывает...

Сережа забывал. Были случаи, забывал даже Ольгу Васильевну поздравить с днем рождения, а уж путал день — вместо четвертого июня поздравлял третьего — постоянно. Климук ничего не перепутает. Зачем-то ему было нужно быть с Луизой хорошим. Кажется, Луиза надеялась, что Климук поостережется садиться с Сережей за один стол, пить с ним водку и под каким-нибудь предлогом не явится. Но тот явился. Маре хотелось покрасоваться перед бывшими подругами, рассказать о новой квартире, голубом кафеле, обоях под дуб, о причудах спаниельчика Рэди и, конечно, о зарубежных впечатлениях — много всего накопилось, пока не виделись. А не виделись правда давно. Все как-то пожухли, потускнели. Красавица болгарка Красина, жена Шупакова, пожелтела лицом. Боря Лужский, врач-психиатр, с которым Ольга Васильевна так любила разговаривать, превратился в подсохшего пожилого человечка, к тому же в тяжелых американских очках, которые его старили. Борова жена Верочка жаловалась на печень и ничего не ела. Но заметней всех изменилась Луиза, похудела, ссутулилась, и платье на ней было такой чудовищной пошлости и дешевизны, что Ольга Васильевна ужаснулась: женщина махнула на себя рукой! Было ее очень жалко. Она, конечно, натужилась из последних сил, чтобы пригласить людей и угостить как следует, стол был богатый, но по жадным глазам детей, по тому, как они таскали потихоньку с тарелок то кусочек ветчины, то сыр, видно было, что едят такое не часто.

Водки было две бутылки, раньше бы вмиг осушили и уже гоняли бы за добавкой, а теперь насилу за вечер «усидели» одну, и ту без охоты: у одного гипертония, другому ночью доклад писать, Климук и Боря Лужский за рулем. Сережа, конечно, не отказывался, но больше всех налегла Мара. Она была, кажется, единственной, кому шестилетие пошло впрок: налилась соком, раздобрела, стала плотной, холеной дамочкой, ее круглое, малиновое от водки личико сияло, выражая полное удовольствие жизнью. Ольгу Васильевну она раздражала. Не хотелось с нею разговаривать, а уж тем более слушать ее хвастовство.

Как только та заводила что-нибудь про спаниельчика Рэди, понимающего сто сорок слов, или про свои путешествия: «Представляете, ужас, идем в Ницце по бульвару...» — Ольга Васильевна нарочно громко перебивала ее, прося передать блюдо, или включить телевизор, или еще что-нибудь. Конечно, это было грубо, но Ольга Васильевна не могла себя побороть: слушать самодовольную Мару было несносно. И она, и Климук как будто напрочь выкинули из головы, что Сережа долго добивался поездки во Францию, она была ему необходима, но у него почему-то не вышло, а эта трясогузка, ничтожество, нигде не работающее, уже побывала и в Ницце, и в Париже, и в Риме, черт знает где. Ну, хорошо, исхитрились, словчили, но имейте же чувство такта, не хвалитесь на всех углах, тем более при Сереже.

Сережа, впрочем, как будто не слушал всей этой заграничной брехни, думал о своем, но Ольга Васильевна на Мару злилась. Люди, которые по мере житейских успехов обрастают все более толстой кожей, были всегда неприятны, и она старалась держаться от них подальше. Раньше она относилась к Маре терпимо, даже добродушно. Та казалась жизнерадостной полудурой, далекой от фокусов и интриг, которыми занимался муж. Но вот обнаружилось: с каким аппетитом пожираются плоды этих фокусов и интриг!

— Луизочка, киска, у тебя все очень вкусно, — снисходительно одобряла она, беря из вазы фрукты. — Почему мы перестали обща́? Давайте обща́!

Дети с тоской смотрели на то, как сочные груши конвейером, одна за другой, исчезают в зубастом рту толстой, малиновощекой тети в голубом парике.

А Климук был мрачноват или, может быть, переполнен чувством собственной значительности: не разговаривал помногу, как обычно, не балагурил, а когда Луиза принесла гитару — знаменитую Федину, на которой тот чудесно играл, — и попросила спеть любимую Федину «Быстро, быстро донельзя», Климук сказал, что такими делами больше не забавляется, просит уж извинить, голос сел.

Слишком большой человек, чтобы петь под гитару песенки неясного содержания, как студент в электричке. Вот если бы что-нибудь вроде «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Это уж Сережа после издевался над ним, дома, вспоминая все перипетии вечера, окончившегося ссорой и руганью. Было ужасно, что не смогли сдержаться и наскандалили в такой день. И Сережа был виноват не меньше Климука. Вначале все было тихо-мирно, они просто не разговаривали, сидели на разных концах стола. Их отношения еще не были смертельно враждебными, какими стали потом, но они демонстративно презирали друг друга: Сережа презирал его за карьерность, а тот его за якобы завистливость. Он ведь считал, что Сережа не может пережить его, Климука, сказочный взлет.

Все бы кончилось благопристойно, тем более что Климуки собирались рано уйти, если бы не одна институтская дама — имя забылось, — дородная, черновато-седая, которая стала вдруг с нажимом, очень пылко восхвалять Федино бескорыстие и *неумение жить*.

— Таких людей сейчас просто нет! — восклицала она. — Федор Александрович был в этом смысле уникальный человек. Ведь он ничегошеньки, ни вот столечко себе не урвал.

Голос дамы дрожал от волнения, она, конечно, преувеличивала, Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала. Еще кто-то заговорил на эту тему, стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления, —

его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно расплакалась и стала жаловаться на все подряд: никуда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, все хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что.

— О себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других, — шептала Луиза, поникнув головой, заметно поседевшей.

Никто не хотел этих слез, жалоб. Спокойствие было подорвано, заговорили разом, охваченные порывом любви к Феде, такому чистейшему, не похожему на обыкновенных людей — боже мой, непомерное преувеличение, но в тот миг казалось, что прикоснулись к самой истине! — растроганные горем этой женщины, обликом бедноватой квартирки со старыми вещами и, наверное, подогретые рассказами Мары о климуковском процветании... А как будет выглядеть ее собственная квартирка через шесть лет?

Получилось так, что, восхваляя Федю, невольно метили в Климука. Тот напряжился, тоже пел про Федю что-то хвалебное, но в голосе была трещинка. Все катилось ко взрыву. Бородатый Щупаков, Федин друг школьных лет, как человек посторонний, поинтересовался наивно:

— Разве ученый секретарь имеет какие-либо особые возможности?

Вероятно, был не так уж наивен, просто первым нанес удар. Черновато-седая дама немедленно отозвалась:

— А как вы думаете?

— Я не знаю, посему интересуюсь.

— Возможности немалые. Да вот Геннадий Витальевич сидит перед вами, он подтвердит, я думаю.

Климук честно округлял глаза, мотал головой и признавался, что при всем желании не может понять, о каких возможностях речь:

— Ну, ей-богу, не могу догадаться...

— Да как же так, Геннадий Витальевич? У вас же все в руках! — искренне изумлялась дама.

— Что у меня особенное в руках? — Климук смеялся. — Вот уж не знал!

— Да все, все! Абсолютно все!

Дама тоже смеялась несколько льстиво. Климук пожимал плечами. Все могло уйти в шутку, в болтовню, но Сережа вдруг совсем иным тоном — твердым и хамоватым — сказал, что Фебина талантливая диссертация нигде не напечатана, а твоя, мол, крайне посредственная, вышла уже двумя изданиями — в сборнике и отдельной книгой.

Климук сделал вид, что не слышал. Даже не посмотрел в Сережину сторону. Последовали чьи-то реплики, не относившиеся к делу, после чего Климук произнес со вздохом:

— Жаль мне тебя, Сергей... Как трудно, должно быть, все время следить за чужими успехами!

Было сказано беззлобно, как бы с сочувствием. Сережа взорвался: какие успехи, черт побрал? Да плевать хотел! Не успехи, а дерьмо! И еще что-то яростное, комом, криком. У Луизы побелело лицо. Ольга Васильевна махала руками Сереже, чтоб замолчал. Она испугалась за него. Мара ринулась защищать мужа и верещала, как на кухне. Кто-то из институтских — и дородная дама с пылкостью — ополчились на Сережу. Климук улыбался мстительно. Дородная дама восклицала:

— Непарламентские выражения! Вы допустили непарламентские выражения!

Климук и Мара ушли. Вскоре ушли и другие институтские. На их лицах, когда прощались с Сережей, было напечатано осуждение. А дородная дама, — которая, как выяснилось, была важной функционеркой, членом какой-то комиссии, — шептала озабоченно:

— Сергей Афанасьевич, должна вас огорчить: это называется *casus belli*!

Сережа усмехался беспечно:

— А, черт... Пускай!

У него сделалось веселое настроение.

Он стал разговорчив, шумлив, рассказывал, изображая забавно — как он умел, — про поездку в Городец

и встречу со стариком Кошельковым. Луиза успокоилась, все подобрели, Щупаков с Красиной были, конечно, на Сережиной стороне. И неприятное, с криком, как-то сгладилось и заслонилося иным — забыть нельзя, но старались забыть, — и вот тут-то впервые возникло имя Дарьи Мамедовны. Сережа говорил, что в списке секретных сотрудников охранного отделения были три нераскрытых крупных фигуры, обозначенных кличками. Вероятно, с ними или с кем-то из них связаны аресты в 1916 году. Эти темы занимали его постоянно. Ольга Васильевна даже подшучивала над ним:

— Ты кто, историк или частный детектив?

И так как перед этим Красина, милая и добрая женщина, но не слишком далекая, рассказала об одной крестьянке из горного села на юге Болгарии, которая обладает даром провидения и какими-то другими парапсихологическими талантами — настолько удивительными, что к ней приезжают из-за границы, и знакомая Красины получила от нее точный ответ по поводу своего погибшего таинственным образом друга, — кто-то шутя сказал: а вот обратиться к такой пророчице и спросить бы по поводу секретных сотрудников! Вдруг откроет секрет? И совсем уж смехом кто-то предложил: а если спиритическим сеансом вызвать дух полковника Мартынова и все у него вызнать? Тут Боря Лужский и рассказал про Дарью Мамедовну. Это уж без шуток, она занимается парапсихологией всерьез, а заодно интересуется всякого рода оккультизмом, восточными магами, медиумизмом и прочими темными делами. При этом в высшей степени образованна, знает четыре языка, выступает с лекциями. Отец ее кавказский человек, оттого она Мамедовна, он был врач-гомеопат, очень богатый, умер во время войны, а мать из дворян.

Так заинтриговал, что все стали требовать, чтобы с нею познакомил, привел бы к кому-нибудь из общих знакомых в гости. Особенно горячился Сережа. Еще бы, экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор! Боря обещал непременно это сделать. Его жена Верочка охладила общий

энтузиазм, сказав, что Боря сам знает Дарью Мамедовну едва-едва, познакомился у Костиных, это молодые физики, очень талантливые, и вряд ли мимолетное знакомство позволит пригласить эту женщину в дом.

То, что Верочка назвала Дарью Мамедовну холодно-вато *этой женщиной*, еще более насторожило Ольгу Васильевну. Значит, и Верочка чует тут опасность. А Верочка не станет неспроста опасаться, она рассудительная, умная: Ольга Васильевна спросила:

— Вера, а ты знакома с Дарьей Мамедовной?

— Видела один раз. Вот тогда, у Костиных.

— Ну и что? Восточная красотка?

— Да нет, пожалуй... — с запинкой ответила Верочка. — То, что называется на любителя. Но наш Боря как раз любитель. По-моему, она его сразила наповал.

— Боря, немедленно знакомь! — дурачился Сережа. — Какой же ты товарищ? Как тебе не совестно?

— Не суетись, ты там не проходишь.

— Я не прохожу? А кто же — ты проходишь?

— Я под вопросом. Но все-таки есть шанс. Потому что я занимаюсь психиатрией, это ей близко. А ты, мой милый, со своей историей Февральской революции там даром не нужен...

Так они юродствовали и болтали, а у Ольги Васильевны сердце замирало от недоброго предчувствия. Выяснились подробности: ей сорок с чем-то, но прекрасно выглядит, очень спортивная, плавает в бассейне. Была замужем, муж погиб. В прошлом году появилась в «Науке и жизни» ее статья о парапсихологии, что-то вроде «Таинственное вокруг нас», журнал нельзя было достать, в библиотеках записывались в очередь. Боря грозил Ольге Васильевне пальцем:

— Оленька, этот тип нацелился всерьез. Ты за ним приглядывай...

Все хохотали. Ольга Васильевна изо всех сил стремилась улыбаться и отвечать в таком же игривом тоне. Прошло месяца три. Ничего о Дарье Мамедовне не было слышать. Потом Ольга Васильевна узнала, что Сережа с нею познакомился, он сказал об этом мимоходом, небрежно,



как о факте совершенно незначительном. Может быть, так и считал сам, а может, притворялся. Рассказывая о выставке художника Преснина, анималиста, обмолвился:

— Кстати, познакомился там с этой Нигматовой.

— С какой Нигматовой?

— Да с этой, с Дарьей Мамедовной, о которой — помнишь? — Боря рассказывал у Луизы...

Еще бы не помнить! Она обомлела. Женя Преснин, оказывается, знал ее мужа, художника. Это что же, было заранее договорено? Ничего подобного, случайное знакомство. На роковую женщину не похожа. Какая-то сухонькая, поджарая, на цыганку смахивает. Говорила, что сейчас ее повсюду ругают, громят. После вернисажа Женя устроил аляфуршетик для своих, там были знакомые из дома на Сущевской. Кто-то сказал, что Георгий Максимович болеет...

Слова про отчима Ольга Васильевна расценила как дымовую завесу и вовсе на них не отозвалась. Она знала от матери — разговаривала чуть ли не каждый день по телефону, — что у Георгия Максимовича нехорошие анализы, он слабел, жаловался на боли и, вероятно, его положат в больницу. Все это было известно, и Ольга Васильевна очень жалела Георгия Максимовича и волновалась за мать. Но сейчас поразило другое: какой-то аляфуршетик, где Сережа познакомился и разговаривал с этой особой. Ольга Васильевна еще не знала ее, ни разу не видела, но при упоминании имени испытывала какое-то странное астматическое раздражение, вроде легкой одышки. В чем тут было дело? И вот в таком состоянии раздражения, слегка задыхаясь, она стала упрекать его за то, что, пользуясь вольным режимом дня и тем, что она занята на работе от звонка до звонка, он шатается один — к друзьям, на выставки, заводит знакомства. Точно холостой...

Пошлые слова, пошлые мысли... То, что она говорила, было постыдно... Но ведь это была болезнь, это была аллергия, несовместимость. Она задыхалась и не могла себя победить.

Зимой приехала тетя Паша из Василькова со слезами: Николай под арестом, будет суд, парню грозит большой

срок. Семковские с васильковскими разодрались в клубе, а Колька как бригадмил хотел разнять и одного семковского срубил. Тот едва не помер, сейчас в больнице. Отходили, спасибо врачам. Он этого семковского сроду не знал, слыхом не слыхивал, и вот на ж тебе — несчастный случай. Чем срубил-то? Да топором. Хотел, конечно, разнять как бригадмил, а они, козлы пьяные, на него кинулись, он и махнул. Александра Прокофьевна заметила, что топор странное оружие для бригадмила.

— А забыли? — сказал Сережа. — Дом-то с топориком, помните?

Тетя Паша плакала, просила помочь. Адвоката нанять, пускай хоть сколько возьмет, она денег достанет, корову продаст, мотоцикл продаст. Александра Прокофьевна стала суетиться. Хотя дело казалось ей безнадежным. Ездил в Васильково и в райцентр Рябцево, где он сидел под арестом, разговаривала со следователем, с начальником милиции. И после первой же поездки (было глубокой осенью, в конце ноября, погода стояла отвратительная, внезапный холод и мокрый снег, все уговаривали ее не ехать, Сережа кричал на нее: «Я тебе запрещаю! Думать не смей! Ты старуха и должна вести себя как старуха!» — такие грубости позволял себе не часто, это уж с перепугу, она отвечала: «Никогда не буду вести себя как старуха, и если обещала человеку, женщина меня ждет, значит, я должна ехать», он еще покричал, погрозил и поехал в институт, уверенный, что мать не совсем уж свихнулась и останется дома, Ольга Васильевна ушла на работу, Иринка — в школу, а старуха взяла зонт, надела свой туристический наряд времен наркома Крыленко, резиновые сапоги и отправилась на вокзал), — и вот, вернувшись вечером, измученная и продрогшая, похожая на жалкое, страховидное чучело, она рассказала, что дело обстоит совсем не так, как изобразила тетя Паша. И хуже, и лучше. Сережа был рассержен на мать, не захотел слушать и нарочно вышел из-за стола, а Ольга Васильевна всегда была для старухи не лучшей собеседницей, поэтому свекровь стала все рассказывать Иринке. Голос ее звучал, как ни странно, бодро.

Она узнала вот что. Колька был, конечно, так же пьян, как остальные, но драка затеялась не на пустом месте. Замешана некая Раиса. Семковские приставали к ней, хотели мстить за то, что бросила одного семковского ради Кольки. Этот тихоня Колька, болезненный и невзрачный, хороводился со многими девками и считался почему-то завиднейшим женихом. Раиса от него как будто уже и ребенка ждала, но тетя Паша полагала, что врет, и Колька на ней жениться не собирался.

— Я ее убедила, что нужно стоять как раз на противоположной позиции, ты понимаешь? — объясняла Александра Прокофьевна Иринке. — Только тут наша надежда. В припадке ревности и защищая честь матери своего будущего ребенка...

Она говорила с Иринкой как со взрослой. А девчонке было тогда четырнадцать лет. Ольге Васильевне это не нравилось, но ведь сделать замечание невозможно, тут же обиды, резкости. Она терпела эту нудню с Колькой, разговоры свекрови, ее суету, звонки, телеграммы — та влезла в дело всерьез и действительно нашла адвоката, бойкого старичка по фамилии Луповзоров, — и постепенно все более удивлялась: откуда такое рвение, такой пыл в защите чужих людей? Кто такие для нее, да и для всех тетя Паша и Колька? Случайные домовладельцы, хозяйева дачки, дравшие за лето вполне безбожно. Говорить с ними было не о чем. И Александра Прокофьевна редко с ними разговаривала, лишь иногда их поучала. Конечно, Кольку было жаль...

События эти совпали с тяжелой болезнью Георгия Максимовича, маею матери. И с нависавшею тенью Дарьи Мамедовны. Ольга Васильевна нервничала из-за всего. Ее раздражали беспомощность матери, эгоизм дочки, невнятная жизнь мужа — что он делает днями, когда она на работе? — и теперь еще хлопоты по чужим делам вздорной свекрови. Вместо того чтобы как-то помогать по хозяйству, содержать дом в чистоте... Пойти на родительское собрание в школу, как делают все бабушки и дедушки, когда родители заняты... От Сережи не дождешься, а Ольга Васильевна валилась с ног... Оплатить хотя бы

жировки в приходной кассе днем, когда мало людей, — разве трудно? Все трудно. Намного трудней, чем ехать в дурную погоду за город на электричке, месить грязь на проселочных дорогах, высиживать в судах ради малознакомых и, в общем-то, далеких людей. Тут было много показного. Как всегда в этой женщине.

И как-то в крайнем раздражении от всего этого, — не в раздражении, а в приступе усталости, такой тотальной, когда голова перестает соображать и ты поддаешься всем подкорковым раздражителям сразу, — она сказала ему, что судьба Кольки интересует ее гораздо меньше, чем болезнь Георгия Максимовича. И пусть уж Александра Прокофьевна со своим показным человеколюбием оставит ее в покое. Это было несправедливо. Александра Прокофьевна меньше всего надоедала ей, но Ольга Васильевна слышала постоянные консультации по телефону, подробнейшую информацию за ужином, и еще Сережа пересказывал то, что слышал от матери. А кроме того, она только что пришла с Суцевской, где мать бесцельно металась и мучилась в горе, видя, как гибнет родной человек. Георгий Максимович был уже полмесяца в больнице. Ему становилось все хуже. Операцию сделали три дня назад, делал профессор Родин, известный специалист, и больница была хорошая, устроили туда с трудом, через Влада, было сделано, что в человеческих силах, и все же мать себя терзала: ей казалось, что надо было дать профессору Родину двести рублей перед операцией. Кто-то сказал такую глупость. Она не дала ничего. Потому что сказали поздно. И теперь ее грызла мысль, что из-за этого, может быть, операция не принесет избавления. Профессор Родин был с нею как-то сух, жестковат и сказал: «К сожалению, не могу вас обнадежить, хотя и не могу сказать, что конец».

Мать была убита этой фразой.

— По-моему, издевательство так говорить с родственниками! — возмущалась она сквозь слезы. — Кто дал ему право?.. Он говорил со мной как чиновник...

И тут же винила себя и ругала за слабодушие, за то, что язык не повернулся предложить профессору Родину деньги. Потому что, хотя ей сказали поздно, она и сама

раньше об этом думала, но не могла решиться. Теперь, после операции, нужно было достать редкое швейцарское лекарство эритрин. Надо было обзванивать людей. Мать обессилела, лежала с тахикардией, и Ольга Васильевна провела два часа у телефона. Некоторые обещали узнать, поспросить, но большинство говорили, что сами ищут редкие лекарства и не могут достать. Ольга Васильевна вернулась с Сущевской часов в девять вечера, выпила чаю и собралась позвонить матери, потому что ушла от нее с тяжелым сердцем. Просто узнать, как самочувствие, утихла ли тахикардия. Но пробиться к телефону было невозможно.

Александра Прокофьевна разговаривала с адвокатом Луповзоровым. Это продолжалось ровно сорок минут. Наконец Ольга Васильевна подошла к старухе вплотную и шепотом сказала, что ей нужно срочно звонить. Свекровь недовольно кивнула и, поговорив еще с минуту, повесила трубку.

— Александр Иванович рассказывал о суде. Для меня это очень важно! — сказала она строго.

Ольга Васильевна ответила тоже строго:

— А мне — позвонить маме. Она плохо себя чувствует.

Нет, свекровь не спросила: что с Галиной Евгеньевной? Не нужна ли помощь? какое-нибудь лекарство? Кое-что она могла доставать в одной поликлинике на Кировской. Эритрин вряд ли. Но ведь можно спросить. Она не относилась к матери враждебно, никогда с нею не ссорилась, если и бывали сдержанные споры, то в давние времена, когда мать занималась Иринкой и Александра Прокофьевна поучала ее. В те дни на почве обоюдной экзальтации и любви к младенцу закипали иной раз крохотные смерчки. Все давно забылось. Теперь наступили времена покойного равнодушия. Любой посторонний, нуждавшийся в *товарищеской помощи*, был для нее ближе, чем мать невестки.

Вот после той секундной стычки у телефона, ничем не кончившейся, Ольга Васильевна, придя из коридора в комнату, и сказала про «показное человеколюбие». Сережа тут же вскинулся, как зоркий постовой с ружьем:

— Парень получил вместо семи лет три! Это что? Показное? Нет, моя милая, это истинное... тебе недоступное...

Она что-то ответила. Потому что уж очень он вскинулся. Очень уж встал на защиту матери. Ну, может, она была неправа, даже наверняка неправа, свекровь помогала людям порою от чистого сердца — не могла иначе, это привычка, воспитание, а вовсе не заслуга, — но ведь нужно было понять, в каком состоянии Ольга Васильевна вернулась с Сушевской. А он решил обидеться. Вдруг увидела, что он входит в комнату в пальто, в шапке, с тем выражением угрюмой окаменелости и стиснутых челюстей, какое появлялось у него в минуты крайней обиды, и кружит по комнате, ища чего-то.

— Ты куда?

— К Федорову.

Нашел, что искал, — портфель, — и бросил туда какие-то бумаги.

Федоров был его приятель по музею, пустой малый. Из тех болтунов, к кому он странным образом лепился и которые его самого тянули вниз. Слава богу, встречаться стали реже, потому что Федоров переехал куда-то в страшную даль, за Кузьминки. Она спросила: что за срочность? Никакой срочности, просто обещал приехать. Помолчав, добавил: там будет Дарья Мамедовна. Оказывается, Федоров ее прекрасно знает. Она приедет поздно, после лекции. Это известие произвело на Ольгу Васильевну такое впечатление, будто в соседнюю комнату влетела шаровая молния и стало видно, как комната озаряется светом, и слышно потрескиванье.

Ослабшим голосом — ей показалось, что все кончено, он уходит навсегда, — она спросила, как он думает возвращаться. Был одиннадцатый час. Он сказал, что останется там ночевать. Он говорил спокойно, даже несколько ворчливо, как будто она приставала с пустяками, и у нее сил не было возмутиться и закричать: да что это, черт возьми, за бардак? Почему ты уходишь из дома ночевать черт знает куда?

Он держался как человек, делающий нечто совершенно естественное: разумеется, ехать в половине одиннадцатого

куда-то за Кузьминки — это значило остаться там спать. Что странного в том, чтобы переночевать иной раз у приятеля? Да ничего странного, боже мой! Но в *их жизни* такого заведения не было. Никогда еще не было. И вот он, воспользовавшись обидой, как-то спокойно и нагло вводил это новшество. Она молчала, ибо все это ошеломило ее, в особенности Дарья Мамедовна.

Он сказал: «До свиданья!» — и вышел.

Раньше, бывало, ругались, ссорились из-за чего-то отчаянно, он уходил, уносился или она уносилась к матери, но такого — чтоб тихо, без шума, взял портфельчик, сказал «до свиданья»... Как разлука чужих людей: на часок или на всю жизнь, это безразлично.

На похоронах Георгия Максимовича она рыдала неудержимо, почти в беспамятстве — холодная весна, орали галки над крематорием, — ее держали, чтоб не упала, упасть хотелось, продолжение жизни не имело смысла, накануне он сказал «может быть» и опять ушел до ночи. Он требовал, чтобы она *прекратила его мучить*. Нельзя было сказать простой фразы, сделать ничтожное замечание: тут же схватывался и уходил. Она спросила всего лишь:

— Может, у тебя роман с этой Дарьей?

То уходил к Федорову, то еще куда-то. Говорил, что парапсихология интересует его всерьез, и верно, читал старые книги, какую-то чепуху вроде «Голоса безмолвия» Блаватской, журналов «Ребус» и «Вестник загробной жизни» — кто ему давал? — и новые американские, английские журналы, сидел со словарем, делал выписки и сам шутил над собой, но ей было не до шуток. Она как биолог прекрасно знала цену всем этим бредням. А его запутывала женщина. Она хотела получить над ним власть.

— Зачем тебе это нужно?

— Ни за чем. Я хочу понять, чем люди занимались в течение тысячелетий. Кроме того, мой полковник Мартины был спиритом и состоял членом тайного кружка. В связи с этим имел даже неприятности в шестнадцатом году...

Когда он как бы шутя рассказал, что был у Федорова на спиритическом сеансе и они вызвали дух Победоносцева, который сказал темную фразу: «Не сим победиши» — и они спорили два часа люто о том, что бы это могло значить, его мать наконец не выдержала и устроила скандал. Кричала, что отец умер бы от стыда, если бы такое началось при его жизни. Сын Афанасия Троицкого — спирит! Сын участника революции, соратника Луначарского! Если бы отец встал из гроба... Он заметил ядовито:

— Ага, ты допускаешь такую возможность?

Разумеется, тут была во многом игра, шутовство — он пока еще не превратился в полного кретина, — и тут были неудачи, угнетавшие его постоянно, и тут было то самое ужасное, о чем Александра Прокофьевна не догадывалась: Дарья Мамедовна. Сначала он ездил к Федорову к черту на кулички, звал с собой Ольгу Васильевну, но не было никакого желания ехать в такую даль слушать глупости, и она отказывалась, высмеивала его, издевалась над ним. Все впустую. Как-то потратила целый вечер на чтение журнала «Спиритуалист» за 1906 год, оборванные брошюрки в бумажных обложках валялись у него на столе: что-то потрясающее по жалкости и провинциализму! Иногда она смеялась, иногда злилась, но более всего изумлялась тому, что чепуха на постном масле — все эти медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса — дотащилась до наших дней. Начитавшись журнальчика, она пришла к двум выводам, сильно ее испугавшим. Первый — ярыми энтузиастами во всей этой музыке были женщины. Тут крылась какая-то приманка для них. Знаменитая Блаватская, авторы «Спиритуалиста» Быкова, Сперанская, Щеколькова, какая-то очень активная Капканщикова. «С жиру бесились, что ли? Им бы помотаться по магазинам, по ателье, постоять бы в ГУМе в очереди за сапогами...» И второй вывод, страшноватый: пустота всего, что касалось вызова духов и якшанья с загробным миром, была столь очевидна, что, если он продолжал отдавать этой дребедени время, это значило — тут были *другие причины*. Вот почему, когда он сказал «может быть» и ушел, сердце ее упало оттого, что



было готово упасть: она ждала такого ответа. И никто так не рыдал над гробом Георгия Максимовича у Донского монастыря, как Ольга Васильевна.

Сережа держал ее с одной стороны, Влад с другой. Она ощущала гранитное Сережино спокойствие. Однажды он прошептал холодно:

— Надо взять себя в руки!

Потом Влад повел ее осторожно в сторону — это было в тот момент, когда заиграла музыка, — и, отведав к стене, достал из кармана пузырек с лекарством, стаканчик и дал ей выпить. Она сказала, глядя в его старое рябое лицо:

— Георгий Максимович тебя любил, Владик...

Влад кивал скорбно, но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке перед входом в крематорий. Ольга Васильевна подумала: все могло быть иначе, если бы Влад не привел тогда Сережу, она бы не мучилась. Прошла очень быстро жизнь. Сережа стоял не оглядываясь, теперь он держал под руку мать Ольги Васильевны. Музыка убивала все. Потом поехали на Сущевскую, там хлопотали соседки, добрые женщины, распорядилась незнакомая дама по имени Генриетта Осиповна, из московской организации, энергичная и деловая, как раз такая, как нужно, — она называла мать «моя дорогая», — художники быстро перепилились, криком о чем-то спорили, про Георгия Максимовича говорили с невозможными преувеличениями, и поэтому казалось, что лицемерят, и все вещи в мастерской — картины, багеты, гипсовые модели, банки, кисти — выглядели осиротевшими, никому не нужными и чужими. Дядя Петя, превратившийся в белого тощего старичка, весь вечер кашлял трубно и кричал на кого-то: «Да бросьте вы!»

Мать в этой суматохе и тесноте потерялась, вид у нее был такой, будто она тут случайно. Ольга Васильевна думала о матери со страхом: как она будет жить? Осталась ночевать с матерью, а Сережа с Иринкой и Александрой Прокофьевной ушли домой.

Первая жена Георгия Максимовича была в крематории и приехала после на Сущевскую, но не пришла

в мастерскую, хотя приглашали, а устроила, комедиантка несчастная, свои поминки — на том же этаже, в комнате одной художницы. Некоторые гости ходили от одних блинов к другим. Дядя Петя иногда распахивал дверь и кричал в пустой коридор грозно:

— А вот пойти сейчас — и всю посуду в черепки! Поминальщики нашлись!

Из комнаты художницы что-то отвечали, но не было слышно. А Ольга Васильевна сидела на кушетке рядом с бородатым стареньким Лихневичем, который все не уходил, подливал то чаю, то наливки и рассказывал, плача, о житье на Муфтарке сто лет назад, когда они с Георгием Максимовичем, молодые нахалы, задумали покорить Париж, и еще Марк Шагал был с ними, и что из этого вышло — поминальные блины на Сушевской, — и советовал два рисунка сангиной, церковь на Монмартре и автопортрет с кривым лицом продать, а все остальное подарить кому угодно, кто возьмет, потому что лучшее Георгий Максимович сжег собственными руками в тридцатых годах, такая дурость, минута слабости, и жизнь раскололась, как этот гипс, ни собрать, ни склеить, пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы («Не подумай, Оля, что я завидовал, я его жалел, бедного Жоржа»), но Ольга Васильевна, уже оплакав отчима и разорвав сердце сочувствием к матери, оглушенной и не понимавшей будущего, думала о том, почему Сережа не остался с нею, Иринка уехала бы со свекровью. Так должно было быть. Но он не захотел. «Ну, мы пошли, — сказал он. — Отвезу Иринку. Ей пора спать».

Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить, — ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить связь с неким братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.

Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьере. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:

— Там в углу Дарья Мамедовна!

Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, художавая, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких мгновения — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд, — и они отошли.

— Мне тебя очень жаль, — сказала Ольга Васильевна.

— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракта.

Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом, — предвестием беды.

Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автомобилист, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:

— Пойдем, сходим... Посмеемся.

А на самом деле *не желал, чтобы она там появлялась*. Поэтому надо было себя пересилить. *Их жизнь* распадалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла

с головной болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.

Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.

Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. У людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автомобилист, бледный человек с русой шкиперской бородкой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок команды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете, со шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и яро и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход: открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.

Сережа сидел напротив. Выражение лица его было непроницаемо. О чем он думал? У нее сжималось сердце

от тревоги и от жалости к нему: ведь ему было худо, как и ей. Дома ждали дела, уборка, магазин, отнести белье — до девяти вечера, но каждый день что-то мешало, то усталость, то другие заботы, — и надо писать отчет, а его ждали выписки в толстых тетрадях, книги, папки, все то, что застыло на полпути и не двигалось, а вместо этого... Человек в красном жилете командовал:

— Левую руку на правую руку соседа... Ступней на ступню... Образовать цепь...

Стаканчик действительно как бы оживал под руками, сначала неуверенно дергался, затем шаркал по бумаге конвульсивно и резко от буквы к букве, и из невнятицы, сумбура возникали фразы. Отец Паисий сказал: «Не скупись творить добро, отплатится тебе, дураку, сторицей». Недоумение вызвало слово «дураку». Почему же презрительно сказано о делающем добро? Одна дама объяснила: дух отца Паисия, по-видимому, иронизирует над земной моралью, где творящие добро считаются по нашей циничной житейской логике дураками. Дух Торквемады разговаривал долго и путано, но фразы были почему-то газетного типа, что вызвало разочарование.

Потом был сделан опыт психографии: одна из женщин села с карандашом к листу бумаги, остальные сидели как прежде, вокруг стола, пытались вызвать дух Герцена, тот упорствовал, не являлся, капризничал, — кто-то предлагал оставить его в покое, не соглашались, хозяин дома злым шепотом потребовал, чтоб прекратили спор и продолжали дело, — свет был погашен, напряжение росло, и наконец все услышали в полной тишине скрип карандаша. Женщина, сидевшая за отдельным столом, писала! Никто не сомневался в том, что ее карандашом водила рука Герцена. Когда зажгли свет, бросились к бумаге — женщина сидела, откинувшись на спинку стула в изнеможении, и лицо в поту, страшно бледно, ей тут же налили валерьянки, — увидели громадные, во весь лист, каракули.

Хозяин дома, схватив бумагу, прочитал сдавленным от волнения голосом:

— «Мое... пребежище... река...»

Ольга Васильевна услышала, как Сережа хмыкнул. Прекрасно знала это его ехидное хмыканье, не могла ошибиться, но когда взглянула на него, увидела все ту же непроницаемость. Раздались голоса:

— А что дальше? Больше ничего?

— Больше ничего, только эти три слова, — ответил хозяин дома быстро, все еще во власти волнения.

Рассматривали бумагу, изучали каракули и опять спорили. Что значит «река»? И почему «пребежище»? Согласились на том, что «река» — это, вероятно, символ времени, река времен, и дух Герцена, стало быть, уповаает на время. Это сообщение показалось значительным и глубоким. Что же касается «пребежища», то тут стали в тупик. Мог ли дух Герцена совершить столь грубую орфографическую ошибку? С пристрастием допрашивали женщину: твердо ли знает она, как пишется слово «прибежище»? Женщина — это и была театральная кассирша, отличавшаяся особой *сенситивностью*, то есть чувствительностью, что определяло ее медиумические способности, — нервно и возмущенно отвергала предположение о том, что могла совершить ошибку.

— Неужели вы думаете, я такая неграмотная? — говорила она, едва не плача.

Сережа заметил, что в таком случае неграмотным следует признать Александра Ивановича. Это вызвало новый спор, все говорили разом, но хозяин внес ясность: орфографические ошибки не имеют значения, важна суть сообщения, а не форма. Когда на пиру Балтазара, сказал он, появились мистические письма «мене, текел, фарес», никому не пришло в голову рассуждать, правильна ли орфография. Всех охватил ужас. Кстати, в книге пророка Даниила сказано, что письма были «мене, мене, текел, упарсин» — обычная при психографии тавтология и перестановка букв... Ольга Васильевна почувствовала, что головная боль усилилась, не могла больше сидеть и встала. В соседней комнате легла на диван. Было темно и холодно. Кто-то прошел вслед за ней и закрыл окно.

Был приступ, как в худшие времена, до тошноты. Сережа принес стакан горячего чая и лекарство. Накрыл ее

чем-то. Ей хотелось, чтоб он посидел рядом, — чтобы побыть одним, в темноте, — и она взяла его за руку и спросила:

— Ты понимаешь, что все это чушь?

Он сказал, что понимает. Сквозь страшную боль, стиснувшую виски, иглою просунулась другая боль: зачем же приходит, если понимает? Но не спросила об этом. Чувствовала себя слишком слабой.

— Все это идеомоторика... На пятом курсе на занятиях по психологии... — шептала она.

Спустя минут двадцать или полчаса вошла женщина, зажгла настольную лампу.

— Как себя чувствуете? — спросила женщина, и Ольга Васильевна увидела Дарью Мамедовну.

Через силу заставила себя подняться и сесть. Сережи в комнате не было. Голову ломило, как прежде.

— Лучше, — сказала она.

На женщину со смуглым остроконечным лицом смотрела с изумлением. Зачем пришла? Не раз думала об этом: поговорить с нею наедине, слова подбирались язвящие, ненавистливые, но теперь слова вдруг пропали, злобу как выдуло сквозняком, и единственное, что испытывала Ольга Васильевна, была слабая астматическая одышка.

— Я не хочу, чтобы Сережа занимался этой чушью, — сказала она, слегка задыхаясь.

Та протянула стакан:

— Выпейте.

Ольга Васильевна послушно выпила.

Дарья Мамедовна села рядом на диван и произнесла спокойно: она тоже против того, чтобы он занимался чушью. Собственно, это не чушь, а забава, игра. Субботнее развлечение замороченных и усталых людей. Одни режут в покер, другие — в ма-джонг, третьи играют до одурения в шахматы, четвертые... И еще какие-то банальности... Все-таки наглость: она *тоже против!* Никто в мире, кроме Ольги Васильевны, не имел права быть против чего-либо в Сережиной жизни. «Какая глупая! — думала Ольга Васильевна. — А говорят, будто бы умна». И эта догадка очень успокоила, даже голове стало легче.

Дарья Мамедовна сказала:

— Я рада, что мы познакомились. Мне давно нужно было с вами поговорить...

«Это еще зачем?» — подумала Ольга Васильевна безо всякого страха. Вслух сказала:

— Во-первых, мы были знакомы. В театре, помните?

— Правда? Я забыла.

— Хотите сейчас разговаривать?

— Если вы не очень худо себя чувствуете. Ведь когда еще увидимся? — Дарья Мамедовна достала из сумочки сигареты, зажигалку и, не спросивши разрешения — очень милая и характерная для нее подробность, — закурила. — Сергей Афанасьевич мне как-то говорил о том, что вы занимаетесь проблемами биологической несовместимости...

Ах, вот что! И это все? Проблемы несовместимости касались каких-то ее занятий. С другого боку. Ольга Васильевна кое-что рассказала. Та расспрашивала про Андрея Ивановича, которого знала по университету. Потом заговорила о своей работе, об экстрасенсорном восприятии, о всякого рода пробах, испытаниях и мишенях, о тысячах опытов, которые проделаны там-то и там-то, и о том, что мы, к сожалению, отстали и должны догонять. Вы как биолог, изучающий проблемы связи и биологической несовместимости, должны постоянно сталкиваться... А летучие мыши с их локатором? А рыбы? Согласитесь, нет оснований отрицать особые, экстрасенсорные связи и в структуре... Не хотелось с нею спорить, но все же слабым голосом и слегка задыхаясь: в парапсихологии слишком много обмана. Ни в одной науке, если это считать наукой, не было такого количества жуликов. А как вы думаете, отчего? Да оттого, Ольга Васильевна, что люди находятся в постоянном самообольщении: будто все уже познано.

Ольга Васильевна сказала:

— Если говорить о несовместимости... Загадки аллергии... Вы знаете, что есть люди, которые болезненно реагируют на присутствие определенного человека: начинается кашель, они задыхаются...



— О да! Разумеется! Так вот: каков механизм?

Ольга Васильевна отвечала что-то, глядя на смуглый кавказский лобик, и думала: они хотят докопаться до всего, обнаружить структуру, найти средства связи, передающие ненависть, ревность, страх. И любовь. А если средства будут найдены — тогда управлять? Кто-то открыл дверь, хотел войти. Дарья Мамедовна произнесла строго «Закройте!» — и дверь закрылась.

— Дарья Мамедовна, я вас хочу... об одном... — вдруг проговорила Ольга Васильевна жалким, прыгающим голосом. — Пусть уж Сергей Афанасьевич не увлекается так всем этим очень интересным... Понимаете, он ведь немолод, не очень здоров, у него есть дела, есть обязанности...

Дарья Мамедовна странно ширила черные, в синеватых белках глаза, и голова ее все более кренилась к правому плечу.

— О чем вы? Я не понимаю.

— Да о том, Дарья Мамедовна, что он погибает... Погибает, все остановилось, диссертация не пишется...

— Голубушка моя, да что ж можно сделать? Диссертация не пишется? — Она вдруг засмеялась. — Ну и хорошо, что не пишется... Ей-богу, не обижайтесь, Ольга Васильевна... Я вообще не люблю — нет, неправда, не то что не люблю, а жалею филологов, всех этих литераторов, историков, пишущую братию, которые вынуждены болтать, болтать, ничего, кроме болтовни. Я их жалею, бедных. Ну что за чепуха — вот уж поистине чепуха, — которой он занимается всю жизнь: состав секретных сотрудников московской охраны. Кому это нужно? Я смеялась, когда он рассказывал о своих, знаете ли, открытиях в этом микрокосме, и с таким увлечением...

В соседней комнате раздался взрыв хохота, кто-то стучал кулаком в стену и крикнул:

— Нигматова, идите сюда!

— И это в то время, когда решаются судьбы... Когда шекспировский вопрос...

Потом неожиданно она рассказала о том, как началась ее парапсихология. Несколько лет назад ее муж, художник Нигматов, погиб в самолетной катастрофе.

Той ночью она видела во сне его лицо, искаженное ужасом.

Было рассказано совершенно бесстрастно, просто как один из фактов экстрасенсорной, телепатической связи. И Ольга Васильевна не испытала никакой жалости к Дарье Мамедовне. Она подумала: если он влюблен в эту женщину, тогда он глубоко несчастен.

Было поздно, дома ждала Иринка, которой она что-то обещала в тот день, поэтому, как только в комнату вошел Сережа, она сказала, что надо ехать домой, и встала. Он быстро и зорко оглядел обеих и, как видно, остался доволен, потому что ответил спокойно:

— Поехали.

Обычно приходилось вытаскивать из гостей трактором. Когда вышли на улицу, он сказал, что всех заинтриговало: о чем так долго они беседовали с Дарьей Мамедовной?

— На нее не похоже, она не любит болтать. Значит, ты ей понравилась.

— Да. Я ей понравилась, — сказала Ольга Васильевна. — Разговаривали о тебе. А тебя она жалеет.

— Меня? Жалеет? Пожалуйста, пускай. Есть за что.

— Она считает, что ты занимаешься чепухой.

— Да что ты! — Он засмеялся и подмигнул лукаво, как человек, которого не проведешь.

И все-таки она испытывала облегчение.

А через несколько дней все пошло сначала — уходил, пропадал, жил неведомой жизнью, и она мучилась.

В раннем детстве Иринки, когда ей было лет семь или восемь, с нею происходили странные вещи. Вставала ночью и ходила во сне сомнамбулой, натываясь на вещи, а как-то на Шаболовке напугала гостей, появившись в дверях, как маленькое привидение, в белой рубашке, и, подойдя к столу — лицо спящее, глаза закрыты, — сказала, протягивая пустую руку: «Хотите мою цыганку?» Была любимая кукла, цыганка. Потом это случалось с нею все реже, а лет с десяти прекратилось совсем. Сережа вспомнил об Иринкиных странностях и решил, что она, может быть, как раз относится к тем *сенситивным*

натурам, которые он искал для своего хобби. Он увлекся парапсихологическими опытами не на шутку. Извел всех в доме, пытаясь угадывать, что они думают или намерены сделать, и стараясь внушить им свою волю. Воля, разумеется, была на первых порах пустяковая: принести коробок спичек или погасить свет в коридоре. Иногда внезапно радостно восклицал:

— Bravo! Наконец-то! Полчаса индуцировал тебя, чтобы закрыла форточку...

А иногда столь же неожиданно огорчался, досадовал и даже позволял себе обидные замечания:

— Нет, мать, все-таки ты толстокожая, тебя не прошибешь. Я ей внушаю-внушаю, а она хоть бы хны...

Все это было веселым мальчишеством, напоминало игру любознательных школьников из кружка «Занимательная психология», и Ольга Васильевна могла бы так и относиться к этому, полушутя и полуодобрительно, ибо Сережа как-то ожил, взбодрился, тонус жизни его заметно повысился и на лице заиграл румянец, что означало пользу нового увлечения, но ведь все хорошо в меру. Тут игра перерастала в нечто большее. И Ольга Васильевна с тревогой улавливала намеки на то, что это, мол, все подходы, поиски метода и что, когда он немного освободится, он займется психологией и парапсихологией вплотную. Она сказала, что это звучит довольно наивно, все равно что сказать, что собираешься заняться физикой и метафизикой.

— Ты не боишься превратиться в чеховского ученого соседа?

Он посмотрел на нее рассеянно:

— Ты шути осторожней. Это сейчас единственное, что меня интересует в жизни.

После такой фразы что оставалось делать? Она перестала шутить. И стала ждать, что будет. Все-таки ей казалось, что наваждение кончится.

Боже мой, тут крылась ошибка! Нельзя было ждать. Нельзя было не бороться, отдавать его в полную власть этой Дарьи и гоп-компании. Какая блаженная дура! Ведь было очевидно, что он отходит, отплывает, как корабль

от пристани, подняв все паруса и флаги, а она продолжала чего-то ждать, на что-то надеяться. Она не понимала, что он находится на переломе судьбы. Главной мукою было непонимание. Однажды вздумала действовать энергично, будто ничего не случилось, будто между ними не воздвиглось проклятого хобби: не спросивши, купила билеты на какой-то дефицитный фильм, на который рвалась тогда вся Москва. Он сказал, что как раз в десять он занят. Чем же занят? Уходит? Нет, будет дома. Но с десяти он занят.

Было очень обидно, но допытываться не стала, пошла одна, смилив гордость. Не смогла вынести в кинотеатре четверти часа и побежала домой. Неужели вдобавок ко всему стал лгать? Было чувство бессилия: ведь если обманывает, то лишь оттого, что запутался, затормошился окончательно — раньше никогда не обманывал, — а она не может помочь. Нет большей муки, чем непонимание и невозможность помочь! Но когда примчалась домой, увидела: действительно занят.

Сидел в комнате, запершись, хмуро-сосредоточенный, и раскладывал карты Зенера. Эти свои парапсихологические, с квадратами, звездами. Оказывается, у них с Дарьей Мамедовной был назначен на десять вечера сеанс: та в качестве *перцепиента*, то есть отгадчика, находилась в Болшеве, в доме отдыха киношников.

Этими картами он совсем заморочил Иринку. Первое время говорил, что у нее большие способности, приходится изумляться, процент попаданий значительно выше вероятностного.

— Ты можешь стать мировой знаменитостью! Я не шучу. Тебя будут приглашать за границу, а мы с мамочкой будем ездить с тобой.

Таковыми сказками хотел увлечь ее и задобрить, потому что вскоре ей стало, конечно, надоедать. И отгадывала она все хуже и хуже. Он нервничал, сердился. Таких высоких очков, как в первые дни, она не получала больше никогда.

— Думай серьезней! Сосредоточься! — говорил он, раздражаясь. — Что с тобой происходит?

Терпения у него не хватало и раньше, когда он пытался помогать Иринке с уроками. Всегда его репетиторство кончалось ссорой. И тут было то же самое. Иринка однажды разревелась. Бабушка ударила кулаком:

— Ну, довольно! Не могу видеть, как ты калечишь ребенка! Сам сходи с ума как хочешь, мракобесничай, ты взрослый человек и за себя ответишь, а Иру оставь в покое...

Они стали спорить. Как всегда, спорили негромко и негрубо, но как-то крайне ядовито и, вероятно, болезненно друг для друга. Александру Прокофьевну еще подогревала, вероятно, память о диспутах Луначарского с митрополитом Введенским.

— Если допустить хоть на секунду существование загробного мира и высшей силы, то есть Бога...

— Я этого не говорил. Не передергивай по своей адвокатской привычке.

— Что же это, как не агностицизм?

— А по-твоему, паровоз дошел до последней станции? И дальше пути нет?

— Твой путь, Сергей, ведет не вперед, а назад, во тьму средневековья. Только не понимаю: зачем двойная жизнь? Будь уж последовательным. Надень рясу, прими схиму, уйди куда-нибудь в пещеры или заброшенные каменоломни — по Павелецкой дороге, кстати, недалеко от Москвы, есть старые каменоломни, — сиди там и созерцай собственный пуп, как тибетский монах. Питайся акридами. Жена будет привозить тебе акрид из зоомагазина... (Надо сказать, старуха иногда блистала злым юмором. Кроме того, ей никак не хотелось верить в то, что во всем этом безобразии виноват он один, без Ольги Васильевны.) Но тебя это не устраивает: ты не уходишь из института, получаешь там зарплату...

— Может, и уйду. Кстати, ты кинула неплохую идейку. Вот если будет создана, как обещают, лаборатория экстрасенсорной связи при одном институте, я бы с наслаждением туда ушел.

Все это говорилось пока что в пылу спора. И для того, чтобы подразнить. Он опять стал говорить, что его

интересует наука, и только наука. В этом мире слишком много странностей. Антивещество, квазары, загадочные частицы, не обладающие ни массой покоя, ни зарядом, — почему нельзя предположить, что существуют неизвестные науке, сверхчувственные средства связи?

— Сережа, я с ужасом вижу, что в твоей голове за сорок лет образовалась невероятная каша...

— Зато ты, мамочка, за это время осталась совершенно нетронутой. Своего рода достижение.

— И горжусь этим! Я не думаю о смерти, как другие старухи. Да, я знаю, что с последним вздохом я исчезну из этого мира бесследно — и все тут. Не о чем говорить.

— Да, да, не о чем говорить... — бормотал Сережа, кивая. — Какая ясность, как здорово... И тоже касается смерти твоих близких? Они тоже исчезнут совершенно бесследно?

— Я надеюсь, что мои близкие, кого судьба еще оставила мне, не уйдут раньше. Но если такая несправедливость, не дай бог, случится, мои близкие не уйдут для меня — я повторяю, для меня! — совершенно бесследно. Они останутся вот здесь. — Она пошлепала ладонью по тому месту в середине груди, куда ставила в минуты сердечной слабости горчичники.

А Ольга Васильевна не могла выносить такие разговоры. Она знала только одно: не может помочь. И это приводило в отчаяние. Когда через некоторое время зашла в комнату, увидела, что Сережа один.

Он стоял в нерешительной позе, полуобернувшись к окну — то ли собираясь отойти от окна, то ли шагнуть к нему, — и смотрел на двор, вниз. Было похоже, что он о чем-то с громадным напряжением думает. Ольга Васильевна увидела его согбенную спину, опавшие плечи и седину в поредевших волосах. Вдруг показалось, что стоит старичок.

— Мой старичок... — сказала она тихо, подойдя к нему и обняв.

Он не повернулся, не отозвался, продолжая стоять и смотреть на двор, вниз. Лето неслось. Она маялась. Мать гасла в одиночестве на Суцевской. Первое лето, когда

не сняли дачу. И это был эскиз будущего бездомья. У Фаины глаза стали круглые и сверкающие от сладострастного любопытства, она жалела Ольгу Васильевну, жалела изо всех сил, даже стонала от жалости: «Я пойду в профком научных работников! Я покажу этой Дарье, как морочить женатых мужчин!» Голос ее дрожал от гнева. Нет большей сласти, чем сострадать любимой подруге. Слава богу, никуда не пошла. Но рассказала Маре. И все заколыхалось и стало расти, как волшебное дерево, управляемое факиром, на глазах. Она не знала подробностей до того дня, пока не поехали в лес за грибами. Знала одно: он подал заявление об уходе.

Вдруг показалось, что так будет лучше для него.

Осенью, в еще теплом и лиственном октябре, — все кончилось, кроме тепла, кроме грибов, кроме леса, — поехали автобусом в четыре утра от института. Почти вся лаборатория Ольги Васильевны. Он сидел рядом, положив голову ей на плечо, и спал. Было такое наслаждение ощущать тяжесть его головы. Ей хотелось, чтоб все сидели тихо и он бы спал. Желала этого всею силою воли. Серое, дымное бежало за окном Подмосковье, сначала развороты глины, грязно-меловые блочные горы новостроек, потом поля водянистой зелени, березы, осины, потом ели, дорога ныряла, опять белыми горами среди елей возникали новостройки, редкий дождь пластами лип к стеклу, вдруг пропадал. Когда вышли из автобуса на пятьдесят втором километре, за Пахрой, дождь прекратился. В лесу было мокро. Пахло отсыревшей, усталой травой. Земля под елями, бестравная, усыпанная бурой хвоей, казалась пухлой и темной. Грибов было мало. Все люди куда-то рассеялись. Он сказал: если бы он осудил себя за всю эту чепуховину со стаканчиком, ужалил бы себя, как скорпион, собственным хвостом, они бы все равно не отстали. Климук теперь замдиректора, спихнул с кресла Кисловского, а на его месте Шарипов. Этот Шарипов, двадцать восемь лет, железный малыш, он уже и кандидат, и автор каких-то книг, провел дело недрогнувшей рукой. Что ж, ему разве трудно? Он с Сережей не ел, не пил, впервые столкнулись тогда на лестнице, когда

спросил, остановившись на секунду, быстрым приятельским говорком: «Простите, Сергей Афанасьевич, это верно, что вы посещаете спиритические сеансы?» Сережа ответил так же легко, мимоходом: да, посещал прошлой зимой просто из любопытства, а кроме того, искал людей, обладающих сенситивностью. Ведь он увлечен парапсихологическими опытами. Это очень интересно. Парапсихология, безусловно, наука будущего. Шарипов слушал, сочувственно улыбаясь. Эти железные малыши умеют быстро бегать по лестницам, задавать стремительные вопросы и сочувственно улыбаться. Климук стоял в стороне от дела. Он не стал подписывать заявления, хотя мог бы это сделать — директор был в Болгарии, — и, пригласив Сережу, для видимости отговаривал его и даже пробормотал совершенно нелепые, показавшиеся чудовищными слова: «Как Ольга? Позвоните когда-нибудь...» — на что Сережа, засмеявшись, спросил: «Ты шутишь?» Но нет, ничего ужасного не произошло, ничего не случилось, он рад всему этому, потому что надо начинать другую жизнь. Черт возьми, так мало времени остается для другой жизни. Надо наконец начинать. Что начинать? Делать то, что волнует воистину. У каждого человека должно быть то, что волнует воистину. Но надо до этого доползти, докарабкаться.

Мы удивляемся: отчего не понимаем друг друга? отчего не понимают нас? Все зло отсюда, кажется нам. О, если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн... Парапсихология — мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя другому, исцелиться пониманием, эта песня безумно долга... Но куда же мы, бедные, рвемся понять других, когда не можем понять себя? *Понять себя*, боже мой, для начала! Нет, не хватает сил, не хватает времени или, может быть, недостает ума, мужества... Вот она, к примеру, биохимик, заведует лабораторией, на хорошем счету, получает премии и прибавки к зарплате, но истинное ее предназначение здесь ли? Сама говорила: как жалею, что не пошла в прикладное искусство! Так люблю что-то делать руками, лепить, вырезать. А он не говорил разве, что история — это магическое зеркало,



по которому можно угадывать будущее, и он готов всю жизнь изучать его, вглядываться в него... Говорил, говорил! И так ощущал, так думал. Но, может, тут действовала совсем иная, потаенная тяга: изучать, чтоб угадывать... Потому что теперь ему кажется, что все эти подробности подробностей, эти крохи, сметенные со стола каких-то давних пиров, которые он вылавливает со дна колодца, не нужны никому, кроме пяти или шести человек в целом свете... Если думать о себе, которому эти хитроумнейшие и ничтожные уловы нужнее всего, тогда, может быть, есть смысл продолжать закидывать свои крючочки, но так скучно думать о себе. Однажды становится дико скучно. И вдруг сверкнет как догадка, как слабая заря за стволами — другая жизнь...

У нее сжималось сердце, было страшно. Откуда, бог ты мой, возьмется другая жизнь? Переехать из дома в дом? Купить новый портфель? Начать ходить вместо той конторы в эту? Ведь, в сущности, повсюду одно и то же. Он ответил: э, нет! Так рассуждать — это все равно что говорить, будто все женщины одинаковы. Но ведь ужас прожить век с женщиной, которая не мила. Большинство так живет, впрочем. Он говорил спокойно, как о чем-то постороннем и совершенно чужом для них, но все равно было страшно. В разговорах они прошли далеко в глубь леса, забыв о грибах. Да грибов и не было. Встретилась женщина с полупустым ведром, где белели волнушки. Стали спрашивать: неужто такие грибы едят? Женщина объясняла охотно, как вываривать, отвар сливать, а еще лучше вымачивать в воде с уксусом. Рассказавши, женщина исчезла. Забыли спросить, как идти в сторону шоссе. Осины и березняк редели, пошел ельник, густой и тяжелый от влаги, здесь совсем ничего не находилось, и они торопились продрагаться сквозь хвойную чащу, потому что где-то впереди брезжила светлота, там мерещились прогалы, поляны. Там начиналась другая жизнь. Сидели на пнях, он устал, лицо было серое и дышал тяжело, потом шли дальше — сырость в бору давила, от валежника, овражных низин тянуло гнилью, — местами залезали в черную топь, шли и шли, разговаривая, светлота манила,

облачный день ясел, но ни просек, ни полян не открывалось за стволами. Она уже знала, что заблудились. Вдруг возникла Иринка, шла рядом, Ольга Васильевна крепко сжимала холодную ладошку. Иринка была маленькая, лет двенадцати. Надо было непременно спросить у Сережи что-то мучающее, что касалось только их двоих, Иринка мешала. Но потом она отошла куда-то, и Ольга Васильевна спросила про Дарью Мамедовну. Правда ли? Ее мучило одно: правда ли? Он засмеялся и сказал, что неправда. Тогда она спросила: «А те деньги, которые ты брал в кассе взаимопомощи? Пришли после смерти и требуют деньги назад. На что ты потратил их? Только говори честно, нас никто не услышит, мы в лесу». Он сказал: «Я не потратил. Просто давал людям, а они не возвращали». Это было так несуразно и так на него похоже! Он называл имена. Какие-то незнакомые имена. Но все равно она мгновенно и глубоко поверила его словам. Она подумала: как мне жить в этом лесу одной? Надо было скорей бежать, они опаздывали, автобус ждал на шоссе, но неизвестно, где шоссе и куда бежать. Однако бежали — напрямиком, через овраги, сквозь ржавый еловый сухостой, обдирая лицо и руки. Наконец появился забор. Глухой и высокий, выкрашенный темно-зеленой краской, они увидели его внезапно, когда подошли вплотную. Что там, за забором? Ничего не слышно, не видно. Растут такие же ели, как в лесу. Пошли вдоль забора по не очень ясной тропинке — хожено тут было мало — и чем дальше шли, тем меньше оставалось надежды. Перед воротами на скамейке сидели четверо мужчин и одна женщина. Среди мужчин был один громадный, рыхлый, с большим вздутым лбом и свинными глазками, с тем выражением добродушной тупости на лице, какое бывает у больных болезнью Дауна. Был еще какой-то старик, который все время качал головой, и были двое средних лет, один бородатый, с мрачным угольным взором, и другой, малорослый, с плоским несчастным лицом, он болтал короткими ножками, не достававшими до земли. Все четверо молчали, а женщина в сером больничном халате читала газету. Ольга Васильевна спросила, как пройти до шоссе. Эти люди не знали. Громадный

человек, больной болезнью Дауна, сказал, что здесь нет шоссе. Сережа стал сердиться и доказывать, что шоссе есть, они приехали на автобусе и автобус ждет на шоссе. Нет, сказали они, автобус сюда не ходит и шоссе нет. Сережа горячился. «Не спорьте с ними, — сказала женщина, отложив газету. — Они не знают. Идемте, я вас провожу». Когда они отошли на некоторое расстояние от мужчин, оставшихся сидеть на скамейке, женщина сказала: «Это больные. Они не знают, где шоссе».

Женщина вела их лесом, без дороги. Наверное, это был короткий путь. Ольга Васильевна сжимала руку Иринки. «Вы нас извините, — говорила она женщине. — Мы опаздываем. Автобус ждет нас на шоссе». — «Я понимаю, — отвечала женщина. — Поэтому веду вас самым коротким путем». Густели сумерки. Стало темно. Незаметно истаял день. Надо было зачем-то спускаться по крутому склону, поросшему елями, затем опять углубились в чашу. «Скоро, скоро», — говорила женщина. Не было сил идти. Они очень устали. Вдруг женщина сказала: «Вот здесь».

Они стояли перед маленьким лесным болотцем. «Что это?» — спросила Ольга Васильевна. «Это шоссе, — сказала женщина. — Вон стоит ваш автобус». Она протягивала руку, показывая на заросли осоки на противоположной стороне болотца. Ольга Васильевна почувствовала, как немеет, застывает, охваченная мгновенной, как молния, ледяной истомой. И тут треск врубился в сознание. Через миг принеслась весть из другого мира: вставать...

Будильник звонил в семь. Вырывал из вязкого, опустошающего забытья. И так продолжалось много дней, похожих один на другой, хотя временами было солнечно, а то шел дождь или снег, но однажды она проснулась раньше будильника и, босая, подошла к окну, откинула занавеску и посмотрела в сторону парка: там над деревьями, над зубчатым, из крыш и труб, темным окоемом выкатывался в слабо светящееся небо красный шар солнца. Она распахнула форточку. Ветер, летевший со стороны парка, обнял ее усталую кожу, и грудь напряглась от холода. Босыми

ногами она почувствовала, как дрожит пол от неясного подземного гула.

Если бывало часа три свободного времени, они уезжали гулять в Спасское-Лыково: троллейбусом до конечной остановки, там немного пройти и затем полчаса речным трамвайчиком. Село стояло на высоких холмах, поросших сосновым бором. Москва давно уже подступила со всех сторон к этому древнему полудеревенскому-полудачному уголку, обтекла его, устремилась дальше на запад, но почему-то не поглотила его совсем: сосны бора стояли, заливной луг зеленел, и высоко на холме над рекою поверх сосен плыла стоймя колокольня старой спасско-лыкской церкви, видная издали отовсюду. Спустившись с дощатого причала на тропу, которая вилась вдоль берега, они шли и шли, разговаривая, дыша речным воздухом, обходя рыболовов и с неприязнью поглядывая на маленькие автомобильчики, неведомо как прорвавшиеся сюда, хотя проезжей дороги к берегу не было, и стоявшие, загоразивая тропу, у самой воды. Тут находилось их убежище, их берег, их трава. Все остальные, очутившиеся тут, были пришельцами, чужаками.

В Москве места не было. Слишком много людей знали его и ее. Никто из этих людей, приятелей и знакомых, не мог ничего понять. И она не понимала, и удивлялась, и стыдилась себя: так внезапно и быстро наступила другая жизнь! Когда-то мечтали о другой жизни, мыкались и рвались достичь. Но достичь невозможно, это приходит само. У него были слабые легкие, он простужался, болел. И всегда болел тяжело, маленькая простуда длилась долго, потому что организм у него был особенный, не принимал антибиотиков, он жил как в девятнадцатом веке — лечился малиной, чаем. И она мучилась оттого, что он болел вдаль. Казалось, что люди, которые окружали его, не могли помочь ему, как нужно. Шли тропую по глинистому склону, она рассказывала о новостях на работе, об опытах, термостатах, рассказывала про Иринку, которая собиралась замуж, и не стеснялась говорить про нее сокровенное, а он тоже рассказывал обо всяких делах, неурядицах на службе, о людях, которые ему подчинялись,

советовался с нею, но о доме говорил неохотно. И она понимала его.

Однажды взобрались на колокольню спасско-лыковской церкви. Взбираться было тяжело, он раза два останавливался на каменной лестнице, отдыхал, а когда взошли на самую верхнюю площадку, под колокол, сильно стучало сердце, и они оба приняли валидол. Но они увидели: Москва уходила в сумрак, светились и пропадали башни, исчезали огни, все там синело, сливалось, как в памяти, но если напрячь зрение, она могла разглядеть высотную пластину Гидропроекта недалеко от своего дома, а он мог отыскать туманный колпак небоскреба на площади Восстания, рядом с которым жил. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтоб заслонить, спасти, он ее обнял. И она подумала, что вины ее нет. Вины ее нет, потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнувший в ожидании вечера.

1975

## ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших в бумазейных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя. Ну и бог с ними, с недогадливыми! Им некогда, они летят, плывут, несутся в потоке, загребают руками, все дальше и дальше, все скорей и скорей, день за днем, год за годом, меняются берега, отступают горы, редеют и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить — и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона.

В один из нестерпимо жарких августовских дней 1972 года — Москва тем летом задыхалась от зноя и дымной мглы, а Глебову приходилось, как назло, проводить много дней в городе, потому что ждали вселения в кооперативный дом — Глебов заехал в мебельный магазин в новом районе, у черта на рогах, возле Коптевского рынка, и там случилась странная история. Он встретил приятеля допотопных времен. И забыл, как его зовут. Вообще-то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол, пока еще неизвестно, где, сие есть тайна, но указали концы — антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка работает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неистовый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину.

На тротуаре перед входом, где в ключьях мусора и упаковочной бумаги стояли только что сгруженные или ожидающие погрузки шкафы, кушетки, всякая другая полированная дребедень, где с унылым видом слонялись покупатели, шоферы такси и неряшливо одетые мужики, готовые за трояк на все, Глебов спросил, как найти Ефима. Ответили: на заднем дворе. Глебов прошел через магазин, где от духоты и спиртового запаха лака нечем было дышать, и вышел узкою дверью на двор, совершенно пустынный. Какой-то работяга дремал в тенечке у стены, сидя на корточках. Глебов к нему: «Вы не Ефим?»

Работяга поднял мутный взгляд, посмотрел сурово и чуть выдавил презрительную ямку на подбородке, что должно было означать: нет. По этой выдавленной ямке и по чему-то еще, неуловимому, Глебов вдруг догадался, что этот помертвелый от жары и жажды похмелиться, несчастный мебельный «подносила» — дружок давних лет. Понял не глазами, а чем-то другим, каким-то стуком внутри. Но ужасно было вот что: хорошо зная, кто это, начисто забыл имя! Поэтому стоял молча, покачиваясь в своих скрипучих сандалетах, и смотрел на работягу, вспоминая изо всех сил. Целая жизнь налетела внезапно. Но имя? Такое хитроватое, забавное. И в то же время детское. Единственное в своем роде. Безымянный друг опять налаживался дремать: кепочку натянул на нос, голову закинул и рот отвалил.

Глебов, волнуясь, отошел в сторону, потыкался туда-сюда, ища Ефима, потом вошел через заднюю дверь в помещение магазина, поспрошал там, Ефима след простыл, советовали ждать, но ждать было невозможно, и, ругаясь мысленно, проклиная необязательных людей, Глебов вновь вышел во двор, на солнцепек, где его так изумил и озадачил Шулепа. Ну конечно: Шулепа! Левка Шулепников! Что-то когда-то слышал о том, что Шулепа пропал, докатился до дна, но чтобы уж досюда? До мебельного? Хотел поговорить с ним дружелюбно, по-товарищески, спросить, как да что и заодно про Ефима.

— Лев... — сказал Глебов не очень уверенно, подходя к мужику, который сидел там же в тени и в той же позе,

на корточках, но теперь уже не дремал, а наблюдал за каким-то движением в глубине двора, мусоля губами папироску. Более громко и смело добавил: — Шулепа!

Человек опять посмотрел на Глебова мутно и отвернулся. Конечно, это был Левка Шулепников, только очень старый, измятый, истерзанный жизнью, с сивыми запьянцовскими усами, непохожий на себя, но в чем-то, кажется, оставшийся непоколебленным, такой же нагловатый и глупо заносчивый, как прежде. Дать ему денег, что ли, на опохмелку? Глебов пошевелил пальцами в кармане брюк, нащупывая деньги. Рубля четыре мог дать безболезненно. Если бы тот попросил. Но мужик не обращал на Глебова никакого внимания, и Глебов растерялся и подумал, что, может, он ошибся и этот тип вовсе не Шулепников. Но в ту же секунду, рассердясь, спросил довольно грубо и панибратски, как привык разговаривать с обслуживающим персоналом:

— Да ты меня не узнаешь, что ли? Левк!

Шулепников выплюнул окурок и, не посмотрев на Глебова, встал и пошел вразвалочку в глубь двора, где начиналась разгрузка контейнера. Глебов, неприятно пораженный, побрел на улицу. Поразило не обличье Левки Шулепы и не жалкость его нынешнего состояния, а то, что Левка *не захотел узнавать*. Уж кому-кому, а Левке нечего было обижаться на Глебова. Не Глебов виноват и не люди, а времена. Вот пусть с временами и *не здороваются*. Опять внезапно: совсем раннее, нищее и глупое, дом на набережной, снежные дворы, электрические фонари на проволоках, драки в сугробах у кирпичной стены. Шулепа состоял из слоев, распался пластами, и каждый пласт был непохож на другой, но вот то — в снегу, в сугробах у кирпичной стены, когда дрались до кровянки, до хрипа «сдаюсь», потом в теплом громадном доме пили, блаженствуя, чай из тоненьких чашечек, — тогда, наверно, было настоящее. Хотя кто его знает. В разные времена настоящее выглядит по-разному.

Если честно, Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством.



И вечером, рассказывая Марине, он волновался и нервничал не оттого, что встретил приятеля, который не захотел его узнавать, а оттого, что приходится иметь дело с такими безответственными людьми, как Ефим, которые наобещают с три короба, а потом забудут или наплюют, и антикварный стол с медальонами уплывает в чужие руки. Ночевать поехали на дачу. Там царила тревога, тесть и теща не спали, несмотря на поздний час: оказывается, Маргоша с утра уехала на мотоцикле с Толмачевым, не звонила весь день и только в девятом часу сообщила, что находится на проспекте Вернадского в мастерской какого-то художника. Просила не беспокоиться, Толмачев привезет ее не позже двенадцати. Глебов пришел в ярость: «На мотоцикле? Ночью? Почему вы не сказали идиотке, чтоб не сходила с ума, чтоб сию минуту, немедленно?..» Тесть и теща, как два комических старика из пьесы, бубнили что-то нелепое и не к месту.

— Я в аккурат поливал, Вадим Лексаныч, а воду перекрыли... Так что поставить вопрос на правлении...

Глебов махнул рукой и пошел в кабинет, на второй этаж. Духота не спадала и поздним вечером. Лиственной теплой сушью несло из темного сада. Глебов принял лекарство и прилег одетый на тахту, думая о том, что сегодня надо бы наконец, если все будет благополучно и дочка вернется живая, поговорить с нею о Толмачеве. Раскрыть глаза на это ничтожество. В половине первого раздался мотоциклетный треск, затем зашумели голоса внизу. Глебов с облегчением услышал высокий тархтящий голосок дочери. Он тут же и чудесным образом успокоился, желание говорить с дочерью исчезло, и он стал стелить себе постель на тахте, зная, что жена станет теперь непременно до глубокой ночи болтать с Маргошей.

Но те вбежали обе как-то бурно и бесцеремонно в кабинет, когда свет еще не был погашен и Глебов стоял в белых трикотажных трусах, одной ногой на коврик перед тахтой, другую поставив на тахту, и маленькими ножницами стриг на ноге ногти.

У жены было бескровное лицо, и она сказала жалобно:  
— Ты знаешь, она выходит замуж за Толмачева.

— Что ты говоришь! — Глебов как бы испугался, хотя на самом деле не испугался, но уж очень несчастен был вид Марины. — Когда же?

— Через двенадцать дней, когда он вернется из командировки, — произнесла Маргоша скороговоркой, подчеркивая быстротой говорения категоричность и неотвратимость того, что должно произойти. При этом она улыбалась, ее маленькое с немного опухшими щечками детское личико, носик, очки, черные пуговичные мамины глазки — все это сияло, блестело, было слепо и счастливо. Маргоша бросилась к отцу и поцеловала его. Глебов почувствовал запах вина. Он поспешно залез под простыню. Было неприятно, что взрослая дочь видела его в трусах, и еще более неприятно оттого, что та не была этим смущена и даже как бы не замечала отцовского непристойного вида, впрочем, она сейчас *ничего не видела*. Поразительный инфантилизм во всем. И эта дурочка хотела начинать самостоятельную жизнь с мужчиной. Точнее говоря, со шпаной. Глебов спросил:

— Из какой же командировки? Разве Толмачев где-то работает?

— Конечно, работает. В книжном магазине продавцом.

— В книжном магазине? Продавцом? — Глебов от удивления выбросил обе руки из-под простыни. Тут было что-то новое, какой-то подвох. — А почему я об этом впервые слышу? Ты уверяла, что он художник, показывала картинки, какие-то подсвечники, утюги...

— Нет, она говорила, где он работает. Говорила, говорила, — подтвердила Марина, любившая справедливость. — Но дело не в этом...

— Мамочка, как я вас всех люблю! — воскликнула Маргоша, целуя мать, и засмеялась. — Папа, ты сегодня бледный! Как ты себя чувствуешь?

— А где жених в данную минуту?

— Папочка, я тебя прошу, ни о чем не думай, не расстраивайся!

— Маргоша, ответь мне: где вы собираетесь жить?

Продавцом в магазине. Ничего более несуразного быть не могло. Давно он не видел таких отрешенных,

счастливых глаз, не слышал такого бессмысленного смеха. Маргоша, смеясь, говорила:

— Разве это так важно?

— Но мы с отцом хотим знать...

— Ах, вы хотите знать? Вас разбирает любопытство? — Опять смех. — Ну, если, скажем, здесь... Это плохо? Вы не согласны?

— Будешь ездить автобусом? Вставать в пять утра?

— Мама, все это мелочь и ерунда...

Вдруг обе исчезли. Глебов прислушивался к летающим женским голосам внизу, к ним прибавился глухой говор тестя и тещи. Сердце Глебова ныло от предчувствия перемен, и он решил принять снотворное, чтобы поскорее заснуть. Вдруг пришла легкая мысль: «А может, ничего страшного не случится? Пусть все идет своим ходом. Как всегда. Ну, разойдутся через год, ну и бог с ними». И он стал думать о другом.

Около часа ночи раздался телефонный звонок. Глебов почувствовал сквозь полусон, как его охватил гнев, сердцебиение усилилось, и он проворно, по-молодому соскочил с тахты и почти опрометью бросился к телефону, стоявшему на столе: успеть сорвать трубку прежде, чем схватит трубку нижнего телефона Маргошка, и дать нахалу взбучку! Был уверен, что звонит Толмачев.

Но голос был незнакомый, какой-то расхлябанный, хулиганский.

— Здравствуй, Дуня, новый год... Не узнаешь? А? — хрипел хулиган. — То узнает, то не узнает. Вот задница. А который час-то? Ну, второй, подумаешь, детские времена. Интеллигенция об эту пору еще не ложится... Решает вопросы... Мы тут с одним мужиком сидим... А помнишь, какие у меня были финские ножички?

— Помню, — сказал Глебов и действительно вспомнил: ножичков было штук пять, все разного размера. Самый маленький был с папироску. Левка приносил их в школу и хвастался. И еще сверкающий стальной пистолет с костяной ручкой, как настоящий.

В кабинет вошла Марина, спросила испуганным взглядом: «Кто?» Глебов подмигивал, махал рукой: пустое, мол,

чепуха. Почему-то обрадовался тому, что Шулепников позвонил.

— Ладно, будь, спи спокойно, дорогой товарищ... Извини, что потревожил... Я твой телефон три часа выбивал через справочную. Слышь? Ты когда подошел сегодня, я тебя узнавать не хотел. На хрена, думаю, он мне нужен? Противен ты мне был ужасно. Нет, ты понял, Вадька, ей-богу! Точно говорю: ужасно противен.

— За что ж так? — спросил Глебов, зевая.

— Да хрен меня знает. Ничего ты мне плохого вроде не сделал. Ну, ты там доктор, директор, пятое-десятое, дерьма пирога, мне это все неинтересно. Не волнует. Я по другому ведомству. А потом пришел с работы, занялся тут своими делами и соображаю: зачем же я Вадьку Глебыча обидел? Может, он за каким бараклом приехал, чего нужно? А в другой раз придет — меня и нет... Меня тут в одну страну заряжают года на три...

«О господи! — подумал Глебов. — Ведь до самой смерти...»

— Лев, позвони мне завтра, пожалуйста.

— Нет, завтра не стану. Только сегодня. Ты что, министр? Завтра звонить! Ишь ты, какая цаца. Никаких завтра. Да ты с ума сошел, Глебов, как ты со мной разговариваешь! Как у тебя язык повернулся? Я три часа твой телефон вышибал, вот мы вдвоем с мужиком... Он из дипкорпуса, отличный мужик... Через мидовскую справочную... Вадька, а ты мою мамашу помнишь?

Глебов сказал, что помнит, и хотел добавить, что помнит и Левкиного отца, вернее, отчима. Вернее, двух его отчимов. Но трубка звякнула, и раздались короткие гудки. Марина глядела все еще испуганно.

— Да вздор какой-то. Это тот парень, кого я в мебельном сегодня... — Глебов стоял босой возле письменного стола и в задумчивости рассматривал телефонный аппарат. — Все-таки обормот... Действительно, зачем звонил?

Почти четверть века назад, когда Вадим Александрович Глебов еще не был лысоватым, полным, с грудями,

как у женщины, с толстыми ляжками, с большим животом и опавшими плечами, что заставляло его шить костюмы у портного, а не покупать готовые, потому что пиджак годился пятьдесят второй, а в брюки он еле влезал в пятьдесят шестые, а то брал и пятьдесят восьмые; когда у него еще не было мостов вверху и внизу во рту, врачи не находили изменений в кардиограмме, говоривших о сердечной недостаточности и начальной стадии стенокардии, когда его еще не мучили изжоги по утрам, головокружения, чувство разбитости во всем теле, когда его печень работала нормально и он мог есть жирную пищу, не очень свежее мясо, пить сколько угодно вина и водки, не боясь последствий, не знал, что такое боли в пояснице, возникающие от напряжения, переохлаждения и бог знает еще отчего; когда он не боялся переплыть Москву-реку в самом широком месте, мог играть четыре часа без отдыха в волейбол, когда он был скор на ногу, костляв, с длинными волосами, в круглых очках, обликом напоминал разночинца-семидесятника; когда он часто сидел без денег, зарабатывал как грузчик на вокзале или колол дрова в замоскворецких дворишках, когда он голодал, была опасность, что начинается чахотка, его посылали в Крым, и все обошлось; когда еще были живы отец, тетя Поля и бабушка и все жили в маленьком домишке на набережной, на втором этаже, где кроме них жили еще шесть семей и в кухне стояло восемь столов; когда он любил петь песни с девушками, когда его звали не Вадимом Александровичем, а Глебычем и Батоном; когда он только еще мечтал, томясь бессонницей и жалким юношеским бессилием, обо всем том, что потом пришло к нему, не принеся радости, потому что отняло так много сил и того невозполнимого, что называется жизнью; в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, непохожий на себя и невзрачный, как гусеница. А о Марине не было и помину.

Она где-то там на веранде под сенью берез аккуратно выцарапывает детским почерком на белых бумажных барабанчиках, натянутых на стеклянные банки и обкрученных по горлышку ниткой: «Крыжовник 72», «Клубника 72». Антона давно уже нет на земле, и Сони нет. И о профессоре Ганчуке ничего не известно, скорей всего, тоже нет, а если и есть, то все равно что нет. Левка Шулепников сидит во дворе мебельного магазина в теничке, прислонясь спиной к стене, с папиросой в зубах и дремлет: все те же сны, просторные комнаты с высокими потолками, громадные оранжевые абажуры тридцатых годов...

Похоже на театр: первое явление, второе, третье, восемнадцатое. Каждый раз человек является немного другим. Но между явлениями проходят годы, десятилетия. Шулепников возник в институте — это было второе явление, он вынырнул из забвения так естественно и легко, как бывает только в первой половине жизни, когда кажется, что все происходит так, как было задумано — почему-то сразу на третьем курсе. А история с Ганчуком и со всеми остальными захватила четвертый и начало пятого. Шулепников необъяснимо быстро стал деятелем. Впрочем, объяснимо: за кулисами стоял отчим, обладавший гигантскими возможностями. Об этом мало кто знал, но знали, конечно, Глебов и Соня, для которых Левка Шулепников остался добрым старым Шулепой. Его принимали за ловчилу, очень изобретательного, который успешно и стремительно делал карьеру: он в бюро, в комитете, там, сям и лучших девиц сразу взял на крючок. А на самом-то деле он был лопух, зауряднейший лопух. Но в этом разобрались не сразу, поначалу он раздражал многих. Как-то подошел в коридоре парень, здоровенный харьковчанин по фамилии Смыга, и сказал: «Глебов, ты, говорят, учился в школе с этим Жулятниковым?» Глебов сказал: учился, только не коверкайте фамилии, это дурной тон. «Хорошо, не будем фамилию, мы ему рожу исковеркаем, — пообещал Смыга. — Скажи Жулябьеву, чтоб за девками из нашей группы не ухлестывал. А то сделаем бо-бо».

Через несколько дней Смыга появился в аудитории с раздутой физиономией, будто у него флюс. Левка рассказывал несколько удивленно: «Этот слон навалился на меня в туалете, стал орать: «Мы тебя предупреждали, скот, ты нас не послушал!» Какой-то бред, ну, я срубил его приемом самбо. Он башкой унитаза расколол». Глебов не поверил, зная, что Левка порядочный враль, но потом обнаружил, что унитаз действительно разбит, и тогда поверил не только тому, что Смыга был жестоко унижен, но и всему прочему, фантастическому, что Шулепников повествовал из собственной жизни. Например, тому, что во время войны он окончил какую-то хитрую секретную школу, где учили стрелять, бросать ножи, убивать голыми руками, а также иностранным языкам, и занимался таинственными делами в глубоком немецком тылу, но потом его демобилизовали из-за открывшейся язвы желудка. В подлинности этого рассказа могли быть сомнения, так как немецкий язык Шулепников знал плохо, ножи бросал довольно посредственно и вообще был криклив, развязан, врал по мелочам, что не сходилось с обликом человека, за которого он себя выдавал. Глебов решил так: наверно, Левка и в самом деле учился в хитрой школе (отчим устроил) и намеревался стать полковником Лоуренсом, но дело почему-то не выгорело. А Смыга, который так задибался и ненавидел Левку, стал затем его преданнейшим подручным и прихлебателем — это уж через год, когда отчим подарил Левке трофейный BMW и Левка прикатывал в институт на вишневом, клопиного облика драндулете, вызывая у бедных студентов не просто зависть, а лишение дара речи. Смыга повсюду таскался за Левкой, бегал для него по магазинам и знакомил его с девицами, с которыми прежде знакомился сам.

Отношения к Левке Шулепникову в те годы — тут был пик его судьбы, такой затейливой и капризной — могли выражаться только в двух формах: рабски ему служить или злобно завидовать. Глебов, самый старый Левкин приятель, никогда не был его рабом, даже в младших классах, где так развито подхалимство одних мальчиков перед другими, сильными и богатыми, и не захотел превращаться

в свитского генерала в институте, хотя был соблазн. Вокруг Шулепникова сбивались летучие компании, крутилась какая-то особая жизнь: дачи, автомобили, театр, спортсмены. В те годы возник хоккей с шайбой, или, как его называли тогда, «канадский хоккей», просто «канада». Увлечение было модным и, пожалуй, изысканным. На стадион приезжали дамы в цигейковых шубах и мужчины в бобрах. Шулепников носился с какими-то знаменитостями из команды летчиков. Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе, представлявшейся ему несколько призрачно и одновременно грубо, и как сам Левка ни был зазывчив и благосклонен по старой дружбе, Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по интуиции. Шулепников предлагал от своих щедрот: «Глебыч, на тебя есть заявка!» Это значило, что какая-то из Левкиных девиц, заметив Глебова или же что-то прослышав о нем — ничего странного, девицы, по тогдашнему выражению, «ложили на него глаз», — желает с ним познакомиться, а может быть, Левка и привирал, заявок не было, просто хотел приобщить друга к земным радостям. Левка был человек компанейский. Глебов уклонялся. Выдумывал причины. Ссылался на Соню: ждет Соня, договорился с Соней, Соня больна. На самом деле работал тайный механизм самосохранения, и это было удивительно, ибо в те времена кто бы догадался о близких катастрофах! Но вот от чего Глебов не мог освободиться, что мучающе сопровождало его все годы, начиная с самых ранних, это глубоко на дне теснящая душу обида...

И ни ее побороть, ни возвыситься над нею не выходило. Как неизживаемая болезнь: то тяжело, то ничего не заметно, а то такое лихо, что нет сил терпеть. Ну почему, к примеру, ему и то, и это, и все легко, бери голыми руками, будто назначено каким-то высшим судом? А Глебову до всего тянуться, все добывать горбом, жилами, кожей. Когда добудешь, жилы полопаются, кожа окостенеет.



А началась эта мука — назвать ее можно *страданием от несоответствия* — в далекие поры, в классе, что ли, пятом или шестом, когда Шулепа поселился в доме на набережной. Глебов-то в своем двухэтажном подворье жил с рождения. Рядом с серым громадным, наподобие целого города или даже целой страны домом в тысячу окон уютился на задворках, за церковью, за слипшимися, как грибы на пне, каменными развалахами, дом, немного кривой, с кое-где просевшею крышей, с четырьмя полуколонками на фасаде, известный среди жителей здешних улиц как «дерюгинское подворье». И переулочек, где стояла эта кривобокая красота, тоже был Дерюгинский. Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. Вот и *несоответствие!* Те не замечали, другие плевать хотели, третьи полагали правильным и законным, а у Глебова с малолетства жжение в душе: то ли зависть, то ли еще что. Отец работал на старой конфетной фабрике мастером-химиком, а мать — и то, и это, а в общем-то, ничего. Образования не было. То шила что-то, то по конторам, то билетершей в кинотеатре. И вот служба ее в кинотеатре — захудаленьком, в одном из замоскворецких переулков — составляла предмет немалой гордости Глебова и отличала его величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без билета. А иногда в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. Конечно, если мать была в добром расположении духа.

Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. Он пользовался ею расчетливо и умно: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости. Так продолжалось, и глебовская власть — ну, не власть, а скажем, авторитет — оставалась непоколебленной, пока не возник Левка Шулепа. Левка переехал в большой дом

откуда-то из пригорода или даже, кажется, из другого города. Он сразу произвел впечатление — у него были кожаные штаны! Первые дни он держался надменно, поглядывал своими голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел на одну парту с девчонкой. Во время уроков он невыносимо скрипел штанами. Его решили проучить, вернее, унижить. А еще точнее — опозорить. Была такая расправа, называвшаяся «огого»: затаскивали на задний двор, наваливались кучей и с криками «огого!» сдирали с осужденного штаны. Такую операцию задумали провести с новичком. Это было бы сладостью: стащить с него удивительные скрипучие штаны, пусть бы он поплясал, поныл, а девчонки смотрели бы на это из окна, их предупредили. Глебов горячо подговаривал расправиться с Шулепой, который ему не нравился — ему вообще не очень нравились те, кто жил в большом доме, — но в последний миг решил не участвовать. Может, ему стало немного стыдно. Он смотрел из двери, выходящей на заднюю лестницу.

Они звали Левку после уроков на задний двор — их было человек пять; Медведь, Сява, Манюня, еще кто-то, — окружили Левку, о чем-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Левку за шею, опрокинул его рывком навзничь, остальные с криками «огого!» набросились, Левка сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь, и вдруг раздался громкий треск, будто лопнула автомобильная шина. Тут все пятеро кинулись в стороны, а Левка поднялся на ноги. Кожаные штаны были на нем, а в руке он держал пистолет.

Он еще раз выстрелил в воздух. Пахло дымом. Была минута ужаса. Глебов почувствовал, как у него подгибаются ноги. На него мчался Медведь с вытаращенными глазами, оттолкнул Глебова и побежал, прыгая через ступени, вверх по лестнице.

Потом оказалось, что у Шулепникова был пугач, очень красивый заграничный пугач, который стрелял особыми пистонами, производившими звук выстрела настоящего пистолета. Шулепников вышел из этой истории

молодцом, а нападавшие были посрамлены и затем всячески старались помириться и подружиться с обладателем замечательного пугача. С помощью такого оружия можно было стать властителями дворов на всей набережной. Глебову сойтись с Шулепой было легче, чем другим. Ведь он не участвовал в нападении. Шулепников не проявлял мстительности и, кажется, был доволен тем, что теперь перед ним заискивают и за возможность стрельнуть готовы отдать целые состояния. Но дело так просто не кончилось. Вдруг явился директор вместе с завучем и милиционером и стал кричать, что бандиты должны быть наказаны. Директор был непохож на себя: он кричал, чего не бывало раньше, и он был бледен, щеки его тряслись, настроен он был беспощадно. Завуч сказал, что налицо вредительская вылазка. Милиционер сидел молча, но от его присутствия всем было не по себе.

Директор требовал, чтоб назвали бандитов по именам. Шулепников не хотел. Он сказал, что не заметил: устроили «темную» и разбежались. Директор приходил еще дважды, но уже без милиционера. Фамилия директора была Мешковер, и почему-то казалось, что странная фамилия происходит от *мешков* у него под глазами. Длинное белое лицо, белые опухшие полукружья под глазами. Он нервничал, не мог сидеть спокойно на стуле, как сидят учителя, и все время бегал перед доской как заведенный. Классную руководительницу по прозвищу Труба никто не любил, но директора было жаль. Он выглядел каким-то пришибленным.

— Друзья мои, я вас прошу о мужестве... Мужество не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы сказать... — Его белое лицо и прерывающийся голос вовсе не говорили о мужестве.

При всем сочувствии к старому больному человеку класс, однако, молчал. Шулепа тоже молчал. Он рассказывал потом, что отец его наказал — запер в ванной на целый вечер, а в ванной было темно и ползали тараканы, — требуя, чтоб он назвал имена. Но Шулепа не назвал никого.

Так Левка Шулепников из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. И с этого, наверное, времени, с кожаных штанов, с пугача и геройского поведения — одна девчонка даже сочинила стихи в честь Шулепы — зародилось то свинцовое, та тяжесть на дне души... Потому что одному человеку не должно быть все. Тут, если хотите, и природа станет протестовать, и то, что называется роком. Левка Шулепников потом ощутил этот *протест рока*, эти зубы дракона на собственной бедной шкуре, но ведь тогда, в полусне детства, никто и помыслить не мог, что все когда-нибудь перевернется. И только Глебов чуял нечто — теперь не определишь точно, что именно — тревожащее, как глухие голоса яви, проникающие в сон. Нет, зависть — совсем не то мелкое, дрянное чувство, каким представляется. Зависть — часть протестующей природы, сигнал, который чуткие души должны улавливать. Но нет несчастнее людей, пораженных завистью. И не было сокрушительней несчастья, чем то, что случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества.

В кинотеатрике за мостом крутили старую картину «Голубой экспресс». Какие-то кровавые приключения, стрельба, убийство; все бредили этим фильмом, мечтали попасть, но детям почему-то не разрешалось. Глебова провела мать. Картина была, конечно, неслыханно хороша. Полтора часа Глебов сидел на откидном стуле, дрожа как в ознобе. Разумеется, он должен был посмотреть картину еще не раз. Наступили дни бесспорного глебовского владычества. Никакими иными путями, кроме как через него, Глебова, никто не надеялся посмотреть эту мировецкую, ни с чем не сравнимую картиночку, суть которой заключалась в том, что на поезд с красными нападали белые, расправлялись с женщинами, стариками и детьми, но затем красные побеждали. Перестрелки и схватки происходили в тамбурах, на крышах и под колесами вагонов на полном ходу. Глупая публика не ходила на эту картину, зальчик в дневные часы пустовал.

Глебов выбирал одного-двух наиболее достойных, занимался выбором вдумчиво, после уроков объявлял

решение, и они мчались опротягу через мост, торопясь к сеансу. Мать могла пропустить и четверых, пятерых. Но Глебов не разбрасывался. Спешить было некуда. Ему хотелось, чтоб Шулепа тоже попросил бы, поклянчил, как другие, но тот не проявлял интереса. Однажды сказал небрежно:

— Да я ее сто раз видел!

Это было, конечно, вранье. Глебов наслаждался во время уроков, перебирая просителей: один предлагал ему серию французских колоний с классером в придачу, Манюня обещал повести с отцом на бега, были другие предложения, были и угрозы. Одна девочка написала записку с обещанием поцеловать его, если он проведет ее на сеанс. Записка разволновала Глебова. Он никогда еще не получал записок от девочек и никогда не целовался. Девочку звали Дина, фамилия ее была Калмыкова. Дина Калмыкова, по прозвищу Абажур. Она была толстенная, очень румяная, черноглазая, чернобровая, не очень красивая, Глебов не обращал на нее внимания. Но она запомнилась ему на всю жизнь.

Получив записку, Глебов испытал мгновенный горячий страх. Он боялся пошевелиться и уж тем более боялся оглянуться назад — Дина сидела через две парты за ним. Первым делом он разорвал записку на мелкие клочки. Лихорадочно обдумывал: как поступить? Конечно, он мог бы сказать ей: «Пожалуйста, могу взять тебя в кино, но целоваться необязательно». Но это, может быть, прозвучало бы для нее обидно. Главное, она была уж очень толстенная, настоящий жиртрест, хотя бегала быстро и на уроках физкультуры обгоняла других девчонок. Очень здорово умела ходить по бревну. На канате подтягивалась неплохо. У нее были огромные малиновые трусы с оборками, которые кто-то назвал «абажуром», и получилось прозвище: Абажур. Если бы такую записку прислала Света Кириллова или, например, Соня Ганчук, Глебов разволновался бы гораздо сильнее. Света казалась Глебову красавицей, она держалась гордо, была гибкая, тоненькая, с темно-рыжими косами, и всегда у нее был такой вид, будто она знает важную тайну, никому не

известную, а Соня Ганчук привлекала Глебова не красотой, а чем-то другим. Может быть, тем, что ее отец, профессор Ганчук, был героем гражданской войны и в его кабинете, куда Соня однажды тайком провела Глебова, на стене висели кинжалы, ружья и турецкий ятаган. Вот если бы Света или Соня обещали поцеловать его! А Динка Абажур поставила его в тупик.

Все же на перемене, улучив минуту, когда Дина оказалась одна — она стояла у окна спиной к подоконнику и, улыбаясь, глядела в потолок, — он подошел к ней и буркнул:

— Если хочешь, можно пойти сегодня. Пойдут Моржик и Химиус... — Помолчав, он добавил: — Если хочешь, конечно...

— Хочу, — сказала Дина, продолжая улыбаться и разглядывать потолок.

— Только не задерживайся, а то опоздаем. На два тридцать. Сразу одевайся, и бежим. Понятно? — Он говорил сухо, без намека на сантименты.

Во время сеанса Дина шепнула Глебову на ухо:

— Я пойду домой!

Он удивился. Главные перестрелки «Голубого экспреса» были впереди, и Глебов настроился посмотреть их в десятый раз. Дина объяснила шепотом: у нее заболел живот. Она поднялась и вышла из зала. Глебов, подумав, вышел вслед за ней. Было не совсем ясно, зачем он за ней вышел, и поэтому они оба чувствовали себя скованно и ни о чем не разговаривали. Дина шла быстрым шагом, почти бежала, и Глебов так же быстро шел с нею рядом. В молчании они пробежали переулок, вышли на набережную Канавы. Вода под мостом была черная и дымилась паром. Кое-где по реке еще плыли льдины, был апрель, тепло, холодно, не поймешь что, но у Глебова немного стучали зубы и весь он как-то дрожал. Теперь очень хотелось, чтобы Дина поцеловала его. Но он не знал, как об этом напомнить. Ведь не зря же он выбежал на улицу, не досмотрев кино! И получилось как раз удачно, потому что Морж и Химиус остались в кино, а то бы возвращались вчетвером, было бы неудобно.

Он посматривал сбоку на Динку Абажур, видел ее пунцовую щеку, вздернутый нос, черные кудри, выбившиеся из-под шерстяной лыжной шапочки, замечал, как она отдувается от быстрой ходьбы, толстые губы ее были раскрыты, и ему было приятно это посматривание. Потому что он чувствовал, что Динка Абажур, пускай она толстая и не очень красивая, была в эти минуты в его власти. И сама на это согласилась! Его сердце стучало. Он стискивал кулаки. Вдруг Дина пошла медленней. Глебов тоже замедлил шаг. Они проходили мимо старого четырехэтажного дома, но это был не ее дом. Она жила на Полянке. Дина открыла тяжелую дверь подъезда, вошла внутрь, не оглядываясь, и Глебов вошел за ней. Она побежала по лестнице наверх, на второй этаж, на третий, на четвертый, не останавливаясь, он бежал следом. С площадки четвертого этажа вела еще выше узкая лесенка, и Дина поднялась по ней. Глебов тоже поднялся. Там было низкое темное, дурно пахнущее помещение перед входом на чердак.

Дина повернулась к нему, тяжело дыша, и сказала:

— Ну!

— Что? — спросил он, задыхаясь.

— Можешь меня поцеловать.

— Почему это я должен? Ведь ты обещала...

— Дурак! — сказала Дина.

Они постояли молча, понемногу успокаиваясь. Она не хотела уходить и еще раз сказала тихо:

— Ой, дурак же...

Он твердо решил дождаться обещанного. Прошло, наверное, минуты три в полном молчании и неподвижности, потом из-за двери, ведущей на чердак, раздался истошный кошачий визг и что-то прошуршало стремительно. Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение — на одну секунду — чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбежали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались: ей надо было идти направо за угол, на Полянку, а он побежал через мост.

А через день или два, в разгар глебовского могущества, произошло крушение. Шулепников зазвал ребят после уроков к себе. В большом доме Глебов бывал не раз: то у Моржа на десятом этаже, где из окна открывался вид на Крымский мост, деревья парка и летом было видно, как крутится громадное парковое колесо, то приходил к Химиусу, жившему в том же подъезде этажом ниже, они с Моржом устроили на балконах «веревочно-флажковую связь», то бывал у Сони Ганчук, а то у Антона в маленькой квартирке на первом этаже, где Антон жил с матерью Анной Георгиевной. Изо всех обитателей большого дома Глебову по-настоящему нравился Антон Овчинников. Вообще-то Глебов считал Антона просто-напросто гениальным человеком. Да и многие так считали. Антон был музыкант, поклонник Верди, оперу «Аида» мог напеть по памяти всю, с начала до конца, кроме того, он был художник, лучший в школе, особенно замечательно он рисовал акварелью исторические здания, а тушью — профили композиторов; еще он был сочинитель фантастических, научных романов, посвященных изучению пещер и археологических древностей, интересовали его также палеонтология, океанография, география и частично минералогия. Глебова Антон привлекал не только гениальными способностями, но и тем, что он был скромный, не хвастун, не зазнайка — в отличие от других жителей большого дома, в каждом из которых сидела хотя бы малой дозой некая фанаберия, отвратительная Глебову, — и жил Антон скромно, в однокомнатной квартире, обставленной простой казенной мебелью, и не было у него немецких ботинок, финских шерстяных свитеров, удивительных ножичков в кожаных футлярчиках, и не приносил он в школу завернутые в папиросную бумагу бутерброды с ветчиной или сыром, от которых шел запах по всему классу.

Глебов не очень-то охотно ходил в гости к ребятам, жившим в большом доме, не то что неохотно, шел-то с охотой, но и с опаской, потому что лифтеры в подъездах всегда смотрели подозрительно и спрашивали: «Ты к кому?» Надо было называть фамилию, номер квартиры, иногда



лифтер звонил в квартиру и выяснял, действительно ли там ждут в гости такого-то. Стоять и ждать, пока он выяснит, было неприятно. Лифтер, разговаривая, поглядывал зорким и неподкупным оком, как бы опасаясь, что Глебов юркнет в лифт и уедет без разрешения, а Глебов чувствовал себя почти злоумышленником, пойманным с поличным. И никогда нельзя было знать, что ответят в квартире: у Моржа была глухая домработница, которая ничего не могла ни понять, ни объяснить, а у Химиуса часто снимала трубку бабка, вредоносная старуха, следившая за внуком с неусыпной бдительностью. Однажды она сказала лифтеру: Глебова не пускать, потому что Химиус не сделал уроков. И лишь когда Глебов приходил к Антону, он не испытывал мучительства допросов и переспросов — квартирка Антона находилась на первом этаже и лифтер с суровой внимательностью просто следил за Глебовым, как тот звонит, как ему отпирают. Глебов заметил, что и ребята, жившие в доме, побаивались лифтеров и старались прошмыгнуть мимо них побыстрей.

Но Левка Шулепников, хотя и недавний жилец, держался иначе. Лифтер в его подъезде, сумрачный, с вислыми щеками очкарик, первый поздоровался с Шулепой кивком головы и даже как-то чуть дернулся за своим большим столом, на котором стоял телефон, а Шулепа прошел мимо, не обратив внимания. В лифт влезли с трудом пять человек, едва закрыли дверь. Лифтер пытался остановиться, но как-то застенчиво, со смешком: «А вы, молодые люди, не встрянете промеж этажей?» Левка отвечал лихо: «А, ничего! Рискнем?» Все, конечно, орали: «Рискнем! Сделаем опыт! Проверка человекоподъемности!» Лицо очкарика, когда лифт поднимался, выражало застылый испуг.

В квартире, поразившей Глебова гигантскими размерами — коридоры и залы напоминали музей, — продолжался настрой дурашливости и молодецких проделок. Сняли ботинки и пустились кататься в носках по блестящему, натертому паркету, падали, натыкались друг на друга, хохотали, было очень весело. Вдруг из

белой с матово-пупырчатым стеклом двери вышла старая женщина с папиросой во рту и сказала: «Это что за бандитизм? Немедленно прекратите! Надевайте ботинки и марш в детскую!» Левка, ворча, подчинился. Спросили: это, что ли, его мать? Он сказал, что это Агнесса. Учит его тетку французскому языку и ябедничает матери. «Я ее когда-нибудь отравлю мышьяком. Или изнасилую». Все прыснули со смеху, одновременно изумившись. Уж он скажет так скажет! Ни у кого не повернулся бы язык произнести это слово, значение которого все понимали — хотя самые неприличные слова произносили без зазрения совести, — а Левка выговорил его в применении к себе и к старухе с папироской этак свободно, легко. И чем отчетливей ощущал Глебов особенные качества Левки Шулепникова, тем сильнее сгущалось то саднящее, тяжелое, что потом превратилось в свинец.

А Шулепников так привык с тех дурацких лет произносить это слово безо всякого смысла, а просто как пустую угрозу или немудрящую шутку, что повторял ее и позже, уже взрослым балбесом, в институте. Разобидится на какую-нибудь преподавательницу и: «Если она мне тройку не поставит, я *ее изнасилую*».

И вот в детской, заставленной какой-то странной бамбуковой мебелью, с коврами на полу, с висящими на стене велосипедными колесами и боксерскими перчатками, с огромным стеклянным глобусом, который вращался, когда внутри зажигалась лампочка, и со старинной подзорной трубой на подоконнике, хорошо укрепленной на треноге для удобства наблюдений — Левка сказал, что вечерами можно прекрасно проводить время, разглядывая окна на другой стороне двора, — в этой комнате разрушилась хрупкая глебовская власть. Впрочем, этого никто не заметил, кроме него самого. Левка принес киноаппарат, повесил на стену простыню и показывал кино: «Голубой экспресс». Аппарат трещал, старая лента рвалась, надписи неразборчиво мелькали, и все же был общий восторг, а Глебов чувствовал себя внезапно и глубоко оскорбленным. Он думал: но почему же, черт возьми, у одного человека должно быть все, абсолютно все? И даже

то единственное, что есть у другого человека и чем он может немного погордиться и попользоваться, отнимают и дают тому, у кого есть все. Потом понемногу привык. Привыкают ко всему, даже к непосильной тяжести: тучники таскают по тридцать килограммов лишнего веса и принаравливаются.

Глебов привык к большому дому, затемнявшему переулок, привык к его подъездам, к лифтерам, к тому, что его оставляли пить чай и Алина Федоровна, мать Левки Шулепы, могла потыкать вилок в кусок торта и отодвинуть его, сказав: «По-моему, торт несвеж», — и торт уносили. Когда это случилось впервые, Глебов про себя поразился. Как может быть торт несвеж? Ему показалось это совершенной нелепостью. У него дома торт появлялся редко, ко дню чьего-нибудь рождения, съедали его быстро, и никому не приходило в голову выяснять, свеж он или не свеж. Он всегда был свеж, великолепно свеж, особенно такой пышный, с розовыми цветами из крема.

Глебов привык и к своей квартире, когда возвращался в нее после посещений большого дома. Первое время бывало как-то тоскливо, когда он видел вдруг, будто со стороны, свой кривоватый домишко с бурой штукатуркой; когда поднимался по темной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты; когда подходил к двери, обсаженной, как старое одеяло заплатами, множеством табличек, надписей и звонков; когда погружался в многослойный керосиновый запах квартиры, где всегда что-нибудь кипятилось в баке и всегда кто-нибудь варил капусту; когда мыл руки в бывшей ванной комнате, тесной от досок, закрывавших саму ванну, в которой никто не мылся и не стирал белье, а на досках стояли принадлежавшие разным жильцам тазы, корыта; когда многое другое видел, ощущал, замечал, возвращаясь от Левки Шулепникова или от кого-нибудь из большого дома, но понемногу все сглаживалось, мягчало и переставало задевать.

Однажды, когда, вернувшись из гостиной, он, возбужденный, описывал, какая люстра в столовой шулепниковской квартиры, и какой коридор, по которому можно

ездить на велосипеде, и что за конфеты были к чаю — поразили не сами конфеты, а размеры коробки, — а мать и бабушка с любопытством выпрашивали про то, про другое, отец вдруг сказал, подмигивая Глебову:

— Послушайте, мне сдается, вы хотели бы жить в том доме?

— А почему бы нет? — сказала мать. — Хочу иметь собственный коридор.

— А я хочу, чтоб судками не дренькали, — сказала баба Нила, страдавшая оттого, что соседка, которая жила в комнате напротив и приходила с работы поздно, начинала в двенадцатом часу шастать из комнаты в кухню и обратно, и все почему-то с судками, которые дренькали. Баба Нила спала на сундуке у дверей, и беготня соседки, дреньканье посуды ее будили. Отец посмотрел на мать и бабу с сожалением.

— Что вам сказать? Курочки вы рябы, дурочки вы бабы...

Таковы были его шутки, вполне незлобивые. Он и мать ласково называл «курочкой рябой». Женщины притворно возмущались, напускались на него, махая руками — на самом деле мать никогда на него по-настоящему не сердилась, — а он толкал Глебова, подмигивал.

— Нет, Димыч, какие клуши... Какие колоссальные курицы... Да неужто вы не понимаете, что без собственного коридора жить куда просторней? А дреньканье судков — это же музыка! Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду...

Несмотря на то что отец всегда был настроен полушутливо, легкомысленно, всегда над матерью, над бабушкой и тетей Полей, маминой сестрой, немного насмешничал, разыгрывал их, попугивал, и порой трудно было понять, всерьез он или дурачится, но поистине — Глебов понял это не сразу, когда повзрослел — он был человек вовсе не легкомысленный и не такой уж весельчак. Все это было понарошке, домашний театр. А внутри отцовской природы, скрытым стержнем, вокруг которого все навивалось, было могучее качество — осторожность. То, что он говорил, посмеиваясь, в виде шутки — «Дети мои, следуйте

трамвайному правилу — не высовывайтесь!» — было не просто балагурством. Тут была потайная мудрость, которую он исподволь, застенчиво и как бы бессознательно пытался внушать. Но для чего *не высовываться*? Кажется, ему представлялось это важным само по себе. Может быть, его душил, как душит грудная жаба, какой-то давнишний и неизжитый страх. Он был намного старше матери, выглядел стариком, курчавым и седым стариком, хотя ему было лишь около пятидесяти, да ведь эти пятьдесят — борьба, невзгоды, выбивание из сил. Он вышел из очень бедной семьи конторщика, служившего на заводе Дуксы. Брат отца, дядя Николай, был летчиком, одним из первых русских летчиков, погибших на германской войне. В семье им гордились. Больше гордиться было нечем. Портрет дяди Николая в гимназической фуражке висел на видном месте. И вот в дружбе с Левкой Шулепниковым, которая крепла — Левка непонятно почему льнул к Глебову, приглашал домой, дарил книги, к которым сам был равнодушен, ко всем книгам вообще, и было подозрение, что потаскивал из отцовской библиотеки, потому что на некоторых стояли сделанные синей печатью изображения человека с молотом, лучи солнца и надпись: «Из книг А. В. Ш.», — даже в мальчишеском приятельстве отец видел какие-то опасности и предлагал «не высовываться». Он советовал Глебову бывать в том доме пореже, не обольщаться дружбой с Левкой, потому что «у Шулепниковых своя линия жизни, у тебя своя и мешаться не надо».

Почему-то ему казалось, что Глебов непременно скоро надокучит Левке Шулепникову или, того хуже, его родителям и от этого произойдут неприятности. Глебов и сам чуял это нутром, ему самому *не хотелось* бывать в большом доме, и, однако, он шел туда всякий раз, когда звали, а то и без приглашения. Там было заманчиво, необыкновенно — о чем только не болтали с Антоном, какие только книги не показывала Соня Ганчук из отцовских шкафов и какими чудесами не похвалялся Шулеха! — а дома все было знакомо до ниточки, все глушь, скукота.

Впрямую отец не говорил ничего, все намеками, шуточками. Глебову же хотелось услышать про Левку отчетливо.

— А почему ты так говоришь? Чем тебе Шулепа нехорош?

Ведь то, чем Левка был *нехорош* Глебову, вернее, что возбуждало то гадостное, свинцовое, отцу было невдомек. У отца были какие-то другие счета. Отец уклонялся объяснять или же выставлял что-нибудь смехотворное, вроде: «Видишь ли, в принципе, я не против твоего Левки, или Шулепки, как ты его называешь. Кстати, советую эту кличку оставить... Называй его просто Львом... Дело в том, что он скверно воспитан. Он, например, не благодарит, когда встает из-за стола после чая».

Разумеется, это был вздор, отец хитрил. Левка не нравился ему по каким-то иным причинам, более существенным. Но когда Левка приходил в гости, отец бывал с ним приветлив, даже весьма любезен, как со взрослым, и называл его внушительно «Лев», что Глебова смешило. Кроме того, отец в присутствии Левки становился неумеренно многословен, рассуждал на разные темы и, что Глебова коробило, как-то привирал и хвастал.

Однажды он, рассказывая про дядю Николая, сообщил, что тот был первый русский летчик, сбивший в одном бою три аэроплана, в том числе аэроплан знаменитого аса графа фон Шверина. Аэроплан графа разбился, но граф чудом остался жив и вновь стал летать, заявив, что его мечта — встретиться в воздушном бою с тем русским и отомстить ему. Было напечатано во всех газетах.

Глебов слушал, изнывая от неловкого чувства. Отец сказал:

— Даже ты этого не знаешь. Я тебе никогда не рассказывал.

А Левка Шулепников сказал:

— Вы тогда говорили, что он сбил два аэроплана.

— Я? Не может быть! Я не мог говорить, что два. Тогда бы это не считалось рекордом. Два — это не рекорд. В том-то и дело, что он сбил три аэроплана в одном бою...

В другой раз отец рассказывал, как во время гражданской войны он служил на Кавказе под командованием товарища Кирова — какая-то служба на Кавказе имела место, это верно — и как побывал с кавалерийским отрядом в Персии, где видел огнепоклонников. Левка Шулепников тут же наврал про своего отца: будто тот в Тифлисе собственной рукой застрелил факира. Отец сказал, что видел в Северной Индии, как факир на глазах выращивал волшебное дерево. (В Северной Индии отец никогда не был, это уж точно.) А Левка сказал, что его отец однажды захватил шайку факиров, их посадили в подземелье и должны были расстрелять как английских шпионов, но, когда утром пришли в подземелье, там никого не оказалось, кроме пяти лягушек. Факиров было как раз пятеро.

— Надо было расстрелять лягушек, — сказал отец.

— Так и сделали, — сказал Левка. — Но знаете, как трудно расстрелять лягушек? Особенно в подземелье!

Отец смеялся, грозя лукаво и одобрительно пальцем.

— Я вижу, Лев, ты любишь фантазировать! Это хорошо, это мне по душе. Шутки шутками, а я действительно видел живых факиров... Во-первых, в Северной Индии, как я уже говорил, и, во-вторых, у нас в Москве, на Страстном бульваре...

Они были чем-то похожи, отец и Левка Шулепников. Поэтому разговоры их так ладно и споро текли. Глебову это не нравилось. Его раздражала неправда. Не то, что отец привирал, а то, что за глаза одно, а в глаза другое. Он сказал отцу:

— Ведь Левка тебе не нравится. Зачем же ты так? Улыбаешься, рассказываешь... Как будто он твой начальник...

И тут отец рассердился. Он почти никогда не сердился, не кричал, а тут стал кричать:

— Молокосос! Делает мне замечания, маленький нахал! — Было его любимое: «маленький нахал». — Я улыбаюсь и что-то вам рассказываю только потому, что я воспитанный человек. Это вы привыкли: Левка! Димка! Эй! Ты! Буза! Невероятное нахальство — делать замечания отцу.

Он так раскипятился, что пожаловался матери и бабе Ниле, и те тоже напали на Глебова. Но вечером Глебов подслушал, как мать и отец шептались за ширмой:

— И чего ты перед этим хлыщиком турусы разводишь...

— Он нахал! Учит отца!

— А ты не стелись, как это...

— Дураки вы! Не понимают!

Потом, поостыв, спустя день или два отец объяснял спокойно:

— Кстати, насчет того, что ты давеча говорил... Будто я с твоим Левкой, как с важной персоной... А знаешь, неглупо заметил! Он и есть — ну, не Левка, скажем, а его родитель — действительно *персона*, хотя я о том знать не знаю, ведать не ведаю. Потому, что все кругом перепутано, перевязано...

И вскорости подтвердилось: верно, перепутано одно с одним. Вдруг затеялась заваруха с дядей Володи, мужем тети Поля. Стали думать: можно ли ему помочь через Левкиного отца, Шулепникова? Дядя Володя и тетя Поля жили на Якиманке, но прибегали чуть ли не каждый день, особенно тетя Поля. Мать и бабушка ее любили. Она считалась в семье самой красивой, удачливой, работала в хорошем месте: модельером на фабрике игрушек. А дядя Володя — наборщиком в типографии. С ним вышла неприятность, обвинили чуть ли не во вредительстве. Тетя Поля плакала: «Тось, ну какой Вовка вредитель? Он же себе вредит, больше никому...» Себе вредил сильно, потому что был пьяница. Отец его постоянно корил. А мать и бабушка то жалели тетю Полю, а то и ругали ее: «Сама, дура, виновата, сама распустила! Зачем ты ему покупаешь?» — «Да пусть уж дома, — оправдывалась тетя Поля, — чем на улице с кем попало».

Баба Нила и мать доказывали, что из-за этого, из-за вина, и неприятность случилась, но тетя Поля не соглашалась: «Его люди погубили. Он ведь человек-то какой!» И правда, человек был очень хороший, бесхитростный. Но Глебов тогда еще догадался, что от таких мягкодушных да бесхитростных всем вокруг пагуба: тетя Поля плачет, баба Нила страдает, мать только об этом и думает, а отец



ругается. Хотели весной велосипед Глебову купить, но мать сказала: сейчас денег нет, надо Полине помогать.

И вдруг додумались: к Левкиному отцу...

То отмахивались и пальцем грозили: ты, мол, от них подальше, не хороводься, а теперь за помощью к Левке. Потому что всех поразила история с Бычками.

Бычки или Бычковы, веселая семейка, жили в глебовской квартире, как паны. Все их боялись, на всех они цыкали и творили, что хотели. Запрут кухню с вечера и никого не пускают. Хоть в милицию бежать, хоть куда. Старик Бычков Семен Гервасиевич кожи в вонючей воде мочил. Он на дому сапоги тачал, самые дорогие, новомодные, и большей частью не сам тачал, а давал работенку, сам только заказчиков добывал, кожу.

Из-за ночного запираения кухни сколько бывало голошенья! Соседка, что жила напротив и приходила поздно, горячилась больше всех. Мать Глебова тоже возмущалась. Во-первых — вонь. Во-вторых — самоуправство.

Иногда мать выскочит, закричит:

— Да я вас!.. Да с какой стати!

Старик Семен Гервасиевич низким голосом: бу-бу-бу. Отец с неохотой выползал в коридор. Все Бычковы тут же вываливались из «залы» — большую комнату, где жили шшестером, они называли почему-то залой, — и бу-бу-бу становилось всеобщее, громовое. Как будто гроза гремела и дождь колотил. Но главные гаденыши были Минька и Таранька. Тараньке было десять, учился он в третьем, а Миньке — пятнадцать, тот нигде не учился, потому что в пятом классе два раза оставался, выгнали, пошел куда-то учеником, бросил. И занимался какими-то неясными делами, пропадал в парке в бильярдной и, может быть, даже с ворами шился.

Минька Бычок, он же почему-то Хлебало, был некоронованный мальчишечий царь Дерюгинского переулка и окрестностей. И царь недобрый. Встречаться с ним боялись, все знали, что он ходит не с пустыми руками.

Бывало, прибежит в школу после уроков и давай допрашивать:

— Кто вчера к Тарасу залупался? Кто его на лестнице цапал? Ты, гад?

А он уж знал кто, потому что Таранька пожаловался или наврал. Этого золотушного Тараньку трогать остерегались, но были, конечно, люди неосведомленные, про Миньку не знавшие — а Таранька вел себя нагло, — они отваливали спроста затрещину или щелчок по кумполу, не догадываясь об ужасных последствиях. Минька устраивал во дворе у кирпичной стены, куда он затаскивал своих жертв, краткое жестокое судилище.

— И как ты мог, сучонок, мово брата обидеть? Что ли, жизнь надоела?

Юрку Медведя, силача, который десятиклассников не боялся, он унизил и растоптал на глазах у всех. Вывернул ему руки за спину, тот закричал от боли, а Минька еще сильней выворачивает, так что Медведь на колени рухнул, и приказывает:

— Говори: прости меня, Тарас Алексеевич, за то, что вас обидел... И никогда больше не буду!

И Таранька, маленький такой мозглячок с рыжими ресницами, стоял тут же и усмехался. Медведь терпел изо всей мочи, стонал, зубами скрипел и головой мотал — не хотел говорить, — а все-таки Бычок его пересилил. Таранька подошел к нему вплотную, прямо придвинул свои ноги к его лицу. И Минька давил его, давил:

— А ну рожай, гад, слышь? А то руки нет!

Медведь и вышептал еле слышно:

— Прости меня, Тарас Алексеевич... — и все остальное.

Никто за него не заступился: больших ребят во дворе не было, а маленьким разве сладить? Глебов Миньку Бычка тоже побаивался, но не так, как другие. Все-таки Минька был соседом. То просил что-нибудь, то сам давал. Иногда Глебов потихоньку гордился: все вот трухают в Дерюгинский переулок ходить, там Минька Бычок со своей шайкой, а он ничего, не трухает. Может ходить по переулку и поздно вечером, и ночью, никто его не тронет. Это свое преимущество Глебов ощущал остро, он даже чувствовал — с некоторым тайным стыдом, сам себе не признаваясь, — что в трудную минуту мог бы стать

немножко Таранькой. И Минька бы за него заступился! Надавал бы кому следует.

Но Глебов никогда Миньке ни на кого не жаловался. Вообще не использовал всех выгод Минькиного соседства. Потому что под тайным самодовольством пряталось в глубине совсем другое — страх, леденящий душу. Такой страх, какого не видал никто. Потому что никто, как Глебов, не знал и не чуял всех этих Бычковых, от голоса которых мать бледнела, а бабушка крестилась.

Мать твердила:

— Ради бога, ни с Минькой, ни с Таранькой ни в чем никогда не связывайся...

А как не связываться, когда сами лезут? Попробуй не свяжись... Была у них сестра Вера, девчонка лет шестнадцати. Работала на фабрике. Выглядела совсем как взрослая женщина — а может, так казалось Глебову, — вся толстая, грудь торчком, туфли скрипучие, и всегда от нее сильно пахло одеколоном.

Таранька выманит Глебова в коридор и пристаёт:

— Хочешь, Верку голую покажу? Давай двадцать копеек!

Глебов, конечно, не хотел. Совершенно его не интересовало смотреть на голую Верку. Одна мысль об этом вызывала неприятное беспокойство. А еще где двадцать копеек взять? У матери воровать или у бабы Нилы просить? Но Таранька приставал злобно, настырно и собакой страдал: была у Бычков черная большая собака по кличке Абдул, считавшаяся Минькиной собственностью. Абдул Глебова хорошо знал, но все-таки, если бы стали натравливать, неизвестно, чем бы кончилось.

Шли в ванную, снимали с досок корыто, ставили табуретку, Глебов на нее забирался. Наверху было окошко, ведущее в «залу», закрытое оттуда занавеской. Таранька отодвигал изнутри занавеску, и Глебов смотрел, как Вера моется посреди комнаты в тазу. Вера почему-то Тараньку не стеснялась. Глебов видел все...

Потом Таранька впивался, как клещ: двадцать копеек гони немедленно! Все у них так — дай, подай тотчас! Не раз было, мать приходит в комнату расстроенная, чуть ли не в панике:

— Опять Алевтина швейную машину требует... Что сказать?

Алевтина — мать Миньки, Тараньки и Веры, жена старшего Бычка. Давать машину матери очень не хотелось. Она и так, и этак отлынивала, хитрила, но та все равно добивалась. Отвязаться от Бычковых не было возможности.

А кончилась их власть так. Как-то забежали в Дерюгинский переулочек Антон и Левка, зачем неизвестно, бежали они не к Глебову. Может, хотели пройти Дерюгинским переулком на набережную Канавы, был там проход дворами. Бычки их засекли, сначала пустили Тараньку с глупыми разговорами: «Эй, парень, а по ха не хо?» Значило: по харе не хочешь? Собственно, это был вызов на драку. С Таранькой, конечно, толковать не стали, отмахнулись, тут вся бычковская свора высыпала из подъезда — у них так шло по сценарию, — завертелась драка, кто-то выпустил Абдула, он, кажется, не покусал никого, но напугал сильно и одежду порвал. Левке-то что, а у Антона всякая тряпочка была на счету. На другой день в глебовскую квартиру пришел человек в кожаном длинном пальто, сразу стал стучать в «залу». Там громко завыл Абдул.

Старик Семен Гервасиевич и Алевтина с Таранькой были дома. Какой-то шум, разговоры, Алевтина кричала, собака лаяла с визгом — Глебова не пускали из комнаты, и вся семья Глебовых решила не выходить в коридор, сидела, прислушиваясь, — потом бухнуло три выстрела... Абдулка, говорят, забился под диван, не хотел вылезать.

Глебов был разочарован: он считал пса грозным и смелым, а тот вел себя как трусишка. Собаку и Бычковых, особенно Алевтину с Таранькой, которые рыдали, было немного жаль, хотя в квартире радовались. После гибели Абдула все у Бычковых как-то разом скособоилось и рухнуло. Миньку арестовали по воровскому делу, старик Семен Гервасиевич упал посреди двора, и его отвезли в больницу, а вскоре все остальные Бычковы сгнули неведомо куда, точно их ветром смело. И в «зале», перегороженной надвое, обклеенной новыми обоями,

поселились смиренные жильцы Помрачинские, муж, жена и девчонка Люба, они бегали по коридору незаметные, как мышки, и разговаривали друг с другом всегда шепотом.

Я помню все эту чепуху детства, потери, находки, то, как я страдал из-за него, когда он не хотел меня ждать и шел в школу с другим, и то, как передвигали дом с аптекой, и еще то, что во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах, особенно в большой отцовской, и, когда шел трамвай по мосту, металлическое брнчание и лязг колес были слышны далеко. Помню: взбежать одним духом по громадной боковой лестнице моста; наткнуться вечером под аркой на летучую дерюгинскую братву, бегущую из кино, как стая койотов; идти навстречу, сжав кулаки, деревеня от страха.

Все детство окутывало багряное облако тщеславия.

О, эти старания, жажда секундной славы! Мир был мал, человека четыре, пять — Антон, Химиус, Морж, ну, может быть, еще Соня и Лева и, конечно, смехотворный Ярик, — и в этом космосе клокотало наше вожделение: доказать. Нежная, сочащаяся, алая плоть детства. Все было ни с чем не сравнимо. Впервые в жизни выбежал на набережную во время перемены, на залитый солнцем асфальт. Впервые догадался, что весна — это просто ветер, от которого холодно и стучат зубы. Худой изгибающийся человек в коротенькой курточке, в большом дамском берете кирпичного цвета шел быстро по тротуару и разговаривал сам с собой. Безумная озабоченность съедала впалые щеки, проваленные глаза. Прочитав мельком название нашей школы, он вдруг остановился и закричал:

— Этого не может быть! Этого не должно быть в природе! Вы слышите? — Он кричал не нам, теснившимся испуганной кучкой у парапета набережной, а кому-то незримому, кого сжигал его ненавидящий взгляд. — Средняя школа ЛОНО! Какое ЛОНО? Что за бред? Боже мой, понимают ли, что творят?

И еще что-то гневное, сверкая очами. Вдруг он прыжком вскочил на узкий гранитный брус ограды и прошел

по нему несколько шагов с такой легкостью, будто шел по тротуару. Мы замерли, девчонки вскрикнули от ужаса. Человек в берете как будто заметил нас и, остановившись и глядя сверху, произнес:

— Несчастливые дети!

После чего лунатическим шагом пробежал несколько метров по барьеру, прыгнул и быстро стал удаляться в сторону Москворецкого моста. Впервые в жизни я видел безумца. Этот человек ошеломил всех. Когда он удалился на порядочное расстояние, мы стали дико хохотать. Химиус подошел к гранитному барьеру и взобрался на него, помогая себе руками. Мы видели, что он трусит, у него не было сил разогнуться, и все же он первый встал ногами на барьер и, скорчив страдальческую мину, подняв руку, воскликнул: «Несчастливые дети!» — и затем повалился мешком на тротуар. Мы хохотали. Но вот Антон Овчинников, смертельно бледный, с закушенными губами подошел твердыми шагами к барьеру и тоже взобрался на него, встал, выпрямился, расставил руки, как канатоходец...

Мы знали, что у Антона плоскостопие, что он близорук, что с ним случаются приступы падучей, но никто не остановил его. Нас всех поразило безумие. Показалось, что ходить и даже бегать по барьеру невероятно легко. Следом за Антоном полез грузный толстяк Жорик, по кличке Морж, и тоже прошаркал по граниту, не отрывая подошв и сгорбившись, как обезьяна, но, когда прыгнул на асфальт, ноги его подломились и он упал на колени. Потом полез я, потом Ярик.

Это было не так уж трудно. Главное, ни о чем не думать и не смотреть под ноги, на каменную тропу барьера. Ужасный вопль Никфеда вырвал нас из странного сна. Вероятно, этим воплем был спасен Ярик, самый неловкий и незащитный из нас, не умевший ни бегать, ни бороться, ни «стыкаться» на заднем дворе школы, где происходили кулачные дуэли «до первой кровянки». Ярик был рыжий, белолицый и весь какой-то мягкий, как резиновая игрушка. Он напоминал птицу, не умеющую летать. Его били ребята из других классов, которым

не терпелось кого-нибудь побить. Соблазнительная добыча: такой большой и такой бескостный. Однажды его побил третьеклассник. Все дело в том, что Ярик просто-напросто не мог никого ударить, пальцы его не сжимались в кулак, поэтому он не сопротивлялся, когда на него наскакивали даже малыши. А мы всегда защищали Ярика, из-за него разыгрывались сражения, ведь он был принадлежностью нашего класса, и те, кто поднимал на него руку, оскорбляли всех нас. Вдруг кто-нибудь орал: «Ярку бьют!» — и мы мчались сломя голову на второй этаж или на третий, под крышу, в гимнастический зал или во двор, где подлецы распорядились нашим Яриком, как своей собственностью: валтузили его в уголке или же заставляли в лошадином качестве возить какого-нибудь ухаря на закорках. Но вот тогда, на набережной, когда он приблизился к барьеру и с отчаянным видом закинул на него свою длинную ходулю, согнутую в колене, мы смотрели на Ярика с радостным интересом, ожидая забавное зрелище. Между тем он наверняка бы свалился в воду и утонул.

Тогда это началось: испытывать волю. После того как по барьеру научились не только ходить, но и бегать почти все *из нашей компании*, кроме парня, у которого одна нога волочилась, он был освобожден от физкультуры, Антон выдумал другое испытание — пройти вечером Дерюгинским переулком. Это было гнуснейшее местечко на острове и, пожалуй, в целом Замоскворечье. Там гнездилась подозрительная публика. Разбойники, для которых не было ничего святого, клятвопреступники и разорители мирных и купеческих караванов, флибустьеры и авантюристы, пиратская шайка, вроде той, которую возглавлял одноногий Сильвер. Всякого пацана, забегавшего в переулок, они бессовестно грабили: у одного гривенник, у другого пятиалтынный, у третьего отнимали вставочку или ножик. Родители запрещали туда ходить.

Но зато уж если те попадали в наши дворы!

Антон занимался джиу-джитсу. Занятия заключались в том, что с утра до вечера — на переменах, на уроках, дома, читая книгу или слушая музыку по радио — стучал

ребром правой ладони по твердому. Ладонь должна была стать, как железо. Он называл это: бронировать ладонь. И, как все у Антона, благодаря его нечеловеческому упорству и самодисциплине дело бронирования подвигалось успешно. Месяца через два ладонь украсилась жесткой мозолью. Ни у кого из нас не хватило бы на это терпения. И, когда они выскочили из подъезда и встали перед нами, загораживая дорогу, и некий Минька, по кличке Бык — когда-то учился в нашей школе, здоровенный детина, у него уже усики пробивались, — спросил: «Вы чего тут не видели? К Вадьке прете?» — Антон ответил: «Нет!» Антон и Лева иногда заходили к Глебову. Они считали, что он парень ничего, не очень-то большой *оглоед*. Большинство ребят в нашем классе были, конечно, *оглоеды*. Но теперь Антон решительно ответил «нет!», хотя, если бы он сказал «к Вадьке», они бы не тронули нас. Вадька и Бык жили в одной квартире. Если б мы крикнули «Эй! Батон!» — Вадьку Глебова звали Батоном — и Вадька выглянул бы из окна, драки могло не быть.

Но в том-то и дело, что Антон придумал все это, чтобы испытать нашу волю, и мы не должны были облегчать испытания. Лева Шулепников нарочно не взял пугача. А бедный Антон Овчинников совсем не выглядел богатырем и атлетом — потом, после той драки, о нем пошли по дворам легенды, — он был коренаст, невысок, один из самых малорослых в классе, и ходил к тому же до поздних холодов в коротких штанах, закаляя свой организм, что придавало ему чересчур мальчиковый вид. Люди, его не знавшие, не принимали его всерьез. И еще он надевал очки, когда ходил в кино или отправлялся в загородные путешествия. Тогда, в переулке, он, кажется, был в очках. Поэтому, когда те начали лениво к нам приставать — одному подставили ножку, другому дали тычка, у Антона сделали попытку сорвать с носа очки, — произошло вдруг нечто, как взрыв бомбы: Антон ударил обидчика ребром ладони в живот и тот упал. Он ударил второго, тот упал тоже. Он замахнулся на третьего... Они падали как-то мгновенно, без крика, без лишних движений, будто по собственному желанию, как хорошо натренированные



клоуны на ковре в цирке... Это были сказочные секунды... Потом нас страшно избили.. И еще эта собака... Антон лежал месяц дома с забинтованной головой... И при этом мы чему-то безмерно радовались! Чему мы радовались? Так странно, необъяснимо. Мы навещали Антона в его темноватой квартире на первом этаже, где не бывало солнца, где на стенах рядом с портретами композиторов висели его акварели, желтоватые с голубым, где молодой, выбритый наголо человек с ромбами в петлицах смотрел на нас с фотографии в толстой деревянной раме, стоявшей на пианино — отец Антона погиб в Средней Азии, убитый басмачами, — где всегда было включено радио, где в потайном ящике письменного стола лежали стопкой толстые тетради за пятьдесят пять копеек, исписанные бисерным почерком, где в ванной шуршали по газетам тараканы — в том подъезде во всех квартирах были тараканы, — где мы ели на кухне холодную картошку, посыпали ее солью, заедали замечательным черным хлебом, нарезанным большими ломтями, где мы хохотали, фантазировали, вспоминали, мечтали и радовались чему-то, как дураки...

И опять возникал разговор о дяде Володе: можно ли ему помочь через отца Шулепникова? Теперь казалось, что тот — человек могущественный. Затевала разговор мать. Отец колебался. «Не надо обременять людей, — говорил он, сильно нервничая. — Для Шулепникова это мелкое дело, просить неудобно». Мать говорила: «Ты Володю никогда не любил. А мне он родной. И я жалею Полину, ребяташек. Нет, я непременно попрошу Леву, чтобы он поговорил с отцом». — «Я запрещаю это делать!» — однажды крикнул отец.

Мать редко вступала в споры с отцом, но делала обыкновенно по-своему. Однажды Левка Шулепа прибежал вечером — Глебов помогал ему по алгебре, да и просто так, потрепаться, — сели пить чай с баранками, Левка любил пить чай у Глебова, жаловался, что дома баранок не покупают. И мать вдруг заговорила про дядю Володю. Насчет того, чтобы как-то узнать и помочь, потому что

недоразумение. Левка согласился легко: «Хорошо, я бате скажу». Мать протянула бумажку с фамилией. Написала заранее. Глебов почти физически почувствовал, как напрягся и сжался отец, который мешал ложечкой сахар в стакане, и вдруг движение руки, звяканье ложечки прекратились, он замер, не поднимая головы. А мать улыбалась, глаза ее блестели, и, когда она приблизилась, Глебов почувствовал, что от нее пахнет вином. Ему выступление матери тоже не очень понравилось, потому что Шулепа был все-таки его товарищ и если о чем-то его просить, то делать это положено ему, Глебову.

Когда Левка ушел, отец набросился на мать с попреками: «Как тебе не стыдно? Ты пьяна! В пьяном виде заводишь разговор!» Мать, конечно, говорила, что неправда, что не пьяна и чтоб он не молол ерунды. Да она и не была пьяна, просто чуть выпила для куражу. Отец расплялся, кричал, что за себя не отвечает, снимает с себя ответственность, было непонятно, в чем суть угроз. Он вообще любил туманно грозить. Редко видел Глебов отца в таком волнении. Он даже кулаком стучал по столу и кричал в гневе невнятное: «Я для вас все! Каждый шаг! А вы, черт бы вас взял! Куриные мозги!» Только потом Глебов сообразил, что отец насмерть перепугался. Еще у него была черта: по-настоящему сердился совсем не из-за того, о чем говорил вслух. Истинную причину следовало угадывать. Это бывало трудновато, порой невозможно. Но вот, когда он обличал мать за рюмку, выпитую впопыхах в подвальчике на Полянке, причина была ясна: разговор насчет дяди Володи. Ведь запрещал категорически! А мать не послушалась.

И только в конце, отведя душу, наоравшись, сказал как бы между прочим: «А насчет Володьки глупое дело... И как у тебя, у дуры, язык повернулся?» Мать расплакалась. Отец огорчился, ушел куда-то, стукнув дверью.

А баба Нила спокойно сказала Глебову: «Дим, ты Левке своему напхни. Тут шуми не шуми, боись не боись, а помогать надо...»

Всегда баба Нила умела сказать что-то простое, тихое, хотя рядом безумствовали, кричали вздор. Глебов любил

эту маленькую, калачиком гнутую старушонку с седым впрожелть аккуратным пучочком на затылке, с дробным, желтоватым личиком, всегда она колготилась по дому, возилась, шаркала, сновала туда-сюда. Одна весь дом тащила, с утра до поздноты на ногах. И она одна, казалось Глебову, понимает его *иногда*.

Как-то морозным днем Глебов сидел в комнате Левки Шулепы, играли в шахматы, и вдруг зашел Левкин отец. Был еще третий парень, играли навывлет. Старшего Шулепникова Глебов видел редко, раза три или четыре за всю жизнь. Левка говорил, что батя работает круглые сутки, дома не бывает и даже спит на работе. Левка называл его батей, хотя он был Левкин отчим, а настоящий отец со странной двойной фамилией умер или же как-то таинственным образом исчез из Левкиной жизни. Прохоров-Плунге! Вот как звали Левкиного отца. Потому что лет двадцать спустя Левка стал носить свою истинную фамилию: Прохоров. Без Плунге. Но это было уже совсем в иной жизни. А между Шулепниковым и возникшим из небытия Прохоровым-Плунге — не им самим, а его именем — был еще третий отец, носивший фамилию Фивейский или Флавицкий. В Левкиных отцах можно было запутаться. Но мать у него всегда оставалась одна. И это была редкая женщина! Левка говорил, что она дворянского рода и что он, между прочим, потомок князей Барятинских.

Алина Федоровна была высокая, смуглая, разговаривала строго, смотрела гордо. Глебову казалось, что она главная в семье и Левка боится ее больше отца. Что-то среднее между боярыней Морозовой и Пиковой Дамой. А сам Шулепников, Левкин отчим, был какой-то неказистый, пучеглазый, небольшого роста, говорил тихим голосом, а лицо поразило Глебова совершенной бескровностью. Таких блеклых неподвижных лиц Глебов у людей не видел. Ходил Левкин отчим в серой гимнастерке, подпоясанной тонким, в серебряных украшениях кавказским ремешком, в серых галифе и в сапогах. И вот он вошел в комнату, посмотрел недолго на шахматную партию и спросил:

— Глебов Вадим — это, кажется, ты?

Глебов кивнул.

— Пойдем на минуту со мной.

Глебов заколебался. Ему не хотелось бросать партию в выигрышном положении — с двумя лишними конями.

— Все! Ничья! — крикнул Левка и смешал фигуры.

Удрученный, думая о том, какой Шулепа хитрый и несправедливый человек, Глебов шел вслед за его отчимом в кабинет. Ему и в голову не могло прийти то, что он там услышал.

— Садись!

Глебов сел в кожаное темно-вишневое кресло, такое мягкое, что он сразу как будто провалился в яму и слегка испугался, но быстро пришел в себя и нашел удобное, спокойное положение. Левкин отчим сказал:

— Мне Лев передал записку твоей матери относительно... — Он надел очки и прочитал: — Бурмистрова Владимира Григорьевича. Это ваш родственник? Так, постараюсь навести справки о нем, если будет возможно. А если нет, тогда уж не взыщите. Но и к тебе есть просьба, Вадим!

Старший Шулепников сидел за громадным столом такой маленький, понурый, устало опустив плечи, и что-то рисовал на листе бумаги.

— Скажи мне, Вадим, кто был зачинщиком бандитского нападения на моего сына Льва в школьном дворе?

Глебов обомлел. Он никак не ожидал такого вопроса. Ему казалось, что та история давно забыта, ведь прошло несколько месяцев! Он тоже был зачинщиком, хотя в последнюю минуту решил не принимать участия. Но кто-нибудь мог рассказать. Все это Глебов сразу сообразил и немного струсил. Видя, что Глебов смутился и молчит, Шулепников сказал строго:

— Это не просто так, не пустяки — напасть на моего сына. Дело тут групповое, но должны быть зачинщики, организаторы. Кто они?

Глебов пробормотал, что не знает. Ему было не по себе. До такой степени не по себе, что что-то заныло и заболело в низу живота. Отчим Шулепы не походил на злого человека, не кричал, не ругался, но в его тихом

голосе и взгляде светлых навывкате глаз было что-то такое, что становилось неуютно сидеть напротив него в мягком кресле. Глебову подумалось, что другого выхода нет и надо сказать. От этого, может быть, зависела судьба дяди Володи. Он сначала схитрил, стал говорить про Миньку и Тараньку, но Левкин отчим резко прервал, сказав, что то дело закончено и никого не интересуется. А вот кто был зачинщиком на школьном дворе? Те лица до сих пор не обнаружены и не понесли наказания. Глебов мучился, колебался, язык не двигался, смелости не хватало, и так они сидели некоторое время молча, как вдруг случилось непредвиденное: в животе Глебова громко, явственно забурчало. Это было так неожиданно и стыдно, что Глебов сжался, втянул голову в плечи и замер. Бурчание не стихало. Но Левкин отчим не обращал на него внимания. Он сказал:

— Видишь ли, у Льва есть большой недостаток — он упрям. Уперся и не хочет давать показаний из ложного чувства товарищества. А ты знаешь, наверно, что он не родной мой сын, он сын Алины Федоровны, и это усложняет дело, потому что я не могу, скажем, применить меры воздействия. Что же делать? Ты обязан помочь, Вадим. Тебе двенадцать лет, ты взрослый человек и понимаешь, как все это серьезно. Это *очень, очень* серьезно! — И он поднял внушительно палец.

Бурчание в животе прекратилось, но Глебов боялся, что оно возобновится каждую секунду. От этого страха он и выпалил: назвал Медведя, который действительно был главный подбивала и которого Глебов не любил, потому, что тот, пользуясь своей силой, иногда давал ему без всякого повода подзатыльники, и назвал Манюню, известного жадину. В общем-то, он поступил справедливо, наказаны будут плохие люди. Но осталось неприятное чувство — как будто он, что ли, кого-то предал, хотя он сказал чистую правду про плохих людей — и это чувство не покидало Глебова долго, наверно, несколько дней.

А потом Левка как-то пришел к Глебову и сказал, что батя просил передать: про дядю Володю узнать не удалось. Никто особенно не огорчился, потому что и так

догадались, что не удалось. Дядя Володя был уже на севере и прислал оттуда письмо. Ну, а с Медведем и Манюней ничего страшного не приключилось. Родителей Медведя перевели куда-то по работе, они уехали из Москвы, и Медведь уехал с ними, а Манюня очень плохо учился, его выгнали из школы, он попал в «лесную школу», оттуда сбежал, связался с блатными и во время войны сидел по уголовным делам в лагере. И был еще такой случай: той весной, когда Манюню выгоняли из школы, он пришел во двор большого дома, подстерег Левку и навешал ему пилюль. Говорили, что из-за одной девчонки, но Глебов-то знал из-за чего.

Все ушло в такую даль, так исказилось, затуманилось, расплзлось, как гнилая ткань, на кусочки, что теперь не поймешь: что же там было на самом деле? Отчего произошло то и это? И почему он поступил так, а не по-другому? Отчетливо сохраняется чепуха. Она нетленна, бессмертна. Например, бурчание в животе. И от того, что случилось потом, спустя несколько лет, когда судьба опять столкнула с Левкой Шулепниковым в институте и опять возникли Соня, ее отец, профессор Ганчук, что же осталось в памяти? Что сидит прочно, как гвоздь со стальной сверкающей шляпкой? Тоже чепуха: как профессор Ганчук после того собрания, где его уничтожали, в кондитерской на улице Горького поедал с жадностью пирожное «наполеон». Глебов случайно проходил мимо и увидел в окно.

Когда осенью сорок седьмого во дворе института Глебов увидел Шулепникова, узнал его, несмотря на то, что за семь лет Левка стал другим человеком — высокий, лобастый, с ранней пролысинкой, с темно-рыжими, квадратиком, кавказскими усиками, которые были не просто тогдашней модой, а обозначали характер, стиль жизни и, пожалуй, мировоззрение, — Глебов кроме изумления, любопытства испытал в первую же секунду удар того забытого, *свинцового*, что навсегда связано с Шулепниковым. Они хохотали, тискали, тузили друг друга, кричали, веселясь — «А это кто такой?», «Что это за тип?», «А что он тут делает?» — и одновременно давила Глебова

знакомая гирька. Опять он был, в своем пиджачке, в ковбойке, в заштопанных брюках, если и не бедным родственником, то бедным приятелем этого именинника жизни. На Шулепникове была прекрасная, из коричневой кожи, со множеством молний американская куртка. Такие куртки попадались в комиссионных магазинах, но редко, и стоили кучу денег. Глебову и не мечтать. Однако он мечтал. В ту пору, когда он часто бывал у Сони Ганчук, где собиралась отборная публика и где он еще не чувствовал себя достаточно уверенно, хотя был старым Сониным другом, он страстно мечтал как раз о подобной куртке. То, что нужно: мужественность, элегантность, крик моды, практичность. Черт знает что бы он не отдал за такую штуку! И, разговаривая, он не мог оторвать глаз от мягких кожаных складок. Левка что-то рассказывал о Германии, о неудачной женитьбе, о бате, о доме, где жил теперь: напротив телеграфа, где коктейль-холл. Глебов тоже рассказывал. Они говорили грубыми голосами о грубых вещах. Война вытряхнула из них мальчишескую начинку, так им мнилось, во всяком случае.

На самом деле они оставались мальчишками.

Глебов сказал:

— Курточка у тебя больно хороша. Где бы достать?

— А пожалуйста, не проблема.

— Нет, верно. Где достать?

— Да я батю попрошу, он скажет одному деятелю...

Через два часа сидели в коктейль-холле на высоких сиденьях — Глебов был тут впервые, сиденья казались нелепыми, неудобными, какие-то птичьи насесты — и, болтая ногами, непрерывно куря, потягивая крепчайший «коблер» и постепенно пьянея, рассказывали друг другу о бурных приключениях семи лет. Много они могли рассказать! Глебов был в эвакуации в Глазове. Мать умерла на улице — остановилось сердце. А Глебов был в это время в лесу, на лесозаготовках, ничего не знал. Левка летал с дипломатическим поручением в Стамбул. Оттуда на самолете с чужим паспортом его перебросили в Вену. Глебов вернулся из леса после похорон, чуть не умер от воспаления легких, его выходила баба Нила.

Потом приехал отец, раненный в голову. Отец не мог делать никакой работы, требовавшей умственного напряжения. Работал штамповщиком в цехе. Морж погиб под Ленинградом. Медведь, Щепа, Химиус неизвестно где. Все рассыпались из того дома кто куда. В доме не осталось никого, кроме Соньки Ганчук. А жена Шулепы была итальянка, Мария, женщина редкой красоты. В Глазове люди гибли от голода, Глебов научился есть суп из травы, пить чай из желудей. Мария была на семь лет старше Левки Шулепы. Одно время ему нравились женщины старше. Но потом надоело. У них вырабатываются комплексы. Нет, женщины Глебова были младше. Все, все, все его женщины были младше, кроме одной. О, эта единственная была фрукт! Ну, как-нибудь в другой раз. Надо долго рассказывать. А когда же погиб Антон? Говорят, осенью сорок второго. Непонятно, как его взяли на фронт: он был совсем больной, близорукий, с припадками. И очень плохой слух. У Антона плохой слух? Конечно, всегда переспрашивал на уроках и садился за первую парту. Но ведь он был поразительно музыкальный, оперу «Аида» помнил всю наизусть. Ну и что? А Бетховен? Да, вот кого жалко — Антошку. Он был гениальным человеком. Конечно, это был гений. Причем в леонардовском духе. Абсолютный гений, тут уж ничего не скажешь. Навестить его мать. Говорят, они очень бедствовали в эвакуации. А его мать живет там же, в комнате на первом этаже, в среднем дворе. В тараканьем подъезде. Левка застрелил интенданта союзных войск, ходил под трибуналом, грозила вышка, но потом выяснилось, что интендант — темная личность, связан с абвером, и Левке хотели дать орден, однако не дали. По-видимому, это была брехня. Но тогда Глебов верил каждому слову и радовался тому, что встретил Шулепу, и готов был отдать за «коблер» последние деньги, чего делать не требовалось, платил Левка. И еще Глебову очень хотелось такую же кожаную куртку.

Потом слонялись вокруг телеграфа, задирались к прохожим, пытались знакомиться с женщинами, милиционер смотрел беззлобно.



Левка хвастался:

— Меня тут знают будь-будь! Они только и живут тем, что я их не трогаю...

Он супился сурово и грозил милиционеру пальцем. Потом поднялись к нему на четвертый этаж. Опять что-то пили. Левкина мать Алина Федоровна осталась совершенно такой же, как была в довоенной жизни. Удивительный факт! Все кругом переменялось, Левка стал здоровенным и лысым, мать Глебова умерла, он сам чуть не умер, сначала в Глазове от воспаления легких, потом много раз, когда бомбили аэродром, и столько людей погибло и исчезло, а мать Левки по-прежнему смуглела худыми щеками, курила папиросы, смотрела косо и странно, щуря глаза.

— Ты, прости, пожалуйста, за пошлый вопрос, еще не женился, Вадим? Молодец, ты всегда был рассудительный. Не обижаешься, что говорю тебе «ты»?

И голос прежний: сипатый, ленивый, чуть с картавинкой. Впрочем, хотя и необыкновенная женщина и великого ума — Левка говорил: «Я перед мамашей преклоняюсь, она в своем роде талант, но характер, как у Ивана Грозного», — могла бы обойтись и без «ты». Глебов хотел держаться с достоинством. Отвечал кратко, улыбался сдержанно, а на ковры, на картины, на всякие финтифлюшки, повсюду понатыканные, не поднимал глаз. Как бы не замечал вовсе. Потом уж, приглядевшись, обнаружил, что убранство комнат как-то заметно отлично от квартиры в большом доме: роскошь попышней, старины больше и много всего на морскую тему. Там модели парусные на шкафу, тут море в рамке, там морской бой чуть ли не Айвазовского — потом оказалось, что вправду Айвазовского — и какие-то золоченые якоря на стенах. Он сказал:

— А вашей старой мебели, Алина Федоровна, я что-то не узнаю. Все будто другое.

Если б не был в ту минуту порядочно «под банкой», он бы себе такой наглости и развязного тона не позволил. Но что-то его словно бодало изнутри: скажи да скажи! Ведь люди в войну последнее продавали, все нажитки, чтоб не пропасть — баба Нила продала серебряные ложки, подстаканник, коврик, шали, все хоть немного

ценное, что из Москвы везли, даже свой крестик нательный, потому что Глебов умирал, литр молока на рынке стоил примерно так же, как серебряная ложечка, — а тут новое накоплено и, смотри-ка, Айвазовский. Шутка сказать: Айвазовского приобрести. Он подошел нарочно к стене и стал внимательно и наклоняясь близко, как знаток, картину разглядывать. Левка смеялся.

— Какова наблюдательность! Нет, мать, ты скажи: пьян, пьян, а приметлив.

Алина Федоровна сказала:

— Древние говорили: в один и тот же поток нельзя вступить дважды. Так, кажется? Я не ошибаюсь, молодые люди? Ты, Дима, вступил в наш поток, — жестом она объединила себя с сыном, — в каком же примерно году? Когда переехали в тот ужасный дом, в тридцать каком-то...

— Ну, неважно. Лет десять назад, — сказал Глебов. — Но я хорошо помню вашу квартиру. Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках. И на дверцах были какие-то овальные майоликовые картинки. Пастушок, коровки. А?

— Был такой буфет, — сказала Алина Федоровна. — Я уж о нем забыла, а ты помнишь.

— Молодец! — Левка шлепал Глебова по плечу. — Наблюдательность адская, память колоссальная. Можешь работать. Я дам рекомендацию...

Когда остались одни в его комнате, он объяснил: у Алины Федоровны теперь другой муж. Шулепников умер. И эта квартира со всей здешней хреновиной принадлежит Флавицкому или Фивейскому, новому мужу Алины Федоровны. Он тоже большой человек. Как раз занимался делом Шулепникова: тот умер странно, его нашли мертвым в машине в запертом гараже. То ли диверсия, отравление газом, то ли просто остановилось сердце. Ведь он работал ночами напролет. Фивейский расследовал это дело, и так они познакомились с матерью. Глебов чуть было не спросил: почему же вещи из старой квартиры не перевезли к Фивейскому? Тут была какая-то неясность.

В Левкиной жизни было много неясного. Лучше не спрашивать. Левка сказал, что новый «батя» мужик недурной, из моряков, любитель выпить, поухаживать за балеринами, он его, Левку, приглашал однажды в актерскую компанию, было очень мило, хотя немного по-стариковски. Фивейскому шестьдесят, но, правда, здоров страшно. Глебов спросил: «А как мать? Насчет компании с балеринами?» Левка пожимал плечами: «Откуда ей знать? Дело чисто мужское».

Глебов внимал, поражался, сам себя успокаивал: ну и шут с ними, пусть живут как хотят. Но что-то его зудило и раздражало, будто чесалась нестерпимо старая болячка. Потом он этого Фивейского или Флавицкого видел раза три в квартире на улице Горького, однажды на стадионе «Динамо». Тот был ко всему еще лютый болельщик, протезировал какой-то особой команде, в которую благодаря связям натащил лучших футболистов из других клубов. Левка одно время всей этой ерундой горел. Новый Левкин «батя» был громадного роста, разговаривал оглушительно, руки жал, как станком, у него были блестящая лысая ядровидная голова, запорожские усы, и при этом носил очки в золотой оправе. Словом, это был тип!

Большой дом, так много значивший в прежней жизни Глебова — тяготил, восхищал, мучил и каким-то тайным магнитом тянул неодолимо, — теперь, после конца войны, отпал в тень. Не к кому стало туда ходить. Кроме Сони Ганчук. Но и ходил-то вначале не к Соне — Соня долго оставалась как бы принадлежностью детства, спокойно и тихо отмеркшей в его душе вместе со всем прочим, что стало ненужным и забылось в тяжести лет, — ходил к ее отцу, профессору. Тут было просто совпадение, обнаруженное Глебовым легко и несуетливо, без спеха. Прошло, наверное, уже полгода занятий в институте, когда он решил профессору сообщить: так и так, мол, мы с вами, Николай Васильевич, в некотором роде знакомы. Я дома у вас бывал. Профессор, листая книгу, протянул равнодушно: «Да что вы говорите?» И в тот, первый, раз на этом кончилось. То ли не понял, то ли не захотел понять.

Глебов, не конфузясь особо, решил напомнить подтвержде — Соня его занимала слабо, но сам Ганчук был фигурой внушительной и, как Глебов догадался, чрезвычайно ценной для него на первых порах — и как-то после занятий улучил минуту и передал привет Соне.

— А вы откуда Сонечку знаете? — удивился Ганчук.

— Я ж вам рассказывал, Николай Васильевич...

Как? Что? Ах, да! Верно, вспоминаю, молодых людей у нас всегда было много, и вас вспоминаю. А бюстики, такие маленькие, беленькие, философов стоят в кабинете? Вот как, даже бюстики запомнились. Профессор улыбался, довольный. Жизнь налаживалась. Пока еще по карточкам, но радость крепла, дружела. Бюстики стоят! Войну перестояли, эвакуацию, невзгоды, гибель людей, идей, на то они и философы. Ганчук почему-то очень обрадовался и воспламенился, когда Глебов вспомнил про бюстики. Гораздо больше обрадовался, чем когда про Сою. И сразу стал приглашать:

— Вы заходите как-нибудь на чаек, Сонечка будет рада...

Потом от Сони прилетел привет, потом приглашение. Ганчук часто болел, к нему приезжали на дом на консультацию, а то и сдавать зачеты.

Соня стала высокой бледной девушкой, несколько худовой, с бледными полными губами, бледной голубизной в больших глазах, выражавшими доброту и внимание. Она училась в институте иностранных языков.

— Вадька, что случилось? Как это понять? — были первые ее слова после шестилетней разлуки. — Почему ты так прочно исчез?

Будто, расставаясь, они обещали быть друзьями навеки.

Однако отношения их и тогда, и теперь были безнадежно товарищескими, ровными, как стена. Соня была лишь добавкой к тому солнечному, многоликому, пестрому, что называлось — детство. И если бы не возник профессор Ганчук, наверное бы, навсегда канула вдаль Соня. Глебов сидел в профессорском кабинете на диванчике с твердой гнутой спинкой из красного дерева —

тогда такие диваны продавались, как дрова, в скупочных магазинах, а нынче попробуй найди за любые деньги — и с наслаждением вел беседу о попутчиках, формалистах, рапповцах, Пролеткульте, о многом, что когда-то Глебова интересовало нешуточно. Профессор знал уйму подробностей. Особенно остро он помнил всякие изгибы и перипетии литературных боев двадцатых-тридцатых годов. Речь его была четкой, решительной. «Тут мы нанесли удар беспаловщине... Это был рецидив, пришлось крепко ударить... Мы дали им бой...» Да, то были действительно *бои*, а не споры. Истинное понимание вырабатывалось в кровавой рубке. Глебов слушал почтительно, представляя себе, какие сечи гремели, какие авторитеты крошились, какие книги выбрасывались за борт в кипящее море, и крепенький, толстый старичок с румяными щечками казался ему богатырем и рубакой, Ерусланом Лазаревичем. Впрочем, так оно и было в какой-то мере. Очень нравились Глебову чаепития в кабинете, воспоминания, интимности. «Кстати, мы обезоружили его, знаете, каким образом? Как ученый, он был совершенный нуль, но держался благодаря одной особе...» Глебову нравились запах ковров, старых книг, круг на потолке от огромного абажура настольной лампы, нравились бронированные до потолка книгами стены и на самом верху стоявшие в ряд, как солдаты, гипсовые бюстики. Где там Платон, где Аристотель? Снизу различить невозможно, потолки в том доме были очень высокие, не то что строят теперь, наверное, три с половиной, не меньше. Но Глебову казалось, что неразличимые снизу белые статуэтки — эта школьная красота была приобретена в Германии в годы инфляции, когда жадный молодой Ганчук, недавний конармеец, политотдельский поэт и оратор на солдатских митингах, с незабытым гимназическим рвением приобщался к науке, — игрушечные мудрецы тоже принимали участие в сражениях, наносили удары, громили, разоблачали, приказывали разоружиться.

Постепенно и заново Глебов вползал в ауру *большого дома*. Лифтеров в подъездах теперь не было. И жильцы как будто не те, что прежде: вид попроще и разговор не тот.

Но в лифтах, однако, по-прежнему настаивались необычные запахи: шашлыков, чего-то рыбного, томатного, иногда дорогих папирос или собак. От собак Глебов отвык за годы войны. Собаки остались в детстве так же, как мороженое в круглых вафлях, купание на стрелке и всякая другая чепуха. В лифте ганчуковского подъезда он впервые за долгое время увидел вблизи собаку и внимательно ее разглядывал. Это была громадная желтоватая с чернотой упитанная овчарка, которая сидела скромно, с достоинством у задней стены лифта, под зеркалом, и не менее внимательно разглядывала Глебова. Рядом с собакой, держа ее за поводок, стояла понурая старуха в платке. Воспитанность и скромность громадной овчарки удивили Глебова, и в то же время в ее немигающих ореховых глазах ему почудилось спокойное превосходство: ведь она была жильцом этого дома, а он лишь гостем. Ему захотелось погладить собаку. Непроизвольный порыв, наивное движение детской памяти. Он протянул руку, но собака, заворчав, дернула мордой и клацнула зубами. «Нельзя! Стоять смирно! — было написано на черной высокомерной морде. — То, что тебя пускают в этот дом и ты едешь в лифте, еще не значит, что ты тут свой». Глебов вышел на площадке девятого этажа в дурном расположении духа.

— В вашем лифте воняет псиной, — сказал он Соне. Бывали минуты, когда хотелось ее уколоть.

Он жил тогда тяжело, голодно, весело, жадно. Как многие. Вспомнить — истинная нищета. Не было лишней пары ботинок, ни рубашек, ни галстуков. И постоянно хотелось есть. Повсюду — в институте, в гостях — он ходил в старом армейском кителе не только потому, что не было подходящего — из всего довоенного вырос, а нового не купить, — но и потому, что не должны были забывать, что он *побывал там*. В последний год был призван, служил в БАО, частях аэродромного обслуживания. Дома после смерти матери стало глухо. Отец пристрастился к вину. Баба Нила тянулась из последних сил, весь дом был на ней. Сейчас не понять, как все это крутилось, откуда бралось. Раз в неделю баба Нила, взяв кошелку,

ехала трамваями на Даниловский рынок за зеленью, сухими грибами, шавелем, шиповником. А уж сколько чая из шиповника было пито! Сейчас этого пойла ни за какие деньги в рот не взять. А тогда баба Нила и на опохмелку норовила холодненького полезного чайку всучить: «Выпей, Димочка, *шипового*, полегчает...» Какая там польза! Да, наверное, была, как и от всей той жизни в дерюгинской глушине, в потемках, в длинной комнате, похожей на склеп. Потому что одолели, выжили. Баба Нила горбатилась все круче, ходила все тише, клонилась долу все ниже. Отец пропадал на свержурочных, за полторы ставки. Вот когда начались его хвори. Да ведь не замечалось ничего! Какие-то друзья, толкотня, бег, спех, по субботам на последние шиши в дешевую ресторацию или в бар на Серпуховке...

Когда приходил к Ганчукам, напускал на себя суровый, академический вид. Вначале все делалось как бы на ошупь. Соня даже мешала. Хотела его оттащить от отца к своим разговорам, подругам, к ненужности.

И он тихо пугался. Неужели, думал, бедная Сонька на что-то рассчитывает? Ведь ни о каких ласках, кроме профессорских, в рамках учебной программы, он не грезил. Между тем у него утвердилось очень рано мнение о себе как о фигуре опасной и притягательной для женского сердца. Началось с той сорокалетней дамы в эвакуации. Ведь сперва казалось, что он нужен ей так же ненадолго, как она была необходима ему. Но потом разыгрались страсти, глупые угрозы. Господи, как он перетрухнул! И понял, надо быть начеку. Такие игры могут кончиться плохо. Он ощущал в себе — не без самодовольства — запасы некоей радиоактивности, жертвами которой становились женщины, впрочем, не все подряд, определенного склада. Особенно губительно он действовал на женщин интеллигентных профессий и старше себя. И молодые, серьезные, не очень красивые, часто в очках, часто первые из учениц легко попадали под его чары.

И вот почему он несколько трепетал, когда замечал сияние в добрых бледно-голубых глазах Сони, слабую улыбку на полных бледных губах. Соня любила звать

гостей. Приходили ее подруги по институту иностранных языков, блестящие и ярко одетые девочки, щебетуньи, хохотушки, модницы, фифы; некоторые из них сразу и болезненно его задевали. Но он сдерживал себя, зная, что на *таких* женщин его излучения не действуют.

Когда Глебов сделался секретарем семинара, он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждую неделю. Профессор был вздорен, забывчив и, честно сказать, бестолков. Иногда возникали нелепые разговоры. Стоял в пижаме в дверях и с изумлением округлял глаза: «Дорогой мой, я же просил в понедельник!» — «Да нет же, Николай Васильевич, в субботу...» — «Как я мог вам назначить в субботу, когда...» — «Но я помню совершенно точно!» Все это происходило на лестнице, Глебов нервничал, чувствовал себя глупо, вдруг коршуном налетала Соня: «Отец, как не стыдно держать человека в дверях! Ты с ума сошел!» В сущности, Ганчук всегда был рад приходу Глебова и тут же находил ему применение. Особенно расположился он к Глебову после того, как тот принес всю библиографию по теме, важной Ганчуку для его собственной работы, и сделанную необыкновенно быстро. Ганчук растрогался. Глебов не сказал, что работал ночами. Он вовсе не обязан был так надрываться, да вообще не обязан был составлять библиографию, но, как оказалось, сей подвиг вышел гениально полезным.

Была какая-то вечеринка у Сони. Сбор всех фиф, молодых людей разного калибра, набежавших, как водилось в ту пору, на профессорскую горилку и закуску неведомо откуда. Кто-то из фиф привел своих знакомых, те привели своих. Благо профессорская гостиная позволяла рассадить полста людей. Теперь таких комнат нет в помине. Если только в некоторых кооперативах по индивидуальным проектам. Там были какие-то музыканты, какой-то шахматист, был поэт, гремевший на студенческих вечерах оглушительными жестяными стихами — в то время они почему-то казались музыкой, — были, конечно, бесцветные, крикливые, робкие и наглые студиозусы. Поэт свалился как снег на голову. Его никто тут не знал, кроме одного человека, который был шапочно знаком с одной



из фиф и сам явился к Соне впервые. Поэт, едва войдя в гостиную и не поздоровавшись, спросил громко, подражая образцам: «Где тут нужник?» Раздались восхищенные полушепоты: «Поэт... Фраппирует... Никаких условностей...» Стихи, которыми он тогда трещал весь вечер, не запомнились, а вот про нужник... Ныне, спустя лет тридцать, поэт по-прежнему гроыхает жестью, но это никому не кажется музыкой. Жесть и жесть, ничего больше. Кто-то из студиозусов, взбурлив клавишами, завел кликушым, пронзительным криком:

Вини-цианский мавр Отелло  
Один домишко посещал...

Хор радостно грянул:

Шекспир! Заметил! Это! Дело!  
И водевильчик накропал...

Эта чепухенция тогда безумно нравилась. Орала до хрипоты, до слез в глазах. «Девчонку звали Дездемона, лицом что белая луна, на генеральские погоны, да и эх польстилася она». Ну что в этой чуши было зажигательного, отчего сердце дрожало, хотелось наслаждаться и передавать свою радость другим? Впрочем, на ганчуковских застольях вокруг добро улыбавшейся бледной и безмолвной Сони звучало и иное. Приходил Николай Васильевич, выпивал с молодежью свою рюмку водки, настоящей на лимонных корочках, садилась и Юлия Михайловна, Сониная мать, и под дирижерский взмах вилок старика пели дружно «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» или же «Там, вдали, за рекой».

Соня могла в молчании сидеть часами, слушая других с полуоткрытым ртом по причине неудаленных полипов. Глебову однажды пришло в голову, что она будет для кого-то отличной женой, самой замечательной женой на свете. Такая уйма превосходнейших качеств. Вплоть до молчаливости с полуоткрытым ртом. Он подумал об этом рассеянно и вчуже, безо всякой связи с собой. Что-то вроде

такой догадки: «А ведь Соня была бы отличной женой для Левки!» Да, он носился одно время с этой идеей, полагая, что Соня может действительно оказать благое влияние на оболтуса Левку, а тот немного успокоит, смирит голубое сияние Сониных глаз, так тревожившее Глебова. Ведь он ничем, решительно ничем не мог на него ответить! У него ни разу не возникало желания в темном уголке потискать Соню, что бывало с другими девушками, даже теми, кто приходил к Соне в гости, например с ее подружкой по ИНЯЗу, такой темноглазой, плотненькой — как же ее звали? Имя забылось, зато твердо отпечаталось в памяти ощущение плотных плеч, секундная вороватая ласка в потемках гардеробной, среди мягких шуб...

Было так: с одними трусил и чопорно каменел, с другими как-то вдруг и непонятно отчего наглед, распускался, становясь на себя не похожим. Ту плотненькую отличил сразу, тоже из какого-то Дерюгинского переулка. А Соня была закрыта наглухо. С нею не надо было ни напрягаться, ни распускать себя. Не волновала вовсе. Потом наступило время, когда он этого хотел. И потом наконец Соня стала волновать, но, пока он этого достиг, прошло, наверно, два года.

На вечеринке с поэтом — тогда-то забрезжило начало — было чересчур много вина, народ перепился, хозяева напугались. Мужчины выходили на лестницу курить. Был там парень, имя, разумеется, исчезло, он больше не появлялся на сцене, лохматый развинченный губошлеп в очках, в галстук, какой-то очень здоровый. Имел вид штангиста. И он тонким голосом в мужском кругу курильщиков на площадке спросил:

— Хлопцы, я что-то не пойму, а кто хозяйку фалует? Вот эту самую Сонечку?

На тогдашнем жаргоне «фалует» значило примерно то же, что сегодня значит «кадрит». То есть попросту интересовался, не вакантно ли место. Тон был грубо неуместен, всех покорило. Пожимали плечами. Вдруг один из студюзовов кивнул на Глебова.

— Вроде вот товарищ Дима...

— Я? — удивился Глебов. — Для меня новость.

Стало неприятно: замечают то, о чем сам не догадывается. Чего и в помине нет. Значит, все-таки есть? За чем-то рассказал, что учился с Соней в школе. Тот парень сказал:

— А зря, хлопцы! В такие терема мырнуть... — Он мигнул на раскрытую дверь в квартиру. — За это не одобряю... И сама ничего. А что? Ничего... Такая тургеневская...

— Молчи, скот, — сказал кто-то.

Парень обиделся, бросил окурок и ушел в квартиру.

Он всем не понравился.

— Кто эту морду привел?

— А черт его знает. Вроде он из Литературного...

— Давайте его излупим?

Согласились. Один пошел в дом вызывать того обратно, на площадку. Вернулся не сразу и сказал, что парень догадался, что хотят бить, и идти отказался. Ну ладно, излупим позже. От нас не уйдет. Особенно хорохорился шахматист. Все были сильно «под банкой». А с Глебовым произошло вот что: он внезапно и странным образом протрезвел. Его протрезвила мысль, высказанная в идиотской форме тем парнем. «Да ведь он не дурак, — подумал Глебов. — Мы все дураки!» И тем сильнее захотелось того излупить, ну, если не излупить, то просто вышвырнуть отсюда подальше. «Мырнуть желает... Ишь ты, мырjala!»

Злобными шагами Глебов прошел в гостиную.

Излупить очкастого не удалось по глупой причине: через полчаса тот был мертвецки пьян. В половине первого гости прощались, надеясь успеть на метро. Все разошлись, но очкастого нельзя было не то что поставить на ноги, но даже сдвинуть с дивана, где он отвратительно развалился, выставив на обозрение латки своих жалких студенческих брючонок, задранную кверху фуфайку и в просвете между фуфайкой и брючным ремнем серую голизну живота с пупом. Руки он закинул за голову, голова свешивалась с диванного валика, и при этом он ужасно храпел. Как выяснилось, человек, который его привел, давно ушел со своей фифой, Сониной подругой. Никто не знал даже, как его зовут. Ганчуки были в растерянности.

Домработница Васена советовала послать за милицией. Юлия Михайловна со своим неизжитым за тридцать лет немецким простоумием предложила поставить рядом со спящим стакан воды с содой и таблетку пирамидона. Васена фыркала в кулак: «Нужон ему твой пирамидон... Он как почнет искать, шкафы колотить среди ночи...» А старик Николай Васильевич все порывался старым гусарским способом — оттереть за уши. Но Соня встала на защиту пьяного обормота и велела его не трогать.

— Неужели вам его не жаль? Посмотрите, какое хорошенькое личико, какая милая бульдожья челюсть...

Глебов решительно предложил: он останется здесь же на всякий случай. В гостиной на раскладушке. А тот пусть спит на диване, только башмаки с него снять.

И так Глебов остался ночью в квартире Сони и долго не мог заснуть, потому что стал думать о Соне совсем иначе. Просто так: не спалось и он думал. Задремывал, видел краткие мутные сны, просыпался и снова думал. Ничего не случилось. Соня спала в своей комнате за крепко запертой дверью, пьяница не шевелился, и, однако, с Глебовым в ту ночь что-то стряслось — утром он встал другим человеком. Он понял, что может полюбить Соню. Это чувство еще не явилось, но было где-то в пути, близилось, как теплый воздух, волною плывущий с юга. Погода еще не изменилась, но люди с больными сосудами чувствуют приближение. На рассвете, часу в шестом, обормот заворочался, сполз с дивана и начал, как и предполагала Васена, колобродить по комнате, бормоча и икая. Глебов оттащил его в прихожую, нахлобучил кепку и пытался вытурить. Тот не давался, они ругались шепотом.

— Куда ты меня толкаешь, ирод? Мне же некуда идти, дура ты непонятливая...

— Откуда пришел, туда и при.

— Откуда я пришел? Можешь ты понять, что писал Достоевский Федор Михайлович... Когда человеку пойти некуда...

В те времена были такие полунищие студенты, ведущие почти уличный образ жизни: постоянно их исключали,

отлучали, они мотались по приятелям из общежития в общежитие, ночевали на вокзалах. На «терема», из которых его изгоняли, он смотрел с тоской. Глебов уговаривал его, наверное, полчаса и выпер, после чего вернулся в гостиную и лег на койку. Через час Соня прошла мимо него в халате. Он увидел бледные худые ноги с нежными щиколотками. Потом она еще раз заглянула в комнату и спросила:

— А тот человек?

— Я ему сделал выкинештейн. — Глебов двинул коленкой, изображая удар под зад.

Он чувствовал себя героем, защитником слабых.

Но Соня неожиданно рассердилась.

— Кто тебя просил? Он не хотел уходить?

— Не хотел. Я с ним толкался в прихожей целый час...

— И прогнал? Какая гадость, Димка, как тебе не совестно! Прогнать голодного. Может, ему идти некуда...

— Некуда. Потому что шпана.

— Я не знаю, что такое шпана.

— А я знаю. Я живу среди шпаны. Дерюгинский переулок — кругом шпана.

Но Соня покачала головой, глядя на него каким-то новым, недоверчивым взглядом. Ушла к себе в комнату, недовольная. Глебов не знал, что ему делать. Уйти, что ли? Недовольство Сони его удивило. Потом, узнав ее лучше, он понял, что главная черта в этом характере — болезненная и безотборная жалость к другим. Ко всем подряд, ко встречным и поперечным. Это было временами докучливо и даже мучительно, но потом он привык и перестал обращать внимание. Первой ее реакцией на всякое столкновение с жизнью, с людьми было пожалеть. И потом уж он над ней издевался: «Мне так жаль его, бедного хулигана, который избил на трамвайной остановке трех человек... Представляешь, как у него на душе...» Соня сама ощущала нелепость своего характера и сама от него страдала.

Когда сели завтракать вдвоем за круглый столик на кухне, удобно поставленный у окна, она была смущена и оправдывалась за свою резкость утром: «Если бы хоть чаем

его угостить...» — «Ничего, — сказал Глебов. — И так будет хорош». Он посматривал вниз, на гигантскую излучку моста, по которому бежали машины и полз трамвайчик, на противоположный берег со стеной, дворцами, елями, куполами — все было изумительно картинно и выглядело как-то особенно свежо и ясно с такой высоты, — думал о том, что в его жизни, по-видимому, начинается новое...

Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета! И жалеть всех людей, всех без исключения, которые бегут муравьишками по бетонной дуге там, внизу! Все это было продолжением полуяви-полубреда ночных мыслей. Он сказал:

— Знаешь что? Ты лучше меня жалеяй.

— А я жалею. — Она погладила его по щеке. — Ты какой-то неприкаянный...

И он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждый день. То приходил к профессору, то к Соне. Профессор раньше говорил ему «голубчик» и «Вадим Александрович», а теперь стал звать его Димой. Приглашал с собой на вечерние прогулки. Когда он надевал каракулеву шапку, влезал в белые, обшитые кожей шоколадного цвета бурки и длиннополую шубу, подбитую лисьим мехом, он становился похож на купца из пьес Островского. Но этот купец, неторопливо, размеренными шажками гулявший по вечерней пустынной набережной, рассказывал о польском походе, о разнице между казачьей рубкой и офицерской, о беспощадной борьбе с мелкобуржуазной стихией и анархистствующими элементами, а также рассуждал о теоретической путанице Луначарского, заблуждениях Покровского, колебаниях Горького, ошибках Алексея Толстого: со всеми Николай Васильевич был знаком, пил чай, бывал у них на дачах. И обо всех, даже таких знаменитых, как Горький, говорил хотя и почтительно, но с оттенком тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то дополнительным знанием. «Если бы Алексей Максимович до конца понимал...» — говорил он. Или же: «Я как-то объяснил Алексею Николаевичу...»

Глебов слушал Ганчука с большим вниманием. Все было интересно и важно. Иногда Николай Васильевич ошеломлял Глебова поразительными заявлениями. Например, рассказывая о своей даче в Брускове и связанными с нею хлопотами (асфальтировку дороги безбожно затягивал поселковый Совет), он закончил неожиданно: «Через пять лет каждый советский человек будет иметь дачу». Глебов удивился, но возражать не стал.

Были вечера лютого, двадцатипятиградусного мороза, когда умные люди предпочитали сидеть дома, но Николай Васильевич ровно в девять закутывался шарфом, надвигал до бровей шапку, облачался в свои купеческие меха и спрашивал требовательно: «Вы идете со мной?» Как не хотелось идти на мороз! Пробежаться задними дворами к себе в переулок — это одно, но гулять по обледенелой набережной... Глебов отвечал с обреченной готовностью: «Конечно, конечно! Я готов». Дрожал и ежился в студенческом пальтеце, перешитом из старого отцовского, и сдерживал себя, чтобы не побежать, а идти размеренными шажками рядом со стариком, который сладостно сипел и отдувался в своей душегрейной шубе. «Вот ведь какой самопуп! — иногда раздражался Глебов. — Ему и в голову не придет...» Было и другое соображение: а может, уходит из дома нарочно, чтобы не оставался с Соней?

Впрочем, еще догадку подкинула Васена. Хитрая, все подмечавшая баба однажды спросила сочувственно: «И чего он тебя таскает? Я чай, он тебя вроде как на стражу берет...» — «Я у него под стражей или он у меня?» — спросил Глебов. Васена шептала: «Уж не знаю, но только таких-то, в шубах, не любят...»

Бывало, собиралась на прогулку и Соня, присоединялся Куно Иванович, или Куник, человек, близкий Ганчукам, помощник Николая Васильевича по его работе в академии. Этот Куник жил у Ганчуков почти как родственник. Глебов заметил, Николай Васильевич не очень охотно брал с собой Соню, а на Куно Ивановича, если тот увязывался, вовсе не обращал внимания. Дело, кажется, объяснялось просто: в присутствии одного Глебова Николай Васильевич воспламенялся красноречием,

рассказывал и вспоминал, не умолкая, а когда рядом была Соня, он скучнел и замыкался. Она могла сказать строго: «Папа, помолчи! Тебе нельзя разговаривать на морозе». Или: «Папа, ты повторяешься».

А Юлия Михайловна не любила улиц, автомобилей, ветра, мороза. У нее была стенокардия. Она часто болела, не ездила на занятия — Юлия Михайловна преподавала немецкий язык в том же институте, где учился Глебов и где Николай Васильевич руководил кафедрой. Хотя она прожила в России не одно десятилетие, Юлия Михайловна оставалась в чем-то шершавой, негибкой немкой и по-русски говорила с заметным акцентом. Ее отец погиб во время Гамбургского восстания. У Юлии Михайловны сохранились связи с некоторыми уцелевшими от невзгод стариками антифашистами, немцами, австрийцами, которые изредка появлялись у Ганчуков. Куно Иванович был из этой среды. Его мать, умершая до войны, была старинной, по Венскому университету, подругой Юлии Михайловны, и Ганчуки с давних лет опекали Куника, которого знали мальчишкой. Куник, Куник, Куник, Куник! Какая-то собачья кличка. Такая маленькая, капризная, с умненькими глазками комнатная собачонка.

— Куника надо покормить! — говорила Соня.

— Попросите Куника... Звякните Кунику... Надо послать Куника за билетами, но очень деликатно...

Он был худ, сутуловат, голову держал немного книзу и набок, будто постоянно к чему-то прислушивался, хотя никогда ни к чему не прислушивался и даже часто не слышал, когда к нему обращались. То и дело встряхивал своей косенькой головкой — страдал тиком, что ли? — откидывая назад длинные блекло-рыжие немецкие волосы. Глебов вначале думал, что он золотушный.

Вообще Куник Глебову не нравился. Он был какой-то очень молчаливый, неприветливый, болезненный и себе на уме. Жил Куник одиноко. Ганчуки вечно беспокоились о нем: не заболел ли? Не нужно ли ему чего? Почему-то считалось, что он всегда нуждается в помощи и что он несчастен. Впрочем, было написано на скорбном



ссохшемся личике с неизменно сжатым ртом: «Я несчастен!» А в чем, собственно, ваше несчастье?

Однажды за ужином Глебов завел осторожный разговор о статье Куника, появившейся в журнале. Он давно слышал о том, что статья в работе, что редакция требует поправок, что Куник упорствует, проявляет невиданную принципиальность, что в борьбе с редакцией достиг каких-то высших инстанций и все-таки статью *пробил*. Рассказывалось как о крупном событии в научном мире. Особенно суетилась вокруг этого события Юлия Михайловна. Глебов, прочитав, увидел, что статейка вполне среднего качества и абсолютно ничем не выдающаяся, кроме того, что по неувимым признакам видно, что русский язык для автора не родной. Какая-то общая задушенность, бессочность слов. Вот на эту тему он и заговорил за ужином: о том, что, к сожалению, историко-литературные работы часто пишутся языком, далеким от литературы. Николай Васильевич поддержал, было много наговорено, и потом уж, далеко не сразу и очень мягко, Глебов привел два-три примера из статьи Куника. Примеры были в самом деле разительные по непониманию стиля и духа языка.

Николай Васильевич смеялся, Соня улыбалась, но Юлия Михайловна сухо заметила, что «такую злую критику надо говорить в глаза». Глебов объяснил, что ничего злого в его замечаниях нет, но Юлия Михайловна возразила:

— Неправда, Дима, не хитрите. Вы же не сказали, как относитесь к статье Куно Ивановича в целом?

Глебов, пожимая плечами, бормотал:

— Как отношусь? Честно сказать... Не то чтобы в восторге, но и не...

— О! Значит, я права! — Юлия Михайловна горделиво и воинственно подняла палец. — А позвольте спросить...

Но Соня прервала мать: почему Глеб не имеет права на собственное мнение, отличное от мнения семьи Ганчуков? Почему сразу бросаться в атаку? Николай Васильевич заметил, что мнение семьи Ганчуков вовсе не однозначно. А Юлия Михайловна сказала, что бросаться

в атаку — привилегия Николая Васильевича, бывшего конармейца, она же не любительница размахивать шашкой.

— Однако ты размахиваешь, — сказала Соня. — И порой очень сильно.

Глебов был уж не рад, что затеял разговор. Эта хрупкая и на вид чрезвычайно слабая, хворающая Юлия Михайловна с тонкими ручками, пергаментно-белым лицом была, надо сказать, необыкновенно упряма. Могла спорить и настаивать на своем *bis zum Schluß*, вплоть до сердечного приступа. Она заговорила о том, что всякая критика должна быть в первую очередь объективной, оценивать в целом, а потом уж выискивать блох. Куник написал великолепнейшую статью. Мелкие замечания должны идти петитом. Он написал о главном: какую опасность представляет мелкобуржуазная стихия. Как раз теперь, после победы, после громадного напряжения, когда людям хочется расслабиться и отдохнуть, могут вспыхивать мелкобуржуазные эмоции, заторможенные в сознании. Нельзя эту опасность недооценивать.

Ничего подобного Глебов в статье Куника не прочитал. Он осмелился робко возразить:

— Простите, Юлия Михайловна, но, если я сделал два замечания по языку, еще не значит, что я недооцениваю мелкобуржуазную опасность.

— Вот именно! — сказал Николай Васильевич и пристукнул кулаком по столу. Он все немного сводил на шутку. — Одно из другого не вытекает, черт возьми.

— Нет, вы недооцениваете буржуазную опасность, — сказала Юлия Михайловна, не желавшая шутить.

— Да где вы это видите, Юлия Михайловна?

— Я вам скажу. Хотите откровенно? Я давно замечаю за вами, Дима... — И тут она понесла такой немислимый и ошеломляющий вздор, что Глебов онемел от изумления. Оказывается, он с каким-то особенным вниманием всегда осматривает их квартиру, на кухне его интересовали холодильник под окном и дверь грузового лифта. Однажды он подробно расспрашивал ее о даче в Брускове, сколько там комнат, есть ли водопровод, сколько соток участка, как будто собирался покупать...

— Мама! О чем ты? — испуганно восклицала Соня.

— Я говорю о таком, что замечаю в сегодняшней молодежи, — сказала упрямая и уже начинающая задыхаться от своей принципиальности сердечница. — И это касается не только Димы. Как раз к Диме я отношусь хорошо, никак не желаю его обидеть. Ты не бойся, у нас останутся лучшие отношения. Но я вижу у многих: такая страсть к вещам, к удобствам и имуществу, к тому, что немцы называют *das Gut*, а русские — добро... Зачем? Что вам далась эта квартира? — Она поднимала плечи и оглядывала комнату брезгливо, почти с отвращением. — Вы думаете, в вашей комнатке в деревянном домике вы не можете трудиться? Не можете быть счастливым?

— Но ты почему-то не уезжаешь отсюда в деревянный домик, — сказала Соня.

— Зачем я должна? Мне абсолютно все равно, где я живу, в большом дворце или в деревянной избе, если я живу по своему внутреннему распорядку...

Юлия Михайловна была права, ее отношения с Глебовым не ухудшились после этих странных обличений. Глебов решил не обижаться. Он догадался, в чем дело: мать Сони питала особую симпатию к Кунику, кажется, видела в нем идеального зятя, но Соня была по этому поводу другого мнения. Сам того не зная, Глебов наступил на больное.

Он чувствовал не без некоторого потаенного самодовольства, что раздражение Юлии Михайловны, ее щипки и наскоки говорят лишь о том, что *на его стороне* обозначается перевес. Более загадочными показались рассуждения о мелкобуржуазных грехах. Ни одной секунды он не почувствовал себя в этом повинным. Полно, да всерьез ли говорилось? Не шутка ли, хорошо разыгранная? Недаром сам Ганчук отмалчивался, ухмылялся. А как же лифт, отполированный под красное дерево, с зеркалом в человеческий рост? Ведь каждый день Юлия Михайловна не пешком ходила на девятый этаж, а ездила в этом лифте вверх-вниз, смотрела на себя в зеркало и дышала запахом дорогих папирос, дорогих собак и дорогого всего прочего. Внизу, в подъезде, уже не расхаживали,

правда, востроглазые лифтеры в форменных картузах, но все же сидела в ломаном кресле старуха в валенках и всякого входящего допрашивала застойным, желудочным голосом: «Вы в какую квартиру?» В Брускове был дом, безалаберный, почти развалившийся, с подгнившим крыльцом, с недостроенным вторым этажом, где окна были забиты фанерой, и все же этот дом с участком в сорок соток, забором, соснами, диким виноградом вокруг веранды и огородиком был той ненавистной частной собственностью, тем самым *das Gut*, из чего, как лук из грядки, перло ядовитое дерево.

Весною, когда открывался дачный сезон, семейство Ганчуков выезжало в Брусково на так называемый дачный воскресник: все работали в саду, в доме, на огороде. Но как работали! Юлия Михайловна по причине общей болезненности только тормозилась беспомощно, досаждала другим бестолковыми указаниями. Соня была с ленцой и неумеха, а Николай Васильевич застревал в кабинете, пропадал среди старых книг и бумаг. Всю работу тащила древняя Васена, да еще помогал шофер Аникеев, работавший на ганчуковской «Победе» через день. Этот Аникеев, пожилой мрачноватый мужик, сам был когда-то, в довоенные времена, небольшим начальством, но погорел за что-то. Он все делал медленно, ходил не спеша, от тяжелой работы умело отлынивал, выбирал что полегче и ковырялся часами: мог полдня подвешивать абажур или приколачивать планку к забору. Однажды, когда Глебов перевозил в тачке мусор вглубь двора — он с радостью предложил свою помощь Николаю Васильевичу, нетерпеливо любопытствуя, что там за дача, — Аникеев зашептал ему: «А пускай бабка сама потаскает! Насчет мусора-то не договаривались?» Принял его за наемного работягу...

Летом была разлука, Кубань, работа в глухих предгорных станицах и настоящая — нежданная — тоска по Соне. Тут-то он понял, что нешуточно.

Под Новый год, мягкой зимой, поехали студенческой оравой в Брусково, натопили дачу, устроили елку в саду с электрическими фонариками. Славно было... Тогда впервые в их компании появился Левка Шулеников,

который пришел в институт год назад, но жил своей жизнью, неведомо где. «Я как киплингковский кот, — говорил он, — гуляю сам по себе». В Брусково он приехал с очень красивой девушкой по имени Стелла. Она была танцовщицей в только что появившемся в Москве и уже модном ансамбле «Березка». Был какой-то очень долгий спор. Орали, вопили чуть ли не до драки. Все началось с Аструга, преподавателя языкознания, которого тогда шуганули с треском, но спор-то затеялся анекдотически: какого цвета кальсоны у Аструга? Подоплека была, разумеется, другая. Совершенно, совершенно другая! И не в бедном Аструге было дело. Он, кстати, был из окружения Ганчука. Но и это в тот день не имело значения. Накопилось, как видно, какое-то вулканическое раздражение, томилось подспудно, скрытно от беглого глаза и вдруг прорвалось. Левка Шулепников был, как всегда, раздражителен, но по своему легкомудрию не замечал этого. Ну и, конечно, много водки и никакой еды. Обычная студенческая кутерьма. Все это опустилось на голодуху, на усталость, на нервное ожесточение перед сессией и на то вулканическое, что клокотало глубоко внутри...

Был некий Черемисин, несимпатичный малый, он не числился у Глебова в друзьях, но прикатил вместе со всеми, потому что банда собралась пестрая — кто кидал в складчину, тот и хорош. Человек двадцать. Казалось так: дача большая да еще участок, гуляй хоть сто человек. А вышло: теснота и драка. Этот Черемисин, когда заговорили об Аструге, рассказал такую байку. Будто бы на зачете тот спросил: «Что такое морфема?» Черемисин не знал. Аструг говорит: «Как вы можете знать язык, если не знаете, что такое морфема?» А Черемисин спрашивает: «А что такое *салазган*?» Аструг, конечно, пожимает плечами. Черемисин еще спрашивает: «А что такое *шурды-бурда*?» Тот и этого не знает. «Как же вы можете, профессор, знать язык, если таких простых слов не знаете? У нас их всякий старик и всякий ребенок понимает. *Салазган* — это, значит, вроде как шпана. А *шурды-бурда* — это то, что у нас с вами получилось, бестолковщина». И тот засмеялся, рукой махнул и тройку поставил.

— Но вообще-то правильно, что его турнули, — закончил Черемисин. — Низкопоклонство в нем было. Он только виду не показывал, но было. Это точно. Книжный язык он, может, и знал, но настоящий, народный — ни в зуб.

Одна девушка сказала:

— Я не знаю, чего он там знал, чего не знал, но я очень рада, что его больше у нас не будет. А то прямо до тошноты: сядет на стул, ногу на ногу положит, ногой качает, а брючина почему-то всегда у него задирается и белье видно голубое, в носок заправленное. Фу, гадость! — Девушка скорчила гримасу отвращения. — Прямо смотреть не могла, хоть глаза закрывай... И в голову ничего не идет...

Черемисин хохотал.

— Это верно. Точно, точно! Только не голубое, пардон, а белое. Голубого я что-то не помню...

— Вот пусть теперь дома сидит и ногой качает, — сказала девушка.

Начали раздражаться и свариться не только оттого, что перепились, но и оттого, что собрались в кучу не друзья, а с бору по сосенке. Сонины фифы, знакомые этих фиф — одно, глебовские приятели — другое, да еще явились какие-то непрошенные и случайные, вроде Черемисина. Все это гудело, вскипало, накалялось, тут же знакомились, пили на брудершафт, мгновенно становились лучшими друзьями, и мгновенно же возникала неприязнь, требовавшая выхода. Споры велись яростно. Какие-то из Сониных подруг стали подшучивать над девушкой, говорившей об исподнем, Левка Шулепников грубо оборвал Черемисина: ты перед Астругом подхалимничал, а теперь глумишься, это, мол, недорого стоит. Левка вовсе не был таким уж принципиальным и на судьбу Аструга ему было начхать — уж Глебов-то знал Шулепу до доньшка! — но, видно, тот парень как-то его задел, то ли развязностью, то ли еще чем-то. Ну да, он стал подъезжать к красавице из ансамбля «Березка». Зачем он это делал? Как выяснилось в споре, Левке назло. Он Левку ненавидел. И не он один. «Все наши ребята, — кричал, побелев от злости,

скуластенький Черемисин, — тебя ни в грош не ставят с твоими машинами, с твоими папашами, мамашами! Ты для нас ноль! Тьфу!» И он для наглядности плюнул в сторону Левки. Может, и не по-настоящему плюнул, но сделал вид, что плюнул. Красавица Стелла вскрикнула. Левка полез через стол драться. Его удержали. Но стало ясно, что большая драка будет. Черемисин был с двумя друзьями из общежития. Глебов их знал хорошо, один парень, совсем недурной и смирный, из глебовской группы, но все были так страшно пьяны! Часов до двух ночи, пока сидели за столом, еще как-то держались, но потом, когда загремели стульями, стали выкарабкиваться, разбрелись по комнатам, на второй этаж, выскакивали во двор, в снег, под звезды — там-то и началось, в снегу... Оттуда в дом, по комнатам, по полу, ломая стулья, с криками женщин, со звоном стекла... Глебов, ощущая себя в некотором роде хозяином, пытался разнимать, но делал это не слишком решительно, за что пострадал: кто-то локтем засветил в глаз, вздулся здоровенный фингал. А бедному Левке сделали нос набок. И он долго, с полгода, наверное, ходил с таким носом. Говорят, героически вела себя красавица Стелла, обороняя своего кавалера, сняла туфлю и лупила нападающих каблуком, норовя попасть по очкам. Протори и травмы обнаружались не наутро — потому что на рассвете все, кто был на ногах, поспешно, стыдясь друг друга, побежали на электричку и Глебов почти никого не застал за завтраком, — а дня через три, когда собрались в институте на консультацию для очередного экзамена.

Но тогда, в Брускове, когда все исчезли и Глебов с Соней остались вдвоем, наступило что-то очень важное. Мороза не было, сыпался тихий снег. Они вышли с лопатами и разгребали дорожку, стояли сумерки, весь день был сумеречный, рано зажгли огонь. Несколько часов они возились, приводя дом в порядок, устали невероятно — Соня торопилась убрать, потому что боялась, что придут родители, — потом сидели на кухне и пили чай из глиняных чашек. Родители не приехали. Чашки были тяжелые, шоколадного цвета, и чай необыкновенно

вкусный. Эти глиняные чашки запомнились навсегда. И был какой-то час, когда Соня ушла на соседнюю дачу отнести посуду, а он был наверху, в мансарде, самой теплой комнатке во всей даче, окно в сад было открыто, пахло снегом, елью, откуда-то тянуло запахом горелого лапника, и он лежал на диване, старомодном, с валиками и кистями, закинув руки за голову, смотрел на потолок, обшитый вагонкой, потемневший от времени, на стены мансарды с торчащим между досками войлоком, с какими-то фотографиями, с маленькой старинной гравюрой под стеклом, изображавшей сцену из русско-турецкой войны, и вдруг — приливом всей крови, до головокружения — почувствовал, что все это может стать его домом. И, может быть, уже теперь — еще никто не догадывается, а он знает — все эти пожелтевшие доски с сучками, войлок, фотографии, скрипящая рама окна, крыша, заваленная снегом, *принадлежат ему!* Была такая сладкая, полумертвая от усталости, от хмеля, от всего истома...

Захотелось немедленно что-то найти, хотя бы глоток хотя бы старого пива. Он спустился вниз, искал повсюду, ничего не нашел. Падая неслышно снег. Когда вернулась Соня, он почувствовал внезапный напор сил. Сонины глаза блестели, щеки были влажны от снега. Он целовал холодные губы, холодные пальцы, бормотал, что не может жить без нее, его охватило настоящее желание, какого никогда раньше не было с Соней, и он обрадовался. Соня заплакала и сказала: «Зачем мы потеряли целый день?» Хотя было рано, часов семь вечера, они постелили в мансарде на диване, погасили свет и бросились нагие друг к другу, не желая ждать ни секунды. Прошло немного времени, вдруг внизу раздался стук в дверь. Стучали со стороны крыльца, потом стали барабанить в дверь на веранде. Наверное, кто-то из ребят вернулся догуливать. Стучали очень упорно, было слышно, как люди, двое или трое, ходят по снегу вокруг дачи, разговаривают и советуются. Кто-то кричал: «Вадим! Отворяй, змей!» И женский голос: «Сонечка, это мы!» Еще крикнули весело: «Эй, что вы ночью будете делать?» Засмеялись. Глебов не понял по голосам кто. Соня хотела пойти вниз и открыть,



но Глебов не пустил: «Лежи тихо!» Он обнимал худое, покорное, мягкое, худые плечи, худую спину, в этом теле не было никакой тяжести, но оно принадлежало ему — вот, что он чувствовал, — принадлежало ему вместе со всем — со старым домом, елями, снегом; и он целовал его, обнимал, делал с ним что хотел, но старался делать бесшумно, а внизу потолкались, погудели, выругались и ушли.

В ту ночь на даче возникла невыносимая жара. Он не знал, как обращаться с котлом, забросил слишком много угля и устроил такое пекло, что не могли спать. Все окна на даче были настежь, но это не помогало. Была еще и теплынь на воле, настоящая оттепель, с уханьем сползал подтаявший снег с крыши и непрерывно что-то сочилось, капало, тренькало под окном. Глебов и Соня сбросили одеяло, лежали голые на простыне, стонали от духоты и разговаривали еле слышно. Они уже совсем не стыдились друг друга. Соня спрашивала: «Когда ты меня полюбил?» Глебов был в затруднении. Он действительно не мог ответить с точностью. Кажется, это случилось совсем недавно, но сказать так он не решился.

Он ответил:

— Какая разница? Важно, что это произошло...

— Конечно! — шептала она, счастливая. — Я спросила просто потому, что я-то очень хорошо помню... А ты мог забыть...

— А ты, — спросил он, — когда?

И узнал удивительное: оказывается, еще в шестом классе. Когда он пришел первый раз к ней домой вместе с рыжим Яриком и Антошей Овчинниковым и рассказывал про очень умную кошку, которую нашел на улице больную, а потом кошка по утрам провожала его в школу до набережной. Они пошли посмотреть кошку к Глебову домой. Глебов ничего этого не помнил.

— И еще, — сказала Соня, — помню порыв любви к тебе... Это было на секунду, но остро, болезненно и как-то сладко, я помню отчетливо... Ты пришел в коричневой курточке вот с таким поясом, она была не новая, но ты

в ней никогда не ходил, поэтому я заметила. Вообще я за тобой внимательно наблюдала. И вот, когда ты стоял у окна, я увидела на курточке сзади большую, аккуратно поставленную заплату, наверное, с тетрадный лист. Ты не представляешь, как я тебя полюбила в ту секунду!

Он был задет. За что же тут полюбить?

Но не выказал задетости, лишь пробормотал:

— Это бабушка умела гениально ставить заплаты...

Соня спросила с пылким интересом:

— Ах, это бабушка? А я почему-то думала, что твоя мама такая рукодельница.

Глебов замечал потом часто, что Соня горячо интересуется совершеннейшими пустяками из его детства, из жизни с отцом, матерью, расспрашивает о странных, ненужных подробностях его прошлого. Порыв любви к нему, вызванный заплатой на курточке, вылился в сокровенную мечту: раздобыть где-нибудь деньги и купить ему новую курточку с запиской: «От неизвестного друга». И было еще необыкновенно сильное впечатление, связанное с ним: ужас и любовь, слившиеся в одну секунду вместе. Это когда увидела его из окна на своем балконе. Химиус за оградой, над пропастью. А у Глебова такое застывшее, полумертвое лицо. Как будто он уже там, внизу, на тротуаре. Ох, это было страшное мгновение! Помнит ли он? Еще бы, конечно, помнит. Детское безумие — на всю жизнь.

— Ну и еще какие-то мелкие страдания, — сказала Соня. — Например, когда ты увлекся этой дурой Тамарой Мищенко...

Тут уж он хохотал. Какой Тамарой Мищенко? Той толстой, огромной, похожей на клумбу с цветами? Они веселились. Их тела были мокрые от духоты, и они вытирали друг друга полотенцем.

На другой день — было, кажется, воскресенье — приехали Сонины родители с Васеной. Глебов боялся, что непременно догадаются о том, что случилось с их дочкой, и приготовился к худшему. Ему казалось, что тут не нужно особой прозорливости. Но Соня держалась настолько естественно и хладнокровно, так радостно их встретила,

так любовно и внимательно за ними ухаживала, что Глебов был втайне изумлен, а родители ничего не поняли. Впрочем, они были все-таки лопухи. Тут-то и объяснение. Замороченные своими делами, добрые, порядочные лопухи. Причем одного сорта оба.

А Васена с ее острым глазом? И она проморгала. Потом-то догадалась первая.

Николай Васильевич был в тот день не в духе, мрачноват и вовсе ничего не замечал. За обедом царила какая-то общая тяготица. Глебов подумал: уж не его ли присутствие мешает разговору? Шепнул Соне: уехать? Соня замотала головой.

— Ни в коем случае! Он чем-то расстроен. Ты здесь ни сном ни духом.

После обеда пошли с Соней гулять. А вечером старик, поспав часика два, отмяк, разговорился и объяснил, что расстроен как раз историей с Астругом. Вчера они с Юлией Михайловной не смогли приехать потому, что вдруг напросились в гости Аструги, Борис Львович с женой. Не принять их было никак нельзя. Они убиты, раздавлены, на Новый год никуда не пошли, как можно их не пригласить? Аструг рассказал подробности. Ведь Николай Васильевич не присутствовал на Ученом совете, где был устроен разгром и, по сути, определился весь дальнейший сюжет.

— Понимаете, Дима, какая пакость: я был в командировке! — говорил Ганчук, обращаясь к Глебову и все более горячась, в то время как Юлия Михайловна жестами, мимикой и досадливыми междометиями пыталась заставить его говорить спокойней и лучше бы помолчать вовсе. — Три с половиной недели, вы же помните, я был в Праге, занимался архивами, и они, воспользовавшись моим отсутствием...

— Папа, зачем им было нужно твое отсутствие? — спросила Соня.

— Как зачем? Смешно! Если б я там был, я бы выступил очень резко.

— То, что им нужно, — сказала Юлия Михайловна.

— Ах, оставь, пожалуйста! Ты не понимаешь.

— Нет, понимаю. Это ты не понимаешь, потому что бываешь там редко, а я хожу каждый день. Они были бы очень не против, если б ты влез в это дело.

— Но я и так влезу! — рявкнул Ганчук.

— Теперь уже нет смысла. Абсолютно sinnlos.

— Посмотрим!

Он опять помрачнел, надулся, встал из-за стола, за которым пили чай, и ушел в свой кабинетик. Соня и Глебов поднялись по скрипучей лесенке в мансарду. Затворив дверь и не зажигая света, Соня бросилась к Глебову, стала целовать его, шепча:

— Как мне жаль Аструга! Бедный, бедный, бедный, бедный мой Аструг... — каждое «бедный» сопровождалось поцелуем.

— Мне тоже, — шептал он, целуя нежную впадину над ключицей, — тоже очень жаль его...

— Я просто не могу выразить... Как мне жаль Аструга...

— И мне...

Она сжимала Глебова слабыми руками изо всех сил. Он гладил ее спину, лопатки, бедра, все, что теперь принадлежало ему. Было слышно, как внизу разговаривают и гремят посудой Васена и Юлия Михайловна. Потом Юлия Михайловна позвала:

— Со-ня!

И Соня вдруг отшатнулась от Глебова и прошептала:

— Мы дурачимся, а я вправду его жалею... Я не вру, ты не думай... Если он придет, ты познакомишься с ним ближе...

Глебов думал: это зачем? Снизу звали уже сердито:

— Соня, в чем дело?

Поцеловав Глебова, она побежала, стуча каблучками, по лестнице вниз. Глебов, все еще не зажигая света, подошел к окну и ударом ладони растворил. Лесной холод и тьма опажули его. Перед самым окном вейла хвоей тяжелая еловая ветвь с шапкой сырого — в потемках он едва светился — снега.

Глебов постоял у окна, подышал, подумал: «И эта ветвь — моя!»

На другое утро за завтраком, когда уже приехал Аникеев на машине, чтобы забрать троих в Москву — Ганчук с Васеной оставался тут на несколько дней, — опять зашел разговор об Аструге. Юлия Михайловна спросила:

— Ну хорошо, а вот вы, Дима, вы все время молчите, как оцениваете Бориса Львовича? Как преподавателя?

— Мне трудно сказать. Он читал у нас всего полгода. Спецкурс по Достоевскому...

— Вот именно то я хотела знать! — произнесла Юлия Михайловна с некоторым торжеством. — Неуверенность оценки говорит о многом. Всего полгода! Да полгода — это большой срок. Ганчук, ты всегда пристрастен к людям и любишь переоценить.

— Что я люблю переоценить?

— Ты любишь переоценить неприятности и несправедливости. Почему не должно быть *никакой* доли правды в критике Бориса? Разве он идеальный, безукоризненный человек, без недостатков? Я думаю, у него есть недостатки, и немаленькие. Я думаю, скорей, у него есть большие недостатки!

Когда Юлия Михайловна нервничала, становились заметны некоторые изъяны ее русской речи. Все было правильно, она не делала ни грамматических, ни лексических ошибок, но вдруг проскальзывала едва уловимая неточность. Нервничая, она стала объяснять недостатки Аструга: не сумел понравиться, никакого впечатления за полгода. Она сама преподает и твердо знает — может держать пари, — что завоеует молодежную аудиторию за два академических часа. Больше ей не потребуется. И они будут бежать к ней домой, звонить по телефону и дарить цветы по праздникам. За два часа!

Говоря это, Юлия Михайловна подбоченивалась и смотрела на мужа и на Глебова несколько свысока. Но говорила, кстати, чистую правду. Студенты ее любили. Затем Юлия Михайловна намекнула еще на один недостаток Аструга: любит прихвастнуть, пощеголять знаниями. Вообще и в нем, и в его жене Вере — в ней особенно — мелькало иногда некое важничанье. Они были о себе высокого мнения. Ну чего бы, спрашивается, им

важничать перед Ганчуком? Это выглядело смешно. Сейчас, конечно, их жаль. Без настоящей работы он может пропасть, зачахнуть. А она зачахнет без возможности *важничать*...

Соня слушала мать, улыбаясь мягко и сочувственно, как слушают детскую болтовню взрослые. Николай Васильевич не желал продолжать спор. Обращаясь к стоявшему в дверях Аникееву, который нетерпеливо звенел ключами, он сказал:

— Иван Григорьевич, хоть вы не гордитесь! Сядьте с нами, хлебните чайку...

Но Юлия Михайловна решила все-таки поставить точку.

— Нет, друзья мои, надо смотреть шире, шире! То, что они мечтали избавиться от Ганчука, это факт. И то, что Борис, к сожалению, уязвим для критики и представляет собой хорошую мишень, тоже факт.

— Тем не менее я влезу в это дело, — быстро произнес Николай Васильевич. — И хватит об этом!

В машине ехали так: впереди рядом с Аникеевым сидела Юлия Михайловна, сзади сидели Глебов и Соня и покоился завернутый в скатерть тюк грязного белья. Юлия Михайловна непрерывно рассказывала об институтских делах, очень запутанных, о которых Ганчук не имел представления, а она разбиралась в них. Директор не любит Ганчука — она всегда называла мужа в глаза и за глаза Ганчуком, — потому что Ганчук независим, ему нельзя приказывать, он слишком большая величина, а заведующий учебной частью Дороднов, ничтожество, никогда не забудет, что Ганчук отказался поддержать его авантюру с докторской диссертацией. И не только это. У них старые счеты. Они мечтают сдвинуть Ганчука с должности завкафедрой, но попробуйте-ка! Не так просто. Старый коммунист, участник гражданской войны, автор ста восьмидесяти печатных трудов, переводы на восемь европейских и семь азиатских языков... А Борис Аструг, его ученик, очень удобный инструмент для... Глебов и Соня слушали Юлию Михайловну плохо. Они были заняты друг другом. Всю дорогу ласкали друг друга пальцами:

он правой рукой, а она, сидевшая у окна, левой. Ему еще приходилось левой рукой придерживать тюк с бельем, норовивший при торможении свалиться на пол. Глебов видел, как у Сони рдеет щека, и слышал, что голос ее слегка дрожит, когда она произносит по временам: «Да, мама... Конечно, мама... Ты права...»

— И все же, Сонечка, я бы хотела, чтоб Ганчук ушел из института. А? Как тебе кажется? — Юлия Михайловна неожиданно обернулась и будто увидела на лице Сони что-то ее поразившее. Она вновь повернулась спиной и замолчала.

Соня ей не ответила.

И, только когда подъехали к Москве, сказала:

— Наверно, ты права, мама... Но папа ни за что не уйдет...

Та ночь на даче, когда все текло, когда ухал снег и нечем было дышать... Соня видела ее, сидя в машине. Глебов помнит ее и теперь, спустя двадцать пять лет, хотя было бы лучше забыть. Потом другие ночи, несмотря на январь, экзамены, сильнейший мороз, который вдруг грянул и затруднял передвижения. Они ездили в Брусково, потому что там никто не мешал и было *удобней готовиться к экзаменам*. Ехали электричкой, бежали промерзшим лесом, врывались в дачу, заледенелую, как погреб, но через два часа становилось тепло. Глебов все думал: неужели ее родители не догадываются о том, что происходит? Ведь готовились к разным экзаменам и к разным срокам. По существу абсурд: мчаться за город, тратить два часа на дорогу и сидеть там по комнатам, зубрить разное. Родителям говорилось, что едут несколько человек. Но было невероятно не видеть, как изменилась Соня! Однако не видели, не замечали. Соня говорила твердо: ни о чем не догадываются.

И даже когда Соня завалила какой-то зачет и рассказывала об этом, смеясь — было необычно и то, что завалила, и то, что смеялась, рассказывая, — ни мать, ни отец не насторожились. В то, что Соня все равно сдаст и будет отличницей, они верили несокрушимо. Это было дано ей от природы, как бледный цвет лица. И тут они были

правы. Они знали свою дочь хорошо. Она сдала даже те предметы, по которым успела кое-что почитать утром в день экзамена. Ведь студенты в сессию занимаются обыкновенно ночами, а Соня с Глебовым тратили ночи на другое. И вот Глебов-то наделал себе хвостов.

Но он считал, что то, что творилось с ним и с Соней в январе, было его главным экзаменом, неизмеримо главнее всего остального.

Первой прорезалась Васена — худобой и костистым желтым лицом старуха напоминала Глебову средневековые рисунки, изображавшие смерть с косой, — и вот она секанула Глебова, и правда, как косой. Однажды сказала Соне, он стоял близко и услышал, да и говорилось, чтоб услышал:

— Твой-то приймак никогда ног не оботрет... Всегда, как в трактир...

— О чем вы, Васена? — спросил Глебов, подходя. — И что значит — приймак?

— А я почему знаю... Говорится так... — проворчала Васена.

Соня, побледнев сильнее обычного, обняла старуху.

— Няня, милая, зачем ты так? Ведь ты добрая, я же знаю...

А в конце января Соня, взволнованная, сказала Глебову, что случилась беда: Юлия Михайловна неожиданно поехала с Аникеевым на дачу забрать какие-то вещи и обнаружила некоторые несомненные улики, оставленные ими по рассеянности или халатности — торопились на электричку. И что же? Мать, хотя и ругает отца за близорукость и простодушие, сама еще более простодушна и имеет привычку отталкивать от себя все огорчительное, делает это бессознательно, этакий домашний страус, и вот какой вывод она сделала: «Соня, я должна сообщить тебе неприятную вещь. На нашей даче ночевали чужие люди. Они ничего не взяли, не украли, просто пришли, чтоб ночевать». — «Что ты говоришь!» — испугалась Соня. «Да, это, к сожалению, так. Есть несимпатичные доказательства. Отцу говорить я не буду, чтоб не огорчать зря. Ведь теперь уже ничем не поможешь».



Глебов, подумав, сказал: а если Юлия Михайловна все прекрасным образом сообразила и так иносказательно дает это понять? Ему не привиделось тут беды. Они вовсе не обязаны так уж свято хранить тайну. Ведь решили стать мужем и женой, это нерушимо, вопрос лишь времени — сейчас, через полгода, через год, какая разница?

И он думал так искренно, потому что казалось — твердо, окончательно и ничего другого не будет. Их близость делалась все тесней. Он не мог пробыть без нее дня. Теперь, когда прошло столько лет с той зимы, можно размыслить спокойно: что это было? Истинная любовь, созревшая естественно и долго, или же молодое телесное беснование, которое обрушилось внезапно, как ангина? Было, пожалуй, второе. Слепое, бессмысленное, безоглядное и так не похожее на него, насколько он знал себя. Все дело заключалось в том, что и она оказалась совсем не похожей на ту, к какой он привык и с какой давно, годами смирился. Ее молчаливость, стеснительность, анемичность — все это было в прошлой, далекой жизни. И только ее доброта и покорность остались с ней новой.

Я помню, как он меня мучил и как я, однако, любил его. Он звонил утром по телефону — отец и мать знали, что звонит он, и старались не снимать трубку, потому что я сердился, когда они это делали, — и я мчался сломя голову из любого места, где в ту секунду находился: из кухни, где доедал клейкую и в отвратительных комьях манную кашу, из ванной и даже из того места, откуда, услышав сквозь дверь звонок, вылетал с незастегнутыми штанами. «Да! — кричал я. — Это кто говорит?» Мне хотелось услышать его имя. Он не называл себя, а всегда придумывал что-нибудь замечательно остроумное. «Сэр, — говорил он, — я жду вас ровно в восемь пятнадцать под часами в среднем дворе, и извольте быть при шпаге. Я заколю вас, как зайца... Из вас выйдет превосходное жаркое, сэр!» — «А из вас, — кричал я, задыхаясь от счастливого хохота, — из вас, сэр, выйдет очень хорошая пожарская котлета! Вот именно, сэр! Такая жареная, в подскребочках, вкусенькая котлеточка, сэр!»

Это было ужасно — я всегда ему подражал. В моей голове не рождалось ничего оригинального, а если и рождалось, то гораздо позже, чем нужно. Я прибежал на пять минут раньше и ждал его, изнывая от нетерпения. Не помню во всей своей долгой жизни потом, чтобы я ждал кого-нибудь с таким трепетом и мучительной боязнью подвоха, потому что Антон Овчинников, как и полагается истинному ученому и великому человеку, был невероятно рассеян, забывчив и непостоянен. Договорившись со мной, он мог тут же передоговориться с Моржом или с Химиусом, и я вдруг видел, как они спокойно идут другой стороной двора, направляясь к другим воротам и не обращая на меня никакого внимания. Будто меня нет на свете! Будто он только что не звонил мне и заговорщицким тоном не требовал, чтоб я вышел к часам!

Когда это случилось впервые, я набросился на него в гнев: «Сэр, что это значит? Я жду тебя, как дурак, а ты идешь через те ворота?» Он посмотрел на меня, как мне показалось, с холодным презрением и произнес: «Милейший, разве мы договаривались, что я подойду именно к данному пункту? Я имел право пересечь двор каким угодно курсом и с какими угодно спутниками, а ваше дело следить за моим движением и при желании в точно указанный срок присоединиться...» Он выложил эту высокоумную ахинею сухим, не допускавшим возражения тоном. Морж и Химиус хихикали, а я был ошеломлен, спорить с ним я не умел, злиться на него не мог. Понутив голову, я плелся за ними следом. Тощий Химиус и рыхлый толстяк Морж шагали по бокам приземистого Овчинникова — тот был, разумеется, без шапки, несмотря на мороз, льняные волосы трепыхались, он был в коротких штанах, в гетрах, голая белизна в просветах между гетрами и штанами отливала синюшностью, и прохожие оглядывались на него, ухмыляясь, — и он непрерывно что-то рассказывал, а Морж и Химиус слушали разинув рты.

В ту зиму он увлекся палеонтологией, завел большие альбомы, где рисовал разных динозавров и птеродактилей, и без конца рассказывал о них все, что знал. И я не нашел ничего лучше, как увлечься тем же. Тоже завел

альбом, тоже пытался рисовать, вернее, срисовывать, а точнее говоря, сводить при помощи папиросной бумаги из книг всяких допотопных страшилищ, но, так как получалось плохо, я безбожно портил книги, вырезая картинки. Вот бы с кем ему следовало вести беседу о ящерах, а он тратил энергию на просвещение Моржа и Химиуса, которые были, если уж говорить всю правду, в немалой степени *оглоедами*. Мы с Антоном называли оглоедами тех, кто ограничивал свои знания школьной программой, а *сверхоглоедами* именовали отличников. Это была совсем пропащая публика, в основном девчонки, но попадались и мальчишки, двое или трое каких-то жалких сморчков. Впрочем, и осьминогов — так назывались благородные и чистые рыцари науки, кого интересовало все равно что, но непременно выходящее за рамки школьной премудрости — было не так уж много. Ну, Антон Овчинников, ну, я, ну, может быть, еще одна или две персоны и единственная *осьминожица* среди девчонок — Соня Ганчук, которая изучала мистическую литературу, например рассказы Эдгара По. Кроме того, у Сониного отца была превосходнейшая библиотека — пожалуй, не хуже, чем у капитана Немо, — и мы часто бегали к Соне, чтобы навести кое-какие научные справки.

Антону пришла в голову изумительная идея: создать ТОИВ, то есть Тайное общество испытания воли. Это случилось после того, как нас исколошматили в Дерюгинском переулке. Антон поправился, и мы решили пойти туда снова. Мы — это Антон, Химиус, Морж, Левка Шулепа и я. Но тут встал вопрос о Вадьке Глеbove, по кличке Батон, который жил в том переулке. Звать ли его в тайное общество? Когда-то давно он принес в школу белый батон, сидел на уроке, щипал мякиш и угощал желающих. А желающих было много! Кажется, пустяк: притащил батон, который всякий может купить в булочной за пятнадцать копеек. Но вот никто не догадался, а он догадался. И на переменке все просили у него кусочек и он всех оделял, как Христос. Впрочем, не всех. Некоторым он не давал. Например, тем, кто приносил в школу

бутерброды с сыром и колбасой, а ведь им, бедным, тоже хотелось батончика! Этот Вадька Батон долгое время занимал меня как личность немного загадочная. Почему-то многие хотели с ним дружить. Он был какой-то для всех подходящий. И такой, и этакий, и с теми, и с этими, и не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый, и не то чтобы *осьминог*, и не совсем *оглоед*, и не трусливый, и не смельчак, и вроде бы не хитрец, и в то же время не простофиля. Он мог дружить с Левкой и с Манюней, хотя Левка и Манюня друг друга терпеть не могли. Был хорош с Антоном, ходил в гости к Химиусу и к Левке и ладил с дерюгинскими, которые нас ненавидели. Его друзьями были Антон Овчина и Минька Бык одновременно!

Вот и думали: как поступить с ним? Рассказать ли ему нашу тайну? Шулепа был горячий его защитник. Он говорил, что Батон никогда не предаст. Антон тоже склонялся к тому, чтобы Батона принять в ТОИВ, потому что от него могла быть польза. Не помню всех споров и рассуждений, помню лишь то, что тут была главная сласть: решать чью-то судьбу. Годится или не годится *для нас*. И, помню, судьба Вадьки Батона мучила меня особенно. Мне очень не хотелось, чтобы он был принят в тайное общество, но сказать об этом вслух и объяснить причины я не мог. Потому что была замешана женщина. Ну, конечно, в том-то и дело! Соня Ганчук была влюблена в этого невзрачного, неопределенного, не такого и не сякого Батона. Что она в нем находила? Уши торчком, пол-лица в веснушках, редкие зубы, и походка какая-то нескладная, развалистая. Волосы у него были темные, блестящие, зачесанные немного набок и такие гладкие, будто он только что вылез из речки и причесался. Я ничего не мог понять. Но было очевидно для всех: она краснела, разговаривая с ним, норовила остаться в классе, когда он дежурил, задавала ему глупые вопросы и смеялась, когда он пытался острить. Кстати, он не умел острить. В его шутках было больше насмешки, чем остроумия. Он, например, любил поиздеваться над Яриком, отпускал по его адресу ехидные замечания. Ах, может, все это мне

только мерещилось с досады! Ведь и Ярик как-то льнул к нему и хотел с ним дружить...

Он был совершенно *никакой*, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть *никаким*. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом *никакими*, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, довоображают и дорисовывают на *никаком* фоне все, что им подсказывают их желания и их страхи. *Никакие* всегда везунчики. В жизни мне пришлось встретиться с двумя или тремя этой изумительной породы — Батон запомнился просто потому, что был первый, кому так наглядно везло за *никакие* заслуги, — и меня всегда поражала окрылявшая их милость судьбы. Ведь и Вадька Батон стал в своей области важной шишкой. Не знаю точно, какой, меня это не интересует. Но, когда кто-то рассказал про него, я не удивился: так и должно быть! И сто лет назад, когда пятеро мальчишек решали жгучую проблему — посвящать или не посвящать его в свою тайну, — ему, конечно же, повезло. Решили посвятить и принять. Антон сказал, что война с дерюгинскими будет долгая, на изнурение, и нужен свой человек в их стане. Однажды после уроков повели Вадьку Батона на задворки и все рассказали. А он уже что-то подозревал. И было видно, как он обрадовался, когда ему предложили вступить в ТОИВ. Но ответил он... О, это был замечательный ответ! Тогда мы не поняли по-настоящему, прошли годы, прошла жизнь, и, вспоминая, вдруг догадываешься: вот ведь сила *никакого* характера!

Он сказал, что рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им. Вдруг обнаружилась необыкновенная выгода такой позиции: он владел нашей тайной, не будучи полностью с нами. Когда мы сообразили это, было уже поздно. Мы оказались у него в руках. Помню, задумали новый поход в Дерюгинский переулочок и назначили день, но Батон сказал, что день не годится, надо перенести на неделю. Потом еще на неделю, еще на три дня, не объясняя причин, держась таинственно, и мы соглашались. Потому что он

был наш, но не до конца и всякую минуту мог выйти из игры. «Если хотите, давайте хоть сегодня, но тогда без меня...» Мы стали бояться, что он предупредит Миньку Быка и вся затея с внезапным захватом переулка рухнет. Чего мы хотели? Просто пройти вверх и вниз Дерюгинским переулком, где увечили и обирали ребят нашего дома. И, если нападут, дать отпор. Левка Шулепа обещал взять оружие: немецкий пугач, который бухал, как настоящий револьвер.

Наконец Батон сказал: такой-то день. Мы пошли часов в пять вечера. Когда подошли к Дерюгинскому подворью, увидели на втором этаже в окне бледную рожу Батона, и он нас тоже увидел и махнул рукой. Мы прошли весь переулок, на нас никто не напал. Черная собака не показывалась. Какие-то пацаны, катавшиеся на салазках и на досках с горы посреди мостовой, не обращали на нас внимания. Мы постояли у одной подворотни, у другой, пираты не появлялись — ни Минька Бык, ни Таранька, никто. Шулепа стрельнул в воздух, мы еще немного подождали и ушли. Все были разочарованы. Испытания воли не получилось. Ходили туда еще раза два, но так же безрезультатно. Что случилось? Куда они разбежались? Это так и осталось неизвестным, а может быть, забылось с течением лет. В памяти нет ничего, кроме ощущения досады и странного чувства: будто все это — для нашего неудовольствия и собственного покоя — подстроил Вадька Батон...

Потом были еще какие-то искусства, страхи, хождения куда-то ночью, в какие-то склепы. Подземные коридоры под нашей церквушкой. И балкон в Сониной квартире над пропастью. Вот этот балкон! И холод, смертный, сжимающий кисти рук! И Сонино лицо с белым, безумным взглядом! Нас осталось четверо. Батон до последней минуты не говорил ни да, ни нет. А толстый Морж с мучительным стыдом отказался — он страдал головокружениями. Предстояло определить квартиру. Химиус отпадал, так как его квартира была полна людей, уединиться на балконе невозможно. У Левки тоже околачивался народ: родственники, приживалки, и мать целыми днями сидела

дома. Антон жил на первом этаже, я на третьем. Оставался бедный инвалид Морж. Он жил прекрасно; на восьмом этаже, с матерью, деловой женщиной, пропадавшей на службе с утра до вечера, и старой глухой домработницей, которую можно было запереть на кухне, дав ей для чтения «Пионерскую правду». Старушка любила читать «Пионерскую правду». Но Морж вдруг воспротивился. Он вообще стал возражать против этого испытания, говоря, что это не испытание воли, а испытание здоровья. И тут я вспомнил о Соне. Честно говоря, я никогда не забывал о ней.

Соня жила на девятом этаже, а родители ее как раз в ту пору куда-то уехали. Дома осталась домработница, но та временами отлучалась, и Соня подолгу была дома одна. Девятый этаж. Это было, конечно, невероятно притягательно. То, что нужно. Чем выше, тем лучше. Тем качественнее испытание. Это мы твердили друг другу, хотя от страха у нас сводило животы. Единственное, что смущало Антона: в тайну посвящалась женщина. Ведь он был категорически против женщин. «Я даже матери не рассказал, а я ей все говорю».

Верно, мать Антона была в курсе всех его замыслов и работ. Бывало, позвонишь ей: «Что Антошка делает?» Она отвечает: «А он сейчас заканчивает третью часть палеонтологического альбома. Летающие ящеры. А итальянский альбом наполовину уже сделан, получилось очень удачно, особенно Везувий...»

Боже, как мне хотелось, чтобы Соня присутствовала при испытании воли! И я сказал, что можно скрыть от нее главное, сказать, что нам, осьминогам, надо кое о чем секретно поговорить на балконе, а ее попросить побыть полчаса в кабинете. Если она даст честное слово осьминогов, что не выйдет из кабинета, она его не нарушит. Антон сопел, дулся, но дал согласие: «Ладно! Сонька, конечно, отличается от других девчонок хотя бы тем, что понимает Верди. Она даже марш из «Аиды» однажды напела, правда, не совсем точно». В его устах это было огромной похвалой. Человечество делилось на понимавших Верди, первые были — лучшие люди, вторые — темная

толпа полужнаек. Был выбран день, и мы пришли к Соне. Не могу сказать, что шел к ней бодро и с большой охотой. Ноги мои слегка ослабели, и внутри них, в костях, как будто бегали какие-то мурашки. Да и у остальных членов тайного общества вид был не лучше. Чего мне страшно хотелось — чтобы Батон не пришел, чтобы струсил в последнюю минуту! Ведь он имел право. Он мог не прийти, и мы бы ничего ему не сказали. Но он пришел, черт бы его подрал. Физиономия у него отливала зеленовато, как у покойника. А Химиус глупо посмеивался и не к месту пытался острить.

Все выглядело так, будто мы зашли посмотреть нужный нам том Элизе Реклю, затем внезапно Антон обратился к Соне: «Сонька, ты обязана сейчас же, сию минуту, поклясться в том...»

Соня, пораженная таинственностью, заподозрила неладное. С тревогой стала выпытывать: что мы задумали? Почему непременно на балконе? Не хотим ли кого-нибудь сбросить с балкона вниз? Она не подозревала, как близка к истине. Этот «кто-нибудь» мог быть любой из нас. Когда я услышал полушутливые Сонины слова, я почувствовал, как на моих глазах от жалости к себе выступили слезы. Но этого никто не заметил.

Я сделал несколько шагов по комнате, чувствуя, что колени дрожат и ноги ступают нетвердо. Ноги меня ужасно вдруг напугали. С такими ногами нечего было и думать перелезть ограду балкона и переступить через прутья на высоте девяти этажей. Я украдкой поглядывал на других. Когда по очереди мы ходили в туалет, я заметил, что всех немного шатает. И только Антон Овчинников не ходил в туалет.

Как сел на стул, придя к Соне, так и сидел, не двигаясь, до нужной секунды: ни раньше, ни позже. Тяжелый, маленький, желтолицый, плечистый, со скулами, как у Будды. И, когда Соня ушла наконец в кабинет и поворотом ручки замкнула дверь — так он потребовал, — он поднялся первый и твердыми шагами направился в соседнюю, отгороженную портьерой комнату, откуда вела дверь на балкон. Мы прошли вслед за ним. Балкон был



не заклеен и не заперт, хотя уже наступили морозы. Сонин отец по утрам занимался тут физкультурой. Как повсюду в доме, балкон был разделен решеткой надвое, другая его половина принадлежала соседям, и здесь скрывалась опасность. Каждую минуту кто-нибудь мог выйти из той двери на балкон и — о чудо! — нас спасти.

Но никто не выходил и ни малейшего признака жизни не замечалось за чужим окном. Я посматривал за решетку, на стоявшие у стены банки, кувшины и кастрюли, на занавеску стеклянной двери и думал: «Неужели вам не хочется, подлецам, выглянуть хоть на секунду? Ведь так просто перепрыгнуть решетку и ограбить вашу квартиру... Какое идиотское легкомыслие с вашей стороны...»

Нет, соседи не собирались нас спасти. Мы были обречены испытывать волю. Мороз был градусов десять, а мы без пальто, без шапок. Зубы у меня колотились. Антон подошел к левому краю балкона, который торцом упирался в бетонированную стену, и как раз над балконом находилось окно большой комнаты, где мы только что сидели с Соней. Антон потряс металлический поручень, тот был абсолютно прочен. Антон потряс его изо всей силы двумя руками. Все было в порядке. Я подумал: «Вероятно, мы сходим с ума». Но, если бы я захотел сейчас уйти, я бы не смог — ноги не повиновались мне. Внизу было все, как обычно, спокойно, тихо, снежно, черные тротуары, белый двор, крыши автомобилей, но недосыгаемо далеко. Попасть во двор внизу было, как на другую планету.

Туда можно было только упасть.

Антон перекинул одну ногу через ограду, затем вторую и медленно двинулся, держась за поручень и повернувшись к пропасти спиной, а к нам лицом, по краю балкона. Он ставил ноги между железными прутьями. Таким образом, двигаясь боком и очень медленно, он дошел до чужого балкона и повернул назад. При этом он что-то мурлыкал. Кажется, марш из «Аиды». Мы следовали за ним с другой стороны ограды, готовые в любое мгновение прийти на помощь. Интересно, что могли бы мы сделать? Вот он добрался до стены, поставил голое колено —

он по-прежнему ходил в коротких штанах — на отлив подоконника и, перекатившись животом через поручень, свалился к нашим ногам. Тотчас вслед за Антоном отправился Химиус, который не преминул шегольнуть и, слегка откинувшись на вытянутых руках, поглядел вниз и сплюнул...

В тот же миг я увидел в окне, выходявшем на торец балкона, застывшее, косое от ужаса лицо Сони.

Через секунду она выскочила на балкон. Ее рот открывался беззвучно, она уцепила Химиуса под мышками и стала тащить через ограду — он рассказывал, что тащила с нечеловеческой силой, — продолжая двигать открытым ртом и как будто кричать, но не было слышно. Химиус перевалился назад. Мы втолклись в комнату. Все были озябшие, грязные, испачканные в ржавчине, с посиневшими лицами. Соня схватила Вадьку Батона за руку, не отпускала его, боясь, что он вырвется и прыгнет за решетку, и шептала как заведенная: «Ой дураки, дураки, дураки, дураки...» Батон недовольно хмурился. У него был такой вид, точно его обидели, отняли у него что-то. Потом я узнал, как было дело. Он не стерпел и тайком разболтал Соне — наверно, когда бегал в туалет, — советовал поглядеть на занятное зрелище. Несчастный хвостун. Но он спас Левку Шулепу, себя и меня. Он спас, он спас! Ноги мои были совсем ни к черту. Эти люди, которые не трусы и не смельчаки, не то и не это, иногда спасают других, у кого слишком много всего. Я возненавидел его еще сильнее. Он ворчал на Соню и говорил ей что-то злобное. Потом она потеряла сознание, мы перепугались, звонили врачу...

А что было дальше? О, дальше, дальше и совсем далеко? Дом опустел. Мои друзья разъехались и исчезли кто где. Морж, который так страдал оттого, что не мог участвовать в испытании воли — он не мог пройти даже по обыкновенному бревну в гимнастическом зале, — исчез куда-то раньше всех. Чуть ли не в ту же зиму. И вообще мы торопились напрасно. Испытания обрушились очень скоро, их не надо было придумывать. Они повалили на нас густым, тяжелым дождем, одних прибили к земле,

других вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке.

Но я помню вот что: мать Антона сидит у нас дома, и отец Химиуса, и кто-то еще, и все разговаривают, запершись в столовой, а мне и Антону не велено присутствовать. Однако мы подслушиваем. Некоторые голоса слышны хорошо, особенно когда там говорят сердито. Я слышу, как мой отец громко и сердито говорит: «Послушайте, а вы обращались к врачу?» И голос матери Антона: «Зачем?» — «Может быть, ваш сын не совсем нормален психически».

Мать Антона засмеялась: «Мой сын? Какой вздор! Мой сын совершенно, совершенно нормален!» Тут все заговорили гулом, а мать Антона продолжала смеяться.

Той зимой, когда на даче в Брускове разгоралась глебовская любовь, в его доме в Дерюгинском сгущалась комом безысходность, какая сопутствует всякой жизни на излете. Жизнь глебовской семьи была на излете: баба Нила едва ходила и по дому все делала через силу, отец после смерти матери постарел, согнулся, какая-то болезнь съедала его, да к тому же стал попивать. Все шло к развалу, к концу. Глебов не любил бывать дома. Отец не вызывал его жалости, ибо этот бестолковый неряшливый старик не находил мужества принять конец достойно, еще надеялся на что-то, лукавил и хитрил с жизнью, мечтая выманить напоследок какие-нибудь подачки. Выманил тетю Полю: она после смерти сестры приходила чаще, навещала по-родственному, помогала бабе Ниле и как-то тихо, спроста заняла место на диване, где прежде спала мать. А куда ей было податься? Ведь дядя Володя после Севера оставил ее, уехал в Ташкент с новой семьей. Глебов махнул на них рукой. Пускай как хотят! Грудь его теснило, кровь стучала в висках от предчувствий перемен в своей судьбе...

Но у тети Поли была дочь Клавдия, которой все это не нравилось. Она не хотела простить ни матери, ни глебовскому отцу. Тети Полин сын Юрка, старше Глебова на два года, погиб на войне, а у Клавдии была семья, ребенок, она жила хорошо и должна была бы радоваться

за мать, что та не одинока и живет с бабушкой, облегчая ей старость, но Клавдия возненавидела мать. Приходя в Дерюгинский, она подчеркивала, что приходит лишь навестить бабу Нилу. С родной матерью почти не разговаривала, а с отцом Глебова была суха, насмешлива.

Клавдия была в дядю Володю: крупная, мосластая, некрасивая. Почему-то считалось, что она хороший человек. Такая же легенда, как то, что тетя Поля красавица. Глебова задевал насмешливый тон, каким Клавдия разговаривала с отцом, отчего тот терялся, а тетя Поля нервничала, суежилась и говорила чепуху, и вообще Глебов с некоторой досадой ощущал в Клавдии иную структуру, что-то чужеродное — неприятную жесткость.

Однажды сказала Глебову:

— Удивляюсь на тебя: и как ты спокойно все кушаешь? Характер у тебя все-таки уникальный.

— Чем же? — спросил Глебов.

— Вот этой всеядностью. Или, может, равнодушием потрясающим.

Глебов усмехнулся.

— А что я должен делать? Я взрослый человек, они взрослые люди... — Он смотрел в недоброе, язвительно кривящееся лицо кузины и думал: лучше быть равнодушным, чем злым. Вслух сказал: — Я им зла не желаю.

— Боже мой, да кто им желает зла? Я, например, просто страдаю, для меня пытка, а тебе ничего... Вот и удивительно...

— А мне другое удивительно: как ты можешь до такой степени мать родную невзлюбить? Откуда эта беспощадность?

Клавдия закрыла лицо руками, ушла.

Потом как-то призналась Глебову: рада бы смягчиться и мать простить, да сил нет. Потому что из-за нее всей семье горе. Это ведь еще до войны началось. И в эвакуации тянулось. Оттого все и раздергалось в лоскуты: дядя Володя не захотел с Полиной жить, а глебовская мать надорвала сердце. Глебов ничего этого как-то не заметил или, вернее сказать, не понял. Клавдия, рассказав, разрыдалась внезапно и стала ругать себя, говоря, что она

дурной человек, что не смела всего этого говорить Глебову, и просила у него прощения.

— Теперь ты меня-то хоть можешь понять? — говорила она, то плача, то хватая Глебова за руку. — Да, я злая, подлая, не имела права тебе говорить... Кто меня за язык тянул, сволочь?

Глебов был поражен, но сказал спокойно:

— Ну что ж? Я догадывался. Я тетю Полю не виню.

— А я виню, — шептала Клавдия и голову опустила на стол. — Я виню, виню, виню... Она меня и матери лишила, и отца.

Глебов молчал, обдумывая. Конечно, открытие было болезненное, но ведь все худшее уже случилось, и он ощутил лишь, как окрепло желание порвать скорее и начать все по-своему.

Соня стала бывать у него в доме. Ей хотелось познакомиться со всеми его родными, она всех любила заранее. Но Глебова терзали эти визиты. Она видела жалкость отца, слышала пустые, заискивающие разговоры, наблюдала скудость, тесноту — когда-то, в школьные времена, все это несколько его не смущало, приятели ходили к нему наперебой, но теперь собственный дом все более становился в тягость, — и особенно он боялся Сониного недоумения: кто такая тетя Поля?

Однажды Соня явилась, когда все были дома и даже Клавдия зашла проведать бабу Нилу, принесла с рынка овощей. Был конец мая, жарко. Глебов познакомил Соню с Клавдией и поскорей потащил в свою клетушку, теперь, слава богу, хорошо изолированную от комнаты, где жили баба Нила и отец и где ночевала на диване, когда приходила *помочь по дому*, тетя Поля. Через полчаса позвали пить чай. Глебов шел с неохотой, но Соня рвалась к новым знакомствам: на этот раз к Клавдии и ее четырехлетней Светочке, очень заинтересовавшей Соню. Они мгновенно понравились друг другу, Соня и Светочка, и стали щебетать и играть во что-то, отключившись от остальной компании. Между тем в комнате гроыхал тяжеловатый семейный спор, что бывало редко — Клавдия избегала вести сварливые разговоры в этом доме.

На этот раз затеялось как-то внезапно, Клавдия не могла сдержаться. Причиной спора была как раз маленькая Светочка, которую надлежало скорей вывезить за город.

С неудовольствием глядя на пришедшую в разгар спора Соню, Клавдия говорила резким, бранчливым голосом:

— Нет, ты ответь твердо: поедешь со Светкой или нет? Если нет, тогда я стану договариваться с Колиной теткой, но не хотелось бы, она человек нездоровый...

Тетя Поля говорила, что сняли дачу неудобно, далеко, а ей надо три раза в неделю ездить в Москву за работой. Она работала тогда для артели, плела какие-то сети для машин. И еще: как бабу Нилу оставить без помощи? Клавдия рассердилась.

— На бабу Нилу не кивай! Мы ее с собой заберем на дачу. Ей там еще лучше будет.

— Да куда ты бабу потащишь? С ума сошла!

— А здесь ей хорошо, что ли?

— Врачи нужны, дура! Поликлиника! Ты об няньке думаешь, а не о бабке. А она свое отнянчила.

Баба Нила возражала, говоря, что совсем еще не плоха. Тетя Поля корила: зачем в детсад не захотели отдать? Детсад на дачу поедет. На Клавдиной фабрике сад, говорят, очень хороший.

— Кто говорит? Тебе бы только с рук сбить, бабка называется! — разъярилась Клавдия. — Господи, сколько раз зарекалась к ней обращаться...

Отец забубнил что-то. Понять, что он там жевал беззубым ртом, было нельзя. Женщины бранились, хоть не грубо, не ругательски, но как-то невыносимо занудливо и безнадежно, главное, совершенно не стесняясь Сони. Клавдия обличала мать в эгоизме, говорила, что о девочке не думают, заняты собой, и что же делать? И ехать не с кем, и залог пропал. Конечно, кабы знала, в детсад бы устроила, теперь поздно.

Тетя Поля сказала:

— А потому, что с матерью не разговариваешь. Все молчком, молчком, как зверюга. Что я тебе плохого сделала? — тетя Поля заплакала.

Соня вдруг сказала:

— А хотите, я вам предложу нашу дачу? Там есть сторожка летняя, очень удобная, с электричеством и с водой. Хочешь, Светочка, ко мне на дачу?

— Хочу! — закричала девочка, прыгая.

На слова Сони никто внимания не обратил, точно их не слышали. Продолжали браниться. Отец рукою махал:

— Не волнуйся, поедет она, никуда не денется.

Тетя Поля, плача, головой мотала:

— Не могу я в такую даль... И не хочу с ней, она меня знать не желает...

Соня шепнула Глебову:

— Скажи про Брусково... Это вполне реально...

Клавдия вдруг обернулась к Соне:

— Девушка, не путайтесь в наши дела, пожалуйста. Спасибо за предложение, но дача ваша нам не по карману и вообще не подходит.

— Грубо! — сказал Глебов. — Пойдем, Соня.

Они вернулись в глебовскую комнату, сели на кушетку, застеленную байковым одеялом. Глебов замкнул дверь и включил настенную, в бумажном колпачке лампу над изголовьем. Сколько вечеров и ночей провел он под этой лампой, валяясь на кушетке, читая, мечтая! Он привалился плечами и затылком к дощатой стене — одна из его излюбленных сибаритских поз, что удостоверялось сальным следом головы на обоях, — а Соня села рядом, забравшись глубоко во впадину старой кушетки, прижавшись к нему, положив голову ему на грудь, и он обнимал ее левой рукой, а правой поглаживал бедро в шуршащем чулке. Над чулком была полоска голой кожи. За деревянной перегородкой продолжался тягучий спор. Было слышно каждое слово. Глебов боялся, что Клавдия скажет что-нибудь ужасное, непоправимое, чего Соня не должна знать. Он гладил ладонью принадлежащую ему доступную полоску прохладной кожи и говорил о том, что его двоюродная сестра чванлива, невоспитанна, окончила всего семь классов и техникум и что ему с нею не о чем говорить. Она работает мастером на трикотажной фабрике, а Коля, ее муж, там же наладчиком.

— А я эту женщину пожалела... Она такая ожесточившаяся, смотреть больно... — сказала Соня. — И тетю твою мне жаль, она хорошая, по-моему, красивая... И девочка, чудная, но слабенькая... Всех мне жаль, всех, всех! Это плохо, да? Это не нужно?

— Нет, почему же? Это хорошо. И нужно, — сказал Глебов, продолжая поглаживать кожу над чулком, и, чтоб было удобней, отстегнул застежку и спустил чулок. Он мог бы делать все, что хотел. Она взяла его левую руку за пальцы и прижала к губам. Голоса за перегородкой не умолкали, от этого было тихое раздражение, и все же поверх всего он испытывал громадную покойную радость: оттого, что женщина была покорна. И, главное, женщина необыкновенная. Об этом он догадывался и это внушал себе, приказывая своей ладони получать наслаждение от поглаживания бедра необыкновенной женщины, которая целиком принадлежала ему.

Прошло лето. Наступил последний для Глебова пятый курс. И вот что случилось осенью — было уже холодно, чуть ли не снег, вероятно, ноябрь, — когда Глебов из всей мочи гнал диплом.

Попросили зайти в учебную часть. Там был такой Друзев, недавно назначенный, Глебов знал его мало. Расспрашивал о дипломе, что да как. Глебов писал о русской журналистике восьмидесятых годов. Тема неохватная, тонул в материалах, цитатах, в тысячах газетных страниц.

Друзев расспрашивал со знанием дела. И даже стишок редкий прочитал на память: «Победоносцев для Синода, Обедоносцев при дворе...» А может, нарочно, к разговору подготовил? Глебов с удивлением поглядывал на усталого рыхлолицего человека со следами сердечной недужности и, как это часто бывает у сердечников, с какой-то вялой, таимой печалью в глазах и думал: зачем было слать курьера в аудиторию и требовать, чтоб срочно, немедленно? Друзев был в офицерском кителе, в брюках от штатского костюма, под брюками сапоги, постоянно скрипевшие. В нем была какая-то мешанина. Казенный скрип и китель никак не вязались с печалью в глазах и с разговорами о либеральных редакторах,



с полукрамольным подмигиванием по поводу Суворина: «Да ведь Алексей Сергеич был, между нами говоря, мужик огого! Громадный талант!»

Но об одном, разговаривая, Глебов помнил неотвязно: еще недавно Друзяев был военным прокурором и только год назад демобилизовался. В комнату заглянул аспирант Ширейко. Просунул черную очкастую голову будто на секунду, но, увидев Глебова, решил почему-то зайти. Прошел к столу и сел легко, развязно, как дома. Глебов тогда еще прозрел: эге! Ширейко в ту пору бурно возрастал, еще будучи аспирантом. На глебовском курсе читал спецкурс по Горькому, заменив Аструга. Друзяев спросил:

— Ваш научный руководитель Николай Васильевич Ганчук?

Как в детской игре «горячо — холодно», Глебов почувял вдруг, что тут-то и есть «тепло». Друзяев не сказал «Ганчук», что прозвучало бы сухо и неприязненно, и не сказал «Николай Васильевич», что было естественней всего, если уж не дружески-фамильярное и привычное «Ник-вас», он избрал четкую, официальную формулу «Николай Васильевич Ганчук», как при вручении премии или траурном объявлении. Оно было и уважительно и чем-то неуловимо отделяло названный авторитет от некоего целого. С руководителем полный контакт? Никаких проблем? Глебов подтвердил и это. Друзяев совсем иным и, как показалось, *прокурорским* взглядом сверлил Глебова, его недужность точно вмиг смыло, он выпрямился и как-то поширил в своем кителе.

— Понимаете, Глебов, дело тут щекотливое... Зачем я вас пригласил? Только, прошу, антр ну, как говорят французы. Юрий Северьяныч в курсе наших забот, — Друзяев кивнул на Ширейко, который слушал внимательно, со строгим лицом. — Так что его присутствие пусть не удивляет. Мы все тут немного смущены. Вы знаете, что Николай Васильевич Ганчук включил вас в предварительный список дипломников, которые будут рекомендованы в аспирантуру? Не знаете? Для вас новость? К тому же приятная, а? Кроме того, он ваш научный руководитель.

И еще, кроме того, вы его, так сказать, будущий, как это называется, зять, что ли? Вы извините, разведка донесла. А я, как военный человек, привык разведанным доверять...

Друзяев опять как-то обмяк, расслабился и даже улыбнулся. Но улыбка была обращена не к Глебову, а к аспиранту Ширейко. Глебов промычал и мотнул головой неопределенно, что все же означало: данных разведки он не отрицает.

— Видите ли, Глебов, — продолжал Друзяев, — мы не против вашей аспирантуры и не против того, чтобы Ганчук был вашим руководителем в дипломной работе. И мы, конечно, совсем не против того, чтобы вы породнились с профессором. Мы также никогда не возражали против того — я тут человек новый, но мне товарищи рассказали, что этот вопрос ни разу не поднимался, — чтобы супруга Ганчука, Юлия Михайловна Брюс, работала у нас на кафедре языков, руководила группой. Понимаете, в чем штука: все в отдельности превосходно, а все вместе — перебор.

— Не очень-то ароматный душок! — твердо произнес аспирант Ширейко и добавил: — С точки зрения моралитэ.

Глебов спросил: и что же? Какие предложения? Держался даже слегка вызывающе, потому что понял: цель — не он. Те стали объяснять, что говорить со стариком трудно, он привык быть вне критики, старые товарищи вести переговоры отказываются, но надо же как-то дать понять. Иначе будет поздно! Слух дойдет до инстанций. Не согласится ли Глебов спокойно, по-родственному поговорить с Ганчуком и обрисовать ситуацию? Пусть Ганчук сам подберет руководителя для глебовского диплома. Пусть даст заявление, с указанием какой угодно причины. Все это чепуха и формальность. Вот и все тайны мадридского двора. Итак? Согласен ли товарищ Глебов помочь в первую очередь самому себе?

Глебову дело показалось чрезвычайно простым и ясным, и он сказал, что согласен. И с этого дня началась морока, та, что запутала, заморочила и истерзала его вконец.

Если бы знать, куда дело загнется! Но Глебов всегда был в чем-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружили, были для него тайной за семью печатями. Впрочем, никто ничего предвидеть не мог. И Друзьев, так смело и хитроумно затеявший этот дальний подкоп под крепость, огороженную мощной стеной, не догадывался, что ровно через два года он, вышибленный отовсюду и сраженный инсультом, будет сидеть в кресле у окна во двор и, тряся скрюченными руками, мыком объяснять жене, что хотел бы закурить сигарету. А еще через год, будучи аспирантом, Глебов прочтет в газете маленькие объявления: «...с глубоким прискорбием... после тяжелой и продолжительной...» Как рассказывали, на похоронах Друзьева присутствовали человек восемь, все были возбуждены недавно прошедшими другими похоронами, дело происходило в марте, но даже и не в том суть: Друзьев исчез стремительно, как и возник. А возник он как будто только затем, чтобы выполнить какую-то быстролетную миссию. Налетел, выполнил и исчез. Глебову казалось в первые часы, когда он обдумывал предложение Друзьева, что оно вызвано озабоченностью о его, Глебова, успешном завершении диплома. Какова была наивность! Задача лишь в том, представлялось ему, чтобы найти человека, готового подписать работу, которая будет проделана Николаем Васильевичем как руководителем. Чистая *формальность*, они боятся *формальных* неприятностей.

Он решил, что на следующий день вечером, когда пойдет к Соне, поговорит с Ганчуком. Единственное, что смущало и о чем он не подумал сразу: как объяснить старику то, о чем так грубо и напрямик ляпнул Друзьев? Хотя между ними все было решено, родителям ничего еще открыто не сказали. Намечалась несообразность: объявлять Ганчуку о столь серьезном решении одновременно и в связи с предложением Друзьева было как-то глупо, да и в любом виде начинать такой разговор — Глебов вдруг почувствовал — было бестактностью. Это значило подгонять события, которые обязаны были развиваться плавно, своим ходом.

Лучше всего оттянуть, замотать всю эту историю. Авось забудут или же дело сделается как-то само собой. Любимый принцип: пустить на «само собой».

На другой день он к Соне не пошел, на второй и на третий тоже. Вовсе непреднамеренно, находились причины, заботы, он кое-что делал тогда для заработка, вплоть до самого низменного — колки дров на пару с приятелем по деревянным замоскворецким закутам, а в ту пору, накануне зимы, был разгар таких работенок, — но подспудно руководило желание оттянуть неприятное, авось минует. Не миновало! Ширейко после семинара спросил: «Говорили?» Глебов сделал вид, что не понял. «С кем?» — «Да с вашим руководителем диплома. С будущим тестем». — «Ах, да! Нет еще. Пока не говорил. Не было случая». — «Вы уж найдите случай, пожалуйста, — сказал Ширейко холодновато. — Нам надо куда-то вас записывать, туда или сюда».

И черт его знает, что этот аспирант себе позволял! Глебов встревожился, поняв, что настроение какое-то чересчур неуступчивое и «само собой» не пройдет. Звонила Соня.

Что случилось? Куда пропал? Он объяснил как есть: зарабатывал деньги. Она взволновалась: «Ты не очень надрывался? Ты не заболел?» Вечером Глебов пришел к ней и все рассказал про Друзьева и Ширейко. Ничего глупее придумать было нельзя. На какую помощь он рассчитывал?

Она растерялась, замкнулась, твердила одно:

— Как хочешь, как считаешь нужным...

И тогда он впервые заметил тот ее взгляд — полный изумления.

— Может, мне не надо было тебе говорить? — спросил он.

— Может, и не надо было. — И опять рассматривала его, улыбаясь и с изумлением. — Тут западня. На твоём месте я бы им ответила, знаешь как?

— Как?

— Я бы сказала: послушайте, ведь это ужасно не деликатно! Вы не находите, что это не деликатно?

— Я пытался их вразумить, — соврал он.

— Откуда стало известно? Почему об этом говорят? — Голос ее дрожал, на глазах появились слезы. Он порывнулся обнять ее, но она легко и гибко, необычным для себя кокетливым движением отстранилась от его руки. — А то, что случилось с нами, касается только нас двоих.

— Честно, я был обескуражен... Я объяснял, — бормотал Глебов, продолжая врать, — о том, что бестактность...

— Ты объяснял? Сказал, что досужие вымыслы? — Соня вновь улыбнулась. — Я говорю, тут замечательная западня! Нет, Дима, все это кошмар. Не надо впутывать в наши отношения отца. У мамы тоже сейчас неприятности: ее вызывал Дороднов и сказал, что ей надо сдавать экзамены. Чтобы получить диплом советского вуза и иметь право преподавать. У нее диплом Венского университета. Она двадцать лет преподает. Смешно, правда? — Соня взяла его за руку. — Дима, я хочу тебе сказать: ты абсолютно свободен. Делай так, как тебе нужно. И, ради бога, никаких насильственных поступков... Ты понимаешь меня?

Он угрюмо кивнул. За ужином Юлия Михайловна, крайне возбужденная, рассказывала о разговоре с Дородновым. О том, как Дороднов был учтив и любезен, как складывал губы сердечком, называл ее «милая Юлия Михайловна» и вообще изображал дело так, будто сам он не имеет к этой интриге никакого отношения. Будто некие люди, бюрократы, лица и имени не имеющие, требуют соблюдения формальностей. Опять формальности! Дороднов сокрушался, извинялся. Но, когда Юлия Михайловна заметила, что хотя Сима, другая преподавательница, законспектировала всю подряд «Диалектику природы» Энгельса, она все равно знает немецкий много хуже, чем Юлия Михайловна, и так это останется на веки вечные, Дороднов вдруг округлил глаза и руками всплеснул: «Юлия Михайловна, неужто вы отрицаете тот факт, что язык — явление классовое?» Юлия Михайловна смеялась, рассказывая. Ганчук тоже то смеялся, то хмурил брови. Ни о чем другом, кроме этой анекдотической новости насчет сдачи экзаменов, за столом не говорили. Было

много шума, предположений, догадок, смеха, Юлия Михайловна обнаружила актерский дар и комично пародировала Дороднова, Куник рассказывал о каких-то историях, случившихся в академическом институте, сестра Юлии Михайловны Эльфрида Михайловна, тетя Элли, как называла ее Соня, совсем непохожая на сестру, полная, самоуверенная дама, крашенная блондинка, громко и возмущенно обличала бюрократизм. Эльфрида Михайловна была журналисткой, работала на радио. Она напонила слова Ленина о том, что борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Что для успеха этой борьбы нужна поголовная грамотность, поголовная культурность. И что бюрократизм, конечно, есть проявление мелкобуржуазной стихии, о чем забывать нельзя. В присутствии Ганчука тетя Элли говорила поучительным, категорическим тоном, как будто профессором была она, а не он. Вообще эта женщина была Глебову несимпатична, может быть потому, что — он чувствовал — и он был чем-то несимпатичен ей. Он платил людям той же монетой. В ней был снобизм. Она иногда не замечала его приветствий или же едва кивала с подлым высокомерием. В ее манере было перебивать его за столом. А что уж так зазнаваться? Неудачная публицистка, липовая международница. Его не примиряло с тетей Элли даже то, что та считалась семейным героем: две недели работала корреспондентом в Барселоне во время войны. Потом за что-то отозвали. Вероятно, за глупость. Тетя Элли спросила: «Интересно, какого происхождения этот ваш Дороднов? Готова держать пари, что не пролетарского».

Юлия Михайловна сказала, что про Дороднова не знает, но про Друзяева известно точно: он сын мельника. «Voilà! Прикрываются марксистскими фразами, а попробуй их поскреби...» Но Ганчук сказал, чтоб не обольщались: Дороднов неплохого происхождения. Он из семьи железнодорожника. Все не так просто, дорогие мои. «А ты не ошибаешься?» — упорствовала тетя Элли. К концу ужина все немного успокоились, смехотворность эпизода с Дородновым была исчерпана, и Юлия Михайловна с тетей

Элли сели за пианино и играли в четыре руки. Ганчук с Куником ушли в кабинет работать.

И все-таки Соня была совсем другая! Она все видела иначе, не так, как родные. И втихомолку подшучивала над ними. Вдруг сообщила Глебову шепотом: «А знаешь, кем был отец моей мамы и тети Элли? Сыном венского банкира; правда, разорившегося...»

Кажется, она одна замечала смешное в том, что смеялись над Дородновым, и в ее улыбке была грусть.

Поздно, когда выходил из Сониной комнаты, шел через темную столовую, он увидел, как сестры — одна хрупкая, тонконогая, другая полная, задастая, с маленькой головкой, как баба на чайник — стояли, обнявшись и покрывшись одной шалью, у окна, смотрели на россыпь огней внизу и что-то пели негромко, покачиваясь, очень красиво.

И еще помню, как уезжали из того дома на набережной. Дождливый октябрь, запах нафталина и пыли, коридор завален связками книг, узлами, чемоданами, мешками, свертками. Надо сносить всю эту *хурду-мурду* с пятого этажа вниз. Ребята пришли помогать. Какой-то человек спрашивает у лифтера: «Это чья такая *хурда-мурда*?» Лифтер отвечает: «Да это с пятого». Он не называет фамилии, не кивает на меня, хотя я стою рядом, он знает меня прекрасно, просто так: «С пятого». — «А куда их?» — «Да кто их знает. Вроде, говорят, куда-то к заставе». И опять мог бы спросить у меня, я бы ему ответил, но не спрашивает. Я для него уже как бы не существую. Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать. Меня гнетет стыд. Мне кажется, стыдно выворачивать перед всеми, на улице, жалкие внутренности нашей жизни! Мебель в громадной квартире казенная, она вся остается. Пианино мы продали год назад. Ковры тоже продали. Но я так привык к этим столам, стульям с жестяными инвентарными номерами, к тяжелым квадратным креслам и диванам, обитым шершавой тканью с запахом дезинфекции! К дверям с матовым зернистым стеклом в мелком переплете и к обоям, которые теперь, после того

как сняты фотографии — с пятнами невыгоревшего цвета, — приобрели какой-то грязноватый и голый вид. Все это еще почти свое, но уже чужое. Я стою в нерешительности перед картой Испании. Братъ, не братъ? Семь месяцев назад пал Мадрид. Кончилась страстная забота, осыпались флажки. «Братъ! — говорит Антон. — Она еще нам пригодится». — «Дай ее мне», — говорит Вадька Батон, явившийся без приглашения. Он повсюду таскается за Антоном, как рыба-прилипала за акулой. Входит бабушка и говорит: «Если не возьмешь карту, я заверну в нее мясорубку». Нет, я возьму ее. Отдираю кнопки, снимаю карту и складываю ее в восемь раз, так что получается пухленькая брошюрка. Ее можно положить в карман пальто. Эта карта до сих пор среди моих книг на полке. Прошло много лет, я ни разу не развернул ее. Но то, что вобрало в себя так много страданий и страсти, пускай детских страданий и детской страсти, не может пропасть вовсе. Кому-нибудь все это да сгодится. Тогда, под дождичком, возле сложенной горкою *хурды-мурды*, в ожидании грузовика...

«А та квартира, — спрашивает Батон, — куда вы переедете, она какая?»

«Не знаю», — говорю я.

Но я знаю, бабушка говорит, что место очень хорошее, рядом парк, много зелени, замечательный воздух. Правда, ездить бабушке на работу будет далеко. Сначала трамваем до заставы, потом автобусом, всего около часа. Но хорошо то, говорит бабушка, что в трамвай и в автобус она будет садиться на конечных станциях, в пустые вагоны. Мы будем жить в одной маленькой комнате в общей квартире. Комната на солнечную сторону и во двор. «Очень хорошая комната!» — говорит бабушка. Всего этого не хочется рассказывать Батону. Нет настроения говорить с ним. Если б он знал, как тяжело у меня на душе! Вот они прибежали, дурачатся, шутят, помогают носить вещи, у них прекрасное настроение, и неужели они не догадываются, что мы видимся, может быть, в последний раз? Им хорошо, они остаются вместе. А я — в неизвестную жизнь, к неведомым людям. Где я встречу таких



товарищей: ученых, как Антон, остроумных, как Химиус, и добрых, как Ярик? И еще самое главное. Самое-пресамое главное и тайное. Где еще я встречу такого человека, как Соня? Да, разумеется, нигде на целом свете. Бесцельно даже искать и на что-то надеяться. Конечно, есть люди, может быть, красивее Сони, у них длинные косы, голубые глаза, какие-нибудь особенные ресницы, но все это ерунда. Потому что они Соне в подметки не годятся. Проходят минуты, день смеркается, скоро подъедет грузовик, а Сони нет. Ведь всем известно, что сегодня наступает разлука. Почему же хоть на секунду, хоть оттуда, издалека? Но нет, нет и нет. Батон спрашивает: «Сколько комнат? Три или четыре?» — «Одна», — говорю я. — «И без лифта? Пешком будешь ходить?» — Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку.

Вдруг вижу, она появляется там, в глубине двора, под бетонной аркой. Быстро, быстро, огибая черный и мокрый двор, бежит сюда, к подъезду. Подбежала, спрашивает, задыхаясь: «Еще не уехали? Вот хорошо! А это тебе... на память...» — сует мне что-то завернутое в газету, похожее на книгу. И смотрит весело не на меня, а на всех, на всех.

Дорожные шахматы. С дырочками, чтобы втыкать фигурки. Я видел такие у нее дома. Но сейчас меня ничто не радует. Ведь мы расстаемся. На всю жизнь, навеки! Почему не понимают, как это страшно: навеки? Я не могу вымолвить ни слова, смотрю на бледное, немного веснушчатое лицо, вижу, как оно улыбается добрыми губами, добрым взглядом близоруких глаз, в которых нет ничего, кроме веселого спокойствия, сочувствия, теплоты — для всех...

«Ну, до свидания», — говорю я, протягивая ей руку. Подъехал грузовик. Мне кричат. Бабушка суетится, раздражается. Мы забрасываем в кузов *хурду-мурду*. Бабушка садится рядом с шофером, а мы с сестрой перелезаем через борт и устраиваемся на вещах. Сестра прижимает к груди кота Барсика. Дождь, слава богу, еще льет, поэтому двор пуст, никто не видит, как мы уезжаем. Только лифтер в черной фуражке вышел из подъезда, стоит,

заложив руки за спину, и смотрит не на меня, не на сестру, а на грузовик и едва заметно кивает: то ли прощается с нами, то ли задумался о чем-то и кивает собственным мыслям, то ли радуется: наконец-то! Отъезжает асфальтированный, темный от дождя двор, где прошла моя жизнь. Я вижу товарищей этой исчезнувшей жизни, они машут руками, их лица теперь не кажутся веселыми, но они и не очень грустны, а девочка улыбается кому-то. Я догадываюсь, она улыбается тому, ради которого пришла провожать меня.

Это было, как на сказочном распутье: прямо пойдешь — голову сложишь, налево пойдешь — коня потеряешь, направо — тоже какая-то гибель. Впрочем, в некоторых сказках: направо пойдешь — клад найдешь. Глебов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь — тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню. Что это было — ленивое легкомыслие и упование на «кривую, которая вывезет» или же растерянность перед жизнью, что постоянно, изо дня в день, подсовывает большие и малые распутья? Теперь, когда прошло столько лет и видны все дороги и тропки как на ладони, ветвившиеся с того затуманенного далью, забытого перекрестья, проступает какой-то странный и полувнятный рисунок, о котором в тогдашнюю пору было не догадаться. Вот так в песках пустыни открывают давно сгибшие и схороненные под барханами города: по контурам, видимым лишь с большой высоты, с самолета. Много заведено песком, запорошено намертво. Но то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок — это рисунок *страха*. Чего было бояться в ту пору глупоглазой юности? Невозможно понять, нельзя объяснить. Через тридцать лет ни до чего не дорыться. Но проступает скелет... Они *катили бочку* на Ганчука. И ничего больше. Абсолютно ничего! И был страх — совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как

существо, рожденное в темном подполье, — страх неизвестно чего, поступить вопреки, встать наперекор. И было это так глубоко, за столькими перегородами, под такими густыми слоями, что вроде и не было ничего похожего.

Вроде просто непонимание, просто отсутствие любви, просто легкомыслая дурость. Левка Шулеников в перерыве хоккейного матча на стадионе, куда Глебов нарочно приехал с ним повидаться — разболтал, сволочь, так теперь помогай, советуй, — сказал вдруг со злостью: «Да не нужен тебе Ганчук вообще!» — «Почему же не нужен?» А где-то внизу, подслойно, уже слабо шевелилась догадка. Разумеется же, не нужен. Шулеников рубил сплеча: «Да потому и не нужен, что я тебе говорю! Ты меня слушай, балда!» А он отбрасывал, не желал слушать. Искал Левку, чтобы что-то узнать, и не хотел узнавать. Вот чем он морочил себя и что казалось ему бесконечно важнее всего: может ли человек точно знать о себе, любит он или нет? Почему-то о другом человеке знал твердо: любит. Тут была полная уверенность. Но о себе? Это требовалось понять, было жизненно необходимо, ибо стоял на распутье. Иногда казалось, что привязан по-настоящему, что это серьезно, без дураков, что он скучает, если не видит день или два, а иногда вдруг ловил себя на том, что не вспоминает целый вечер. И, когда внезапно как бы опамятовался и вспоминал, ощущал укол самоукоризны, как нашкодивший школьник: «Что же я так? Ведь это нехорошо!» Но тут же могло нахлынуть почти страстное желание увидеть скорей и он звонил, мчался, уславливался, придумывал, как устроить свидание. В ту зиму появился друг Павлик Дембо, осветитель с киностудии, который давал ключ от квартиры в Харитоньевском переулке. Ездить для свиданий в Брусково, на что уходило так много сил и часов, теперь было необязательно. Да у него, наверное, в эту вторую зиму не хватило бы на Брусково пыла. Все-таки ужас как тяжело было мотаться. И занимало почти всегда день, чаще всего с ночевкой. А в Харитоньевском дело обходилось двумя часами. Правда, в Брускове все было иначе. Там его не мучили сомнения: что же с ним происходит? В Харитоньевском, в паршивенькой темной

комнате Павлика, где всегда пахло едой, борщом — внизу помещалась столовая, запахи сочились сквозь доски пола, а иногда в столовой принимались морить тараканов, тогда пахло дезинфекцией и грозило тараканье нашествие, — в этой чужой холостяцкой берлоге Глебов испытал первые приступы неуверенности в себе, непонимания себя или же, попросту говоря, послелюбовной тоски. Вдруг становились неприятны ласки, прикосновения, даже простые слова, он отодвигался, мрачнел — мрачность была совершенно непобедима, охватывала помимо воли — и думал в тоске: «Разве любовь может пропасть вот так, в одну секунду? Значит, тут не любовь. Тут другое». Конечно, он был дураком, мальчишкой, но ведь в чем-то важном, когда стремился до этого важного докопаться, он дураком не был. Кого терзает загадка: истинна ли любовь? Большинство пытаются разгадать это в других. А Глебов упорно вел следствие о себе самом, ибо хотя не знал на опыте, но догадывался или же читал в какой-то умной книге: нет коварней союза, основанного псевдолобьюю. Тут будут несчастья, гибель или же пресное, тягучее прозябание, которое и жизнью не назовешь. Но вот как разгадать? Его тревожило одно тайное, стыдное. В Харитоньевском бывало иногда *не так хорошо*, как в Брускове. Он иногда не доплывал до берега. Несмотря на долгие, изнурительные старания. Соня не понимала, что с ним происходит, едва не плакала от жалости к нему. Ей казалось, что она виновата. Всегда во всем она винила себя. «Тебе нужна другая женщина!» Он, конечно, горячо возражал, но глубиной души соглашался: может быть...

Но может быть, и нет! Бывали и другие часы в Харитоньевском переулке. Вот в чем сомнений не было — в ее любви, в ее доброте. Тогда ему, глупцу, этих даров казалось мало. И был еще дар: неумение таить ни мыслей, ни чувств, никаких движений души. О, с другими она умела лукавить! Но лишь для того, чтобы с ним наслаждаться беспощаднейшей откровенностью. Однажды рассказала, как она и Куник чуть не сошли с ума. И как она его обидела. Ей было восемнадцать, лето в Брускове, конец

войны, электрички ходили с перебоями, и они оказались на даче вдвоем. Ночью была гроза, молнии разрывались рядом, все вокруг трещало, на веранде полопались стекла и заливало ливнем. Она боится грозы, становится как полоумная, и вот в таком состоянии помрачения ума бросилась к нему в комнату, он спал, ведь он глуховат, не слышал грома, стал ее успокаивать, закутывал, обнимал, укладывал на диван и сам обезумел от другого. Сквозь страх, от которого ее колотило, как в ознобе, она вдруг поняла, что этот человек помешался. Он лепетал вздор, почему-то одно и то же: «Твоя мама и моя мама...» Не было сил кричать, не было сил шевельнуть пальцем, грохот грозы оледенил ее, а у него не было сил бороться с собой. Его согнуло и распластало. Он подползал на четвереньках и хотел взобраться на диван с пола, снизу. Ощущение было, как в тягучем сне: всякое движение требует невероятных усилий. Когда уж дышал рядом и обхватил, оттолкнула его, он слетел на пол и молча отполз, как побитая собака. Непередаваемое мучительство: то, что испытываешь после удара человека по лицу! Тем более доброго, слабого, близкого человека, вина которого лишь в том, что он сошел с ума. Она страдала, не знала, что делать, как загладить этот ужас. А что он-то должен был ощущать? От жалости к нему и от мук совести она была готова на все... Но, конечно, ни утром, никогда потом не говорили об этой ночи, будто ее и не было.

«Что ж ты молчишь?» — спросила Соня и стала целовать Глебова. Он молчал оттого, что был несколько ошеломлен рассказом, но не настолько, чтоб говорить об этом. «А что я должен? Вызвать на дуэль?» Она вдруг тихонько и как-то сквозь улыбку заплакала: «Нет, нет! Никогда, ни за что... Просто я никому не рассказывала, только тебе...»

Для нее рассказать об этом — в общем-то, о безделице, ведь ничего не произошло — было подвигом, очищением. Ни крупницы не хотела от него скрыть. Да и что уж скрывать! Ни малости не затаилось к двадцати двум годам, полудетские дружбы, чужие страдания, загадочный опыт подруг, искавших с нею поделиться и посоветоваться. Она советовала. Но, когда обрушилось на нее,

она молчок, никому ни слова. Фифы-однокурсницы, когда-то лепившиеся к этому дому, к шуму, к доброте, к тортам из академического распределителя, теперь исчезли из обихода. Ни одна не была ей теперь нужна. И вовсе не из черствости, ревности или самолюбивой жадобы, а просто все ее существо было полно им, ни для кого иного не открывалось места. Как же можно было такую девушку сделать несчастной? Ей грозило страшное: любовь без любви...

Но надо всем этим мучившим душу нагромождением тайно светился — тогда невидимый, теперь же обрел рисунок — невзрачный скелетик, обозначавший *страх*. Вот ведь что было истинное. Ну, это потом, потом! Проходят десятилетия, и, когда уже все давно смыто, погребено, ничего не понять, требуется эксгумация, никто этим адским раскопом заниматься не будет, внезапно из темноты, серой, как грифель, выступает скелет.

Было сказано: «В четверг прийти и выступить!»

Когда он, мгновенно сообразив, дернулся было что-то врать насчет того, что кто-то у него дома болен, его прервали тремя словами: *более чем обязательно*. Тогда понял, что совершил ошибку, не надо было заранее отказываться, ссылаясь на чью-то болезнь, потому что — если *более чем обязательно* — принимают меры, вызывают родственников, сиделку, а вот если хворь, будь она неладна, грянет внезапно, допустим в среду... Но исправить было нельзя. Он сказал, что придет непременно, хотя ни секунды в это не верил. В общем-то, для него это было исключено. «Вы должны не просто прийти, но выступить! — была сделана твердая поправка. — Повторить вкратце хотя бы то, что говорили нам. Ничего основательного от вас не требуется... Несколько реальных подробностей, но необходимо... Без этого у нас ничего не склеится...»

Эта фраза всадила в сознание гвоздем. Много часов он раздумывал над ней, повторял ее мысленно с той интонацией, с какой произнес Друзяев, старался понять: была тут угроза или констатация, относилась ли эта фраза к нему, к Ганчуку или к администрации? У кого «ничего не склеится»? А несколько дней назад в разговоре

с Друзяевым и Ширейко — эти два были главные *толкальщики бочки*, остальные преподаватели подчинялись неуверенно или даже втайне ропща — он обмолвился насчет несчастных бюстиков, стоявших на верху книжного шкафа в кабинете Ганчука. Друзяев попросил добродушно, с милой, располагающей улыбкой: «Вадим, опишите, пожалуйста, если можете, кабинет Николая Васильевича. Какие книги, какие картины на стенах, фотографии?» Это был своего рода словесный обыск, как бывает словесный портрет. Он решил не называть некоторых книг и фотографий, которые ему запомнились, например фотографию Ганчука вместе с Демьяном Бедным в гражданскую войну, оба в буденновских шлемах, и фотографию Лозовского с надписью. Тогда Лозовский был еще в полном порядке, но Глебов проявил осмотрительность. А вот о гипсовых бюстиках, стоявших в солдатском строю под потолком, он упомянул как о детали полуанекдотической. Однако аспирант Ширейко посуровел и жестким голосом спросил: «Интересно, каких философов держит профессор Ганчук на своем книжном шкафу?» Глебов не помнил всех, там было бюстиков восемь. Помнил Платона, Аристотеля и еще, кажется, Канта и Шопенгауэра, кого-то из немцев. «А философов материалистического направления не помните?» Глебов вспоминал, напрягаясь. Кажется, там был еще Спиноза, но это не наверняка. «Ну, Борух Спиноза! Разумеется, — сказал Ширейко. — Но Спиноза не истинный материалист. А вот античных материалистов Демокрита, Гераклита не помните? Может быть, французы? А Гегель? Людвиг Фейербах?» Глебов уже догадался, что глупо всунулся с бюстиками, они могут вытянуть отсюда черт знает что, поэтому стал твердить: не помнит, не знает. Может быть, есть, кажется, есть. Потом расспрашивали о том, как осуществляется руководство дипломом, какие даются советы, замечания, рекомендации. Нет ли в методологии отголосков старых грешков? В частности, например, переверзевщины? Глебов решительно отметал. Но те наседали. Недоучет борьбы классов? Переучет подсознательного? Замаскированный меньшевизм? От чугунов, что норовили навесить,

он судорожно отбивался, понимая, что, коли уж навесят, зашатаешься. С профессором вместе. Но ведь, когда человек страшно жаждет услышать *ничто*, бывает трудно не пойти навстречу полшага, не выдавить хотя бы частицу *ничто*. «Глебов, вы себе противоречите. Вы же только что говорили...» — «Ну, в какой-то степени... Самой минимальной... Я не придавал значения...»

Прощаясь, Друзяев полушутя, посмеиваясь — он все время то супил брови по-прокурорски, то улыбался, похмыкивал, тогда как Ширейко, не расслабляясь ни секундой, буравил стальным оком, — попросил все же *ради хохмы* уточнить насчет бюстиков, кто там поименно. Глебов пообещал, думая про себя: вот вздор! Кретинизм высшей марки. Чего они хотят из этих бюстиков выжать? Дела у них, значит, неважнец, если на такое «фуфло» кидаются. «Фуфло» — словечко Паши Дембо, из игроцкого, бегового жаргона, означавшее — пустышка, чепуха. Ширейко вдруг жестким голосом: «Хочу с вами поспорить, Викентий Владимирович. Нужно не *ради хохмы*, а ради истины, чтобы узнать, каковы истинные кумиры. Тут не праздное любопытство, а реальное дело». И Друзяев, зав учебной частью, почему-то затормошился, заерзал перед аспирантом: «Нет, нет! Конечно, Юрий Северьяныч! Я полностью разделяю...»

Глебов пугался, слушая, и одновременно его разбирал смех. Кумиры! С важностью говорят о ерунде. Да с них пыль двадцать лет не смахивали, с кумиров этих. Торчат там, на верхотуре, и понять нельзя, кто есть кто. Ну ладно, если так интересуетесь, он узнает.

Потом было чаепитие у Ганчука. Старик легким голосом спросил: верно ли сказали в ректорате, будто он, Глебов, хочет менять руководителя диплома?

— Что, что? — переспросила Юлия Михайловна в изумлении. — Дима хочет менять руководителя диплома? То есть тебя? Это замечательно! — Она засмеялась.

— Меня это тоже развеселило.

— Главное, он удачно выбрал время.

— Да, время выбрано — лучше нельзя. Кстати, в субботу или в воскресенье появится статья Ширейко — ты его



не знаешь, это наш аспирант, проходимец — под названием «Беспринципность как принцип». Мои люди мне сообщили. Целый подвал.

— О ком это? — Юлия Михайловна с выражением ужаса на лице прикрыла ладонью рот.

— Ну, не только обо мне, но я там главная фигура. Ферзь! Фигура, конечно же, дутая и, что особенно отвратительно, беспринципная.

— Ой... — стонала Юлия Михайловна.

Соня, побелев, смотрела пожирающим взором на Глебова, а Глебов застыл, не мог ни двинуться, ни вымолвить слово.

— Не знаю подробностей, ведь я не читал. Там что-то насчет неизжитого меньшевизма, что меня удивило, потому что я как раз всю жизнь с меньшевизмом боролся. Тут вышла неувязочка. Надо было хоть чуть-чуть поинтересоваться моей биографией. Но в общем и целом...

— Почему вы молчите, Дима? — вскрикнула Юлия Михайловна и стукнула ладошкой по столу.

— Я не знаю... Пусть Соня скажет... — пробормотал Глебов, вставая из-за стола. Он ушел в Сонину комнату, почти убежал.

Сони не было долго. Он ходил по комнате из угла в угол, от одной этажерки до другой, нещадно курил, клял себя за то, что не объяснился с Ганчуком загодя, и злобствовал против Друзяева. Эту пакость — преждевременно объявить ничего не подозревавшему Ганчуку — те сделали нарочно. Чтоб его, Глебова, подтолкнуть к решению и заодно разорвать его отношения с Ганчуком. А что если шиш? Упереться, ухватиться за что-то? На каком основании? Кто дал право?

Вбежала Соня, бросилась к нему.

— Дима! У тебя очень плохой вид! — Стремительно положила руку ему на плечо. Это был такой школьный, пионерский ободряющий жест. — Как ты себя чувствуешь? Ты бледен. Я им все, все объяснила... — Смотрела на него с испугом, а он был поражен ее видом, ее неживой белизной и тем, как дрожала рука на его плече. —

Папа понял сразу. Мама сначала не поняла, но потом тоже поняла и сказала: «Ну что ж, возможно, он прав...»

— А что ты им сказала? Про нас?

— Да. Я все сказала. И про тот разговор, про гнусную западню, как ты со мной советовался, а я не могла — нет, не хотела — тебе ничего советовать...

Потом возник багроволицый и несколько растерянный Ганчук.

— Понял, прощаю... Впрочем, не буду болтать, понять и значит простить... Но впредь о таких вещах хотелось бы заблаговременно...

Обнял Глебова, похлопывал по спине. Соня вытирала глаза. Все трое были взволнованы. Но каждый по-своему. Ганчук предложил выпить по рюмке кагору, он всегда держал в буфете бутылку этого приторно сладкого напитка, говорил, что его дед, отец покойной мамы, деревенский священник, любил это вино, называемое церковным, и маме передал пристрастие, так что кагор напоминает ему детство, черниговскую захолустную улочку, запахи комода, деревянных полов, коровий мык по вечерам, золотые шары под окнами, и, хотя Глебов терпеть не мог этой дряни, он, конечно, согласился.

Вернулись в большую комнату, сказали Юлии Михайловне, которая неловкими ручками убирала стол после чая — Васена рано ложилась спать, вечерние трапезы обходились без нее, — что все хотят немедленно выпить кагору, на что Юлия Михайловна, не прекращая возни, ответила, что у нее очень сильная Kopfschmerz. После этого она ушла с подносом, полным грязной посуды, и больше не появлялась. Может, и в самом деле ее мучила Kopfschmerz. На Глебова она не посмотрела ни разу, и вообще было странно, будто Соня ей ничего не сказала, и она ничего не знает.

Ганчук объяснил — теперь уже как *своему человеку*, — отчего разразилась вся эта кампания против него. Такого оборота не ожидал никто. Конечно, повод был: он защищал Аструга, Родичевского и некоторых иных, кого критиковали в недопустимой форме. Когда людей незаслуженно унижают, он не может стоять в сторонке и молчать.

А Дороднов — имейте в виду, он мотор всей этой затеи, остальные только шкивы и колесики — как раз надеялся на то, что он будет безмолвствовать, как олимпиец. Ведь он олимпиец, членкор! Но выдержки не хватило. Впрочем, на то был расчет: чтоб его спровоцировать. Да, вязался, писал письма, ходил по этому вопросу в инстанции... Словом, открылась война... А как же иначе? Боря Аструг — его ученик, Родичевский — большой талант, божьей милостью... Не надеялся восстановить их на работе, да они уж никогда сюда не вернуться, но хотя бы смыть клеймо: низкопоклонники, безродные, такие-сякие, галиматья полная. Боря Аструг всю войну прошел, боевой офицер, ордена заслужил — каков низкопоклонник! Ну, ошибки, заблуждения, у Аструга, скажем, в книге о Горьком методологические ляпсусы, ну и что? У кого их нет? У того же Дороднова — такие вавилоны нагромодил в книге о романтизме! А книга пустейшая. Все натаскано. Но ведь не враги. Он знает, что такое рубать врагов. Рука не дрожала, когда революция приказывала — бей! В Чернигове, до того как пойти на учебу, работал в отряде особого назначения Губчека. Ганчук — это звучало страшновато для врагов. Потому что ни колебаний, ни жалости. И, когда однажды отец, тогда уже совсем больной, просил за одного попа — того заподозрили в связях с бандой, — Ганчук ему отказал, враг был раздавлен вкуче с бандитами, волк в овечьей шкуре, на его совести была кровь красноармейцев, а с родным отцом вышла смертельная ссора до конца жизни старика. Вот как решались тогда вопросы. А тут? Кого собрался уничтожать товарищ Дороднов? Так вот, причины гораздо глубже. И опять поражаешься гениальности Маркса, который в каждом явлении, каждом факте жизни умел видеть диалектическую и классовую сущность. Именно этому, милый Дима, вам следует учиться, чтобы твердо стоять на ногах. В двадцатых годах Дороднову попадало крепко, он был попутчик, разумеется, беспартийный, сочинял какую-то труху в духе смены вех, словом, типичский мелкобуржуазный элемент, слегка закамуфлированный в духе времени, когда плодились всякого рода

кооперативные и частные издательства, группки, журнальчики с невнятными платформами, и вот тогда мы его не добились! Он уполз, перекрасился, растворился, как многие, для того, чтобы теперь выплыть в новом качестве. Анекдот: он меня учит марксизму! Недопеченный гимназистик со скрытой то ли кадетской, то ли нововременской психологией обвиняет меня в недооценке роли классовой борьбы... Да пусть молится богу, что не попался мне в руки в двадцатом году, я бы его разменял как контрика! Вот кардинальнейшая ошибка: мелкобуржуазная стихия недодавлена. Теперь, когда строй устоялся, когда позади великое испытание и настал час жатвы, они вылезли из разных нор, в разных обличьях — недобитки тех лет... Правда, они выглядят сугубо революционно, шеголяют цитатами из Маркса, из Владимира Ильича, выдают себя за строителей нового мира, но вся их суть — их вонючая буржуазность — вылезает наружу. Они хватают, хапают, нажираются, благоустраиваются и еще сводят счеты с теми, кто их лупил в двадцатых годах. Сволочь надеется взять реванш. Но ведь бездари, неучи! Не понимают простой истины, что буржуазия ликвидирована как класс, что ей нет и не будет места на русской земле. Между прочим, Соня сообщила нам о некоем важном решении. Это действительно имеет место? План революционного преобразования семьи Ганчуков? В таком случае еще по рюмке за это хорошее дело...

— Юлия! Иди сюда, тебя требует молодежь! — громко звал Николай Васильевич, взвинченный разговором, вином и тем, что жена проявляла какое-то неясное неудовольствие.

Он не мог понять, что происходит с ней, хотя бы потому, что Сонино сообщение само по себе не произвело на него особого впечатления. Другое терзало его пылающий мозг: газеты, друзья, враги, академия, книги, прошлое. И еще старость и близкая смерть... Лицо его, недавно в багровых пятнах смятения, теперь покрывал ровный и густо-розовый румянец от выпитого вина, такой цвет бывает у марципановых яблочек, которые вешают на елку. Юлию Михайловну все еще одолевала Kopfschmerz,

Соня смотрела на Глебова счастливыми глазами. Глебов под руку повел Ганчука в кабинет — тот хотел показать какой-то альбом времен гражданской войны. «Я вам покажу мальчика, у которого была оч-чень тяжелая лапа! И я бы вам не советовал — слышите, Дима? — попадаться тому мальчику на глаза. Ой, как он не любил ученых молодых людей в очках! Он их рубал сразу — ха, ха! — не спрашивая, кто папа, кто мама!»

Глебов вспомнил, что ему тоже кое-что нужно в кабинете — посмотреть на эти проклятые бюстики.

«*Более чем обязательно*, — сказал Друзяев. — *В четверг, послезавтра*». Еще он сказал именно тогда же, в тот разговор — и это было слитно, не разодрать, как два разноцветных куска пластилина, скатанных в шар или в одну мягкую липкую колбасу, если раскатывать шар между ладонями, ощутил вдруг слабость и покорность детства, когда чужие руки берут тебя, как кусок пластилина, и мнут, стискивают, сжимают, плющат, делают из тебя что хотят, — он сказал как бы между прочим, в придаточном предложении, в той же фразе, что и насчет *четверга*: есть предварительное решение о стипендии Грибоедова. Ему, Глебову. По результатам зимней сессии. И Глебов промолчал, не отозвался, подхватывая ту же игру — будто случайно оброненная новость есть и в самом деле пустяк, не стоящий внимания, — хотя все внутри обдало мгновенным жаром. Стипендия Грибоедова! Пускай последние месяцы, все равно благо. Тут же сообразил, что не денежный приварок важен, а моральный импульс — вперед и вверх. Но в новости была боль — в другую секунду пришло печальное понимание, — ибо она плотно слиплась с *четвергом*, одно от другого неотъемно. Или все вместе, комом, или же ничего.

«Но ведь немислимо — прийти и выступить!» В тот же вечер — к Шулепникову. Опять безумная надежда на Левкино могущество, непоколебленная с детских лет. Что он мог сделать? Как повлиять? Глебову представлялось, что стоит, например, Левке — ну, не самому Левке, его отцу, отчиму — сказать институтской администрации: «Не мучайте Глебова!» — и те от него отстанут. В самом деле,

сколько можно? Есть предел человеческих сил. Сначала переменить руководителя диплома. Потом рассказать о переверзевщине, о том о сем. Потом — что у него на книжном шкафу. И он этой гадостью занимался, соглашался, рассказывал. Так все им мало, еще тебе задание: прийти и выступить. Ну, не через край ли?

Левка слушал вроде сочувственно, хмыкал, кивал головой, а сам крутил ручки невиданного еще аппарата — телевизора. В маленьком беловатом оконце что-то смутно мелькало, дергалось, кусками доносилось пение: передавали оперу из Большого театра. Во всей Москве, говорили, таких телевизоров всего семьдесят пять штук. Левка был поглощен новой забавой, сердился, чертыхался, изображение портилось, тут же сидели его мать и тетушка, пришедшие на сеанс, и нужного разговора не получалось. Но другой возможности не было. Глебов все валил в открытую, при женщинах. Мать Левки сказала с горячностью:

— Лев, ты должен непременно Диме помочь!

— Ты считаешь?

— Да, считаю! Я Соню хорошо помню, она очень милая. Отца ее я не знаю. Но что за бред — так издеваться над чувствами молодых людей...

— А, тоже мне чувства... — Левка махнул рукой.

— Конечно, тебе этого не понять! — насмешливо и с еще большим напором произнесла Алина Федоровна. — Для человека, который лишен музыкального слуха, всякая музыка — шум.

— Аля, не волнуйся, пожалуйста, — сказала Левкина тетушка.

— Ты пришла в театр или на митинг? — спросил Левка.

— Да что с тобой говорить! — Алина Федоровна сделала резкий взмах рукой, и это был совершенно тот же жест, что только что сделал ее сын. Помолчав, она прошептала, ни к кому не обращаясь: — Так испохабить собственную жизнь...

Окошко в телевизоре прояснело, стали видны фигуры певцов посередине сцены, и на некоторое время

наступило молчание — смотрели на экран и слушали пение. Левка сидел перед телевизором на полу. Повернувшись к Глебову, он сказал весело:

— Видимость будет лучше, понял? Нужна другая антенна. Мне Ян достанет. Тут все дело в антенне.

— Лев, я повторяю, ты должен что-то сделать для Димы и Сони! — В голосе Алины Федоровны звучали запальчивость и раздражение. Глебову это не нравилось, он боялся, что Левка разозлится. Между ним и матерью вечно были какие-то раздоры. — Скажи, почему ты никогда не можешь ничего сделать для других? Ведь это неблагородно, Лев! Это очень низко. Нельзя быть таким махровым эгоистом. К тебе пришел старый товарищ, просит тебя о помощи...

— Да что я могу! — прорычал вдруг Левка. — Я кто, директор? Замминистра?

— Ты можешь. Мы знаем. Ты окружил себя таким количеством подлецов, что практически...

— Мать, полегче о моих друзьях! — Левка погрозил пальцем довольно беззлобно. Весь этот разговор был как-то ненатурален: мать нападала на него скорее по привычке, чем повинувшись порыву, а он слушал ее вполуха и оба заранее как бы соглашались на ничью. — Чего ты там суетишься, Батон? Я что-то не пойму...

Глебов повторил. Чтоб не мучили, не приставали. Могут ли во всей этой свистопляске обойтись без него? Неужели непременно надо человека унижить: нет, мол, голубчик, ты уж приди и выскажись, твое мнение очень ценно, потому что ты самый близкий профессору человек. А как потом? Как с Соней? Выскажись! Легко сказать. Язык-то не поворачивается. Это не «выскажись» называется, а «вымажись». *Приди и вымажись.*

— Ишь ты, какая чистюля! — вдруг со злобой ощерился Левка. — Другие пусть мажутся, а я в стороне постою, а? Так, что ли? Хорош гусь!

Глебов сказал, что у других нет таких отношений с этим семейством, им легче. Он понял, что Левка ничего не сделает, не захочет делать. Не надо было приходить сюда. Левка очень переменялся. Мать права, стал

чудовишно равнодушен ко всем. И оттого, наверно, эта внезапная и какая-то необъяснимая, животная злобность. Ну да, злобность как реакция на все мало-мальски неприятное, нежелательное, на то, что доставляет неудобство в жизни. Например, вот это: куда-то звонить, за кого-то просить. Левка продолжал в раздраженном тоне разглагольствовать о том, что ничего нет ужасного в том, чтобы выйти и сказать два слова с трибуны, если это нужно. Он сам будет выступать, хотя ему тоже неловко, ведь он знает Ганчука с детства, да и некогда, голова занята не тем. Его сейчас в один вояж готовят на полгода, сидит ночами английский пилит, вон книжки валяются, словари. Но если нужно выступить, значит, нужно, старик-то маразмирует, время его давно ушло, а он не чувствует, хорохорится вместо того, чтобы уступить место, и не хрена тут разводить китайские церемонии, а то хороши: и на елку сесть и задницу не поцарапать...

Когда он еще раз повторил:

— Сам буду выступать и уж врежу так врежу!

Глебов спросил:

— За что?

— Как за что? Да вот за беспринципность, за групповщину. И низкопоклонство там водилось.

— Брехня.

— Почему брехня? Докажу запросто.

— Да! Запросто! — заорал вдруг Глебов. — Ты ведь не жених Сони Ганчук, черт бы тебя взял!

— А ты жених? — Левка посмотрел лукаво, щуря красноватый глазок. — Отвечаю тыщей против рубля, что и ты нет... Заложимся, а?

— Лев! Что ты говоришь? Как тебе не совестно? — возмутились тетка и мать, не отрываясь от телевизора, где все еще что-то дергалось и мелькало. И Левка, разговаривая, время от времени подкручивал какие-то ручки.

— Я ухожу, — сказал Глебов, вставая. — Прощайте!

Но Левка живо вскочил и схватил Глебова за руку.

— Подожди! Сядь! Сейчас мы что-нибудь придумаем. Знаешь что? Давай-ка я позвоню Юрке Ширейко.



Тут же подошел к телефону и стал звонить. Разговор был поразительный, панибратский. Как далеко теперь Левка ушел от Глебова: тот ничего не знал о его друзьях не то что в городе и окрестностях, но даже в институте.

— Что делаешь? Корпишь? Сидишь над картой-двухверсткой? Еще раз мозгуешь план генеральной битвы? А? — юродствовал Левка. Глебов содрогался заранее от того, что Левка таким гнусным тоном будет говорить о нем. — Слушай, кати сюда! Нам телеприемник привезли. По спецзаказу. Приезжай, посмотрим. Мы как раз сейчас запускаем. Оперу из ГАБТа... Да с Димкой Глебовым, твоим крестником. Он тебе привет шлет... спасибо, передам... Ну как? «Хванчкара» есть. Бате вчера прислали ящик... Нет? Никак? Не можешь или не хочешь? Ну, смотри, девка, тебе жить... Слушай-ка! Тут такой вопрос... Не хотелось по телефону, но коль ты так безумно занят...

— Не говори обо мне ничего! — зашипел Глебов, делая знаки руками.

Левка отмахнулся: сиди молчи.

— Тут вот такая проблема. В четверг собрание, так? Да, читали, конечно... Статья — сила! Очень сильная! — Подмигивал Глебову. — Мы как раз тут сидим, обсуждаем. Все правильно, все по делу... Точно, точно... Да, да, да... Правильно... Точно...

Оставив трубку на расстоянии вытянутой руки, цедил насмешливо:

— Наворотил мерзостей и еще требует комплиментов, скотина! Да, статья тебе удалась. Поздравляем. Статья чудесная. Так вот, как быть с Димой Глебовым? Ведь ему выступать неловко, сам понимаешь... Ну?.. Ну... Ну и что же? Вот и звоним, советуемся...

Затем были долгие и маловнятные междометия, затем Левка брякнул трубкой, сказал «пока!» и, вздохнув, общил:

— Чего-то ворчит на тебя... Никто, говорит, его силой на трибуну не тянет, пусть, говорит, целку из себя не строит... Чего, говорит, он бегаёт и всем жалуется?.. Зануда, говорит, твой Глебов...

Глебов молчал, подавленный. Только неприятности от этого звонка, как он и предчувствовал. Левка же чему-то самодовольно радовался, смотрел победителем и считал, что выручил Глебова из беды.

— Теперь ты вольный казак: можешь выступать, можешь не выступать, как хочешь. Хозяин — барин. И это я тебе устроил, понял? Он меня уважает, змей... Да они только и живут оттого, что я их не трогаю! Сейчас принесу «хванчкару», сулгуни. Есть настоящий лаваш, из грузинского магазина. Кутеж двух князей!

Глебов не успел решить, идти ли ему домой, к Соне или же оставаться в этом суматошливом доме, как Левка появился, прижимая к груди четыре темные большие бутылки. Женщины уже стелили скатерть на круглый стол, звенели бокалами...

Оставалось два дня. Глебов все еще не знал, что он будет делать в четверг: и прийти, и не прийти было одинаково *невозможно*. Во вторник, после посещения Левки Шулепникова, которое окончилось ужасающим скандалом и загулом на всю ночь, он был смертельно разбит и просто не мог подняться и поехать в институт. Полдня приходил в себя, валяясь в своей комнатке мертвяком — притащился на рассвете, ничего не соображая, и так и рухнул, одетый, — а когда продрал зенки, увидел врача в белом халате. Врач пришел не к нему, а к бабушке. Баба Нила уже несколько дней болела тяжело, не вставала. Глебов сквозь гул и нестерпимое гроыхание, будто кто-то перебирал над ухом листовое железо, услышал, как врач разговаривает с двоюродной сестрой Клавдией. «А если укол?» — спрашивала Клавдия, и лицо у нее было ненавидящее. Врач повторял гулко: «Хозяин — барин!» Заголили руку, сделали укол. Уходя из комнаты, врач, довольно молодой и красивый, с розовыми щечками, посмотрел на Глебова внимательно и сказал: «Хозяин — барин». У Глебова все время сжималось сердце и холод прокатывался волной внутри тела. Клавдия села рядом, склонила белое злое лицо и прошептала: «Бабке плохо, я ночи не сплю, здесь дежурю, а ты, — в глазах ее были слезы, — являешься, как свинья... Где ты был? Как черт изгваздался, все в чистку...»

Ему было жаль Клавдию, та плакала, но он ничего не мог припомнить, объяснить и только, напрягши силы, прохрипел: «Хозяин — барин...» Потом понемногу стали возникать осколки вчерашнего. Все, что началось так мирно и по-домашнему, с мамой, тетей, белой скатертью и звоном бокалов, завершилось несуразной пьянкой неизвестно где. В квартире с полукруглыми окнами, под крышей. Там был старинный граммофон с трубой. По коридору надо было ходить на цыпочках, кто-то постоянно падал, и его поднимали с хохотом. Одна женщина была блондинка, какая-то очень рыхлая, белая, пористая, все спрашивала: «Сколько платят за диссертацию?» Когда сидели с тетей и мамой за круглым столом и пили «хванчкару», Левка вдруг быстро отяжелел. Глебов удивлялся: отчего так быстро? Его мать пила бокал за бокалом. Их лица делались все более похожими. Сразу было видно, что мать и сын. У нее красновато сверкали маленькие птичьи глазки, и у него такие же красноватые, искрами. И уж они ругались, стучали друг на друга костяшками пальцев! Левка гремел: «А какое твое право так говорить? Кто ты такая? Ты самая обыкновенная ведьма!» И Алина Федоровна кивала с важностью: «Да, ведьма. И горжусь, что ведьма». Ее сестра соглашалась: да, ведьма, весь наш род такой, ведьминский. Быть ведьмой считалось чуть ли не заслугой. Во всяком случае, тут был некий аристократизм, на что обе женщины намекали. Мы ведьмы, а ты подонок. Глебов знал, что с Левкой Шулепой связываться нельзя. Дело непременно обернется шумом, дракой или какой-нибудь чудовищной нелепостью. Так уж бывало. «Ах, я подонок? А как же, интересно, назвать *тебя*?» Там был какой-то Авдотьин. В полувоенном. Тоже сидел за круглым столом,пил «хванчкару». Лицо у него было набрякшее, опущенное книзу, унылое, как коровье вымя. Он бубнил: «Каждый платит сам за себя!» Эта фраза почему-то запомнилась. «Хванчкары» было бутылок восемь. Надо было бежать оттуда, но ноги не слушались, он не мог встать. «Если я ничтожество, я уйду от них, — говорил Левка Глебову. — Зачем мне ведьмы? На Лысой горе? Даже если мать, я не хочу! Я посылаю всех к черту,

довольно, я уйду!» Авдотьян его не пускал. Он ударил Авдотьяна по лицу. Они вырвались, убежали. Какая-то машина везла их глубокой ночью. Долго путались, не могли найти дом, шофер ругался и хотел выбросить среди улицы. Но все-таки доехали. Там был граммофон с трубой. О чем же говорили? Из-за чего скандал? Ах, да, вот что: он стал убеждать Глебова кинуть Соню. «Сонька хорошая, но зачем тебе это нужно? Не будь балдой!» И еще сказал: «Ты хочешь с ней дружить? Это благородно. Я тоже с ней дружу, буду дружить всю жизнь. Все ей рассказывать, обо всем советоваться... Так прекрасно — иметь женщину-друга...»

И тогда мать сказала: ты подонок.

Собственно, это было ясно и Глебову. Но Левкина жизненная мощь казалась такой неоспоримой, такой сокрушающей... Вам нужна женщина? Среди ночи? Чтобы утешала вас, ласкала, говорила нежные, трогающие душу слова — и вовсе не за деньги, а просто так, от вечно женственной щедрости, — когда вы несчастны, брошены на асфальт и родная мать прокляла вас? Никто не может утешить так, как женщина среди ночи. И та блондинка с белой пористой кожей, лепетавшая вздор, была, конечно, неправдоподобным и мистическим счастьем — вроде бутылки пива, что нашлась вдруг у никогда не потреблявшего пива Помрачинского, на которого Глебов наткнулся, выползши, полумертвый, в коридор, а пиво было куплено женой Помрачинского для мытья головы, — но даже и с той блондинкой полного забвения не было. Потому что неотлучно терзала боль: что делать в четверг?

Дело запутывалось все туже. Сторонники Ганчука — а их в институте осталось немало, среди них такие тузы, как профессор Круглов, преподаватель языкознания Симонян, еще какие-то люди, теперь уж забытые, кое-какие студенты, аспиранты — готовились к четвергу, горя желанием защитить Ганчука. Но не все могли на том собрании выступить. То было расширенное заседание Ученого совета с приглашением актива. Глебова тащили туда как заместителя председателя научного студенческого общества.

Пришла бумажка в казенном синем конверте: «Ваша явка обязательна...» Вечером во вторник прибежала Марина Красникова, одна из активисток НСО, всегда крикливая, возбужденная, как бы в легком хмелю — общественный темперамент плескал в ней через край. Что с ней стало? Куда делась? Ведь казалось, толстуха прямым ходом идет в Академию наук или, может быть, в Комитет советских женщин. Исчезла без отзвука, как камень на дно...

— Тебе придется выступить от нашего общества, от НСО, потому что Лисакович болен, — тараторила Марина. — Вот тут некоторые тезисы... Лисакович диктовал по телефону...

— А что с Лисаковичем? Чем болен? — насторожился Глебов. Хитер Федя Лисакович, кажется, опередил его, вынуждает пойти. Лисакович был председателем НСО. Марина сказала, что у него фолликулярная ангина, высокая температура, но он рвется пойти. Надеется, что к четвергу станет легче. Врач категорически запретил. Глебов спросил с сомнением: какая же температура? Марина сказала, что будто бы около тридцати девяти. Тезисы были такие: Ганчук — основатель НСО. Все лучшее, что достигнуто обществом, — благодаря Ганчуку. Ошибки Ганчука характерны для большинства. Если удалять Ганчука, значит, и всех остальных. Заслуги неизмеримо больше ошибок. О статье в газете не говорить ни слова. Если же невозможно, сказать, что недостаточно конкретна и малоубедительна. Заявить твердо: должны гордиться тем, что Николай Васильевич Ганчук работает у нас.

Глебов, читая, удивлялся: а все-таки Федька Лисакович храбрец! Одно из двух: либо храбрец до безрассудства — так гнуть против Друзьева, Дороднова и прочих, — либо же что-то знает. Борьба разгоралась нешуточная. Марина сказала, что профессор-фольклорист Круглов Василий Дмитриевич, очень добрый и всеми почитаемый старик, пришел в ярость от статьи Ширейко и грозитя чуть ли не уйти из института, если травля Ганчука не прекратится. «Ну и пусть уходит, — думал Глебов мыслями Друзьева. — Подумаешь, напугал. У нас незаменимых нет». Одна аспирантка встретила Ширейко во дворе и, когда

тот поздоровался с нею, демонстративно повернулась спиной. Говорят, Ширейко покраснел и спросил громко: «Это что значит?» Она не ответила и ушла. А студенты первого курса, у которых он ведет семинар, почти целиком не явились на последнее занятие.

Марина Красникова никогда раньше не приходила к Глебову домой. Ее приход означал крайний накал страстей. Глаза Марины горели благородным сочувствием ко всем благородным людям и радостью оттого, что она тоже причастна к благородному обществу. «Ты должен поднять голос! Сказать за всех нас! Какое безобразие — студенты не могут защитить своего профессора!» Этот натиск, это сверкание глаз и грозное тыканье пальцем напомнили Глебову друзейское: *более чем обязательно*. По сути, это было одно и то же, тот же террор.

Марина как будто не замечала, что в доме лежит тяжелобольная, что тут медсестра с чемоданчиком, что пахнет лекарствами, что по коридору бегают молодая женщина, Клавдия, с заплаканным лицом. И, когда Глебов, поколебавшись, все же выдал из себя: «Ты понимаешь, у меня такая сложная ситуация, больна бабушка, неизвестно, что будет через час...» — что было слабой и почти безнадежной попыткой вырваться из сетей, Марина быстро сказала: «Можешь располагать мною! Я могу подежурить час, два, целый день, сколько угодно. Но ты должен непременно пойти...»

В тот же вечер явился другой гость — Куно Иванович. Этот визит изумил вовсе. Секретарь Ганчука никогда не приходил сюда, отношения были далекие. В присутствии Глебова Куно Иванович, или Куник, как его звали Ганчуки, заражался какой-то странной нервозностью: возбуждался, острил, голос его начинал дрожать. Глебов однажды посетил Куно Ивановича на его квартире в Гнездиновском переулке. Ганчук послал за какими-то бумагами. Квартира Куно Ивановича поразила Глебова чистотой, прибранностью, совершенно не холостяцким уютом. Было множество цветов в горшках, вазончиках, они стояли на столах, подоконнике и на полочках, развешанных очень живописно повсюду. Полочки перемежались

с фотографиями, репродукциями. Каждая стена являла собой вдумчивое произведение искусства. Все было такое утонченное, музейное, немужское, сомнительное. Пока Куник собирал бумаги, Глебов сидел на пуфике и оглядывал комнату. Он увидел на стене между двумя полочками, где стояли в горшках мускулистого вида кактусы, большую фотографию Сони. Висело много и других фотографий, но Сониная была как-то со значением укрупнена. «Страдалец!» — подумал Глебов насмешливо. Он терпеливо и стойко сносил тон нервического превосходства и поучительства, какой усвоил Куник в разговорах с ним, подчеркивая свое старшинство. А Глебов в его присутствии был абсолютно спокоен.

И даже тогда, во вторник вечером, увидев шуплую фигуру человечка в длинном пальто с косенькой, набор и книзу гнутой головой, Глебов, хоть и изумился, оставался спокоен. Куник не сказал ни «здравствуйте!», ни «добрый вечер», сразу заговорил так, будто между ними продолжался прерванный только что разговор.

— Мое первое условие, — сказал он, переступая порог, — чтобы обо всем этом не узнал Николай Васильевич.

Какое условие? Что за бред? Глебов сделал жест, приглашая загадочного человека следовать за ним по коридору. И опять навстречу попалась Клавдия.

— Бабушка спрашивает, ты дома?

— Ты же видишь.

— За весь день не зашел ни разу. Она волнуется, не случилось ли...

— У нас бабушка болеет, — объяснил Глебов Кунику. Тот как будто не слышал, продолжал о своем:

— Потому что, если узнает, он меня растерзает. С его самолюбием. Надеюсь, вы поняли этот характер: самолюбив, вспыльчив, наивен и беспомощен, все вместе... — Они вошли в комнату Глебова, и Куник, не раздеваясь, не снимая шапки и не глядя ни на что вокруг, с видом сомнамбулы опустился на первое, что было ближе — кровать Глебова. Бухнулся прямо в пальто. — За других будет сражаться как лев, куда угодно пойдет, с кем угодно

схватится. Так бился за этого ничтожного Аструга... Но защитить себя абсолютно не в силах. Пальцем о палец не ударит. Тут должны действовать мы, его друзья...

«Что же мы можем, несчастные лилипуты?» — думал Глебов.

— Я настаивал: «Вы должны ответить Ширейко немедленно! Письмо в редакцию. Очень резкое. Подлость нельзя оставлять безнаказанной». Он сказал, и не подумает. Привел слова Пушкина: «Если кто-то плюнул сзади на мой фрак, дело моего лакея — смыть плевков».

— Пожалуйста, можно выступить в роли лакея, — сказал Глебов. — Я не против. Но как практически?

— Не в роли лакея, а в роли друга я вас призываю выступить! В роли честного человека! То, что он цитировал Пушкина, говорит лишь о том, как он ничего не понимает в происходящем. Ему кажется, что плюнули сзади на фрак. А тут вышли с рогатиной и хотят пропороть пузо. Вот ведь что происходит. Кончатъ его хотят.

— Куно Иванович, что вы предлагаете? Как можем мы действовать?

— Как действовать!.. Как действовать!.. — бормотал Куник, движением плеч сбрасывая пальто с черным собачьим воротником, которое свалилось на постель, а один рукав упал на подушку. — Я уже действую. Написал в редакцию, восемь страниц на машинке. Подписали шесть человек. И теперь пишу в инстанции. Это письмо никого не прошу подписывать, оно крайне злое, не хочу подвергать людей испытанию. А мне терять нечего, я не боюсь. Что же касается вас, дорогой Дима Глебов... — Одно мгновение он как бы с сомнением и изучающе сверлил Глебова взглядом, двигая рыжеватой бровкой. Выглядело немного комично. — Вы извините, можно ли вас считать истинным другом Николая Васильевича?

— То есть? Почему же нет?

— Вы извините, но я хочу получить ответ. Вы уж ответьте, пожалуйста.

— Ну, разумеется.

— Так, разумеется. Хорошо. Тогда отчего вы себя так странно ведете?



— Простите, не понимаю.

— Почему не возражаете против использования себя во всей этой гнусной кампании?

Тут Глебов вовсе оторопел. В каком использовании? Да читал ли он, Глебов, статью Ширейко, которого Куник, кстати, хорошо знает по пединституту? Глебов читал. Но читал-то бегло, прыгая через строчки, как читают отвратительное, желая поскорей бросить. Там есть, оказывается, вот что: «Не случайно иные студенты-пятикурсники решили отказаться от услуг профессора как руководителя дипломной работы». Куно Иванович выяснил: таких отказавшихся был всего один человек. Он даже не поленился съездить на факультет и посмотреть своими глазами заявление товарища Глебова, будущего аспиранта. Когда ему назвали фамилию Глебова по телефону, он ушам своим не поверил. Но вот поехал и убедился. Какая-то фантастика.

— Да вы знаете ли, в чем дело? — крикнул Глебов. — Вы же ничего не знаете. Вам неизвестна подоплека!

— Я знаю, знаю! — Тот замахал поспешно и с брезгливым выражением руками, будто боясь услышать неприятное. — Если и не знаю, то догадываюсь. Но подоплека меня не интересует. Важен факт: вас использовали, а вы молчите... Вы же молчите, Дима! Почему вы молчите? Как вы можете молчать, приходите в дом, разговаривать с Николаем Васильевичем, с другими... Согласитесь, это как-то несколько, ну, что ли, невысоко с точки зрения морали...

Глебов глядел на своего гостя-мучителя исподлобья. Сердце его колотилось. То ему хотелось крикнуть: «А лезть к перепуганной девчонке под одеяло во время грозы, — это как с точки зрения морали?» — то его прожигало чувство стыда и он готов был все сделать, на все пойти, лишь бы исправить то, что случилось. Но смог лишь пролепетать:

— Я же действительно не видел той фразы...

— Как будто дело во фразе! Да если на ваших глазах, — гремел Куник, — нападают на человека и грабят посреди улицы, а у вас, прохожего, просят платочек, чтоб заткнуть жертве рот...

— Да замолчите вы! — взмолился Глебов. — Говорите тише, за стенкой больная.

— Нет уж, вы послушайте! Кто вы такой, спрашивается? Случайный свидетель или соучастник? Ну хорошо, оставим, есть причины, есть подоплека... Допустим, предположим... Но *теперь-то* что делать? Как дальше-то жить? По-прежнему будете выжидать? Времени не останется. В четверг будет ваша казнь, Дима. Я уж вижу, у вас сил не хватит, чтобы встать и сказать: «Неправда!» Значит, казнь... Так тому и быть... Иногда и молчание собственное казнит.

А у Глебова выплеснулось:

— Неправда! Выступлю в четверг, скажу!

Рыжевато-блеклый человек поднялся с постели, набросил на плечи длинное пальто. Косенькую головку вскинул, посмотрел пристально, сощуриваясь и, хоть ниже ростом, как бы свысока. Ничего не сказал, не попрощался, пошел своим порхающим, лунатическим ходом-летом по коридору, вылетел за дверь. Глебов затворил, вдруг тот опять стучит.

— Дима, дорогой, об одном умоляю... — зашептал, клоня в испуге бледное лицо еще сильнее вбок, — поступайте, как хотите, но старику ни о чем ни слова! Обещаете? Да? Ни о моих письмах, ни о нашем разговоре. Немыслимо ему знать!

И так приближалось неотвратимо то распутье, пыточное, перед которым стоял и ног под собой не чуял в изнеможении — вот-вот упасть... Куда было деться? Несло куда-то. Хотя и стоял будто бы без движения, а несло. Только сам еще не знал куда. Отмелькал еще день, такой же белый, крутящийся, хлопотный, с беготней в аптеку, с разговорами совсем не о том. Клавдия опять ругалась с матерью и плакала на кухне. Очень она любила бабу Нилу. И Глебов любил.

Кого же было любить, как не бабу Нилу?

Сидел возле, держал в руке легкую, как ветошь, сизую старушью руку и что-то гудел, рассказывал, — она просила, как маленькая, — а в голове будто колокол: там коня потеряешь, здесь жену, а тут и жизнь саму. В институт

звали на какое-то собеседование с первокурсниками. Да все было ясно. Чего ходить? Не пошел. Потом Афоничева звонила, секретарь деканата: «Глебов, помните, что завтра в двенадцать?» Голос быстрый, напористый: поскорей обзвонить двадцать человек, отбарабанить по списку. «Помню». — «Приходите без опозданий». — «Приду».

Старался рассуждать спокойно: ну хорошо, четыре варианта, их и продумать. Вариант первый: прийти и выступить в защиту. Ну, не прямиком, скажем, а с оговорками, указать на некоторые недостатки, но, в общем, *защитить*, хотя бы в той форме, как предлагал Куник: растолковать фразу из статьи Ширейко и объяснить провокационный смысл. Что этот вариант даст? Озлобление администрации. Прости-прощай, стипендия Грибоедова, аспирантура и все прочее. Ведь это значит неожиданно повернуть фронт. Они не простят. О, никогда, никогда. Сочтут предательством. Мсть будет страшная, скорая. А так как у Дороднова сейчас вся власть в руках, директор месяцами отсутствует — то где-то в Корее, то в Китае, то в больнице, он сделает все по-своему. Он хочет с Ганчуком расквитаться. Каков же выигрыш от этого варианта? Благодарность Ганчука и всего ганчуковского семейства. Еще более безмерная любовь Сони. Кое-кто, вроде Марины Красниковой, будет трясти ему руку в течение полминуты и говорить о том, какой он молодец, как здорово выступил, а Куник скажет, ухмыляясь: «Вы меня удивили! Я рад за вас!» Вот и все. Затем мелким клерком неизвестно где. По субботам, нагрузившись как мул, тащиться электричкой в Брусково. Проигрыш сокрушительный, выигрыш слабоват. Вариант второй: прийти и выступить с критикой Ганчука. То есть, проще говоря, *напасть* на него в хвосте всей своры. Разумеется, вовсе не агрессивно, не грубо, даже тепло, сочувственно, с громадным сожалением о том, что приходится констатировать, с призывом проявить чуткость и помнить о заслугах, но... В духе, как просили. Что-нибудь насчет переверзевины или рапповщины, это, собственно, все равно. Про бюстики вскользь. А можно без бюстиков. Можно всего два, три мягко-сожалительных слова. Главное, промолчать о той

фразочке ширейкинской, будто ее не было никогда, нигде. А ведь если, положа руку на сердце, совсем искренне: так ли уж Николай Васильевич как ученый, как наставник со всех сторон совершенен? Неужто нет ни грамма справедливости в тех ядрах, что обрушились на эту крепость? Признаемся перед собой секретно: есть, есть... Книги-то скучны. Ни одну нельзя дочитать до конца. Невыносимая скучища, если честно! Так писали двадцать лет назад, а теперь нужно что-то иное. Вульгарный социологизм сидит в нем неискоренимо, как наследственная болезнь. Но об этом молчок! Это только так, по секрету. Откровения перед собственной совестью. И насчет того, что властвовал на факультете, тоже не такая уж ложь. Преподаватели назначались с его санкции. В аспирантуру попасть — только через его «добро». И не такой уж он «не от мира сего», как думают, он наблюдателен, разборчив, к людям присматривается и вовсе не эталон беспристрастия, наоборот, пристрастен, одних любит, других ненавидит, и порой трудно понять почему. Его вкусы кажутся старомодными, его пристрастия коренятся в прошлом, в десятилетиях бунтов, борьбы, схваток. Есть химеры, химеричность которых давно очевидна для многих, но он не может от них отпасть, как голодное дитя от сосцов. И есть явления последних лет — то, что возникло в мире перед войной и сразу после войны, — которые он не в силах вместить в сознание. А Дороднов в силах? Но ведь Николай Васильевич честнейший, порядочнейший человек, вот же в чем суть! И напасть на него — значит напасть как бы на само знамя порядочности. Потому что всем ясно, что Дороднов — одно, а Никвас Ганчук — другое. Иногда малосведущие спрашивают: в чем, собственно, разница? Они просто временно поменялись местами. Оба размахивают шашками. Только один уже слегка притомился, а другому недавно дали шашку в руку. Поэтому, если напасть на одного, это вроде бы напасть и на другого, на всех размахивающих шашками. Но это не так. Все же они делают разные движения, как пловцы в реке: один гребет под себя, другой разводит руки в стороны. Ах, боже мой, да ведь разницы действительно нет!

Плывут-то в одной реке, в одном направлении. Тут просто вот что: навсегда расстаться с Соней. С ее любовью. А ведь это такая невозвратимость, такой горький отлом души: лишиться любви к себе хотя бы одного человека... И не только, не только! Тут будет со всех сторон: и проклятие, и держание рук за спиной, чтобы, не дай бог, не оскверниться рукопожатием. Потом кто-нибудь пришлет телеграмму: «Поздравляем с высокой наградой — тридцатью сребрениками имени Грибоедова». На все это можно наплевать. Потому что он получит вдруг такое ускорение, что отлетит далеко-далеко, те исчезнут с его горизонта, сгинут навеки со своими улыбочками, презрением, своими прекрасными шорами на глазах. Не видеть того, что все уже решено с Ганчуком! Спасать его — все равно что грести против течения в потоке, в котором несутся все. Выбьешься из сил, и выбросит волною на камни. Неужели один *страх* — оказаться вдруг на камнях, в крови, с переломанной ключицей? Тогда не догадывался о страхе. Ведь страх — неуловимейшая и самая тайная для человеческого самосознания пружина. Стальные пальцы едва ощутимо подталкивали, и был готов, окончательно и прочно готов, но какая-то сила невидимая перегородивала путь. Соня, что ли? Которую он не любил? И лучше которой не было в его жизни? Нет, не Соня, а то, что было в Соне: ее тепло, добро... Вот это Сонино, сущее в ней легло преградой, и переступить невозможно.

Тогда, если невозможны оба варианта, остается третий. Прийти и не выступить, отмолчаться. Этим не угодишь никому. Возненавидят те и другие. Отпадает, решительно! Тогда четвертый. И это уж последний, больше нет ничего. *Не прийти вовсе*. Но как? Они предупредили: более чем обязательно. Значит, причина должна быть роковая, космическая. Например, идя на заседание и пересекая площадь, попасть под машину. Наброситься на уличную собаку, чтоб та укусила, чтоб немедленно отправили делать укол. Мало ли что! Все это глупости. Вот если б сердечный приступ и потеря сознания, которые случились два дня назад, произошли бы теперь. Но Друзев, как работник юстиции, наверняка бы устроил

дознание и выяснил, что причина — алкогольное отравление. Нет, не прийти невозможно. Но и прийти нельзя. Все невозможно и все нельзя. Пат. Ни одна фигура не может ходить.

Примерно об этом, только обрывисто, кратко, усталым голосом, с паузами, впадая вдруг в задумчивость, он рассказал бабе Ниле. Она просила, чтобы он что-нибудь рассказал *о своих делах*.

— Люблю слушать о ваших делах.

Она сама никогда в жизни не работала. То есть работала всю жизнь, но дома, в семье. И она, конечно, ничего в этом не понимала. Но он рассказывал, надо было о чем-то, а в голове только это одно.

Баба Нила вдруг сама пускалась рассказывать о том, что вспоминалось давеча. А вспоминалось ей подробно, хорошо. И все про далекое. Сказать страшно, про какую даль — лет семьдесят назад. Вот как дедушка Николай, глебовский прапрадед, возил ее летом в деревню. Он был купец, жили на Варварке, возле Соляного двора — до революции тот дом продали, переехали на Щипок, в Замоскворечье, — но в деревне, в Веневском уезде, был дом, который дед Николай построил для тещи, потому что та не хотела переезжать в Москву. И вот бабе Ниле девочкой очень нравилось ездить летом в деревню. Деда Николая там не любили. Звали его Сухой. Но бабе Ниле он казался добрым. В дорогу ей всегда давали «рогожный кулек», из чистенькой желтой рогожки, где были конфеты дешевые, пряники-жамки и орехи. Называлось все вместе «ералаш». Так и просили в лавке: «Два кулька с ералашем!» А уж девочки деревенские ждут-пождут, и только возок во двор — они тут же. И баба Нила ну их одаривать: тебе орехи, тебе конфету, тебе жамку медовую. А постный сахар любила прабабка, старуха, которой дед Николай избу построил — она в той избе все равно не жила, потому что построена была, как городской дом, сени не сени, а целая зала, и мебель городская, так что прабабка жила у другой дочери в простой избе, а тот дом пустовал, пока не наезжали из города. И вот дед спросит: «Что

вам, мамаша, из Москвы привезти?» — «А постного сахарку, Николай Ефимович, если по силе-возможности!» Ну, конечно, на великий пост посылали с оказией. А летом лотка два непременно везут — его лотками продавали в магазине Зайцева. Лотки такие небольшие, вроде неглубоких ящичков, лежало там в два слоя, разных цветов: лимонный, малиновый, яблочный, сливовый, каких только угодно. И посерединке между сахаром цибик чаю...

Так рассказывали друг другу — Глебов бабе Ниле, она ему, — и всем казалось, что старушке полегчало. Она даже совет дала:

— Дима, я тебе что скажу? — Смотрела на него с жалостью, со слезами в глазах, будто ему умирать, а не ей. — Ты не томи себя, не огорчай сердца. Коли все равно ничего нельзя, тогда не думай... Как оно выйдет само, так и правильно...

И, странно, он заснул поздно ночью, ни о чем не думая, в спокойствии. В шесть утра проснулся от низкого голоса, то ли от чего-то другого, внезапно и услышал:

— Нет нашей бабы Нилы...

Клавдия стояла в дверях черная, без лица, на фоне освещенного коридора. Голос, низкий, показавшийся мужским, был ее. За стенкой тихонько, боясь соседей потревожить, рыдала тетя Поля. Рыдание было причудливое, будто курица квохтала, которую душат. Вошел отец, что-то насчет врача, справки, куда-то поехать. Так начался четверг. И никуда в этот день Глебову не пришлось идти.

Я пришел в дом на набережной спустя три года, в сентябре сорок первого. Занятия в школе не начинались. Стояли звездные прохладные ночи. Мы жили ночной жизнью, и мне запомнились ночи. Днем была мотня: то мы в речном порту, то на дровяном складе, то разносили повестки по поручению военкомата, а в свободное время учились, как обращаться с гидропультом, раскатывать рукав и открывать крышку уличного водопровода. Все-таки как-никак мы были пожарники. Хотя какие уж там! Помогали кому придется. В речном порту разгружали

баржи с ящиками снарядов, а на дровяном складе освобождали товарняки от дров. Все делалось в спешке, мы не складывали дрова, а швыряли их с платформ как попало, громоздя кучами. Надо было как можно скорее очистить путь. Это я помню — дикую спешку. И помню, как я надрывался, стараясь поднимать самые громадные чурбаки. Но настоящая наша жизнь начиналась ночью, после того как радио голосом Левитана объявляло тревогу. Ну да, мы дежурили, торчали на чердаках, бегали по крышам в поисках какой-нибудь чумовой зажигалки, чтобы героически схватить ее длинными клещами и сбросить вниз, но главное, мы дышали смертельной прохладой этих ночей.

Они были такие светлые, пепельные. Полыхали зарницами, закладывали уши гулом. И этот запах порохового дыма над московскими крышами, дробь осколков по железу и печальная гарь — где-то за Серпуховской — пожаров...

Казарма нашей пожарной роты — полное название было что-то вроде «Комсомольско-молодежная рота противопожарной охраны Ленинского района» — помещалась на Якиманке, за мостом. Дом на набережной не входил в наш участок. Но однажды мы там очутились. Не могу вспомнить, что мы там делали и зачем нас туда погнали. Помню, на крыше встретил Антона с тремя парнями, а потом бегали на квартиру к Соне Ганчук, и там был Вадька Батон, который на другой день уезжал из Москвы. Он прибежал туда вроде как бы прощаться. Их эшелон уходил на рассвете. А на вокзал они собирались среди ночи, потому что посадка невозможно тяжелая. Я провожал тетку и знал, что там делается. Батон здорово вырос, говорил басом, и у него появились маленькие черные усики. Было, кажется, так: он прибежал к Соне не только прощаться, но и за каким-то баулом, который она ему обещала. Помню, он стоял посреди кухни и стоя пил чай из чашки, а Соня чистила щеткой баул, необыкновенно пыльный, и вдруг погас свет, стали искать свечку или фонарь, в это время объявили тревогу. Второй раз за ту ночь.



Когда свет зажегся, я увидел: Сонино лицо в слезах и улыбается. Соня к тому времени почти совсем исчезла из моей памяти, и на Вадьку Батона я смотрел равнодушно. Все это было далеким, перемученным детством.

Еще помню из той ночи: у Антона на поясе болтался огромный кавказский кинжал. Мы стояли с Антоном на крыше возле металлической, из тонких прутьев оградки и смотрели на черный ночной город. Ни проблеска, ни огонька внизу, все непроглядно и глухо, только две розовые шевелящиеся раны в этой черноте — пожары в Замоскворечье. Город был бесконечно велик. Трудно защищать безмерность. И еще река, ее не скроешь. Она светилась, отражая звезды, ее изгибы обозначали районы. Мы думали о городе с болью, как о живом существе, которое нуждалось в помощи. Но как мы могли помочь? Была минута оцепенения и тишины. Мы стояли на краю невидимой бездны и смотрели в небо, где все переливчато дрожало и напрягалось в ожидании перемены судьбы: звезды, облака, аэростаты, косо и беззвучно падающие белые лезвия прожекторов, без устали разрубающие это угловое мироздание. И тогда Антон пробормотал фразу, поразившую меня:

— Знаешь, кого жалко? наших мамаш...

Это значило, нас прежних уже не существовало. Тут был насильственный слом. Время, как и небеса, лопнуло с оглушительным треском.

Потом, помню, стояли мы на площадке, ожидая лифта, чтобы отправить вниз больную Сонину мать. Батон успел мне сказать, что я молодец, вовремя из этого дома смылся. Немцы по нему так и лупят. Все бомбы рядом: на мосту, на Кадашевке. Он как бы отдавал должное моей особой хитрости или удачливости, не знаю уж чему, во всяком случае, я почуял ехидство. Но не стал ему отвечать, потому что был к нему совершенно равнодушен. На всех этажах хлопали двери. Кругом были шум, переклички, топот ног по ступеням, лестница содрогалась. Все прислушивались к тому, что происходит в небе. Пока что было тихо. Антон сказал:

— Может, какая-нибудь одинокая сволочь?

Из квартиры напротив вышел мужчина в пальто, брошенном на ночную сорочку, и вслед за ним женщина, державшая на руках большую толстую девочку с длинными ногами. Издали донеслось буханье зениток. Женщина сказала, ни к кому не обращаясь:

— Всю бы немчуру из дома к чертовой матери... — Тут она посмотрела на мужа и спросила: — Правда, Коль?

Когда открылась дверь лифта и мать Сони сделала движение войти в кабину, женщина довольно ловко оттолкнула ее ногами девочки, сказав:

— Нет уж, обождите, — вошла в кабину первая, затем вошли ее муж и еще кто-то. Лифт уехал. Профессор Ганчук спросил:

— Кто это такие?

Соня сказала, что новые соседи. И добавила неуверенно:

— Люди неплохие, но какие-то странные...

Мы с Антоном скрестили руки «стульчиком», посадили на них Сонину мать и снесли ее вниз, в подвал. Надо было возвращаться на Якиманку. Зенитки били все ближе и громче. Когда я выбежал во двор, громовая стрельба шла отовсюду и в промежутках между залпами было отчетливо слышно, как осколки зенитных снарядов с силой вляпывались в асфальт. Так, в беготне, в грохоте, я прощался с ними со всеми, а может быть, не успел попрощаться...

Нет, была еще одна встреча, еще одна! Последний раз я встретил Антона в конце октября на Полянке в булочной. Наступила внезапная зима, с морозом, снегом, но Антон был, конечно, без шапки и без пальто. Он сказал, что через два дня эвакуируется с матерью на Урал, и советовался, что с собой взять: дневники, научно-фантастический роман или альбомы с рисунками? У его матери были больные руки. Тащить тяжелое мог он один. Его заботы казались мне пустяками. О каких альбомах, каких романах можно было думать, когда немцы на пороге Москвы? Антон рисовал и писал каждый день. Из кармана его курточки торчала согнутая вдвое общая тетрадка. Он сказал: «Я и эту встречу в булочной

запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории».

Спустя много лет я пришел к матери Антона — она единственная продолжала жить в доме на набережной, в той же квартирке на первом этаже — и она дала мне шесть тетрадей Антоновых дневников. Это были дневники последнего предвоенного года, они почему-то остались в московской квартире и оттого сохранились. Все остальные сочинения Антона Овчинникова, его альбомы и научные труды погибли в реке Исеть, когда баркас перевернулся и Антон с матерью сами едва спаслись.

Вот что Глебов старался не помнить: того, что сказал ему Куно Иванович, когда по нелепой случайности столкнулись на аллейке Рождественского бульвара. И как вел себя Глебов, услышав то, что ему сказали. Совсем другие времена, лет восемь спустя, но тоже отчего-то нервность, взвинченность, то ли накануне докторской, то ли было в пору, когда он переходил оттуда сюда, и тут эта встреча на Рождественском. Зима! Ну конечно, глубокая зима. Аллейка желтела песком, а рядом сугробы снега. Кто-то упал в снег. Глебов шел не один. В том-то и дело, что было сказано при людях, и у Глебова помутилось сознание. Если бы не спутники, которые оттащили его, все кончилось бы совсем скверно. Потому что он не соображал, что делает. Он хотел чуть ли не задушить этого человека, повалил его наземь, стискивал горло. Всю жизнь старался об этом забыть, и почти удалось, почти забылось — он, например, уже не помнил, какие именно слова сказал тот человек — и сохранилось лишь в виде слабого сжатия посередине груди, как от давно миновавшего ужаса. Когда возникало воспоминание о том человечке, крайне редко и необъяснимо отчего, все ограничивалось ощущением сжатия посередине груди.

Еще он старался не помнить лица Юлии Михайловны, когда та прошла мимо по коридору, возвращаясь из кабинета Друзьева, девушка вела ее под руку, Глебов на секунду смешался, не зная, как поступить, кивнуть ли,

что-нибудь сказать или поклониться молча, и от растерянности окаменел, и она тоже застыла лицом, проходя. Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжелые грузы. Пусть все чугунное прорывает сеть и уходит, летит. Иначе жить в постоянном напряжении. Застывшее, бескровное лицо забывалось ненадолго, но вдруг появлялось, когда он что-нибудь узнавал: например, о ее смерти. Она умерла скоро, он еще учился в аспирантуре. Но ведь она была тяжелой сердечницей. Непонятно, зачем так билась за то, чтобы вернуться к работе. Ей нельзя было работать ни в коем случае. Ни работать, ни судиться, ни рядиться, ни мстить, ничего, кроме тихой жизни в Брускове среди клумб и грядок, но она не могла, да и Брусково исчезло. Она себя погубила. Как все это было в подробностях, он не знал, но вдруг появлялось лицо. И все остальное, что он старался забыть. Например, то, что сказал Ганчук на редколлегии, когда они встретились на одном обсуждении. Ничего оскорбительного сказано не было. Того, что имелось в виду, не понял никто. И старик был неузнаваемо плох, что-то случилось с правой стороной лица, отчего он не очень вразумительно говорил, слушали его без достаточного внимания. Хотя он повсюду восстановился и главный его враг Дороднов был сокрушен и сгинул в неизвестности — этой борьбой заполнились последние годы, — но что-то важное было непоправимо упущено. Слушать старика, упустившего важное, было не так уж интересно. Никто, кроме Глебова, не прислушивался к его бормотанию. Но он уловил в речи старика язвительность. Задело и удивило: оказывается, эти дряблые мускулы еще способны сжиматься! Все это следовало забыть. Так же, как и тот сентябрьский день в Риге, в кафе на открытом воздухе, недалеко от центрального универмага, когда он увидел за соседним столиком Соню. А это были уж совсем иные времена, и даже не те, что наступили потом, а совсем, совсем иные времена, и он бы мог думать, что его не узнают, и все то, что доносилось к нему из прошлого, что еще недавно томило и мучило,

теперь не вызывало никаких чувств, отшелушилось, отпало. Когда-то узнал, что Соню отвезли в больницу за городом, этого следовало ждать, все-таки у нее плохая наследственность: мать Юлии Михайловны кончила в доме для душевнобольных и сама Юлия Михайловна была, конечно, не очень здорова. И кто-то из навешавших Соню рассказывал, что ее болезнь выражалась в том, что она боялась света и все время хотела быть в темноте. Ничего другого как будто не было. Только вот этот страх перед светом и желание темноты. Потом она как будто поправилась. Он знал неточно. Не было никаких людей между ним и ею, все остались в тех временах. И вот эта встреча в Риге, он жил на взморье, приехал на один день, Марина таскала по магазинам, вдруг за соседним столиком Соня. Рядом с нею сидела странного вида, высокая носатая женщина в очках, в неряшливом туристском одеянии, в брюках и в кедах. Соня смотрела на Глебова, он оттого и повернулся, что почувствовал взгляд. И как-то сразу, непроизвольно сделал движение к ней и что-то сказал: «Соня!» или «здравствуй!» или «это ты?». Что-то обрадованное, горячее, в одну секунду его как окатило волной. Она постарела, отяжелела, волосы были наполовину седые, но осталась способность мгновенно белеть лицом, и вот так, побелев лицом, она смотрела с испугом, потом носатая женщина взяла ее под руку, подняла из-за стола, и они ушли. Запомнилось: у женщины были кеды огромного размера. Марина спросила: «Ты знаешь этих женщин? Кто они?» Он сказал, что московские знакомые, но, кто именно, он не помнит.

Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать. Этого не было никогда. Никогда не было второго собрания, многолюдного, в марте, когда уже не имело смысла самоугрызаться, все равно надо было прийти и если не выступить самому, то хотя бы послушать других. Кажется, он там что-то сказал. Что-то очень короткое, малосущественное. Совершенно из памяти вон: что же? Не имело значения. С Ганчуком все было решено

и подписано. В областной педвуз, на укрепление периферийных кадров. Были какие-то возражения, кто-то кликушествовал, неинтересно, забыто — *не было никогда*. В самом деле, а было ли? Но вот что безусловно: кондитерская на улице Горького. Это запомнилось на всю жизнь. Это было. А все остальное, крики, волнения, пять часов говорильни с паузами для перекура, пьяная болтовня Левки, именины Ширейко — казалось, он выбивается в первые ряды, в лидеры большого калibra, но почему-то теми митингами ограничилось, дальше он не проехал, — все шумное, непонятное, вздорное, что творилось вокруг Ганчука, с топотом ног и выкручиванием рук, со слезами, инфарктами, ликованием, исчезло, как болотное наваждение. Ну, не было, не было ничего. Он брел по улице с мутной и тяжелой башкой, рядом был Левка, которого вконец развезло. Там он еще держался, а на трибуне выглядел совсем молодцом. Левка бормотал: «Скоты мы, сволочи...» Надо было тянуть его домой, он мог упасть. Вот тогда начиналась его пагуба. Несколько лет спустя, когда его жизнь перевернулась, второй его «батя», похожий на усатого запорожца, оказался не у дел, дом рухнул, машина исчезла, мать чудом уцепилась за что-то, оставшись в одиночестве, а Левка превратился в мелкого футбольного администратора, ездил с командой из города в город, добывал гостиницу, бутсы, мячи, «левые» игры и пьянствовал, за что вскоре был изгнан отовсюду, и потом занимался неизвестно чем, и, когда милиция подбирала его где-нибудь на улице, он иногда говорил, что его фамилия Глебов, и называл глебовский адрес. Наверно, называл и другие адреса. К Глебову его привозили раза два. Но и это было уже очень давно, лет четырнадцать назад. А потом волны сомкнулись над ним, и Глебов ничего не слышал о нем вплоть до теперешнего внезапного появления в мебельном магазине, когда уже сил нет ни на какие сантименты, ни на что, кроме сути дела.

Но тогда, после собрания, до потопа, когда петляли и кружили Москвой, ни о чем еще не догадывались: Левка не знал, что скоро он полетит, кувыркаясь, как пустые

салазки с ледяной горы, а Глебов не знал, что настанет время, когда он будет стараться не помнить всего, происходившего с ним в те минуты, и, стало быть, не знал, что живет *жизнью, которой не было*. И вдруг за стеклом кондитерской на улице Горького, вблизи Пушкинской, Глебов увидел Ганчука. Тот стоял у высокого столика, за которым пьют кофе, и с жадностью ел пирожное «наполеон», держа его всеми пятью пальцами в бумажке. Мясистое, в розовых складках лицо выражало наслаждение, оно двигалось, дергалось, как хорошо натянутая маска, вибрировало всей кожей от челюсти до бровей. Была такая поглощенность сладостью крема и тонких, хрустящих перепоночек, что Ганчук не заметил ни Глебова, который замер перед стеклом и секунду остолбенело глядел на Ганчука в упор, ни качавшегося рядом с ним Шулепникова. А ведь полчаса назад этого человека убивали. Глебов потом часто рассказывал историю с кондитерской. Да, мол, было, что говорить. Много всякого. И то, и это, и пятое, и десятое, о чем лучше не вспоминать. А все-таки стоял и ел «наполеон» с громаднейшим аппетитом!

И вот еще что отпечаталось в оттенках, в подробностях, с переливами. Тот первый после похорон бабушки приход к Ганчукам, после Ученого совета, на котором довелось не быть, но до второго, мартовского собрания. Одна из тех благоглупостей, на которые он способен. Ведь внутри себя он все уже разрешил. Благоглупость заключалась в том, что его тянуло хотя бы косвенно, отдаленно, скрытно получить разрешение Сони. То есть он мечтал, чтобы она сказала: «Да, ты прав, милый, ты должен оставить меня. Так лучше для меня, для тебя, для папы, для науки, для всего и для всех». Разумеется, она этого сказать не могла. Но пусть хотя бы увидит и разделит его страдания, поймет, что выхода не было. Почему-то был убежден, что поймет. Ведь это было ее главное достоинство — все понимать.

Дверь отворила Юлия Михайловна. Глебов почувствовал, что мать Сони мгновенно и неуловимо шатнулась, увидев его, и чуть помедлила со словами: «А, здравствуйте.

Проходите...» Он вошел. Все было неузнаваемо. Юлия Михайловна быстрым, небрежным жестом показала на вешалку: «Можете повесить тут». Как будто он в доме первый раз. Просто сразу дали понять, что того дома больше не существует. «Соня скоро придет. Подождите, пожалуйста, в столовой». Таким же небрежным жестом было указано, где сидеть — на диванчике рядом с пианино. Он сел на диванчик. Юлия Михайловна вышла. Он сидел один и был довольно спокоен, хотя испытывал некоторый дискомфорт и предчувствие болезненных ощущений, как в приемной зубного врача. Но прийти сюда было нужно, расстаться с больным зубом необходимо, поэтому готов был терпеть. Его озадачивало вот что: почему Юлия Михайловна так отчетливо холодна? Это непонятно. Ведь дело происходило до мартовского собрания. Не могла же она прочитать в его мыслях то, что им решено пока лишь для себя. И он намерился, как только Юлия Михайловна войдет, спросить с искренним удивлением: что случилось? Отчего она как будто сердится на него за что-то?

Юлия Михайловна не приходила. Соня не возвращалась. Он слышал, как Юлия Михайловна бегает быстрыми шажками по коридору, разговаривает с Васеной, потом стукнула дверь кабинета, послышалось гудение голоса Ганчука, Юлия Михайловна сказала громко: «Это не то, что я хочу!» — на это Ганчук ответил неразборчивой фразой, затем все смолкло. В столовую не заходил никто. Открылась бесшумно дверь, появился черный кот Маврикий и, не взглянув на Глебова, пройдя мимо него, как мимо стула, прошествовал через столовую в Сонину комнату. Глебов сидел на диванчике уже полчаса. Начал нервничать. Что, в самом деле, за обращение? На каком основании? Ведь нет никаких оснований. То, что он не пришел на Ученый совет, имело уважительную причину. Более чем! Смерть близкого человека поважнее неприятностей по службе. Постепенно все более настраиваясь против Юлии Михайловны — в ней всегда чувствовалась какая-то спесивость, эгоистичность, неприятная женщина — и заодно против Ганчука, который так ей



во всем поддавался, Глебов впервые с тайным злорадством подумал, что, в общем-то, неплохо, что этих людей попржиали. Нельзя на все смотреть со своей колокольни. И не случайно у них так мало защитников. Когда Юлия Михайловна вдруг вошла, неся — не чай, не вазу с печеньем и даже не пепельницу — настольную лампу, Глебов произнес с некоторым вызовом:

— Вы на меня как будто сердиты, Юлия Михайловна?

Юлия Михайловна странно хмыкнула, но не ответила сразу. Она устанавливала лампу в углу комнаты на журнальном столике. Установила, зажгла.

— Да, представьте себе, сердита.

— За что же, Юлия Михайловна?

— Этого быстро не объяснишь. У нас нет времени для разговора. Сейчас придет Сонечка. Здесь как-то темно, не правда ли? Надо зажигать свет. «Mehr Licht», — как сказал Гете перед смертью.

Она зажгла люстру и вышла. Было часа четыре дня, не так уж темно. Вдруг Юлия Михайловна вернулась, плотно заперла за собой дверь, глаза ее блестели, движения были поспешные. Она села на стул напротив диванчика и, глядя блестящими глазами прямо в глаза Глебова, заговорила тихо и быстро:

— Я все-таки попробую объяснить, пока нет Сонечки. Говорю тихо, чтобы не слышал Николай Васильевич... Я не хотела такого разговора, но вы спросили... Понимаете, что я думаю о вас? Я вас ненавижу. Да, да, не делайте такие большие, удивленные глаза...

Тут она понесла несусветное. Что-то о том, как трудно понять человека, но наступает минута, почему-то она говорила «ночная минута», и человек открывается. Что-то о своей матери, которая была ясновидящей и умела предсказывать будущее. Он помнит, что вдруг испугался: а если она тоже ясновидящая и прочитала его намерения? Вот и объяснение холода. Но она, словно отвечая на его мысли, сказала, что лишена такого дара и не знает, как сложатся его отношения с Соней, не хочет вмешиваться, однако ей кажется... Она думает с тревогой... Проклинает

тот день... Что это была за галиматья, что за сплав озлобления, нелепицы и безумия! Конечно, эта женщина была больна. Соня рассказывала, что, когда у матери повышалось давление и близился приступ стенокардии, с ее психикой творилось неладное. Ему хотелось уйти, и он вскочил со словами:

— Я принесу вам воды!

Но она схватила его за руку, непустила. Ее цепкие пальцы стискивали с неожиданной силой, он похолодел: показалось, что такая сила может быть только у сумасшедшей. Но Юлия Михайловна не была сумасшедшей, она просто неизвестно почему ненавидела Глебова и торопилась об этом сказать. Будто догадавшись о его мыслях, она произнесла скороговоркой:

— Не надо никого звать, я все успею сказать, придет Сонечка, будем пить чай. И — вы слышите? — я вам ничего не говорила...

После этого она так же спехом, вполголоса, захлебываясь словами, сообщила ему, что он умный человек, но ум его ледяной, никому не нужный, бесчеловечный, это ум для себя, ум человека прошлого, какой-то клинический бред.

— Вы сами не понимаете, насколько вы буржуазны!

Будто он использовал все: ее дом, дачу, книги, мужа, дочь. Что можно было сказать на все это? Не спорить же с несчастной женщиной. Вставая с диванчика, спросил:

— Можно я принесу вам воды?

— Принесите, — согласилась она спокойно.

Он пошел на кухню, Васена дала стакан, он налил кипяченой воды, вернулся. Юлия Михайловна сидела на том же стуле и смотрела перед собой.

— Знаете, что я вам скажу? — медленно, как очнувшись, произнесла она, беря стакан. — Вот что было бы лучше всего... Этот разговор останется между нами. Лучше всего, если вы уйдете из этого дома...

Он спросил: что он сделал плохого?

— Вы ничего не сделали пока. Еще не успели. Но зачем ждать, когда сделаете? Уходите теперь... Я вас прошу,

я умоляю вас... — И правда, она смотрела с мольбой. — Сонечка не узнает о нашем разговоре. Я вам клянусь! Хотите, я вам дам деньги?

— Какие деньги? О чем вы говорите?

— Ведь вам нужны деньги. Вы их любите, правда? И у вас их нет. Сколько вам дать? — Опять начинался бред. — Говорите скорее, пока не пришла Соня, Ну, ну, говорите же. Я вам дам, и вы тут же, немедленно... Нет, стойте! Я сейчас принесу другое! — Тут она почему-то стала шептать: — Я вам дам одно кольцо, старинное, с сапфиром. Вы же любите буржуазные вещи? Золото? Кляйноды?

— Если вы так желаете, чтоб я ушел, — заговорил он, — пожалуйста, я не возражаю...

Она замахала руками, шепча:

— Одну минуту! Я принесу! Мне совершенно не нужно, а вам пригодится!

Она метнулась к двери в соседнюю комнату, где была спальня, но, к счастью, ей помешали — вошел Ганчук. Был какой-то странный, мятый, прыгающий разговор. Почему-то о Достоевском. Ганчук говорил, что недооценивал Достоевского, что Алексей Максимыч неправ и что нужно новое понимание. Теперь будет много свободного времени, и он займется. Юлия Михайловна смотрела на мужа с печальным и страстным вниманием. Он говорил что-то в таком духе: мучившее Достоевского — *все дозволено*, если ничего нет, кроме темной комнаты с пауками — существует донине в ничтожном, житейском оформлении. Все проблемы переворотились до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница, топором или как-то иначе? Убивать или же ткнуть слегка, лишь бы освободилось место? Ведь не для мировой же гармонии убивал Раскольников, а попросту для себя, чтобы старую мать спасти, сестру выручить и самому, самому, боже мой, самому как-то где-то в этой жизни...

Он размышлял вслух, не заботясь о том, слушают его, понимают ли. У него и голос переменялся. Вдруг пришла Соня. Как раз на словах Ганчука:

— Вот и вы, Дима, зачем вам приходиться сюда? Это совершенно необъяснимо с точки зрения формальной логики. Но тут есть, может быть, объяснение другого толка...

— Папа! — крикнула Соня, бросившись к Глебову. — Не мучай Диму! Его и так намучили!

И она встала перед Глебовым, загородив его, будто Ганчук мог в Глебова чем-то кинуть. Но Ганчук ее не слышал, не видел.

— Тут есть, может быть, — говорил он, — объяснение метафизическое. Помните, как Раскольников все тянуло к тому дому... Но нет! Не то! — он четким, профессорским жестом отсек собственное предположение. — Там все было гораздо ясней и проще, ибо был открытый социальный конфликт. А нынче человек не понимает до конца, что он творит... Поэтому спор с самим собой... Он сам себя убеждает... Конфликт уходит в глубь человека — вот что происходит...

— Папа, дорогой, — сказала Соня, — я тебя умоляю!

— Ну, хорошо, дочка, пожалуйста. Извини меня. — Ганчук впервые посмотрел на Глебова внимательно, узнающе. — К тому же я вовсе на него не в обиде. Нисколько, абсолютно не в обиде.

Он вышел, но через короткое время, когда Глебов прошел вслед за Соней в ее комнату, разлежся, как обычно в минуты усталости, на тахте, покрытой ковром, а она села рядом и гладила его волосы, потому что очень его жалела, знала, как он любил бабу Нилу, Ганчук вдруг опять появился и спросил прежним, знакомым голосом:

— А знаете, в чем ошибка? В том, что в двадцать седьмом году мы Дороднова пожалели. Надо было добить.

Эти слова успокоили Глебова: он понял, что старик остался тем же, чем был. Значит, все, что делалось, было правильно. Глебов ночевал у Сони. Спать они не могли. Заснули перед рассветом. Глебову привиделся сон: в круглой жестяной коробке из-под монпансье лежат кресты,

ордена, медали, значки и он их перебирает, стараясь не греметь, чтобы не разбудить кого-то. Этот сон с крестами и медалями в жестяной коробке потом повторялся в его жизни. Утром, завтракая на кухне и глядя на серую бетонную излучку моста, на человечков, автомобильчики, на серо-желтый, с шапкою снега дворец на противоположной стороне реки, он сказал, что позвонит после занятий и придет вечером. Он больше не пришел в тот дом никогда.

Вот что вспомнилось Глебову, кое-что благодаря усилиям памяти, а кое-что помимо воли, само собой, ночью после того дня, когда он встретил Левку Шулепникова в мебельном магазине. Одно казалось странным, и он так и заснул в своем кабинете на втором этаже, с окном в сад, не разгадав загадки: отчего Левка не захотел узнать его?

В апреле 1974 года Глебов ехал поездом в Париж на конгресс МАЛЭ (Международной ассоциации литературоведов и эссеистов, где он был членом правления секции эссеистики) и встретил в вагоне Левкину мать Алину Федоровну. Она ехала в тот же город по приглашению сестры, покинувшей Россию пятьдесят три года назад. Алина Федоровна превратилась в седую сутулую старуху, но Глебов узнал ее сразу: то же смугло-фаянсовое горбоносое лицо, острый, посверкивающий взгляд и та же, знакомая с детства, папироска в зубах. Часами стояла в коридоре у окна и курила. Глебов подошел, напомнил о себе, но разговор не вязался. Вдруг, как когда-то давно, он почувствовал стену высокомерия, окружавшую эту женщину. Господи, да с чего бы? Все разрушено, жизнь исчезла, сын погиб, и о нем не хочется говорить, и, однако, старая дама сощуривалась, будто смотрела на Глебова в лорнет, и спрашивала величественно-равнодушно: «Ах так? Эссеистики? Это что же, интересно?» После Варшавы она немного разговорилась, и он узнал, что она получает пенсию за первого мужа, Прохорова-Плунге, старого коммуниста, реабилитированного посмертно, что у нее хорошая однокомнатная квартира на проспекте Мира, недалеко от метро, где она жила одна,

не желая никого видеть: ни милого сына, ни бывшей невестки, восемь лет назад бросившей сына, потому что выдержать его не может ни один человек, ни внука, семнадцатилетнего лоботряса, вспоминающего о ней, лишь когда она собирается к родственникам в Париж. Тогда притаскивается как бы навестить и проведать, лучший внук на земле, и между прочим подсовывает заказик, напечатанный на машинке: джинсы, ремень, зажигалка, голубая рубашка в талию, навывпуск, с накладными карманами, все очень дельно и продуманно. Всю жизнь она жила для других, теперь хочется пожить для себя. После Берлина она сделалась еще разговорчивей и откровенней. «Говорят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли все». На перроне в Париже Глебов увидел горбоносую старуху, чем-то похожую на Алину Федоровну, но более чахлую, суетливую, одетую вовсе не по-парижски, в балахонистом старомодном плаще, рядом с ней были молодой человек и девушка, они зашебетали вокруг Алины Федоровны, та отвечала то по-русски, то по-французски, все двинулись с толпой по перрону, а Глебов постоял минуту-другую, ожидая, что Алина Федоровна оглянется и попрощается с ним. Но Алина Федоровна не оглянулась. Зато раздался вкрадчивый голос на ломаном русском языке: «Рад приветствовать вас, господин Глебофф, в городе Париже! Позвольте ваши вализы. Это все?» Молодой, коричневорумяный, сочногубый господин с усиками по фамилии, кажется, Секюло, которого Глебов помнил по конгрессам в Осло и в Загребе, подхватил единственный чемодан Глебова и, улыбаясь, кивая головой в туго натянутой на затылок белой клетчатой кепке, левой рукой показал куда-то вдаль и тоже устремился в толпу.

Знакомый воздух парижского вокзала, в котором было слито много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душной сладости, охватил Глебова, как зной. Через сорок минут он уже ходил быстрыми шагами по темной гостиничной комнате, выходявшей окнами

на узкую улицу недалеко от Pigalle, и, мурлыча что-то, разгружал чемодан, хлопал дверьми шкафов, чуть ли не бегом спешил в ванную комнату, раскладывал под зеркалом туалетные принадлежности...

Работая над книгой о двадцатых годах, я натолкнулся на фамилию Ганчука Н. В., который играл заметную роль в тогдашних дискуссиях, в особенности в спорах вокруг журнала «В литературном дозоре», гремевших в двадцать пятом и двадцать шестом. Кто-то сказал, что Ганчук еще жив. Я разыскал его с немалым трудом. Он жил одиноко в тесной однокомнатной квартирке, загроможденной книгами — стеллажи были даже на кухне, — в блочной новостройке возле Речного вокзала. Старую квартиру, где я когда-то бывал — о чем он, разумеется, забыл, да и я помнил слабо, — он отдал добровольно, потому что жить одному после смерти Сони стало невозможно. А здесь, говорил он, превосходный микроклимат, пахнет бором, можно ходить на лыжах. Ему было восемьдесят шесть. Он ссохся, согнулся, голова ушла в плечи, но на скулах еще теплился неизбитый до конца ганчуковский румянец. И, когда он с усилием протягивал локтем вперед скрюченную правую руку и цепкими пальцами захватывал вашу кисть, ощущался намек на прежнюю мощь. «Аз есмь!» — говорило рукопожатие, хотя глаза слезились, а язык ворочался через силу. В углу прихожей стояли лыжи. Востроносенькая старуха в седых аккуратных куделечках приходила помогать по хозяйству. Однажды я слышал, как она тихонько напевала на кухне.

Несколько раз я приезжал к Ганчуку с магнитофоном, стараясь выведать у него подробности, относящиеся к шуму и гаму двадцатых годов — ведь свидетелей тех полубогатых лет почти не осталось, — но, к сожалению, выведать немного. И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать. Ему было неинтересно. Мне все

происходившее тогда было гораздо интереснее, чем ему, и как-то он спросил с удивлением и даже с досадой: «Господи твоя воля, неужто и эта моя статья не прошла мимо вас? И охота возиться со всей этой жеребятиной...» Зато с удовольствием разговаривал о какой-нибудь многосерийной муре, передававшейся по телевизору, или о новости, вычитанной из «Науки и жизни». Он выписывал восемнадцать газет и журналов.

В годовщину Сониной смерти, в октябре, мы поехали на кладбище. Соня была похоронена на территории старого крематория, вблизи Донского монастыря. Крематорий уже полтора года был закрыт. Москва сжигала где-то в другом месте, за городом. Говорили, что далеко, неудобно, неуютно. То-то был уют здесь, у Донского! На кладбище пускали до семи вечера, а мы приехали без десяти семь. Такси остановили на площадке перед воротами. Тьма была на земле, угольно-темными стояли деревья, угольно темнела стена, но небо еще пылало сумеречно и жило — с криком летали вороны. Привратник громыхал железом, собираясь запирать ворота, и в эту минуту мы подошли. Я вел старика под руку. Привратник не хотел нас пускать. Начался спор в темноте. Мы угрожали, упрашивали, пытались дать ему денег, но привратник отвечал все более грубо и неуступчиво. Ганчук упирал на то, что он персональный пенсионер, что ему восемьдесят шесть и он может умереть каждый миг, а привратник хриплым, злобным голосом орал, что он тоже человек и хочет приходить домой вовремя.

— Но вы не имеете права без десяти минут...

— А продуктовые без пятнадцати закрывают!

— Да как вы сравниваете? У вас есть совесть?

— А вы не учите! Можно сравнивать. Подумаешь, сравнивать нельзя.

— Дайте вашу фамилию! — кричал слабым голосом Ганчук. — Немедленно назовите. Я буду писать.

— Прохоров! — рявкнул привратник. — Лев, к примеру, Михайлович! Ну и что? Куда писать будете? На тот свет?



— Шулепа... — сказал я тихо. — Пусти нас.

Человек, неразличимый во мраке, замолчал и откатнулся от проема ворот. Мы прошли. В тишине, нарушаемой криком ворон, скрипели мои каблуки и шуршали подметки Ганчука, которыми он вез по асфальту. Двигались мы очень медленно. Вот так же, наверно, он ходил на лыжах. Когда удалились от ворот шагов на двадцать, я сказал Ганчуку:

— По-моему, это парень из нашего класса. Ну да шут с ним.

Обогнули черный, недышащий крематорий и стали искать могилу, что оказалось в потемках делом небыстрым. Старик наклонялся и ощупывал камни. Наконец произнес, тяжело дыша:

— Это здесь...

Он присел на корточки и долго делал что-то, сидя так: что-то стряхивал, перебирал, шелестел сухой листвой.

Я думал о том, что нет ничего страшнее мертвой смерти. Погасший крематорий — это мертвая смерть. И Левка Шулепа в воротах кладбища... Вдруг я понял старика, который не хотел вспоминать. Оглушающе орала ворона, кружась и кружась над нашими головами, очень рассерженные чем-то. Было похоже, что мы вступили в их владения. Или, может быть, начинался их час, когда мы не смели тут появляться. На деревьях вокруг было множество темных и жирных гнезд.

Старик шептал, разговаривая сам с собой:

— Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит? — Он стискивал мою руку цепкой клешней. — И как не хочется этот мир покидать...

Когда через полчаса мы выбрались со двора к выходу, ворота были раскрыты, а привратник исчез. Такси ждало нас. Ехали молча, и только когда спустились к площади, повернули туннелем на Садовую, Ганчук придвинулся к шоферу и чуть слышно попросил ехать скорей: хотел успеть на какую-то передачу по телевизору. Слепили огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся

город, который я так любил, так помнил, так знал, так старался понять...

А вскоре и привратник в изношенном кожаном реглане на цигейке, в каких ходили летчики в конце сороковых годов, вышел на аллею, ведущую вдоль монастырской стены, повернул налево и оказался на широкой улице, где сел в троллейбус. Спустя несколько минут он проезжал мостом через реку, смотрел на приземистый, бесформенно длинный дом на набережной, горящий тысячью окон, находил по привычке окно старой квартиры, где промелькнула счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна перемена в его жизни?..

1976

## ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ

*Повесть в рассказах*

### КОШКИ ИЛИ ЗАЙЦЫ?

Я приехал в город через восемнадцать лет после того, как был здесь впервые. Тогда мне было тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами, теперь мне пятьдесят три, я не бегаю, не прыгаю, не играю в теннис, не курю и не могу работать ночами. Тогда приехал в Рим в толпе туристов, теперь я здесь один. Тогда вокруг были друзья, теперь окружают малознакомые итальянцы, которые заняты своими делами, и я их понимаю. Между прочим, они довольно необязательные, часто опаздывают на полчаса, а то на час. Я жду в вестибюле гостиницы. Они милые люди. Я привык к их опозданиям. Они не могут переделать себя. Здесь, в Риме, перемешаны тысячелетия, перепутаны времена, и точное время трудно определить. Оно здесь не нужно. Ведь это *Вечный город*, а для вечности опоздание не имеет значения. Вы живете в доме XIX века, спускаетесь по лестнице XVIII, выходите на улицу XV и садитесь в автомобиль XXI века. Я изучил все иллюстрированные журналы, что валяются на круглом столике в вестибюле гостиницы «Сан-Рафаэль», фасад которой затоплен желтовато-серым, шуршащим на ветру водопадом дикого винограда, а может быть, плюща. Во всяком случае, тут целые заросли какой-то исчахшей от жаркого лета ползучей зелени.

Так вот: тогда я был нищ, скуп, по городу ходил пешком, жалея тратить лиры на автобус, вечерами валился с ног от усталости, утром вскакивал бодрый как пионер, на витрины книжных магазинов смотрел со жгучей тоской; теперь могу купить любую книгу, ходить пешком мне скучно и утомительно; кроме того, я всегда куда-то

спешу и езжу на такси. Тогда я жил в бывшем публичном доме «Каиро», обитательниц которого на время Олимпиады выселили и в узких комнатах поселили нас, туристов, неподалеку от вокзала, рядом с рынком и кинотеатром «Люкс», на пятый этаж мы поднимались пешком; теперь живу в «Сан-Рафаэле», рядом с площадью Навона, и это совсем непохоже на пансионат «Каиро». Тогда меня все ошеломляло, я все хотел заметить, запомнить, мучился желанием написать что-нибудь лирическое обо всем этом, а теперь ничто не ошеломляет и не слишком хочется писать. Тут много причин. Не стану о них распространяться. Скажу лишь: жизнь — постепенная пропажа ошеломительного.

В воскресенье пришел один из малознакомых итальянцев, опоздав на сорок минут, милый человек по имени Джани, и предложил поехать куда-нибудь за город. Например, в Дженцано. Я засмеялся: Дженцано был единственный город в окрестностях Рима, где я побывал восемнадцать лет назад! Хорошо его помню. Я же написал рассказ о Дженцано. Нельзя ли в другое место? Но Джани мялся, явно не желая ехать в другое место, и вскоре объяснилось: он жил в Дженцано и ему надо было по хозяйственным делам непременно заехать домой. Мы поехали. По дороге я вспоминал: маленький город, который живет производством цветов. Там бывают карнавалы и фейерверки. Тогда в компании полупьяных и ошеломленных друзей я сидел в траттории Пистаментуччия, пил кьянти, ел жареную зайчатину (то была особая охотничья траттория, и все убранство внутри эту особенность подчеркивало: рога оленей, чучела, оружие на стенах), пел песни, раскачиваясь на лавке и обнимаясь с соседями; потом хозяин подарил нам фотографии своей траттории с шеренгою официантов и поваров в колпаках перед входом, сам усатый господин Пистаментуччия в середине шеренги, потом мы сидели за столиками на площади, захмелев от вина, было необыкновенно тепло, душно, одуряюще пахло цветами и порохом, соревновались пиротехники, в небе что-то крутилось и сверкало, потом к нам подвели человека по имени Руссо, который провел

два года в нашем плену, у него была глянцеви́тая голова, он изображал рукою, будто пилит дрова, и говорил: «Очень карашо!» Обо всем этом я когда-то написал. В том стиле лирической прозы, который был моден в шестидесятые годы. Рассказ назывался «Воспоминание о Дженцано». И это было действительно самое дорогое и лучшее мое воспоминание о той поездке. Была какая-то свобода, молодость, распахнутость, всечеловечность и хмель, хмель! Я не мог бы внятно объяснить, что значила для меня ночная площадь в Дженцано. И охотничья траггтория Пистаментуччия. Но все это осталось во мне как музыка тех лет со всеми их радостями, надеждами, предвкушениями. А теперь палил зноем воскресный пустой Рим, желтел на камнях полувысохший Тибр, Джани ехал по своим делам домой, а я зачем-то увязался с ним, понимая, что напрасно, повторения быть не может. Музыка отзвучала. Двое из тех, с кем я был тогда в Дженцано, умерли, двое других ушли от меня далеко.

Городишко не изменился за восемнадцать лет. Это был тоже маленький вечный город. В ресторане на веранде, где воздух дрожал от жары, где лежала тень от платанов, вокруг столиков бегали во множестве дети, на каменных плитах, забившись в углу, где попрохладнее, дремали жалкие собачонки вроде тех, которых любил рисовать Карпаччио, незаметно всовывая их в свои громадные загадочные полотна, я спросил у Джани, существует ли та траггтория Пистаментуччия. Не знаю, зачем спросил. По-настоящему она меня не интересовала. Она годилась только как воспоминание. Я не собирался ее искать. Джани ответил: траггтория существует, но теперь там другой хозяин. У прежнего хозяина два года назад случились большие неприятности. У него был процесс. Его обвинили в том, что вместо жареных зайцев он давал гостям жареных кошек.

Я едва не крикнул: «Они были вкусные! Я помню!» Еще мне хотелось крикнуть: «А как же рассказ «Воспоминание о Дженцано»? Значит, неправда? Значит, не теплые сумерки, не море цветов, не песни враскачку с соседями, трудовыми людьми Италии, с их мужественными,

обожженными солнцем лицами, не чудесное кьянти, не охотничий запах зайчатины, а — жареные кошки?» И сразу пришла другая мысль: «Вот как надо кончать рассказ! *Надо его дописать!*» Но я не крикнул ни того, ни другого, ни третьего. Я молчал, подавленный. Потому что всею кожей и задохнувшимся сердцем вдруг почуял разницу между нами: мною тем и сегодняшним. *Дописывать ничего не надо.* Нельзя править то, что не подлежит правке, что недоступно прикосновению — то, что течет сквозь нас. Разумеется, мало радости узнать, что когда-то тебя изумлявшее и делавшее счастливым оказалось фальшивкой и ерундой. Боже мой, но ведь ощущение счастья было! И навсегда остались пение, шум в голове, петарды, Руссо. Правда, я не почувствовал за всей красотой жареных кошек. Я не прозрел истину. Несчастные жареные кошки есть повсюду, и писатель не имеет права делать вид, что их нет, он обязан их обнаруживать, как бы глубоко и хитро они ни скрывались. Все так, но мне было тогда тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами.

Я спросил у Джани: что стало с синьором Пистаментучиа?

— Его оправдали, — сказал Джани. — Но он не захотел жить в Дженцано и продал тратторию. Теперь она называется «Настоящие зайцы».

### ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Когда-то давно я принес в редакцию знаменитого журнала несколько рассказов, вернее — рассказиков, каждый не больше пяти страниц, все вместе страниц тридцать, жалковатая рукопись, тем более жалковатая, что несколько лет я не мог написать ничего путного, на меня махнули рукой, кучка рассказиков была первым *произведением* после долгого перерыва, она много значила для меня, неизмеримо много, никто бы не догадался, глядя на тощую кипу листочков, что она значила для меня, я никому бы не мог объяснить — потому что разве

объяснишь? — и кроме того, человек не понимает своей судьбы в тот час, когда судьба творится, понимание является задним числом, я лишь чуял, что миг — судьбоносный, меня лишь охватывал смутный трепет, какой-то озноб страха и нетерпения, и вот я пришел за ответом в полутемное здание на одной из самых старых улиц Москвы. Я медленно поднимался по каменной лестнице, стараясь успокоить колотящееся сердце. На верхней площадке остановился и стоял, наверное, минуту. Я хотел иметь вид совсем не того человека, кем был на самом деле.

Наконец почувствовал, что могу рывком открыть дверь, легким шагом пройти по коридору и небрежно стукнуть в нужную комнату. Лицо судьбы было невзрачно: желтовато-пегое, со впалыми щеками, седоватым бобриком, со взглядом печальным и одновременно безжалостным. Сидя вполоборота, окутанный дымом сигареты, торчавшей в деревянном мундштучке, человек за столом сказал:

— Все какие-то вечные темы.

Я напрягся, ожидая удара. Но удара не последовало. Все было ясно и так. Рассказики не будут напечатаны в знаменитом журнале по той причине, что — вечные темы. Надо было уйти, однако я продолжал стоять возле стола, потом сел на диванчик, вытащил папиросу, стал закуривать, все действия были бессмысленны, но я не мог остановиться, я сел удобнее, положил ногу на ногу и спросил: что такое вечные темы? Человек за столом чуть скривил синие губы.

— Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, о чем речь.

— Не знаю, — сказал я. — Объясните, ради бога.

— Ну, бросьте, бросьте! Нечего объяснять.

— Но я действительно не понимаю.

— Чего тут можно не понимать? — Человек пожал плечами. Вид у него был скучливый, презрительный. — Вечные темы — это вечные темы. Ну, если хотите... Скажем так...

Прошло двадцать два года. Зимой в Риме в отеле «Феникс» мне передали в рецепции записку — а рецепция в этом отеле помещается в стеклянном просторном

коридоре, соединяющем два здания, вроде зимнего сада, и через стекло виден двор с подстриженной сочно-зеленой, незимней травой, с пальмами, кирпичной стеной и ярчайшим голубым куском неба над нею, — в записке говорилось, что такой-то находится в Риме и хочет меня видеть. Я удивился: за двадцать два года, с тех пор как мы разговаривали о вечных темах, мы не сказали друг другу ни слова. Нет, не потому, что между нами возникла враждебность, а потому, что между нами *ничего не возникло*: мы остались чужими людьми. Мы раскланивались при встрече и тут же забывали друг о друге. Он находился в какой-нибудь третьей сотне моих знакомых, а я в пятой сотне его. Но кое-что нас все же связывало — знаменитый журнал, где он когда-то работал, а я когда-то печатался. Впрочем, связь была настолько умственной и далекой, что искать друг друга в Риме было странно. Зачем же, бог ты мой, я ему нужен? Но вдруг выяснилось, что моя жена тоже знала его. Она спросила с испугом:

— Он такой маленький? С темным лицом? Коротко стриженный? Я жила с ним в одном доме. И я его боюсь.

— Почему?

— Он приносил несчастья. Когда я встречала его во дворе или на улице, всегда что-нибудь случалось.

— Ну, например?

— Однажды встретила его — и в тот же день Волчок попал под машину. В другой раз тоже встретила — и зарубили сценарий. Потом еще что-то, несколько раз. Как-то столкнулась с ним в лифте — и через час принесли телеграмму о смерти Валерия. Не надо ему звонить. Ты вовсе не обязан с ним встречаться.

Мы сидели в прохладной комнате, топить тут начинали вечером, и не знали, как поступить. Записка с телефоном лежала на кровати. Постучав, вошла толстая горничная и что-то спросила по-итальянски, улыбаясь и показывая большую желтую банку. Не вникая в суть дела, я сказал: «Prego» — и махнул рукой. Горничная стала сыпать порошок на пол. Порошок не имел запаха. Мне это показалось подозрительным: порошок без запаха вряд ли



мог уничтожать муравьев. Тут было множество маленьких муравьев, по ночам они заползали в постель. Сыпля порошок из банки, горничная говорила что-то ироническое, может быть даже нескромное, поглядывая на нас плутовато. Жена сказала, что людей, которые приносят несчастья, в Италии называют порто nero, то есть приносящее черное. И никогда нельзя называть имени порто nero вслух. Надо всячески изошряться, давать понять, о ком речь, но только не называть имени. Потому что те не любят, когда их окликают. Всю эту чушь она читала когда-то и запомнила. Она читала гораздо больше, чем я.

— Ты с ним знакома? — спросил я.

— Шапочно. Мы здоровались — и больше ничего. Потом я стала его избегать.

— Он, наверно, сорвал какую-нибудь твою свиданку, — сказал я. — Ты бежала на свиданку, а он встретился во дворе, и все сорвалось.

— Это ты бегал, — сказала жена. — Все боялся опоздать. Все переживал, бедненький.

— Ты бегала больше.

— Я никогда не бегала. Я ездила на машине.

Мы помолчали, я думал над последней фразой жены и, когда горничная вышла, сказал:

— Позвоню. Интересно, зачем я ему нужен.

— Я прошу: не звони. У нас все шло хорошо...

— Нет, позвоню. Ничего страшного не случится. А вдруг ему надо помочь?

— А он тебе помог в свое время?

— Ну, когда это было...

— Тогда я уйду, — сказала жена. — Я не хочу его видеть. Я погуляю, а ты с ним встречайся один. Я поеду на Монте Пинчо.

Показалось обидным: она поедет на Монте Пинчо, может быть, зайдет на виллу Боргезе, а я должен сидеть тут, в надоевшем отеле, и ждать полузабытого, когда-то высокомерного, теперь ненужного господина.

Прошло больше часа. Господин добирался издалека. Потом я догадался, что он шел из Трастевере пешком, как я когда-то ходил, экономя лиры. Его лицо было

по-прежнему пегое, дряблое, презрительное, но что-то важное в лице исчезло. Это было лицо как бы *опустевшее*, как может опустеть старая площадь в час сумерек. Мы видели такую площадь в Лукке, и как раз вечером: она была круглая, тихая, пепельная, без людей и машин, все вокруг было какое-то оцепенелое, уставшее жить, и только белье на веревках на пепельных стенах говорило о невидимой жизни. А рядом с этой каменной пустынной лужайкой кипела главная улица. Но там не было ничего интересного, одни товары. Ничего, кроме товаров. Толпа туго продавливалась вдоль домов, пожирая товары. Прожорливая гусеница толпы. Площадь в Лукке с ее покоем и старостью — вот что напомнило лицо пришедшего.

Он развел руками и сказал, как бы извиняясь:

— Видите, как получилось...

Его первая жена умерла от болезни крови пятнадцать лет назад. Вторую жену постигло такое же несчастье. Теперь он женат в третий раз, нынешняя очень любит детей от своего первого брака, не мыслит жизни без них, и оттого все так получилось. Не было другого выхода. Ее дочь с мужем уехали три года назад, у них девочка, она заболела тяжелым нервным заболеванием, и жена не могла вынести того, что они там одни. Она их любит безумно. Какая-то неестественная любовь. Все невероятно запуталось. Дело в том, что бывший муж жены, отец этой молодой женщины, которая сейчас в городе Атланта, был тем человеком, который принес моему гостю больше всего горя. Так что приходится страдать и перестраивать жизнь из-за его внучек. Он оставил отца в Ленинграде, отцу девяносто один год. Все запуталось. Не бывал ли я ночью в Колизее? Надо непременно пойти в Колизей ночью! Я спросил: почему он мне все это рассказывает? Ведь мы мало знакомы.

— Почему мало? — возразил он. — Мы знакомы. Я помню, мы отдыхали вместе в Ялте. Потом встречались как-то у Градовых. Я знал бывшего мужа вашей жены. Кстати, передайте ей большой привет.

— Я передам, — сказал я. — Все запуталось, вы правы.

Мы просидели в подвале ресторана до десяти вечера. Жена не возвращалась. Мы слышали стрельбу. Пришел официант и сказал, что на виа Гориция облава, нашли тайный склад оружия, по-видимому неофашистов, кого-то арестовали, весь район вдоль Номентаны оцеплен и никого не пускают. В ресторане, кроме нас двоих, не было за столами никого. Официанты и повар сидели перед телевизором и смотрели велосипедную гонку. Я начал волноваться. Мой гость не спешил. Он съел две порции спагетти по-болонски, потом мы ели дыню, пили чай и курили. Чем дольше мы сидели, тем больше его лицо приобретало старое выражение — печального палача. Он спросил:

— Вам не надоело?

— Что?

— Все время писать. Еще надеетесь поразить мир? Думаете, мир крикнет однажды, прочитав ваш опус? Извините мою злость. Я зол, потому что я прощаюсь. Ну да, и с Европой тоже. Почему я и говорю: надо идти в Колизей ночью. Потому что ни вам, ни мне сделать это больше никогда не удастся. Впрочем, я говорю о себе...

Он закрыл лицо ладонями и так сидел. Я поднялся, вышел на улицу и постоял немного возле дверей отеля. Два карабинера прохаживались по тротуару, и электрический свет из окна нашей рецепции освещал их напряженно застывшие, с деревенским румянцем детские лица. В том месте, где наша улочка выходила на Номентану, сгустилась кучка людей, с визгом тормозов остановилась машина. Тротуар был перерыт, кто-то прыгал через разрытое. Карабинеры повернулись и затрусили туда. Мне показалось, кричит жена: «Пустите!» Я побежал, увидел, как люди в штатском заталкивали в машину женщину, она сопротивлялась. Кричала другая женщина из толпы. Номентана была плохо освещена, я протолкался ближе, чтобы удостовериться, что жены тут нет. Когда вернулся в ресторан, гость все еще сидел, закрыв руками лицо.

На другой день мы с женой ехали из Рима в Милан. Поезд остановился в туннеле. Временами гас свет. Когда он вновь загорался, я делал вид, что читаю журнал. Тяжелый запах гари стал проникать в вагон. Мы закрыли

окна. Мы были в купе вдвоем. У жены сделалось мятое, серое от страха лицо. Она шептала:

— Я говорила: сразу начнутся неприятности. Не надо было с ним встречаться.

Я сказал:

— Самые большие неприятности у него.

Потом я сказал:

— Теперь я все про тебя знаю. Он был знаком с твоим бывшим мужем.

Она смотрела на меня пристально и с недоумением, точно старалась догадаться, действительно ли я все про нее знаю. Я обнял ее. Далеко на севере был наш дом, сейчас там стояли морозы, заметало дороги, утром приходилось вызывать бульдозер, и белым паром сквозь кровлю выходило из дома тепло.

## СМЕРТЬ В СИЦИЛИИ

Что можно понять за несколько дней в чужой стране? Можно ли догадаться о том, как люди живут? И как умирают? Вот уже неделю я разглядываю Сицилию как в увеличительное стекло. Я мог бы сказать: Сицилия — это жаркая комната с окнами на море, где с раннего утра надо опускать жалюзи, иначе скоро нечем будет дышать. Но с полудня в Сицилии вполне терпимо, потому что солнце уходит на другую сторону дома. Ночью в Сицилии неумолчно грохочет море, оно рядом, под балконом, под скалами. Сначала от шума моря не спишь, потом привыкаешь. Труднее привыкнуть к треску рыбачьих лодок, они почему-то особенно бойки и оглушительно трещат по ночам, носятся вблизи берега, но жители не протестуют. Они любят есть рыбу. А без ночного треска моторов рыбы, видимо, не бывает. Часов с шести вечера в Сицилии устанавливается замечательная прохлада и ясность в воздухе — отчетливо виден весь громадный сине-голубой залив, керамический склон горы на противоположной стороне и отдаленная вершина на горизонте, белеющая треугольником, как парус. Жители

Сицилии разговаривают на английском и немецком языках, ходят по вестибюлю босиком, в купальных халатах, показывая голые, не очень красивые ноги: в большинстве они люди пожилые. Ночью над морем встает красная луна, и тогда вспоминаешь, что рядом Африка.

Говорят, что сезон кончился. В августе здесь было все по-другому. Здесь было много людей, шумно, дорого, мучительно жарко, невыносимо. Я удивляюсь: еще более мучительно? В Монделло, рыбацкой и одновременно курортной деревушке в двенадцати километрах от Палермо, происходит встреча писателей, присуждение местной премии, так называемой премии Монделло, и дискуссия на какую-то импозантную тему. Что-то вроде о горизонтах прозы. Я упал в эту жаркую комнату с потрескивающими жалюзи — когда их поднимешь, они, слегка потрескивая, почему-то медленно, но неуклонно сползают вниз, вызывая впечатление неведомого живого существа, может быть таинственной рыбы с океанского дна, выброшенной на берег, прибитой к моему окну и доживающей здесь последние минуты, — я упал сюда прямо с московского аэропорта, где было холодно, хмуρο и лил дождь.

Когда писатели собираются вместе для разговора на возвышенные темы, например о том, что есть искусство и зачем оно нужно, они обычно говорят общеизвестное. Редкие ценные мысли, которые есть у каждого, они стараются приберегать для бумаги. Я тоже говорил общеизвестное. Насчет того, что роман не умер и не умрет никогда. Писатели пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов на всех своих встречах защищают роман, это своего рода писательская молитва, обязательная, как «Pater noster» перед сном для католика, и я решил не отставать от других. Плохо представляя себе, кто именно нападает на роман и грозит ему гибелью, я твердо и недвусмысленно заявил злодеям, что они этого не дождутся. Роман будет жить! Нельзя допустить, чтобы роман исчез из нашего обихода. А как же люди будут убивать время в промежутках между телевизионными передачами? И еще я сказал, что люди, объявившие о кризисе романа, представляют себе это чем-то вроде нефтяного кризиса: как

нефть иссякает в недрах земли, так воображение иссякает в умах человечества. Пришлось встать на защиту не только романа, но и человечества. Я сказал, что воображение людей не иссякнет. Со мною не спорили. Все говорили примерно то же самое. Напоследок я заметил, что меня интересуют не горизонты прозы, а ее вертикали.

Вечером, спустившись от нашего отеля, который стоит на взгорке и на мысу, по узкой набережной к площади, где все освещено, как в праздник, где кусками продают осьминогов, где шатается бездельная толпа, где робко гудят автомобили, застревающие в толпе, как в варе, где плотно висит в воздухе острое зловоние рыбы, как в гастрономе у «Сокола», когда туда привозят в грузовиках-холодильниках сырую рыбу и пьяненькие рабочие толкают по желобу в подземелье тяжелые ящики, в которых трепыхаются хвосты, а хозяйки с сумками уже выстраиваются в очередь возле прилавка, — и вот, гуляя по набережной, где ничто, кроме запаха рыбы, не напоминает улицу возле метро «Сокол», я думаю о том о сем, например о приятном единстве, которое царит между писателями: никто друг с другом не спорит и все говорят общеизвестное. Я *стараюсь* думать о том о сем, но на деле меня томит одна подлая задняя мысль. Решение примут через день. Премия Монделло вручается ежегодно за лучшую книгу иностранного автора. В прошлом году здесь вышли две мои книги: московская трилогия «Долгое прощание» и «Дом на набережной». Ну и отлично. Зачем же еще премия? То, что книги вышли, это и есть премия. И то, что я упал на этот остров вблизи африканского побережья, тоже премия. Не надо о ней думать. Она не нужна. То есть нужна, разумеется, но в то же время не нужна. Нужна и не нужна вместе, одним слитком. Глупо о ней думать. Человек не может себя заставить не думать о глупостях. Какой-то бред: идешь прекрасным тропическим вечером в толпе близ моря, среди запахов сырой и жареной рыбы и не в силах отвязаться от глупостей! Ведь ты на острове финикийцев, карфагенян, римлян, арабов, остготов, норманнов, Рожера Спуллийского, кровавой Сицилийской вечери, но не можешь ни на чем

сосредоточиться, тебя разбирает мытуха, ты маешься из-за пустого, и ты несчастней любого в этой толпе, кому ничего не грозит. Но дело вот в чем: они меня заманили. Сказали, что премия обеспечена, но надо непременно сюда приехать. Боже, да я бы поехал с радостью без всякой премии! Она не нужна мне даром. Я их ненавижу. Всякая премия вздор. Однако подлость в том, что вздор — неотвязный. Теперь одни меня поздравляют, другие шепчут, что они из кругов, близких к жюри, узнали, что премия будет дана чеху, который живет в Париже, а третьи смотрят на меня с молчаливым и тайным состраданием, как на больного, который обречен, но еще не знает своей судьбы. Все нервничают гораздо больше, чем я. Я не понимаю, как надо себя вести. Вероятно, я должен себя вести как человек, который напряжен и взвинчен до крайности, но мужественно владеет собой. Еще бы, дело идет о премии Монделло — не шутка! Здесь, в Монделло, эта премия звучит громко. Правда, в Риме о ней мало кто слышал.

Меня окликает человек по имени Мауро. Он из римской газеты. Он тоже смотрит на меня как на больного, о котором только что узнал плохое от лечащего врача, но врач велел не показывать виду, и Мауро весело спрашивает: не хочу ли я стакан вина? Мы садимся за столик под открытым небом. Мауро невысокий, плечистый, короткошей, улыбающийся, с астматической одышкой. Он спрашивает: что меня интересует в Сицилии? Не собираюсь ли я поехать в Сиракузы? В Агридженто? Посетить катакомбы капуцинов в Палермо, где покоятся *совсем как живые* набальзамированные мертвецы? Там есть девочка двух лет, Розалия Ломбардо, она поражает *изумительно живым лицом*. Я понимаю Мауро. Он добрый человек. Но в Сицилии меня интересует другое — мафия. И это как раз то, что нельзя ни узнать, ни увидеть. Тут не любят говорить о мафии. В Палермо я пытался разговаривать с разными людьми: они отмалчиваются или сообщают что-нибудь всем ведомое. По их намекам выходит, что мафия существует, но выродилась и разговаривать о ней неинтересно. Мауро, задыхаясь, посмеивается.

— Почему вы ищете ее здесь? Да она повсюду. И в науке, и в литературе. И в составе жюри. И вы сами мафия! — Он ткнул в меня пальцем и подмигнул.

— Нет, — говорю я. — Я не мафия.

— Нет? Ну ладно. Тогда не вы, а я. — Он ткнул пальцем в себя. — Я мафия.

Мы говорим по-английски и понимаем друг друга, потому что оба говорим плохо. Мимо проходит женщина в черном шуршащем платье, в кружевном черном платке, скрывающем лицо — я замечаю лишь длинный нос и мелькнувший в синеватом белке черный, показавшийся мне огненным глаз, — и делает Мауро приветственный знак рукой небрежно, как хорошему знакомому. Женщина удаляется, покачивая бедрами. Вероятно, она молода, красива. Мауро вскочил и побежал ее догонять. Он догнал ее возле автомобиля. Они разговаривают. Женщина оглядывается на меня. Я вижу худое, со впадинами лицо старухи и острый, сверкающий взор. Автомобиль стал продавливаться сквозь толпу, вырулил с площади, исчез.

— Я ее знаю, — говорит Мауро. — Она тоже пишет книги — истории о драгоценных камнях. Своего рода thrillers. Я брал у нее интервью для газеты три года назад.

— Она не имеет отношения к мафии?

— Возможно. Все имеют отношение к мафии.

Он издевается. Но вдруг говорит серьезно:

— Знаете, что такое мафия? Она как эти горы. Вы сейчас их не видите, они скрыты темнотой, но вы знаете, что они есть. Они окружают город.

Я смотрю туда, где должны находиться горы, — там непроглядно черно, без огней, без звезд.

На другой день Мауро говорит, что вчерашняя дама — ее зовут Маргарита Маддалони — приглашает нас на чашку кофе к пяти часам. Она любит русскую литературу, сама говорит по-русски. И вообще она русская. В знойное послеобеденное время, когда комната с опущенными жалюзи напоминает душную, непригодную для жизни камеру, я лежу пластом голый во мгле и не могу ни читать, ни спать, приезжает на своем арендованном «фиате» непонятный Мауро — зачем он со мной так возится? Я прыгаю под



душ, быстро одеваюсь, и мы едем в горы. Надо проехать километров пятнадцать на запад. Море лежит внизу слепящее и пустое. Редко кое-где белеют лодки. Неужели на этой обугленной керамической скале можно прожить всю жизнь. Синьора Маддалони живет в старинном замке, который, разумеется, перестроен и приспособлен для жизни. Его основали норманны, потом он был разрушен, восстановлен, опять разрушен, опять восстановлен, наконец тотально разрушен во время последней войны и полностью отстроен покойным синьором Маддалони, промышленником и судовладельцем. Синьор умер одиннадцать лет назад. Вот с тех пор от тоски и ужаса перед одиночеством она стала писать книги и написала восемь романов. Ее всегда интересовали драгоценные камни, но не как богатство, а как мистическая сила, повелевающая судьбами людей. Каждый знаменитый алмаз таит удивительные сюжеты, с ним связанные. Один из романов посвящен России, императрице Екатерине и графу Орлову.

Мы сидим на веранде на теневой стороне дома. Смуглый, с курчавыми бачками, в белых перчатках Сильвио прикатил тележку с напитками, фруктами и печеньем. Я попросил бокал сока. Я не понимаю, зачем меня пригласили. Затевается разговор о горизонтах прозы. Синьора Маддалони говорит, что диктует романы на диктофон, потом их немного правит. По существу, они пишут втроем: она, Сильвио и диктофон. Сильвио записывает текст с диктофона, она редактирует, на всю работу уходит полтора месяца. Зато какой адский подготовительный труд! Приходится ездить в библиотеки? В Палермо? В Неаполь? Нет, не приходится никуда ездить, у нее прекрасная библиотека, приобретенная мужем в сороковых годах. Все, что нужно, под руками: справочники, словари, книги по истории, географии, минералогии, оккультным наукам, алхимии, мореплаванию. Кстати, меня как русского интересует, наверно, революционная тема: муж собрал бездну книг по истории карбонарского движения, по анархизму...

Мы спускаемся на нижний этаж. Сильвио идет следом, неся поднос с напитками. Библиотека помещается

в круглом зале, посредине стоит громадный старинный глобус, о котором я узнаю, что он из Венеции, XV века. Здесь прохладно. Мы садимся в кресла, а Сильвио стоит рядом, держа поднос. Его смуглое лицо неподвижно. Ни он, ни Мауро не понимают, о чем мы говорим. Но Мауро изо всех сил старается хоть что-то понять, он глядит на шевелящиеся губы синьоры Маддалони, на мои, его лицо выражает немое и почтительное восхищение.

— О, я ничего не понимаю! — вскрикивает он радостно по-английски и хлопает себя по коленям. — Но мне нравится русский язык!

Синьора Маддалони говорит по-русски чисто, но с примесью двух акцентов: южнорусского и итальянского, который выражается скорее в интонации, чем в произношении. По-южнорусски она хакает и говорит «библиоте́ха», а по-итальянски мягко, напевно прогибает середину фразы. Почему-то я долго не решался спросить: кто она такая и как попала сюда? Мне кажется, это нескромно. А она не заговаривает. Как будто обычное дело: встретиться двум русским в Сицилии в каком-то пиратском замке...

Когда синьора встает и куда-то удаляется в сопровождении Сильвио, Мауро, наклонившись ко мне, шепчет:

— She is very rich!

— Really?

— О! — Он поднимает большой палец. — О-о-о-о! — Мауро обнимает голову ладонями и покачивает ею, давая понять, что богатство невыразимое, фантастическое. И после этого с потеряннм видом машет рукой и вздыхает. — O my god...

Синьора возвращается. Сильвио торжественно, приподняв, несет в обеих руках две сумки из плотной бумаги, наполненные чем-то тяжелым. Это подарки мне и Мауро: в каждой сумке по стопке книг в ярких обложках, запечатанных в целлофан. Мы получаем по пять романов Маргариты Маддалони. Синьора по-молодому забирается в кресло с ногами, ее поза свободна, движения изящны, линия бедра крута и выпукла, она держит чашечку тонкой рукой, но лицо синьоры — высушенное, коричневое, в сетке морщин и только глаза сияют. И вот она

спрашивает: откуда я? Из Москвы. Она не была в Москве. Так жаль, такая обида: повидала весь мир и никогда не была в Москве. Жила в Ростове, в Новочеркасске, уехала в двадцатом, ей было тогда семнадцать лет и она была красивая. Поэтому все страшное было еще страшней. Прекрасно помнит те годы. Отец был степной помещик из казаков, мать — актриса. На юге в девятнадцатом кипела какая-то нелепая, веселая жизнь, туда съехалось много интересных людей, артисты, писатели, выходил журнальчик «Донская волна». Рестораны в Новочеркасске были полны. Все уже трещало и рушилось, но люди не понимали...

— Помню стихи тогдашнего поэта Виктора Севского из «Донской волны». Господи, шестьдесят лет прошло, а чепуха помнится! Когда-то повторяла с восторгом... Хотите, прочту? — И, не дожидаясь ответа, с воодушевлением:

О детях Дона сейчас влюбленно,  
Как из бидона, стихи пролью,  
О детях Дона, сын Аполлона,  
Прошу пардона за прыть мою.  
В стране Маори я жил в фаворе,  
Забывши горе и жизни вздор,  
А тут в терроре, в кровавом море,  
С покоем в ссоре таюсь, как вор...

Пародия на Бальмонта. Вы знаете, конечно, это имя? Дальше, прошу прощения, быть может, вам будет не совсем приятно слушать, но все это было так давно, не правда ли? Дальше что-то такое:

Как жизнь свирепа в стране совдепа,  
Жизнь хуже склепа! Над жизнью креп.  
Жизнь зло-нелепа, два сорок — репа,  
Жизнь — три копейки, тридцать — хлеб.  
А там, как в сказке, в Новочеркасске!  
В лазурной краске волшебный быт!  
Хлеб — мягче ласки, мутнеют глазки,

Там жизнь без тряски и без обид.  
Мечта поэта! Рулен! Котлета!  
И сигареты! И что-то еще...

Потом мы перебрались в Ростов. И не успели бежать, когда отступала армия. Мама еще надеялась как-то приспособиться к новой власти. Папа погиб в восемнадцатом. Но приспособиться не удалось. В меня влюбился один грек и увез нас в Крым, оттуда в Батум. Мама умерла от тифа. С греком я уехала в Константинополь, потом в Салоники, потом оказалась в Берлине — уже без грека, — в тридцатых годах жила в Париже, а с сорок пятого здесь, вот уже тридцать три года...

Я слушаю в ошеломлении — Ростов? Новочеркасск? Двадцатый год? Миронов? Думенко? Генерал Гнилорыбов? Это как раз то, чем я теперь живу. Что было моим — *прамоим* — прошлым. И эта казачка, превратившаяся в старую, кофейного цвета синьору, — каким загадочным, небесным путем мы прикоснулись друг к другу!

— Мой отец из Новочеркасска, — говорю я. — Дядя учился в Атаманском училище. Был военным комендантом Новочеркасска в двадцатом году. А тетка прожила там всю жизнь.

— Да что вы! На какой же улице?

— На Красноармейской. Раньше называлась Ратная.

— Ратную прекрасно помню. А в каком доме?

— Я был у нее лишь однажды, после войны. Какой-то ветхий флигелек, на втором этаже, а когда-то весь дом принадлежал архитектору Кокореву Сергею Васильевичу, теткинemu мужу. Он, между прочим, достраивал собор...

— Я училась с его племянницей в гимназии. Он умер, конечно?

— Умер трагически. Был уже старик, не мог двигаться, остался в городе при немцах. Его оклеветали. Там целая история. Знаю лишь, что женщина, которая его оклеветала, сама обнаружилась предательницей и была расстреляна.

— Боже мой! — шепчет синьора. — Как бы я хотела одним глазком...

Ее лицо сморщивается, углы рта опускаются, и я вижу — секундно — на этом индейском лице-маске давний, неисцелимый след горя. Она вновь поспешно уходит, приносит старую, дореволюционного вида папку, развязывает тесемочки, руки ее дрожат.

— Все, что осталось от мамы...

— Можно?

— Посмотрите...

Две пожелтевшие фотографии: на одной молодая дама с девочкой в белом платье. Знаком девочкин черный пронзительный взор. На другой та же дама, красавица, в театральном наряде, с пышной высокой прической. И какие-то бумажки, вырезка из газеты. Можно прочитать? Конечно. Это последнее предприятие в Ростове, перед тем как уехать в Крым. Три бумажные древности: «*Постановление*. Декретом СНК от 15 апреля 1920 г. отменены все действовавшие до издания декрета постановления, распоряжения и правила о выдаче бывшим владельцам принадлежащих им ценностей из ссудной казны и сейфов, а самые ценности объявлены государственной собственностью»; «*Заявление*. В сейфо-ломбардную комиссию. На квитанции ящика сейфа Общества взаимного кредита за № 1025 у меня находятся: один серебряный сервиз и один кулон с бриллиантом. Я артистка музыкальной драмы и оперетты, и вещи эти дороги мне как бенефисные подарки, а при необходимости как средства для существования жизни, а посему покорнейше прошу выдать мне их. Артистка и действительный член профсоюза Е. С. Малышева»; «*Свидетельство*. Мне известен кулон с бриллиантом, с одним маленьким подвеском, который был поднесен в г. Тифлисе в 1916 г. в день бенефиса Е. С. Малышевой в летний сезон в т-ре Артистического Общества. Артист кооперативной художественной оперетты Давид Софронович Давыдов».

— Милый мой, — синьора Маддалони накрывает мою руку сухонькой ладошкой, — ваш папа был на другой стороне. А дядя, комендант Новочеркаска, может быть, преследовал моего брата. Все это история... И она мало кому интересна — мне, вам... Но самое страшное знаете

что? — Она смотрит в глубь меня пронизывающим бес-  
сильным оком. — Смерть в Сицилии...

Ртутным блеском горит черная звездная ночь.

Я опять не сплю из-за треска рыбацких лодок. На дру-  
гой день за завтраком знакомый поляк, который всегда  
навеселе, радостно бросается ко мне: «Я вас поздравляю!»  
Через час становится известно: премию получил чех из  
Парижа. Мы садимся в автобус и отправляемся в Палер-  
мо на прием к мэру. После мэра поедem посмотреть мертве-  
цов в катакомбы капуцинов. Здесь все гордятся этими  
катакомбами, где мертвецы стоят в позах живых людей в  
своей истлевшей одежде. Бедная попытка обмануть смерть.  
Но нельзя обмануть то, что самое страшное в мире, —  
смерть в Сицилии. Автобус достигает белых домов Па-  
лермо, они кажутся слепыми из-за опущенных желтых  
жалюзи. Автобус поворачивает на улицу, обсаженную  
пальмами. Солнце плавит асфальт. Мауро, который си-  
дит рядом, придвигается и шепчет:

— Посмотрите на эту улицу внимательно. Где-то здесь  
лежит Роберто Маддалони. Я вчера не сказал? — Шепчет  
совсем неслышно: — Ее муж был одним из главарей ма-  
фии. Одиннадцать лет назад он исчез. Говорят, лежит  
здесь, под асфальтом этой улицы. Но, впрочем, никто  
точно не знает.

## ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ

Из мрака выпрыгнул золотой слиток: так возник Лас-  
Вегас. Внизу чернотой текла пустыня. Слиток выглядел  
нелепо. Его не должно было быть в черноте. «Золотой  
слиток» («Golden Nugget», как называется одно из знаме-  
нитых казино, тут все казино знаменитые) — символ этой  
нелепости посреди пустыни, этой античеловеческой и  
в то же время глубоко человеческой фантазии, этого на-  
громождения страстей, упований, ярости, похоти, бес-  
смыслицы, надежд. Сорок минут самолетом из Лос-Анд-  
желеса — и гроздь огней, означающая *великие возможно-  
сти*, выплескивается навстречу из мрака. Они привезли

меня все это показать. Но я это видел. Я догадался. Я знал. Потому что какая разница — где? В зале, похожем на вокзал, где стоит гул многих сотен голосов, стук автоматов, которые дергают за ручки, звон сыплющихся монет, или же — на летней верандочке в деревне Репихово, где мы засиживались до петухов втроем, полковник Гусев, Боря и я, одурманенные вожделением переменить судьбу? Мы играли в... — ах, какая разница, как называлась игра... *Великие возможности* не имеют размеров, они имеют лишь запах, лишь ветер, от которого холодеет душа. Полковник и я выигрывали, Боря платил. Но он упорно стремился переменить судьбу и набрасывался на нас вновь и вновь, все больше залезая в долги. Это было в пятьдесят четвертом, а может быть, в пятьдесят пятом по Северной дороге, недалеко от Абрамцева, летом, когда дети были еще маленькие, а планы грандиозные и, главное, нам хотелось переменить судьбу. И вот Бори нет на земле. Он исчез две недели назад, в середине сентября. Перемена судьбы происходит внезапно. Он не прочитает этот рассказ про Лас-Вегас и про то, как мы играли до петухов на деревенской верандочке, где на полу были рассыпаны созревающие хозяйские помидоры, а на стеклах висели связками лук и чеснок. Про деревенскую верандочку ему было бы читать интересно, а про Лас-Вегас — нет. Хотя он не был в Америке. Но он догадывался обо всем. Когда я вернулся оттуда, он спросил: «Ну как там? Все ясно?» Я ответил: «Все ясно» — и больше он ни о чем не спрашивал. Я провел в Америке два месяца, читал лекции в университетах, исколесил страну от востока до запада, от севера до юга, но ему было интересней поиграть, как в старину, с полковником Гусевым, чем слушать про то, что было ему ясно. Клубные новости были ему в тысячу раз интереснее. И я не стал ничего ему рассказывать про Лас-Вегас, про родео в Канзасе, где один бык обманул устроителей, внезапно остановился на поле, усыпанном опилками, и всадник, который должен был прыгнуть на быка, схватить за рога и повалить наземь, то есть опозорить на глазах пятидесяти тысяч зрителей, проскочил на лошади мимо и бык, помахивая хвостиком, спокойный

и неопозоренный пошел назад, в свое стойло; я не рассказал ему про Тамерлана Чингисхановича, профессора русского языка, который одевался в голубое и ездил в громадном голубом кадиллаке, про собак, которые занимались любовью в фешенебельном зале при гостях, про миниатюрную красавицу Лолу, про ее друга гиганта Боба, или Бобчика, как его называли ласково, про шефа Лолы — Криса, про Сузи, про Стива, про Рут, про Мишу, который потерял в Риме восемнадцать чемоданов, на этом помешался и не мог говорить ни о чем другом, про индейцев в Лоренсе, про то, как они сидели полусонные на тротуаре и курили марихуану, про снег в Миннеаполисе, про русский стол в студенческой столовой, где говорят только по-русски, а те, кто не умеют, молчат и слушают про сырую морковь, про бобы, про свежую, нарезанную тонкими нитями капусту, про белый хлеб, похожий на вату, про одну женщину в Беркли, которая плакала, про Сан-Диего, где была жара и дельфины как из катапульты выскакивали из воды в океанариуме, про то, как на обратном пути нас останавливала полиция, осматривала автомобиль, не везем ли мы мексиканцев, про то, как меня слушали, о чем спрашивали, почему смеялись, чего не могли понять; я не стал рассказывать ему про самую большую лошадь в мире, прибывшую из Канады, она стояла в особом павильоне, куда можно было зайти и за двадцать пять центов посмотреть на рыжей масти кобылу, повернувшуюся к зрителям исполинским задом, грива и хвост были светлые, иногда кобыла поворачивала голову и глядела злобным коричневым глазом; про всех несчастных, сумасшедших, благоустроенных, самодовольных, кого довелось встретить, про Бена Кларка, который вез меня ночью с аэродрома в Сан-Хозе в свой университет, по дороге заехали на ферму к его матери, старушке восьмидесяти лет, он привез ей в багажнике трех живых петухов, а старушка угощала нас чаем и замечательным эппл-паем, про одного священника, который сказал мне шепотом: «Этого не знает никто!» — про знатока Бунина в городе Оберлине, про моего издателя в Нью-Йорке, который скачет на лошади в Центральном парке каждое



утро, про холодное декабрьское солнце на Арлингтонском кладбище, да мало ли о чем еще, но он ни о чем не хотел слушать, потому что все знал и так. Он все прекрасно знал без Америки и без меня. Так ему казалось. Ну вот, я начал писать про Лас-Вегас, как мы прилетели туда всемером; очаровательная Лола со своей двадцатидвухлетней дочкой Сузи, с гигантом Бобчиком, с шефом «Тампико Хемикла», где Лола работала, важным белобрысым мальчиком по имени Крис, а также старик Стив, его жена Рут и я, — и увидели слиток золота в иллюминатор, но тут я вспомнил про Борю. Я не могу ничего поделать. Случилось слишком недавно. В пятницу я ему позвонил и хотел зайти, он болел уже несколько дней, ни о чем серьезном никто не думал, и мне сказали, что он поехал на рынок покупать арбуз, я успокоился и не пошел к нему, потому что приехал человек из другого города, который должен был срочно со мной встретиться, — ах, боже мой, это вздор и не имеет значения! Я не увидел его больше никогда. Так вот: Лас-Вегас вырос в штате Невада. В пустыне. С фантастической быстротой. Все начинается в аэропорту: лишь только вы сходите с трапа, вас окружают игральные автоматы, «однорукие бандиты», чтобы те, кому невтерпех, могли бы тотчас попытать счастья. Туннель для пассажиров обит кроваво-красной ковровой материей, и сразу наплывает томное возбуждение: кровь, горячка, азарт. «А кому интересно? — спросил бы он. — Какое отношение все это имеет к нам?» Может быть, никакого. Как пейзаж луны к тому, что я вижу из окна. Но, может быть, тут ошибка. Почему-то мне кажется, что все имеет отношение ко всему. Все живое связано друг с другом. Но не знаю, как это доказать. Внутри лунного пейзажа, внутри этих кратеров, многоэтажных башен, кружения огней среди ночи таится знакомое: я вижу свой дом, но в перевернутом виде. Он как бы расплескивается, расслаивается, отражаясь в воде. Всегда, когда уезжаю далеко, я вижу свой опрокинутый, раздробленный дом. Он плавает кусками в воде. Перед домом был маленький палисадник, там росли яблони, дававшие кислые, незавидные яблоки, внизу проходила дорога,

непроезжая в осенние дни. А осень начиналась тут рано, почему-то раньше, чем в Москве: в доме становилось холодно, старуха топила печь, рано падала сырая, пахнувшая дымом темнота, и каждый день все больше пустела деревня, дачники уезжали, торопясь пригнать грузовик до того, как совсем развезет. Мы оставались одни: полковник, Боря и я. На работу ездили электричкой. И еще Сергей Тимофеевич, который отдыхал после инфаркта. Сергею Тимофеевичу было лет пятьдесят с небольшим, он был уже лыс, помят жизнью, легонько, но ежевечерне прикладывался к рюмке — раньше прикладывался основательно, теперь врачи запретили, но помалу, граммов по полста, разрешалось, даже было рекомендовано, — ходил по саду в полосатой пижаме, в холодные дни в лыжном костюме, сосал пустую трубку и рассказывал нам — мне и Боре — о перипетиях тридцатых годов, которые переживал с болью до сих пор, будто они случились вчера, потому что был вечный комсомолец косаревского призыва, вечный бунтарь, мечтатель, резидент в Китае, мелкий английский торговец в Гонконге, проникательный, все понимавший и видевший всех насквозь старикан. Нет, не старикан. Но чудился нам стариканом. Мы были глупы. Он многое объяснил нам впервые. То, о чем я лишь догадывался, было для него жестокой явью. И когда спустя два года все взорвалось, обрушилось и подтвердилось, Сергей Тимофеевич заболел вновь. Он болел там, в Репихове. Там и умер летом. Какое-то лекарство надо было привезти из Москвы, я примчался с поезда, вбежал на верандочку: жена Сергея Тимофеевича сидела на стуле, сложив на коленях руки, и смотрела застывшим белым взглядом в окно. Боря сказал меня изумившее: «Ведь и нас когда-нибудь так прихватит!» Изумило не потому, что неправда, а как раз потому что — внезапная, лютая правда. Полковник побоялся прийти и попрощаться с Сергеем Тимофеевичем. Он боялся смерти и никогда не говорил о болезнях. Да и не болел ничем никогда. По возрасту ровесник Сергею Тимофеевичу, он не казался нам стариканом. Он был ненастоящий полковник. Сергей Тимофеевич называл его ложным опенком. Он был штатский

полковник: преподавал в бронетанковой академии технической курс. Но в войне он участвовал. Заслужил какие-то ордена. Они были совсем разные с Сергеем Тимофеевичем: один жил мыслями, надеждами, горечью, другой — здоровьем, сластями, осторожностью. Полковник Гусев никогда не летал на самолетах и не ездил в такси: самолеты разбивались, таксисты лихачествовали. Когда играли зимой в городе и засиживались до часу, а то до двух ночи, полковник всегда плелся домой через город пешком. Я удивлялся: «Аркадий Иванович, да почему же, бог ты мой, не взять такси? Ведь и деньги у вас есть, вы в выигрыше». «А зачем? Я ночную Москву люблю. И погода чудесная. За час дотрюхаю спокойненько». Но и в мороз, в дождь, в снегопад трюхал так же спокойненько. Давно уже, лет восемнадцать, не садились втроем погорячить кровь. Все договаривались, перезванивались — как бы возобновить? — но ничего не получалось, закрутило винтами, разбросало нас далеко, и вот на днях звонок — голос знакомый, полковничий, но с какой-то уже слабиную, с семидесятилетней дрожливостью: «А Бориска-то наш? Ну и ну... Отколол...» Хоть и дрожит в тоске, а спросить о смерти, как прежде, боится. Думает: спрашивать не стану, глаза закрою, уши заткну — и, может быть, обойдется. Он и теперь, старичком сухоньким, краснолицым, волосы то ли седые, то ли белесые изжелта, бегаёт в марте на лыжах по лесу без рубашки, загорает на солнце-пеке, груздей ищет. «Ах, Юрий Валентинович, люблю по весне за груздочками помотаться! Вот где красота истинная — в лесу в марте!» А Бориски нет. Он никогда в жизни не бегал на лыжах за грибами. Его лесом был город, книги, автомобили, коридоры, таблетки, гипертония, и его гульба была другая. А груздями его были люди, мужчины и женщины, — их он искал, находил, восхищался, влюблялся. И вот выпал из жизни нечаянно и вдруг, как болт из паза, на полном ходу, посреди дороги, и все, что было вокруг — люди, книги, автомобили, таблетки, — рассыпалось, разлетелось в разные стороны, не собрать. Смерть — это вихрь, действующий молниеносно. В те времена, три года назад в Лас-Вегасе, я ничего, разумеется,

не мог предвидеть — мне казалось, что его жизненная сила безгранична, — и я напрочь о нем не помнил, но в казино «Циркус-циркус», где множество людей слонялись от стола к столу, между автоматами и где девицы в колготках, с лотками на груди вроде тех лотков, что носили когда-то папиросницы на Тверском бульваре, предлагали разменять купюры на долларовые монеты, на пятидесятицентовые и на кварталы, которые лежали на лотках аккуратными столбиками, запакованные в бумагу, вместе со столбиками девицы давали бумажные стаканчики, чтобы монеты носить и ссыпать туда выигрыш «одноруких бандитов», — ко мне подошел в толпе маленького роста взлохмаченный человек с темно-оливковым лицом и невнятно что-то пробормотал. Я не сразу понял: он представился, доктор такой-то. Он назвал фамилию Бори. Я спросил, нет ли у него родственников в Москве. «Все в этом мире мои родственники», — быстро ответил маленький человек, почти карлик, и махнул нетерпеливо рукой. Он спешил невнятно бормотать дальше. Нам рассказали, что он помешался четыре года назад, когда его жена покончила с собой здесь, в Лас-Вегасе, проигравшись. У него есть своя комната на втором этаже «Циркус-циркуса». Он стал своего рода талисманом и *принадлежностью* казино. Считается полезным перед тем, как делать крупную ставку, найти доктора и притронуться сзади к его волосам. Но он мне запомнился потому, что сказал: «Все в этом мире мои родственники». После «Циркус-циркуса» мы пытали судьбу в другом казино, потом пили кофе в «Бурлеске», где, кроме нас и одного негра, не было никого, на эстраде танцевала девушка из Вест-Индии, негр все время подбирался к краю сцены и хотел посмотреть на девушку снизу, для чего ложился чуть ли не на спину; девушка была голая и старалась, чтоб он ничего не увидел, она смеялась, негр смеялся, это была игра, они нас не замечали. Стив фотографировал со вспышкой, и после всего этого в ресторане «Сахара» Стив заговорил о моей книге. Нет, не сразу, сначала была беседа с официантом, даже с двумя официантами, первый был статный пожилой красавец, похожий на вышедшего в тираж

киноактера, и Лола, нагоняя мне цену и одновременно льстя ресторану «Сахара», сказала, что только в «Сахаре» можно достойно накормить такого крупнейшего бейсболиста из Москвы, такую мировую звезду спорта, как я, на что официант ответил доброжелательным взглядом сверху вниз и как равному протянул для рукопожатия громадную ладонь; после этого он подкатил столик со специями и стал у нас на глазах делать французский салат, который заказал белобрысый, с туманным остановившимся взглядом Крис, большой человек из «Тампико Хэмикла». Официант манипулировал ложечками, лопаткой и бутылочками с невероятной быстротой, как фокусник, каждое действие сопровождая энергичными объяснениями, что он кладет и зачем, и все смотрели на него и слушали с напряженным вниманием. Официант спросил, в какой команде я играю.

— «Московские хрипуны», — ответил я.

— «Moscow rattlers», — перевел Боб.

— О, «Moscow rattlers»! Хорошая команда. Я слышал, — сказал официант.

Лола, Сузи, Бобчик и Рут были в Лас-Вегасе впервые, так же как я, Крис тут бывал не раз, а Стив работал здесь в сороковые годы, строил насосную станцию. Где только Стив не работал! Он был самый старый среди нас и самый веселый, все время подшучивал над Рут, гладил ее веснушчатую руку в серебряных кольцах, она улыбалась ему значительно и как бы намекая на что-то, понятное им двоим, они вели себя как молодожены, а ведь ему было семьдесят, ей пятьдесят восемь, но они и вправду были молодожены, потому что соединились три года назад. Подошел второй официант, разносивший мясо. Я ему сказал, что просил *well done*.

— Я думал, русские всегда любят с кровью, — сказал официант, но без улыбки, а как-то холодно и враждебно. Ведь то же самое можно было сказать шутливо. И это никого бы не задело. Но он сказал враждебно.

Бобчик вскочил и прокричал официанту что-то грубое, размахивая здоровенной рукой, способной многократно и с легкостью поднимать двухпудовую гирию.

Я сам видел, как он кидал гирию утром в своей квартире в Лос-Анджелесе, про которую Лола говорила: «В таких квартирах живут неудачники». Официант чопорно удалился. Подошел грузный, профессорского вида метрдотель во фраке, мои спутники стали с ним объясняться. Я понимал плохо. Когда они говорят быстро между собой, я понимаю плохо. Метрдотель ушел, мне сказали:

— Он извиняется, хотя ничего не понял. Но официант будет наказан. Это человек из Европы, и он очень злой.

Вот после этого эпизода и, может быть, для того чтобы загладить тягостное впечатление, Стив заговорил о моей книге. Ему хотелось сказать мне приятное. Он сказал, что я пишу хорошо, он прочитал всю книгу «The long goodbye» от начала до конца, но мои герои не могут нравиться американцам: они вялые, нерешительные, не умеют добиваться своего. Но это не имеет значения. Для русского я пишу хорошо. Тут ему показалось, что он сказал недостаточно приятное, и он пустился в объяснения:

— Понимаете, Юрий, нам, американцам, такие люди не нравятся. Мы любим людей успеха. А вы, русские, всегда пишете про неудачников. Это неинтересно для нас. Мы любим оптимистическую, жизнеутверждающую литературу. Мы *такая нация*. Верно я говорю, Рут?

— Верно, Стив, — сказала Рут и прочитала оптимистическое американское стихотворение про человека, который кузнец своего счастья.

— Рут тоже пишет книги. По психиатрии, — сказал Стив.

— Писала, пока не встретила с тобой, — сказала Рут, смеясь.

Она была милая, женственная, черноволосая, с крепким, спортивным телом, несмотря на пятьдесят восемь. Ее родители приехали из Польши в начале века, но она не знала по-польски ни слова. Потом она мне рассказала: жизнь до Стива была тяжелой — муж, пьяница, избивал ее, жили в нужде. Муж был страшный. Она его боялась. Он кончил дни в сумасшедшем доме. Но теперь она необыкновенно счастлива. Стиву тоже было нелегко отделаться от жены, истеричной и невоспитанной женщины,

очень богатой, она богатством пыталась удержать Стива, но он все равно ушел. Так что Рут добила своего. Теперь у них пятеро детей: двое Рут и трое Стива, все живут в соседних домах, в Костамессе.

— Все это вздор, — сказал Бобчик.

— Почему вздор? — спросила Лола.

— Абсолютный вздор. Насчет успеха и так далее. Можно подумать, что все американцы добиваются успеха. Сказка для дураков.

— Добиваются все, которые, ну, скажем, этого достойны.

Бобчик усмехнулся:

— Достойны?

— Ну да, — сказала Лола.

— Замечательно.

— Мама, конечно, достойнейшая, — сказала Сузи. Она улыбалась кукольным ртом, но узкие зеленоватые глаза — не материнские — смотрели на мать неприязненно.

— Сузи, послушай, что я тебе расскажу про Стива. Это важно особенно тебе, ты знаешь почему, — сказала Рут. — Человек должен иметь волю к жизни...

Она стала рассказывать: как Стив был фермером, потом учился, был летчиком на войне, работал в разных местах, затевал множество дел, прогорал дотла, начинал снова, опять прогорал, опять начинал — и так было бесчисленное число раз, но он не сдавался. Стив простодушно улыбался, слушая про себя. Крис кивал белобрысой, коротко остриженной головой, одобряя американскую притчу. Но Бобчик был бледен, мучительно с чем-то не соглашался, сдерживался, молчал, а нежное лицо Сузи приняло выражение насмешливой, тончайшей презрительности. Когда Рут кончила, а Стив в знак благодарности поцеловал ее веснушчатую руку, Бобчик сказал:

— А я третий год не могу продать сценарий. Может, я идиот?

— Нет, ты не идиот, — сказала Лола. — Но ты невезучий.

— Послушай, ведь то, чем я занимаюсь, не игра в карты. Что значит — невезучий?

— Не знаю. Возможно, ты мало работаешь. Я не понимаю, в чем дело. — Лола выпрямилась во весь свой маленький рост, расправила обнаженные плечи, в ее скуластом лице женщины-подростка появилось что-то новое и внезапное, похожее на стальную упругость. — Не будем портить аппетит всем, о'кей?

— О'кей, — отозвался Бобчик слабым голосом.

Поехали в старый Лас-Вегас, в «Золотой слиток», и играли там до полуночи. Все разбрелись по разным столам, прятались по углам среди автоматов, стараясь быть в одиночестве, не видеть друг друга, оставаться с глазу на глаз со своей судьбой, а я ходил и смотрел. Все было так не похоже на Репихово. Но какая-то нить — я чувствовал — соединяла эти два местечка. Я видел, как Бобчик подошел к Лоле, которая механически и равномерно вкладывала монету и дергала ручку, и сказал:

— Дай мне пятнадцать долларов.

Не отрываясь от своих занятий, Лола спросила:

— У тебя ничего нет?

— А что у меня было?

— Я дала тридцать пять долларов. И еще были, наверно, какие-то свои?

— Откуда свои? — Бобчик усмехнулся. — Свои! Прекрасно знаешь, что не было.

Лола отсыпала из бумажного стаканчика монеты и дала Бобчику. Он ушел, бормоча. Лола продолжала дергать ручку. В полночь все собрались, как было уговорено, перед выходом, чтобы ехать в «Эм-Джи-Эм», где начиналась программа. Все проигрались, кроме Криса. Лола шуточно обнимала Криса:

— Кристофер, я хочу завести с вами роман! Меня волнуют мужчины, которым везет!

«Эм-Джи-Эм» — колоссальное казино с залом тысячи на две зрителей. Знаменитый лев, известный по фильмам «Метро-Голдвин-Мейер», сидел на крутящейся сцене, дряхлый и бессмысленный, и разевал в зевоте беззубую пасть. Две сотни девушек, стоявших полукругом, одновременно вскидывали голую ногу, и вся их выгнутая шеренга напоминала чудовищное веко с белыми ресницами.



Зрители сидели за длинными столами на террасах, поднимавшихся амфитеатром. Под куполом клубилась табачная мгла. Бобчик куда-то исчез. Лола пошла его искать. Они вернулись не скоро. Бобчик был мрачен. Я слышал, как он сказал по-русски:

— Убери эту рыжую скотину. Для тебя он начальник, а для меня ноль. Я могу его убить.

— Ты пьян, — шептала Лола. — Уходи немедленно. Иди в гостиницу спать.

— Уходи сама. Уходите с ним оба.

— Нет, уйдешь ты, а мы останемся.

— Пойдешь с ним спать?

— Ты мне опротивел, гадина. Уходи отсюда к чертовой матери.

Они шептались по-русски, и никто их не понимал, кроме меня, а Сузи сидела на другом конце стола и не слышала. Бобчик встал, покачивался, тыкался неловкими пальцами в пуговицы пиджака, не сходявшего на животе.

— Ну ладно, пойду. Живите как хотите. Но утром пусть этот тип не появляется. Я могу его покалечить.

И, уходя, грозил пальцем. Сузи сказала, что посадит его в такси и вернется. Она не вернулась. Рут шептала:

— Ее надо лечить. Она уже дважды лежала в клинике. Но у Лолы нет времени. Такое несчастье...

На рассвете я услышал крики, топот ног, вышел в коридор. Сузи в халате стояла перед открытой дверью соседнего номера и, рыдая, кричала:

— Будь ты проклята! Ты не мать, а ведьма! Тебе все мало! Зачем я тебе нужна? Почему ты меня не убьешь?

Возникла Лола, тоже в халате, — румяная, быстрая, с сухим, деловым блеском в глазах — и ловко плеснула в лицо дочери воду из стакана. Сузи упала на пол. Я подбежал, вместе с Лолой мы втащили Сузи в комнату. Потом я стоял перед окном в своем номере и смотрел на лунный пейзаж: в сером серебрились башни, между башнями дымился рассвет. Пустыня была вокруг. «Зачем все это нагромоздили?» — думал я. В середине дня за ленчем подошел Крис и сказал, показывая плоскую, с желтоватым обрезом ладонь:

— Этой штукой я убиваю лошадь. Понимаете?

Он потряс ладонью перед моим лицом. Бобчика за столом не было. Никто не знал, где он. Сузи лежала больная в номере.

Самолет отлетал в восемь. За окном пылал жаркий ноябрь Невады.

— Бобчик придет, не волнуйтесь, — сказала Лола. — Никуда он не денется.

Я подумал, что нить, которая соединяет два таких непохожих местечка, очень простая: она состоит из любви, смерти, надежд, разочарований, отчаяния и счастья краткого, как порыв ветра. Они никогда не поймут, почему упал, как от взрыва бомбы, Сергей Тимофеевич в пятьдесят седьмом году, почему рухнул, не успев переменить судьбу, Боря, а я не пойму, почему никуда не денется Бобчик, но дело не в этом. «Все в мире мои родственники», — сказал безумный доктор в Лас-Вегасе.

Спустя три года я получил письмо от Рут: Лола вышла замуж за служащего страховой компании и уехала в Бостон, Бобчик разбился на спортивном самолете, Сузи лечится в клинике, у Стива все в порядке, он работает по-прежнему, хотя старая болезнь донимает, дети его очень поддерживают, все молятся за него, а Рут заканчивает книгу по психиатрии. В конце письма Рут привела американское стихотворение насчет того, что человек кузнец своего счастья.

### ПОСЕЩЕНИЕ МАРКА ШАГАЛА

Нас пригласили к пяти. Лили заехала в Рокфор-ле-Пэн, и мы понеслись петляющей дорогой, которая то ныряла в знойные теснины между холмами, то вырывалась на свободу горы, и тогда становились видны на краю прозрачного простора, где воздух слоился, какие-то обломанные, туманные хребты городов, похожие на развалины, они кружились, отдаляясь, и в машину залетал запах далековатого моря. Я думал не только о художнике, к которому мы ехали, о его простодушных коровах,

кривобоких избах, одноглазых мужиках в картузах, о зеленых и розовых мечтательных евреях в ультрамариновом небе, о синеве, об Улиссе, о медленном и прочном затоплении мира загадочной славой — я думал о другом старике, который умер два года назад в доме для престарелых на берегу канала, за Речным вокзалом, и который — ах, сколько бы он дал, чтобы сидеть в машине, продуваемой ветром, и ехать в Сен-Поль! Я думал об Ионе Александровиче. Они были ровесники. Один называл другого Марк, а другой говорил тому Иона. В 1910 году судьба столкнула их в Париже, потом они встречались там же в двадцатых, когда Иона Александрович жил в Париже в командировке, не знаю точно какой. Я не мог не вспоминать о нем. Уж слишком он трепетал, рассказывая о Шагале, он всегда начинал путать слова, руки его дрожали, когда ему доводилось услышать или самому заговорить о Шагале. Однажды в доме на Масловке он ударил по лицу художника Царенко, который сказал, что Шагал халтурщик, что он не умеет рисовать, — нет, не то чтобы ударил, а в приступе гнева и со слабым возгласом: «Вы лжете!» — дал Царенко легкую пощечину кончиками пальцев, но и то был с его стороны отчаянный поступок, потому что вырвалось тщательно и давно скрываемое преклонение Ионы Александровича перед Шагалом, которое он всегда отрицал, на что Царенко ответил здоровенным тумакон, который сбил старика на пол, и радостным криком: «Сам ты лжешь!» Потом их делом занимался товарищеский суд. Я жил тогда на Масловке. Это было лето пятьдесят первого или, может быть, пятьдесят второго года. Я был женат на дочери Ионы Александровича. Мы прожили с ней пятнадцать лет до ее внезапной смерти на литовском курорте, куда она умчалась в одиночестве непонятно зачем. Летающие любовники Шагала — это мы все, кто плавает в синем небе судьбы. Я догадался об этом позже. Иона Александрович сначала меня любил, потом возненавидел. И я тоже в разные времена относился к нему по-разному. Он менялся, как пейзаж в течение дня — то в сумерках, то при свете солнца, то в тумане, то при луне. Он был коротконогий, коренастый,

с несколько скуластым, скорее крестьянским, чем одесским типом лица, седые волосы зачесывал набок челкой и в разговоре имел привычку причмокивать, точно всегда прочищал языком зубы после еды. Парижские салоны и портовые кабаки родного города в нем нелепо соединялись. Из небывалой дали долетел и сохранился — висел в укромном месте в мастерской — автопортрет молодого Шагала, литография с карандашной подписью. Лицо было круглое, с безумным удивлением в глазах и странным образом перевернутое: оно казалось неестественно кривым, как бы на сломанной шее, и в то же время бесконечно живым. Лицо человека, застигнутого врасплох. И чем-то смертельно пораженного. Иона Александрович дорожил этой литографией больше, чем любой из своих картин, а у него были этюды Коровина, Левитана, рисунки Григорьева, полотна Осмеркина, Фешина, Фалька и большая картина, изображавшая монастырский двор в день церковного праздника, которая приписывалась Мясоедову. О, забыл: еще были Богаевский, Малютин, Костанди и какой-то француз, то ли Фонтэн-Латур, то ли еще кто-то, правда сомнительный. Но всему этому он предпочитал летучий рисунок Шагала. В те времена, когда он меня любил, он часто и многословно рассуждал по поводу этого автопортрета, который у него пытались выманить коллекционеры, предлагая большие деньги, а ведь он нуждался. Он сильно нуждался. Да и кто из художников, живших на Масловке, не нуждался в те годы! Он говорил, склоняя меня к мыслям о собственных мучениях и потугах — я тогда колотился, ища какого-то поворота, какого-то нового ключа в работе, потому что мое старое мне опостылело, — о том, что истинное в искусстве всегда чуть сдвинуто, чуть косо, чуть разорвано, чуть не закончено и не начато, тогда пульсирует волшебство жизни. И вот замечательная литография — в желтоватом паспарту парижской выделки, в рамке и под стеклом — пропала из мастерской. Я помню ужас, охвативший Иону Александровича. Пропажа рисунка Шагала не могла стать поводом к разбирательству. Сказали бы: а не надо всякую ерунду держать в мастерской. Ведь Иона Александрович

не хвастался литографией, мало кому ее показывал — только верным людям и знатокам. Он мало кому и рассказывал о знакомстве с Шагалом в 1910 году и тем более о встречах с ним в 1927-м. Это была полутайна. Полностью скрыть связи со злокозненным антиреалистом было, разумеется, невозможно, ибо все помнили, как в начале тридцатых Иону Александровича стегали публично на дискуссиях и в печати — отличался критик Кугельман, один из вождей изофронта, неподкупный и яростный, сгинувший лет через пять бесследно, — за вредоносный *шагализм* (термин Кугельмана), и бедный Иона Александрович каялся и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей, в которых *шагализм* расцвел особенно ядовито. За двадцать лет было много чего: война, эвакуация, голод, смерть близких, тревога за дочь, прежние враги сгинули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость, а все же ужас перед Кугельманом и *шагализмом* тлел неизменно, как задавленный детский страх перед темнотой. Вот почему Иона Александрович не решился поднимать шум из-за пропажи рисунка. Он страдал молча и ломал голову: как быть? Его жена бранилась. Старик, считала она, был во всем виноват. Ведь он отказал гомеопату Борису Эдгаровичу, который предлагал за рисунок пять тысяч, отказал из-за глупой гордыни, из-за непонимания жизни, теперь лишился и рисунка, и денег. Янина Владимировна порой считала Иону Александровича дураком и заявляла об этом твердо и ясно. А порой считала очень умным человеком. Она говорила: «Все знают, что ты дурак и тебя легко обмануть». Иногда говорила: «Иона, зачем ты вступаешь в спор? Они не стоят твоего мизинца. Ты умнее всех в этом доме».

Все это вспомнилось по дороге в Сен-Поль. Теперь я редко вспоминаю дом на Масловке. Это было слишком давно. Это в те времена, когда...

Лили сказала, кивнув на мелькнувшую белизной среди зелени виллу за яично-желтой оградой:

— Здесь жили когда-то русские, поселившиеся в Провансе после вашей революции. Они разводили кур.

Так вот: это было в те времена, когда на крышах домов еще не торчали телевизионные антенны, когда женщины носили пальто труакар с накладными плечами, а мужчины ходили в габардиновых плащах, некоторые в шинелях, когда еще не было Лужников, игры происходили на стадионе «Динамо» и перед северной трибуной с утра до вечера стояла толпа, одни уходили, другие подходили, клубилось футбольное толковище, когда импрессионисты считались подозрительными и даже враждебными реализму, когда еще не было изобретено антитараканье средство «Прима» и не было самих тараканов, исчезнувших во время войны, когда не появились еще итальянские фильмы и Москва смотрела немецкие трофейные ленты, которые шли не в кинотеатрах, а в клубах, когда существовал «Гранд-отель» и модным считался ресторан ВТО, где метрдотелем был Борода, когда весь район восточнее стадиона «Динамо» был застроен ветхими деревянными домишками, напоминал село, там было много деревьев, собак, грязи осенью, тополиного пуха летом, снежных сугробов зимой. И я жил в странном доме на Масловке, который был построен в тридцатых годах с расчетом на то, что тут поселятся дружные, жизнерадостные творцы пролетарского искусства, не озабоченные ничем, кроме своего дела, своего мчания вперед, поэтому как на вокзале: одна уборная и один водопроводный кран на этаж, где жили человек двадцать. Жили как бы начерно, наспех, малевали жизнь как эскиз, а главное полотно дай бог когда-нибудь сотворить внукам! Но удивительно: художники и вправду не обращали внимания на житейскую чепуху вроде необходимости ждать очереди в туалет или бегать с ведрами за водой по коридору. Они зарывались в свои холсты, картоны, подрамники, тубики, в бешеную работу к сроку, вечерами пили водку, рассуждали о ремесле, ругались черт знает из-за чего. На третьем этаже, где я жил и где помещалась мастерская Ионы Александровича, раз в три месяца происходило важное событие — заседание закупочной комиссии. К нему готовились загодя, волновались, узнавали окольными путями, кто назначен в комиссию, чей голос будет особо

весом, за день до рокового испытания — оно и впрямь было роковым, ибо определяло жизнь на ближайший год, а то и годы, — художники притаскивали картины со всей Москвы, ставили в коридоре лицом к стене, углем на раме писали фамилии, ночь спали плохо, а с утра начиналось действие, напоминавшее своей беспощадностью микеланджеловский «Страшный суд»: один жест руки — и чьи-то творения возносились в райские сферы, другой жест — проваливались в преисподнюю. Однажды Иона Александрович уже пережил удар: года два назад в ночь перед просмотром пропала совместная работа Ионы Александровича и его друга Палатникова — большой, писанный по клеткам портрет вождя. Но вещь скоро нашли на Сельскохозяйственной выставке: ее уже запаковали и собирались отсылать в кубанский совхоз. Нашли и злоумышленников, продавших чужой труд: ими оказались двое пьянчужек, Глотов и Пурижанский, давно разучившиеся писать и проводившие дни в масловской забегаловке, которая по имени завсегдатая, старика Паши Кудинова, одного из последних передвижников, называлась «Кудиновка». Найти было просто. Пришли в «Кудиновку», и тут же след отыскался: Глотов и Пурижанский конечно же проболтались. А Федя Палатников поднял крик — страх! Теперь же кричать было нельзя, жаловаться рискованно. Иона Александрович в смятении советовался со мной: «А если все-таки заявить в милицию? Для них имя Марка ничего не значит, не правда ли? Но начнутся опросы свидетелей, соседей... Имя Марка всплывет... Вы не представляете, какой это раздражитель...» Но иногда восклицал с отчаянной бесшабашностью: «Ах, к черту! Надоело! Я им скажу все, что думаю о Марке: о его синем цвете, о неподражаемой фантазии. Ведь эта фантазия не имеет себе равных... Он подарил мне литографию в тяжелую для себя минуту... Разве я могу забыть? Да и времена, слава богу, не те: пятьдесят первый — это вам не тридцать первый...» Времена, конечно, не те, но слово *шагализм* по-прежнему звучало зловеще: что-то среднее, между *шаманизмом* и *кабализмом*. Тут возник Афанасий. Впрочем, Афанасий существовал всегда, он слонялся

по мастерским еще до войны, но лишь в последние годы приобрел специальность, за которую среди художников получил кличку Ухо. Известно, как трудно писать уши, тем более уши значительных лиц, известных миру, и вот обнаружилась поразительная достопримечательность скромного Афанасия Федоровича Дымцова: его ухо по рисунку было точной копией уха великого человека. Афанасий, отнюдь не Аполлон, человек занудливый и глуповатый, считался заурядным натурщиком, с которым мало кто хотел иметь дело, и вдруг его маленькая мелкокурчавая римская голова с низким лбом и выдающейся нижней челюстью сделалась благодаря уху подлинно нарасхват. Афанасий стал много зарабатывать, купил костюм, сделался высокомерен, капризен, и хотя все держалось как бы в секрете, об изумительной специальности не говорили вслух — потому что кто его знает, как отнесутся, если прослышат? — Афанасий давал понять, что у него появились особые связи и возможности, которые он предпочитает хранить в тайне, но в нужную минуту может пустить в дело. Этим он художников попугивал и заставлял платить по двойному тарифу. Затем он обнаглел настолько, что начал занимать у художников деньги, требовал, чтоб его кормили и давали пиво во время сеансов, а у одного художника взял поносить шубу и не вернул, хотя зима кончилась. Боялись с ним связываться. Прошел слух, что его куда-то вызывали и что ему *разрешено*. Однажды пришел в военной фуражке, стоял перед домом на улице, отставив свободно ногу, с папиросой во рту, разговаривал с комендантом, а художники обходили их стороной и старались не смотреть на Афанасия. Вид у него был жутковатый. Один скульптор сделал Афанасию замечание за то, что тот опоздал на сеанс. Афанасий поглядел на скульптора диким взглядом и выпалил: «И подождешь! Не барин!» — и скульптор опешил, руки по швам, промолчал. И вот в разгар грозного Афанасьева могущества кто-то сообщил, что видел автолитографию Шагала в доме Афанасия, прищипленную кнопками к стене. Иона Александрович был потрясен: откуда вдруг Афанасий? *И как он смел прищипливать кнопками?* Дальше



многое помнилось плохо. Все-таки прошло почти тридцать лет. Я не помню, как литография оказалась в руках Афанасия: кажется, он попросту спер ее, потому что вздумал заняться коллекционерством. И кто-то надоумил его начать с Шагала. Хозяин, дескать, шума поднимать не станет. И верно, переговоры Ионы и Афанасия шли нервно, но негромко: Афанасий божился, что литографии у него нет, требовал обыска при свидетелях, товарищеского суда, изображал глубокую оскорбленность, а Иона шепотом, чуть не плача, умолял вернуть драгоценность. Он дошел до крайности, предлагая Афанасию за возврат литографии Левитана или Коровина. Он пытался надавить по-другому: говорил, что с ним, Ионой Александровичем, шутки плохи, что он был в восемнадцатом году комиссаром искусства в Одессе, что сидел пять дней в деникинской контрразведке и едва не попал в плен к махновцам, спасли буденновцы, так что у него тоже есть связи. Но Афанасий упорно стоял на своем: ничего не знает, литографии у него нет. Почему-то он вцепился в Шагала зубами. Теперь он не отдал бы его ни за что. Как у глупого хитреца, его упорство было нелепо, но с коварством внутри. «Подавайте в суд! — предлагал он. — Пишите на меня прокурору!» Это было как раз то, чего Иона Александрович сделать не мог. Старый страх, как грыжа, мучил его неисцелимо. Я помню его в минуту подавленности, старым и грустным, на дубовой лавке в мастерской: «Что можно сделать? Я безоружен, а бандит вооружен до зубов...» Жена успокаивала его так: «Ну и черт с ним, с Шагалом. Мало ты из-за него терпел? Вот и хорошо, что от него отдела-ся. Я очень рада».

Потом все каким-то образом разрешилось. В середине пятидесятых — после того как Москву встряхнула, подобно землетрясению, выставка французской живописи, обозначив слом времени, — я помню Шагала на прежнем месте в мастерской. Но как он вернулся? Каким путем Ионе удалось выцарапать его у глупого Афанасия, умевшего таинственно всех страшить? Ах, все устроилось, кажется, само собой: отпала нужда в ухе, импрессионистов

перестали считать подозрительными, Шагала начали поминать без брани, Афанасий умер, а его жена вернула литографию Ионе, который в тот день напился ужасно, как не напивался с парижских времен, с кафе «Ротонда», откуда его выносили когда-то на руках его друзья Марк Шагал, Кислинг, Кремень, Паскин, Сутин, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Бастьен-Лепаж, Ренуар, Курбе, Миллэ и Энгр, чудеснейший рисовальщик.

Прошло много лет, исчезли все, кто жил тогда на Масловке: пьянчужки Глотов и Пурижанский, передвижник Кудинов, делец Палатников, добывавший заказы для писания портретов по клеткам, исчезли жена и дочь Ионы Александровича, последним угас он сам в возрасте девяности двух лет в доме престарелых за Речным вокзалом, остался один Марк Шагал: к нему я ехал теперь по горной дороге.

Сначала я принял за Шагала седого, чопорного, длиннолицего старика, который разговаривал в гостиной с немецким пастором, приехавшим из Майнца. Шагал сделал витражи для майнцкого собора, и теперь пастор привез цветные фотографии и открытки с видами собора и витражей. Все их рассматривали. Это было спасительное занятие на первых минутах. Старик, которого я принял за Шагала, бросал на открытки холодноватый и рассеянный взгляд, какой и должен бросать творец. А я поглядывал на него исподтишка и думал: «Знал бы ты, как Иона Александрович из-за тебя настрадался!» Вдруг старик стал прощаться. Я испугался и сказал Ваве, жене Шагала, шепотом:

— Я хотел бы Марка Шагала кое о чем спросить...

— Он сейчас придет. У него доктор. Через две минуты.

Мы шептались с Вавой по-русски. И вдруг вместо чопорного холодноглазого в комнату ворвался маленький, быстрый, взъерошенный, лысоватый, загорелый, небрежно одетый, с простодушным изумлением в слегка выцветших от вековой жизни глазах — это и был настоящий. А тот был торговец, богач, создатель музея в Сен-Поле, где мы только что побывали и где я купил несколько репродукций

Шагала. Настоящий набросился на нас с вопросами. Он изголодался по разговору. Ведь он оторвался от работы, несколько часов провел в одиночестве наверху, в мастерской, где расписывал какой-то рояль или клавишин, и теперь ему не терпелось поговорить.

— Вы писатель? Вы можете писать все, что хотите? Когда вы возвращаетесь домой? А она красивая! Это ваша жена или просто так? В Москве меня помнят? Еще не забыли? Не может быть! Неужели вы были в Витебске? Нет, в самом деле вы были в Витебске? Вы ошибаетесь, эта улица рядом с кладбищем. Слава богу, я помню. Можете меня не учить про Витебск. А это ваша жена или просто так? Я знал Маяковского, Есенина, многих, они все умерли. Они умерли рано. Как вы думаете, зачем моя сестра все время посылает мне монографии советских художников? Ведь они дорого стоят! Она тратит так много денег! Я ей пишу: не трать, не посылай! Вы хотите, чтоб я назвал! Э-э-э, ну, скажем, Борисов-Мусатов. Да, да, Борисов-Мусатов! Потом, э-э-э, ну, скажем, Левитан... И Врубель... Да, Врубель, Врубель! Ну не знаю, кого вам назвать еще. У Серова мне нравилась одна вещь — помните, мальчики стоят на деревянном мостике. Я любил ее в юности. В юности любишь одно, в старости другое. Через два дня мне будет девяносто три. Это действительно ваша жена или так себе? Вы говорите, что вам нравится эта вещь? А вы ее видели? Где? Не может быть! В Москве вы не могли ее видеть! Вава, у кого находится эта вещь? Ах, у Иды. Тогда другое дело. — Шепотом сообщает как тайну: — Ида — моя дочь от Беллы. У меня была жена Белла. Она не захотела сюда ехать. — И опять громко: — Тогда вы правы, вы могли видеть эту вещь в Москве...

Моя жена подсунула ему репродукцию, только что купленную в музее. На темном коричневом фоне стоят чуть косо старомодные часы в деревянном футляре. Он молча рассматривал репродукцию. Он держал ее далеко от глаз, смотрел долго, пристально, как на чужую работу. И вдруг пробормотал едва слышно, не нам, а себе:

— Каким надо быть несчастным, чтобы это написать...

Я подумал: он выбормотал самую суть. Быть несчастным, чтоб написать. Потом вы можете быть каким угодно, но сначала — несчастным. Часы в деревянном футляре стоят косо. Надо преодолеть покосившееся время, которое разметывает людей: того оставляет в Витебске, другого бросает в Париж, а кого-то на Масловку, в старый конструктивистский дом, где живут сейчас люди, которых я не знаю. Наверно, по-прежнему на третьем этаже заседает закупочная комиссия. Я стал спрашивать: помнит ли Шагал такого-то и такого-то? Я называл художников, выходцев из России, про которых слышал когда-то от Ионы Александровича. Про самого Иону Александровича спросить почему-то боялся. Почему-то казалось, это будет все равно что спросить: существовала ли моя прежняя, навсегда исчезнувшая жизнь? Если он скажет нет — значит, не существовала. Шагал всех помнил и знал, но ни о ком не распространялся, а только говорил полувопросительно:

— Да, да. Он умер?

Кажется, все, о ком я спрашивал, умерли, и это было в порядке вещей. Шагал привык к этому. Наконец я набрался духу и спросил: помнит ли он Иону Александровича? Я назвал фамилию и ждал со страхом.

— Да, да, — сказал Шагал. — Он умер?

— Он умер два года назад. И знаете...

Мне хотелось рассказать, как он жил в доме для престарелых на берегу канала, куда привез свои книги, карты, краски, парижский ящик, некоторые картины — большинство он отдал в музей, — и на видном месте висел автопортрет Шагала со странно искривленным лицом, как он работал до последнего дня, рисовал стариков, зазывал их в свою комнату, заставляя сидеть на кровати, они покорно сидели, некоторые дремали, а он рассказывал одно и то же, что рассказывал когда-то мне, иногда сам начинал дремать за мольбертом, бывало так, что дремали одновременно, и как он вдруг захотел жениться на медсестре Наташе, молодой девушке, румяной и миловидной, она была не москвичка и надеялась прописаться в комнате на Масловке, и как он ревновал Наташу к одному

врачу, скандально с ним разговаривал, отказался принимать лекарства, которые тот прописывал, потому что боялся, что врач хочет его извести, чтобы заполучить Наташу, и как в загсе тормозили дело, заподозрив Наташу в том, что она не может полюбить глубокого старика, ему было девяносто два, а Наташе двадцать четыре, он был полон решимости бороться, куда-то писать и добиваться своего, но неожиданно умер в начале лета, и никто не мог понять отчего: он ничем не болел. Но рассказать я не успел, потому что Шагал посмотрел на часы и спросил:

— Вава, мне, наверно, пора идти?

— Посиди немного, — сказала Вава.

Через короткое время он опять взглянул на часы и сказал, что должен идти работать. Тем же быстрым шажком, каким ворвался в гостиную, он убежал на второй этаж.

На обратном пути мы ехали побережьем, и море лежало в сумерках громадной сине-голубой простыней, под которой можно было спрятать всех, всех, всех.

## СЕРОЕ НЕБО, МАЧТЫ И РЫЖАЯ ЛОШАДЬ

И это было все: серое небо, мачты и лошадь. Ну, и снег. Снега много. Он был пахучий, желтоватый. Снег и лошадь были связаны, одно не существовало без другого. Лошадь была пахучая, как снег. Она стояла смирно и вызывала тоску, ибо в ней заключалось счастье, всегда недоступное. Кажется, она была рыжая, в желтизну, таким же она делала снег. Еще помню — серое небо и мачты. Гулял с мамой в порту. И все, и никакого промелька больше. Но даже это ничтожное добыть стоило непомерных усилий: ведь серому небу и мачтам пятьдесят лет, рыжей лошади и снегу тоже пятьдесят. А если точно — пятьдесят два года.

Какие они старые — лошадь и снег!

Но сначала я приехал в город Ювяскюля. Здесь находилось издательство, выпускавшее мои книги. Но я приехал не совсем кстати и по другому поводу, на праздник

так называемой Ювяскюльской зимы, а в издательстве происходил какой-то свой праздник, с разных сторон съехались финские авторы, переводчики и книготорговцы, и издателям было не до меня. Хотя они намеревались издать еще одну мою книгу, им было не до меня. Им хотелось побыть в своем кругу, хорошенько поговорить по-фински, повеселиться и поплясать с другими издателями, авторами, переводчиками и книготорговцами, попрыгать в снегу ночь напролет, и я тихо выскользнул из просторного зала, расположенного в подвальном этаже, где в обычные дни помещалась столовая для сотрудников издательства и типографии. Все в этом здании было новенькое, удобное, гладкое, полированное, на стенах висели гладкие, полированные картины, вестибюль украшал громадный портрет основателя издательства в костюме начала века, и отовсюду шел чудесный химический запах. На улице стоял лютый мороз. Один из руководителей издательства вышел простоволосый на мороз, радостно тряс мне руку и бормотал на трех языках: «Господин Трифонов, ай виш ю добри нахт!» Ему не терпелось поскорее вернуться в подвальное помещение. Главная улица была мертва. Мороз и поздний час выморили город, но вывески пламенели, витрины сияли, в черном небе стояло зарево от огней: все было, как полагается быть в маленькой столице мира. Над крышами домов подымались вертикальные столбы дыма. Из окна гостиницы я видел: ослепительно и ненужно горел внизу ярко-розовыми огнями универмаг «Centrum», запертый на ночь, а где-то далеко, за пределами зарева, в черноте простиралось необозримое, не имевшее края, снежное и стылое.

В этой стране я многое узнал и почувствовал впервые пятьдесят лет назад. Мой отец был тут торгпредом. В конце двадцатых годов. И я начал тут, черт побери, лепетать и делать первые шаги: как это ни пошло звучит, но это так. Ну и что? Зачем? Какая связь? Ведь не осталось ничего, кроме серого неба, мачт и рыжей пахучей лошади. В Гельсингфорсе родилась сестра. Ну и что же, боже ты мой? Она ничем и никогда не была связана с этой землей. Мы не знаем ни слова по-фински. Впрочем, когда-то мать

говорила, и запомнилось тарабарщиной: «Альбертсгатан чугуфём». Теперь объяснили: это дом, в котором вы жили в Гельсингфорсе. Улица Альберта, двадцать пять, но не по-фински, а по-шведски. Я найду этот дом. Но сначала надо побыть в Ювяскюли, где происходит знаменитая Ювяскюльская зима и куда я приехал из Лахти, проводник выкрикивал мою фамилию в коридоре, поезд стоял три минуты, я собрался молниеносно и выпрыгнул, роняя вещи, на ледяной, тридцатиградусный, залитый солнцем перрон, где молодой человек и девушка с милыми, багровыми от мороза лицами схватили мои вещи, подобрали шапку, далеко укатившуюся от прыжка, все побежали через туннель к машине, бежать было приятнее, чем идти, и часа через три, промчавшись сине-белой, цветов финского флага, застывшей в дурмане январской стужи Финляндией с белыми холмами, остроконечными кирками, темной рябью гранита на обочинах, столбами дыма, стоящими вертикально в синеве, мы вкатились в Ювяскюлю. Это маленький город, полный достоинства. В нем есть то, се, пятое, десятое, фабрики, университет, супермаркеты, шведские и японские машины на улицах, «Лады» и «Москвичи», которых тут называют «Элите», книжный магазин, где я приобрел замечательные папки со страницами в виде прозрачных конвертов, куда можно вставлять лучшие рецензии и на них любоваться. Для плохих рецензий я купил портативную бумагорезательную машину: она крошит бумагу на мельчайшие полоски. Ювяскюльская зима — это споры, хохот, разговоры обо всем, странный юмор, пиво, доброжелательность. И вот я стоял у окна, смотрел на радужное и бессмысленное сияние «Centrum» среди ночи и думал о том, что не надо заботиться отыскивать нити, из которых все это сплетено: пусть они возникают внезапно, как ледяной перрон Лахти.

Кто-то крикнул мою фамилию, я очнулся и вспомнил.

Отец привез из Финляндии три настоящих финских ножа: один большой, другой поменьше, третий маленький. Они были изумительной красоты. В кожаных черных футлярах. Рукоятки из темно-красного полированного камня. Ножики лежали в отцовском столе, и он не

разрешал их брат, говорил, что играть с ножиками дурацкое дело. А так хотелось поиграть с ними! Одно прикосновение к холодному темно-красному камню рукоятки вызывало дрожь вожеления. Мне хотелось хвалиться перед товарищами, но я не смел послушаться. Отец был строгий. Если он говорил «нельзя», это значило — нельзя. Но однажды июньским утром, в понедельник, я узнал, что отца нет. И убивающее предчувствие подсказало мне: навсегда. Никто больше не скажет «нельзя». Я еще не понимал горя, которое случилось, мне было одиннадцать, и одна постыдная мысль — вместе с ужасным предчувствием — проскользнула в сознании: *теперь я мог свободно завладеть ножиками!* Вечером я тихо открыл отцовский стол, вынул все три ножика, немного поиграл с ними и спрятал в глубь ящика своего набитого карандашами и альбомами столика. Хвалиться перед ребятами не пришлось: мы переехали на окраину, я перешел в другую школу, а хвалиться перед новыми ребятами почему-то не хотелось. Вообще к этим ножикам я скоро остыл. И они постепенно исчезли. Большую финку присвоил мой сводный брат Андрей, когда его призвали в армию. Он пропал без вести в сорок третьем где-то на Севере, может быть даже на финляндском фронте. Я убежден — на финляндском. Потому что все сплетено искусно, и если потянуть нитку в устье, она непременно обнаружится и затрепещет в истоке.

Маленький ножик я подарил в минуту отчаяния одной девчонке. Но это не помогло. А финку средних размеров стащил из дома двоюродный брат Гога, сирота, бродяга и бездельник, однако не без таланта: он рисовал и писал стихи. Однажды Гога приплелся обшарпанный, грязный, то ли с вокзала, то ли из тюрьмы — была осень сорок пятого, я еще работал на заводе, а он витал неведомо где, что занимало меня чрезвычайно, и была какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить, — и вот он всю ночь рассказывал о своих похождениях, пил крепчайший чай, за пристрастие к которому имел кличку Чифирист, я в увлечении записывал в блокнот словечки и песни той пучины, откуда он вынырнул на мгновение,



надеялся когда-нибудь словечки использовать, но не использовал, а наутро он исчез вместе с финкой. Мы встретились через много лет. Были еще финские сани — потткури. О, потткури! На них катались так: один везет сани, держась за спинку стульчика и отталкиваясь ногой, как на самокате, а другой барином сидит впереди на стульчике. Ездили по плотно укатанной снежной дороге. Я стеснялся громоздких саней, невиданных у нас, а мальчишки Серебряного Бора останавливались и глядели разинув рты. В этих санях было что-то холуйское. Один непременно выглядел холуем. В конце войны мы возили на потткурях картошку. И еще вот что: лыжи марки «Лампинен». Отец привез три пары. Когда вернулись из эвакуации и приехали на дачу, увидели разбитую дверь, пустую квартиру, мебель пропала, ни одной пары лыж не осталось в прихожей, где они стояли обыкновенно в углу. И в сарае ничего не оказалось, кроме изломанных потткурей: на них-то и возили картошку.

Но был конец 1942 года, и мы — бабушка, сестра и я — радовались тому, что вернулись, что немцы отогнаны, что в Сталинграде окружена громадная немецкая армия, и на пропавшее барахло было наплевать. Кое-кто из соседей стал приносить вещи, говоря, что взяли, чтоб сохранить. Одна женщина принесла самовар, из лесничества притащили шкаф с плоскими выдвижными ящиками, откуда-то возникла старая лампа со ржавым римским воином. Но лыжи не возвращались. Года через два я заглянул в сарай нашей дворничихи Маруси — взять дрова, которые она обещала, — и увидел тонкие черные лыжи, стоявшие у стены, полуприкрытые листом фанеры. Я сразу узнал отцовскую пару «Лампинен». «Маруся, — сказал я. — Это наши лыжи». «Почему ваши?» — удивилась Маруся. «Я их узнал. Это отцовские. Он привез из Финляндии. Тут и марка финская есть. Видите, выбито: «Лампинен»... Лицо Маруси, пожелтевшее и худое, выражало скорбное и обиженное недоумение. И она качала головой, поджимала губы, показывая, что мне не верит. «Ну как же! — волновался я. — Вы же видите — тут написано: «Лампинен»? Вот здесь! Смотрите сюда!» — «А я знай... — бормотала

Маруся, — чего написано... На них Пашка катался. Я из-за Пашки храню, а то бы продала. У меня просят». Пашка, Марусин сын, пропал на войне без вести. Он был старше меня на два года. Однажды мы с ним дрались на лодочной станции. Я собрал в охапку дрова, которые мне дали в долг, и пошел прочь. Она догнала: «Постой! А то возьми?» Я сказал: «Не возьму». Две другие пары исчезли бесследно.

Вот что я вспомнил, глядя в окно на ночную Финляндию, совсем не ту, где я жил полвека назад. Всю ночь горел розовый «Centrum». Утром сверкало небо, скрипела на морозе дорога, самолет летел низко, я видел спящую белизною, с запорошенными озерами страну. Она искрилась под крылом, как вынутый из холодильника недорогой, свежий сахарный торт. Дороги нарезали его кривыми кусками. В самолете было жарко, и не верилось, что внизу мороз под тридцать. В Хельсинки мороз ослаб, в воздухе была сырость. Меня спросили: кого я хочу увидеть в Хельсинки? Я сказал: стариков. Нет, не потому, что интересуюсь геронтологией, не из гуманных чувств и не оттого, что тут вышел в переводе «Старик». Меня интересуют старики лишь потому, что они обладают памятью. Говоря точнее: меня интересует память. Я хотел бы найти стариков, которые помнят события семнадцатого и восемнадцатого, краткую финскую революцию, германский десант, гибель неумелых красногвардейцев, разгром, отступление и все, что последовало потом. Таких стариков мои друзья разыскали. Их осталось немного. Они рассказывали о том скудном, что сохранила память: о сражениях возле маленьких деревень, на маленьких островах, на уютных железнодорожных станциях, куда докатывались порывы и громы российской бури. Здесь тоже убивали, преследовали, брали в плен, мечтали о мировой революции, тоже кипела ненависть и властвовал страх, а смерть ведь не имеет размеров, она везде безгранична. Старики в парадных, черных костюмах немного с чужого плеча и сухогубые, в пергаментных морщинах старушки рассказывали втайне горделиво о том, как избежали смерти

и прожили с тех пор еще шестьдесят лет. Это удалось мало кому.

— О да, — говорила старушка по имени Сильвия, — я была смелая. Все удивлялись, как я могла записаться в красногвардейский отряд, хотя не умела стрелять и никогда не была санитаркой. Я сама не ожидала, какая я смелая. Мне было семнадцать лет. Я работала на фабрике сначала работницей, потом в конторе. Но в красноармейском отряде работа была тяжелой: пять часов мы перевязывали раненых, потом отдых, потом еще пять часов работы. Русский фельдшер нас учил. У меня был поклонник, русский солдат-артиллерист, мы обменялись адресами, он разговаривал со словарем. Когда начался бой, мы потеряли друг друга. Я очень жалела. Он тоже удивлялся, какая я смелая. Мы качались с ним в саду на качелях...

Память, как художник, отбирает подробности. В памяти нет цельного, слитного, зато она высекает искры: она видит блестящее под луной горлышко бутылки на плотине, как чеховский Тригорин, когда описывал летнюю ночь. Чувства давно исчезли, сметены ветром, как сор, зато, выкованная из стали, сверкает подробность: качались в саду на качелях. И я ощущаю дрожь юности, надежду, страх, неведомое зимы восемнадцатого...

— Подруги мне кричали: «Иди к нам! Берегись!» — продолжала старушка с нарастающим вдохновением, — а я кричала: «Если уж суждено, пусть я погибну!» В тот же миг в меня попала пуля, и я упала. Белогвардейцы стали подходить. Я думала: «Лучше, чтоб меня оставили, все равно умру». Я так и сказала. Но меня положили на телегу и повезли в Рихимяки. Однако в час ночи разбудили: «Остаться в городе нельзя! Одевайтесь, надо вас вывезти!» Один эстонский красногвардеец помогал мне. Помоему, я ему понравилась. Он взял мои вещи и понес в поезд. У этого эстонца была красивая темная борода. Мы прибыли в Хаммелин. Эстонец не отходил от меня ни на шаг. Больница в Хаммелине была переполнена, но меня кое-как устроили. Врач не сочувствовал красным. Он был швед, такой молодой, сердитый. Ругался

из-за того, что в воскресенье заставили приехать в больницу и работать. Он все время повторял смешное шведское ругательство, я не могу его перевести, насчет сапога... сапога, который полон... вы понимаете?

Вдруг я увидел девушку на кровати, нежное синеглазое лицо, и доктора, который держал руку девушки своей громадной, в рыжем пуху лапой и, сердито шевеля губами, говорил что-то.

— Он не хотел, чтоб меня везли в другую больницу. Сказал, что я должна остаться в его больнице. Из-за моего состояния. Но мне кажется, что он говорил так потому, что он...

Тут старушка показала глазами что-то, о чем ей не хотелось говорить вслух. Она слишком много говорила об этом. В ее глазах, выцветших, слегка навывкате, сияло лукавство. Я кивал, показывая ей, что все понимаю.

— Вы понимаете? — спросила старушка, радуясь.

— Да, да. Я понимаю.

— Странно, что мне вспоминаются разные пустяки.

— И вы никогда больше не встречали ни русского артиллериста, ни эстонца, ни доктора?

— Никогда, — сказала старушка, поглядев на меня сквозь полуопущенные веки как бы сверху вниз, и выражение лица у нее сделалось горделивое. — Потом мы отступали. Нас гнали немцы, мы попали в Россию, и знаете, что меня удивило? То, что Россия такая же, как Финляндия. Я доехала до города Пермь, там заболела инфлюэнцей...

В другом доме старик в просторном, с широкими плечами черном пиджаке — старик, вероятно, сдал за последние годы, и пиджак стал великоват — рассказывал:

— Потому что немцы, которые шли от Ловизы, атаковали по двум направлениям — на Лахти и Котку. Подошли к Котке очень близко. Там есть старая крепость. Все красногвардейцы собрались в крепости и решили дать бой. Вечером пятого марта немцы атаковали Котку, мы их отбили. Помогала нам русская батарея с острова. Сражение длилось полтора часа. Немцы быстро удалялись, а финны стали их гнать, но медленно. Тут сказались медлительность финнов. Мы гнали их до Ловизы...

Я вспомнил: летом двадцать седьмого я жил в Ловизе. Там была дача. Все было, как в Серебряном под Москвой; бревенчатый дом, дух смолы, некрашенных досок, хвой, песок, солнце и я, млеющий от блаженства и страха на солнцепеке перед бездной окна. Отец держит меня не знающей пощады рукой. Я хочу вырваться и прыгнуть в сияние, в тепло. Он не пускает, я капризничаю, он держит крепко и думает, почему он оказался в Финляндии? Еще год назад был в Китае с военной миссией вместе с Егоровым, будущим маршалом, пересекал пустыни, вникал в запутаннейшую войну генералов и писал о том, что видел, как всегда, сумрачно и самостоятельно, что, как всегда, было не нужно. И вот: оторван от мировой революции, от вулканического гула и брошен в тишь, в озерную благодать исклокотавшейся и полусонной страны, в разговоры о кредитах, ассигнованиях, конвенциях, одни из которых следовало поощрять, другие душить. Но разве мог отказаться? С шестнадцати лет, с 1904 года, привык не отказываться ни от чего. Еще недавно ходил в сапогах, в удобнейших галифе, в кителе, а теперь — фрак, жесткие воротнички, тесная обувь. Все незаметно и стремительно удалялось от того, что было вначале. Но я не понимал этого и рвался, плача, за грань окна.

Наш дом на Альбертсгатан не существовал: был разбит бомбой в сорок первом году.

Накануне отъезда я выступал в самом большом в Финляндии книжном магазине «Стокман» перед случайными покупателями, а может быть, моими читателями — их было довольно много, они стояли молчаливой, настороженной, очень *финской* толпой на первом этаже между прилавками и наверху, за балюстрадой, впереди расположились на стульях старушки, пришедшие за час до начала, как они приходят к «Стокману» постоянно на все встречи со всеми, я сидел на крохотной эстраде вместе с профессором Пессоненом, который что-то обо мне говорил, а рядом на столике громоздились бесстыдными стопками мои книги на финском и шведском, весь вид которых жалко призывал к тому, чтобы их покупали, особенно обреченным выглядело дорогое шведское издание «Нетерпения»,

эту книгу купил и верно лишь один человек, — и вот в конце выступления, которое длилось, как все выступления у «Стокмана», ровно тридцать минут, и когда к моему столу потянулась жидковатая очередь людей с книгами, они молча их подавали, я молча подписывал, вдруг женщина наклонилась и тихо по-русски сказала:

— Я читала статью в газете. Моя мама работала в посольстве. Она знала вашего отца.

Я посмотрел на женщину, пораженный. В Москве не осталось людей, которые знали отца.

— Сколько лет вашей маме?

— Ей за девяносто. Но она еще хорошая, много помнит. Если у вас есть желание и время...

Я оказался в квартире среднего *кооперативного* облика, вроде какой-нибудь квартиры вблизи «Аэропорта». В прихожую вышла прямая сухонькая старушка с орлиным носом и тоже орлиным, неподвижным и внимательным взором и, протянув невесомую руку, сказала:

— Как приятно поговорить с русским человеком.

Возможно, она говорила это всем русским, которые ее посещали. Я подумал: Финляндия, конечно, похожа на Россию, но все же другая страна. И русские, которые тут живут, не похожи на нас. Такого орлиного, неподвижного и внимательного взора я не замечал у наших старух, хотя, может быть, я ошибаюсь. Девяносточетырехлетняя Елена Ивановна работала кастеляншей в посольстве, потом перешла в торгпредство, где проработала пять с половиной лет. В ее ведении находились двадцать две уборщицы, мебель, вещи. Кляузная работа! Финны очень гордые. С ними трудно работать: не терпят замечаний. Муж Елены Ивановны был финн, социал-революционер, жили в Петрограде, потом мужа арестовали, он сидел в тюрьме в Гельсингфорсе, и в 1920 году она поехала туда из Питера вместе с детьми. Поездка вышла ужасно тяжелая. И в Гельсингфорсе жить было тяжело. После первой войны повсюду был кризис. Муж, между прочим, работал одно время с Эйно Рахьей...

Мы пили чай, под низко нависшей лампой с шелковым, старомодным абажуром, который был совершенной

копией абажура нашей квартиры тридцатых годов. И скатерть была похожа на нашу. И стулья тоже. Но печенье в вазочке было другое. Печенье было не наше.

— Ваш отец был симпатичный, — говорила Елена Ивановна. — Я его помню. Я ходила к нему подписывать финансовые документы. Он был вежливый, корректный и прекрасно обращался с низшими работниками. Чего, надо сказать, другие не делали. В особенности которые были другой нации...

Орлиный взгляд старушки замер не мигая, выжидательно. Я записывал. Что было делать, если ничего иного память Елены Ивановны не сохранила? Она говорила негромко, размеренно, связно — удивительно связно для почти векового возраста. Но в ее речи был изъян, вдруг будто соскакивала на пластинке иголка. Елена Ивановна начинала повторять фразу, которую уже говорила, но об этом не помнила. Каждый раз произносила ее как бы внове, как бы она только что пришла ей на ум.

— Да, вот еще что! — говорила Елена Ивановна. — Ваш отец был очень вежливый, корректный и хорошо обращался с низшим персоналом. Чего нельзя было сказать про других. В особенности, которые другой нации...

Когда она намеревалась произнести ту же мысль в третий и четвертый раз, ее дочка каким-нибудь легким движением — передвижкой сахарницы по столу или жестом, предлагавшим взять печенье, — обрывала старушку на полуфразе и переключала разговор. Старушка переключалась легко. Она рассказала, что в торгпредстве устраивались вечеринки и елки на рождество, всегда было весело. В тридцатых годах была безработица, многие из сотрудников торгпредства уехали в СССР, и она про них больше ничего не слышала. Торгпредство находилось в доме, где кинотеатр «Аполло». Все здание называлось «Аполло». Недалеко был синебрюховский пивоваренный завод. О, Хельсинки был совсем не такой, как сейчас! На Бульварной стояли одноэтажные каменные дома, но были и деревянные. Всегда наваливало много снега. Его не убирали. Снег лежал кучами. Люди катались по бульвару на лыжах, на потткурах. Было много саней, извозчиков, мало

автомобилей. Все это Елена Ивановна пыталась перемежать рассказом о том, как отец относился к низшему персоналу, но дочка разными уловками пресекала старуху. И так дошло до рассказа о том, что в торгпредстве работал кучер Андерсон, он возил белье из «Аполло» на Бульварную. Дети любили садиться в его повозку, он катал их по Альбертсгатан. Я спросил: какой масти была лошадь Андерсона?

— Рыжая, — сказала старушка. — Рыжая, по имени Калле.

На другой день я поехал в Москву. Было начало февраля. Стоял прочный мороз. В натопленном купе я сидел один и думал: «Вот что странно: все умещается внутри кольца. Вначале была лошадь, потом возникла опять совершенно неожиданно. А все остальное — в середине».

*19 ноября 1980*





Юрий  
Трифонов

**ИСЧЕЗНОВЕНИЕ**

*роман*

## ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Знаете ли, я скажу вам секрет:  
все это, быть может, было вовсе не сон!

Достоевский. «Сон смешного человека»

### I

Когда-то я жил в этом доме. Нет — *тот* дом давно умер, исчез, я жил в другом доме, но в этих стенах, громадных темно-серых, бетонированных, похожих на крепость. Дом возвышался над двухэтажной мелкотой, особнячками, церквушками, колоколенками, старыми фабриками, набережными с гранитным парапетом, и с обеих сторон его обтекала река. Он стоял на острове и был похож на корабль, тяжеловесный и несуразный, без мачт, без руля и без труб, громоздкий ящик, ковчег, набитый людьми, готовый к отплытию. Куда? Никто не знал, никто не догадывался об этом. Людям, которые проходили по улице мимо его стен, мерцавших сотнями маленьких крепостных окон, дом казался несокрушимым и вечным как скала: его стены за тридцать лет не изменили своего темно-серого цвета.

Но я-то знал, что старый дом умер. Он умер давно, когда я покинул его. Так происходит с домами: мы покидаем их, и они умирают.

### II

Октябрьской ночью 1942 года после одиннадцатисуточного переползания с одной среднеазиатской станции на другую эшелон дотянулся до Куйбышева. Откочевали

назад то знойные, то ледяные ржавые казахстанские степи, отдышала полынь в открытые двери тамбура, отмаячили навсегда старухи, сидевшие на корточках с мисками по десятке, где в тинистой жиже плавали бараньи кишки и что-то еще баранье, черное. Пошли дожди, настал холод. В Куйбышеве мертво стояли в тупике, никто ничего не знал. Разнесся слух, что на Москву отправят не раньше чем в понедельник. Внезапно на рассвете объявили, что отправляется какой-то непредвиденный воинский эшелон, к нему прицеплены два вагона, и надо спешно, не теряя ни минуты, пересаживаться туда. Прыгали, бежали, спотыкаясь, волокли узлы в серой знобящей мгле. Игорь тащил очень тяжелый, из толстой кожи отцовский чемодан, набитый вещами, бельем, банками, фруктами, сахаром, одеялами — бабушка насовала все, что можно, чтобы ей и Женьке было меньше везти, — и мешок с двумя зимними пальто, своим и Женькиным, двумя парами валенок и еще веревочную авоську, где лежала буханка черного хлеба и книжка Эренбурга «Война», купленная в Ташкенте на вокзале. Игорь читал книжку в дороге, лежа в духоте и кислом воздухе под потолком. Чемодан и мешок Игорь связал поясным ремнем и перекинул через плечо. Сумку с черной буханкой нес в руке. Ремень лопнул, не выдержав тяжести. Спутники Игоря проходили мимо, сочувственно вскрикивали, но помочь не могли: каждый тащил свое.

Одновременно нести чемодан и мешок не удавалось, тогда Игорь решил передвигаться короткими перебежками. Оставив мешок, он перенес чемодан на пятнадцать шагов вперед, затем вернулся к мешку. Все его товарищи уже пробежали вперед. Взяв мешок, Игорь двинулся к чемодану и увидел, что высокая фигура, неясно различимая в рассветной мгле и слегка скривившаяся от веса чемодана, торопливо удаляется в глубь перрона. Бросив мешок, чтобы идти быстрее, Игорь последовал за удалявшейся фигурой: он не побежал, не закричал, ибо и то и другое казалось ему несколько стыдным и преждевременным. Зачем поднимать панику? Человек с родным отцовским чемоданом ускорил шаги, теперь все как будто

стало ясно — мысли работали затрудненно, все напоминало тяжкий утренний сон перед пробуждением, — и Игорь побежал. Не очень быстро, чтобы не выглядеть паникером. Похититель нырнул вправо, за вагоны, и исчез. Преследовать было страшно: можно упустить эшелон. Игорь бегом вернулся к тому месту, где он оставил мешок, но мешка не было. В руках у Игоря осталась сумка с буханкой черного хлеба и книжка очерков Эренбурга. Перрон опустел. С обеих сторон чернели глухо и немостины товарных вагонов.

Игорь побежал, в страхе от мысли, что отстанет от своих. Куда они провалились? Он бежал сквозь строй вагонов и кричал, звал. Дверь одного товарного вагона с тихим визгом сдвинулась, и на уровне пола показалась голова в лохматой шапке, странная голова, лежавшая на боку, щекой к полу, и как будто не имевшая туловища, отрезанная голова, и гаркнула матом. Сейчас же Игорь услышал другие голоса, заплакал ребенок, его успокаивала женщина. Игорь бежал вперед уже не по перрону, а по земле, но с обеих сторон по-прежнему стояли не имевшие конца эшелоны, он бежал как по дну ущелья, вдруг показалось, что плывет по реке, стиснутой узкими берегами, и тонет. Нечем стало дышать. Тело сникло, он понимал, что надо действовать, двигаться, махать руками, но сил не было: такое же мгновенное, смертное оцепенение он испытал однажды, когда тонул на Габайском пляже, в июле, шагнул и потерял дно. Он остановился — будто кто-то невидимый с силой дернул за руку, тогда, на Габае, это был Володька — и понял, что надо вернуться к тому месту, откуда начал бежать. Кинулся назад. Вдруг подумал: «Хорошо, что нет чемодана и мешка. Я бы не смог бежать!» Он несся из последних сил, невероятно быстро, как на соревновании, внезапно останавливался, молотил в двери закрытых товарных вагонов, орал: «Эй, кто живой?»

На площадке одного вагона возникла фигура в тулупе, с винтовкой, зажатой в сгибе локтя, и хриплый голос — не поймешь, мужской ли, женский, — стал незлобно ругаться: чего орешь, шалопут? Игорь объяснил, что ищет

воинский эшелон на Москву. Тулуп сказал, что тут все воинские и все на Москву, но дал совет: «Спроси вон того мужика, по той пути ходит, колеса стучает. Сигай сюда!» Игорь вскочил на площадку, протолкался мимо тулупа, так и не разобрав, мужчина в него закутан или женщина, спрыгнул на другую сторону и стал оглядываться, ища мужика, который стучает колеса, но никого не было видно ни там, ни здесь. Игорь напрягал зрение, тянул пальцем глаз — он был близорук, а очки остались в чемодане, — потом закричал с отчаянием:

— Где ж твой мужик?

В то же время раздался нежный звук стали, ударяемой о сталь, и Игорь побежал туда, на звук, все еще никого не видя, совсем ослепнув от тяжести, сдавившей грудь: отстал! отстал! Железнодорожник с фонарем, стоявший на карачках возле колеса и оттого не видный издали, выслушал и махнул рукой:

— Через два пути на третий, и бежи вбок!

Игорь прыгал, пролезал под платформами, на которых стояли накрытые брезентом орудия, ждал, пока пройдет какой-то бесконечный состав из одних цистерн, спрашивал, звал и наконец нашел, вскочил на подножку и влетел в вагон — это был темный, теплый, пахнущий жильем и махоркой некупированный вагон, все полки которого были, кажется, заняты, но Игоря это несколько не расстроило, он с радостью повалился прямо на пол, в проходе.

Спутники Игоря — их было шестеро, четыре парня и две девушки, все москвичи, оказавшиеся в Ташкенте в эвакуации и так же, как Игорь, завербовавшиеся там на военные заводы, чтобы вернуться в Москву, — спрашивали, что с ним было и куда он, чертов сын, подевался? Никто не знал, что у него свистнули чемодан и мешок, да и никто не поверил бы этому, глядя на то, с каким радостным видом он растянулся на полу. Когда же он рассказал историю в подробностях, все изумились, сначала пожалели его, а потом стали хохотать. По вагону ходили военные с фонарем, кого-то искали, потом прошли два контролера — проверяли билеты и пропуска на въезд

в Москву, — они тоже смеялись. Поезд вдруг тронулся, веселье стало всеобщим, хохотали незнакомые люди, лежавшие на дальних полках, и те, кто из любопытства подошли поближе и кто пробирался в другой вагон и остановился лишь на минуту узнать, почему смеются. Игорь почувствовал себя в некотором роде знаменитостью. Кто-то нашел ему место: «Эй, юморист, полезай сюда!» — еще кто-то послал ему кусок сала с хлебом.

Игорь забрался на третью полку, положил сумку с черняшкой под голову и стал жевать сало. Он сильно проголодался. Хотя сало было не очень свежее, источало почему-то запах табака, Игорь грыз и сосал его с удовольствием. Кроме того, положение знаменитости и гусара, которому плевать на потерю багажа, обязывало есть какое угодно, пусть самое рискованное сало. Если бы Игорю предложили сейчас стакан водки, он бы хватил разом, не моргнув.

— Малый, а тебе сколько лет? — спросил кто-то, лежавший на полке напротив.

Игорь посмотрел: человек был укрыт шинелью, вроде как больной или раненый. Пристально и неприятно глядел черными глазами на Игоря, и тот ответил не сразу и без охоты:

— Шестнадцать...

— В Москве у тебя кто есть?

— Ну, есть...

— Ждут тебя?

Игорь грубо спросил:

— А вам какое дело?

— А никакого, конечно, до тебя, дурака, нет... — сказал человек тихо и закрыл глаза.

Игорь сопел, размышляя: оскорбиться или нет? Решил: не стоит. Человек был жалок. Может быть, умирал. Но гусарское самочувствие исчезло, сделалось тоскливо. Колеса стучали по мосту, проезжали Волгу. Внизу говорили о сводке, кто-то слышал на вокзале в Куйбышеве шестичасовое радио: тяжелые оборонительные бои в районе Сталинграда и Моздока. То же самое, что все последние дни. Слишком уж скупое. А что там на самом деле?

Еще говорили о боях в Ливии, о том, что англичане хитрят, а американцы не умеют. В Москве, говорили, за жиры дают хлопковое масло, только не такое, как было в Ташкенте, а более светлое, обезжиренное. Чаю нет, все пьют кофе черный, желудевый или ячменный.

Голоса снизу доносились рвано, в промежутки, когда колеса стучали тише. Вдруг голоса возвысились, зазвучали сварливо, впереводку:

— А вас не спрашивают!

— Нет, я спрашиваю...

— В чужой разговор...

— Распространяете...

— Брось ты с ним! Не видишь, что ли...

Игорь думал о тех, кто его ждет в Москве. Впрочем, было неведомо, ждут или нет. Бабушка написала письмо своей двоюродной сестре Вере, еще более старой, чем бабушка, и совсем квелой старухе — поэтому не могла никуда тронуться из Москвы, — о том, что Игорь получил пропуск и приедет в октябре, но ответа ни от бабушки Веры, ни от ее дочери тети Дины пока не было, так что не знали, можно ли у них остановиться, здоровы ли они и живы ли вообще. Игорь мог, конечно, жить и один в комнате на Большой Калужской (цела ли комната?), но бабушка считала, что ей будет спокойней, если Игорь поселится у бабушки Веры. Все это были подробности, не имевшие значения. Главное то, что он возвращается. И эта дурацкая, из чаплинской комедии, история с чемоданом и мешком — лишь малая цена за возвращение, ничтожная цена, пустяки, не надо огорчаться. А все-таки что же там было? Ну, пустяки, барахло, ну валенки, зимнее меховые пальто, переделанное из отцовской бекешки. Ну, какие-то кофты, одеяла, простыни, скатерти, всякая мура. Очки вот жалко. Без очков — хана. Но можно заказать новые. А вот что действительно жалко — дневники, вся школьная жизнь с седьмого класса по девятый. Три толстых общих тетради. Все, начиная с переезда из того дома на Большую Калужскую, когда они остались втроем — он, бабушка и Женька, — новая школа, ребята, Дом пионеров, два лета в Серебряном Бору и одно лето



в Шабанове. Сколько там дорогого, ценного, смешного, изумительного! Как часто он смеялся, перечитывая некоторые страницы. Все остальное мур. Заснуть и забыть. Завтра вечером будет Москва. И он заснул, хотя в щели маскировочной бумаги серело, загорался день.

Ему приснилась старая квартира — та, где жили раньше с отцом. Большая темноватая столовая, рядом с нею комната бабушки, отгороженная от столовой портьерой болотного цвета: в бабушкиной комнате всегда было солнечно, окно во всю стену и дверь на балкон, и там стоял платяной шкаф, тот самый, из которого однажды зимой — перед Новым годом — совершенно неожиданно, никто его не трогал, выпало большое, вделанное в дверь зеркало и разбилось.

### III

Елка стояла в столовой почти посередке, обеденный стол сдвинут к пианино. Комната стала тесной, запахла лесом, дачей, лыжами, собакой Моркой, верандой с белыми окнами и грязным, мокрым полом, где стучали валенками о доски, бросали рукавицы на голый стол, без клеенки — все вещи на веранде имели какой-то жалкий, промерзший вид — и, распахнув обитую войлоком дверь, вбегали в тепло, в дымный, кухонный, сухой уют с треском печи. Всем этим пахла хвоя, это был запах каникул. Через два дня Горик и Женя должны были ехать на дачу, но не к себе в Серебряный, а к Петру Варфоломеевичу Снякину, дяде Пете, старому товарищу отца и бабушки еще по ссылкам и гражданской войне. У дяди Пети тоже были внуки, два мальчишки, но Горик знал их мало, и, хотя его очень привлекал неведомый Звенигород, называемый Русской Швейцарией, возможность покататься на лыжах с гор и пожить на прекрасной снякинской даче, про которую мама говорила, что это не дача, а дворец, а бабушка с легким неодобрением рассуждала о том, как меняются люди, — было немного жаль расставаться с привычным Бором.

На елку пришла Женькина подруга, тонконогая черноглазая девчонка Ася из ее класса, очень важничавшая, но Горик не обращал на нее внимания, и пришел двоюродный брат Горика Валера со своим отцом дядей Мишей. Из школьных товарищей не пришел никто: Леня Карась с матерью уехал в Ленинград, он часто ездил в Ленинград к родственникам, у Марата Скамейкина у самого была елка с гостями, а Володька Сапог уехал на дачу в Валентиновку. Но Горик не жалел о том, что никого из них нет. Он не прочь был отдохнуть от них: Леня Карась с его выдумками и тайнами порой угнетал Горика, он чувствовал, что впадает в зависимость, в какое-то рабство к нему; Сапог был малый компанейский, но любитель врать и хвастать, а Скамейкин большой хитрец. Без них Горик жить не мог, он любил их, они были лучшие и единственные друзья, но от этой дружбы он уставал.

С Валерой Горик виделся редко — дядя Миша жил за городом, в поселке Кратово, — но уж когда братец приезжал в Москву, они с Гориком устраивали такой «тарарам», такой «маленький шум на лужайке», такой «бедлам», по выражению мамы, что у соседей внизу качались люстры. Часами они могли кататься по полу, сидеть друг на друге верхом, кружиться и пыхтеть, стискивая один другого что есть мочи, стараясь вырвать крик боли или хотя бы еле слышное «сдаюсь». И чем больше они потели, разлохмачивались, растрепывались, изваживались в пыли, чем сильнее задыхались и изнуряли друг друга, тем радостнее и легче себя чувствовали; это было как наркотик, они делались пьяные от возни, понимали умом, что пора остановиться, что дело кончится скандалом, но остановиться было выше их сил.

Возня происходила рядом с елкой, на большом диване, от которого, если елозить по нему носом, шел запах дезинфекции, и его твердая, шершавая ткань скребла щеки, на нем были два валика, которыми братья дрались, тихо смеясь, сладострастно хрипя, норовя ударить друг друга посильней по больному месту. Девчонки по другую сторону елки играли в какую-то настольную игру. Они

были сами по себе, а Горик и Валера сами по себе. Но в миг паузы Валера прошептал Горику на ухо: «Знаешь, почему мы тут возимся?» «Ну?» — спросил Горик. «Потому что перед этой Асей показываемся». Горик промолчал, пораженный. Горику было одиннадцать с половиной лет, а Валерке просто одиннадцать, и он не такой уж сообразительный, гораздо меньше читал, но сказал правду. Как же он так угадал про Асю? Уязвленный чужой пронизательностью, Горик спрыгнул с дивана и крикнул: «Айда в кабинет!» Они побежали в отцовский кабинет, там было темно, зажгли свет, все взрослые собрались зачем-то в комнате у бабушки и разговаривали, совсем забыв о ребятах.

Кабинет был велик, полон таинственных вещей. Там в четырех шкафах теснились книги, тысячи книг, многие из которых были совершенно неинтересны, в бумажных переплетах, трепанные, пыльные, никому не нужное старье, но были и очень красивые энциклопедии в коже, с золотыми корешками и множеством картинок внутри, с которых Горик давно уже для разных нужд поотдирал прозрачную папиросную бумагу. Там висело в простенке между одним из шкафов и окном отцовское оружие: английский карабин, маленький винчестер с зеленой лакированной ложей, бельгийское охотничье двухствольное ружье, шашка в старинных ножнах, казацкая плетеная нагайка, мягкая и гибкая, с хвостиком на конце, китайский широкий меч с двумя шелковыми лентами, алой и темно-зеленой (этот меч отец привез из Китая, им рубили головы преступникам, и Горик видел в альбоме, который отец тоже привез оттуда, фотографию такой казни; отец по утрам, а иногда и днем делал специальную китайскую гимнастику с этим мечом, размахивал им, становился в позы, и однажды, когда пришла в гости тетя Дина, Горик вздумал показать ей редкостное зрелище — отца, размахивающего мечом, и распахнул дверь в кабинет. Тетя Дина вскрикнула: «Ах, боже!» — прикрыла дверь, а отец больно щелкнул Горика по макушке, сказав: «Идиот!»). В углу кабинета стояла пика с длинным бамбуковым древком, четырехгранным наконечником и клочком

сивой гривы, привязанным чуть пониже наконечника. Пику отцу подарили в Монголии, когда он путешествовал в пустыне Гоби. Этой пикой было удобно закрывать форточки, а иногда мама использовала ее для других целей: заметив где-нибудь высоко на стене клопа, мама брала палку, нацепляла на нее кусочек ваты, смоченной водой, и клоп бывал настигнут. У мамы Горика было замечательное острое зрение. Более острым зрением обладала лишь бабушка, которая у себя на работе в Секретариате занималась в стрелковом кружке и даже получила значок «Ворошиловского стрелка».

Пол кабинета застилал толстый и громадный, во всю комнату, персидский ковер. Возиться на ковре было гораздо удобнее, чем на диване. Горик и Валера опустили шторы, чтобы в комнату не проникал свет даже от дальних окон, и устроили «японскую дуэль»: поединок, который происходит обычно в полном мраке. Противника надо угадывать по шороху, по дыханию. Несколько раз они набрасывались друг на друга в темноте и после короткой яростной схватки разбежались по углам. Однажды кинулись друг на друга так неловко, что стукнулись головами и оба завопили от боли. Вбежали взрослые, включили свет. У Горика был здоровенный «фингал» на лбу, у Валеры из носа хлестала кровь.

Поднялся шум, забегали, закричали, оказывали первую помощь и одновременно ругались нещадно. Злее всех ругался дядя Миша.

— Здоровенный оболтус! — кричал он Валере. — Чем ты думал? Каким местом? Почему не мог спокойно посидеть и почитать книжку?

— Наш тоже хорош, — сказала мать и сильно дернула Горика за руку, чтобы он повернулся к ней другим боком: она вправляла ему рубашку в штаны. — Когда приходят ребята, всегда начинает беситься. Смотри, что ты сделал с белой рубашкой.

— Неужели у вас нет других, более интересных занятий? — спросила бабушка.

Их повели в ванную комнату, продолжая осыпать упреками. Дядя Миша грозил сейчас же забрать Валерку

и увезти в Кратово. Было ясно, что взрослые возбуждены чем-то помимо драки (и драки-то не было), уж очень они взбеленились. В конце концов, Валера приходил в гости нечасто, сегодня был праздник, они имели право побужить. Подумаешь! Горик надулся и отвечал матери односложно. Она не должна была так сильно дергать его за руку. Тем более раненого человека. Вместо жалости подняли такой крик.

Когда вернулись в столовую и сели на диван, дядя Миша стал рассуждать о прошлом: Горик заметил, что дядя Миша любил вспоминать прошлое, когда немного выпьет: лицо его покрывалось красными пятнами, становилось бугристым, тяжелым, на лысой голове выступал пот, дядя Миша расхаживал с сердитым видом по комнате и рассуждал, рассуждал, рассуждал, грозя кому-то пальцем. Теперь он рассуждал — специально для Валерки и Горика — о том, как он и его брат, то есть отец Горика, жили в молодые годы, как они мыкались по чужим домам, зарабатывали себе на хлеб и так далее и тому подобное. Конечно, они жили плохо, никто не спорит: ведь они жили в царское время. Ничего нового он не открыл. Валера даже демонстративно отвернулся и рассматривал корешки книг на черной этажерке, стоявшей возле дивана. Горик уважал дядю Мишу, который был героем гражданской войны, краснознаменцем, воевал с басмачами и до сих пор имел звание комполка, ходил в военной форме, в гимнастерке с широким командирским поясом, но отчего-то Горику бывало иногда его жаль. Может, оттого, что он был уже не боевой командир, а работал в Осоавиахиме, а может, оттого, что Горик часто слышал, как отец говорил матери: «Вот черт, Мишу жалко...» У дяди Миши непрестанно случались неприятности, то по службе, то дома. То он ругался с начальством, то влезал в долгие тяжбы, защищая кого-то от мерзавцев и негодяев или же выводя кого-то на чистую воду, то ссорился с женой, выгоняя ее из дома, снова привозил, и Валера мотался с квартиры на квартиру.

Мать Горика говорила: «Михаил не умеет ладить с людьми. У него тяжелый характер. Вот удивительно: два брата,

а совсем разные!» Но Горику казалось, что дело в чем-то другом. Однажды он видел, как дядя Миша с отцом играли в шахматы. Дядя Миша приехал тогда тоже с какой-то неприятностью. Кажется, на него один мерзавец и негодяй написал донос в Общество политкаторжан, и дяде Мише надо было оправдываться и что-то доказывать — вместо того чтобы просто пойти и «натереть ему рыло», — и отец кому-то звонил по телефону насчет дяди Миши, долго объяснял, чертыхался, называл кого-то дураком, потом они с дядей Мишей оделись и пошли в соседний подъезд к одному старому товарищу, с кем отец был в ссылке, пришли через два часа и сели играть в шахматы. И дядя Миша проиграл отцу пять партий подряд. Он так разозлился, что ударил кулаком по доске, и все фигуры разлетелись. «Конечно, я тебе проигрываю! — сказал он. — Потому что у меня башка занята другим».

И вот Горику казалось, что у дяди Миши всегда башка занята другим. Поэтому у него и неприятности. Сегодня тоже наверняка случилась какая-нибудь неприятность. Дядя Миша ходил, скрипя сапогами, блестя стеклами пенсне, на щеках и скулах пунцовели пятна — не от гнева, а оттого, что выпил на кухне рюмку-другую водки, — говорил сердито и много, но было, однако, видно, что он думает о другом.

— Хотя мы с Николаем о такой жизни, как ваша, лоботрясы вы этикие, даже мечтать не могли...

— Не знаем мы, какая у них будет жизнь, — ввернул отец. И, как показалось Горику, ввернул очень умно.

— Как же не знаем? Великолепная жизнь, им все дано, — сказала бабушка, расставляя блюда и чашки для чая на столе. На нем стояли две вазы с самодельным бабушкиным печеньем и лежала раскрытая коробка круглых, в виде раковин, вафель с шоколадной начинкой. Это были любимые вафли, Женька их уже потихоньку таскала, но Горик, как находившийся под следствием, вынужден был сидеть не двигаясь и пожирать вафли глазами. Женька взяла пятаю. Правда, две она отдала Асе. — У них все права, — продолжала бабушка. — Кроме одного

права: плохо учиться. Женечка, ты же не мыла рук. Ася, Женечка, бегите в ванную и мойте руки.

Через полтора часа всех ребят, кроме Аси, которую мать Горика проводила домой, уложили спать в детской. Валера, бедняга, сразу захрапел, Женька тоже заснула, а Горик долго лежал, прислушиваясь к звукам и голосам. Он слышал, как пришел другой дядя, мамин брат Сергей, студент университета, с ним какие-то мужчины и женщины, наверное, тоже студенты, много чужих голосов, один чужой женский голос смеялся очень звонко и нахально; весь этот шум прокатился в глубь коридора, из столовой раздалась музыка, кто-то заиграл на пианино и сейчас же перестал. Через дверь с матовым стеклом сочился из кухни тонкий, свежий запах печенья. Бабушка всегда пекла одно и то же печенье, сухое, коричневого цвета, в виде ромбиков, нарезанных зубчатым колесиком, и с одним и тем же запахом. У Горика заныло сердце: ему захотелось печенья. Захотелось в столовую, где разговаривали студенты. Захотелось увидеть собаку Морку, почувствовать запах снега, побежать на лыжах через речку к холмам, и чтобы Ася увидела, как он летит стремглав с самого высокого холма, где два трамплина.

В кабинете Николая Григорьевича собрался срочный семейный совет. Как быть? Везти ли ребят на дачу к Снякиным? Сергей принес тревожный слух насчет Ивана Варфоломеевича Снякина, брата Петра. Будто бы его нет. Будто бы три дня уж, как нет. «А точно ли это? — сомневался Николай Григорьевич. — В столовке что-то не говорили. Я не слышал». Сергей сказал, что сообщил человек осведомленный, из театральных кругов. Смехота! Старый каторжанин, бомбист, согласился директорствовать в музыкальном театре. И поделом дураку: не соглашайся на постыдные предложения, не унижай себя. Так полагал слегка рассвирепевший брат Николая Григорьевича, который знал Ивана еще по Александровскому централу.

Из столовой, где собралась молодежь, слышны были голоса, запели песню. Новую прекрасную песню из кино-

картины: «Крутится, вертится шар голубой...» Бабушка вполголоса подпевала.

— Сережа, ты ступай в столовую, — сказал Николай Григорьевич.

— Ступаю, ступаю. Герцеговинка не нужна? — Сергей взял с письменного стола коробку папирос «Герцеговина флор», предназначенную гостям, так как Николай Григорьевич уже пятый месяц бросил курить, и пошел к двери. На секунду остановившись, сделал страшные, веселые глаза и зашептал: — Вы тут недолго, бояре, а то Мотю прозеваете. Мотя такие стихи будет читать — закачаетесь!

Ему было двадцать два. Михаил Григорьевич смотрел ему вслед с недоумением: какие стихи? Елизавета Семеновна, мать Горика, сказала, что надо сейчас же позвонить Петру Варфоломеевичу, и все станет ясно. Они с братом очень дружны.

— Еще бы! — сказала бабушка. — В двадцать шестом году оба подписали платформу ста сорока восьми. Но Петя гораздо порядочней. Вот за Петю я могу ручаться где хотите.

— И жена Ивана Варфоломеевича всегда у них на даче, у дяди Пети, — сказала Елизавета Семеновна.

Она сняла телефонную трубку, но бабушка остановила ее:

— Лиза, постой. А что, если он подтвердит?

— Как — что?

— Ты повезешь детей или нет?

— Я не знаю... — Елизавета Семеновна стояла в нерешительности. — Им, наверно, будет не до того.

— Тогда не звони. Петя нам не звонил, и нам не нужно навязываться, — сказала бабушка. — Он бы позвонил вчера или даже сегодня, если б они нас ждали. Звонить не нужно категорически!

Николай Григорьевич шагнул к телефону.

— Почему же не нужно? Глупости! — Резко двигая пальцем, он набирал номер. — Может, как раз потому что... — Он замолк. Всем четверым были слышны гудки. — Думаю, что вранье. Давид мог знать, я его видел в столовке. Никто не подходит, значит, он на даче, и всё



в ажуре... — Он снова умолк. Гудки продолжались. Вдруг он спросил: — Ты, Варфоломеич? Я уж думал, вы там все перемерли или сгорели, шут вас возьми. Да, да. Ждали, ждали, и вот. Ничего. Сравнительно да. Что? — Николай Григорьевич посмотрел на брата, потом на бабушку и сделал губами движение, означавшее «плохо». Он продолжал слушать, что ему говорили, сохраняя все то же выражение крепко поджатых и несколько надутых губ. Потом его губы разжались, он вздохнул, выпрямился и сказал другим голосом: — Вот мы и нагреем все шестеро, и я с Лизой. Ребята настроились. А? Давай нагреем? Погода-то пропадает. Ну, как хочешь. Ладно. Всем привет. А я завтра зайду.

Николай Григорьевич почесал трубкой затылок, присвистнул и повесил трубку. Елизавета Семеновна смотрела на мужа, хмурясь.

— Что он сказал конкретно? — спросила бабушка.

— Сказал, что с Иваном недоразумение. Ничего конкретного. Он уже звонил Давиду, тот пытался узнать — бесполезно.

— Господи, какое несчастье! Что же у Вани могло быть? — спросила Елизавета Семеновна.

— Что-то было, — сказала бабушка. — На пустом месте такие вещи не случаются, как ты знаешь. Между прочим, Иван Снякин никогда не был мне симпатичен. Во-первых, вся эта смена жен. Во-вторых, отношение к детям. Ведь своего старшего сына, от первой жены, он не захотел воспитывать, отдал в лесную школу. По требованию этой теперешней, артистки. Мы были тогда все возмущены: и Иван Иванович, и Берта, и Коля Лацис. Берта помогала устраивать в лесную школу, она же в Наркомпросе, но она тоже возмущалась...

Николай Григорьевич, усмехнувшись, хотел что-то сказать, но только покрутил головой и вышел из кабинета. А Михаил Григорьевич снял пенсне — его лицо без пенсне показалось больным, усталым, под глазами мешки — и сказал слабым голосом:

— Ерунду ты порешь, матушка. Обывательские разговорчики вместо настоящей партийной оценки.

Тихо открылась дверь, и вошла мать Горика. Она постояла неподвижно в темноте, прислушиваясь и стараясь понять, спят дети или нет. Женя и Валерка спали, а Горик лежал с открытыми глазами. Он сказал шепотом: «Ма, я не сплю». Мать подошла на цыпочках и села на край кровати. Она притронулась ладонью ко лбу Горика, где была шишка: рука ее была холодная. «Сынок, мы поедем послезавтра к себе, в Серебряный Бор». «Правда? — Горик обрадовался. — Ух, здорово! Мне так не хотелось ехать в этот самый Звенигород! А ты поедешь?» — «Конечно. И я, и папа. И, может быть, Валерку возьмем, если Миша его отпустит и если вы дадите слово, что будете вести себя хорошо». «Конечно, дадим! Непременно дадим! Обязательно дадим! Ура-ура-ура! Да здравствует наш любимый, несравненный, драгоценный Серебряный Бор!» — в возбуждении восклицал шепотом Горик. Он уснул счастливый.

На другой день, тридцать первого декабря, когда все сидели утром за завтраком в столовой, в бабушкиной комнате раздался внезапно оглушительный грохот. Было похоже, что кто-то выбил балконное окно. Побежали туда и увидели, что разбилось не окно, а зеркало. Весь паркет был усыпан сверкающими осколками. Никто не мог понять, каким образом и почему старинное толстое зеркало выпало из двери платяного шкафа, запертой к тому же на ключ. Это была загадочная история. Домашняя работница Мария Ивановна сказала, что это к войне. Отец Горика сказал, что война с Гитлером и Муссолини, разумеется, будет, но не скоро. А Горик подумал о том — и это поразило его, — что в мире происходят вещи, которые не может объяснить никто: даже отец, самый умный человек на свете, и мать, тоже очень умная и самая добрая. Ни один человек, никто и никогда не объяснил Горика, почему в то утро упало зеркало.

#### IV

От вокзала до Страстного бульвара, где жила тетя Дина, Игорь шел пешком, совсем налегке: хлеб он доел, а книжку

Эренбурга сунул в карман. Москва поразила тишиной, малолюдством — даже на вокзальной площади людей почти не было, троллейбусы шли пустые — и чем-то глубоко и тяжело растрогала. Он словно увидел родное лицо, но изменившееся и настрадавшееся в долгую разлуку. На площади перед метро «Кировские ворота» стояли несколько человек и слушали радио из репродуктора, установленного на фонарном столбе. «Немцы болеют от гитлеровских эрзацев, — читал торжественным голосом диктор. — Как заявил в Женеве прибывший из Германии голландский врач, долгое время практиковавший в одной из дрезденских клиник...» Лица слушающих выражали сосредоточенное, несколько оупелое внимание. Может быть, они и не слушали, а думали о своем. Или терпеливо ждали что-то важное, что должен был сказать диктор.

Пошел слабый дождь. Игорю не хотелось садиться в трамвай. Он шел бульваром, заваленным опавшей, гниющей листвой, останавливался у газетных витрин, читал. Умер художник Нестеров. Рязанская область закончила уборку картофеля. Волнения во Франции. Исполком Моссовета одобрял инициативу жильцов дома № 16 по Н.-Басманной и № 19 по Спартаковской улицам по активному участию в подготовке к зиме: участие в ремонте отопления, крыш, утепления зданий, завозе топлива, его хранении, эксплуатации. 450 лет назад Христофор Колумб открыл Америку. Этому знаменательному событию посвящена выставка, открывшаяся на днях в библиотеке... А дочь Татьяну и внука Юру фашистские изверги загнали в погреб и забросали гранатами.

Дом на Страстном знакомо, громадно чернел сквозь дождевой туман. Внутри, в клетках дворов, было пустынно. Когда-то эта цепь проходных дворов была оживленнейшим местом: по ним проходили, сокращая себе путь, с Большой Дмитровки на Страстную площадь, а по утрам здесь толпами шли хозяйки за покупками в Елисейский магазин, и навстречу им, снизу, шли другие — на Палашевский рынок. Игорь свернул направо, в тупиковый двор, и подошел к подъезду. Это был, впрочем, не подъезд, а небольшая, довольно грязная и старая,

много раз крашенная дверь с железной ручкой, лестница за нею была такая же грязная и старая, она поднималась вверх короткими зигзагами и по своей крутизне напоминала винтовую. Лестница огибала пустое вертикальное пространство, такое узкое, что если бы кто-то вздумал кончать тут счеты с жизнью, то должен был бы лететь вниз стоймя, солдатиком. На третьем этаже была выбита ограда, край лестницы висел над обрывом; Игорь прошел эти несколько ступеней с осторожностью, прижимаясь к стене. «Ну и ну! Как же тут бабушка Вера ходит?» — подумал он с изумлением.

Он нажимал кнопку звонка и улыбался.

Его радовали этот сырой день, пустые дворы, перекрещенные бумажными лентами окна. Это была Москва. Он вернулся. Дверь не открывали. Он позвонил еще раз и ждал, продолжая улыбаться. Потом, догадавшись, что звонок не работает, сильно постучал. Сразу же зашаркали, завозились с замком, женский голос спросил:

— Кто там?

— Я — к Дине Александровне...

В первую секунду он не узнал тетю Дину: худая старушечка. Какое желтое, опавшее лицо! На плечи тети Дины был наброшен, как у боксеров, выходящих на ринг, махровый халат, который совсем гнул ее и заставлял вытягивать шею вперед. Выражение лица у тети Дины было испуганное. Она вскрикнула:

— Ах, Горик! — И сейчас же, оглянувшись назад, очень громко и напряженно: — Мама, Горик приехал! Это Горик!

Вышла бабушка Вера. Она ничуть не изменилась. Она тихо шла по коридору, вдоль стены, подняв сухонькое, кивающее, детское личико в мелко-кудрявом, седом венчике, и улыбалась издали. Подойдя, обняла Игоря легкими руками, пригнула голову и поцеловала, и он вспомнил этот старушечий запах комода, лежалости и сухих духов. Обе принялись хлопотать вокруг него, сняли с него пальто. «Я принесу чайник!» — «Мама, не суетись. Принеси лучше полотенце. Ходи медленно!» — «Я вовсе не сучусь и даже не суетюсь. Видите, этот глагол мне чужд, я даже не знаю, как его спрягать...»

— Баба Вера, ты молодчина, — сказал Игорь радостно. Он сидел на стуле и стаскивал башмаки, несколько прохудившиеся.

В Ташкенте, где месяцами не бывало дождей, они служили неплохо, но в первый же час в Москве сдались, он промочил ноги.

— Почему ты шел пешком? — спрашивала тетя Дина.

— Я так проголодался, так соскучился по Москве! Читал афиши, объявления. Знаю, например, что производится набор аптекарских учеников для аптек Москвы. А что? На худой конец? Вечер Хенкина, в Театре эстрады — рядом, на Малой Дмитровке...

— Постой, Горик. А где твой багаж?

Он рассказал. Лицо тети Дины побледнело. Она опустилась на сундук и сказала:

— Я получила письмо три дня назад. Тетя Нюта написала очень подробно, что она с тобой посылает — ты не знаешь свою бабушку, — по пунктам...

— Да, барахла было много.

— И продуктов тоже, она писала.

— Да, — сказал Игорь. — Продуктов тоже...

Тетя Дина сидела на сундуке, с удивленным видом разглядывая пол.

— Как же так, я не понимаю? — сказала она тихо и развела руками. — Как можно быть таким рассеянным? Как можно, зная, что едешь в голодный город...

Игорь стоял перед нею босой, в мучительном оцепенении. В правой руке он сжимал влажные носки. Только сейчас он внезапно осознал, как ужасно, непоправимо жестоко было то, что произошло с ним и в чем он был конечно же виноват. Как всегда, осознание приходило к нему позже, чем следовало, и тем сокрушительней. Он готов был тут же, босой, кинуться бежать из дома. Бабушка Вера прилепала с полотенцем в прихожую и остановилась, не понимая, отчего Игорь замер в такой странной позе, а тетя Дина сидит на сундуке.

— Дина, что случилось? — спросила она. — Что-нибудь с Нютой?

— Нет, нет, ничего с твоей Ньютой, — сказала тетя Дина. — Иди, пожалуйста, в комнату. Он будет мыться, а потом мы станем пить чай, и я тебя позову.

Бабушка Вера нащупала рукой гвоздь в стене, на который были наколоты какие-то квитанции, повесила на него полотенце и зашлепала обратно в комнату.

— Мама почти не видит, — сказала тетя Дина. — И стала в последнее время очень плохо слышать. Вообще, мы живем... я не знаю, как мы живем. Мы живем на одну служащую карточку! Ты представляешь? Маринка поступила на курсы иностранных языков при военном ведомстве, устроить было невероятно сложно, я нажала все кнопки и устроила, ее приняли, но не успели дать ни карточек, ничего, и она заболела. Больше месяца лежит. Какое-то тлеющее воспаление легких, каждый день температура. Она — там, в комнате, ты потом к ней зайди, ты ее не узнаешь. Нужно давать мед. А где его достанешь? Я ждала тебя, скажу тебе честно, еще и потому с таким нетерпением, что тетя Ньюта писала, что посылает с тобой банку меда.

— Мед я тебе достану... — пробормотал Игорь сквозь зубы.

— Где ты его достанешь, мой милый? Ты не представляешь, как живет Москва. Надо иметь очень большие связи или очень большие деньги. У меня уже нет ни того, ни другого. Одного я все-таки не понимаю: как можно допустить, чтобы у тебя на глазах... Ах, бог с ним! — Она порывисто поднялась с сундука. — Сейчас согрею воду. Помоешься, и будем пить чай. Что случилось, то случилось. Не будем огорчаться, правда, Горик? — Она шлепнула Игоря по щеке, это был шлепок примирения и прощения, но все же он оказался чуть сильнее, чем нужно, как слабая пощечина. — Сядь на стул, я поищу какие-нибудь носки Бориса Афанасьевича.

Через полчаса Игорь помылся, переоделся в сухое и пил чай на кухне вместе с тетей Диной и бабушкой Верой. Собственно, пили не чай, а отвар шиповника с сахарином.

— Хорошо, что нет соседей. Можно посидеть на кухне, — говорила тетя Дина. — К нам жуткую парочку

подселили, вот уже год. В комнату Розалии Викторовны. Ты помнишь Розалию Викторовну?

Еще бы не помнить Розалию Викторовну. У нее был низкий голос, темная челка, длинные пальцы в узлах суставов, манера постоянно улыбаться сухими бесцветными губами — рот был неприятный, мятый, весь в морщинках, как кусок бумаги, скомканный в кулаке, — и редкостная способность мучить людей. Две зимы она мучила Игоря и Женьку уроками музыки, но потом мама с нею внезапно рассталась. Сказала, что она нечистоплотная.

— А что стало с Розалией Викторовной?

— Она куда-то переселилась. А может, совсем уехала из Москвы. Не знаю точно. Она была странная, с причудами, но нынешние, которых нам вселили, — это ужас!

Тонкие ломтики черного хлеба лежали на красивой фарфоровой доске, имевшей форму лопатки с короткой ручкой. У тети Дины всегда было много красивой, старинной посуды. Чашки, из которых пили отвар шиповника, были, наверно, столетнего возраста, на их доньшках красовались замысловатые вензеля. Тетя Дина брала ломтики хлеба, наносила на них изящным серебряным ножиком почти незримый слой масла и давала Игорю и бабушке Вере.

Возбуждение все еще не покидало тетю Дину. То она, махнув рукой, говорила: «Ну, конечно! Не будем переживать. Кто первый заговорит, с того штраф» — и рассказывала о новых соседях, жуткой парочке, о своей работе в музыкальном издательстве, о каком-то полковнике, который ухаживает за Мариной, и вдруг, в середине рассказа, начинала иронически улыбаться и прерывала себя: «А если посмотреть на всю историю с комической стороны? Вообразите: идет этакий шляпа...»; то в ней просыпался гнев, и она проклинала подлецов и сволочей, которые пользуются людской бедой; то возникали неожиданные идеи, она предлагала написать заявление в Министерство внутренних дел или же начальнику милиции Куйбышевского вокзала. «Что же, что война. Они обязаны заняться и начать розыск...»

Бабушка Вера молча пила отвар и жевала хлеб. Зубов у нее, наверно, почти не осталось, и она жевала не переставая, помогала деснами и даже губами. Ее лицо при этом сжималось и разжималось, как гармошка, и, когда сжималось, принимало выражение забавно-напыщенное. Бабушка Вера отставила чашку и стала медленно, сгорбленной спиной вверх, подниматься из-за стола.

— Диночка, — сказала она. — Целый час ты не можешь съехать с этих чемоданов. стыдно, ей-богу. Ну, привез бы он провизию или нет — какая разница? Через десять дней все равно бы все съели.

Тетя Дина взглянула на мать отрешенно.

— Ты права, мама... Конечно, мамочка... стыдно, стыдно, невыразимо стыдно! — Она закрыла лицо ладонями. — стыдно, что ни о чем другом я не могу говорить. стыдно, что я так раскисла... Очень стыдно, но, я думаю, Горик меня простит. Ты простишь, Горик? — Голос ее задргался. — Ведь я одна забочусь о том, чтобы всех накормить. Я одна приношу хлеб в дом. Ты понимаешь, Горик? Я должна бегать по очередям, добывать, продавать, керосин, лекарство, доктор, картошка, последний день талона на крупу, талон на табак меняю на мыло — у меня голова кругом! У меня нет сна. И меня все обманывают, я все теряю, ничего не успеваю. — Лицо тети Дины исказилось гримасой, рот растянулся, и она заревела, продолжая говорить нелепым, орущим голосом: — Тебе хорошо, ты — старуха! Ты можешь сидеть дома и ждать. И говорить: «Это не стыдно! А то стыдно». Понимаешь? Потому что я должна бороться! Я должна спасти свою дочь! И тебя! Ни одной секунды мне не может быть стыдно, нехороший ты человек...

Бабушка Вера не спеша, держась за стенку и мелко-мелко кивая головой, двигалась из кухни в коридор. Тетя Дина кричала ей вслед:

— Как же у тебя хватило совести? Злая ты, злая женщина!

Последнюю фразу тетя Дина выкрикнула особенно яростно и громко, чтобы бабушка Вера, уже скрывшаяся в коридор, услышала. Потом тетя Дина подошла к кухонной



раковине, открыла кран и стала мыть лицо холодной водой и сморкаться.

Игорь, все время сидевший за столом, поднялся и пошел в коридор. Он не знал, можно ли ему сейчас идти в комнату, и в нерешительности топтался в прихожей, делая вид, что ищет что-то в карманах пальто. Потоптавшись, сел на сундук. Тетя Дина не появлялась. Он слышал, как она гремела в кухне посудой, двигала стулья. Наверно, ей было неловко после всего этого. Вот сейчас ей было по-настоящему стыдно. А что, если надеть пальто и тихо уйти? Игорь думал о тете Дине с жалостью. Он помнил ее совсем другой. Нет, уйти было бы проще всего.

Он рассматривал висевшие на стене в прихожей старые фотографии и гравюры в темных рамках. Без очков он видел плохо, и пришлось встать с сундука, чтобы подойти к картинкам ближе. Когда-то он все их видел, но совершенно забыл, и теперь они всплывали в памяти — этот старик с цилиндром, женщина в пышном белом платье с такой тонкой талией, что женщина была похожа на песочные часы, поэт Баратынский, вид города Пармы. Все эти картинки принадлежали исчезнувшему времени, тому жаркому лету за три года перед войной, когда он гостил в Шабанове, в музейной усадьбе. Дача в Серебряном Бору тогда уже не существовала, и бабушка попросила тетю Дину взять его на лето к себе. А Женя уехала тогда с другой родственницей на Украину. Тетя Дина жила в самой усадьбе композитора, в маленькой комнате на первом этаже, с окнами в сад, сырой темный сад со столетними елями, с липовой аллеей, спускающейся вниз к реке; на лужайке по утрам стояла художница, бледная женщина с надменным лицом, и писала кусты сирени, они были на холсте розовые, хотя давно отцвели, а небо почему-то зеленое, но Игорь не решался спрашивать, что это значит. Он слонялся по музейным залам, где потрескивали сами собой полы, где в шкафах за стеклом блестели старинные переплеты; вечерами на открытой веранде пили чай из самовара, всегда на столе были подогретые белые булочки и черносмородиновое варенье, и внучатый племянник композитора, очень похожий на него,

с такой же бородкой, рассказывал о том, как жили в Париже перед первой мировой войной... Были и другие люди, они тоже рассказывали интересные истории, был один музыковед, пьяница, но добрейшая душа, был австриец, бежавший из Вены от фашистов, он умел держать тарелку на лбу, и он ухаживал за художницей с надменным лицом, а тетя Дина играла на рояле «Времена года». Иногда, очень редко, приезжала Марина на велосипеде. Она мало занимала Игоря. Ему шел тринадцатый год, а ей восемнадцатый, она была толстая, важная, всегда с нею были кавалеры. Шабаново она называла «деревней». Тетя Дина страдала из-за нее, говорила, что она с «фокусами». И Игорю нравилось жить в музейной усадьбе, сидеть до ночи за столом на веранде — вот только комары донимали — и слушать малопонятные разговоры. Однажды он слышал, как тетя Дина и внучатый племянник композитора о чем-то спорили на скамейке в саду, тетя Дина сердилась, тот ее успокаивал и вдруг закричал на Игоря: «Что за манера торчать рядом, когда взрослые разговаривают!» Прошло несколько дней, Игорь с музыковедом ходили на речку купаться, как раз тогда Игорь выронил в воду свои ботинки, когда переплывал речку, и музыковед спас их, нырнул и достал — и под секретом, а также под градусами, музыковед сообщил Игорю, что тетя Дина отказалась от мужа. «Прости меня, Егор, но твоя тетушка с этих пор для меня — тьфу», — сказал пьяный музыковед. Игорь знал, что тетя Дина жила с мужем, отцом Марины, плохо. Все говорили, что в молодости тетя Дина была очень красива, а муж ей попался неудачный. Однажды Игорь застал тетю Дину плачущей, потом она уехала в Москву, вернулась, снова были прогулки, купание в холодной, с глинистым берегом речонке, вечерами снова сидели за самоваром, ели подогретые булочки, и тетя Дина играла на рояле «Времена года». Вскоре появился Борис Афанасьевич, очень большой, толстый, в очках, с черной бородой и усами. Игоря переселили в комнату рядом с чердаком, тетя Дина сделалась веселая, пела песни и играла с Борисом Афанасьевичем в шахматы, Марина перестала приезжать,

а музыковед устроил однажды пьяный скандал, и вызывали милицию.

— Такой стал Горик? Ого! Потрясающе! — Игорь увидел бледную, с большим носом, рыжеволосую девушку, стоявшую в дверях прихожей. На девушке был халат с кистями, она держала руки скрещенными на груди, обнимая ладонями худые плечи, словно ей было зябко. — Никогда бы не узнала...

— Я тоже вас... — Он запнулся, почувствовал, что говорит что-то не то, но мужественно закончил: — Наверное, не узнал бы!

— Так ужасно я изменилась?

— Нет, но вы... Вы же болеете...

— Да, да. Я болею. Совсем забыла, что болею. А почему мама так кричала на бедную бабушку?

Игорь пожал плечами.

— Может, из-за этой смешной истории, которая случилась с твоим багажом? Мне бабушка рассказала. Боже, это же гениальная история! Ты гений, Горик. Ах, как жаль, что тебе не удалось все-таки опоздать на поезд...

Тетя Дина вышла из кухни, неся на подносе что-то, покрытое полотенцем.

— Зачем ты встала? — спросила она дочь. — Я несу питье и лекарство.

— А зачем ты кричала? Я думала — грабители, воздушная тревога или Бочкин вернулся. Ты меня разбудила. Я спала!

Последнюю фразу она произнесла с вызовом и прошла мимо матери и мимо Игоря в ванную, горделиво подняв свой большой нос и распушив движением головы рыжие волосы. За нею прошла волна ее запаха: лекарств и голого тела. Игорь почувствовал, что между матерью и дочерью есть какая-то напряженность и он почему-то эту напряженность усилил.

Тетя Дина сказала, посмотрев на него со слабой улыбкой:

— Вот чепуха, правда же? Какие-то чемоданы в голове, а немцы на Волге, Ленинград в окружении... Ты помнишь Славского? В Шабанове он жил одно лето вместе

с тобой. Ленинградский музыковед, чудный человек. Погиб в августе под обстрелом. Иди сюда, я покажу, где ты будешь спать... От Бориса Афанасьевича никаких вестей уже четырнадцать месяцев...

Из ванной раздался крик Марины:

— Постели ему в моей комнате на кушетке! Мы будем с ним разговаривать!

— Перестань! — Тетя Дина с досадой махнула рукой. — Он рабочий человек, а ты бездельница. Он будет вставать в шесть утра. Идем, Горик...

Из прихожей шел коридор, заставленный какими-то фанерными ящиками, мешками, банками, корытом, шкафчиками; этого хлама раньше тут не было, по-видимому, привезли неведомые Бочкины, занимавшие комнату Розалии Викторовны. Эта комната находилась в глубине коридора, на ее беленой двери чернел большой висячий замок. Справа по коридору были две двери. Игорь вошел вслед за тетей Диной в первую. Увидел комнату и вспомнил, что близко под окном должен быть виден железный скат крыши, но теперь окно было закрыто черной светомаскировочной бумагой. Бабушка Вера сидела за столом и, держа у глаза лупу, читала книгу.

Муторней всего первый утренний час, с восьми. На улице еще тьма, как ночью, в цехе горит электричество, впрочем, не горит, а тлеет: две чуть живые лампочки качаются на длинных проводах над волочильным станом, третья возле отжигальной печи, но там обычно и без того светло от горящего горна, и еще одна лампочка едва проблескивает сквозь закопченные стекла перегородки, там, вдали, над верстаком слесарей. Для такой громады, как заготовительный цех, света, конечно, мало, конечно, мало, да где взять больше? И потом — привыкли. Вот только холод по утрам. К холоду не привыкнешь. Тяжелый предзимний ветер леденит ноги, дует без перестану в распахнутые ворота: по утрам завозят трубы. Две женщины-грузчицы и старый мужик, чернорабочий по прозвищу Урюк, таскают трубы, зажав их штук по шесть локтем к боку, сначала по цементному полу, потом по бетонному полу,

и трубы сначала дребезжат, потом гремят и, наконец, сваливаются с грохотом в кучу возле отжигальной печи.

Но ни дребезжание и грохот труб, ни холод, гуляющий по цеху — ворота остаются открытыми долго, потому что грузчицы и Урюк особенно не торопятся, — не могут заставить Игоря проснуться по-настоящему. Мысли работают хоть и медленно, но четко, а тело разбито, вяло, движения вязнут в полудремоте.

Игорь ходит по трапу вдоль десятиметрового трубо-лочительного стана и возит по рельсам, держа за рукоять, тележку со стальными зубами. Этими зубами тележка схватывает конец железной трубы, просунутый в матрицу с прямоугольным отверстием, и тянет по стану уже ставшую квадратной трубу, уже не трубу, а профиль. Работа простая: ходи туда-сюда. Подошел к матрице — дерг ручку вверх — зубами схватил и тащи. Дошел до конца трапа — и снова дерг вверх — зубы разжались, профиль вываливается, бросай его на сторону. И так круглый день с перерывом на обед от двенадцати до половины второго. Напарник Игоря Колька подтаскивает от печи к стану, и трубы уносят готовые профили, а работница Настя всовывает трубы в матрицу и обмазывает концы масляным составом, чтобы уменьшить трение.

Двенадцать дней уже, как Игорь тут, в «заготовке», и ему тут нравится. А вначале неделю ишачил такелажником, то есть попросту грузчиком: так распорядились в отделе кадров. Майор Оганов, читая его справку с ташкентского завода, где сказано, что И. Н. Баюков имеет специальность станочника-гвоздильщика третьего разряда, не то смеялся, не то злился очень, выпучивая черные глазки: «Это что за специальность такая? Откуда? Гвоздильщики-лудильщики! Мудильщики, вашу так! Тут военный завод, а не шарашка при базаре. Ах, прохиндеи, жулики, наwerbовали дерьма! А числишься небось станочником, квалифицированной силой. Пойдешь в такелажники в транспортный цех, парень ты вроде крепкий. Поворочай там, погвозди, если ты такой гвоздильщик». И «гвоздил» неделю ящики, разгружал машины, посылали и на вокзалы, и на другие заводы, и в речной порт.

Потом потребовался один человек в заготовительный цех на волочительный стан, никто из грузчиков не хотел: они все уж там сбились, слепились в шайку, пятеро женщин, два мужика и два парнишки Игоревых лет, им грузчицкая работа нравилась потому, что выпадали часы безделья, сиди покуривай, а в «заготовке» не посидишь. Игоря и турнули: пускай, мол, новенький катится. Так он и попал из гвоздильщиков в волочительники.

Называлось так: «Рабочий станочник трубоволочительного стана, 4-й разряд». В первый же день как оформился на завод, дали хлебную карточку 700 граммов, и продовольственную, и еще ватник новенький, очень хороший, за 60 рублей. Обещали тоже ботинки выдать, но не раньше Ноябрьских. На волочилке работать чем хорошо? Нету беготни, ходишь себе и размышляешь, туда-сюда, дерг-дерг. Правой рукой дергаешь, в левой самокрутка с махрой — курить Игорь начал еще в Ташкенте, на чугунолитейном научился, — а когда правая занемет, повернешься боком и левой дергаешь. И так боком и ходишь.

Колька поначалу встретил Игоря злобно, называл не иначе как Косой или Очка́ (тетя Дина нашла Игорю очки Бориса Афанасьевича, правда, слабоватые, минус три, а ему нужно минус пять), орал в лицо Игорю песенки вроде: «Ношу очки я ррра́говые не для того, чтоб лучше зреть...» — а в столовой однажды цапнул Игореву пайку хлеба со стола и начал спокойно жевать, глядя на Игоря с улыбкой: что, мол, сделаешь? Игорь прежде отмалчивался, плевал на него с высокой горы, а тут вдруг взбесился: схватил Кольку за грудь и так его молча затряс, что, когда отпустил, тот с перепугу на колени хряпнулся. И с тех пор — всё. Ни наглости, ни «очка́».

Росту Колька небольшого, на вид совсем шкет, мелочь кривоногая, Игорь с ним одной бы ручкой справился, а лет ему немало: семнадцать с половиной. Весной Кольке в армию. Перестав дразнить Игоря очками, он теперь мучает его рассказами — врет, конечно, как змей! — о девчонках и женщинах, которых будто бы победил. Рассказывает он грубо, по-хулигански, при Насте, а ей все

равно — она не слышит, думает про свое, — Игорь же мучается, не показывая вида. Главное, что невыносимо: при Насте. Ей лет тридцать, она невзрачна, желтолица, всегда закутана в серый платок, всегда молчит, не улыбнется, и вот эта женская смиренность и покорство, над чем измывается Колька, так же невыносимы Игорю, как и Колькина грубость.

Но показать это, оборвать Кольку, заступиться за тихую и бессловесную Настю у Игоря не хватает духу. Вроде стыдно как-то. Вроде будет он тогда не мужчина.

Бригадиров в «заготовке» двое — Колесников и Чума. Колесников говорит глухо, двигается не спеша, лицо у него какое-то потухшее, бесцветное, он больной: кашляет. Иногда часами дóхает и дóхает, слова не может вымолвить. А Чума ни минутки не устоит на месте, оттого и кличка такая, весь день бегаёт, кричит, волнуется, учит, подгоняет, матерится и сам ишачит как черт. Он и смахивает на черта — малорослый, сутуленький, руки длинные, лицо большое, темное, впитавшее в кожу копоть и масляные испарения навечно, лицо старой обезьяны, с глазками-сверлами, упрятанными глубоко под узкий, козырьком, лобик. Игорю кажется, что таким мог быть Квазимодо.

— Что вы там портки сушите? Давайте работайте, давайте! — орет Чума.

Он всегда орет. В цехе, правда, шум немолкнувший, гудит волочилка, грохочет пневматический молот, но Колесников обязательно подойдет близко и скажет что надо, а у Чумы нет терпения — орет издали, трясет руками. А хоть и подбежит иногда — тоже орет.

Бригадиры командуют и волочильщиками, и слесарями, что пилят матрицы за перегородкой, и грузчиками, и кузнецами, которые работают у горна и пневмомолота — отковывают концы труб. И Чума не просто кричит, подгоняет и приказывает, а сам то и дело впрягается: то кувалдой, то у слесарей горбатится за верстаком, то, разъяренный медлительностью грузчиков, хватает охапку труб и волочит к горну. Он уже старый, под полтинник, а то и больше, но силы у него много, даже не поверишь. Недавно

привезли слесарям точильный станок, установили неправильно, Чума разбушевался, разматерился и в сердцах как рванул, словно репу из грядки, — из пола выдрал. А в станке весу килограммов сто.

Никто не знает, как в точности зовут Чуму — имя и фамилия какие-то трудные, еврейские. Все привыкли: Чума и Чума, Чумовой. Начальник цеха Авдейчик однажды так серьезно запузрыил: «Товарищ Чума, я вас очень прошу...»

— Баюков, пойди сюда немедленно! — издали кричит Чума. — Коля, стань за тележку!

Игорь дотягивает профиль — дерг! — и конец трубы, вырвавшись из стальной челюсти, подпрыгивает, как живой. Игорь поднимает двумя руками в рукавицах — одной рукой с конца не поднять — долгий и тяжелый, колыхающийся профиль и перебрасывает его через стан, где лежат ворохом, штук с полсотни, металлические и масляно поблескивающие профиля. Иногда, глядя на то, как медленно, с трудом, с писком даже, выползает из прямоугольника матрицы новенький, аккуратный, граненый профиль, Игорь испытывает почти физическое чувство удовольствия: сотворилась вещь, мир обогатился новой вещью, сделанной с его помощью, «его руками. Эта работа вот чем хороша: видишь, как делается вещь, а не просто — таскай, грузи. Профиля идут на каркасы авиационных радиаторов, те собираются в пятом цехе, потом их везут недалеко, через шоссе, на завод номер такой-то — Игорь знал, какой номер, и вся округа знала, — а уж там собирают полностью, от и до, военные самолеты. И очень скоро, через несколько, может быть, дней после того, как Игорь вытянул профиль, самолет с радиатором, в котором сидит этот профиль, выгнутый, обпаянный и выкрашенный как нужно, летит бомбить немцев.

Наспех вытирая нитяными концами руки, — хотя он работает в рукавицах, ладони всегда непонятно как успевают измазаться, — Игорь идет к Чуме.

— Бежи к Авдейчику. На второй этаж.

— А зачем? — интересуется Игорь.



— Бежи одной ногой. Эй, женщина, куда столько мажешь, куда?! — внезапно кричит Чума Насте. Своими глазками-сверлышками он видит издалека и в каких хочешь потемках и сумерках, словно кот. — Ты дома маслице как кладешь — экономишь? Ну как, скажи? Мне на месяц пятьсот граммов, я уж так его...

Игорь проходит мимо бушующего пневмомолота, мимо горна, через ворота в соседний цех и по винтовой железной лестнице поднимается наверх. Зачем он понадобился? С начальником цеха Игорь за все дни разговаривал дважды: первый раз, когда пришел оформляться, второй раз, когда Авдейчик забежал мимолетно в цех и спросил что-то насчет матриц. Волочильщики — черная кость парии «заготовки». Вызывать волочильщика к начальнику цеха так же нелепо, как вызвать грузчицу Пашку или Урюка. Но зачем-то зовут! Внезапная тревога охватывает Игоря. Одно-единственное объяснение понятно ему: что-нибудь с анкетой, раскрыли, узнали. Майор Оганов не захотел разговаривать сам, велел Авдейчику. Могут сразу уволить. Могут еще хуже: за сокрытие факта с целью, чтоб проникнуть на военный объект... Странное равнодушие подступает вместо тревоги. Он идет не торопясь по мосткам второго этажа, хлопает ладонью по железному поручню, размышляет спокойно: «А что особенного? Написал правильно. Умер в таком-то году. Мне же ответили официально: умер от воспаления легких. Мать работает в Казахстане по своей специальности. Она зоотехник. Работает зоотехником в совхозе. Что особенного?» Ни с кем он не советовался, ни с тетей Диной, ни с Мариной — решил сам. Хватит, советовался однажды. В Ташкенте весной, когда окончили школу, нескольких ребят набирали в военное спецучилище — и его тоже, хотя он младше других, ему шестнадцать. Училище считалось закрытым, готовило каких-то хитрых радистов, анкета на три листа. Первая в жизни. Бабушка сказала: «Пиши как есть. Всегда надо писать и говорить правду, тогда ничего не страшно». Не приняли. Бабушка сказала: «Со своей точки зрения они правы». В августе приехал вербовщик вербовать подростков и молодежь на московские заводы. Тоже

была анкета, но краткая, на один лист. Он не написал ничего. От бабушки пришлось скрыть. Она допытывалась: «Ты написал правду?» В том листке и вопроса такого не было, так что, можно сказать, он написал правду. И — поехал. И еще: глубинным, тайным, каким-то даже чужим и оттого, наверное, истинным умом понимал, что та правда, которую требовалось написать, не была правдой. И обман, значит, не был настоящим обманом. Был всего-навсего обманом обмана. Это никому пока не известно, и, может быть, еще долго не будет известно, и ему самому известно не окончательно, но он чувал, что правда тут не простая, какая-то двойная, секретная.

Успокоился и смирился, пока шел длинной дорогой, но когда толкнулся — «Можно?» — в фанерную клетку начальника, увидел Авдейчика за столом, желтоволосого, с красной, сухой, почему-то казавшейся Игорю *петушиной* физиономией, стало тоскливо.

— Баюков, говорят, ты умеешь малевать лозунги. Верно или нет? Чего молчишь?

— Откуда вы взяли?

— Не ты мне вопросы задаешь, а я тебе. В художественной школе учился?

— Ну, да...

— Вот походи в цехком, возьми кумач и после работы напишешь быстренько и красиво лозунг. На!

Авдейчик протягивает записку с текстом. Игорь читает с тупой радостью, едва вникая в смысл: «Рабочие и работницы, инженеры и техники авиационных заводов! Увеличивайте выпуск боевых машин, давайте больше истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков для Красной Армии!»

К двенадцати ночи Игорь добирается до дому. Ужинает в комнате, потому что на кухне Бочкины затеяли парить белье. Тетя Дина приносит из кухни тарелку обжигающего картофельного супа, Игорь с жадностью ест суп с хлебом и пьет кофе. Ни Марина, ни бабушка Вера не спят, все тревожились из-за того, что Игоря долго не было, обычно он приходит к девяти. Женщины тоже не прочь

бы поесть суп, он хоть и водянист, но горяч, однако они съели свои порции днем, кроме того, необходимо «беречь фигуру и не увлекаться супами», а Игорю нужно есть много, он мужчина. И женщины пьют кофе, ненатуральный, разумеется, без цикория, пахнувший размокшей сосновой доской, но очень горячий и с сахарином. Такой кофе пить гораздо полезней, говорит тетя Дина, он не дает бессонницы, а, наоборот, вгоняет в сон.

И верно, как только Игорь наливается кофейно-супной бурдой и ощущает животом лживое, одурманивающее и приятное чувство *вспученности*, его сразу начинает клонить ко сну, веки слипаются, он зевает и на вопросы женщин отвечает односложно и вяло. Тете Дине все же удастся постепенно вытянуть из Игоря историю с лозунгом: как его вызвал Авдейчик, как Игорь удивился, но не показал вида, как он корпел после работы три часа, сделал все как нужно, натянул полотнище, отбил веревкой, натертой мелом, линии, разграфил, разметил, написал очень красиво и вдруг, когда кончил, когда поставил уже восклицательный знак, обнаружил, черт бы его взял, что пропущены две буквы в слове «штурмовиков». Получилось так: «...увеличивайте выпуск истребителей, штурмиков, бомбардировщиков для Красной Армии!» Вот гадость-то. И почему так вышло? Ведь Игорь так старался, зная себя, зная, что в школе, рисуя лозунги и заголовки в стенгазетах, всегда что-нибудь путал, пропускал буквы. Сегодня уж он напрягся и сосредоточился, как никогда. Хотелось сделать получше. Лозунг должен висеть в цехе над воротами, и Игорь, когда идет с тележкой к матрице, будет все время его видеть и читать. Что было делать? Стирать кумач, сушить его, гладить — целая история. Можно было, конечно, вписать аккуратно сверху две буквы «ов», как это делается в школьных тетрадах, но это выглядело бы омерзительно. Пока он в панике ломал голову, пришел Авдейчик, бегло посмотрел, похвалил и велел немедленно вешать. Игорь ничего ему не сказал. Так и висит со «штурмиками». Пока никто не заметил, правда, Игорь сразу ушел домой. Есть большие, знаменитые штурмы — например, штурм Измаила или штурм Перекопа,

и есть маленькие, скромные штурмики. Интересно, что ему скажут завтра? А если ничего не скажут — признаться ли самому или пускай висит?

Начинается дискуссия. Все возбуждены, забыли про сон и торопятся высказать свою точку зрения на внезапно возникшую коварную проблему. Игорь тоже взволновался и сонливость его исчезла, так же, впрочем, как и чувство *вспученности*: неплохо бы еще рубануть супу с хлебом. Беда в том, что, как ни говорите, тут есть политическая подоплека. Могут быть неприятности. Бабушка Вера считает, что надо завтра утром во всем признаться и лозунг переделать. Зачем же играть с огнем? Чистосердечное признание... (Все бабушки стоят горой за признание. Можно подумать, что они уже признались во всем, что натворили за долгую жизнь.) Тетя Дина нервно стискивает ладони: «Боже, боже, какой ты растяпа, Горик!» Она полагает, что признаваться глупо — почему не признался сразу? — а нужно сделать дома новый лозунг, кумач она берется достать, и незаметно заменить. По мнению же Марины, не нужно трепыхаться, пусть висит как висит: никто этих лозунгов не читает.

— Держу пари на тышу рублей, что он благополучно провисит до конца войны!

— Марина, ну как же можно?! — Тетя Дина возмущена не предположением дочери, а ее недалекновидностью и легкомыслием.

Игорь наконец соглашается с хитрым планом тети Дины: написать новый лозунг и незаметно заменить. Тетя Дина предлагает сделать это в воскресенье у ее знакомой, живущей в Гнездниковском, в бывшем доме Нирензее, там большие коридоры, и можно расстелить кумач любой длины.

— Хорошо, — говорит Игорь. — Но меня удивляет одно. Откуда он узнал, что я учился в художественной школе?

— Горик, ты будешь меня ругать, но это, наверное, моя вина, — говорит тетя Дина с несколько торжественной и робкой улыбкой. И выпрямляется с видом готовности принять какой угодно укор и удар.

— То есть?

— Горик, я не могла выносить твои рассказы. Я мучительно думала, я не спала две ночи... Лиза в своем единственном письме писала мне: «Позаботься о том, чтобы способности Горика не пропали...» И вот Горик *волочит* какие-то трубы, приходит грязный, в мазуте, по двенадцать часов...

— Ну, ясно, ясно! Что дальше?

— Дальше я стала думать, я мучительно думала, перебирала, кто есть у меня. И нашла одного человека из главка — он брат моей хорошей знакомой Фани Громовой...

— Дина Александровна в своем репертуаре, — говорит Марина насмешливо.

— Его фамилия Громов. Ты не слышал?

— Нет.

— Я просила Фаню, та меня познакомила, я все ему сказала, он был очень мил...

— Что ты *все* сказала?

— Я сказала, что ты мой племянник, одаренный художник...

— Какой я, к чертям, художник! — выпаливает Игорь в бешенстве. — Проучился год в изостудии Дома пионеров, подумашь! Зачем это? Кто тебя просил? Мне совершенно ни к черту не нужно, и я не хочу, не хочу!

— Но, прости, Горик, я думала только о хорошем...

— Не надо было, ах, не надо, Дина! — шепчет бабушка Вера.

— Мама всегда думает о хорошем, а получается пшик, — говорит Марина. — Типичная история.

— Ну, и что Громов? Кто он такой, во-первых?

— Он из главка, Горик, крупный работник, по транспорту. Заведует транспортом, так что от него зависят все заводы. Ты понял? Он обещал поговорить с каким-то человеком на вашем заводе, а тот, по-видимому, говорил с начальником цеха...

— И бедного Горика запрягли после работы на три часа писать плакаты. Хо-хо! — смеется Марина. — А мы тут волнуемся и не знаем в чем дело. Оказывается, во всем виновата Дина Александровна...

Тетя Дина ударяет ладонью по столу.

— Перестань издеваться над матерью, слышишь? — треснувшим голосом вскрикивает она. — Негодяйка! — Лицо тети Дины покрывается бледностью. — Все время издевается над матерью.

— Я?

— Ты! Издеваешься совершенно открыто, беспардонно, пользуясь тем, что...

— Молчу! Всё! Извините, Дина Александровна. Вы всегда правы, я забыла...

Марина идет в свою комнату, по дороге с усмешкой шлепнув Игоря по загривку. Слышно через стенку, как она там закатывается кашлем. Игорь, подавленный всем, что только что узнал, молча разбирает свою постель. Он спит на кровати возле окна, где раньше спала бабушка Вера, а бабушка Вера спит в комнате Марины на кушетке. Наскоро помывшись, Игорь бухается в постель, ложится на бок, сгибает колени, накрывается с головой. Но разговоры, хоть и тихие, в комнате продолжаются. Игорь заметил, что в семье тети Дины любят разговаривать ночами. Вновь появляется Марина, и они с матерью шепчутся, иногда совсем тихо, а иногда довольно громко, так что Игорю слышно. «Нет, Маня, это не причина...» — «А почему ты считаешь, что ты всегда и во всем права? Почему бы ради разнообразия...» — «Потому что я хочу вам добра, идиоты вы!» — «Мамочка, вспомни: ты писала письма в министерство высшего образования, и чем это кончилось...» — «Если бы не твой скандал!» — «Конечно, когда вызывает директор...» — «А почему ты не сказала ему того же, что мне?» — «Боже мой, я не могла, как ты не понимаешь!» Скрипучий шепот бабушки Веры: «Перестаньте! Дайте ему спать».

Он спит. Он видит во сне зимнюю дорогу, по которой идет с отцом ранним январским вечером, справа от дороги заборы, слева лужайка под снегом, исчерканная бороздками лыжней, но в сумерках лыжней не видно, и лужайка кажется нетронуто-белой, посередине ее стоит дуб, дальше смутно чернеет ивняк на берегу невидимого под снегом болотца, еще дальше колышется темной полосой

лес, и там, в гущине, почти неразличимая во тьме, мерещится чья-то дача с одиноко светящимся окном. Тихо скрипят на утоптанной твердой дороге валенки. Ясно зеленеет небо. Запах курящегося табака отцовской трубки разносится в морозном воздухе. «Сейчас дойдем до оврага и постреляем», — говорит отец, сжимая Игореву руку своей рукой. И вдруг Игорь идет один, а отца нет. Чья-то высокая фигура маячит впереди на дороге. Стоит неподвижно, почти сливаясь с темнотою забора. Игорю кажется, что неведомый человек ждет его, и знобящая тревога одолевает Игоря, уже не тревога, а растущий с каждой секундой страх перед темной, поджидающей его фигурой. Игорь совсем один на пустынной просеке, и нужно идти вперед, а ноги не слушаются, он не может сделать ни шага, он прирастает к окаменело-снежной дороге. Фигура, стоящая у забора, внезапно оказывается рядом с ним, и он видит, что это женщина, очень высокая, большая женщина, в пальто до пят, чем-то напоминающем шинель, с воротником из серого каракуля, глухо застегнутым под подбородком, в серой шапочке из такого же каракуля, похожей на невысокую офицерскую папаху, а лицо у женщины круглое, полное и багрово-румяное оттого, что она долго стоит на морозе и ждет его. Женщина смотрит на Игоря глазами-щелочками и улыбается, а он отчетливо видит на ее лице небольшие, черные, закрученные усы и черную бородку, и сердце его останавливается. Это женщина его ужаса. Несколько раз она уже являлась ему и смотрела вот так же, улыбаясь из-под усов, закрученных двумя черными колечками.

## V

Стояла пушкинская зима. Все пронизывалось его стихами: снег, небо, замерзшая река, сад перед школой с голыми черными деревьями и гуляющими по снегу воронами, и старинный дом, где прежде помещалась гимназия, где были коленчатые темные лестницы, на которых

происходили молчаливые драки, где были залы с наощенным паркетом и где на главной лестнице каменные, желтоватые под старую кость ступени были вогнуты посерединке, как в храме, истертые почти вековой бегом мальчиков.

Из репродуктора каждый день разносилось что-нибудь пушкинское, и утром, и вечером. В газетах бок о бок с карикатурами на Франко и Гитлера, фотографиями писателей-орденоносцев и грузинских танцоров, приехавших в Москву на Декаду грузинского искусства, рядом с гневными заголовками «Нет пощады изменникам!» и «Смести с лица земли предателей и убийц!» печатались портреты нежного юноши в кудрях и господина в цилиндре, сидящего на скамейке или гуляющего по набережной Мойки. «Мороз и солнце, день чудесный!» — по утрам декламировал Горик. «Еще ты дремлешь, друг прелестный...» — и он запускал подушкой в Женю, любившую спать долго. «Пора, кра-са-ви-ца...» — слово «красавица» Горик произносил с ужасающей гримасой, чуть ли не скрежеща зубами, чтобы было ясно, что ни о какой красавице тут не может быть и речи.

Вечерами Горик мастерил альбом: подарок школьному литкружку и экспонат для пушкинской выставки (с томящей надеждой получить за него первый приз). В большой «блок для рисования» вклеивались портреты, картины и иллюстрации, вырезанные из журналов, газет и даже, тайком от матери, из некоторых книг и тушью, печатными буквами, переписывались знаменитые стихи. Например: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — и тут же была наклеена вырезанная из газеты «За индустриализацию», которую выписывал отец, картинка, изображающая памятник Пушкину на Тверском бульваре. К сожалению, все картинки, вырезанные из газет, пожелтели от проступившего клея.

Мать Горика была увлечена альбомом не меньше сына. Елизавета Семеновна любила поэзию (особенно сатиру Маяковского, а также стихи Веры Инбер, Саши Черного и Агнивецва, многие из которых помнила наизусть) и сама нередко и с удовольствием писала длинные,



юмористические стихи, которые очень нравились ее сослуживцам по Наркомзему и публиковались в стенной печати.

«Семья Баюковых к столетию Пушкина!» — такой лозунг выкинула Елизавета Семеновна в январе, когда жили на даче во время каникул. Кто выучит больше строк «Евгения Онегина»? Кроме Николая Григорьевича, который редко приезжал на дачу и вообще плохо запоминал стихи — он знал наизусть одно-единственное, попавшееся где-то в ссылке стихотворение про Сакья-Муни: «По горам, среди ущелий темных, где ревел могучий ураган...» — соревновались все, включая бабушку, Сергея и знакомую девушку Сергея Валю, гостившую на даче. С утра до вечера бубнили стихи. К концу каникул победителем определился Горик, второй была Елизавета Семеновна, потом Женя, Сергей, его знакомая Валя, и на последнем месте оказалась бабушка, сумевшая дойти только до: «...потом мусью ее сменил, ребенок был резов, но мил».

Горик получил от матери награду: пакет марок французских колоний. Правда, он и зубрил как сумасшедший. Иногда просыпался ночью в испуге: забыл строчку! И лежал в темноте, мучаясь, не в силах уснуть, пока не вспоминалось. Главное, хотел выиграть у этого хвостуна Сергея и показать его знакомой Вале, что Сергуня вовсе не такой умный, каким представляется. Подумаешь, студент, курит папироски и покрикивает: «Помалкивай» да «Не твое цыплячье дело!»

Радость омрачилась тем, что Сергуню обошел не только Горик, но и мама, и даже Женька. А Сергунина Валя сказала, что она где-то читала, что память развивается за счет ума. Ну, это они просто оправдывались и старались позолотить собственную пиллюлю, и мама им резонно заметила, что Ленин обладал блестящей памятью.

Человек, который выучил за десять дней триста двадцать строк стихов, обязан был победить на школьном конкурсе. И выиграть первый приз: бронзовый бюст Пушкина. Елизавета Семеновна твердо считала, что так и случится, хотя ни единым словом, ни взглядом не высказывала

своей уверенности Горику. Это было нечто само собой разумеющееся, и Елизавету Семеновну не колебал даже тот факт, что Горик учился в пятом классе, а в конкурсе участвовали все классы, вплоть до десятого. Елизавету Семеновну отличали оптимизм и искренняя вера в то, что ее семья — лучшая семья в мире, а ее дети своими способностями, воспитанием и заложенным в них нравственным зарядом превосходят любых других детей, знакомых и незнакомых.

Когда на торжественном вечере Горик услышал, что первый приз получил мальчик из восьмого за статуэтку из пластилина «Молодой товарищ Сталин читает Пушкина», второй приз присужден девочке, которая вышила шелковыми нитками покрывало для подушки на сюжет из «Сказки о царе Салтане», а третий приз отхватил Леня Карась — хорош друг, работал втихаря, от всех скрывал! — за портрет цветными карандашами друга Пушкина Кюхельбекера (правда, надо сказать, портрет был мировецкий, самый лучший на выставке), Горик, обомлевший и ужаленный в сердце, все же в первую секунду подумал о маме. Это будет для нее такой удар! Горик решил не передавать тяжелую весть сразу, сначала немного подготовить.

Ведь мама так надеялась, что их альбом — да, да, именно их альбом, она отдала ему столько сил, приносила журналы, отыскивала повсюду малейшее, связанное с Пушкиным, — возьмет хоть какой-нибудь приз, а он не взял ничего и выглядел как-то бедненько рядом с великолепным хламом, скульптурами, резьбой, вышивками, выжиганием, что все вместе вызывало у Горика острое, как боль в желудке, чувство зависти. Один мальчик сделал чертовски замечательную голову (ту самую, что встретил Руслан), совсем как живую, в натуральную величину человеческой головы, она застыла в миг чиха, приоткрыв рот и сморщив лицо. Шлем был сделан из буденовки, обклеенной золотой бумагой, борода и усы настоящие, из волос черного пуделя. Все были в восторге от этой головы. Но мальчик, ее сделавший, не получил никакого приза потому, что внезапно переехал из своего дома и

больше не учился в школе. Эту голову на второй день убрали с выставки и куда-то выбросили.

Горик не мог смотреть на свой альбомчик, засунутый в укромное место, в угол зала. Там, верно, имелись грязные места, подчищенные кляксы, кое-где из-под картинок выдавался клей, и самое неприятное — на второй странице в заголовке, написанном акварелью, оказалась пропущенная буква «З». Вместо «произведения» получилось «проиведения». Хотелось все это забыть. Вечером, слоняясь по двору, Горик придумывал, как лучше подготовить мать к неприятности. Леня Карась, слонявшийся вместе с ним, не мог понять, что томит его приятеля. К восьми вечера мороз окреп и началась метель. На заднем дворе — на так называемой «вонючке», — когда Горик и Леня уже собрались расходиться, к ним пристали ребята из дома четыре. Это был двухэтажный домишко на набережной, где жила тьма-тьмущая пацанов, издавна враждовавших с мальчишками из большого дома. Пацаны из дома четыре имели непонятно уж почему кличку «трухлявые».

«Трухлявые» остерегались заходить в громадные дворы большого дома, где бывало много взрослых, гуляли шоферы возле машин в ожидании начальства, выходили из своих подъездов вахтеры подышать воздухом и размягчить ноги, куда забредали милиционеры с улицы; зато на набережной, у кино, под мостом «трухлявые», всегда ходившие шайкой, брали свое. Предводительствовал у них Костя Чепец, свирепый драчун. Говорили, будто он носит в рукавице свинчатку.

Перед Гориком из пурги внезапно вырос незнакомый, маленького роста пацан и спросил ясно и звонко:

— По ха не хо?

Горику было известно это ставшее за последние дни крылатым выражение, означавшее в сокращении: «А по харе не хочешь?» Ошеломленный наглостью ничтожного на вид пацана, Горик грозно сказал:

— Ну, хо!

Пацан вытянул руку со сжатым кулаком, и тут же кто-то толкнул Горика в спину с такой силой, что Горик

мотнулся всем телом и его лицо ударилось о кулак пацана. Сзади, ухмыляясь, стоял Чепец.

— Ты чего?

— Да ты сам просил!

— Я?

— Ты!

Колени Горика подгибались от страха, но он шагнул навстречу зловещей и скалоподобной, почти квадратной в черном меховом полушубке, фигуре Чепца и замахнулся. Неизвестно откуда, подобно молнии, удар в подбородок кинул Горика навзничь. Когда он поднялся с кружащейся, затуманенной головой, то увидел, что Леня дерется с тремя или четырьмя «трухлявыми», пальто его растерзано, шапка сбита, и вдруг все «трухлявые» исчезли вмиг, как стая воробьев, а Леня лежит на снегу. Горик подбежал к нему.

Леня встал сам, зажимая ладонью нос.

— Жуба нет... — сказал он и сплюнул темной слюной.

Нашли шапку. Леня приложил снег к носу и к глазу, но кровь не останавливалась. Неожиданно Леня покачнулся и снова рухнул на снег. Голова его запрокинулась. Горик видел однажды, как Леня бился в припадке на полу класса во время перемены, как его держали за ноги и за голову, как лицо его стало неузнаваемо страшным, багровым, дергалось одной щекой, глаза закатились и смотрели почти запавшими глазными яблоками в разные стороны, и все девчонки тогда с визгом выбежали, а мальчишки остались и смотрели. Через несколько минут Леня перестал дергаться, его подняли, увели в учительскую, там он полежал, отдышался и вернулся к уроку географии. Потом ребята спросили, помнит ли он что-нибудь, и он сказал, что не помнит ничего, только как будто красные кони перед глазами: налетели откуда-то, все застлали, одно красное. И еще это красное настигало Леню в драках: он *впадал в ярость*. Ребята знали это, боялись его, даже старшие остерегались трогать. Чепец, наверно, не разглядел в темноте, что нарвался на Леню, оттого они так быстро и смылись.

Горик испугался, что сейчас начнется припадок, но Леня посидел-посидел на снегу, запрокинув голову, с закрытыми глазами, потом протянул Горика руку, тот

его поднял и встал рядом, чтобы Леня мог обнять его за плечи.

— Сволочь Чепец... Бил в поддыхало... — сквозь коло-  
тящиеся зубы сказал Леня. — Ну, я ему сделаю...

Идти к Лене домой, пугать Лину Аркадьевну, было нельзя, решили пойти к Горикю. Стоя на лестничной площадке перед открытой дверью, Горик выпалил матери все: про драку, про то, что Лене нельзя домой, про Ленин третий приз и про свое ничего.

Елизавета Семеновна так затряслась, увидя окровавленного Леню, что ничего, кажется, не поняла и даже не расслышала про конкурс. Но немного погодя она вдруг спросила у Горика шепотом:

— Неужели ничего? Так-таки ничего?

У Лени действительно был выбит зуб. Правда, этот зуб шатался и раньше. Уходя, Леня сказал Горикю, что решил дать одну железную клятву. Какую именно, он откроет это завтра, после второго урока. Горик давно заметил, что Леня Карась всегда полон каких-то секретных фантазий, сопряженных с клятвами и тайнами, но привыкнуть к неиссякаемой Лениной таинственности не мог. Она причиняла ему боль. И заставляла ревниво и преданно любить друга, загадочного, как граф Калиостро. Весь вечер и часть ночи Горик мучился, стараясь догадаться, какую же клятву придумал Леня.

За ужином Сергей, очень ехидный человек, долго и отвратительно шутил по поводу неудачи с альбомом.

— Значит, говоришь, твое «проиведение» не «проивело» впечатления? Выходит, так?

— А ты и так не сделаешь!

— Это другой вопрос. У меня никогда не хватило бы твоего конского терпения...

— Се-ре-жа! — Елизавета Семеновна тихонько стучала пальцем по столу, глядя на брата осуждающе круглыми глазами.

Сергей в ответ ей подмигивал. Она едва заметно качала головой. Он, не обращая внимания, продолжал:

— И я никогда не стремился, чтоб ты знал, к призам, наградам, пышкам и коврижкам. Премии только портят

истинного художника. Чтоб ты знал: Верещагин отказался от звания академика именно по причине...

— А я и не хотел! Подумаешь! — выкрикнул Горик, чувствуя, как в нем поднимается обида, боль и ненависть к Сергею.

— Никогда не надо делать специально на премию. — Сергей наставительно качал пальцем. — Надо — для себя. Для души. Понял? Для собственного удовольствия...

— Не знаю, зачем ты взялся читать ему мораль. Горик, по-моему, все понимает и нимало не огорчен, — сказала Елизавета Семеновна. — Так мне кажется. Правда, Горь? Было бы, ей-богу, глупо огорчаться из-за таких пустяков. А время зря не потрачено. Горик еще лучше узнал и полюбил Пушкина, запомнил много стихов. Познакомился с такими художниками, как Бенуа, Лансере...

Горик крепился, но когда Женья вдруг сказала, что он сделал самый лучший альбом и девочки из третьего «Б» сегодня спрашивали, правда ли, что это сделал ее брат, Горик не выдержал, выскочил из-за стола и бросился в детскую. Все вдруг раскрылось. Он понял, что гнусно и непоправимо унижен. Ему вспомнились вечера под лампой, его труды, надежды, беззаветно испорченные книги. Маленький пацан вышел из пурги и спросил: «А по ха не хо?» — и кто-то предательски, со зверской силой ударил в спину. Лежа на кровати, уткнув воспаленное лицо в подушку, Горик думал о мире, где все так несправедливо и непрочное. Почему? За что? Ему хотелось мстить, но было еще неясно кому. Вообще всем — кто присуждает несправедливые призы, кто выскакивает из пурги, кто бьет в спину, кто издевается и злорадствует по поводу неудач.

Спускаясь в лифте, где густел устойчивый запах лака и дыма хорошего трубочного табака, — с тех пор как пять месяцев назад Николай Григорьевич бросил курить, он стал неприязненно повсюду улавливать запах табачного дыма, даже определять сорта, — Николай Григорьевич вдруг решил, что если будет ждать «роллс-ройс», тогда дело худо, если же подадут «эмку», тогда — обойдется. Никогда прежде ничего не загадывал. Даже в ссылках,

где гадание о будущем было такой же необходимой страстью, как разговор, как охота или писание писем. Но Лиза с ее полудетским и шуточным суеверием в последний год научила его этой игре. Он стал загадывать: на очки, на стариков, на номера трамваев. Просто оттого, что он много думал о Лизе. Это было связано с ней.

Стоял «роллс-ройс», черный, как гроб. Гранитный цоколь и белая облицовка качнулись назад, близко заглядывавшие лица прохожих, путь которых через Охотный ряд на несколько секунд преградил длинный автомобиль, были по-зимнему мрачны. Николай Григорьевич ехал для бесцельного разговора. Он уже понял из двух слов, сказанных только что по телефону, что Давид ничего не делает. Наверное, просто не может. А признаться в том, что не может, для человека, который еще недавно мог, нелегко. Тогда он пойдет к Флоринскому. В пятницу на приеме в честь финского министра иностранных дел Холсти Николай Григорьевич пересилил себя и, подойдя к молодцу румяному, зализанному, в безукоризненном смокинге Флоринскому, сказал, что хотел бы поговорить с ним по срочному делу. «А ты зайди! Мы ж теперь соседи, зайди вечером», — по-простецки отозвался Флоринский. «Ладно. Зайду», — небрежно кивнул Николай Григорьевич, и на сердце его отлегло. Только через минуту он вспомнил, что Арсений Флоринский никогда не говорил ему «ты», что последний раз они разговаривали лет пять назад и что в двадцатом году, когда Флоринский работал в трибунале дивизии, его называли не иначе как «Арсюшка» и Николай Григорьевич гонял его, как простого ординарца.

Неделю назад позвонила семнадцатилетняя дочка Лизиной сестры Дины с просьбой о встрече — но так, чтоб никто не знал. Боялась, наверное, матери. Николай Григорьевич догадывался, что разговор пойдет о Никодимове, отце Маринки, с которым Дина уже пять лет жила, по существу, в разводе. Павел Иванович Никодимов по кличке Папа был старый товарищ по Березовской и Иркутской ссылкам, отличный мужик, честнейший и принципиальный до глупости, а в житейском понимании недотепа

и дундук, из-за чего, кажется, и вышел разлад с Диной. В годы войны в нем что-то надломилось, он стал оборонцем, а в семнадцатом после апреля и вовсе сник, завял и ушел окончательно и твердо в инженерию: строил турбины. Неприятности у него начались давно, с тридцать первого года. Все его за что-то цепляли, тягали, куда-то припутывали: то к делу «Виккерса», то к делу инженеров-уральцев наподобие «промпартии». Давиду и Николаю Григорьевичу удавалось выручать. Однажды в Гагре на отдыхе, лет шесть назад, Николай Григорьевич получил внезапную телеграмму: «Умоляю спасти легкими очень плох зиму не выдержит = Ундина».

С каждым годом Николаю Григорьевичу было все туже обращаться по таким делам: тех, кого он знал, когда работал в Коллегии, давно не существовало, одни умерли, другие исчезли, третьи были оттеснены, четвертые хоть и работали на прежних местах, но настолько разительно переменялись, что обращаться к ним было непосильно. Один Давид не менялся. Но он уже ничего не значил. Или — почти ничего. Там заправляли люди молодые и неожиданные, вроде Арсюшки Флоринского. Павла все-таки удалось вытащить из группового дела, Николай Григорьевич устроил его в системе своего комитета: в трест «Уралосталь». А Дина, так хлопотавшая за мужа, ехать с ним на Урал отказалась и осталась с дочкой в Москве. В конце прошлого года возникла необходимость послать специалиста в Англию на завод, поставлявший в «Уралосталь» турбины. Лучшей кандидатурой был, конечно, Павел. Николай Григорьевич предвидел затруднения, но все-таки утвердил кандидатуру Никодимова, хотя Мусиенко, заместитель Николая Григорьевича и куратор двадцати уральских заводов, возражал очень резко. Конфликт разросся, Николай Григорьевич не уступал, Мусиенко упорствовал (тезисы были элементарны; с одной стороны — «политическое недоверие», с другой — «бездоказательные обвинения» и «деловые качества»), дело дошло до СНК, а Павел жил в своем Златоусте, ничего не подозревая. Николай Григорьевич взял верх, Никодимова утвердили. В начале января его вызвали в Москву для оформления



командировки, а десятого января Николай Григорьевич получил официальное сообщение — принес плотоядно сияющий Мусиенко — о том, что Павел арестован в поезде по дороге из Челябинска в Москву, и ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности. Уже прошел месяц, но подробностей выяснить не удалось, а несколько дней назад Маринка показала тетрадь Павла с его записями о своих мытарствах 1931-го и 1932 годов. Называлась тетрадка: «Чего я никогда себе не прощу».

Николай Григорьевич перечитал тетрадь дважды. Обстоятельным канцелярским слогом, каким пишутся инженерные отчеты, Павел излагал, как и в чем его обвиняли в 1931 году и почему он подписал тогда «сознание». Из записи получалось, что его просто околпачили, или, скорее, *соблазнили*, в исконном значении этого слова, близком к понятию смущения, околдования духа. Интересен был метод соблазна. На Павла давили именно по линии его «дундуковства», то есть сугубой и дурацкой совестливости. Тетрадь привезла незнакомая женщина, родственница тех людей, у кого Павел снимал в Златоусте комнату. По-видимому, записи делались год или два назад. Зачем? Скорее всего, это был род исповеди, мемуаров для себя и одновременно некий обет: «Никогда больше ложных показаний, следовательноского вранья я не подписывал и подписывать, разумеется, не стану».

Николай Григорьевич обещал привезти тетрадь Давиду, с которым он говорил третьего дня по телефону и который сказал, что попробует навести справки о Павле. И вот он ехал к старику — без всякой надежды. Он опять подумал о Лизе, и его сердце стиснула нежность. Но это была нежность к чему-то гораздо большему: к февральскому вечеру, к снегу и к темным домам, и Лиза была частицей всего этого. Он вытащил из портфеля тетрадь, включил лампочку в потолке своего тихо, по гололеду, катящегося гроба и, приблизив тетрадь к близоруким глазам, стал листать ее, ища одно место. Это было чрезвычайно важное и нужное место. В нем туманился какой-то ответ — может быть, тень ответа — на то мучающее

недоумение, что было главной тоской и главной загадкой последних лет, последнего месяца.

«...И досаднее всего, что я не столько струсил, написавши в 1931 году две строчки «сознания», сколько проявил доверие к людям, вовсе его не заслуживавшим. Теперь тем более мне необходима выдержка! Возьмем литературный пример: Хаджи-Мурат Л. Н. Толстого. Совершенно реальный тип, взятый с натуры. Он рассказывает русскому офицеру, как он растерялся, когда при нем стали убивать его начальника и молочного брата, и он один ускакал от многочисленных убийц. «Как же ты струсил, ты, знаменитый храбрец?» — спросил его офицер. Да, он струсил, но он стиснул зубы и больше никогда этого не делал — всю жизнь!

Другой пример: евангельский апостол Петр. Петр, наверное, даже не существовал в действительности. Но эта живая фигура, несомненно, списана с какого-то живого человека. Он был предан Христу, и, когда того стали арестовывать, он выхватил нож и ранил того, кто пытался арестовать. Но Христос взял да и запретил Петру защищать его! И Петр перестал что-либо понимать. Не зная, что делать, он даже стал отречься от соучастия с Христом, когда у ночного костра страж начал признавать его как ученика Христа. А потом он одумался и полностью оправдал свое имя Петр, что значит — камень. Разгадка в обоих случаях такая: не трусость решила все. Решили растерянность и недоумение. Ведь и у меня огромную роль сыграло изумление — разве способны эти блюстители законности на пакость? И вывод один: стисни зубы и скажи: «Раз обманули — больше не обманете...»

Машина поворачивала, съезжая с моста. Со стороны «Ударника» темным потоком шла толпа — наверное, только что кончился сеанс, — некоторые бежали, норовя проскочить перед самыми фарами медленно едущего «роллс-ройса». Арка, поворот налево — а двор, в котором жил Николай Григорьевич, остался справа, — и машина остановилась напротив четырнадцатого подъезда.

С Давидом, как с братом Мишкой, говорить можно было в открытую. Николай Григорьевич однажды и на

всю жизнь, со станка Байшихинского на Енисее, когда впервые увидел маленького, бородатенького еврея с глазами навывкат, услышал его разговор о письмах, которые тогда сочинялись дураками в надежде на амнистию по случаю романовского юбилея, уверовал в то, что бородатенький — умница.

Жил Давид на девятом этаже в квартире из двух комнат, загроможденных книжными шкафами. Семьи у Давида никогда не было. Лет восемь назад он взял из детдома парнишку Вальку, сейчас Вальке было пятнадцать, учился он скверно, болтался во дворе со шпаной. Какой из Давида воспитатель, когда он до ночи, массажи, воспитывал других: в комиссиях, комитетах, на пленумах? Дома оставалась старушка Василиса Евгеньевна, навек преданная Давиду за какое-то его «святое дело» в восемнадцатом году, кого-то он спас от расстрела. Спасал Давид многих. Казнил тоже. Он работал в партконтроле, в комиссиях по чистке, в Прокуратуре.

Старик-коротышка с большой головой младенца в белом пуху, в пенсне, с недовольно оттопыренными толстыми губами, в сползших с живота старых пижамных штанах и в пижамной же, но другого цвета кофте и в шлепанцах на босу ногу встретил Николая Григорьевича в коридоре. Он кивнул и, не сказав ни слова, повернулся и пошел шаркая, в кабинет. Старик не выдержал во рту шелухи, всех этих бессмысленных «Заходите», «Пожалуйста», «Как дела?», «Будьте здоровы».

Он схватил тетрадку и сразу стал читать. Сочинение было длинное, он читал долго, изредка кроме сопения издавая носом и горлом еще другие звуки, вроде всхрапывания и слабого кряхтения. Вошла старушка в платке с сохлым коричневатым личиком, Василиса Евгеньевна, принесла чай. Пока Давид читал, она примостила свое легкое, из воздушных косточек, тельце напротив Николая Григорьевича, на краю кресла, и шепотом спрашивала о доме, все ли здоровы, как Елизавета Семеновна, как бабушка Анна Генриховна, как дети и не надо ли творожка, она взяла два кило в распределителе, а им много, никто не ест...

Давид вдруг отшвырнул тетрадь:

— Не могу я читать этого! Мне вспоминается софизм гимназических времен: один китаец сказал, что все китайцы лгут. Вот он утверждает, что он честный человек, и что лишь однажды сказал неправду, признав себя нечестным человеком, и что никогда больше неправды говорить не станет. Так? Сегодня утром мне сообщили — это досконально точно, — что недавно на допросе он признался в том, что состоял в террористической организации, что с двадцать девятого года завербован германской разведкой, и назвал четырнадцать человек своих сообщников.

— Господи, спаси и помилуй... — Тихонько зевая и крестя рот, Василиса Евгеньевна побрела из комнаты.

— Так. Ну? — сказал Николай Григорьевич.

— Стало быть, я уже ничего не понимаю. Когда он был честен? Тогда ли, когда впервые назвал себя вредителем, состоявшим в терорганизации? Или тогда, когда признал эти показания ложными и поклялся никогда больше не лгать? Согласись, что оба утверждения — хотя они взаимно исключают друг друга — при той новой информации, которую мы получили сегодня утром, ведут к *единому* выводу...

— Постой, ты можешь просто, без талмудизма, сказать: ты веришь в то, что Павел враг?

Положив короткие ручки на колени, старик печально и твердо смотрел Николаю Григорьевичу в глаза. Такой же слегка остекленевший взгляд был у него — Николаю Григорьевичу вспомнилось, — когда судили Путятин в двадцать первом году. Вот оно, великое минералогическое свойство этого характера: проходят десятилетия, а он остается самим собой.

— Я Павла знаю тридцать лет, так же как ты, — сказал Давид. — Он был отчаянный парень. Он же был бомбист. В Березове, помню, он написал брошюру о борьбе с провокацией, очень дельную...

— Когда это было.

— Коля, запомни: люди меняются только внешне, надевают другое платье, другие шапки, но их голая суть

остается. Почему ты думаешь, что Павлу все должно было нравиться, что происходит? Ничто не должно было вызывать протеста? Я знаю, он давно отошел от политики. Но именно поэтому он мог сохранить старомодные представления о формах протеста, борьбы...

— Да не верю я в это!

— А я не верю в то, — закричал вдруг Давид, — что ты, я, Павел, любой из нас, мог бы подписать заведомую неправду под давлением ли...

— Но ведь подписывают! И в августе, и вот в январе — мы же с тобой говорили... И ты говорил о «временном безумии»...

— Там дело другое. Другие законы, жанры! Там вопросы большой политики. В конце концов, чего греха таить, и Каменев, и Зиновьев, и Гриша Бриллиант, и Пятаков никогда не относились к Кобе с любовью, это известно. И они политики до мозга костей. Они могли и подписать и наговорить на себя бог знает что — действуя, как я уже сказал, по законам жанра. Но чтобы наш Папа, Пашка Никодимов, который давно уже не играет в эти штуки и не хочет знать ничего, кроме своих турбин и котлов, чтобы он подписал ложь под давлением ли страха, посулов, шантажа, чего угодно — *не может быть!* Исключено! Брехня! Попытки, да? Какого черта? Зачем? Вздор, Коля, архивздор и мировая чепуха. Когда в Орловской тюрьме следователь, мерзавец, пытался заставить меня назвать товарища по одному эксу — мы взяли тогда кассу в Витковском переулке, без единого выстрела, товарищем был, кстати, Жорж Рапопорт, ты его должен помнить, который бежал потом в Америку с Завильчанским, — так вот я ему, мерзавцу, сказал: «Скорее волосы вырастут на этой ладони, чем я скажу вам, милостивый государь, хоть слово!» И сунул ему ладонь в нос, вот этак! — Давид приблизил свою ладонь к лицу Николая Григорьевича. — Меня — в одиночку, я — голодовку. И голодал восемнадцать дней... А тут — выдать четырнадцать человек! Вот что меня сразило. Ты представляешь, что бы мы сделали с ним в Байшихинске, если б узнали о нем такое? Убили бы, как собаку!

Николай Григорьевич думал: «А вдруг Давид прав?.. Ведь он не говорил этого об Иване Снякине — хотя, правда, об Иване ему ничего не удалось узнать... Человек, доведенный до крайности, отвергнутый, в тоске, черт его знает, на что способен».

— Старые впечатления оседают в нас, как хронические болезни, вроде радикулита или язвы, и мешают воспринимать, Коля...

Мысль о том, что Давид прав, постепенно вникала в Николая Григорьевича, превращаясь в убеждение и в некоторое даже облегчение души. Было, конечно, больно думать о Павле, о его гибели, о судьбе Маринки (за Дину Николай Григорьевич был почему-то спокоен), но одновременно возникло чувство покоя, ибо восстанавливался разрушенный хаосом и необъяснимостью порядок мира. Николай Григорьевич вдруг спросил — этого потребовало возникающее чувство покоя, желавшее быть полным:

— Среди тех четырнадцати, кого он выдал, нет ли моей фамилии? А? — Он засмеялся. — Могла быть. Я устроил его в «Уралосталь»...

— Не знаю. Зачем спрашивать чепуху?

— Я рекомендовал его недавно в командировку на заводы Дженкинса, в Англию. Боролся за него люто, так как считаю его лучшим на Урале. Кроме того, он ведь какой-то мне родственник, очень дальний... — Николай Григорьевич опять коротко засмеялся. Он почувствовал, что говорит унижительно. — Хотя теперь уже никакой.

— Не знаю. Мне неизвестно, — сказал Давид сухо.

Ему не понравились слова Николая Григорьевича, которого он любил и считал честнейшим работником. Даже шутовское предположение, что Николай Григорьевич мог попасть в список заговорщиков, показалось ему диким и дурацким. Он сердито засопел, засвиристел, выпуская воздух через нижнюю выпяченную губу, готовясь тотчас же и очень грубо обрезать Николая Григорьевича, если тот вздумает развивать тему дальше. Но тут в комнату без стука и спроса вошел долговязый, на голову выше Давида, белобрысый Валька и скрипуче сказал:

— Давид, дай мне полтинник на кино!

Старик отпер шкаф, стал рыться, бренча копейками, в кармане брюк. Валька стоял посреди комнаты, подбоченясь и в нетерпении слегка выстукивая одной ногой чечетку.

— Как ты говоришь с отцом? Какой он тебе Давид? — вдруг озлившись, сказал Николай Григорьевич.

— А что? — Валька посмотрел невинно. — Он же не Иван, не Селифан какой-нибудь, верно же? Давид, он и есть Давид...

Хотелось щелкнуть его по башке, имевшей форму огурца, башке второгодника и хитрого тупицы, но Николай Григорьевич сдержался, заметив метнувшийся к нему испуганный и какой-то покорный взгляд Давида. Николай Григорьевич отошел к окну. Он слышал, как Давид спросил: «А какая картина в «Ударнике»?» — и скрипучий хохоток Вальки: «А ты чего, собираешься пойти?»

Уже месяцев шесть Давид не работал в Прокуратуре. Его выжил Вышинский. Теперь Давид занимал какую-то почетную, но десятистепенную должность в Наркомпросе, писал статьи, выступал с лекциями. Это была, конечно, отставка.

Он работал сейчас над статьей, посвященной 25-летию Ленского расстрела, и Николай Григорьевич покинул его за столом, заваленным книгами и листами бумаги, исписанными крупным, поспешным почерком человека, работающего в упоении. Давид обещал сделать все, чтобы помочь Павлу материально — послать деньги, вещи. Но морально он ему не сочувствовал. Выдать! Четырнадцать человек!

Ощущение возникающего покоя вдруг пропало. Николай Григорьевич ушел, подавленный тоской: то была не личная, не направленная на самого себя тоска, а тоска вообще, смутная и не имевшая границ и оттого не поддававшаяся лечению. Может быть, так подействовало одиночество Давида — на девятом этаже, в пещере из книг и старых бумаг, одиночество со старушкой Василисой Евгеньевной, которая сидела вечерами на кухне и читала «Пионерскую правду» (газета выписывалась специально для нее), и с оболтусом Валькой, убежавшим до ночи.

Николаю Григорьевичу захотелось скорее домой, к Лизе, к детям, к тому, что было беззаветно, прочно, единственно, но в этот вечер он пришел домой поздно.

Он встретил Флоринского.

Во дворе, возвращаясь от Давида, наткнулся на его автомобиль. Флоринский с сыном, дочкой и двумя то ли приятелями, то ли адъютантами, то ли телохранителями приехали с «динамовских» кортов, где смотрели какие-то теннисные соревнования. От Флоринского пахло коньяком, и он с преувеличением, азартным радушием стал заывать Николая Григорьевича зайти к нему сейчас же в гости. «Ты же грозился! Пользуйся случаем! Обычно я прихожу в четыре утра...»

Это «ты» и развязный тон опять резанули Николая Григорьевича, он хотел было холодно отказаться, сославшись на то, что поздно и его ждут дома, — Давид сказал, что Флоринский опасный тип и соваться к нему не следует, — но заколебался, подумав, что такого случая может действительно больше не представиться. Он посмотрел на окна своей квартиры в углу двора. В столовой горел оранжевый свет, в детской было темно. Значит, ребята легли, он опоздал. Лиза знала, что он зайдет к Давиду, и пока еще не беспокоилась. Зайти? В этом громадном доме — доме-городе с населением в десять тысяч человек — жило множество знакомых Николая Григорьевича, но он почти никогда и ни к кому не заходил в гости. Давид был свой, он не в счет. А сейчас тянуло зайти, узнать, даже не узнать, а *почувствовать* — Арсюшка, конечно, не станет рассказывать всего, что знает, а знает он достаточно, он все-таки там, при кухне, где пекут и варят, и на его руках и платье остаются запахи этой кухни, этой готовки, варки, горячих брызг.

Пока шли к подъезду и потом поднимались на лифте, обсуждали теннисный матч какого-то гастролера с нашим сильнейшим чемпионом. Николай Григорьевич ничего не понимал в этих спортивных делах и слушал разговор вполуха. Наш чемпион проиграл, кажется, в пух и прах, и все этим возмущались. Особенно возмущался сын Флоринского, он был просто бледен от гнева: «У него это



не первый раз! Саботажник чертов! Отец, ты должен сказать...» «Я уже говорил, — кивал Флоринский. — Совсем потеряли ответственность...»

Дочка Флоринского вдруг спросила:

— А Игорь уроки уже сделал?

— Не знаю. — Николай Григорьевич, улыбаясь, посмотрел на девочку. Она была рыжеватенькая, лобастая, с серьезным и каким-то затуманенным взглядом. — Ты знакома с Игорем?

— А мы в одном классе. У нас сегодня был Пушкинский вечер...

Дверь отворила жена Флоринского, крупная, восточного типа женщина, считавшаяся красавицей. Про нее что-то рассказывали, но Николай Григорьевич забыл, что именно. Что-то о ее прежних мужьях. Усадили за стол, стали угощать, Николай Григорьевич выпил рюмку коньяку, очень настаивали. Шел разговор о вчерашнем концерте в Большом театре, Козловский был изумителен, Нежданова бесподобна, Андрей Сергеевич сделал очень глубокий доклад, какой анализ, ничуть не хуже Анатолия Васильевича. Николай Григорьевич наливался угрюмостью. «Хуже! Анатолий-то Васильевич не дошел бы до того, чтобы доклад о Пушкине заканчивать словами: «Книги Пушкина накаляют любовь к Родине, к великому Сталину».

Приход сюда был бессмыслен. Флоринский рассказывал о каком-то приеме у Ежова третьего дня, в честь велопробега пограничников. Агранов сострил, Николай Иваныч поморщился. Николай Иваныч сказал, Николай Иваныч провозгласил... Прислуга, дородная дама в наколке, чем-то похожая на жену Флоринского — такая же черноволосая, гладкая, с белой кожей, — несла, трясясь и придерживая плечом и подбородком, поднос с закусками, нагруженный как подвода. Арсюшка хотел сначала ошеломить, а потом разговаривать. Николай Григорьевич, скучая, оглядывал столовую, имевшую музейный вид: какая-то темная старина в бронзовых рамах, фарфор, хрусталь, буржуазность. «Ну и ну! — думал Николай Григорьевич. — Кто ж тебе ворожит? В прежние времена твое бы место — в райотделе, уполномоченным».

Арсений Иустинович Флоринский, хоть и выпил за день немало, был совершенно трезв и сквозь шуточный разговор, закуску и музыку (дочка завела патефон с французскими пластинками) смотрел на нечаянного гостя с тайно-жадным вниманием. Заметной чертой характера Арсения Иустиновича, чертой, определявшей многие поступки и, может быть, само поступательное и энергичное движение его жизни, было редкое злопамятство. Коварство природы заключалось в том, что столь отвратительным свойством она наградила человека на вид простодушного, курносого, со здоровым спортивным румянцем, располагающей улыбкой и голубыми глазами.

В злобной памяти Арсения Иустиновича хорошо сохранился эпизод: осенью двадцатого года он, молоденький мальчик в кожаном сюртуке до колен, с маузером на боку, секретарь ревтрибунала города Владикавказа, примчался на дрезине в Ростов, где стоял штаб фронта, и напрямик — в бывший парамоновский особняк, на второй этаж, к члену Реввоенсовета Баюкову. Трибунал города Петровска присудил к расстрелу следователя местной ЧК Бедемеллера А. Г., попросту Сашку, двоюродного брата Арсения Иустиновича, за использование мандата ЧК в корыстных целях, вымогательство и грабеж населения. Приговор, как полагалось, был послан на утверждение в РВТ фронта, и Сашкиной жизни оставались считанные часы. Баюков среди членов РВС был известен как либерал, писал обыкновенно «Приостановить исполнение», кроме того, он еще с девятнадцатого года, с Саратова, знал Арсения Иустиновича, называл его Арсюшкой и однажды помог его матери-старухе, послав ей мешок муки. К изумлению Арсения Иустиновича, Баюков очень резко и грубо ему сказал: «Мы можем простить любого, но не чекиста». И Сашка Бедемеллер, не доживший до двадцати трех лет, был расстрелян на рассвете в балке под городом. Арсений Иустинович отлично запомнил этот день — темный, удушливый ноябрь — не потому, что сильно горевал о Сашке, но потому, что Баюков так беспощадно отверг его доверительную и почти что слезную просьбу. В этой беспощадности было главное, что поразило.

Ведь Баюков был добрый человек и к нему, к Арсюшке, относился почти как к сыну или младшему брату! И хотя в памяти остались даже мысль той внезапной, злорадной ненависти: «А ЧК совсем не то, что ты думаешь, чертов каторжник!» — и ощущение, что он, юноша, что-то угадал и увидел дальше, чем старый революционер с шестнадцатилетним стажем, но остался также великий и заразительный пример беспощадности — беспощадности, *имеющей право*.

Потом годами не виделись, Арсений Иустинович учился, работал в следственных органах на Украине, в Закавказье, встретились году в двадцать пятом на Пленуме Верхсуда в Москве — «старый революционер» был тогда крупный чин в Военной коллегии, носил четыре нашивки, называл Арсения Иустиновича по-прежнему Арсюшкой и улыбался покровительственно, как юному провинциалу, — потом Арсения Иустиновича перевели в Среднюю Азию, там была сеча, стреляли и убивали, но он выбрался невредимым, попал в Семипалатинск, оттуда в Москву, выдвинулся после закрытого «дела военспецов», где сумел проявить себя почти гениально, со «старым революционером» уже не встречались, того сшибли на хозяйственную работу, как и следовало ожидать, и он там чах и тух со своими каторжанскими взглядами, занимаясь неведомо чем. Теперь он прозябал в СНГ, в каком-то занюханном, бесполезном комитете. И от прежней важности не осталось ничего, кроме лысины и очков. Он-то думал, наверное, что о нем забыли, и раза два на каких-то дрянных приемах — на большие приемы его, разумеется, теперь не зовут, кому он интересен, — делал вид, что не замечает или не узнает Арсения Иустиновича, но Арсений Иустинович помнил все исключительно прекрасно. Его память была как сейф, где хранилось множество ценных вещей. Он помнил, например, имя женщины, с которой у «старого революционера» был, по слухам, роман в Ростове, и чья она была родственница, и что о ней говорил один человек, причастный к назаровскому мятежу.

Едва обосновавшись на новой должности, в чине комиссара 1-го ранга, он сразу поинтересовался рядом лиц,

в том числе Баюковым. Бумаги были занятные. Была, например, справка, составленная более года назад, в январе 1936 года, начальником 10-го отдела ГУГБ НКВД старшим лейтенантом имярек о том, что Баюков является скрытым троцкистом, контрреволюционно настроен и был связан со Смилгой, Зиновьевым, Каменевым, теперь уже мертвецами. Одной этой справки было достаточно, чтобы вбить ему очки в лоб, но день еще не настал. Когда он подошел в финском посольстве как ни в чем не бывало, стараясь сохранять остатки бывшего величия, и, криво посмеиваясь, попросил о встрече, Арсений Иустинович даже обрадовался: недурно было бы разработать его по-подробней, вплотную. Пусть зайдет, поглядит квартиру. Арсений Иустинович гордился новой квартирой, куда переехал недавно из 4-го Дома Советов: сто двадцать метров одной жилой площади! Кабинет гигантский. Жаль, что работать в нем не удастся, дома только завтракаешь да спишь. Квартира до прошлого лета принадлежала одному из тех, чье поганое имя будет навеки проклято человечеством. Ремонт был полный, даже сменили паркет.

Радостное чувство власти, но не грубой полицейской, а истинной, тайной, имеющей близость к року и божественному промыслу, — тончайшее наслаждение, ради которого единственно и стоило жить, ибо все прочие оргазмы жизни были так или иначе доступны миллионам, как общий городской пляж в Ялте, родном городе Арсения Иустиновича, где он родился в конце века в семье судебного чиновника, обнищавшего от болезней и умершего в один год с Толстым, — не покидало Арсения Иустиновича, и он с истомной доброжелательной улыбкой смотрел на Николая Григорьевича и кивал ему, ободряя глазами: «Балычка, Николай Григорьевич! Икорки бери! Еще рюмку, Николай Григорьевич!»

Метель прошла, было морозно, ясно, на дворе тихо лежал оранжевый — от тысяч абажуров, смотревших в окна, — снег. Дворники усердно скребли, стучали, торопясь расчистить дорожки для гуляющих, что вышли по совету кремлевских врачей на вечерний терренкур: похватать морозцу перед сном. Николай Григорьевич тоже

шел медленно, дыша морозом, разгоняя легкий коньячный хмель. Странный фрукт этот Арсюшка Флоринский! Час разговаривали, и ничего не разъяснилось, все только затемнилось и запуталось. Не дурак, значит, если умеет путать. Нет, не дурак, не дурак. То есть он дурак, разумеется, но не в том смысле, в каком можно подумать, поглядев на него и поговорив с ним десять минут. На такие места, куда его вытащили, люди зря не попадают. О Павле он расспросил подробно, записал, обещал узнать и *выяснить, в чем дело*, но у Николая Григорьевича во время разговора неотвязно было гадостное ощущение, будто все, что Арсюшка спрашивает якобы сочувственно и записывает тонким карандашиком на листах бумаги, лежавших в красивом, из красной кожи, бюваре посреди стола, нужно ему не для того, чтобы помочь Павлу и установить истину, а для того, чтобы как-то и что-то выудить из него, из Николая Григорьевича, вызнать какие-то сведения. И как ни стремился Николай Григорьевич свести разговор на тон небрежно-открытой приятельской беседы, Арсюшка исподволь, но упорно противился этому, и выходило похоже на допрос *свидетеля по делу*. Он даже имел наглость поучать Николая Григорьевича и советовать, как себя вести в нынешние времена («Времена серьезные в высшей степени. Можешь мне поверить, я-то знаю. Через несколько дней — скажу по секрету — будет Пленум ЦК по вопросам внутрипартийной демократии... На местах страшно обюрократились, а о бдительности забыли... Говорят, выступит Иосиф Виссарионович... Главное звено: борьба с нарушителями демократии, с врагами, которые маскируются партийными билетами... Псевдокоммунисты... Мой совет: оборвать все связи с оппозицией, все личные отношения — я знаю, формально ты никогда... но фактически твои дружеские...»).

Николай Григорьевич накалялся злостью, но терпел, убеждая себя в том, что все это, быть может, принесет какую-нибудь пользу Павлу. И, только уходя, понял, что никакой пользы не будет. Смутная тоска, напавшая на него в квартире Давида, охватила с такой силой, что защемило

сердце. Вдруг он увидел ясно: Арсюшка далеко уже не Арсюшка. Время этой собачьей клички («Арсюшка, фас!») давно прошло. Арсений Иустинович Флоринский, действительный тайный советник, сенатор, вхож к государю, один из заправил департамента, зимами в Ницце... И то, как он подал руку на прощание, как блеснули департаментским холодом его глаза — он даже не вышел в коридор, простился в дверях кабинета, — было фактом, над которым не стоило потешаться, его следовало молча и хладнокровно принять.

Дома были гости: Дина со своей матерью, умненькой старушкой Верой Андреевной, и дочкой Мариной. Марина сразу сделала Николаю Григорьевичу знак, чтобы он не проговорился при матери. Через несколько минут она забежала в кабинет, спросила шепотом:

— Дядя Коля, ну как?

Николай Григорьевич сказал только, что Давид Шварц обещал помочь посылкой вещей и денег. О чудовищном признании Павла рассказывать было, конечно, нельзя, да Николай Григорьевич и не верил в него по-настоящему.

— У вас неприятности из-за папы? — спросила Марина.

— С чего ты взяла?

— Анна Генриховна сказала, будто вы за него ходатайствовали и теперь...

— Никаких неприятностей. Как видишь, я жив-здоров.

В столовой две бабушки, Анна Генриховна и Вера Андреевна, играли на пианино в четыре руки. В канделябрах старого «Беккера» горели тонкие свечи, оставшиеся от детской елки, их двойные отражения колебались в черном окне, и пахло сладкой свечной гарью и домашним печеньем с корицей. Николаю Григорьевичу вдруг страстно захотелось горячего, крепкого чая.

Перед сном Николай Григорьевич стоял у окна в кабинете — был миг тишины, гости ушли, Лиза была в ванной, бабушка спала в своей комнате за портьерой — и, погасив свет, оставив только ночник над диваном, смотрел на двор, на тысячи окон, еще полные вечерней жизни,

оранжевые, красные, редко где попадался зеленоватый абажур, а в одном окне из тысяч горел голубоватый свет, и думал как-то странно, разом о нескольких вещах, мысли накладывались пластами, были стеклянны, одна просвечивала сквозь другую: он думал о том, как много домов было в его жизни, начиная с Темерника, Саратова, Екатеринбурга, потом в Осыпках, в Питере на Четырнадцатой линии, в Москве в «Метрополе», в салон-вагонах, в Гельсингфорсе на Альбертгаттан, в Дайрене, бог знает где, но нигде не было дома, все было зыбко, куда-то катилось, вечный салон-вагон, это чувство возникло только здесь, Лиза и дети, жизнь завершается, должно же это когда-то быть, ведь ради *этого*, ради этого же делаются революции, — но вдруг показалось с мгновенной и сумасшедшей силой, что и эта светящаяся в ночи пирамида уюта, вавилонская башня из абажуров тоже временна, тоже летит, как прах по ветру, заместители наркомов, начальники главков, прокуроры, командующие, бывшие каторжане, члены президиумов, директора, орденосцы выключают свет в своих комнатах и, наслаждаясь темнотой, летят куда-то в еще бóльшую темноту — вот что на секунду померещилось Николаю Григорьевичу перед сном, когда он стоял у окна.

...Сколько Горик себя помнил, он всегда чем-то тайно и тихо гордился: альбомом марок, велосипедом, мускулами, умением выбивать чечетку, отцом, дядей, двоюродным братом, домом, в котором жил, и многим другим, иногда совсем нелепым и незначительным. Года два назад он гордился тем, что большой палец левой руки мог выгнуть почти под прямым углом, чего не удавалось сделать никому в классе. Мало того, он сам не мог сделать того же большим пальцем своей же собственной правой руки! Это удивительное свойство левой руки было, разумеется, предметом зависти. Некоторые мучились переменами напролет, стараясь выгнуть свои большие пальцы под прямым углом, но все было тщетно. А он выходил гуляючи из класса, правая рука засунута в карман, а левой небрежно помахивал, как бы между прочим, как бы посылая воздушные приветы, — и большой палец его

левой руки, выгнутый легко и безукоризненно, стоял как взведенный курок. Горик гордился и другими таинственными свойствами своего организма. Он, например, не выносил клубники: сейчас же покрывался сыпью. Своими толстыми губами он умел издавать звук, похожий на звук пробки, вылетающей из бутылки.

В прошлом году Горик очень гордился своим искусством игры в «города». Никто не мог его победить, ни в школе, ни дома. Однажды играли дома, и, когда все выдохлись на букву «а», Горик назвал Асунсион (у него-то было еще штук десять в запасе, самых заковыристых, вроде Антофагаста, Антананариво, Акапулько), а отец вдруг засмеялся: «Ну, брат, не сочиняй, хитрый Митрий!» «Кто сочиняет? — возмутился Горик. — Это столица Парагвая!» — «Брось, брось! Придумал тут же, не сходя с места». Горик побежал в свою комнату и принес атлас. Отец был изумлен. А Горику стало неловко оттого, что он слишком наглядно доказал отцу, что знает географию лучше, чем он, и хотя он мысленно нашел этому оправдание — отец был сиротой, воспитывался в детском приюте и никогда в жизни не собирал марок, а вся Горикина география пошла от марок, — все же он чувствовал себя виноватым. Не надо было бежать за атласом. Отец сам попросился, стал спорить. И, однако, сердце Горика тихо и тайно ликовало: в мире уже были вещи, известные ему и неизвестные отцу.

Горик понимал, что тщеславиться и гордиться чем-либо нехорошо, но, как курильщик, который тянется к табачному дурману и не может жить без него, хотя понимает всю его вредность, он уже не мог существовать без знакомого и привычного щекотания гордости, гордости все равно чем, но постоянной, иной раз даже бессознательной. Бывало, он невольно обнажал свое тщеславие напоказ, и это кончалось конфузом. Как-то на уроке немецкого языка вместо того, чтобы поднять руку и попросить у учительницы разрешения выйти, Горик обратился к ней с длинной немецкой фразой: «Erlauben Sie mir bitte gehen gorthin wohin der Kaizer zu Fubgeht». Класс затих. Никто ни шиша не понял. Учительница кивнула, и он



гордо вышел. Конечно, он знал немецкий намного лучше всех в классе потому, что третий год занимался с Марией Адольфовной. Когда он вернулся, его встретили злобным хохотом. «Ну как? Все в порядке? Донес? — кричал Володька Сапог. — Успел?» Пока Горик отсутствовал, учительница, разумеется, объяснила его вопрос, но это восприняли не как изысканную аристократическую шутку, на что Горик рассчитывал, а как грубую похвальбу и немедленно ему отомстили.

Другим свойством, тайно изнуравшим Горика не менее, чем тщеславие, была ревность. Это было тайное тайных, спрятано так глубоко, что он сам себе не признавался в том, что это было. Но — было, и мучило, и осталось потом надолго одним из самых острых, терзающих воспоминаний. Все считали, что Леня Крастынь, или, по-школьному, Леня Карась, выдающийся талант нашего времени. Леня увлекался палеонтологией, джиу-джитсу, научно-фантастическими романами — он писал их сам в толстых общих тетрадах, — рисованием и закалкой воли. До декабря месяца он ходил в коротких штанах, закалял волю и тело. Кроме того, он *впадал в ярость*. Он был близорук, иногда приходил в школу в очках, страдал плоскостопием и был самый низкорослый в классе, но его боялись трогать даже такие дылды, как Тучин и Меерзон по прозвищу Мерзило, зная о том, что он *впадает в ярость*. И такой человек был другом Горика. Впрочем, настоящим ли? А может быть, Горик просто пользовался тем, что они были соседями, он жил в седьмом подъезде, Леня в восьмом, и они часто ходили вместе в школу и вместе возвращались? Многие мечтали о дружбе с Леней. Володя Сапожников, и Марат, и Меерзон жили в этом же доме, но в других дворах. Неужели же только то счастливое обстоятельство, что Горик и Леня случайно оказались жильцами соседних подъездов — вот что томило! — и явилось причиной тех долгих увлекательных бесед по дороге из школы домой и из дома в школу, которые они вели о бронтозаврах и птеродактилях, теории Джинса, испанских событиях и борьбе кардинальской гвардии с мушкетерами короля?

Обычно Леня звонил в четверть девятого: «Ты готов?» «Готов!» — отвечал Горик, даже если не был совсем готов, что случалось чаще, ибо он был соня и «кунктатор», то есть «медлитель», как говорил отец. Поспешно одеваясь, дожевывая на ходу, он хватал портфель и бежал вниз по лестнице. Они встречались под аркой. Если Леня оказывался там раньше и ждал Горика минуту или полминуты, он отпускал какое-нибудь ехидное замечание: «Не мог оторваться от пончиков?» — или же: «У тебя яичница на подбородке, милейший». Иногда он мог сказать злое: «Только такие барчуки, как ты, жрут по утрам пирожные». Вообще Леня был вспыльчив, легко закипал, но так же легко отходил, обид не помнил. Если он не звонил в четверть девятого, Горик иной раз звонил ему сам, но чаще самолюбие удерживало его от звонка. Раза два было так: он звонил, Карась говорил: «Ты иди, я немного задерживаюсь», а потом Горик выходил и видел, как Леня спокойно шествует с Володькой, или с Маратом, или с обоими вместе. Володька Сапог и Марат Ремейко жили во дворе, где кинотеатр в четырнадцатом подъезде, и обыкновенно ходили вдвоем, но они, конечно, рады были принять Леню в компанию. Впервые, когда Леня таким способом изменил Горика, Горика поразило иное: как раз накануне Леня высказывался и о том, и о другом почти с презрением. Про Марата он сказал, что это «хитрая обезьяна», только и занят тем, что читает в энциклопедии статьи «Размножение», а про Володьку — что он истинный «сапог», редкий тупица и с ним не о чем разговаривать. Однако они шли втроем по набережной и разговаривали прекрасно. Горик сделал вид, что его это вовсе не задело, обогнал их, независимо поздоровался, а на переменке спросил у Лени как бы невзначай: «О чем это вы утром на набережной?..» — «Да Марат рассказывал про Испанию. Один их знакомый оттуда приехал». Черт возьми, Горика сделалось обидно, и он понял, почему Леня поперся с ними. «Да? — сказал он. — И что же?» — «Ты разве не знаешь Маратика? Запоминает всякую ерунду, анекдоты...»

Но через неделю Леня снова шел с Ремейкиным-Скамейкиным по набережной, а Горик плелся сзади, и ему не хотелось обгонять их и независимо здороваться.

На другой день после драки с Чепцом Горик зябнул утром под аркой и ждал Леню с нетерпением. Он помнил, что тот намекал на какую-то страшную клятву.

Леня появился непроницаемый и быстрый, на ходу погруженный в думу. Только свежий, свекольного оттенка фингал под глазом сообщал какое-то комическое несоответствие его серьезному, бледному от напряжения мысли облику.

— Ну? — спросил Горик.

— Что? — сказал Леня.

— Как насчет клятвы?

— А! На перемене после второго урока, я же сказал...

Первый урок был немецкий. Эсфирь Семеновна очень нервничала. На предыдущем ее уроке случился скандал: лишь только она заговорила о диктанте, как поднялся шум и гам, все стали топтать и стучать по крышкам парт, как это делали в Государственной думе (судя по новому изумительнейшему фильму «Ленин в 1918 году»). Кое-как при помощи старосты Эсфирь утихомирила класс, опять завела речь о предстоящем диктанте, но ее опять сбили: начали организованно гудеть. Эсфирь помчалась в учительскую и пришла с групповодом Елизаветой Александровной. Весь гнев почему-то обрушился на Мерзилу, которого выгнали из класса. Вот почему Эсфирь Семеновна сегодня нервничала, и Горик даже испытывал нечто вроде сочувствия к ней, глядя на то, как резко двигалась ее маленькая красная головка на красной же, чем-то похожей на петушиную, морщинистой шее и как настоженно метались ее взгляды туда-сюда. Есть такие учителя, один вид которых, их беспомощность, неловкость, ординарность и отсутствие чувства юмора вызывают желание их изводить. Такой неудачницей была Эсфирь Семеновна. Ее уделом было служить мишенью для скрытых издевательств и попадать впросак. Неожиданно загудела труба завода «Красный факел», находившегося рядом со школой, за кирпичной стеной.

— Кто гудит? — завопила Эсфирь Семеновна.

На втором уроке тоже удалось посмеяться. Был русский. Вызвали Володьку Сапожникова и спросили про наречие: изменяется оно или нет?

— Изменяется! — твердо ответил толстяк. Сапог всегда держался у доски крайне уверенно. А на сей раз он заметил, что новичок, сидевший на первой парте — как оказалось потом, большой шутник, — едва заметно кивал.

— Подумай хорошенько, Сапожников. Изменяется?

— Да! — еще более твердый ответ.

— По чему?

— По... по лицам.

— Ну, проспрягай мне хотя бы... хотя бы наречие «реже».

— Реже? Я режу, ты режешь, он режет...

Все грохотали, но Сапог был невозмутим: его ничем не прошибешь. И, только идя к своей парте, показал новичку кулак.

Настала перемена после второго урока. Горик получил записку от Лени, написанную простейшим цифровым шифром, прочитать которую было делом одной минуты: «На втором этаже у окна напротив физкабинета». Окно выходило в сад. Была видна набережная, берег, стылый под снегом кремлевский холм, часть стены с башней и дворец. Пришел Сапог, сел на подоконник и стал есть пирожки. На каждой перемене он что-нибудь ел. Появление Сапога обескуражило Горика: неужели Леня такой дурак, что решил посвятить в свою тайну и этого болтуна? Затем прибежал Марат и как ни в чем не бывало сказал: «Вы уже здесь?» Значит, и этот приглашен. Горик насупился. Лёнина тайна теряла свою прелесть. А ведь он, как участник драки с Чепцом и самый близкий сосед Карася, имел право быть посвященным первым.

Но пришел Леня, и обиды исчезли.

Леня сказал:

— Я предлагаю организовать ОИППХ. Что это значит, спросите вы? Общество по изучению пещер и подземных ходов.

Трое смотрели на Леню в ошеломлении. Сапог закашлялся: его рот был полон непрожеванной пищи.

— Подробности, — сказал Леня, — я сообщу на следующей перемене. А сейчас мы должны делать вид, как будто ничего не случилось.

Горику было поручено достать электрический фонарик, свечи и спички. Свечи и спички он просто вынул из ящика кухонного стола, где Маруся хранила всякую хозяйственную хурду-мурду, но с фонариком пришлось повозиться. У Сережки был прекрасный фонарик-жужелица, Николай Григорьевич привез его из Германии и подарил Сережке ко дню рождения. Матово-черный изящный овал, удобно помещавшийся в ладони. Горик отлично знал, где фонарик хранится: в Сережкиной комнатке, в книжном шкафу, внизу. Взять его было легко, но Сережка непременно заметит. Он как собака на сене, своими вещами не пользуется, но стережет их зорко. Оставалось одно: соврать что-нибудь и попросить.

Первый выезд в пещеры — по Павелецкой дороге, станция Горки — Леня назначил на двадцать третье февраля, на День Красной Армии. До этого следовало тщательно готовиться, закаляться физически и морально. Каждый вечер все четверо брали лыжи, уходили на Болото и бежали там до очумелости по заснеженному пустырю, где когда-то был парк, который вырубил. «Где фонарик?» — ежедневно допрашивал Леня, держа наготове книжечку. В этой книжечке по пунктам было отмечено кому что поручено, что исполнено и что нет. Сапог, по специальности, занимался едой: копил сахар, сухари, шоколад, кое-что покупал. У него и денег было больше, чем у других, его мать Ольга Федоровна была добрая женщина, а отец работал в Наркомторге. Скамейкин обеспечивал бечевку и номера. Он должен был написать на отдельных листках размером в половину тетрадного листа три сотни номеров. Леня отвечал за все. У него был компас, карта и оружие: финский нож.

— Где фонарик?

— Сережки не было дома... Сегодня я обязательно...

— Ты просто экспроприируй, и все. Не для себя ведь, а для общества. Для ОИППХа. Тут нет ничего дурного. Все революционеры делали экспроприации.

Горик еще никогда в жизни ничего не экспроприировал. Только, может быть, три или четыре раза, марки. Но ведь все филателисты занимаются такой простодушной экспроприацией. Горика учил сам Сережка, два года назад отдавший Горику свою коллекцию: незаметно облизать языком ладонь (это удобно сделать, если сидеть пригорюнившись) и потом опустить руку на рассыпанную по столу грудку марок, показывая на какую-нибудь пальцем: «Вот эту меняешь?» После чего спокойно убирать руку и засовывать ее в карман: к влажной ладони обязательно прилипнут одна, две, а то и три марки. Этот приемчик можно повторить за один сеанс обмена несколько раз, постепенно набивая карман чужими марками. Помнится, у Мерзилы Горик однажды унес таким способом четырнадцать марок. Правда, попалась одна дрянь.

Но марки дело одно, а фонарик, например, — совсем другое. Взять его без спроса, казалось Горик, немислимо. Он мучился, придумывая, что бы наврать. Наконец придумал: пусть попросит Женька. Ей Сережка даст, ничего не заподозрив. Женька согласилась, потребовав за услугу металлический карандаш.

Вечером долго сидели в столовой после ужина. Взрослые говорили о всякой всячине, о войне, политике, древних хеттах, врагах народа, о полярном лагере Шмидта, о Карле Радеке, который еще недавно жил в этом же подъезде, и Горик иногда видел его, рыженького, на лестнице, о писателе Фейхтвангере, о том, что пала Малага и что осадой руководил германский морской штаб с крейсера «Адмирал Шпеер», и, как всегда, отец спорил с бабушкой, а Сережка спорил со всеми. Кто бы что бы ни говорил, Сережка сейчас же доказывал обратное. Недаром мама говорит, что Сережка «противно спорит». Если бабушка замечала, что статья какого-то грузина в «Известиях» о том, что грузины произошли от древних хеттов, очень интересна, Сережка утверждал, что эта статья — бред. Если отец говорил, что падение Малаги еще ничего

не решает, Сережка заявлял, что падение Малаги решает все, ибо Мадрид теперь в два счета будет отрезан от мира. Когда мама сказала, что Лион Фейхтвангер умнейший писатель, Сережка, лишь бы поспорить, сказал: «Прости меня, но, по-моему, он идиот».

Бабушка наконец не выдержала и сказала, что он пока еще не академик, не профессор, а лишь только студент третьего курса. И к тому же не с блестящими отметками. Сережка, конечно, надулся и замолчал. Сам он любил делать другим замечания и ехидничать, но тронуть его — боже упаси. Они с отцом пили лимонную настойку, и Сережка был уже красный, говорил чересчур громко, а отец, сняв очки, улыбался как-то посторонне. Отец пошутил насчет того, что Сережка не академик, не профессор, но зато жених, а это кое-что значит. И тут Сережка окончательно обиделся и сказал, что его личные дела никого не касаются.

Настала неприятная тишина, и Горик подумал, что сейчас не совсем удобный момент просить фонарик. Но особенно затягивать было тоже нельзя, потому что скоро погонят спать. Горик сидел боком в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, а в другой подлокотник упершись спиной, листал старинный, трепаный том Жуковского, как будто рассматривал картинки, а сам поглядывал косо на Женьку. Он ее гипнотизировал. Женька сидела за столом и вышивала восьмигранную салфетку по методу Марии Адольфовны. Тоже дурацкое занятие! Из школы носит одни «посы», а вечером занимается ерундой. Женька прекрасно поддавалась гипнозу, он заметил давно. Конечно, при наличии у гипнотизера сильной воли. Он внушал ей: «Фонарик! Фонарик! Фонарик!» А она отвечала: «Надоело! Отстань!»

Мама сказала, что обещал прийти дядя Миша, но почему-то опаздывает. Отец встрепенулся:

— Разве Михаил звонил?

Они заговорили о рукописи, которую написал дядя Миша и которую отец должен был кому-то передать и не передал. Бабушка стала отчитывать отца. Мама подтвердила:

— Верно, Коля, нехорошо, Миша звонил три раза. Его это сердит...

Отец, взволновавшись, ходил вдоль стола, тер с ожесточением лысину.

— Вот черт, виноват я, конечно! Не получалось Серго увидеть... Можно было, конечно, специально...

— Коля, какой вы необязательный, — качала головой бабушка. — А второй экземпляр?

— Он просил только об одном: передать Серго. Остальные экземпляры хотел передать сам, обычным порядком, в Политбюро, в Президиум... Ах ты, черт меня драл! Все напрасно, книга не пойдет, но — я обязан был...

— Тем более Миша сейчас... — сказала мама.

— В том-то и дело, — сказал отец.

Бабушка, продолжая ворчать и качать укоризненно головой, ушла в свою комнату и вернулась с очками на носу, держа газету. Она изъявила желание прочитать вслух заметку из позавчерашнего номера под названием: «Опасная игрушка». Никто не возражал, а мама даже сказала: «Конечно, почитай», и бабушка стала читать. Бабушка любила читать вслух. Она говорила, что в молодости ей предлагали стать актрисой, но дедушка отсоветовал, сказав, что нужно отдать все силы революции, а потом получилось так, что дедушка сам отошел от революции и даже разошелся с бабушкой из-за революции, а бабушка так увлеклась революцией, что забыла обо всем остальном. Но читала она до сих пор очень хорошо и красиво.

— «Безупречно здоровый девятимесячный ребенок внезапно занемог, — читала бабушка. — У него пропал сон, расстроилась деятельность кишечника, появились странные движения рта, до крови растрескались губы. Ребенок начал быстро терять в весе. Ни мать, ни наблюдавший за ребенком врач не могли определить причины заболевания....»

— Страсти-мордасти, — сказал Сережка, доставая из кармана портсигар, оттуда папиросу, постукивая ею по портсигару и разминая тщательно и не спеша, но — не закуривая, потому что в столовой бабушка курить



ему не разрешала. Он даже вытащил спички, сунул папиросу в зубы — играл на нервах.

— «Врач предполагала наличие какой-то инфекции! — Повысив голос и грозно поглядев на Сережку, но не замечая его папиросы, а просто требуя тишины, продолжала читать бабушка. — Третьего февраля, спустя две недели, мать обнаружила на пеленках какие-то крупинки. Это были острые осколки камня — кварца...»

Женька на цыпочках подошла к Сережке, что-то сказала ему на ухо. Он кивнул, и Женька вышла из комнаты.

— «...гранита и полевого шпата, некоторые величиной с булавочную головку, и каменная пыль. И сразу стала понятна причина болезни ребенка...»

— Очень интересно! — сказал Сережка нахальным голосом. — Наверно, вредительство?

— «Когда ребенок брал игрушку в рот... — Бабушка почему-то показала на Сережку пальцем. — Ее швы разошлись и содержимое оказывалось во рту и в желудке ребенка». Ясно вам? «Если после этого взять погремушку за ручку и трясти ее, из нее камни не просыпаются — так хитро сработана эта игрушка». И дальше...

Отец, сказав что-то маме, вышел на цыпочках из комнаты.

— Дальше, — сказала бабушка, — указан адрес фабрики, которая выпустила эту действительно вредительскую игрушку. Между прочим — Ленинград. Тоже показательно. Жалко, кстати, что Николай Григорьевич ушел. Он всегда говорит, что я паникую...

— Знаешь, мама! — Сережка встал так резко, что стул едва не упал, но о чем Сережка заговорил, Горик уже не слышал.

Он проскользнул в коридор, оттуда в детскую, где было темно и раздавалось заветное жужжание: Женька забавлялась фонариком. Горик подбежал к ней:

— Давай!

Она спрятала руку за спину.

— А карандаш?

— Сейчас дам... Есть же люди! — Он чуть не задохнулся от возмущения: так не верить родному брату! Нашарил

в потемках — а зажигать свет не хотелось, чтобы не нарушать очарования жужжащей и светящей добычи, и Женька тоже не зажигала и продолжала жужжать и метать по стенам зигзаги луча — свой валявшийся на полу портфель, нащупал под тетрадками, на дне, металлический карандаш и вытащил его безо всякого сожаления. — На! — сказал он. — Давай сюда и спасибо.

— А что сказать, если он завтра попросит?

— Скажи, забыла в школе.

Она убежала, а Горик постоял немного в темноте, пожужжал, пометал лучиком.

Потом все испортил Марат, это трепло и женский угодник: протрепался Кате Флоринской и даже позвал ее пойти вместе в пещеры. Леня был ошарашен, когда Катя вдруг подошла к нему и спросила, можно ли ей взять с собой старшего брата. Ничего еще не поняв, Леня ответил: «Ни в коем случае!» Потом, поняв, он рассвирепел. «Какой же я осел! Все вы трепачи и ненадежные люди, — говорил он. — Вы трусливы, как зайцы, и блудливы, как кошки!» Леня терпеть не мог женщин. Никогда ни к одной девчонке он не обращался с вопросом, они были для него как пустое место, а если какая-нибудь девчонка случайно спрашивала что-нибудь у Лени, он напыжился, каменел и цедил сквозь зубы невнятное.

Как-то они гуляли с Гориком на дворе, и Карась предложил поклясться друг другу в том, что они никогда не станут иметь дело с девчонками. Поклялись. Горик отнесся к клятве легко. Он не имел дел с девчонками, такие дела и не предполагались, так что никакого урона себе он этой клятвой не наносил, и вообще ни малейшего значения для жизни Горика клятва иметь не могла: просто он согласился на нее, чтобы сделать товарищу приятное. Но однажды Леня дал ему почитать свой научно-фантастический роман «Пещерный клад» — три толстых тетради в ледериновых переплетах, исписанные мелкими, без помарок, чернильными строчечками, — Горик по неосторожности показал роман Женьке, она не смогла прочесть больше двух страниц, но Леня все равно страшно оскорбился,

назвал Горика предателем и клятвопреступником и не разговаривал с ним несколько дней.

Обозлившись и теперь, Леня заявил, что поход откладывается на неопределенное время: до улучшения погоды. Сказал, что из-за оттепели нельзя подойти к входу в пещеру, все затопило. Может, так и было. Тянулась мутная, тревожная зима: то холода, то метели, то сырость.

Вдруг, после выходного, Леня на первом уроке подсел к Горику за парту и показал левую ладонь, искромсанную ужасной раной: как будто кто-то железным гребешком содрал кожу. Почти вся ладонь от того места, где щупают пульс, до верхней поперечной складки была намазана зеленой.

— Молчи, понял? — зашептал Леня. — Я вчера в пещеру лазил. Один. Ух, там красота, елки-палки! Тепло-тепло! Просто жутко тепло, градусов шестнадцать по Цельсию, я весь потный вылез. До второго зала дошел, оставил записку — назад. А это я рукавицу потерял и в первом зале, когда прыгал, сорвался...

Горик слушал потрясенно.

— Как же ты... один?

— А что? Одному здорово. Ты молчи. Никому!.. Мы с тобой вдвоем — понял? — в следующий выходной...

На перемене Вовка, заподозрив что-то, подкатился к Горику и стал выпытывать, что ему Карась шептал.

— Да так, ничего особенного.

— Ничего особенного? А чего ж ты глаза вытарачил? Я видел...

Было неприятно врать. Главное, Горик не понимал смысла: если уж наказывать, то Скамейкина, а Сапог ни при чем.

Оттепель сменилась стужей. Когда шли по набережной в школу, синяя морозная мгла вставала над Кремлем, и на гранитном парапете лежал пушистый и толстый утренний слой снега, который хорошо было сбивать палкой, портфелем или просто варежкой.

Катя Флоринская спросила у Горика: отчего Леня Карась так ее ненавидит? Горик в смущении — Катя его чем-то томила, она была новенькая, загадочная — вынужден

был сказать, что Леня вообще относится к женщинам отрицательно. Горику хотелось рассказать Кате все и позвать с собой в следующее воскресенье — но чтоб без Марата, без никого, вдвоем, — но он, конечно, ничего не сказал и только смотрел, усмехаясь криво и нагло, на Катю. Она была очень огорчена. Они стояли в среднем дворе, рядом с задним служебным входом в гастроном, возле которого всегда лежали горы деревянных ящиков, грязная бумага, куски картона. Горик держал двумя руками портфель и стучал по нему коленями, то одним, то другим. Потом они разошлись. Горик пошел в свой седьмой подъезд, Катя в свой десятый.

А Марат Ремейкин-Скамейкин погибал у всех на глазах. Он носил заграничный Катин ранец, держа его неуклюже за лямки, что выглядело глупо, потому что ни один дурак так ранцы не носит. Потеряв всякую совесть, он ждал Катю утром у подъезда. Он затеял драку из-за Кати с одним гигантом из седьмого класса, который стал приставать к Кате в раздевалке, и пришлось вмешиваться, его спасать. (Гиганта втроем повалили на пол и чуть не задушили под ворохом пальто.) Все это было бесстыдно и унижительно. И когда Леня сказал Горику, что Марат должен быть как разложенец исключен из членов ОИППХа, Горик радостно согласился. Он не вполне точно представлял себе значение слова «разложенец», в его сознании возникла отвратительная картина: темно-коричневая, насквозь прогнившая и жидкая от гнилости груша.

Чем ближе подступал назначенный Леной срок — выходной, тем сильнее становилось Горикино волнение, которое надо было скрывать. Ночь на четверг он почти не спал. С одной стороны, его преследовали картины ужасной смерти в пещерах и подземельях, приходившие на память из книг Гюго, Дюма, Густава Эмара, но силою воли он побеждал страх и был, в сущности, готов на все; с другой же стороны, еще более мучительной, чем страх, была необходимость соблюдения тайны, чего требовал Леня. Это была совсем садистская пытка: погибнуть он соглашался, но погибнуть в неизвестности, так, чтобы даже мама не знала, где и как он погиб! Несколько раз среди

ночи Горик решал встать, пойти к кабинету, вызвать маму и кое в чем ей признаться, кое на что намекнуть. Но окончательной решимости *смалодушничать* каждый раз не хватало.

В школу Горик шел с головной болью, на уроках сидел в отупении, плохо соображая. В другую ночь Горик заснул быстро, лишь только лег, но сон был тяжелый, снилась какая-то река, плоты возле берега, он плавал рядом — на глубоком месте, где «с ручками», и его затягивало холодной струей под плоты, забивало все дальше, вглубь, в темноту.

В столовой поздно сидели, пили чай, вдруг увидели: Горик босой, в ночной рубашке вышел из детской и, протягивая руки и шаря ими в воздухе, как шарят в потемках, зашлепал через всю столовую к креслу. Глаза были закрыты, он спал. Все перепугались, отец схватил Горика на руки — тот не просыпался, — понес в детскую, уложил. Мама так встревожилась, что не хотела Горика пускать на другой день в школу. Но все же пустила. Горик ничего наутро не помнил и очень удивился, когда ему рассказали. И немедленно, по своему обыкновению, стал гордиться: рассказывал всем в школе, что ходил ночью по квартире, как настоящий лунатик.

Мама сказала: «Он очень перенервничал с пушкинским юбилеем».

Бабушка сказала: «Он слишком много читает. Надо давать ему не больше одной книги в неделю. А он их глотает как сумасшедший».

Отец сказал: «Он растет. В этом все дело. И не устраивайте панику».

Никто не знал, что с ним происходит. И он крепился — никому ничего. Но тут, как на грех, явились дядя Миша с Валеркой и остались ночевать. Валерка весь вечер хвалился, рассказывая, какие мать подарила ему финские прыжковые лыжи и как он ездил с ребятами на одну далекую станцию по Казанской дороге — прыгать с трамплина. И как наврал отцу, будто ходил на лыжную экскурсию с классом, а если б отец узнал правду, он бы дал такого ремня, что будь здоров, и переломал бы лыжи —

он и так эти лыжи ненавидит потому, что их подарила мать, даже требовал, чтоб Валерка от них отказался. Нашел идиотика — отказываться от финских прыжковых лыж! Слушать Валеркину похвальбу было непереносимо. Горик терпел, боролся с собой долго, но, когда уже легли спать, не вынес и открыл Валерке все. Тот сразу завял со своими прыжковыми лыжами. И начал канючить, чтоб Горик взял его с собой в пещеру. Горик пообещал.

На душе Горика стало легче: теперь было кому в случае чего рассказать маме о том, как и где погиб ее сын, мужественный, сдержанный и очень молчаливый человек.

Когда он вернулся из школы на другой день, Валерки уже не было, его увезли куда-то к матери или к тетке, но дядя Миша остался. И первое, что дядя Миша сказал — лукаво и тихонько, на ухо Горику, — было:

— Ну, браток, будешь сегодня ответ держать перед бабькой!

У Горика даже в животе похолодело. Неужели Валерка, гад, протрепался? Мама три дня назад уехала в командировку в совхоз, отец был на работе, бабушка тоже. Засунув пальцы под ремень своего широкого блестящего пояса, дядя Миша расхаживал по комнате и загадочно посматривал на Горика, ничего не говоря. Он ждал, что Горик сам все выложит. Но Горик молчал. Он помнил, как однажды учил Лёня: ни в чем не признаваться и все отрицать.

— Вот что, Игорь Николаевич, — сказал дядя Миша, — все твои злоумышления стали нам известны. Отец уже звонил мамаше этого вашего героя — как его? — который все закаляется, ходит с голыми коленками до декабря месяца, чтоб схватить костный туберкулез.

— Лёне? — ужасаясь, вскрикнул Горик.

— Может быть. Он какой-то больной. Отец говорит, что у него припадки. Как же можно ходить с припадочным в пещеры? А тем более пускать его туда одного? Ну? Ты же взрослый мужик должен соображать. Я всегда считал, Игорь Николаевич, что ты мужик с головой, не то что мой обормот...

— Уж, во всяком случае, я не предатель! — пробормотал Горик дрожащим голосом,

— Хочешь сказать, что Валерий тебя предал? Верно, но ты предал своего Леню, разболтал Валерке. Так что хороши оба. Но дело-то вот в чем: мать этого Лени... Кто она такая?

— Обыкновенная женщина. В типографии работает.

— А отец?

— Отец с ними не живет. Он военный. Комбриг, по моему. Он на Кавказе где-то.

— Комбриг? Как фамилия?

— Крастынь.

— Одного Крастыня я знал по Дальнему Востоку. Ну, неважно. Мать, странная особа, стала смеяться в телефон, просто заливалась хохотом — отец рассказывал — и сказала, что ее Ленька все брешет, не верьте ему, он вообще, говорит, фантазер, мечтатель, и пороть его некому. Ни в какие пещеры он не лазил и не полезет, а руку поранил — в кино хотел попасть без билета, перелезал через стену у вас тут, на заднем дворе, и рухнулся. Отца, милый друг, возмутило то, что ты от всех втайне, молчком-молчком, собирался ехать куда-то на электричке.

Горик слушал остолбенело, потом пошел тихо в детскую, бросил на пол портфель и лег на свою кровать.

Вскоре пришла с работы бабушка, явился Сережка, пришла Женька с пластики, приехала мама, продрогшая, усталая, в заиндевевшем брезентовом плаще поверх полушубка, с рюкзаком, где обязательно бывали какие-нибудь подарки — на сей раз деревянные игрушки, купленные в одном забытом богом городке на базаре, и, как всегда после таких отлучек из дома, мама была очень веселая.

Она сразу побежала принимать ванну. Была как раз пятница, день горячей воды.

Дядя Миша как благородный человек ничего не рассказал ни маме, ни бабушке. Все ждали Николая Григорьевича, он почему-то задерживался. Горик, полежав немного с видом человека в полном отчаянии и вызвав этим приятное волнение у Женьки (она подходила несколько

раз и спрашивала с испугом: «Что с тобой?» — но он молчал, да и, по совести говоря, он сам толком не знал, что с ним), затем с бешеной энергией взялся готовить уроки: сделал русский, примеры, четыре задачи, нарисовал контурную карту, а отца все не было. Дядя Миша тоже нетерпеливо ждал отца и даже поругивался: «Вот чертушка, куда он запропал?» Отец должен был сегодня увидеть Орджоникидзе и узнать у него про рукопись дяди Миши. Разговор об этой рукописи было много. Называлась она «Ожидание боя». О будущей войне. Бабушка и мама говорили, что рукопись очень интересная, Сережка сказал, что кое с чем он не согласен, а отец хотя и хвалил рукопись, но сказал маме — Горик случайно услышал, — что Михаил занимается не своим делом.

Они с дядей Мишей однажды поссорились, дядя Миша кричал: «Твое дело отдать, а что ты там думаешь, меня не интересует!» От того, что скажет Орджоникидзе, зависело многое: напечатают ли рукопись, вернут ли дядю Мишу на работу в военную академию и пустят ли его наконец в Испанию, куда он давно и безуспешно стремился.

Поэтому дядя Миша нервничал, ожидая отца. Кроме того, он хотел вернуться сегодня же в Кратово и боялся опоздать на последнюю электричку.

Вместо отца неожиданно приехал Гриша, мамин брат, живший в Коломне и работавший на Коломенском заводе инженером, со своей женой Зоей. Гриша рассказал, что как раз вчера он был с заводской делегацией у Орджоникидзе, приглашали Серго на конференцию дизелистов в Коломну, но Серго поехать не сможет — конференция начнется завтра, он передал письменное приветствие. Гриша вытряс из портфеля листок бумаги, всем показывал: «Поздравляю дизелистов Коломзавода! Боритесь за 240 тысяч лошадиных сил в год!»

— Мы напечатаем типографским способом, — говорил Гриша, — здесь будет маленький портретик Серго, и раздадим всем делегатам как подарок...

Сережка и Гриша сели на диване играть в шахматы. Горик пристроился смотреть. Дядя Миша тоже подходил



иногда, смотрел секунду и командирским тоном приказывал:

— Офицера гони! Бей турой! Уводить королеву, уводить к чертовой бабушке! — Он тыкал пальцем в доску, хватал фигуры, переставлял.

Сережка, презрительно усмехаясь, но не говоря ни слова, ставил фигуры на место, и Гриша своим деликатным, тонким голосом просил:

— Михаил Григорьевич, ради бога...

Дядя Миша играл в шахматы очень плохо. Наверное, хуже всех. Но он любил вмешиваться и давать советы... Сережка наконец не выдержал и сказал вежливо, но ехидно:

— Дядя Миша, мы сейчас доиграем, а ты потом спокойно сыграешь с бабушкой, ладно?

Бабушка играла ничуть не хуже дяди Миши, но дядя Миша взъярился:

— Ах ты щенок! Наглец! Да я тебя в матче изничтожу, сотру в порошок! Котлету из тебя...

Сережка тут же предложил сыграть на деньги матч из десяти партий. Он частенько таким образом «доил» дядю Мишу, но дядя Миша почему-то упорно бросался с ним играть и с возмущением отвергал фору — а Сережка предлагал даже ладью. Они успели сыграть пять партий, дядя Миша все проиграл, и в это время позвонил отец и сказал, что находится на пути домой. Это значило, что он где-то застрял, к кому-то зашел. Может быть, даже здесь, в доме.

Через полчаса он приехал, вошел в шубе и в шапке в столовую. Лицо у него было серое, какое-то слепое, ни на кого не глядя, он сказал:

— Серго умер.

Бабушка вскрикнула. Все остальные молча смотрели на отца, он повторил:

— Серго умер. Четыре часа назад. Сказали, что от паралича сердца.

Горика впервые в жизни болезненно и мгновенно, как током, пронзило сострадание, но не к умершему Серго, а к отцу, который показался Горика вдруг старым, слабым, и к бабушке, она плакала, не стыдясь слез, и к дяде Мише, который как-то отчужденно застыл на диване и долго,

в то время как все разговаривали, молча глядел в окно. Было непонятное и пугающее в том, как подействовала на всех смерть Серго: он ведь не был ни родственником, ни близким другом, как, например, Давид Шварц. Правда, отец рассказывал, что сдружился с Серго на Кавказском фронте, где они оба были членами Реввоенсовета. Потом их пути разошлись. Серго стремительно выдвинулся, стал одним из вождей страны, а Николай Григорьевич, постепенно снижаясь, превратился в обыкновенного *ответственного работника*, каких тысячи. Обратиться к Серго с просьбой было для Николая Григорьевича делом не очень простым и даже не очень приятным. И все же он знал, что когда-нибудь, в «день икс», он сможет пойти к нему — не с рукописью Михаила, не с просьбой поддержать на Политбюро, а с каким-то последним, смертельно важным вопросом, на который Серго ответит, непременно ответит всю правду, какую будет знать. Но не «день икс», а смерть сравняла их и сблизила снова.

Три дня больше ни о чем — только о Серго, о Серго. Бабушка с красным, измятым от слез лицом читала газеты. «Обострили его болезнь самым гнусным предательством... Доконали нашего Серго... Пусть же вечное проклятие...» В понедельник был траурный день, не ходили в школу, а у Горика как раз в этот день обнаружилась ангина, и он очень жалел, что ангина пропала зря, без пользы. Снова приехал дядя Миша с Валеркой. Валерку не пускали в детскую, чтоб не заразился, и он, приоткрыв дверь, показывал разные рожи, изображал Петрушку, а дядя Миша с отцом опять поругались, мама их успокаивала, дядя Миша хватал Валерку за руку, и они уходили, хлопала дверь, отец кричал, они возвращались. И зима все тянулась, река лежала под снегом, а канава возле «Ударника» не замерзала, над черной водой всегда клубился пар.

## VI

Завертели морозы, и в заготовительном цехе от холода — совсем пропасть. Колька бежит к горну, накаляет там бракованную матрицу. Раскалив ее добела, притаскивает

на крюке и бросает на стан, и все трое снимают рукавицы и греют руки. Если в цеху в это время показывается Колесников или, еще хуже, Чума, Колька крюком быстро спихивает матрицу на пол, и они снова принимаются *волочить*, с жалостью поглядывая на матрицу, которая шипит на сыром мазутном полу и бесполезно тратит свой жар.

Вообще-то насчет огня в «заготовке» хорошо, вольно. И погреться, и покурить — всегда пожалуйста, горн рядом, не то что в других цехах. Когда прикурить, например, бегут к горну, выволакивают клещами из огня какую-нибудь раскаленную штуку, матрицу или болт, хоть сто человек прикуривай. Теплынь у горна! Молотобойцы работают в одних маечках, и то все мокрые, а волочильщики в ватниках зубами стучат.

Молотобойцев было трое. Одного, молодого и крепкого, взяли недавно в армию, и двое оставшихся — пожилые мужики, оба из Белоруссии, попавшие в Москву как беженцы, — не справляются, кузнец дядя Вася орет на них, называет «филонами». Начальник цеха обещал перевести в молотобойцы одного разнорабочего, но пока что Чума то и дело просит Игоря или Кольку подсобить кузнецам. Колька нарочно бьет кувалдой слабо и неловко, чтоб разозлить дядю Васю и чтоб тот его прогнал, и Колька садится спиной к печке и покуривает. А Игоря подводит его непобедимое тщеславие, его давнишняя тяга гордиться все равно чем и перед кем. Ему хочется, чтобы дядя Вася, белорусы, Чума, грузчицы — все видели бы и поражались тому, как лихо он машет кувалдой, с какой силой наносит удар. Сила у Игоря, конечно, есть, но не такая уж большая, чтобы ей поражаться.

Дядя Вася вынимает из горна трубу с пылающим, раскаленным концом и кладет этот конец на наковальню, а Игорь должен несколькими ударами разmozжить конец, превратить его в узенький, плоский хвостик, способный проткнуться в отверстие матрицы и удобный для того, чтобы его схватила зубами тележка. Вот и все дела. Игорь со зверским выражением лица высоко вскидывает кувалду и лупит ею с такой яростью, что дядя Вася морщится:

«Легше, легше». Белорусы и вовсе не смотрят на старания Игоря. А сам он через четверть часа чувствует, что выдохся, и недоумевает: как же эти костлявые мужички, у которых и бицепсов не видно, машут кувалдой по двенадцать часов в день?

В ночную смену, если сядешь у печки курить, можно и заснуть ненароком — тепло сморит. Минуту или две дремлет Игорь, думая во сне о чем-то цветном, ярком, чего никогда не было, о чем-то похожем на лесную лужайку, где растут маслята, где он сам лежит в трусах на стареньком, разогревшемся на солнце тканевом одеяле, сквозь которое покалывают сосновые иглы, и читает книгу, и постепенно сникает в дреме, оглушенный тишиной, солнцем, лесом, и вдруг — точно что-то стреляет в нем — просыпается. С треском лопнула в огне дровина. Махорочная самокрутка еще тлеет в руке.

Ползут профиля, скрипит гнущаяся сталь, щелкает зубами тележка, дерг — вперед, дерг — назад. И медленно, долго, сырой самокруткой тлеет ночь...

Колька третий день не работает: намастачил себе бюллетень, расковырял зубилом болячку на правой руке. Сидит с утра на койке в общежитии и играет в карты, в очко или в «три листика», с такими же, как он, «больными» прохиндеями. Вместо Кольки Чума поставил на волочительный стан подсобника-узбека по прозвищу Урюк. Это молчаливый, покладистый и здоровенный мужик. Никто про него толком ничего не знает. «Эй, Урюк! Почем урюк?» — кричат ему мальчишки во дворе. Урюк молчит, не слышит. Лет ему пятьдесят, а то шестьдесят или больше. «Билизован...» — говорит он про себя. У Игоря всегда тоскливо сжималось сердце, когда он случайно издали замечал Урюка, который брел среди женщин-грузчиц, отставая от них, углубленный в какие-то думы, нелепый в своем халате поверх ватника, в солдатских сапогах и в черной бараньей папахе, — ноги он ставил носками в стороны, смотрел вниз, руки слегка растопыривал, отчего казалось, что он готов сейчас же взяться за любую работу. И правда, он был безответен, помыкали им все — и грузчицы, и молотобойцы, заставлявшие его возить

дрова к печи, и даже Колька, который кричал тоном начальника: «Эй, Урюк, оттащи эвон-то отсюда!» Урюк покорно оттаскивал «эвон-то».

Теперь он так же покорно, молча и легко переносит трубы от обжигальной печи к стану и потом тащит готовые профили к воротам, где грузчицы громоздят их на тележки.

За два дня Урюк сказал с Игорем, может быть, десять слов. На третий день, вернее, на третью ночь — всю неделю Игорь работает в ночную — собираются в полночь идти в столовую. Игорь ладонью сшибает вниз рубильник, выключает стан, Настя поспешно трет ладони нитяными концами, сбрасывает спецовку — они торопятся, чтобы, вернувшись после еды, хоть четверть часа посидеть в покое, покурить. Урюк никуда не торопится: садится к печи, заворачивается в халат и, похоже, намерен кемарить.

— Ты что? — удивляется Игорь. — В столовую не пойдешь?

— Йок, — мотает головой Урюк.

— Чего ж так? — зевая, говорит Настя.

И они с Игорем уходят.

Урюк не идет в столовую и в последующую ночь, и в третью. Пока Игорь и Настя хлебают суп из перловки и едят картофельные котлеты, жаренные на хлопковом масле. Урюк дремлет у печи. Они возвращаются, будят его, Игорь включает рубильник — и ползут профили, скрипит сталь, щелкает зубами тележка...

Наконец наступает такое утро, когда Урюк не хочет идти никуда — ни в столовую, ни домой в общежитие. Он садится к печи и говорит, что будет тут спать до вечера. В общежитии, говорит он, холодно, а тут тепло.

— Ишь, надумал!.. — зевая, говорит Настя и уходит. У нее двое детей и старуха мать, ей некогда разговаривать.

Игорь садится рядом с Урюком, прислоняется к кирпичной кладке печи, ощущая спиной широкое и не очень жаркое, как раз такое, как нужно, расслабляющее нежное тепло.

— Что у тебя случилось? — спрашивает Игорь.

Урюк бормочет невнятное.

— Слушай, я тебе принес тут для смеха...

Игорь роется в карманах брюк, в ватнике: ищет задохшую урючинку, которую вчера обнаружил в своем ташкентском пиджаке и специально сберег, чтоб показать Урюку. Урюку, наверно, будет очень приятно увидеть урюк. Вроде привета с родины. Такое маленькое, твердое, почти окостенелое ядрышко, — оно проскочило сквозь дырку в кармане и застряло под подкладкой. Это, видно, когда Игорь возвращался с Янги-Юльской стройки, в конце августа, когда бежал оттуда, услышав, что в Ташкенте вербуют молодежь на московские заводы, — а там в августе стояла невыносимая жара, ночью в палатках духота не спадала, свистели фаланги, они набегали со всей степи, почуяв гниющие остатки мяса, хотя эти остатки закапывали в песок; но ни духота, ни фаланги не мешали сну, Игорь спал там мертвецки, без сновидений, как никогда прежде; от многочасового махания кетменем ныли спина и руки, он ведь должен был продемонстрировать свою силу, быть «пальваном», богатырем, и однажды, распаясь, он махнул не глядя, и какой-то дурак подвернулся под кетмень — один парень из соседней школы, и кетмень зацепил его по кумполу, у Игоря от ужаса подкосились ноги, а парень остался лежать на песчаном откосе, его унесли на носилках, но все кончилось хорошо, он выжил; одну девчонку ночью утащили в степь дезертиры, и она чуть не умерла, ее нашли без сознания, всю разодранную, точно ее трепали собаки, это была толстая еврейская девушка, эвакуированная из Одессы, и наутро все вооружились кто как мог и побежали в степь искать дезертиров, чтоб отомстить, но никого не нашли; и все-таки там было ничего, там было сытно, давали баранье мясо и плов, густой плов, иногда мясной, а иногда бухарский, с абрикосами; абрикосов там было завались, но виноград еще не поспел, и когда Игорь бежал оттуда с одним малым, тоже москвичом, они шли целый день степью, к вечеру добрались до колхозного сада и наелись там абрикосов и яблок, как удавы, набили животы, не могли двигаться, — урючинка под подкладкой осталась,

наверно, с того ужина в саду; вечером, когда уже гасло небо, запели лягушки.

— Вот! — говорит Игорь, радостно протягивая ладонь, на которой лежит превратившаяся в косточку урючинка. — Видал? Возьми!

Бородатый узбек берет урючинку, смотрит на нее равнодушно и бросает на пол.

...Бабушка была очень разгневана, когда узнала, что он ушел с канала самовольно. «Как! Стройку еще не закончили, а ты сбежал! Когда весь народ напрягает силы...» Она даже хотела пойти в школу и пожаловаться директору, совсем с ума сошла. А что Игорю школа? Он ее закончил и расплевался с ней. Директор там был болван, занятый только своим садом и торговлей на базаре. Это верно, он ненавидел эвакуированных и мог от ненависти сделать любую пакость, но тогда, в августе, он не имел уже никакой власти над Игорем. Игорь мог сказать ему все, что накипело, и несколько раз его подмывало высказаться на улице, когда они встречались нос к носу, но он себя сдерживал: боялся, что тот будет мстить Жене, ей предстояло еще учиться в восьмом. И вот к такому человеку старуха собиралась пойти, жаловаться. Она просто рехнулась. Ей не хотелось, чтобы он уезжал в Москву, в этом было все дело. С нею становилось все труднее, особенно с тех пор, как она взяла к себе в комнату Давида Шварца и другая старуха, жившая в этой же комнате, протестовала.

Эта другая старуха, Синякова, тоже с дореволюционным стажем, была отвратительная особа. Она все время пыжилась, гордилась какими-то заслугами и к другим старикам, в том числе и к бабушке, и к Давиду Шварцу, относилась с высокомерным презрением. А бабушка рассказывала, что когда-то, когда бабушка работала в Секретариате, эта женщина перед нею заискивала, а Давид Шварц в двадцать каком-то году спас ее во время чистки от исключения. Но теперь бабушка была обыкновенной несчастной старухой, жившей на пенсию и бедствовавшей, как другие, а Давид Шварц из грозного, всесоюзно

известного судьи превратился в больного, полупомешанного старичка, и Синякова могла презирать их и издеваться над ними. Она называла их «оппортунистами» и то и дело пускала ехидные замечания вроде: «Это вам не Дом правительства», «Это вам не Серебряный Бор». Однажды колхозники привезли в подарок мед. Синяковой почему-то не досталось, и она побежала в райком с жалобой: почему мед получили оппортунисты, а она, кристальный член партии, ни разу не подписавшая ни одной оппозиционной платформы...

Иногда она втравляла бабушку в политические споры. Делала это хитро: начинала тихонько, издали, постепенно нагнала, говорила подлости, ложь, и бабушка, не выдержав, вступала с ней в перепалку. Последним торжествующим доводом Синяковой было: «Вот я здесь, я честный человек. А где твой зять? Где твоя дочь?» Она была толстая, большая, с красным задубенелым лицом и синенькими глазками-щелочками. И без левой руки. Говорила, что потеряла руку на гражданской войне. Но Игорь ей не верил.

Бабушка говорила про нее, что она случайный человек в партии. Несмотря на то что безрукая, она умела и любила драться. Как-то она подралась с одним стариком возле титана: то ли она хотела получить кипяток без очереди, то ли он стремился к тому же. Она била его чайником по спине и кричала: «Ты бундовец! Я знаю, что ты бундовец!» Давида Шварца она тоже называла бундовцем, хотя бабушка говорила, что это смехотворная ложь, Шварц никогда бундовцем не был и, наоборот, всегда резко критиковал бундовцев. Однажды замахнулась на бабушку. Женя как раз входила в комнату и, схватив с подоконника ножницы, подскочила к громадной старухе: «Если вы хоть пальцем тронете мою бабушку, я вам проколю живот!» Синякова долго потом разорялась, грозила милицией, называла Женю «вражьей кровью», но все-таки Женя оказалась единственным человеком в комнате, а может быть, и в поселке, кого она побаивалась. Каким-то чутьем она чувала, что Женя и правда может кольнуть ножницами в живот. Игорь-то



знал, что может: Женя отчаянная, на нее «находит», как на Леню Карася.

Давида Шварца Синякова ненавидела особенно злобно. Наверно, как раз потому, что когда-то он ей сделал добро. Она старалась выжить его из комнаты: говорила про него и про бабушку гадости, смеялась над его жалким видом, нарочно открывала окно, чтоб его простудить. Бабушка больше всего страдала из-за этих синяковских издевательств над Шварцем, поэтому вспыхивали скандалы с криками и взаимными угрозами: «Ты ответишь за свои слова!», «Я подам на тебя в КПК!» Игорь не мог слышать криков, не мог видеть белого лица бабушки. Он уходил. Если б Синякова была мужчиной, он бы ударил ее. Но со старухой он не знал что делать.

На крики сползались другие старики и старухи, начинались разбирательство, пересуды, товарищеские укоризны и увещевания, тем более долгие и любовно-тщательные, что всем этим старикам и старухам делать было абсолютно нечего. Синякова твердила свое: «Я хочу, чтобы этого аморального человека убрали из комнаты!» Аморальность Давида Шварца заключалась в том, что он объявил, что не будет ни мыться, ни бриться «до возвращения в Москву»: в его больном сознании тут была какая-то связь с зарокон его молодости, когда он объявлял голодовки в тюрьмах или отказывался отвечать следователю. Это был его ответ войне, фашистам, эвакуации, невзгодам и ужасам здешней жизни, своему унижительному положению, которое он не понимал в полной мере, но, наверное, ощущал, как ощущают погоду, перемену давления. Заставить Шварца помыться могла одна бабушка, и то ей удавалось это с трудом и не всегда. Кроме бабушки, он никому не был нужен. Единственная сестра Давида Шварца умерла перед войной, приемный сын Валька был неизвестно где, то ли в военном училище, то ли на фронте, ничего не писал, а старушка Василиса Евгеньевна осталась в Москве и тоже ничего не писала. И бабушка не могла отпустить его из своей комнаты, как бы ни ярилась Синякова, потому что знала, что без нее он погибнет.

Давид Шварц не замечал, не видел и не слышал, какие страсти бушевали вокруг него. Разбирательство его «дела» в присутствии нескольких крикливых стариков происходило иногда прямо над его головой, но он безучастно и молча лежал на койке и смотрел на спорящих так, точно они были на другой планете. Мозг его был занят каким-то упорным размышлением. Внезапно его лицо могло осветиться отблеском другой, *здесьней* мысли, он вдруг хмурился, садился на койке и вскрикивал сурово и гневно, как когда-то: «Перестаньте шуметь! Идиоты!» — но прежнее размышление сейчас же одолевало его, он вновь погружался в полусон, ложился навзничь и смотрел на крикунов издали. Старик очень страдал от жары, сбрасывал с себя одежду и почти весь день проводил в кальсонах. Мог в кальсонах пойти в столовую. Игорь сам дважды перехватывал его на дороге и силою тащил в дом. Бабушка плакала: «Если б ты знал, какой это был человек! Какой ум!» Она считала, что человека уже нет, осталась лишь никчемная, неопрятная оболочка. И все-таки бабушка любила и нестерпимо жалела Давида Шварца. Иногда Игорю казалось, что она любит старика больше, чем его, Игоря, и даже больше, чем Женю.

На Шварца бабушка никогда не сердилась, а Игорь и Женя ее часто раздражали, она ругала их из-за пустяков, один раз даже ударила Игоря по лицу. С легкостью она могла назвать Игоря негодяем, лгуном, дрянцом. Особенно быстро воспалялось ее раздражение после какого-нибудь разговора с Синяковой. Игорь так и знал: если утром была ссора с Синяковой, значит, днем бабушка непременно начнет цепляться к нему и к Жене. С Синяковой она сдерживалась изо всех сил, зато с ними распускала нервы вовсю. Нет, то были не истерики, то были злые несправедливости. Правда, бабушка никогда не терзала Игоря и Женю при Синяковой. При «этой бандитке» семья должна была выглядеть сплоченной и дружной.

Среди стариков были и неплохие люди. Некоторые сочувствовали бабушке в ее борьбе с Синяковой, другие жалели Давида Шварца, навещали его, приносили ему

фрукты, орехи: он очень любил грецкие орехи. Одна старушонка как-то подошла к Игорю, когда он сидел в одиночестве на берегу Боз-су, и тихо сказала: «А я твоего папу знала по Кавказскому фронту. Я его очень уважала. Он был настоящий большевик». И, не дожидаясь ответа, пугливо оглянувшись, она ушла и больше никогда не подходила к Игорю и даже не здоровалась с ним.

Почти все старики считали, что с Давидом Шварцем дело окончательно плохо. За три года перед началом войны его уже сажали в сумасшедший дом, продержали там несколько месяцев и выпустили, но бабушка говорила, что он «уже не тот». Ему даже дали работу: научным сотрудником в каком-то этнографическом музее. Игорь помнил тогдашние разговоры. Одни негодовали: «Это издевательство — засунуть Давида Шварца в музей!» — другие, и среди них бабушка, возражали: «Наоборот, это акт гуманности. Ему дали работу, чтобы он почувствовал себя человеком. Работа его вылечит». Бабушка и теперь верила в то, что его что-то вылечит. «Давиду надо вернуться в Москву, — говорила она. — Как только он вернется, он выздоровеет».

Иногда Игорю казалось, что старик безнадежен, но иногда он случайно ловил осмысленный, сосредоточенный и глубокий взгляд его выпуклых глаз. Это бывало, когда Шварц «работал», то есть, лежа на койке, писал на длинных листах бумаги какие-то бесконечные ряды цифр, — и Игорю на мгновение мерещилось, что старик придуривается, обманывает всех. Но в следующее мгновение он понимал, что это пустая надежда. Бумаги, испещренные цифровыми строчками, Шварц прятал под подушку, но часто они оставались лежать на постели, валялись на полу, и бабушка, Игорь и Женя всегда их подбирали, а Синякова, конечно, рвала их и жгла. Некоторые листки она садистски накалывала в уборной на гвоздь. Что значили эти цифры, понять никто не мог. Бабушка много раз спрашивала у Шварца, и ласково, и очень строго, и неожиданно, чтоб застать врасплох: «Давид, что ты пишешь?» Он отвечал сердито: «Это тебя не касается». И все же, зная, что он не в себе, бабушка верила, что в его записях

кроется что-то важное. Она думала, что он пишет старым подпольным шифром свои воспоминания, и поэтому старалась сохранять бумажки, собирала их и прятала в чемодан. Все эти бумажки пропали вместе с чемоданом, который исчез у Игоря на глазах на Куйбышевском перроне.

— Ну что ж ты? — говорит Игорь и выпрямляется. Он чувствует, что спина сильно нагрелась. — Почему не идешь домой?

— Ай! — Урюк машет рукой. — Далекий дорог домой...

«Тут в самом деле можно остаться и спать», — думает Игорь и вновь откидывается спиной к печке, закрывает глаза. Он видит речку Боз-су, желтую от ила, висячий выгнутый мостик, который скрипит и шатается и где вечерами подкарауливают людей бандиты. Поздним вечером он провожает молодую женщину, врачиху, которая приезжала к бабушке делать уколы, они осторожно спускаются по вырубленным в каменистой земле ступеням, Игорь придерживает молодую женщину за локоть, чтоб она не споткнулась, и кто-то вдруг говорит из темноты: «Киргиз, остановись!» Страх горячей волной обдает все внутри. Игорь знает, что означает этот голос — это сигнал кому-то стоящему на другом берегу реки, — но он твердыми шагами ведет женщину через мостик, который скрипит и гнется, кругом тьма, они переходят на противоположный берег и поднимаются по каменистым ступеням наверх. Теперь они спасены. Вдали видны фонари и вагон трамвая на конечной остановке. «Ты меня выручил. Спасибо!» — говорит женщина и, неожиданно обняв его голову, целует в губы. Он ощущает мягкий рот, раздвинутые губы, их какой-то овощной, баклажанный вкус. Она уходит. Он не может опомниться, это первый поцелуй в его жизни, и теперь он знает, что поцелуй имеет овощной, баклажанный вкус. Обрато он бежит вприпрыжку, раскачивается на мосту, насвистывает, взлетая по ступеням наверх, и его никто не трогает. А еще выше между двумя берегами протянулся деревянный желоб, в нем течет арычная вода, и некоторые смельчаки, кому

лень спускаться вниз к мосту, перебираются через речку по желобу.

Берега речки поросли джидой и орехом. Когда передвигаешься боком по балке, поддерживающей желоб, делаешь трясущимися ногами мелкие шажки и, согнувшись, цепляешься за желоб руками — внизу жирной листвой зеленеет джида, серебристый орех, а вода то коричневая, как глина, то слепит глаза солнечным блеском, смотреть вниз нельзя, надо смотреть на балку или на свои руки, держащиеся за желоб. Впервые пройдя по желобу, Игорь испытывает гордость собой: молодец, не струхнул! Бабушке и Женьке он, конечно, не рассказывает об этом подвиге. Зачем пугать людей? И вот дождливой зимой он бежит из школы и видит: по желобу ползет бабушка. В ее руке бидон. Она ходила за молоком. Она переступает по балке очень медленно, едва-едва. Дождавшись, когда наконец она благополучно добирается до берега, он кричит в ярости: «Что ты делаешь? С ума сошла! Не смей этого делать никогда больше!» Бабушка сконфужена, она бормочет насчет мокрой погоды, скользких ступенек и того, что с ее сердцем подниматься по ступенькам трудно...

О чем-то долго говорит Урюк. Игорь вникает в конец его речи. Что он тут делает? Откуда он? Такие мужики стоят на базаре с мешками орехов, с сушеными дынями, с яйцами, луком и качают каменными бородами: «Йок! Нет!»

— ...Сколько тысяч людей нет издес, все на меня не глядят, а только скажут: «Урюк! Урюк идет! — скажут. — Грязный, — скажут, — черт! Зачем, — скажут, — пришел сюда?» Меня билизовали! Зачем пришел? Билизовали, я пришел...

— Да ты пойми: тебя раньше дразнили мальчишки, а теперь просто зовут так! Вчера Колесников начальнику говорит: Урюк, мол, здорово работает, две нормы вытянул. А начальник секретарю: «Впиши Урюку премиальные в этот месяц. И ботинки выдайте, пару». Ну что они, дразнили тебя?

— Билизовали меня. Я работать ишел. Конечно, слов не знаю...

— Почему домой-то не идешь, ядрена-матрена?

На базаре, куда можно удрать из школы, где месяц ногами февральскую грязь, где инвалиды без ног, в костылях, в тележках торгуют махоркой, показывают фокусы на чемоданах, хрипят и поют, где меняют ношеное белье на сахар, где старые еврейки продают старые покрывала с обсыпавшейся позолотой, где бродят воры, недавние басмачи, выздоравливающие из соседнего госпиталя, голодные девочки, несчастные женщины, нищенски одетые спекулянты, пожилые обтертые франты в шубах дореволюционного покроя и без копейки денег в карманах, где можно продать залатанные галоши, что Игорю удастся к концу дня, и он ходит с сорока рублями по рядам, не зная, что купить, пока один старый узбек, сидящий под навесом, не зовет его: «Эй, бача, поди сюда! Дыню хочешь? Ай, сладкий, возьми!» Он протягивает тяжелый моток прекрасной сушеной дыни. Ее можно нарезать маленькими кусочками и пить с нею чай долго, недели две. «Сколько стоит?» — «Возьми, ешь...» — говорит старый узбек, и его глаза становятся прозрачными, как у кошки, рот растягивается в улыбке, и видны несколько черных зубов. «Бача!» — говорит узбек и обнимает своей ладонью Игореву ногу выше колена. Игорь бьет куда-то ногой, продавец дыни вскрикивает, валится на бок. Игорь бежит, ему кричат вслед: «Ур! Ур!» — как кричат, когда ловят и бьют воров до смерти. Не надо было бежать. Надо было идти с достоинством, как человек, которого оскорбили. Но тогда бы все эти продавцы дынь...

Проиграл обеденную карточку. Играл в карты в общезитии и проиграл карточку. Ай, ничего, осталось пять дней, начнется другой месяц, другая карточка.

— Во что играл-то? В «три листика»?

— Не знаю, — говорит Урюк. — Колька играл.

— Как же ты, глупый ты человек, берешься играть в игру, в которую нельзя выиграть? Ведь в «три листика» играют у вас в Ташкенте на базаре!

Урюк не был в Ташкенте на базаре. Он и в самом Ташкенте не был, только видел в окно вагона.

Игорь идет на второй этаж к начальнику цеха. Надо спасти человека: какой день без обеда! Авдейчику некогда разговаривать о мелких подробностях жизни подсобников, проживающих в общежитии, он шлет Игоря к комсоргу Вале Котляр, в инструментальный цех. Комсомольская организация тут общая, потому что цеха соседние, в одном корпусе, только в инструментальном комсомольцев человек сорок, а в «заготовке» всего-то, может, пяток ребят в группе слесарей, где пилят матрицы. Валя Котляр — технолог. Она очень маленького роста, как гномик, белые кудряшки, пронзительный голос, сапоги и ватник делают ее крохотную фигурку квадратной. Вся история с картами ее возмущает, но помогать Урюку ей неохота.

— Дураков не навyrучаешься! У нас тут заботы поважней. В нашем же цехе три парня — представляешь, гады? — производство открыли. Ножи делать. Как в Америке. И торговали на Тишинке. Ну, зажигалки — ладно, ну, мундштуки наборные — ладно, но чтоб такие финяры в ночную смену точить из напильников...

И все-таки они идут в общежитие. Для подмоги Валя берет одного здорового малого из цеха.

— Что-то я тебя первый раз вижу, — вдруг подозрительно говорит Валя Игорю. — Ты где на учете?

Игорь объясняет, что нигде не на учете, потому что не комсомолец, а работает он трубоволоочильщиком.

— Готовься. Будем принимать, — еще более внезапно заявляет Валя. — Такие люди нам нужны. Собираешься вступать в ряды?

— Конечно! Чего ж... — Игорь пожимает плечами.

Он и раньше думал о вступлении в комсомол, думал часто и много, но каждый раз не до конца, не хватает решимости. То, что он ответил Вале так спокойно и будто бы равнодушно, было неправдой. Он весь напрягся, услышав внезапное предложение. И — снова не до конца, снова решение откладывается на «потом», на «когда-нибудь», когда отступить — перед собственным малодушием — будет некуда.

Колька сидит на полу в окружении пацанов и кого-то обманывает в «три листика».

— Это кто же набрехал? — орет Колька и сверлит Урюка благородно-гневным, испепеляющим взором.

Ни о какой обеденной карточке он, конечно, понятия не имеет. У него и своей-то нет. Украли, должно быть, сволочи, жулики, прямо из штанов увели. В столовой, должно быть. Он, когда обед ест, совсем дурной бывает, как глухарь, ничего не слышит, не замечает, особенно когда первое ест, суп, например, с клецками или щи мясные. Когда второе дают, он уже ничего, отошел, а когда первое — свободно могли увести.

— Натe! Обыщите!

Летят из тумбочки какие-то тряпки, железки, обломок абразивного камня, куски проволоки, выворачиваются с руганью карманы, взлетает одеяло, под которым серый в пятнах матрац.

— Вот! Вот! Натe! Смотрите! Зачем же ты набрехал, черт нехороший?

Урюк ничего не отвечает и как будто не понимает смысла всей этой сцены и Колькиных криков.

— Он сказал правду! — говорит Игорь, с отвращением чувствуя, что у него дрожит голос.

— А ты молчи. С тобой потом... — отвечает Колька не глядя.

— Ай... — говорит Урюк.

Он ложится на койку и поворачивается лицом к стене.

— Еще раз увидим карты, — говорит Валя, пистолетиком наставив на Кольку детский указательный палец, — выселим из общежития, так и знай!

— Напугали! Мне и так весной — ту-ту, ать-два...

Черед два дня Игорь получает зарплату, большую, «под расчет»: шестьсот двадцать рублей. Никогда еще Игорь не получал сразу так много денег. В Ташкенте, когда работал на чугунолитейном заводе, выработал однажды семьсот три рубля — но за целый месяц. А тут шестьсот двадцать за две недели! В возбуждении Игорь почти бежит по переулку, обдумывая, как потратить эти деньги, что купить. Необходимых вещей много: надо, первое, vareжки на рынке достать, а то в заводских, казенных срам же ходить, сколько можно, в метро и троллейбусах руку



из кармана не вытащишь; во-вторых, носки порвались, тоже на рынке есть, вязаные, по шестьдесят рублей пара на Минаевском. Четыреста тугриков тете Дине дать, на «прокорм». Маринке — меду раздобыть, тоже на Минаевском видел, сто рублей стеклянная банка. Целую банку взять. Что еще? Вроде ничего больше. Расческу еще, а то потерял. Хотя расческу необязательно, можно и самому сделать. Ребята из алюминия отличные делают, тонкой ножовочкой. В книжный магазинчик бы заглянуть, чего-нибудь из книг прихватить с полочки. По истории искусств, например. Собрание картин Третьяковской галереи, альбом — ценная вещь! Еще в одном магазине была ценнейшая книга: «История гипнотизма».

В конце заводского забора, на углу, где переулочек раздваивается: направо — к метро, налево — к общежитию, к Бутырскому валу, висит на доске газета, и Игорь останавливается, чтобы прочитать, что идет в кино. Уже порядочно рассвело, и, приблизив к стеклу лицо, напрягаясь, можно читать. Сзади с глухим говором, шумом, топоча по деревянному настилу тротуара, бежит к метро ночная смена. В «Москве» идет американская комедия «Три мушкетера», в «Центральном» — «Маскарад». Но уж в «Новости дня», на бульвар, Игорь пойдет непременно! А что, если прямо на рынок за медом, да и табаку купить, а оттуда — домой, спать? Английское наступление в Ливии. Бои на подступах к Бизерте. Потребление 20 — 30 граммов сухих дрожжей в сутки обеспечивает требуемое питание белками здорового человека. 1 кг пищевых дрожжей дает 4250 калорий, жирного мяса — 1720 калорий. Технология производства дрожжей очень несложна...

Внезапная вялость охватывает Игоря. Он переходит на другую сторону переулочка, где безлюдно и можно идти медленно. Никуда не хочется спешить, ни в кино, ни на рынок, ни домой. Если бы он мог домой! Но там, куда он придет через час, там нет его дома. Там — добрые люди, сердечные люди, там их дом, а его дом где-то в другом месте. Нет, и не там, где стоит под замком нежилая комната с замороженными книгами, и не там, за четыре тысячи километров, где в обмазанном глиной бараке живут

старушка и девочка, они ненавидят этот барак, они видят во сне свое бегство оттуда. И не там, где высится пустая громада, мерцающая сотнями крепостных стен. Есть ли у него дом на земле? В степи, где зной, где стужа, где он никогда не был, есть маленький дом, охраняемый пулеметами, где мается родная душа. Так, может быть, — там? Никуда не хочется идти, и он останавливается и стоит, прислонясь к забору. Белеет снег на крышах. За кирпичной стеной, в которую упирается переулочек, видны черные коробки складов, за ними какие-то дома, трубы, дым в сером рассветном небе, дальше — невидимая, скрытая домами, линия окружной дороги, выходящая к пригородному перрону Белорусского вокзала, и снова, за Бутырским валом, дома, трубы, дымы, бесконечный город. Пустынный город, где нет одного-единственного дома, нет даже маленькой комнаты, необходимой для жизни.

Мимо кирпичной стены дорога ведет к общежитию. Валя Котляр рассказала про Кольку и других ребят из общежития: их называют «витебские», они из детдома, из Витебской области. Все они круглые сироты, и Колька такой же. Детдом попал под бомбежку в первые же дни, воспитатели погибли. Ребят кое-кого сумели эвакуировать. Они говорят: «Мы второй раз потеряли родителей».

А если до Кольки добежать? Проведать дурачка? Он до сих пор на бюллетене, теперь Колька заболел по-настоящему. Никакой вражды и неприязни к нему Игорь не испытывает. Глупо все вышло с картами, с допросом. Валя схватила карты, стала рвать. Колька на нее с кулаками. Игорь и тот парень, из инструментального, — на Кольку, помяли его. И куда он, тщедушный, бросается? Дружки его стояли, смотрели, никто не двинулся. Может, были в проигрыше и не возражали, чтоб игра прекратилась. А Урюк как лежал лицом к стене, так и не повернулся. И вот, когда возвращались переулочком, Валя рассказала про детдом, и все вдруг перевернулось в душе у Игоря. Валя тогда сказала: «Ты молодец, правильно действовал! Ты из какой вообще семьи? Какого происхождения?» «Как это какого происхождения?» — спросил Игорь. Смысл вопроса он примерно понял, но хотелось понять

точнее. Кроме того, было почему-то приятно выглядеть сероватым, не очень понятливым. «Ну, твои родители кто: из рабочих или из интеллигентов, из служащих?» — «Из интеллигентов. То есть, вернее, из служащих. Но вообще-то отец был рабочим...» Валя сказала: «Такие люди нам нужны. Готовься, будем принимать!»

Игорь быстро пересекает заснеженную мостовую, доходит до кирпичной стены и поворачивает налево. Дорога к общежитию идет мимо заднего заводского двора. Выходят трое ребят из-за угла. Вырастают как три дерева перед самым лицом. Один берет Игоря за шарф и молча легонько тянет в сторону, в переулок. Игорь послушно делает шаг за ним. Сопротивляться значило бы проявить трусость. Они хотят с ним драться и выбирают для этого проулок, где темновато, никто не увидит, и он шагает за ними, ибо гордость не позволяет ни сопротивляться, ни кричать, ни бежать. Он поспешно срывает очки, прячет в карман брюк: первое дело перед дракой. Вот только непонятно: кто такие и за что хотят бить? Парень, держащий Игоря за шарф, приближает свое лицо к лицу Игоря — оно какое-то косое, бледное, один глаз зеленоватый, другой голубой — и говорит, не разжимая зубов: «Зачем на Колю Колыванова стучал, сука? За стук что бывает — знаешь? — И неизвестно кому приказывает: — Заряжай!» Из-за спины парня вылетает кулак, и боль вонзается в середину лица, очень сильная боль — как будто с размаху ударили в лицо поленом. Игорь опрокидывается назад, рвется, пытаюсь оттолкнуть того, кто держит его за шарф, держит крепко, пригибая голову вниз, но новый удар с другой стороны валит Игоря на колени, шарф сам собою разматывается, и Игорь, почувствовав на секунду освобождение, успевает вскочить и ответить ударом. Он бьет куда попало, и его бьют в шесть кулаков, в ухо, в живот, он согнулся, почему-то он все еще стоит на ногах, он видит красные кулаки и понимает, что это его кровь. «Запомнишь, сука! Вынимай из него гроши!» Кто-то сзади со спины срывает пальто. Шапка уже сбита. Повалили на снег, один стискивает голову, другие ломают руки, роются в ватнике,

выворачивают карманы. Внезапно оглушительно зарокотало рядом наверху.

— В последний час! — гремит радио. — Успешное... наступление... наших войск... в районе Сталинграда!

Все четверо застывают на мгновение. Тот, кто ломал Игоревы руки, не разжимает своих, а кто стискивал голову — навалился на Игоревое лицо животом, чтоб Игорь не вывернулся. И — замерли, слушают.

— На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительные линии противника протяжением 30 километров на северо-западе, в районе города Серафимович...

Кто-то, сидевший на Игоревых ногах, поднимается, и двое других тоже поднимаются и молча, не посмотрев на лежащего с окровавленной рожой Игоря, уходят. Игорь садится спиной к кирпичной стене, первым делом осторожно, со страхом сует руку в брючный карман за очками — целы, не разбились! — прикладывает снег к губам, к глазам и слушает. И ему радостно, его радость огромна, он счастлив. Он встает на непрочных ногах, чтобы быть ближе к репродуктору, который там, на столбе.

— За три дня напряженных боев, — читает полным блаженства голосом диктор, — преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60 — 70 километров... Нашими войсками заняты город Калач, станица Кривомузгинская... Тринадцать тысяч пленных... триста шестьдесят орудий...

А день совсем белый, снежный, переулочек пуст. Вдали стоит человек и тоже слушает или, может быть, смотрит на Игоря. Никогда раньше Игорь не испытывал этого странного ощущения: он счастлив, напряженно, бесконечно и истинно счастлив, но это его чувство существует как бы отдельно, как бы *вне его и помимо его*; это чувство живет самостоятельной жизнью, оно зримо, его можно увидеть, как можно увидеть, например, облачко от дыхания на морозе, и оно не имеет никакого отношения

к человеку в разорванном пальто, который идет, пошатываясь, и выплевывает изо рта кровь.

Подарки надо делать небрежно, мимоходом и, главное, никак не обнаруживая приятного возбуждения и гордости самим собой, которые при этом испытываешь. Надо не спеша раздеться, спросить: «Ну, как вы тут?» — помыться, отчистить тщательно руки, кое-где пемзой, выковырять ножницами мазут из-под ногтей, походить немного по комнате, можно выпить чашку чаю или желудевого кофе, выкурить самокрутку и потом уж невзначай сказать: «Да! Я тут принес какую-то ерунду...» Пойти в прихожую, где остались лежать как бы забытые на сундуке, под газетой, банка меда, бумажный фунтик с тремястами граммами риса и толстые вязаные носки для бабушки Веры, которая жалуется, что у нее мерзнут ноги. Все это сгрести и положить в комнате на стол со словами: «Штучки-дрючки с нашей полочки!» — а самому сесть в сторону и, дымя самокруткой, углубиться в газету.

Рис куплен для тети Дины: врач прописал ей рисовый отвар.

Бабушка Вера обрадованно укоряет Игоря в том, что он мот, но сейчас же влезает в носки и шлепает в них туда-сюда, как в новых туфлях. Выходит из своей комнаты Марина, успевает сказать: «Боже, какая роскошная жизнь...» — и застывает, с ужасом глядя на Игоря. Он прикладывает палец к губам. Бабушка совсем почти потеряла зрение и, слава богу, не видит его рожи. А рожа у него действительно страшная, в кровоподтеках, рот в запекшейся крови, сам испугался, увидев себя в ванной в зеркале. Правда, благодаря этой роже на рынке он заслужил снисхождение: одна старушка уступила носки всего за четыре рубля, а банку меда он купил за восемь.

— Что с тобой? — шепчет Марина и тянет Игоря в свою комнату.

Они садятся на постель, неряшливо прикрытую одеялом. Игорь рассказывает, привалившись спиной к стене, нога на ногу, в зубах самокрутка:

— Ну, я ему дал апперкотом... Он мне прямой правой... Я ушел нырком... Тут они дали серию, я закрылся...

В комнате Марины всегда душно, пахнет лекарствами. Светомаскировочную черную штору Марина никогда не поднимает — зачем поднимать, если окно выходит в узкий, щелевидный двор, неба не видно, напротив стена другого дома, настолько близкая, что при желании ее можно достать, вытянув руку с длинной палкой, например со шваброй, — и в комнате Марины не гаснет электричество, маленький ночничок над изголовьем. «Жил на свете рыцарь бедный, — говорит Марина и притрагивается ладонью к его щеке, губам. — С виду сумрачный и бледный...» Возле губ ее ладонь задерживается, едва касаясь, как бы ожидая чего-то. Он умолкает и сидит, закрыв глаза, погруженный в ощущение этой близкой и легкой, пахнувшей лекарством ладони. Когда через несколько секунд он открывает глаза, он видит лицо Марины рядом со своим, совсем близко, и слышит ее испуганный шепот.

— Мой бедный изувеченный брат... Ложись сейчас же и отдыхай...

Смеется она или вправду жалеет? Она внимательно разглядывает его синяки под глазами и требует, чтобы он снял очки. Он снимает. Тушит самокрутку в пепельнице. Губами она притрагивается к одному синяку, к другому. Слышно, как по коридору шлепает бабушка Вера. Остановившись на пороге комнаты, старушка спрашивает:

— Горик, почему ты не идешь отдыхать?

— Он спит! — шепчет Марина. — Здесь ему спокойней, пусть спит...

Марина не отодвигается от Игоря, наоборот, прижимается к нему, она лежит на животе поперек постели, свесив ноги, и тянется губами к его синякам. Нет, это не поцелуи, это нежные целительные прикосновения. У Марины очень доброе сердце. Она любит Игоря, как старшая сестра, и сейчас, видно, очень сильно ему сострадает. Но все-таки хорошо, что бабушка Вера ничего не видит. Со стороны можно подумать, что Марина его целует, а она просто дышит, дует, холодит его воспаленную кожу. Ее губы касаются его распухших, израненных

губ, на мгновение прижимаются к ним. Бабушка Вера шлепает назад, к себе.

— Тебе не больно? Не неприятно? — осведомляется Марина.

Он качает головой. Нет, конечно, ему не больно и совсем не неприятно, даже наоборот — ему приятно, необыкновенно и удивительно приятно, но признаваться в таких вещах не мужское дело. Поэтому, покачав головой, он замирает и на всякий случай закрывает глаза.

Марина уходит, постелив ему постель и выключив ночник. Он дышит запахом ее подушки, пахнувшей ее лицом, ее волосами. И, лежа в темноте, думает о ней: «Какая странная! Ей ничего не стоит обнять человека, прижаться к нему, даже поцеловать его и тут же улетучиться, исчезнуть, забыть обо всем». Из соседней комнаты слышен ее капризный голос: «Бабушка, опять ты куда-то задевала игольницу!» Она считает его мальчиком, в этом все дело. Конечно, она старше его на пять лет, ей, слава богу, уже двадцать два, у нее есть жених, военный инженер, который служит на Севере, и есть два поклонника, они навещают ее, приносят подарки, особенно усердствует один, майор, толстенький, с бараньей прической, всегда от него пахнет одеколоном, а другой — какой-то занюханый студентик, хромой, с палкой, зовут Яшей, Марина относится к нему гораздо лучше, чем к майору, жалеет его, считает очень талантливым и несчастным и всегда норовит его покормить. Но ведь он, Игорь, тоже не мальчик! Слава богу, он каждый день слышит от Кольки такие истории, что закачаешься. Через две недели ему исполнится семнадцать. Правой рукой он выжимает квадратную двадцатикилограммовую гирию четырнадцать раз. Если она еще раз попробует к нему прижаться — она вообще не в его вкусе, ему не нравятся такие худые длинные лица с большими носами, — но если она еще раз попробует, он ее обнимет так, что у нее косточки затрещат. Оттого, что он отчетливо себе представляет, как это произойдет, его бросает вдруг в жар, и он начинает ворочаться под одеялом, никак не находя удобного положения: на правом боку не может лежать, потому что болит ребро,

на левом — потому что подушка прикасается к кровоподтеку под глазом. Наконец он укладывается на спине. Когда-то мама приходила в детскую и, если он лежал навзничь, поворачивала его на бок: при лежании на спине нагревается мозжечок и могут сниться кошмары. Но теперь он так устает, что не до кошмаров. Все стремительней, радостней он летит в сон. Последняя мысль, пронизывающая эту радость, эту стремительность, вот какая: прорвали фронт под Сталинградом, освободили Калач, тринадцать тысяч пленных.

Просыпается неизвестно когда: вокруг тишина, мрак. Может быть, уже поздний вечер, может быть — полдень. Все тело болит, ноют плечи, спина. Игорь делает два шага, и его шатает, вот чертовщина! Значит, не выспался, спал очень мало, сейчас не больше часу дня. Бабушка Вера сидит у стола и, глядя в лупу, разбирает на клеенке рис. Тетя Дина еще не пришла со службы. Марина в институте, сегодня там вечерняя лекция. Четверть седьмого.

— Горик, тебе письмо. Спал, спал и выспал...

Из Ташкента, от бабушки. Ее остроугольный почерк на самодельном конверте из тетрадной обложки: «Баякову Игорю Николаевичу». Как всегда, бабушка пишет чрезвычайно сухо и конспиративно! «Хлопоты о том, о чем мы мечтаем, пока ни к чему не привели. Говорят, это будет не раньше, чем через полгода. Причина, из-за которой я начала хлопоты, по-прежнему остается... Он перенес грипп, здесь некоторые болели...» Читай так: приезд в Москву откладывается. Здоровье Давида Шварца по-прежнему плохо. Там была тяжелая эпидемия гриппа. (Бабушка писала в ЦК о том, что Шварцу для поправления здоровья необходимо вернуться в Москву, а она, близкий и единственный друг, должна его сопровождать.) «Я работаю сейчас надомницей для артели, вяжу сети, работа ответственная, оборонного значения... Мы слушали по радио речь товарища Сталина 6 ноября и завидовали вам, что вы в Москве». (Чему завидовать? Мы тоже слушали по радио.) «Замечательно сказано о том, что фашистским палачам не уйти от возмездия... Во втором ящике стола справа должна быть черная папка, там лежит Женечкина



метрика, Васины облигации, спрячь их... Нет ли новых известий от Васи? Напиши немедленно, есть ли, а то мы волнуемся, последнее письмо от него было в августе...»

Под «Васей» бабушка шифрует маму. От мамы действительно писем нет давно. Ей разрешается писать раз в месяц, но вот уже три с половиной месяца от нее ни слуху ни духу. Но бабушка Вера считает, что было бы странно, если бы во время войны письма из лагеря доставлялись бесперебойно.

— Представляю, в каком волнении Нюта! — говорит бабушка Вера. — Но по письму не скажешь, правда же? Какой характер! Не устаю изумляться...

Бабушка Вера всегда говорит о своей двоюродной сестре с почтительным восхищением, но где-то в глубине таится оттенок тончайшей и привычной насмешки. «Это не человек, это какой-то железный шкаф. Когда случилось несчастье с твоей мамой, она полтора месяца скрывала от нас — от меня и от Дины, близких людей, говорила, что Лиза в командировке. Зачем это было нужно, ты не знаешь? Мы же не Гринберги, не Володичевы, которые стали переходить на другую сторону улицы и отворачивались, когда встречали Нюту в магазине. Мы же родные люди. А когда у Гриши, твоего дяди, открылся туберкулез и его отправили в санаторий — и это было всем известно, — она уверяла нас, что он уехал на практику...»

Бабушка Вера любит разговаривать о той, другой бабушке, перебирать прошлое, молодость, их совместную жизнь в Петербурге и Ростове, их мужей, которые были дружны между собой и погибли почти одновременно в годы революции. Игорю слушать интересно, хотя он понимает, что все эти сведения бесполезны, ненужны. Его родная бабушка никогда ни о чем не вспоминает. Однажды она сказала нечто, поразившее Игоря: «Я не помню, как мое настоящее имя и настоящая фамилия. И меня это не интересует». Вот уже сорок лет она живет под именем, полученным в подполье — Анна Генриховна Вирская, — и даже ее сестра, бабушка Вера, зовет ее Нютой.

— Нюта вяжет сети! Господи помилуй! Во-первых, бедные сети... Во-вторых, бедная Нюта: она совсем отвыкла

от физической работы... Ведь в последние годы она работала в этом, как его, Секретариате, кажется? Да, да, она была большой человек, ответственный работник. И я гордилась: моя кузина — такая важная персона! А? Очень гордилась, да, да!

Бабушка Вера смеется, кивая подслеповатой головкой. В ее сочувствии, ее смехе Игорь угадывает тень давнишней, теперь уже исчезнувшей, тайной сестринской зависти. И ему делается слегка неприятно.

— Я Нюту всегда любила. Мы были очень близки в юности. Но наши жизни так складывались, что почти никогда мы не были одновременно в равном положении... Когда я была здесь, она была там. Когда я оказывалась там, она поднималась сюда. — Бабушка Вера, продолжая улыбаться оттого, что рассказывание доставляет ей удовольствие, показывает движениями рук какие-то символические «там» и «здесь». — Это, конечно, осложняло отношения. Но я все равно любила Нюту, уважала как человека, как оригинальную личность, хотя не понимала ее увлечений. Я была совсем далека от политики. А мой муж Александр Ионович, наоборот, был человек очень живой, бурный, с общественным темпераментом, как полагается адвокату. Он был тоже *социаль-демократ*, но какого-то особого толка, я точно не знаю. После февраля он работал, например, в комиссии Временного правительства по разоблачению провокаторов. Мы жили много лет на Литейном. У нас была прекрасная квартира из семи комнат. Помню, твоя бабушка пришла ко мне году, например, в двенадцатом, в ноябре мы как раз собирались с Александром Ионовичем в Париж, мы ездили туда чуть ли не каждую зиму, — просила помочь каким-то двум товарищам. Она была так плохо одета, такая несчастная, худенькая. Мне стало ее безумно жалко, как сейчас помню. На губе ее был фурункул. Я хотела ее покормить, оставить дома, но она отказалась. Александр Ионович чем-то помог. Он был благороднейший человек. И знаешь, Горик, мне на всю жизнь врезалось, как боль, это воспоминание: Нюта уходит ночью, в дождь куда-то на вокзал, а я остаюсь в теплой квартире с чемоданами для Парижа...

По ее кивающему, в слепой улыбке личику никак не скажешь, чтобы она испытывала сейчас боль от этого воспоминания. Наоборот, вспоминать ей, кажется, очень приятно, и она даже отложила лупу и перестала перебирать рис, чтобы полностью отдаться приятному переживанию.

— А потом роли переменялись, двадцатый год, Александр Ионович застрел в Новороссийске, не успев эвакуироваться, — он не служил в Добровольческой армии, но отступал с ними, он был человек глубоко штатский, — а я была в Ростове, получила от него трагическое известие, что ему грозит расстрел, помчалась к Нюте, она работала в политотделе фронта, умоляла ее, рыдала, и она, конечно, сделала все, что могла. Пошла к твоему отцу, Николай Григорьевич дал телеграмму, и Александра Ионовича спасли. Тогда в Новороссийске из тех «добровольцев» отобрали для работы в советских органах большую группу юристов — кто соглашался честно работать. Николай Григорьевич был человек гуманный, умел людям верить. Александр Ионович работал с ним очень хорошо, кажется в трибунале фронта, не помню точно где, на Большой Садовой. И вот какой-то большой мятеж, Александра Ионовича послали на разбор дела, он, конечно, хотел разбирать по совести, но его обвинили, что он потворствует, что он, знаешь ли, спец не пролетарского происхождения, отстранили от работы и грозили всякими карами, и тогда он бежал в Крым. К своему брату, профессору. Конечно, он совершил ошибку. Не надо было бежать. Я осталась с детьми в Ростове совершенно без средств. Но с ним поступили жестоко. После взятия Крыма он был расстрелян, его брат тоже. Твой отец ничего не мог сделать, а Нюта, когда я пришла к ней, сказала: «Если бы мой сын Гриша совершил дезертирство, я бы не задумываясь отдала такой же приказ. Другое дело, когда людей расстреливают по ошибке — это трагедия». Я запомнила фразу: «Это трагедия». А то, что было с Александром Ионовичем, — не трагедия. Я понимаю, она говорила о муже, твоём дедушке, который погиб несчастной смертью незадолго до этого в Баку. Его расстреляли совсем

уж ни за что, он давно отошел от политики, работал инженером на нефтяных промыслах. Он был изумительный человек, необыкновенной доброты, бескорыстия. Я всегда жалела, что Нюта с ним разошлась. Александр Ионович дружил с ним году в пятом, в шестом, до его отъезда в Баку, и, помню, говорил мне: «Андриан Павлович — истинный революционер, он мухи не обидит». А? — Бабушка Вера шурит темные водянистые глазки, пытаюсь всмотреться в лицо Игоря и понять, какое впечатление произвели на него эти слова. — Как тебе нравится такое определение? Немножко оригинальное, не правда ли? Александр Ионович был большой шутник, должна тебе сказать... В двадцатом году мы очень бедствовали, Нюта нам помогала... А пять лет назад поздно ночью она пришла ко мне и сказала: «Вера, если что-то со мной случится, обещаю, что не оставишь Горика и Женечку...» И знаешь, опять мне стало ее безумно жаль, когда она уходила. Тоже, кстати, шел дождь. Она была такая старенькая, в старом пальто. У нее не было зонта. Я дала ей свой зонт...

Палец бабушки Веры передвигает по клеенке в кучку белого риса черную порченную рисинку. Значит, и в лупу старушка ничего не видит.

— Перестань напрягать зрение, — говорит Игорь. Непонятно почему он испытывает легкое раздражение. — Дай-ка я переберу!

Он делает резкое движение к столу. Бабушка Вера испуганно прикрывает кучки риса ладонями.

— Нет, нет! Я сама!

— Но ты должна дать отдых глазам. Чем бабушку жалеть, ты бы себя пожалела, свои глаза.

— Это моя работа. Я сама...

— Зачем делать бессмысленную работу? Какой-то сизифов труд... — говорит он горячась. — Сизифов труд при помощи лупы! — Он умолкает, запнувшись.

Бабушка Вера тоже молчит. Она молчит долго. Игорь понимает, что старушка обижена. Слишком грубо: бессмысленная работа, сизифов труд! Пусть делает это единственное, что она может делать, и пусть ей кажется, что это важно. Игорь ерзает на стуле и даже вспотел: ему

стыдно и хочется загладить грубость. Но слова для заглаживания никак не подбираются, и он продолжает молчать, угрюмо насупившись. Хлопнула входная дверь, кто-то протопал по коридору, щелкнул замок соседней комнаты. Судя по топанию — Бочкин. Очень медленно от одной кучки риса к другой бабушка Вера перетаскивает пальцем по рисинке. Лицо ее с приставленной к глазу лупой низко опущено. Игорь видит ее зеленоватое темя, белые волосы. Вдруг вспоминается, что когда-то в детстве он лазил в пещеры и видел там, под землей, белую траву.

— Сизиф был рабом? — неожиданно спрашивает бабушка Вера.

— Кто? Сизиф? Сначала царем, потом рабом. Где-то в подземном мире...

— Как всякий человек. Сначала он царь, потом раб. Старость — это рабство... — Она молчит, наклоняет голову ниже. — Особенно такая бесполезная старость, как моя. Зачем я живу? Кому от этого польза, от моего прозябания?

— Ну что ты говоришь!

— Мне самой? Давно уже нет. Моим близким? Я ничего не могу. Только ем их хлеб и раздражаю разговорами... Я раздражаю себя саму — тем, что я беспомощна, безглаза...

— Тебя же все любят, баба Вера!

— Я знаю... — Она кивает, кивает, не может остановиться. Медленно ползет по клеенке ее коротенький костяной палец. — Может быть, для них я и живу.

И еще разговор с бабушкой Верой. Тоже вечером, и тоже они вдвоем в комнате. Игорь только что отужинал — съел тарелку супа, выпил чашку кофе — и лежит на диване с газетой. Бабушка Вера, присев рядом с ним на диван, обращается с неожиданной просьбой: поговорить с Мариной насчет ее поведения.

— Она тебя уважает. Не знаю уж за что... — Бабушка Вера шуточно постукивает его легоньким кулачком в бок. — Может быть, просто потому, что никого другого

в семье она уважать не привыкла. А ты какой-никакой мужчина... Ты должен ей сказать... Приведи примеры из истории, литературы... Ты же любишь литературу...

Игорь морщит лоб. О чем сказать? Какие примеры?

— Что в течение тысячелетий главной добродетелью женщины, — шепчет бабушка Вера, — считалась ее верность жениху, который воюет... Володя пишет нежные письма, высылает деньги... А тут — этот Яша, этот Всеволод Васильевич... Я не могу понять... Меня, конечно, не спрашивают... Кто я такая?

— Но мне неудобно, — говорит Игорь. — Это уж ваше с тетей Диной дело.

— Мы с тетей Диной бессильны. Я давно не имею права голоса, а Дину она просто не уважает. Да, да! Она ее не слушает. Она ее жалеет, конечно, и любит как мать, но уважения нет. Когда Дина как-то попробовала что-то сказать, она ее обрезала: «Мама, ты отказалась от живого мужа, так что не учи меня благородному поведению». Вот видишь! Я не оправдываю Дины. Она поступила против совести. Но, во-первых, она думала о той же Марине, о ее судьбе. И, во-вторых, Дина и Павел Иванович жили недружно еще до того, как все это случилось... Я знаю, что пережила твоя мама. Знаю, что в Наркомземе от нее требовали, чтобы она отказалась... И Нюта, между прочим, при всей ее твердости говорила Лизе: «Коля бы тебя не похвалил. Ты должна спасти детей. А то, что ты подпишешь какую-то бумажку, это сущая чепуха, вздор, Коля поймет, все поймут». Но Лиза не смогла...

Игорь думает: она не смогла стать другой. Превратиться в другого человека. Он видит давнее лето на даче, приезд тети Дины с высоким усатым человеком, Павлом Ивановичем, отец боролся с ним на Габайском пляже, стояла августовская жара, туда приехали на двух лодках, по пути соревновались, какая лодка быстрее, и Игорь сидел на руле. И в тот день отец уронил в воду очки, и мама долго ныряла, пока не нашла их на дне.

— Ты говоришь: поймут. Но ведь Марина не захотела понять тетю Дину. Хотя сделано было ради нее..

— Я этого не говорила! Это сказала Нюта. Правда, я не уверена в том, что она сказала это только лишь..

— Ну?

— Ну, ты же знаешь свою бабушку. Она не похожа на обычных людей. Прежде всего, она человек дисциплины...

Бочкин прошел в ванную, гремя там тазами. Зашумела вода. Сейчас он разведет свою гадость: разложит в тазы куски кожи, вытащит банки с кислотой, с ворванью. В ванную не зайдешь.

— Горик, поди, пожалуйста, поставь суп. Скоро Дина придет. И я тебя прошу: ни Марине, ни Дине ни слова, что я... Но ты сам... — Бабушка Вера закрывает лицо ладонями. — Поговори с Маринкой! Она же гибнет! Неужели вы не видите, что девочка гибнет... Ведь ее отчислили из института, она обманывает, не ходит ни на какие...

Бабушка Вера задыхается. Она плачет без слез, как плачут очень старые люди.

Игорь обещает поговорить с Мариной. А что ему остается делать? Но поговорить никак не удастся: вечерами ее нет, а утром он уходит слишком рано.

Однажды он просыпается ночью от голода. Может, и не от самого настоящего голода, того, что когтит человека зверским желанием есть что угодно, лишь бы наестся, набить живот. Нет, ему не все равно, что есть и чем набивать живот. Щи из квашеной капусты, например, какими кормят в столовой, он есть бы не стал. Овощную «безлимитку» тоже, пожалуй, не стал бы. Он просыпается от совершенно четкого и могучего, изнутри прущего желания: пожевать кусочек черного хлеба. Хочется тихо встать, подойти на цыпочках к буфету, открыть с максимальной осторожностью, чтоб не разбудить бабушку и тетю Дину, стеклянную дверцу, достать хлебницу и отрезать от вчерашней буханки ломтик толщиной примерно в десять миллиметров. Посыпать солью и запить водой из-под крана. Несколько секунд Игорь лежит недвижно, глядя во мрак и изумляясь этой хлебной причуде, разбудившей его среди ночи.

Сна ни в одном глазу, а желание ощутить во рту знакомую, вязкую кислоту черняшки жжет все сильнее. Но он

продолжает лежать. Нет, у него не хватит сил пойти к шкафу и совершить воровство. А что же, как не воровство: под покровом ночи оттяпать кусок от общей буханки? Ну и срам будет, если проснется тетя Дина. Баба-то Вера ничего не услышит, хоть из пушек пали. В том-то и весь ужас, весь стыд, что делается ночью, когда другие спят. Если бы вечером у всех на виду он подошел бы к шкафу и со словами «Что-то я малость того...» спокойно отрезал кусочек хлеба, это было бы вполне прилично и естественно. Но вот ночью, втихаря... Нет, невозможно! В десять вечера было возможно, а сейчас — он дотянулся рукой до будильника, всмотрелся в светящиеся цифры, — в три ночи, совершенно немыслимо. Лучше погибнуть от голода. Представить только: тетя Дина вдруг просыпается, мало ли отчего, кольнуло в боку, и видит, как ее племянник стоит, белея кальсонами, у буфета...

Между тем желание черняшки — ничего больше, никаких пирожных, огурцов, ливерных колбас, ничего, кроме простой черняшки, — становится нестерпимым. Печет внутри так, точно там, в желудке, поставлен горчичник. Бессознательно Игорь начинает примериваться, как побесшумней откинуть одеяло и как спустить левую ногу на пол, чтобы ничего не задеть. Какой все же вздор лезет со сна в голову! Неужели добрые люди, которые любят его как сына, пожалеют ему маленький ломтик хлеба, граммов сорок или пятьдесят? Единственная неловкость: то, что ночью. Но ведь будить среди ночи, чтобы сообщить о своем непобедимом желании пожевать хлебушка, было бы еще большей неловкостью. Было бы просто подлостью, тем более что бабушка мучается бессонницей, засыпает с трудом. А вообще-то в этом доме он главный, так сказать — «немец, хлебник аккуратный, в бумажном колпаке», по рабочей карточке он зашибает семьсот граммов, тетя Дина по служащей зашибает пятьсот, бабушка Вера ничего, и Марина тоже ничего.

Последнее гнусное соображение приходит в голову, когда он уже крадется босиком к буфету. С куском хлеба, посыпанным солью, и стаканом он скользит затем на кухню.



Зажигает свет, наполняет стакан водой, садится на стол — чтоб босые ноги не стояли на холодном полу, а болтались в воздухе — и принимается за трапезу. Мысли его не успевают ни на чем сосредоточиться, переносясь от Кольки, Авдейчика, новых матриц, которые слишком быстро выходят из строя, и криков Чумы по этому поводу (вчера перетягивали всю позавчерашнюю партию профилей, забракованных контролерами; матрицы необычайно быстро «обрухатели», и никто не заметил), от слухов насчет того, что скоро многих вернут с Урала, будут перестановки в цехах, выдадут ордера на шапки-ушанки к Новому году, от всего заводского, ставшего мучающим и близким, — к наступлению западнее Ржева, к прорыву фронта, ко вчерашнему митингу в цехе, к Сталинграду и Тулону, где французские моряки взорвали свои корабли, капитаны оставались на мостиках и почти все погибли. И вдруг он явственно слышит, как во входной двери поскрипывает ключ.

Кто-то поворачивает ключ так же медленно и осторожно, как только что действовал он сам, открывая дверцу буфета.

Игорь гасит на кухне свет и на всякий случай вооружается кухонным ножом. Ключ продолжает скрипеть. Наконец дверь отворилась, слышны шепот, топтание на пороге, ставят что-то тяжелое. Голос Марины: «Не надо, пусть здесь...» Еще какая-то возня, тяжелое передвигают по полу, двое шепчутся. «Нет. Нельзя, потому что...» — «Но я прошу!..» — «Иди сюда! Вот сюда, на кухню...»

Они входят на кухню. Зажигается свет. Игорь вжимается в стену, загоразживается шкафом, но все же он на виду. В первую секунду он испытывает пронизывающий насквозь и убивающий, как разряд молнии, стыд, но затем ему становится все равно, его чувства убиты, и он погружается в оцепенелое и тупое равнодушие. Он слышит, как Марина вскрикивает, хохочет, он видит, как она падает на табуретку, как на щеках ее возникают красные пятна, из глаз катятся слезы. Он видит кожаную бекешу Всеволода Васильевича, его выпученные голубые глаза и его рот, кричащий: «Идиот! Так пугать женщину!»

Потом Всеволод Васильевич исчезает. Марина сидит на табуретке, а Игорь все еще не может выйти из-за шкафа, потому что тогда он обнаружится весь, с головы до ног. Марина, стискивая руками голову, бормочет что-то насчет «ужасного зрелища», насчет того, что не может видеть «этой гадости», «какой позор» и что-то еще. Он ничего не понимает.

Внезапно она говорит ясным, трезвым голосом:

— Молодые люди и зимой должны носить трусы, но не эту гадость...

Тогда он догадывается, что она пьяна. Она закрывает пальцами глаза и, нетвердо ступая, толкаясь растопыренными локтями в стенки, выбирается из кухни. Из коридора слышно ее бормотание, она разговаривает сама с собой: «Здесь осторожно, дурочка...

Не споткнись, моя родная... Здесь картошка, мешок картошки, сорок кил...» Он стоит неподвижно, вслушиваясь, сжимая кулаки. Кровь, остановившаяся было, вновь бурлит в жилах и бросает в жар. Он так ненавидит человека с выпученными голубыми глазами, и так любит пьяную девочку, и так униженно ощущает себя, свою ничтожность, что ему хочется — упасть, умереть.

И он наливает в стакан воды, садится на стол, дожевывает свою черняшку. Потом идет по коридору к комнате Марины, открывает без стука дверь и говорит в темноту:

— Маринка, мне нужно с тобой поговорить...

## VII

Лыжи оставили у входа, засыпали их для маскировки снегом, сверху наложили ветвей. Первым полез Леня. Очищенное от раскисшего снега, грязи и прошлогодних листьев отверстие было маленьким и невзрачным. Никак не верилось, что эта нора вела в какие-то гигантские катакомбы. Сначала следовало просунуть в отверстие ноги, а потом проталкиваться внутрь всем телом. Леня сказал, что за первым ходом метров через пять-шесть будет

обрывчик, с которого удобнее сползать именно так: ногами вперед.

— Адью! — сказал Леня, и его голова в кожаном летчицком шлеме исчезла в черной дыре.

— А Сапог все равно бы тут не пролез бы-бы-бы со своими окороками... — Марат нарочно стучал зубами и трясся, как бы от страха. Но, хотя он дурачился, физиономия у него была на самом деле бледная.

Уползла и его ушанка. Горик просунул ноги в нору и, отталкиваясь руками и локтями, помогая плечами, стал вбуравливаться в тесную и узкую лазейку. Если б не знать, что эта теснота скоро кончится и начнутся просторные ходы и залы, как обещал Леня, можно было бы прийти в отчаяние. Горик двигался чересчур быстро, потому что услышал снизу полупридушенный голос Марата:

— Эй, тихо... Голова...

Ах, вот что! Горик раза два ткнулся ногой во что-то нетвердое, ускользящее. Еще более издали донесся голос Лени:

— Прыгай!

Марат, видно, прыгнул. Горик почувствовал, что теснота кончилась, ноги оказались в пустоте над обрывом. Прыгать, не зная истинной высоты, было боязно, и Горик несколько мгновений болтал ногами в воздухе, сдвигаясь вниз по миллиметру и тщетно пытаясь достать носками ботинок дно.

— Да прыгай же! — сказал кто-то, потянув Горика за ногу, и Горик сверзился наземь.

Можно было бы не падать, а просто встать на ноги — земля оказалась рядом, не более чем в полуметре от его ботинок, но от напряжения и дрожи в коленях он не удержался и рухнул.

Все трое зажгли свои свечи и увидели небольшой, с низким потолком, полукруглый зал, из которого чернели провалами два выхода. Зал был замечательно уютный. Он напоминал гостиную с занавешенными окнами. На полу валялись какие-то бумажки, кости, консервные банки и труп маленькой собачки. Собачка умерла, по-видимому, давно, потому что трупик ссохся, превратился почти

в скелет, обтянутый темной кожей, и от него не шло никакого дурного запаха. В залике стоял теплый, затхлый, но очень приятный запах песчаниковых стен. Леня уверенно направился к одному из черных провалов, откуда начинался коридор. Теперь было ясно, что Карась сказал правду: он тут старожил. И маме своей он, значит, загнул насчет кино и насчет того, что перелезал будто бы через стену и ободрал кожу на ладонях. Он был тут, факт. А Лину Аркадьевну не захотел пугать. Но как же он, змейгорыныч, смог пойти сюда в одиночку? Ехать поездом из Москвы, идти на лыжах, продираясь сквозь этот капкан, калеча себе руки и уничтожая пальто, и все лишь затем, чтобы побыть одному — со свечечкой в руке — в этом гробовом мраке. Это был поступок ужасной силы. Даже мысль о таком поступке приводила в содрогание, и он отбрасывал ее, старался не думать и ничего не спрашивать у Лени, ибо пока еще он мог сомневаться, но как только он узнал бы точно, он не в силах был бы относиться к Лене как прежде, как к обыкновенному человеку. Поэтому лучше было бы думать, что Карась загнул, что он был тут не один, а с кем-то из взрослых, с каким-нибудь, например, профессором, специалистом по изучению пещер. Он не мог, *не имел права* прийти сюда один. Если б он так поступил, он бы чудовищно и непомерно возвысился надо всеми и одновременно унизил бы всех вокруг.

Коридоры и залы сменялись новыми коридорами и залами. Леня то и дело вынимал из планшетки лист бумаги, что-то отмечал карандашом: составлял план пещеры. Этот план он хотел передать в дар Географическому обществу, за что всех троих, по его расчету, должны были избрать членами общества. И возможно даже — почетными членами. Все это было заманчиво и прекрасно, особенно когда говорилось об этом там, наверху, но теперь Горика томили две вещи. Первая: то, что за довольно длинный отрезок пути Марат положил всего девять или десять бумажных номеров. Леня велел оставлять номера только там, где коридоры разветвлялись, это было, конечно, разумно, но все же иные коридоры были так длинные,

изломаны, с такими сложными изгибами, что было бы спокойней класть номера чаще. Таково было мнение Горика, которое он, конечно, не высказывал, чтоб не выглядеть чересчур *осторожным*. Кроме того, то, что Леня велел беречь номера — а их наделали больше ста штук! — говорило о том, что аппетит у Карася разыгрался, и он намерен ходить по своей любимой пещере еще часов пять. А Горик казалось, что уже все ясно и можно понемногу подгрести к выходу. Походили, посмотрели, дальше то же самое — еще зал, еще коридор.

Другое, что томило, — мысль о Володьке. От него по таинственному настоянию Лени поход был скрыт, но Сапог мог случайно, по недомыслию или со зла позвонить домой и обнаружить вранье. Горик сказал, что поедет с классом на экскурсию в Горки Ленинские. Скорее всего, Сапог звонить не станет, потому что догадался, что его почему-то отшили: в субботу у него был такой померкший, убитый вид, что даже жаль его стало. Вообще-то Горик считал, что Сапог человек несерьезный, болтун и враль и в секретные дела посвящать его не следует, и поэтому даже обрадовался, когда Леня вдруг заявил, что по особым причинам Сапог должен быть исключен из ОИППХа, — о причинах Леня обещал доложить позднее, когда удостоверится в точности фактов. Он только сказал, что преступления Марата — его беззастенчивая, у всех на виду, *беготня* за Каткой Флоринской и то, что он растрепал ей про пещеры, — ничто по сравнению с этими «особыми причинами»! Но в чем конкретно дело, проклятый темнила не сообщил.

Горик на него надулся. «Ладно! Я тебе тоже одну вещь не скажу». Никакой «вещи», разумеется, не было. Была обида, застрявшая в Горике еще с утра, когда Карась вздумал над ним покуражиться. Иногда на Карася находила такая гадость: покуражиться над товарищами.

На первой перемене он подошел к Горик и сказал: «Будем узнавать «крокодилов»!» «Давай!» — охотно согласился Горик, не предполагая подвоха.

«Крокодилами» Леня и Горик называли тех, которые знают лишь то, что проходят в школе, словом — невежд,

полузнаек. «Крокодилам» противостоят «осьминоги», люди начитанные, сведущие во многих науках. «Крокодилов» в классе полно, а «осьминогов» — раз, два и обчелся. Леня, Горик и еще человека три, не больше. Распознавать «крокодилов» — премилое дело, увлекательнейшая забава. Вот Горик и подумал, что Карась предлагает ему позабавиться, пощупать кое-кого, задать контрольные вопросы. Леня показал ему какой-то рисунок в книге и спросил: «Что это за цветок?» Горик посмотрел, пожал плечами: «А черт его знает!» — «Не знаешь?» — «Нет». — «Удивительно! Это раффлезия, растет на островах Суматра и Ява. Такую вещь каждый «осьминог» должен знать!» И отошел, посмеиваясь, как бы говоря: «А ты, оказывается, «крокодил», братец!»

Горик, ошарашенный такой низостью, весь урок обдумывал, как отомстить, и на следующей перемене подозревал Леню. «Лень, — сказал он как можно простодушней, — ты не знаешь случайно: кто такие *мормоны*?» «Не знаю», — признался Леня. «Неужели ты не знаешь?» — «Нет». — «Удивительно! Это каждый «крокодил» должен знать. Не говоря уж об «осьминогах». Тут хвастливый профессор все понял, покраснел как рак и, скривив губы, сказал презрительно: «Все с меня слизываете, хорошая обезьянка!»

И до конца уроков они не разговаривали. Только на обратном пути Карась неожиданно догнал Горика на набережной и сказал сухим тоном: «Ты пока еще член ОИППХа и должен знать, что через три дня мы идем в пещеру». Тут-то Карась и сообщил насчет Сапога, и Горик, который совсем было его простил, вновь надулся. Если б Сапог на другой день подошел к Горику и спросил: «Ребя, за что?» — Горик наверняка потребовал бы от Лени немедленных объяснений, но Сапог не подошел. Сапог притих, ни с кем не разговаривал, вид у него был невероятно печальный. Похоже, он понимал безнадежность своего положения. Эта покорность судьбе совсем не в его, Сапожном, характере и лишь подтверждала подозрения, что тут дело нечестно. Толстяк что-то за собой знал!

Через час-полтора блужданий по коридорам и залам вышли наконец в Круглый, или Царский, зал. Именно

сюда Леня стремился попасть, здесь был обещан привал. Зал был велик, стены и потолок терялись в темноте, три свечки не могли осветить ничего, кроме клочка каменистого пола под ногами, и эта подземельная безграничность была еще тягостней, чем темнота. Посреди зала лежали громадные, плоские камни, один из них приспособили под стол, разложили еду: вареное мясо, яйца, хлеб. Но не было аппетита. Один Леня энергично молотил челюстями и при этом, не умолкая, рассказывал о принципе выработки камня в восемнадцатом веке, когда возникла каменоломня. Пол-Москвы, оказывается, построили из белого камня, который выломали здесь, в этих залах. Затем он сказал, что Царский зал, в котором они сидели, должен быть поблизости от старого главного входа, сейчас заваленного камнями и замурованного, и, стало быть, они ушли очень далеко от той норы. Это сообщение не слишком обрадовало Горика и Марата. Они как бы невзначай поглядели друг на друга, желая что-то сказать, но промолчали. Леня считал, что должны быть где-то другие выходы. Не может быть, чтобы существовал только один выход из такого гигантского лабиринта. Наверняка есть другие, надо их искать.

Марат и Горик продолжали вяло жевать. И вдруг Горик спросил — не хотел спрашивать, вырвалось само собой:

— Карась, а ты верно ходил сюда один?

— Верно, — сказал Леня.

«Зачем же я спрашиваю?» — с отчаянием подумал Горик. У него даже что-то дрогнуло и заболело в груди, когда он услышал: «Верно». Но все было кончено, стрела сидела глубоко в сердце, и чуть качалось ее оперение.

— Для чего же один? — слабым голосом спросил Горик.

— Для того, чтоб проверить себя, — безжалостно отрубил Леня.

В тишине слышалось, как с металлическим хрустом жуют его челюсти.

— Ну, ты вообще... — вздохнул Марат.

— А знаете ли вы, какие пещеры Европы наименее исследованы? — спросил Леня, не замечая ни потрясенности

Горика, ни почтительного вздоха. — Испании и Португалии! Как же — это любой «крокодил» обязан знать...

Сейчас он мог хамить и куражиться сколько угодно. Горик был повержен. У него не было сил не то что отвечать, но даже обижаться. Великий человек: он проверил себя! И остался доволен проверкой!

— Я бы тоже хотел проверить себя... когда-нибудь, — робко и завистливо заметил Горик.

— Проще пареной репы. Вообще проверять себя надо не когда-нибудь, не раз в сто лет, а постоянно. Ну, хоть раз в месяц, — сказал Леня. — Можем вместе провериться, если хочешь.

— Давай, — согласился Горик.

— И я с вами! Сапога возьмем, черт с ним, — сказал Марат. — Пусть толстенький себя проверит, ему это не повредит.

Вдруг Леня сообщил ошеломительную новость насчет Сапога: его отец, оказывается, враг народа и германский шпион! Несколько дней назад он был разоблачен и арестован. Горик и Марат ничего подобного не слышали. Они даже не поверили своим ушам. Но Леня сказал, что узнал точно, ему подтвердила одна женщина, знакомая его матери, портниха тетя Таисия, которая живет в том же подъезде, где Сапожниковы. Новость была страшно интересная: выходит, они знакомы с самым настоящим шпионом! Преотлично знакомы, много раз здоровались за руку, разговаривали о том о сем. Отец Сапога был толстый человек, ходивший в белой рубашке и в подтяжках, которые всегда у него почему-то болтались, ненадетые на плечи. Он смотрел на Горика черным не улыбающимся глазом, глупо подмигивал и спрашивал казенным голосом: «Ну-с, что нового на пионерском фронте?» И такой обыкновенный человек с болтающимися подтяжками был германским шпионом! Ни за что не скажешь. Но именно потому, что это было так невероятно, Горик поверил: настоящих шпионов никогда сразу не различишь. Это только в кинофильмах показывают шпионов, которые с первой же минуты бросаются в глаза. Любому дураку из четвертого класса, сидящему



в зале, давно все ясно, а на экране разведчики мучаются, ломают головы...

— И по этой причине, — сказал Леня, — Сапожников должен быть исключен из ОИППХа.

— Почему? — удивился Марат, но тут же добавил: — Вообще-то да...

Но Горик у это показалось нечестным. Сапог же не виноват в том, что у него папаша шпион. Откуда ему знать? Он же не интересуется отцовскими делами, правда же?

— А знаешь, что говорил мой отец? — сказал Леня, и его лицо при свете свечи стало жестким и скуластым, как у индейца. — Он недавно приезжал в Москву на пленум. Видел Сталина, Ворошилова, всех вождей. И вот он говорит, что сейчас самое труднейшее время, еще трудней, чем война. Потому что кругом враги. Вредители, шпионы, диверсанты, двурушники и так далее. Англия и Франция, говорит, переполнены немецкими шпионами. Почему же, говорит, их у нас не должно быть? Они есть, еще больше, чем там, но их разоблачить трудно, потому что, говорит, они прикрываются партийными билетами и прошлыми заслугами. Вообще очень хитро маскируются, гады.

Он умолк, морща лоб.

— Ну? — спросил Горик.

— Что «ну»? Баранки гну! Если бы мы взяли Володьку в пещеру, он бы проболтался отцу, и тот передал бы все сведения о пещере в германский штаб. А пещеры играют очень важную роль на войне. Ясно вам, лопухи?

«Лопухи» молчали. Все, что Карась сказал, было ясно и мудро, но от этой мудрости сделалось вдруг скучно. Игра кончалась. Начиналось что-то другое. Но им не хотелось верить в это. Почти всю свою жизнь, длинную у одного и короткую несчастную у другого, они не верили в то, что *игра кончалась*.

...Все разделились на два враждующих лагеря: одни за Сerezкину Вaлю, другие против Сerezкиной Вaли. За — бабушка, мама, Женька, дядя Миша, Валерка, домработница Маруся; против — отец, Горик, тетя Дина, сам Сerezка, дядя Гриша и его жена Зоя. Все было понятно,

кроме одного: почему дядя Миша за? Наверно, только потому, что он неизменно спорил с отцом и особенно с Сережкой. Если они против, значит, уж он за. Свистопляска началась однажды вечером, когда бабушка пришла с работы очень возбужденная и сказала, что к ней в Секретариат приходила Сережкина Валя, плакала, даже *рыдала*, жаловалась на Сережку и называла его подлецом. Все это было рассказано за ужином одним взрослым, но Горик, несколько раз забежавший в столовую с учебником по геометрии — как бы спросить у отца насчет одной заковыристой задачки, — хотя и делал вид, что ничего не соображает и ничем не интересуется, кроме геометрии, и хотя бабушка всякий раз понижала голос, когда он вбегал, сумел все отлично понять. Услышанное поразило его. Он никогда не видел, как *рыдают*, но картина *рыдающей* Вали мгновенно возникла в его воображении. Это было нечто величественное и в то же время пугающее. Главное, что он понял, — Сережка не хочет больше быть женихом Вали и нашел себе другую невесту. Эту другую, по имени Ада, Горик уже видел раза три, Сережка приводил ее в гости, а однажды все вместе ходили в кино на «Арсен из Марбды», мировую картину про кавказских разбойников.

Ада была гораздо красивее Вали. Во-первых, Валя — в очках, черная, с черными глазками и смуглым, мулатским цветом лица. И если присмотреться, можно заметить у нее маленькие черные усики, какие бывают у ребят из десятого класса. Валя студентка, учится с Сережкой на одном курсе, а Ада художница, работает на киностудии и может доставать билеты на любой фильм без очереди. У Ады светлые кудрявые волосы, она играет в теннис, весело смеется, любит петь: «Нас утро встречает прохладой». Но некоторые говорят, что Ада не может быть настоящей невестой для Сережки, потому что у нее есть муж, ответственный работник, который живет здесь же в доме, в другом дворе. Но Сережка говорит, что с этим мужем Ада жить не хочет и все равно уйдет от него. Но бабушка говорит, что нельзя так обманывать человека, то есть Валю, как это сделал Сережка. Но отец говорит, что, как бы ни

складывались отношения, нельзя приходить по такому поводу в Секретариат.

Как-то пришла Валя и долго сидела в комнате бабушки за портьерой болотного цвета. На другой день пришла Ада и пробыла целый час в кабинете отца, куда забегали то мама, то Сережка, но бабушка проходила мимо дверей кабинета с невозмутимым и гордым видом, и Горик слышал, как она сказала: «Нет, мне там делать нечего!» Потом Валя пришла прощаться. Она уезжала в другой город. Она зашла вдруг в детскую — никогда не заходила — и сказала, протянув Горику руку: «До свиданья, Горик! Желаю тебе всего-всего хорошего. Желаю тебе вырасти счастливым и честным человеком». Горик ответил: «Хорошо». Он не знал, что еще сказать, а Валя не уходила. Она сказала: «Помнишь, как мы катались на лыжах, на даче?» Он помнил. «И учили Пушкина...» «Ага», — сказал он. Ему сделалось ее жаль, потому что он вспомнил, как она отвратительно каталась на лыжах и плохо запоминала стихи. Губы ее задергались, в глазах заблестело, и Горик испугался, подумав, что сейчас она будет *рыдать*, но она кивнула и вышла.

Еще через несколько дней Сережка устроил новую свистопляску. Он кричал на бабушку, ссорился с мамой, выбрасывал свои вещи из комнаты в коридор и бегал куда-то с кожаным чемоданом, набитым книгами, бумагами. Он сказал, что не может жить в доме с людьми, которые его не уважают и не верят ни одному его слову. И — тоже уехал в другой город. Но через два дня вернулся. Стояла душливая весна. Зазеленели газоны. В школьном саду знойно пахло землей, свежей масляной краской, которой покрывались скамейки и низкий деревянный заборчик. На переменах разрешалось выходить в сад, а старшеклассникам — на набережную и прогуливаться там вдоль гранитного парапета.

Горик и Марат смотрели на старшеклассников через ограду. Все, кто были ниже девятого класса, не имели права выбегать на уютный, нагретый солнцем асфальт набережной: могли попасть под машину. Горик подошел к воротам и крикнул: «Эй, волосатики! Звонок!»

Старшеклассники гурьбой повалили через дорогу, продолжая с важным видом разговаривать. И, только войдя во двор, заметили, что никто в школу не торопится. Горик с Маратом бросились наутек, крича: «Обманули дурачка на четыре кулачка!» Один из старшеклассников, здоровенный верзила с разбойничьим багрово-красным лицом, ринулся за Гориком и Маратом в погоню. Те побежали на задний двор, надеясь, что верзила отстанет, побоявшись грязи и луж. Но тот мчался за ними, разбрызгивая лужи и храпя, как лось. Его дружки и девчонки подбадривали разбойника криками: «Лови их! Держи! Ату!» Пробежав задний двор, Горик и Марат юркнули на черную лестницу — слава богу, какой-то добрый человек оставил открытой дверь! — и молнией устремились наверх, на третий этаж. Им чудилось, что верзила бежит следом. Честно говоря, они стухнули: на черной лестнице всегда темно, безлюдно, и верзила мог беспрепятственно *навешать пилюль*, никто не услышал бы криков о помощи. На третьем этаже они остановились, едва переводя дыхание. Нет, все было тихо. По-видимому, добежав до черного хода, багроворожий понял, что его попытка догнать вряд ли увенчается успехом, и прекратил преследование.

Багроворожий оказался братом Ады. Его звали Лева. Их отец был замнаркома, жил в одиннадцатом подъезде. Как-то Ада пришла с этим Левою к Сережке, оба были с теннисными ракетками в чехлах, и звали Сережку с собой — ехать на Петровку, на динамовские корты, — и Лева, увидев в коридоре Горика, сказал: «Эге, попался!» Больше он ничего не сказал. Горик вышел на балкон и смотрел сверху, как они идут втроем по двору: две светлых головы Ады и Левы и черная — Сережки. Сережка говорил, что Лева играл в теннис с самим Анри Коше, когда тот приезжал в Москву, и Анри Коше предсказал, что из Левы выйдет толк.

В тот апрельский день, с балкона, Горик последний раз видел Леву. Накануне Майских праздников разнеслась ужасная весть: Лева арестован милицией и над ним и еще четверьмя ребятами будет суд. Они грабили квартиры.

Лева украл у своего отца пистолет. И в это дело был замешан Валька, сын Давида Шварца. Вальку не арестовали, как других, но вызывали к следователю и допрашивали. В грабежах он не участвовал, но знал о них и чем-то даже помогал грабителям. У себя в комнате, например, он несколько дней позволил жить одному парню, убежавшему из дому, а Давиду сказал, что этого парня бьет отец, бывший поп, за то, что парень вступил в комсомол. Этот мифический комсомолец оказался чуть ли не главным заводилой в шайке.

Давид Шварц пришел советоваться, что делать с Валькой.

Все сидели в столовой, кроме Жени, которая, болея ангиной, лежала в изоляции в бабушкиной комнате. Бабушка гневалась особенно сильно, но обрушивалась почему-то на Сережку:

— Я тебе говорила, что мне не нравится вся семья! Ты со мной спорил. Теперь ты видишь — какое разложение...

— При чем семья? Его отец уважаемый человек. Работал, кстати, с Орджоникидзе. Вот домой он приходит только ночью, это да, такая работа. Ада тоже порядочная, честная женщина, но она, как ты знаешь, не может воспитывать брата, потому что замужем и живет отдельно...

— Порядочная женщина не станет, будучи замужем...

— Это, по-моему, не касается! — багровел Сергей.

— Нет, касается. Это касается морали всех, всей семьи.

— О чем ты говоришь? Какой вздор! — кипятился Сергей. — А Анна Каренина? Постыдись!

— Сережа, ты не отмахивайся, в чем-то мама права, — рассудительно говорила мать Горика. — Почему такое случилось именно в той семье? Я не могу, например, представить себе, чтобы ты или Горик выкрали бы из стола Николая Григорьевича пистолет и пошли бы грабить квартиры. Возможно это? По-моему, невозможно. И так же не могу себе представить, как можно, разлюбив человека и изменяя ему, продолжать жить с ним в квартире, встречаться ежедневно...

— А что она должна делать?

— Уйти.

— Куда?

— К человеку, которого любит, очевидно.

— В шестиметровую комнату? У нее холсты, рамы, мольберт — где все это поместится? И вообще демагогия: ни ты, ни мама не хотите, чтобы Ада сюда пришла. Для вас это кошмарный сон. И она это чувствует. Зачем же говорить зря?

— Хорошо, пусть не сюда, пусть уйдет к отцу, — не сдавалась мать Горика. — У него достаточно большая квартира, найдется место для дочери.

— Вот именно! Да, да, — кивала бабушка. — У меня тоже не укладывается... Такая беспринципность, такой цинизм...

— Как же вы, черт вас возьми, легко решаете чужие проблемы! А если *она не может* вернуться к отцу? Если так сложились отношения с мачехой? Что тогда? Прыгать с Каменного моста? Пулю в лоб?

Горик сидел и слушал с огромным интересом. О нем забыли. И он старался ни звуком, ни малейшим шевелением тела не обратить на себя внимание. Бабушка упорно гнула свое:

— Я что хочу сказать: эта семья мне неприятна. Я знаю их отца, он очень малопринципиальный человек: то подписывает какие-то платформы, то с такой же легкостью отказывается. Таким людям, знаете ли, веры нет...

— Ну и что, подписывал платформы? Какая аморальность! Значит, имел свое мнение, пускай ошибочное.

— Мы с Николаём Григорьевичем почему-то *так* не ошибались: *против* партии, *против* генеральной линии. Мы ошибались вместе с партией, может быть...

— Допустим! Ну, хорошо! — закричал Сережка, вскакивая на ноги. Его лицо вдруг покраснело у глаз пятнами, что означало, что он не владеет собой. — Вот сидит Давид Александрович Шварц — так? Уважаемый всеми нами и кроме нас еще сотнями, тысячами людей. Так? А что случилось с Валентином? Значит, мы должны Валькины грехи объяснять какими-то, ну... свойствами Давида Александровича? Так, что ли?

— Объясните, пожалуйста, — прохрипел Шварц. — И будет не глупо.

Он сидел на диване, отдуваясь, храпя и поворачивая свои выпуклые, налитые усталостью, в желтоватых белках глаза то к одному, то к другому. Скорей всего, он не слушал, что говорили, а размышлял. Смотреть на него было забавно. Вдруг на его толстых губах надувались пузыри, вдруг он начинал ковырять пальцем в носу, делал это сосредоточенно, потом катал что-то между пальцами — у всех на виду, — не заботясь о том, что делать так неприлично.

Бабушка сказала, что самое разумное: отдать Вальку в лесную школу. Отец Горика присвистнул:

— Вот тебе на! А кто же ругал Ваню Снякина за то, что тот отдал сына в лесную?

— Не путай, Николай Григорьевич! Я знаю, что говорю, — отрезала бабушка. И она пообещала поговорить со своей подругой Бертой, страшненькой бородатой старухой, невероятной курильщицей, которая работала в Наркомпросе как раз по лесным школам.

— У Снякиных были все условия воспитывать мальчишку дома, — сказала бабушка строго. — Но его жена слишком любила комфорт и легкую жизнь. Сейчас, правда, она живет без всякого комфорта где-то на Севере. Я, конечно, не злорадствую и, наоборот, сочувствую ей. А у Давида таких условий нет и не было.

Вопрос о лесной школе был решен. Мама, любившая все рационализировать, тут же предложила устроить Вальку в Шабановскую лесную школу, потому что в Шабанове, в музее композитора, работает тетя Дина и она могла бы навещать Вальку, а он мог бы приходить к ней в гости.

Давид Шварц кивал, соглашаясь со всем, а потом сказал:

— Это хороший план. Не знаю только, согласится ли он.

Все возмутились этой фразой. Николай Григорьевич требовал, чтобы Вальку прислали к нему, и он с ним крепко поговорит, а бабушка твердила:

— Вот результаты твоей политики!

Но Давид Шварц сказал, что, если бы Валька был его родным сыном, он бы поступил с ним по всей строгости, а так он обязан его жалеть. Тогда мама раздраженно сказала:

— Горик, ты что тут сидишь? Марш спать немедленно!

Уходя Горик слышал, как Сережка сказал неестественным, нахальным голосом:

— Почему ж так? Можно и наоборот — пожестче. Тоже есть своя логика.

После этого было молчание. Может быть, они принялись все одновременно пить чай или есть конфеты. Но, уйдя уже далеко по коридору, Горик продолжал ощущать странную неуклюжесть этого молчания. Он думал об этом молчании, сидя в уборной, потом в ванной комнате, и после ванной, и когда ложился спать. И ему было немного стыдно за Сережку, за его нахальный голос и за что-то еще, чего определить в точности не удавалось. Горик перекадывался с боку на бок и долго не мог заснуть.

Сережка был такой же неродной сын для бабушки, как Валька — для Шварца. Только Давид Шварц взял Вальку из детского дома недавно, лет семь назад, а бабушка взяла Сережку после гражданской войны, во время голода, когда Сережке было пять лет. Он по-русски не говорил, потому что он чуваш и родился на Волге, в чувашской деревне. Но никто, конечно, — ни бабушка, ни мама, ни дядя Гриша, ни отец, ни Горик и ни Женька — не показывали виду, что Сережка не родной сын бабушки. Горик даже не знал об этом много лет. Мама рассказала только в прошлом году. И вот недавно, когда Горик за что-то обозлился на Сережку и поругался с ним, назвав его «длинным дураком», мама сказала, чтобы он никогда не смел ругать Сережку и говорить ему грубости. «А если он первый?» — спросил Горик. «Ты все равно должен сдержаться и промолчать».

Поздним вечером Сергей надел костюм, взял на руку плащ, сунул в карман коробку «Герцеговины флор» — эти папиросы он почти не тратил, берег для торжественных случаев, — и заглянул в столовую, чтобы сказать: «Ну,



пока! Пойду пройдусь перед сном». За чайным столом еще сидели Давид Александрович и бабушка. Они взглянули на него как будто из глубокого сна. Разумеется, Анна Генриховна, мать Сергея, которую он, как и все в доме, называл бабушкой или даже по-гориковски «бабишкой», никогда не требовала отчета: куда, с кем, надолго ли? Но сейчас он заявил в двенадцатом часу ночи свое «пока», она посмотрела на него слишком уж отчужденно. Кажется, она даже не поняла, что он уходит. Но Лиза, наткнувшись на него в большом коридоре, все поняла, и лицо ее кисло и слабо скривилось. Она вздохнула: «Ой, Сережка...» — на что Сергей отрывисто пробормотал: «Скоро приду! Но дверь закройте на один замок...»

Было тепло. Какие-то люди с горящими угольками папирос стояли кружком на асфальте перед подъездом и разговаривали вполголоса. Доносились слова: «Но здесь она неподражаема...» — «Где?» — «В «Лебедином». — «Ах, в «Лебедином» — я же не спорю, я говорю о...» Уходя по асфальтированной дорожке от этой кучки людей, дымивших папиросами перед сном и рассуждавших о балете, Сергей думал: это всерьез или понарошке? Слишком много людей делают вид, что увлечены чепухой. Половина ребят на курсе бредят футболом. Только и слышишь: Ильин, Старостин, беки, хавбеки. Другие помешались на шахматах. Чертят таблицы, дуются даже на лекциях. Как считаешь, кто победит в отложенной: Левенфиш или Юдович? Так и хотелось сказать дураку: «Милый, я тоже играю в шахматы, но не притворяюсь, что мне так уж безумно важно знать, кто победит — Левенфиш или Юдович. Кто победит: генерал Франке или генерал Вальтер? Мейерхольд или Керженцев? Сталин или Гитлер? Это коснется тебя лично, дурака, это проедет по твоей жизни, а в шахматы ты будешь играть в раю». Вот что хотел сказать Сергей, но не сказал вчера, когда один человек подполз к нему после общефакультетского собрания, на котором громили профессора Успенского как «троцкиста и идеологического диверсанта», и спросил: «Как считаешь, кто победит в отложенной: Левенфиш или Юдович?» Он посмотрел в пустые заячьи глаза под очками и,

мгновение помолчав, сказал: «Я считаю вообще-то, что у Левенфиша шансов побольше». И воспоминание об этом миге молчания, о том, что он сказал и чего не сказал, гнало его, гнало по асфальту за угол, в другой двор, к угловому подъезду.

Всегда, когда он подходил к этому подъезду, его морочил ерундовый и глупый страшок: перед вахтером. Перед его равнодушно-зорким взглядом и возможным вопросом. К счастью, в этом же подъезде на седьмом этаже — Ада жила на четвертом — жил товарищ школьных лет Борис Володичев, сейчас студент юридического института. С Борисом он почти не встречался, взаимные интересы иссякли, но можно было на вопрос «куда?» ответить — к нему. Еще ни разу не спрашивали, потому что вахтеры попадались знакомые, помнившие Сергея по временам, когда он действительно ходил в гости к Борису. Сергей предупредительно здоровался, и вахтеры, кивая в ответ, ленились задавать лишние, но полагавшиеся по инструкции вопросы. Все эти скучавшие за своими канцелярскими столами, неразговорчивые униформисты в черно-синих кителях были, без сомнения, сотрудниками НКВД. Это знали жители дома и относились к ним с привычной опасливостью, как относятся, например, к железным ящикам с надписью: «Осторожно! Ток высокого напряжения!» Бояться не боялись, но подолгу задерживаться вблизи избегали. Сергей-то, конечно, на это плевал, но тут была замешана женщина.

Он отвалил на себя тяжелую дверь, и нехорошее предчувствие заколотилось в сердце. Очень уж поздно, половина двенадцатого. Так и есть: вахтер новый. Сергей сказал «здравствуйте», в два скачка миновал первую лестницу и шагнул налево, к лифту. Вахтер остановил его снизу властным:

— Гражданин! К кому?

Еще никогда, ни в одном подъезде его не окликали так командирски... Сергей посмотрел внимательней: молодой толстяк, хорошо выбритый, с пухлыми, сочными губами. Лицо показалось Сергею напудренным, а взгляд темных маленьких глаз под темными бровями каким-то

театрально-пристальным. Такому хорошо бы выйти на сцену и запеть тенором: «Ой, Галына, ой, дивчина...» Зачем-то улыбаясь, Сергей сказал:

— К Володичеву.

— А не поздно? — спросил вахтер, поворачиваясь и идя к телефону, висящему на стене. При этом толстяк зевал, нежно похлопывая ладонью по разинутому рту.

Эта необычная фамильярность тона и исполненные достоинства движения обнаруживали человека, знающего себе цену. «Небось лейтенант, — подумал Сергей. — Все будет делать по инструкции. А если Борьки нет дома?» Вахтер набрал номер и долго молчал. Видно, там уже легли спать. Сергей лихорадочно придумывал: что сказать Борьке?

— К вам тут гражданин... — Вахтер вопросительно и малопочтительно чуть поднял к Сергею подбородок. — Как?

— Вирский.

— Вирский. — Вахтер помолчал, потом повесил трубку.

Он ничего не сказал Сергею, не посмотрел на него, просто молча направился от телефона к своему стулу, на котором лежала круглая, зеленого цвета, плоская байковая подушечка. «Возможно, даже старший лейтенант», — подумал с оттенком уважения Сергей, открыл лифт и нажал кнопку седьмого этажа. Дверь в квартиру Володичевых была отворена. На пороге стояла мать Бориса, в халате, как видно со сна, с пятнами белой, нездоровой, мятой кожи вокруг глаз-буравчиков, которыми она сверлила Сергея. Володичева не произносила ни слова, но всем своим ошарашенным видом кричала: «Что? Говори! Но если что-нибудь страшное, ты не должен был, не смел...» Сергей поспешно объяснил, что пришел к Борису по незначительному, но абсолютно неотложному делу. Когда-то он давал Борису книгу «Мастера искусства об искусстве», том первый, но завтра эта книга ему понадобится для семинара. Бориса дома не было, он еще не вернулся из института с праздничного вечера. Пошли к нему в комнату, рылись в шкафах, нашли книгу, потом Володичева, благодушествуя, расспрашивала про бабушку: они

работали вместе в Секретариате. О бабушке Володичева всегда говорила с великим почтением. И бабушка о Володичевой отзывалась тоже с похвалой: особенно говоря о ее безудержном трудолюбии и непомерной добросовестности. Сергей слышал такие выражения: Мария Степановна у нас двужильная!», «Марию Степановну никто не *пересидит!*» Это значило, что Володичева могла свободно высиживать на работе до двенадцати, до часу, до трех ночи. Наконец Сергей выпутался из расспросов Володичевой — о Николае Григорьевиче, Лизе, ее детях, планах на лето, здоровье Давида Шварца, которого Володичева, по ее словам, «безумно уважала», — и вырвался на лестничный простор. Часы показывали без пяти двенадцать. Сергей спустился на три этажа ниже и позвонил в квартиру, находившуюся как раз под квартирой Володичевых.

Ада открыла сразу. Знакомый раздражающий запах мастики: в этой квартире всегда сияли полы. Ада терла паркет сама, ежедневно — даже теперь, когда квартира треснула поперек, все нарушилось, перестал готовиться обед, ушла домработница. Но коридор сиял. Ада прыгала, наслаждаясь, не хуже полотера по утрам — ради зарядки, а после еды — чтоб не толстеть. Квартира была редкая для этого дома, маленькая, из двух комнат. И жили в ней двое: Ада и Воловик. Ада говорила, что с Воловиком все кончено, но Сергей не мог поверить этому в глубине души, хотя говорил ей, что верит. Воловик читал лекции в институте, где Сергей учился. Он был редактором философского журнала. Он шел в гору. И этот невзрачный, с темным лицом язвенника, пятидесятилетний *задохлик* имел права на Аду, молодую, таинственную, как Настасья Филипповна из романа «Идиот» Достоевского. Она могла быть его дочерью, но он сделал ее женой, обольстив насмешливым и желчным умом, громадной памятью, умением идти в гору и своим нерастраченным пылом, законсервированным в силу многих причин. До тридцати лет Воловику было недосуг интересоваться женщинами, он жил идеями, нелегалщиной, борьбой; после тридцати женщины утратили к нему интерес, ибо он слишком истощил себя в борьбе, и только теперь, когда он

превратился в *задохлика*, он решил вскрыть грубым консервным ножом эту банку. И густое зловоние потекло оттуда. Ничего нельзя хранить бесконечно.

Не было человека в мире — не считая Гитлера и еще некоторых политических деятелей, — которого Сергей ненавидел бы более, чем Воловика. Он не спрашивал Аду, но почему-то был убежден, что Воловик поставил ее в безвыходное положение, одурманил хитростью, загнал в капкан. Было так: прошлым летом на Николиной горе, куда Сергей ездил погостить к приятелю, он познакомился с Адой на волейбольной площадке. Потом осенью пришел к Воловику сдавать зачет: того раздуло флюсом, он сидел дома, повязавшись шерстяным платком, как старая баба. И — увидел Аду. Потом пошли в консерваторию на «Орфея и Эвридику». Потом встречались во дворе, гуляли по набережной до Стрелки и обратно. Все истинное началось недавно. Воловик яростно воплощал в жизнь решения февральско-мартовского Пленума: пропадал до ночи на совещаниях, конференциях, громил, выкорчевывал, разоблачал. Его фамилия мелькала в отчетах. Сергей не мог без сжимания кулаков читать: «Т. Воловик раскрыл вражескую подоплеку выступления», «...т. Воловик на фактах доказал гнилую, меньшевистскую суть «трудов» горе-теоретика...» Это было, может быть, подлостью, но когда, обнимая Аду, он вспоминал вдруг воловиковские фразочки, страсть его бурно возрастала.

Он пытался догадаться: что соединило этих разных людей? И что так внезапно отбросило друг от друга? Видимо, было общее, какие-то струны звучали в унисон, но было что-то непреодолимо чужое. Этим общим, по догадке Сергея, была чувственность, поспешная и ранняя — Ады, запоздавая, ожесточившаяся — лысого сатира. И еще: насмешливость ко всему, что окружало, к людям, словам, вещам. А чужим была суть того и другой, которая постепенно очищалась и наконец, к исходу четвертого года, вышла наружу: сутью одного была подделка, вранье, сутью другой — природа, истинность. Так казалось Сергею, и ему страстно хотелось, чтобы это было правдой.

— Идем пить чай. Хочешь чаю? — не дожидаясь ответа, она вела его за руку по коридорчику на кухню. — Садись!

Он сел к столу. Смотрел на ее чуть выгнутую, сильную спину с круглыми боками, спину неутомимой волейболистки, пока она возилась у газовой плиты, чиркала спичками, полоскала чайник. Все ее движения были упруги, полны тайной силы. Она возилась как-то слишком долго, молча, стоя к нему спиной, и он не видел ее лица, и тревога вдруг овладела им. Он сказал, что договорился со своим другом, который живет на Дмитровке, и в июне можно переехать в его квартиру, на все лето.

— Сергей, я не могу оставить Иосифа Зиновьевича, — сказала Ада, повернувшись к нему. Он увидел в ее глазах что-то жалкое и понял, что она говорит правду. — Сейчас не могу...

Ошеломленный, он молчал мгновение, потом рванулся к двери.

— Подожди! Я хочу... объяснить тебе... Сережа!

— Зачем? Прощай! Я вижу — ты действительно не можешь. А почему — это не так важно.

Но она сильной рукой оттянула его от двери. Он снова сел в угол на табуретку. У него не было сил ни слушать, ни спрашивать. Она сказала, что все изменилось за последние несколько дней: Воловику грозят смертельные неприятности. Арестованы два члена редколлегии и его заместитель в журнале. Три дня назад было отчетно-перевыборное собрание сотрудников журнала, где Воловика топтали его друзья, никто не заступился, никто не опроверг диких обвинений. Во вчерашнем номере «Известий» есть заметка об этом собрании.

— Неужели не читал?

— Нет.

Ада пошла в комнату за газетой.

«Она его любит? — ужаснулся Сергей. — Этого пустозвона, эту жулябию?.. Но ведь столько было сказано о том, как он ей ненавистен, как непереносимы его прикосновения, как пахнет у него изо рта... Но я не могу с ней расстаться, не могу, не могу!»

— Уйти от него сейчас — низко... Это все равно что... — Она бросила на стол газету. — Я думала, что нападки на него связаны, может быть, со мной, с этой Левиной историей, но он говорит — это не имеет значения. Он сказал, что уголовщина прекрасное, чистое дело, он с радостью украл бы у кого-нибудь бумажник и сел бы в тюрьму. Переждать, как он говорит, полгода. А когда он уезжал вчера на Николину Гору, он вдруг сказал: «Запомни: единственное, что я любил в жизни, это — ты...»

Сергей, с трудом вникая, читал газетную заметку на последней полосе: «Выступавшие товарищи на ряде примеров показали, как притупление большевистской бдительности и отсутствие самокритики облегчает врагам народа их подлую деятельность. Так, разоблаченный в настоящее время троцкистский вредитель Сульцмахер, бывший заместитель главного редактора...»

— А зачем он поехал на Николину Гору? — спросил Сергей.

— Там на даче есть какие-то документы, которые могут понадобиться. Что-то, подтверждающее его работу в годы гражданской войны. И потом, надо попасть к Александру Васильевичу, наши дачи рядом. Александр Васильевич к нему всегда относился хорошо.

— Почему-то я за Иосифа Зиновьевича не волнуюсь, — сказал Сергей, неприятно задетый словами Ады «надо попасть» и «наши дачи». Она говорила как единомышленница Воловика. Раньше она всегда отделяла себя от него. Сострадание? Для людей, как Ада, это почти любовь. Не дай бог с ним что-то случится, тогда она будет потеряна навсегда, свихнется от сострадания. Он ловил в скачущих газетных строчках слово «Сульцмахер».

Вот: «Сульцмахер... еще несколько лет назад выпустил книгу, кишашую антимарксистскими положениями. Никакой критике эта стряпня не подверглась. Мало того, главный редактор журнала Воловик считал возможным держать замаскированного врага на должности своего заместителя. Большевистский метод подбора кадров сплошь и рядом подменялся «принципом» делячества и семейственности. Только этим можно объяснить, что такие

заклятые враги народа, как Смирнов и Урбанович, представляющие собой полное ничтожество в научном отношении... Идиотская болезнь — беспечность привела к тому, что в 1936 году журнал поместил статью о борьбе т. Сталина за диалектический материализм, написанную врагом народа... С настороженным вниманием была заслушана речь Воловика, выступавшего дважды по требованию актива... Беспринципное, лишенное истинной самокритики и путаное выступление главного редактора не удовлетворило... откат на позиции меньшевистствующего идеализма... в условиях отрыва теории от практики... решительно положить конец, выкурить изо всех нор».

— Какой-то бред, ничего не понятно... — Сергей стискивал ладонями виски. Внезапно заболела голова, как бывало в минуты сильного мозгового напряжения. Он в самом деле как ни напрягался, ничего не мог понять. — Ведь он им нужен... Зачем же это делается?

Ада смотрела в окно. По ее остановившемуся взгляду он понял, что она не слышит. Он увидел, что она объята состраданием, мощным и все пожирающим, как тяжелое опьянение, как боль всего тела, бывающая при болезнях сердца, и почувствовал зависть к Воловику и с утроенной силой — ненависть к нему. Раньше он завидовал ему и ненавидел его только за то, что он и Ада спали на одном диване, что их подушки лежали рядом, что он видел ее по утрам в халате и без халата и за то, что Воловик был ее первым мужчиной. Но теперь его мука ото всех этих ощущений громадно усилилась, ибо он почувствовал боль ее души, *причиненную другим*. И, странно, его собственное чувство любви тоже громадно и необъяснимо усилилось и просто толкнуло к ней: обнять, успокоить.

— Родная моя, ну что ты? Все обойдется... Ведь он такой правоверный...

И, успокаивая ее, он стал рассказывать, как Воловик выступал на общеинститутском собрании, как он громил и клеймил, невзирая на авторитеты, в точности, как требовал товарищ Хрущев на последнем пленуме МК: «критиковать, невзирая на лица и переживания этих лиц». И с каким страхом обращался к нему сам директор,



а представитель МК несколько раз в своем выступлении повторил: «Как указывал здесь товарищ Воловик». Так что, по мнению Сергея, бояться за Иосифа Зиновьевича не следовало. Он-то как раз должен быть в порядке. Он из тех, кто бьет, но не из тех, кого бьют. Если ему и досталось слегка, то это ошибка, недоразумение, которое непременно будет исправлено. Сейчас такое время, когда все друг друга отчаянно критикуют. Такая эпидемия. Такая мода, что ли. Даже разумные люди поддаются психозу — вот, например... И он рассказал, какой вздор молот один его приятель, студент, неглупый малый, но, как выяснилось, большой дурак.

Ада успокоилась и заговорила о том, что происходит на студии. Она рассказывала почти со смехом, потому что на студии тоже творилась какая-то ерунда. Одного оператора, старика, обвинили в подрывной деятельности за то, что он неудачно снял кадр посещения членами Политбюро строительства канала Москва — Волга; тень от дерева легла на лицо Сталина. Этот кадр оператор, он же режиссер ленты, сам забраковал и не вставил в сюжет, но кто-то вытащил пленку из корзины — а вся пленка со Сталиным, малейшие обрезки должны учитываться, их нельзя уничтожать, — и завертелось дело о преступном замысле, провокационной вылазке и так далее. В многотиражке появилась заметка «Наглая выходка врага». Бедный старик не знает, как спастись, даже бросился за помощью к Аде: хотел, чтоб Воловик позвонил директору или парторгу студии, но Воловик отказался. С Воловиком происходит что-то неясное. Какие-то колесишки побежали в обратную сторону. Это началось с марта. Он перестал понимать юмор. Он весь как-то перекосялся, переменял мнения обо всем, обо всех. Давида Шварца он раньше очень уважал, заказывал ему статьи для журнала, добивался этих статей, а теперь иначе как «ханжа» или «старый путаник» Шварца не называет. С отцом Ады, которого он тоже уважал и даже любил, недавно вдребезги разругался. А на днях пришел в гости старый его товарищ по ИКП, милейший человек, сейчас он инвалид, тяжелый сердечник, который позволил себе что-то слабо

и безобидно пошутить о Сталине — что-то по поводу его роста и роста Ежова, о том, что Ежов, совсем крошка, меньше Сталина и что Сталину, мол, это должно нравиться. И вдруг Воловик стал на него орать: «Не смейте в моем доме! Я не желаю слушать!» Тот человек встал и, не прощаясь, ушел. Ночью Воловик не мог спать, стонал, терзался.

— Он слабый, — говорила Ада. — И это самое опасное. Он может признать все что угодно, подпишет любое обвинение и — погибнет...

— Не погибнет твой Иосиф Зиновьевич. Я тебя уверяю: не погибнет, — говорил Сергей. — И в воде он не потонет, и в огне он не сгорит.

На самом-то деле он не был так уж уверен в том, что у Воловика обойдется. Тот был близок к Бухарину, а Бухарина уже открыто, в газетах, называли врагом. Но Сергею почему-то приятнее было думать именно так: Воловик неуязвим.

— Он погибнет, — сказала Ада. — Я чувствую...

— Ну и шут с ним! — вдруг взорвался Сергей. Он схватил ее за руки. — Что же, если он погибнет, нам тоже погибать? Да или нет?

Она молчала. Он повторил:

— Да или нет? Отвечай!

Она сказала:

— Не надо меня ни о чем спрашивать.

Потом они пошли в комнату Ады и больше не говорили, потому что все было ясно и ничего сделать было нельзя, и расстаться тоже было нельзя. Перед тем как лечь, Ада распахнула окно. Тепло ночи с шарканьем чьих-то ног по асфальту вошло в комнату. Они стали забывать о том, что их только что волновало. Они забывали с трудом и постепенно, но потом сами не заметили, как забывание стало полным, окончательным, навсегда, затемняющим сознание и душным, как ночь. И они заснули. Звонок в дверь разбудил их. Они вскочили разом, сели на диване, оцепенело прислушиваясь, надеясь на то, что звонок обоим приснился. Но звонок прозвенел вновь. Сергей взял часы, лежавшие на деревянной полке в изголовье дивана.

Было без четверти четыре. Он подумал: «Сейчас я ему все скажу. Так даже лучше!» Страх и оцепенение исчезли. Он обнял Аду, прижал к себе, говоря:

— Так даже лучше. Пусть! Я открою!

— Холодные руки, — сказала Ада, высвобождаясь.

Он чувствовал, что она дрожит.

— Я открою.

— Нет. Оставайся здесь...

Она прошла в коридорчик, щелкнула выключателем. Сергей вышел за нею следом и остановился в дверях комнаты. Третий раз продолжительно, с убивающей силой зазвонил звонок. Он все еще звонил, когда Ада, одной рукой придерживая халат под подбородком, другой отмыкала замок. Сергей вдруг подумал: «А если не Воловик? Надо спросить...» Выше русой головы Ады появилась фуражка защитного цвета с такого же защитного цвета лакированным козырьком, и, когда Ада отступила на шаг, в коридор вошел незнакомый, высокого роста, очень прямо державшийся молодой человек в гимнастерке, в ремнях, в сапогах. Не здороваясь, он пошел прямо на Сергея, и следом за ним, стуча сапогами, вошел второй, очень похожий на первого, тоже высокий, прямо державшийся, тоже в гимнастерке, в ремнях, с таким же бледным, ничего не выражающим лицом, как у первого, и затем — все похожие, как братья, с одинаково бледными, несколько сонными лицами — появились третий, четвертый и пятый. Они сразу заставили собой весь коридорчик. Двое, вошедшие последними, держали в руках свернутыми пустые холщовые мешки. Вид у всех пятерых, несмотря на молодецкую выправку, был усталый. Один откровенно зевал. В первую минуту, пока длилось это вхождение из-за кулис на сцену новых людей, ничего не говорилось и ничего не было слышно, кроме стука сапог. Ада, прижатая спиной к вешалке и все еще придерживая одной рукой края халата на груди, читала какую-то бумажку. Сергей видел ее побелевшие щеки и пронзительно горящий взор глаз, бегающих по строчкам.

— А где Иосиф Зиновьевич? — услышал Сергей ее чужой голос.

— Там, где полагается, — ответил человек, вошедший первым, он как будто ждал, чтобы Ада дочитала написанное, вернее, ждал, чтобы прошли четыре или пять секунд, положенные для чтения таких бумажек.

— Что там написано? — не выдержав, спросил Сергей.

— Это ордер на обыск, — сказала Ада, продолжая смотреть на бумажку. — Написано: «Произвести обыск на квартире Воловика И. З. и его арест». Я не понимаю.

— Чего вы не понимаете? — уже грубо сказал первый, потерявший, видимо, терпение оттого, что четыре или пять положенных секунд прошли. — Где кабинет Воловика?

— Кабинет — вот он... Но я не понимаю: где Иосиф Зиновьевич?

Пятеро быстро разошлись по комнатам, и начался обыск. Трое работали в кабинете, двое вошли в комнату Ады, где на диване еще лежала неубранная постель. Никто не ответил на вопрос Ады. Было ясно, что Воловик арестован. По-видимому, на даче. Может быть, он сидел внизу в машине, а может, был уже на Лубянке. Сергей, подойдя к Аде, спросил одними губами:

— Мне уходить?

— Я боюсь, — сказала Ада едва слышно, хотя по ней это совсем не было видно. Она держалась спокойно, только очень сильно побледнела.

Он обнял ее, давая понять, что никуда не уйдет. На него не обращали внимания. Неубранная постель тоже никого не смутила, кто-то просто содрал ее, схватив за углы, одним резким движением на пол. Отодвинув диван от стены, стали поднимать и швырять на пол диванные подушки. Сергей и Ада, находясь в коридорчике, смотрели сквозь открытые двери на то, что делается в обеих комнатах. Ада непрерывно ходила по коридорчику туда-сюда, а Сергей стоял неподвижно. Одну за другой он курил папиросы из коробки «Герцеговина Флор». Пришла мысль: они должны знать, что Сталин любил курить именно эти папиросы. Может, поэтому отнеслись к нему снисходительно и не спрашивают: «Вы кто? Ваши документы!» Каждую секунду он ждал, что спросят. Никаких документов

не было. Зачем, впрочем, спрашивать документы? Они могли догадаться о том, что он тут делал. Наверное, догадались. Эта сфера жизни их не интересует. Они сосредоточены на другом. Вот если б он захотел вдруг уйти, это могло бы вызвать подозрения, и они бы всполошились: «А почему, собственно, вы хотите уйти?» Надо стоять неподвижно, с равнодушным и спокойным видом.

Именно так он и стоял, хотя сердце его колотилось и все в нем напряглось. Он боялся, что, если спросят фамилию и узнают, что он Вирский, неприятности будут у мамы. Больше чем за кого либо, он боялся за нее. Ведь она работала в Секретариате.

В кабинете Воловика ящики из письменного стола были вынуты, поставлены на ковер и два человека рылись в них быстро, споро и в то же время небрежно, не задерживаясь подолгу ни на одной бумажке. Казалось, они искали что-то определенное. Сергей подумал: может, ищут письма от Бухарина? Какой-нибудь тайный бухаринский циркуляр, который тот рассылал своим единомышленникам?

Некоторые бумаги и целые папки они бросали в мешок, который держал наготове третий. В мешок же засунули пишущую машинку и бинокль. Один из агентов взял со стола бронзовый разрезательный нож, сделанный в виде красивого кинжала, и, подумав, тоже бросил его в мешок. А в комнате Ады работа кипела вокруг ее большого стола, заваленного картонами, тубиками, банками красок, листами и обрывками белой бумаги. Содержимое ящиков вытряхивали, как мусор из мусорного ведра. Ада заикнулась было о том, что стол принадлежит ей и в нем хранятся ее личные вещи, но старший, не пускаясь в объяснения, прикрикнул из кабинета на своих подчиненных:

— Продолжайте, продолжайте обыск!

Около семи утра дело закончилось. На кабинет наложили печать. Запах пыли, старых бумаг, табачного дыма, нафталина и ежесекундное напряжение в течение трех часов вновь усилили у Сергея головную боль. Он изнемогал,

его тошнило. И он изумлялся Аде: насколько она сильнее его. Она все три часа ходила по коридорчику, не присела ни на минуту. Уходя, старший сказал ей, что справки о муже она может получить на Кузнецком, дом 24, в приемной НКВД. С десяти до двух.

Четверо, дымя папиросами, вышли на лестничную площадку, а пятый сказал Сергею, что хочет помыть руки, и попросил мыло. Сергей проводил его в ванную. Руки не отмывались, потому что тот испачкался масляной краской. Сергей принес флакон со скипидаром. Он сделал это непроизвольно, не из услужливости, а просто потому, что хотелось, чтобы тот поскорее ушел. Пока тот оттирал руки скипидаром, намыливал и полоскал их под краном, Сергей смотрел на его простецкое, с выпирающими скулами и скупым щелястым ртом, лицо, на то, как он деловито и старательно собирает губы в пучок, поднимая при этом брови и чуть кряхтя — не столько от усталости, сколько, должно быть, от каких-то посторонних забот, — и думал: «Такой сделает все, что прикажут. Самое страшное. Только будет при этом кряхтеть и собирать свой крестьянский ротик в пучок». Но что-то в этой злой мысли было пустое. Злоба была какая-то рассеянная, ненастоящая.

— Я, видишь, с дежурства прямо к теще в Павшино. Жинка у ней сейчас, — стал объяснять тот. — Всю неделю не виделись. Какой неделю! Больше... — И, посмотрев на Сергея, неожиданно ослабил: — Мужик у твоей бабы совсем червивый, гниль, а она ничего — форсовая... — Он мигнул как бы с одобрением и побежал, ступая на носки, по коридору догонять своих.

Один из четверых ждал его на лестничной площадке, они заговорили вполголоса, Сергей захлопнул дверь. Ада сидела на краю разгромленного дивана, смотрела в пол. Сергей опустился рядом, обнял ее. Они просидели так, не двигаясь и молча, минут двадцать. Стало совсем светло. Небо синело, предвещая теплый день. С Каменного моста отчетливо и одиноко звенел трамвай. Ада сказала, что не может здесь быть, пойдет к отцу, и встала. Даже не встала, а рванулась куда-то с дивана. Она принялась

поспешно собирать, складывать в папку какие-то листы с рисунками, потом вдруг бросила папку на стол и сказала, что не может идти к отцу. Он и так убит историей севой. Что же, добивать его? И там эта дура, его жена...

— Так-с, — сказал Сергей. — Пойдем ко мне. Пошли!

— К тебе... А ты думаешь, Анна Генриховна обрадуется, когда увидит меня? И все узнает?

— Ну и что? Мало ли... — Сергей нахмурился. Он представил себе выражение лица матери, когда она откроет дверь — она всегда встает раньше всех, даже раньше Маруси, — и в половине восьмого увидит в дверях Сергея и Аду: лицо ее после мига оторопелости примет выражение холодной и несколько презрительной учтивости, и она скажет: «Здрате». И затем он представил себе второе выражение лица мамы, когда она услышит о Воловике: *неодобрение* — вот, что оно изобразит, очень суровое и прямое неодобрение, слегка смягченное внезапным человеческим сочувствием к Аде. Она сразу будет что-нибудь предлагать: «Может, вы хотите поесть, Ада? Вы, наверное, голодны?» — или: — «Не хотите таблетку от головной боли?»

— Мы поговорим с Николаем Григорьевичем, — сказал Сергей. — Он знаком с Флоринским. И можно еще через Шварца, у него связи в прокуратуре.

— Что — можно?

— Узнать...

— Нет, — сказала Ада. — Я не хочу видеть твою мать и твою сестру. Вообще не хочу видеть никого. Даже отца. Я сама себе... — Она закрыла ладонью глаза. Он почувствовал, что сейчас она произнесет какую-то громкую, самобичующую фразу, вроде «я сама себе отвратительна», «я сама себе гадка» или «если б я не обманывала его», но она промолчала, и он испугался. Произнесенное вслух было бы неправдой, но то, что она промолчала, говорило о другом. Бессмысленное чувство вины терзало ее.

То, чего он боялся, случилось: она уходила от него. Уходила к человеку, которого никогда не любила. Вся сила которого заключалась в его жутком бессилии, в том, что он погибал, исчезал.

— Ты хочешь, чтоб я сейчас ушел? — спросил Сергей после молчания.

— Да. — Она кивнула. — Ты сейчас уйди, Сережа. А в девять часов я поеду на Кузнецкий мост.

## VIII

Николай Григорьевич положил на сундук в прихожей тяжелый *праздничный пакет* с какой-то снедью, буграми апельсинов, чем-то стеклянным, постукивавшим внутри, все было прочно упаковано в белую гляцевую бумагу и перевязано ленточкой. Пришлось ради этого, нужного детям и кому-то еще, кто нуждался в доказательствах, что мир по-прежнему прочно упакован и перевязан ленточкой, выстоять нудную очередь в столовке, минут десять топтания на месте и выматывающих разговоров. Впрочем, Николай Григорьевич умел обрубать свои ощущения. Старался не слушать шуток, старых анекдотов, мнимо-праздничной болтовни о пустяках, не видеть лиц, на которых не было ничего, кроме улыбок, ясных и непорочных, уверенно глядящих вдаль. Больше половины людей, толпившихся в очереди за пакетами, были незнакомы Николаю Григорьевичу. Может, они и в самом деле уверенно глядели вдаль. Знакомых с каждым днем в столовке встречалось все меньше. Но когда-то должен был наступить конец. Не могло же это длиться бесконечно! Вручение пакета свидетельствовало о некоем эфирном благополучии на сегодняшний день. Пожалуй, даже на вчерашний вечер, когда утверждались в хозуправлении списки. Кое-кто не получил пакета, хотя имел право. Несколько часов, разделявших утверждение списков и получение пакетов, было громадным сроком. И главное, что было в этом сроке, — ночь.

Старик Исайченков, подойдя сзади, шепнул: «Кларин, Миронов, Суходольская». Про Кларина еще утром сказал Николаю Григорьевичу Федя Лерберг, когда ехали в лифте. Кларин должен был пасть, ничего удивительного, наоборот, удивлялись тому, что держится



долго, но Миронов? И Вероника Суходольская? Сталин эту бабу ценил. Во время второй генеральной чистки Давид хотел ее исключить, какие-то махинации с дачным кооперативом, но Сталин ее защитил. В махинациях уличили мужа, она была как будто непричастна, но все равно не спаслась бы, если б не поддержка сверху. Впрочем, с той поры прошло девять лет, и отношение Сталина к Веронике шло к тем обстоятельствам, которые заставляли его когда-то защищать ее, и могло много раз измениться. Но мимо Сталина это не прошло, Тут могли быть еще два объяснения: ему представлены очень серьезные разоблачения или же... Или же — все это вырывается из его рук. Еще не вырвалось, но уже рвется, трещит. Самое страшное, как считают иные. Николай Григорьевич так не считал. Наоборот, ему мерещилась тут надежда, какой-то шанс на спасение.

О своем спасении Николай Григорьевич не думал. Ему сорок семь лет, жизнь прожита. Да и как-то так вышло, что о своем спасении никогда не думалось: странная, ничем не объяснимая сначала молодая, а потом просто глупая, торчала в душе уверенность, что ничего дурного с ним лично никогда не случится. Ну, убьют в крайнем случае. Или заболит тифом, умрет в бреду. Разобьется на автодрезине, как Володька Крылов. А что еще? Все это уже почти было. Нет, за себя страха нет, есть страх за Лизу, за детей — но это почти то же, что за себя, так что, можно сказать, что и этого страха нет, чересчур личное, никого не касается, практически не существует, — и есть страх за то, ради чего прошла жизнь.

В ящике лежала вечерняя почта: пачка поздравительных открыток, «Вечерняя Москва», «Литературная газета», которую выписывала Лиза, три каких-то письма. Дом был пуст. Ребята гуляли, бабушка еще утром предупредила, что задержится в Секретариате, а Лиза, как всегда, праздновала первомайский вечер в Наркомземе: всю ночь сочиняла стихи для стенгазеты и рисовала карикатуры. Газеты Николай Григорьевич проглядел мигом, открытки тоже не представляли интереса. Одно письмо было от старого друга из Кисловодска, где друг лечился, обычное

поздравление, другое, написанное детским почерком, адресовалось Горику, а третье — без марки, без штемпеля, просто белый конверт — «Баюкову Н. Г.». Кто-то без помощи почты бросил в ящик. На листке из блокнота почерком непонятно знакомым, женским, размашистым, ударившим в сердце, значилось: «Коля, я приходила, но никого не застала. Очень нужно тебя увидеть. Около восьми вечера буду в аптеке на Большой Полянке. Извини. Мария Полуб.» Маша Полубоярова! Не виделись двенадцать лет. Откуда? Она же где-то в Батайске или в Таганроге. Последний раз встречались в Алупке, в санатории, в двадцать пятом году, и Маша тогда была уже с мужем, каким-то черноватым, неприятной внешности.

И почему в аптеке на Большой Полянке?

Лиза ничего не знала о существовании Маши. И никто не знал, кроме Мишкиной жены Ванды и самого Мишки. Да и они забыли, наверно, прошло столько лет. А Маша Полубоярова существовала кратко, но грозно и неизгладимо в жизни Николая Григорьевича. Несколько месяцев: осень и зима двадцатого года в Ростове. Назаровский мятеж. Внезапное известие: машинистка Донпродкома, девятнадцатилетняя девица, устроенная в Донпродком Николаем Григорьевичем по просьбе Мишкиной Ванды, — сестра полковника Полубоярова, одного из главарей назаровцев. Отчего скрывала? Боялась, что расстреляют и няня, беспомощная старуха, погибнет. Был такой Кравчук в Ревтрибунале, стучал коробкой маузера по столу, кричал: «А вы, буржуйская гниль, без нянек жизни не мыслите?!» Ванда знала Машу с детства, по Новочеркасской гимназии, но тут притихла, боялась пискнуть в защиту, и Михаил был далеко: со своей девятой кавдивизией на Польском фронте. Маша Полубоярова жила вдвоем с няней. Мать давно умерла, отец пропал безвестно на германском, а брат ушел с добровольцами. И вдруг — с десантом. Ей-то откуда знать? Николай Григорьевич спас девицу. Поверил глазам, голосу. И потом уж, когда узнал ближе, понял, что поверил правильно: редко встречал людей такой открытости и наивной доброты, как эта смуглая, синеглазая, с черкесской кровью.

А Николаю Григорьевичу было тогда — что ж? — двадцать восемь лет, носил он бороду, звали его «стариком».

В аптеке на деревянной скамье сидела немолодая, невзрачная на вид женщина, смотрела испуганно. И, увидев Николая Григорьевича, тотчас поднялась и — без улыбки — протянула руку. А рука-то была не Машина, грубая, красная, пальчики сморщенные, как морковки. И совсем ледяная.

— Ты озябла, что ли? — спросил Николай Григорьевич. — Смотри, даже зубами стучишь...

— Нет, — сказала Маша с усилием. — Это я волновалась, что увижу тебя. Я думала, ты забыл меня или просто не придешь.

И вдруг улыбнулась, и он узнал ее.

На Маше было нелепое для мая теплое, клетчатое пальто с оторочкой из рыжего меха и такая же шапочка. Николай Григорьевич спросил, почему она не захотела снова зайти в дом, не позвонила хотя бы.

— А чего-то не понравилось, как меня постовой в подъезде допрашивал: кто, да что, да к кому? Да и дом какой-то неприятный. Вроде тюрьмы... — Она усмехнулась, но в глазах ее опять мелькнула тень испуга. — Лучше по улицам погуляем. Тем более — праздник, иллюминация. Красота! Я всегда мечтала в Москву попасть на праздники. Сейчас на трамвае через Театральную площадь ехала, мимо Манежа — такая прелесть! Все сверкает, горит, как в театре, очень здорово.

— Погуляем, если хочешь, но потом все-таки зайдём ко мне.

— Ну, пожалуйста, хорошо. Зайдем к тебе. — Маша взяла его под руку. — А ты образцовый муж, Коля, да?

Она засмеялась. Он тоже засмеялся: ему стало вдруг легко и как-то забавно. Как будто он увидел что-то приятно-знакомое и давным-давно забытое.

— О да! — сказал он. — Конечно.

— Зайдем, зайдем. Обязательно зайдем. Старшему твоему сколько?

— Двенадцатый год. Здоровенный архаровец, с тебя ростом.

— Значит, он родился знаешь когда? Как раз в том году, когда мы виделись с тобой в Алушке, да? Я была уже с Яшей, а ты все играл в шахматы со Шварцем, Давидом Александровичем. — Она спросила быстро: — Шварц здоров?

— Да, — сказал он.

— Вот только с твоей супругой я незнакома. А вдруг ей не понравится, что я...

— Что?

— Ну вот так свалилась на праздники, не спросясь. Чужая тетка. Хотя... — Она сделала решительное движение кистью. — Мне важно тебя увидеть. А все остальное — ерунда.

Шли по улице в сторону Канавы. Маша сказала, что остановилась у дальней родственницы, которая сейчас болеет. Для нее и лекарство брала в аптеке. Сказала, что вчера разыскала Ванду, встретила с ней, узнала про все ее невзгоды, несчастья, надежды. Значит, разошлись с Михаилом? Николай Григорьевич не знал твердо. Вроде бы разошлись, а вроде и нет: то опять вместе, то Михаил у нее ночует на Арбате, то Ванда к нему ездит в Кратово. Валерку жалко во всей этой кутерьме. Но Маша из слов Ванды поняла, что разошлись окончательно.

Комнатка на Арбате крохотная — в огромной коммунальной квартире, где двадцать восемь соседей, шесть семей. Однако Ванда не унывает: надеется на перемену судьбы. У нее есть какой-то человек — да, да, Николай Григорьевич знает про человека, — какой-то дипломат, вдовец с двумя маленькими детьми. Ванда, конечно, сдала, располнела, но все еще красивая, милая, совсем седая, этакая маркиза восемнадцатого века. В тридцать семь лет вся седая. Но, как всегда, как двадцать лет назад, — поразительное равнодушие ко всему, что не касается ее личности. Точнее говоря, ее личной жизни. Какая-то совершенно ветхозаветная и наивная аполитичность. Ничем не интересуется, ничего не знает. Вся в мечтах, в глупостях. Дипломат задурил ей голову, обещал, что на будущий год поедут во Францию, поселятся на Лазурном берегу, и она ни о чем другом не может ни говорить,

ни думать. Волнуется, что не пустят за границу потому, что у нее во Франции старшая сестра с матерью. Словом, Ванда — это Ванда, птичка божия. А Маша приехала в Москву только затем, чтоб увидеть Николая Григорьевича.

— Да ну? — Николай Григорьевич усмехнулся, будто не веря. Но уж догадывался, что она говорит правду.

— Потому что, Коля, ты единственный человек, который может объяснить. В прошлом месяце арестовали Яшу... — Взяв за руку, она резким движением остановила его.

И он вдруг вспомнил ее манеру двигаться резко. Они стояли на мосту через Канаву и, облокотясь на перила, смотрели в черную воду. Здесь, на мосту, было темно-то, зато начало Полянки и особенно кинотеатр «Ударник» сияли иллюминацией. Толпа возле «Ударника» была озарена сверху ярко-белыми и розовыми снопами прожекторов и светом сотен висевших гирляндами лампочек. Дальше, на новом громадном мосту и на набережной Москвы-реки, тоже все пылало огнями.

Что он мог объяснить? Он слушал. Странные манипуляции производит с людьми время. Нет, не старение самое удивительное, не одряхление плоти, а перемены, которые происходят в составе души. И следов не осталось от той новочеркасской гимназистки, поклонницы Веры Холодной, сестры добровольца, только случайно не оказавшейся в Константинополе или в Париже. Перед Николаем Григорьевичем была советская дама, жена ответственного работника, рассуждавшая разумно и политически зрело.

— Мне объявили, что Яша какой-то японский шпион. Ну что за бред, прости господи? Что за ерунда собачья? Такого честнейшего человека, такого фанатичного коммуниста нет, наверно, на всей Владикавказской дороге. Я добилась через знакомых, очень сложным путем, приема в краевом управлении НКВД у работника, который ведет дело Яши, некоего Сахарнова. И оказалось, что это никакой не Сахарнов, а Борис Пчелинцев, приятель моего брата по Атаманскому училищу, я его отлично

помню, сын войскового старшины. Я сразу его узнала, и он меня тоже. Конечно, он удивился, потому что я уже не Маркова, а Сливянская, и он ожидал увидеть какую-то совсем другую Сливянскую. Я говорю: «Борис, я тебя умоляю разобраться в деле Якова Сливянского, моего мужа, честнейшего коммуниста...» Он стал вдруг кричать: «Ваш муж японский шпион, мразь, провокатор, мы его расстреляем! И вас постигнет та же участь!» И что-то орал, орал. Не помню, как я оттуда ушла. Мне посоветовали скрыться, уехать куда-нибудь. Я отвезла детей к его родным в Каменку, и вот я здесь. Но я прошу не защиты, а объяснения. Что это все значит, Коля? Почему Пчелинцев сидит в краевом управлении, а Яша в тюрьме? Власть переменялась? Здесь, в Москве, чего-то не знают? Из моих знакомых за этот месяц арестовано девять человек. И самое страшное знаешь что? Все мы толстокожие, пока не коснется нашей шкуры. И я такая же сволочь. Пока Яшу не взяли, я думала: а шут его знает, может, Бондаренко в чем-то и замешан, и Федя Косиков мог где-то оплошать, а Гнедов из бывших офицеров, так что ничего странного. Ты понимаешь? А Цейтлин работал с Пятаковым. А сейчас, наверное, Яшины знакомые думают: что ж, жена из казачьей семьи, сестра назаровца...

Николаю Григорьевичу за последние месяцы часто приходило то же на ум. Слишком легко верят в виновность других, в то, что «что-то есть», и чересчур спокойны за собственную персону. Это грозный факт, и он не предвещает добра. Но несчастной Маше говорить об этом не следует. Нужно успокоить. Только вот как?

— Я тебя столько лет не видела. Иногда слышала кое-что о тебе, мелькала твоя фамилия в газете... — Маша глядела, неуверенно улыбаясь. — Даже не знаю, как ты вообще... Может, ты иначе думаешь? Почему ты молчишь?

Николай Григорьевич видел эту женщину молодой. Поэтому он молчал. И все вокруг нее он видел молодым.

— Пойдем-ка домой. Попьем чайку и поговорим. — Он потянул ее за руку.

— Нет, постой! Сначала скажи: что ты думаешь обо всем этом?

Николай Григорьевич вздохнул. Ну, что он думает? Он думает, что власть не переменилась. И здесь в общих чертах знают о том, что происходит на местах. Однако знать — одно, а объяснить — другое. Нет, один Пчелинцев ничего не решает. Даже тысяча Пчелинцевых ничего не решает. Даже Флоринский Арсюшка, который сейчас помощником у Ежова, — помнит ли она его по Ростову? Молодой такой идиот в красных немецких сапогах? — даже этот Арсюшка, находящийся сейчас на такой вышке, сам по себе ничего не значит. Николаю Григорьевичу кажется, что подоплека этих странных политических конвульсий — страх перед фашизмом. Возможна даже провокация со стороны фашизма. Влияние Гитлера несомненно. Других объяснений нет. А что же другое? Но должен быть конец. Не может же это длиться бесконечно, иначе все друг друга перегрызут. Волна идет на убыль, есть сведения, что кое-кого уже освобождают...

Маша обрадовалась: «Правда? Освобождают?» Николай Григорьевич подтвердил. Он действительно слышал, что некий Зальцман, из старых партийцев, арестованный в феврале, недавно вернулся домой.

В этот вечер затащить Машу в дом не удалось: она спешила к больной родственнице. Но обещала в один из праздничных дней обязательно прийти.

Николай Григорьевич особенно не настаивал. Он замечал, как за последние годы гас интерес к людям, даже некогда близким. Круг становился все уже. Когда-то море людей окружало его, годы и города подполья, ссылки, войны бросали навстречу сотни редкостно прекрасных людей, которые на лету становились друзьями, но вот уже нет никого — они-то есть, но необходимость дружб исчезла, — никого, кроме Давида, Мишки, еще двоих или троих. И осталась в круге Лиза с детьми. Поэтому Маша, прилетевшая издалека, как воспоминание, не пробудила ничего, кроме ледовых мыслей и привычной, грызущей время от времени где-то в середине груди, под сердцем, тяжести.

Ребята выбежали навстречу, Горик кричал: «Мы идем с Ленькой, с Ленькой! Ты обещал!» — а Женя молчала с непроницаемо-мрачным лицом, и Николай Григорьевич, как всегда, когда видел маленькое, насупленное лицо дочки, вспоминал свою суровую мать. На парад на Красную площадь Николай Григорьевич брал обычно троих: Горика, Женю и кого-то из их товарищей. Из-за этой третьей кандидатуры и вспыхивали распри. Чаще побеждал сын с помощью довода, что, мол, военный парад — дело мужское, девчонкам там делать нечего. И верно, сила желанья попасть на трибуны была у них несоизмерима. Но сегодня крики Горика, его телячьа возбужденность раздражали Николая Григорьевича, зато мрачность дочки соответствовала его настроению, и он сказал холодно:

— Перестань орать, а то и тебя не возьму.

Сын, обидевшись, юркнул в детскую.

В столовой пили чай. Лиза что-то возбужденно рассказывала, по-видимому о вечере в Наркомземе, декламировала стихи — свои, что ли? — ее со вниманием слушали бабушка и бабушкина приятельница по работе в Секретариате, старая партийная функционерка Эрна Ивановна, жена Коли Лациса, которую Николай Григорьевич недолюбливал, считая дурой. Но бабушка ее ценила. Говорила, что она человек кристальной честности. Эрна Ивановна хохотала басом, а бабушка смотрела на дочку с нескрываемой гордостью и, когда Николай Григорьевич вошел в столовую, сделала пальцем знак, чтобы он не перебивал декламацию. Лиза читала про какого-то Игната Ивановича, «который был когда-то смелым, но постепенно, год от года, он смелость растерял в угоду желанию жить благополучно и преспокойно, хоть и скучно». Тут же сидел Михаил в новенькой командирской гимнастерке с орденом, прихлебывал громко чай из блюдца, уставясь запотевшими стеклами пенсне в стол и даже не подняв головы при появлении брата.

Николай Григорьевич тихонько, стараясь не шуметь, присел к столу, налил себе чаю. Лиза читала еще несколько



минут. Ребята тоже пришли слушать. Когда Лиза кончила, все стали хлопать в ладоши. Эрна Ивановна заявила басом, и как всегда безапелляционно, что Лиза должна была стать поэтом, а не зоотехником, на что бабушка заметила, что виноват Николай Григорьевич, заставивший Лизу идти в Тимирязевку.

— Коля, куда ты пропал, интересно знать? — спросила Лиза.

— Ходил на свидание. К одной даме, — ответил Николай Григорьевич, зная, что этот ответ не вызовет у Лизы, как у ценительницы юмора, ничего, кроме легкой улыбки. Он знал, что она совершенно спокойна за него, так же как он был совершенно спокоен за нее, и они оба, каждый в отдельности, были совершенно спокойны за себя. Но все же почему-то не хотелось, чтобы Лиза спросила: «А к какой даме?» — и ему пришлось бы сказать.

Лиза не спросила. По вечерам она читала вслух ребятам «Трех мушкетеров», и сейчас они все трое взгромоздились на диван. Лиза зажгла настенную лампу, а Горик, все еще с выражением обиды и независимости, пробежал мимо Николая Григорьевича в детскую, чтобы взять книгу.

— Послушай-ка, братец, — сказал Михаил. — Эти балбесы из Военного издательства вернули мне рукопись. Резолюция дурацкая: «На эту тему у нас запланирована книга комдива Богинца». А от Михаила Николаевича ни ответа ни привета. Ты мог бы ему звякнуть?

Брат, как всегда, являлся с каким-то недовольством или просьбами. Тон был такой, будто Николай Григорьевич имел отношение к «этим балбесам из Военного издательства» или даже принадлежал к их числу. Николай Григорьевич сказал, что Михаилу Николаевичу сейчас, наверно, недосуг заниматься делами издательства. И подумал: «Как Миша не понимает? Все-таки оторванность от большой работы, бирючья жизнь в этом Кратове у черта на рогах не проходят даром... Будет Михаил Николаевич заниматься его рукописью, как же!»

Михаил с подозрительностью поглядел на брата:

— Почему же недосуг? По-моему, он как раз в порядке.

— Прошел слух, что не вполне.

— Брехня! — Михаил решительно рубанул ладонью. Ну конечно, в Кратове ведь всё знают из первых рук. — Этот друг всегда будет в хорошем порядке. Я за него не волнуюсь. Скажи, что просто некогда звонить.

— Нет, не скажу! Не скажу, потому что дело не в «неохота», а в «некстати». Некстати, понимаешь? Ты там, на хуторе, не очень-то представляешь...

— Что не очень-то? Чего не представляю? — повысил голос Михаил, который всегда болезненно и грубо реагировал на слова брата, сказанные даже в шутку, намекающие на его, кратовскую, пенсионную жизнь. — Бросьте вы! Все представляю прекрасно. И давно предвидел. Да, да, еще раньше вас! Спорил с вами, умниками. Помнишь разговор у Денисыча в двадцать пятом году? В декабре?

— Разговоров было много. Пошли-ка в кабинет.

Но брат уже скрипел зубами, уже сапоги ему жали, раздражение кипело. Он встал, прошелся по комнате, резкими движениями сдвигая со своего пути стулья. И тут очень удачно вступила Эрна Ивановна:

— Да, кстати! Миша, — сказала она, — а где твой Валерий?

— У матери.

— Ах, так? У матери? Он что же, теперь с ней?

Кристалльная честность старой дуры заключалась в том, что она простодушно и бесцеремонно вмешивалась в личную жизнь товарищей, давала советы и расставляла оценки.

— Нет, — мрачно глядя на Эрну Ивановну, сказал Михаил. — На праздники поехали в Ленинград.

— Когда же поехали? — спросил Николай Григорьевич.

— Сегодня едут. «Стрелой».

— Вдвоем? — удивилась бабушка, хорошо знавшая лень и скардность Ванды.

— Не знаю, — еще более мрачно ответил Михаил. — Кажется, с этим господином из Наркоминдела. А что, это так важно знать?

— Ах, вот это мне не нравится! — Эрна Ивановна досадливо шлепнула ладонью по столу и уже приготовилась дать товарищеский совет, но бабушка, соображавшая все-таки побольше, прервала ее:

— Ничего, очень хорошо, посмотрят Ленинград...

— Вы нам дадите читать или нет? — спросила Лиза с дивана.

Николай Григорьевич потянул брата к двери.

Но Эрна Ивановна не успокаивалась. Вдруг тоненько зафыркала, захихикала в нос и крикнула:

— Миша, Миша! А ты знаешь, что говорят у нас, в доме политкаторжан? Что ты женился! Это правда?

Михаил остановился в дверях, не оборачиваясь и тыча назад, через плечо, на Эрну Ивановну пальцем, сказал брату:

— Ты понял, почему я на их собрания не хожу? Нет, ты понял? Я уж и скрылся от них за сорок верст, ни с кем не вижусь, на письма не отвечаю, а всё — жгучий интерес к моей персоне. Что за напасть за такая?

— А может, и вправду женился? — спросил Николай Григорьевич. — Признайся уж, злодей.

Михаил шепнул что-то ругательное и, махнув рукой, вышел из столовой.

Эрна Ивановна, хохоча, кричала вслед:

— На молоденькой, говорят!.. А? Верно?

Пришли в кабинет, заперлись. Михаил потребовал коньяку. В стенном шкафу Николая Григорьевича всегда стоял замаскированный книгами граненый графинчик. Выпили по две рюмки, Михаил зарозовел, отмяк, снял шашку со стены, стал рубить воздух и, как обычно, корить Николая Григорьевича за то, что тот держит драгунскую шашку вместо казачьей:

— Выбрось ты эту дрянь! Или мне отдай.

Он кричал от удовольствия, подсвистывал, люстра была в опасности. Через минуту стал задыхаться. Николай Григорьевич угрюмо смотрел на брата. Тяжесть в середине

груди вновь сделалась ошутимей. Он думал: брату пятьдесят три, выглядит на шестьдесят, разрушен временем, невзгодами и все же еще мальчишка в душе. Люди, которые в юности были стариками, в старости делаются мальчишками. И размахивают игрушечными шашками в своих кабинетах и на дачных верандах, где сосновые доски медленно оттаивают после долгой зимы.

Они обсуждали то, что рассказала Маша про их родной город. Сама Маша интересовала их мало. Брат вспомнил ее с трудом. Потом говорили о Сталине, которого знали и помнили гораздо лучше, с давних времен. Николай Григорьевич был с ним в Енисейской ссылке, а Михаил Григорьевич узнал его в Питере в начале семнадцатого, когда оба почти одновременно вернулись из Сибири, и потом через год работали вместе на Царицынском фронте — первые стычки, угрозы Сталина, ругань Михаила, окончательный раздор. Была какая-то встреча братьев, когда Николай Григорьевич ехал с юга в Москву, и Михаил смеясь сказал: «Ну, если Коба заберет власть в Царицыне — наломает дров!» Смеялись потому, что не верили. Ни казак, ни военный — партийный функционер. Но тот забрал власть в Царицыне очень скоро. Оттеснил Минина, убрал латыша Карла, Михаила выпер в Москву на командирские курсы. Раньше многих они поняли, что такое Коба, забирающий власть. Еще никто не догадывался. А они уже знали. Головы хрустели в его кулаке, как спелые, просохшие на солнце орехи.

— Ты помнишь, что я тебе говорил?..

— Ты? Это я тебе сказал, старому обалдую!

Но тайная вражда к тому, другому, в пенсне, говору с черной бородкой, тоже умевшему трещать черепами в кулаке, была сильнее. Недоверие к одному и вражда к другому, переплетаясь, тянулись через годы и наполняли их. И то, что казалось анекдотом в Царицыне, стало тупой и могущественной истиной, распростертой над миром наподобие громадной, не имеющей меры, железной плиты. Она висела, покачиваясь. На нее

смотрели привычно, как смотрят снизу на небеса. Но ведь должен был наступить час, когда истина весом в миллиарды тонн упадет, не могла же она висеть вечно и покачиваться. Михаил не знал подробностей последнего пленума, на котором разбиралось дело Бухарина и Рыкова, — откуда ему в Кратове знать? И в Москве-то знали немногие. Николай Григорьевич узнал сам недавно от Давида. Подробности были мрачные. Перед пленумом Бухарин, оказывается, объявил голодовку. Девять дней голодал. Когда вошел в зал заседания, Сталин его спросил: «Ты на кого похож, Николай? Против кого голодовку объявил?» Тот ответил: «Что же мне делать, если меня хотят арестовать?» Пленум будто бы потребовал, чтоб Бухарин прекратил голодовку. Выступал Бухарин резко, обвинял органы НКВД, говорил, что там творятся безобразия. Сталин зло прервал его: «Вот мы тебя туда пошлем, ты там и разберешься!» Пленум выделил комиссию по делу Бухарина и Рыкова — под руководством Микояна. В комиссию вошла будто бы и Крупская. А когда Бухарин выходил из зала, Крупская обняла его и поцеловала. В это что-то не верилось. И на Надежду Константиновну непохоже, и не в духе большевистских собраний, какая-то театральщина. Но говорят, что так было. Дух-то меняется. Когда решалась их судьба, членам Политбюро раздали бюллетени, где требовалось написать — кратко, одним-двумя словами, — как поступить с обвиняемыми. Все члены Политбюро написали: «Арестовать, судить, расстрелять». А Сталин написал: «Передать в НКВД».

Михаил сидел на краю дивана ссутулясь, опять посерев лицом, слушал с жадным вниманием. После молчания сказал:

— Знаешь, Колька, а мы сей год не дотянем...

Николай Григорьевич не ответил. Походил по ковру в мягких туфлях, качнулся, счистил с брючины полоску пыли, неведомо откуда взявшуюся — может, от детского велосипеда, который стаскивал сегодня с антресолей? — и, разгибаясь, чувствуя шум в ушах, сказал:

— А вполне возможно. — И сказалось как-то спокойно, рассеянно даже. — Вполне, мой милый. Но дело-то вот в чем... Война грядет. И очень скоро. Так что внутренняя наша пря кончится поневоле, все наденем шинели и пойдем бить фашистов...

Заговорили об этом. Михаил предположил — мысль не новая, уже слышанная: а не провокация ли со стороны немчуры? Вся эта кампания, разгром кадров? Николай Григорьевич считал, что немецкая кишка тонка для такой провокации. Это, пожалуй, наше добротное, отечественное производство. Причем с древними традициями, еще со времен Ивана Васильевича, когда вырубались бояре, чтоб укрепить единоличную власть. Вопрос только — на что обратится эта власть? К какой цели будет направлена?

Михаил махал рукой:

— А тебе все цель нужна? Без цели куда? С целью чай пьешь, в сортир ходишь?

Николай Григорьевич, сердясь — ибо разговор приближался к болезненному пункту, — объяснил, что во всяком движении привык видеть логику, начало и конец.

— Ну конечно, ты наблюдаешь! — издевался брат. — Видишь логику. А движение тащит тебя, как кутенка, ты даже не барахтаешься.

— А в чем заключается твое барахтанье? В том, что переселился на дачу и возделываешь огородик?

— Хотя бы, черт вас подрал! В том, что не участвую, не служу, не езжу в черном «роллс-ройсе», ядри вашу в корень, наблюдателей...

Кончилось, как обычно, руганью, новыми прикладаываниями к коньяку. Стали вырывать из памяти дела двадцатилетней давности, Ростов восемнадцатого года, только что взятый отрядами Сиверса и Антонова-Овсеенко. Все это уже не могло волновать, но было нужно для спора. Михаил все стремился доказать — и это злило Николая Григорьевича, — что и он, младший и удачливый брат, тоже замешан, хотя и косвенно, в той чудовищной неразберихе, «своя своих не узнаша», которая сейчас творится.

Тут была и ревность, копившаяся годами, и разочарование всей своей, по существу, разбитой, долгой жизни, и даже доля злорадства, и искренняя, смертельная тревога — главное, что кипело в сердце, — за дело, которое стало судьбой.

И Николай Григорьевич понимал это и видел за всеми злобными наскоками, несправедливостью и грубыми словами вот эту тревогу. Поэтому его собственная злость исчезала, едва возникнув. Он не мог долго сердиться на брата, старого дебошира, родного крикуна, на этого фантастического неудачника, у которого к концу жизни не осталось ничего — ни дела, ни семьи, ни дома.

Стучались в дверь. Николай Григорьевич открыл. Вошел Сергей, не здороваясь и глядя странно.

— Слыхали, что вчера ночью арестовали Воловика?

— Нет, — сказал Николай Григорьевич.

— А кто такой Воловик? — спросил Михаил.

— При мне был обыск. Прошлой ночью. Но самого Воловика дома не было. Были только Ада и я...

— Ничего не понимаю, — сказал Михаил, поднявшись с дивана, и налил в рюмку коньяк. — Какой Воловик? Какая Ада?

— Есть такой Воловик. Но его-то зачем? — Николай Григорьевич с изумлением смотрел на Сергея. — Черт их знает, совсем с глузду съехали... А где ты был эти два дня? Вчера и сегодня?

— У Ады. Я утром звонил маме. Она так разъярилась...

— Не знаю, не сказала мне ни слова.

— Ну как же — конспирация! Наше знаменитое качество. Можно? — Сергей налил себе коньяку и тоже выпил. — Ночью мы, конечно, не спали. Даже не раздевались. Ада была уверена, что сегодня придут за ней, но, слава богу, никто не пришел. А на рассвете была такая история. Мы сидим в ее комнате с балконом, окно выходит на тот двор, где котельная. На задний. И вот часов около шести утра видим, как мимо окна сверху летит женщина в черном, старуха с седыми волосами. Совершенно беззвучно, головой вниз. Утром лифтер сказал,

что ночью взяли одного старика, а на рассвете его жена прыгнула с балкона, с восьмого этажа.

— Как фамилия? — спросил Николай Григорьевич.

— Не знаю. Какая-то очень старая старуха, вся седая.

— Старуха? С балкона? — переспросил Михаил с выражением брезгливости. Он был уже сильно пьян. Как ему мало теперь нужно!

— Вот что, милый друг, не ходил бы ты сейчас к своей Аде. Повремени недельку. Просто дружеский тебе совет, — сказал Николай Григорьевич. — Встречайтесь в другом месте, на улице, где угодно. Пускай к нам приходит.

— А вам тоже, Николай Григорьевич, дружеский совет, — сказал Сергей. — Уберите все это к лешему.

— Что?

— Да вон то. — Сергей носком ботинка показал на металлический ящик, стоявший под письменным столом. В этом ящике, запертом на замок, Николай Григорьевич хранил оружие, три пистолета и патроны.

— Не имеет значения, — сказал Николай Григорьевич.

— Нет, имеет.

— Ни малейшего. И кстати: на браунинг у меня есть разрешение, а те две штуки — подарки РВС фронта и армии. А... — Он презрительно взмахнул пальцем. — А-а...

— Я же вам говорю... — зашептал Сергей почти с отчаянием.

— Ладно, перестань. Ты в этом мало смыслишь. Некоторое время молчали. Сергей, выпив, задымил папиросой. С улицы, со стороны набережной напротив клуба, отрывочно неслась музыка. Может быть, играл оркестр, может — радио.

Михаил бормотал:

— Ни в коем случае... — и качал пальцем многозначительно. — Ни за что... Никогда...

— Вы о чем, дядя Миша? — спросил Сергей.

— Он знает. Никогда...

Вошла бабушка и, холодно и несколько высокомерно глядя на Сергея, позвала его в столовую ужинать. Потом, когда ушла наконец идиотка Эрна Ивановна, все сошлись



в кабинете и долго разговаривали. Ребята легли спать. Наверху, где жил какой-то новый человек взамен полгода назад изъятых Арсеньева, уже встречали праздник: раздавалась музыка, пляски, стучали пятками в пол. Бабушка рассказывала о событиях в Секретариате. Как всегда, о главном умалчивала, главное держалось в тайне, железный характер, к которому все в доме привыкли и не пытались расшатать. Единственное, что сообщила: «В «Правде» сразу после праздника должна появиться громаднейшая статья какого-то крупного чекиста о вербовке шпионов». Потом разговор съехал на Серебряный Бор, ибо Николай Григорьевич тоже сообщил новость, слышанную в столовке: Арсюшка Флоринский сделался соседом и по Серебряному Бору, получил дачу. Ну да, за забором, двухэтажную, с солярием, теннисным кортом. Вот, вот, именно эту. В ней всегда жили тузы ОГПУ: когда-то Раузер, потом Рабинье, Томсон и вот теперь Флоринский.

Отсюда разговор стал ветвиться: к судьбе Паши Никодимова, в коей Флоринский обещал разобраться, но уже третий месяц ни слуху ни духу, и к Серебряному Бору, дачным заботам. Кооператив прислал требование уплатить срочно по жировкам за первый квартал и за водопроводные работы, намеченные на май. Денег не было, думали, где достать. Лиза очень бодро пообещала достать у себя в Наркомземе, в кассе взаимопомощи.

Николай Григорьевич хотел было сказать: «О чем вы хлопочете? Какая дача? Какой водопровод?» — но женщины обсуждали эти дела с таким честным энтузиазмом, что язык не поворачивался их пресечь. Часов в одиннадцать вышли пройтись перед сном. Вечер был теплый. На мосту стояли войска, приготовленные к завтрашнему параду. Михаил, слегка протрезвев на воздухе, принялся рассуждать о преимуществах танкеток перед тяжелыми танками. Слушать его было скучно, а спорить с ним опасно. В глубине души Николай Григорьевич был убежден, что разбирается в военных вопросах лучше брата, хотя и не кончал военной академии. Кремль

был высечен из тьмы прожекторами, и в черном небе над ним висел, прицепленный к невидимому и замаскированному аэростату, портрет Сталина. Гигантское усатое лицо сверкало и переливалось в серебряном свете прожекторов. Оно было почти неподвижным, лишь едва заметно надувалось от легкого ветра посередине, а мимо сверкающего портрета проплывали самолеты, несущие портреты поменьше: Маркса, Энгельса, Ленина и снова Сталина. Все остановились на мосту и смотрели на эту медленно проплывающую в ясном небе, озаренную снизу вереницу знакомых лиц. Самолеты с небольшими портретами, рокоча и четко соблюдая строй, исчезли из пределов досягаемости прожекторов, гул моторов удалялся, в небе над Кремлем остался висеть один громадный портрет. Там были мимолетность, временность, проплывание, исчезновение, а здесь — прочность, вечность. Портрет светился наподобие киноэкрана невероятных размеров. И одновременно его *стояние* в воздухе казалось сверхъестественным, было чудом и отдаленно напоминало неподвижное парение маленького паучка, висящего на незримой нитке. Проход в Александровский сад был закрыт. Военные регулировщики показывали направо, пришлось повернуть к библиотеке Ленина и потом через Ленивку снова пройти на мост и вернуться домой.

В первом часу ночи, когда Михаил уже храпел на диване, Лиза спала в детской с ребятами, а Николай Григорьевич выходил в халате, в шлепанцах на босу ногу из ванной, раздался звонок в дверь.

Николай Григорьевич быстро прошел в кабинет и стал одеваться. Сердце колотилось толчками, руки не слушались. Он почувствовал гнусную слабость где-то внутри, под животом, чего не было очень давно, может быть, с детских лет. Никто в квартире еще не слышал звонка. Люди за дверью ждали. Сейчас они позвонят снова, длиннее, тверже. Надо ли что-то уничтожать? Ничего. Вот этот час. Он настал. Никто не может избежать смерти, и никого не минует этот час, который настал для него. Почему он должен быть счастливей других? Нет, он не хочет

никаких льгот. Белая рубашка никак не застегивалась на груди, запонки не находились. Засунул куда-то десять минут назад. Ведь только что были здесь. Ну хорошо, можно без них. Грязные носки оставил в ванной, чистые брать не хотелось, было некогда, тяжело, уже томило страшное, знобящее нетерпение. Снова раздался звонок — на этот раз долгий, напряженный, как и положено быть. И кто-то постукивает пальцем в дверь. Разбудить Лизу или пойти сразу открыть?

Еще не решив, как лучше, он уже пошел по коридору. Твердой рукой отбросил цепочку, она загремела, качаясь.

На площадке стоял Валерка.

— Ты? Откуда ты, чертов сын?

— А я с вокзала. Удрал... Батка здесь?

— Здесь. Иди. Раздевайся. Мойся. — Николай Григорьевич подождал, пока племянник снимет пальтишко и кепку, и, взяв его за ухо, придвинул к себе и очень сладко и крепко, с оттяжкой, вlepил ему в макушку щелчка. Валерка даже подпрыгнул, сказал шепотом: «Ой!» — но, видимо, принял как должное: послушно побежал на цыпочках в ванную.

Белым квадратом стояли краснофлотцы, синим — летчики, зеленым — пограничники, оливково-стальным — Пролетарская дивизия. Все это Горик видел не раз и понимал отлично, потому что так было на всех парадах. И так же на всех парадах ровно в десять, когда часы на Спасской башне вбивали в тишину над площадью последний, проникающий во все сердца, колокольню-звонкий удар, из ворот легким галопом выезжал Ворошилов, и начиналось: «Ааа... Ааа...» Как будто вслед за цокотом ворошиловского коня раскатывался громадный ковер, состоящий из живого слитного шума. Шум катился волнами. Ковер разворачивался и разворачивался, опоясывая площадь. Но каждый раз снова, хотя было знакомо, в минуты этого «Ааа...» Горика охватывал озноб, в животе дрожало от восторга, ладони потели, сжимались в кулаки, и он беззвучно кричал со всеми: «Ааа...»

Кроме того, он испытывал приятное чувство самодовольства от сознания, что привел на это замечательное зрелище Леню и тот должен быть ему благодарен. Ведь мало кто из их класса может увидеть парад на Красной площади. Пожалуй, только Катька Флоринская да еще тот новенький, чей отец замнаркома.

Раньше ходил на парады Сапог, но теперь-то он, бедняга, сидит дома. Горик изредка поглядывал на товарища, стараясь прочесть на его напряженно-внимательном, несколько бледном лице какие-то следы благодарности, но пока ничего не обнаруживал. Карась как будто даже забыл, с кем пришел сюда. Не отрываясь он глядел на марширующие войска. Не произносил ни слова, словно окаменел. А Валерка, наоборот, не стоял на месте, вертелся между взрослыми, то и дело куда-то *протыривался*, однажды исчез надолго и, вернувшись, сообщил, что *протырился* к самому Мавзолею, близко-близко, видел Сталина, Молотова, Калинина и всех вождей. Дядя Миша дернул его за ворот матросской курточки и сказал очень злобно:

— Если еще раз, поганец, куда-нибудь удерешь...

— Подумаешь! — ответил Валерка. И, помолчав, шепнул: — Какой командир...

Тогда дядя Миша сильно треснул его по заднему месту. А Леня ничего этого не слышал, даже не обернулся.

Скакала конница, колыхались пики, алым и голубым рябили в глазах казачьи башлыки, на трибунах радостно шелестели:

— Впервые... Казаки... А вы знаете, впервые на параде участвуют красные казаки...

Какая-то женщина смеялась:

— Нет, не могу на них смотреть!

Но все вокруг хлопали в ладоши, кто-то кричал:

— Ура, казаки!

Горику хотелось, чтобы стоявшие рядом — в особенности Леня — знали, что его отец сам настоящий донской казак, и он спросил нарочно громким голосом:

— Пап, это донские казаки или кубанские?

Николай Григорьевич, к удивлению Горика, ответил равнодушно:

— Да наверно уж... Я думаю — да...

Зато дядя Миша объяснил: сводная казачья дивизия. Впереди шли донцы, вторыми — кубанцы, за ними — терцы. Потом мчались по влажной от утреннего дождя брусчатке бесшумные самокаты, потом, треща наперебой и оглушительно хлопая, катились мотоциклы с колясками, в которых стояли пулеметы. Это была новинка. Вот это да! Мотоциклы с пулеметами! Хорошенький сюрприз для иностранных военных атташе, вот уж они, наверное, кривятся и бледнеют от злости на своей трибуне. Горик кричал: «Ура, мотоциклисты!» На гусеницах ползли тяжелые противотанковые орудия, за ними лавиной шли танки — танки-лилипуты и танки-великаны, дым выхлопных газов застилал воздух, было трудно дышать, как в настоящем бою, земля содрогалась, ревело небо, от грома моторов истребителей и скоростных бомбардировщиков люди на трибунах, казалось, вот-вот оглохнут, женщины затыкали уши, их лица выражали ужас, но Горик и Карась стояли с непоколебимым спокойствием. Они могли бы стоять так два часа, три, четыре, сколько нужно.

И потом, когда уже подгибались ноги, а руки устали хлопать, когда от шума, треска, мельканья, музыки кружилась голова, когда прошли физкультурники, пробежали испанские ребята в забавных двурогих шапочках, которые почему-то назывались «пилотками», прошагали весельчаки на ходулях, когда радио гремело: «Включаем канал! Кричат первые пароходы!.. Включаем Мадрид! Говорит Мадрид!.. Включаем поезд, увозящий отряд комсомолок на Дальний Восток!» — когда выглянуло солнце, стало жарко и отец сказал, что пора домой, там ждут с обедом, а Горик, едва держась на ногах, ответил, что обязательно должен досмотреть до конца... что было тогда? Отец сказал: «Ничего, досмотришь в следующий раз. В будущем году». И вдруг Горика подумалось, что отец говорит неправду, следующего раза не будет. Непонятно откуда это взялось. Просто вдруг подумалось сердцем,

восторженным, полумертвым от усталости. А может быть, отец так улыбнулся и сжал руку Горику. Подумалось — и все, ни с того ни с сего.

Горик кивнул, и они стали пробираться к выходу, в сторону Александровского сада.

А вечером было много гостей, человек двадцать. Приехали из Коломны дядя Гриша с Зоей. Пришла одна старая знакомая отца, еще по гражданской войне, тетя Маруся из Ростова, симпатичная тетка, принесла подарки: игру «Аквариум» (при помощи магнита на удочке вылавливать бумажных рыб) и прекрасно изданную книгу «Губерт в стране чудес», про немецкого пионера, который приехал в Советский Союз. У Горика такая книга уже была, но он, разумеется, промолчал, чтобы не огорчать тетю Марусю. Перед ужином Валерка устроил небольшой скандал, не хотел принимать ванну — он здорово измызгался, когда играли в мушкетеров и ползали попластунски на заднем дворе, возле церкви, — и дядя Миша учил его ремнем в кабинете. Валерка орал благим матом, женщины за него заступались, но дядя Миша был разъярен, не хотел слушать, всех выгонял. Вдруг звонок: пришла Валеркина мать, тетя Ванда. Все страшно изумились. Оказывается, тетя Ванда, не доехав до Ленинграда, пересела на московский поезд и вернулась обратно. Потому что очень беспокоилась за Валерку, такого негодяя. Он ведь удрал незаметно, обманул мамашу, сказав, что постоит до отхода поезда в тамбуре, и она, этакая шляпа, вместе со своим Дмитрием Васильевичем спохватилась, когда поезд уже отъехал. Горик-то знал, в чем дело: Валерка ни за что не хотел ехать вместе с Дмитрием Васильевичем, но тетя Ванда его заставляла. Она обещала купить ему фотоаппарат. Теперь тетя Ванда плакала, обнимала Валерку и говорила: «Ах, какое счастье! Боже мой!» Она думала, что он погиб под колесами. Валерка сказал, что больше так делать не будет и что хочет жить с тетей Вандой, а не с дядей Мишей, потому что «отец руки распускает». Дядя Миша от такой наглости вышел из себя и закатил сыночку хорошую оплеуху. И правильно сделал, не будь предателем. Тетя Ванда снова плакала,

кричала: «Не могу здесь жить! Уеду от всех! Маша, возьми меня с собой в Ростов, там прошло мое детство!» Тетя Маруся сказала, что она согласна. Кое-как все это успокоилось, бабушка и баба Вера стали играть на пианино в четыре руки, потом сели ужинать, было три торта, несколько бутылок крем-сода, не считая вина, и самодельное мороженое, очень вкусное, хотя немного жидкое и напоминающее запахом кипяченое молоко: Сережка полдня провозился, ремонтируя мороженицу. Во время ужина с Гориком произошел конфуз. Он вдруг увидел на скатерти рядом со своей чашкой клопа и громко оповестил об этом всех присутствующих.

— Клоп! — крикнул он бодрым и, пожалуй, даже радостным голосом. — Смотрите, клоп!

Трудно сказать, что побудило Горика так закричать. Ведь он впервые за весь вечер раскрыл рот. Больше часа он сидел среди взрослых, скованный и угнетенный собственным молчанием, неумением принимать участие в застольном разговоре — Женька была куда развязней его, про Марину и говорить нечего, она не умолкая рассказывала всякие глупости, и даже Валерка пропищал какой-то анекдот, — и вот, мучаясь своей бездарностью и глядя в основном на скатерть, Горик увидел клопа. И ему показалось, что это забавно и может всех развеселить. И он сам как-то выделится на общем фоне. Действительно, его радостный возглас произвел впечатление бомбы. Поднялась суматоха, кто-то вскочил, кто-то стал хохотать. Особенно громко хохотали тетя Дина и бабушка Вера. Потом, когда уже все забыли про клопа, Горик случайно зашел в кабинет и увидел отца, стоявшего возле окна и глядевшего на двор. Было полутемно, горела одна маленькая лампа над диваном.

— Пап... — начал Горик, подходя к отцу.

Отец вдруг повернулся и больно шлепнул Горика по щеке, сказав:

— Идиот!

Горик понял, что отец все еще помнит про клопа. И это его расстроило. Он никак не мог заснуть, и, когда Женька

уже спала мертвым сном и Валерка тоже храпел на кушетке, он босиком, в одной рубашке подбежал к столовой, на секунду открыл дверь и вызвал маму. Она пришла и села на кровать. Они долго шептались. Сначала для отвода глаз он говорил о всяких школьных делах, а потом спросил: забудут ли когда-нибудь про этого клопа?

— Конечно, забудут, — сказала мама. — Я думаю, что уже завтра или в крайнем случае послезавтра забудут. Главное, чтобы ты сам забыл.

Но прошло много лет...





*Юрий  
Трифонов*

---

**ВОСПОМИНАНИЯ, ЭССЕ**

**Записки соседа**

**Начало**

**Нет, не о быте — о жизни!**

## ЗАПИСКИ СОСЕДА

### I

Дело не в том, что в течение нескольких лет мы были соседями по даче на Красной Пахре и наши участки разделял слабоокрашенный деревянный заборчик, возле которого мы часто стояли разговаривая. Дело в том, что мы оказались соседями по *времени*, по тому развеселому, разнесчастному, в котором досталось жить. А время всех ставит рядом: больших, маленьких, посредственных, ничтожных, всех, всех, всех.

Так вот: зима пятидесятого года. Сейчас ту зиму ощущаю совсем иначе, чем ощущал тогда. Если уж говорить о времени, то оно похоже на нас. Я был молод, крепок, подымал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способно поднимать небывалые тяжести время. Это был, конечно, верхний слой моего мироощущения, под которым находился другой слой — там тлело все горькое, что пришлось испытать за последние тринадцать лет и что как будто не оставляло надежд, — но под этим горьким находился еще один слой, еще более задавленный и скрытый, который все же грел меня странным и почти необъяснимым теплом. Год назад, в сорок девятом, я окончил Литературный институт, никуда работать не устроился, сидел дома и писал книгу. Зимой я эту книгу закончил. Куда нести? У меня были некоторые отношения с «Октябрем», напоминавшие вялый, тягучий и бесплодный роман — временами я посещал кружок молодых писателей при этом журнале, давно уже потеряв надежду пробиться на его страницы. Все рассказы, что я приносил и отдавал благожелательной, мало что понимавшей старушке Ольге Михайловне Румянцевой,

прочно застревали в ее столе. Впрочем, рассказы были плохие. Ну, а те, что печатал в своем журнале Панферов? Их хвалили в газетах, они получали премии, считались образцами современной литературы, но мне казалось, что они еще хуже моих рассказов. Я не мог прочесть из них ни страницы. На мой взгляд, это было совсем не то, к чему надо стремиться, да и попросту *не литература*. Причин такой решительности моих литературных оценок было две: действительно худое качество хвалимых романов и мое собственное наглое зазнайство, обыкновенное для начинающих.

Итак, «Октябрь» отпал (я показывал несколько глав из книги Ольге Михайловне, но, кроме обычных туманных и благожелательных обещаний, не услышал ничего), со «Знаменем» не было связей, оставался «Новый мир». Членом редколлегии «Нового мира» был Федин, руководитель моего семинара в Литинституте. Главным редактором недавно назначили Твардовского. Я упаковал пухлое, двадцатилистное произведение (не знал, как называть его — романом, повестью, не знал и названия) в две старые канцелярские папки довоенного образца, которые, наверно, использовал отец еще во времена Нефтесиндиката, и поехал в Лаврушинский переулок. Федин постоянно жил на даче в Переделкине, в Москве бывал редко, но мне удалось с ним созвониться и он назначил день. На семинаре в Литинституте я читал раза два главы из повести, и Федину они как будто нравились. Но одно дело — главы, а другое — пятьсот страниц на машинке. Читать два месяца! Я приготовился терпеливо ждать, лишь бы Федин согласился взять мои папки.

Федин, однако, поступил иначе, немало меня изумив.

— Я сейчас позвоню Твардовскому и скажу ему про вашу рукопись, — сказал он. — Здесь все примерно в том стиле, что и те две главы?

— Да, — сказал я. — Примерно в том.

— Вот и хорошо. Сейчас позвоним. Он как раз спрашивал меня, нет ли какой интересной прозы... — Федин уже набирал номер, продолжая вполголоса меня все более изумлять: — Он только что назначен... Полон

энергии, ищет авторов... Александр Трифонович? Добрый день, это Федин. Вчера вы мне звонили, просили посылать молодых авторов, и вот, пожалуйста, выполняю вашу просьбу. Повесть о студентах. Автор — мой ученик по Литературному институту... Читается с интересом...

Федин говорил что-то хвалебное по моему адресу, я плохо слушал, подавленный внезапным недоумением. С одной стороны — тут было благодеяние, с другой — нечто обидное. Что ж, ему вовсе нелюбопытно прочитать мою рукопись? И если когда-то понравились те две главы, то неужели не хочется узнать, что же там случилось *дальше*? Я считался старейшим учеником Федина. Еще с первого, заочного курса, когда работал на авиазаводе. Федин подробно разбирал мои начальные, беспомощные сочинения, иногда защищал меня от ретивой критики (а мы топтали друг друга на семинарах нещадно!), иногда сам твердо и холодно ставил меня на место. Но всегда я чувствовал какой-то интерес. Теперь же, когда я принес гигантский плод полуторагодичного, каторжного, графоманского труда — бывали дни, особенно минувшей осенью, в сентябре, на даче в Серебряном, где я жил один, когда выходило по пятнадцати страниц в сутки! — мой учитель даже не развязал тесемок на старых, из желтого глянцевого картона папках.

Федин как будто почувствовал мои мысли.

— Дорогой Трифонов, — сказал он, — ваше произведение я прочитаю, когда оно будет напечатано в журнале. Не возражаете? Дело в том, что я занят сверх меры...

Я не возражал. Был благодарен: такая оперативность! В тот же день курьер из «Нового мира» должен был забрать желтые папки и привезти Твардовскому. Пока все шло замечательно. И все же что-то меня скребло. «*Он поспешил от меня отделаться!*» Прошло много лет, и теперь я знаю, что такое толстые папки, которые приносят начинающие писатели. Они напоминают маленькие, хорошо упакованные коробки с динамитом: что-нибудь непременно будет взорвано. Ваша работа, ваше время, ваше спокойствие или ваши отношения с людьми. В этих папках слишком много заложено. Поэтому чем скорее от них

отделаешься, тем лучше. Недавно ко мне пришел молодой человек, несомненно, талантливый, рассказы которого я читал, и принес новую повесть. Он написал много, но почти ничего не смог опубликовать. Знакомя его с бывшим у меня гостем, я сказал: начинающий писатель такой-то. Молодой человек дернулся, в его лице мелькнуло что-то, и он сказал, резко отчеканивая каждое слово: «Я не начинающий писатель!» Повесть его лежит на моем столе. И я боюсь к ней притронуться, как к пакету с динамитом.

Прошло дней десять или двенадцать, не помню точно сколько, очень немного. За это время кончилась зима. Внезапно пришла телеграмма: «Прошу прийти в редакцию для разговора. Твардовский». Не помню уж, почему телеграмма. Может, не работал телефон, не могли дозвониться. Едва чуя под собой землю и плохо соображая, с телеграммой в кармане, которую я бережно спрятал, как пропуск или квитанцию, я отправился в «Новый мир».

Редакция помещалась тогда на углу Пушкинской площади и улицы Чехова. Вход был с улицы Чехова. Помню — горы сырого снега, мокрый асфальт, солнце, предчувствие весны... В этот день я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским.

К Твардовскому уже в те годы, во времена Литинститута, мы относились, как к классику. И я, конечно, волновался не только от нетерпения узнать свою судьбу, но и от предстоящей встречи с известным поэтом. В домашней библиотеке было две его книги, «Поэмы» и «Книга лирики». Я перечитывал главы из «Теркина», «Дом у дороги», некоторые лирические стихи любил читать вслух: например, «Я убит подо Ржевом» и «В пути». Признаюсь, это последнее стихотворение, такое скромное и простое, трогало до слез. Пастернака я в ту пору знал мало, только маленькую книжечку «На ранних поездках», купленную случайно, Цветаеву и Мандельштама не знал совсем. Маяковским «переболел» давно. Самым любимым был Блок. И вот, когда собирались на Большой Калужской или в летнее время в Серебряном бору, после рюмки водки — впрочем, какой рюмки, пили тогда чашками

и стаканами за неимением рюмок — непременно хотелось читать вслух, всегда читал Блока, «Куклу» или «Зодчих» Кедрина и вот «В пути». Твардовский в отличие от других поэтов поражал тем, что умел с какой-то удивительной простотой и силой говорить о самом сокровенном, что поэзии как будто и неподвластно, к чему может прикасаться лишь проза, да и то толстовская, чеховская: о домашнем, семейном, истинно человеческом. Отношения близких друзей. Сын и отец, мать и дети, муж с женой, родня, родные — и все это на фоне громадной жизни, горя, войны, потерь. «Ах, своя ли, чужая, вся в цветах и снегу... Я вам жить завещаю — что я больше могу?»

Поднялся я по высокой и очень широкой, но темной какой-то лестнице, вошел в дверь налево, маленькая прихожая, как в коммунальной квартире, повесил пальто и шапку на крюк, гардеробщица жестом показала на другую дверь. После казенных коридоров «Октября», лифтов, пропусков, величественных и холодных комнат тут было странно: какая-то домашность, семейность. И человечность, что ли? Вошел в небольшой зальчик без единого окна. Горел электрический свет. Справа у двери за столом сидела пожилая седоватая, сильно накрашенная дама в очках и клеила конверты. Она с любопытством уставилась на меня. «Вы к кому?» Тоже странно: в прежних редакциях (а кроме «Октября» я бывал еще в издательстве «Молодая гвардия») никто не смотрел на меня с любопытством. Я сказал, что вызван для разговора к Твардовскому.

— Подождите здесь! — Пожилая дама с живостью встала и исчезла за дверью с табличкой «Главный редактор Твардовский А. Т.».

Потом я узнал, что эта дама — могущественная секретарша редакции Зинаида Николаевна. Мне было велено подождать. Сидя на стуле возле двери с табличкой, я оглядывал зальчик. В него выходило шесть или семь дверей. Судя по всему, комнаты были маленькие. Да попросту говоря — клетушки. Одна «октябрьская» комната, где сидела Ольга Михайловна, была больше всего этого зальчика, не говоря о клетушках. Зато зальчик напоминал

гостиную: здесь стояли овальный и как будто даже старинный стол, диван, на стенах висели рисунки. Из клетушек то и дело выскакивали люди и, перебегая по ковру, скрывались в дверях других клетушек. Все тут было невероятно уютно.

За столом Зинаиды Николаевны задребезжал звонок, и Зинаида Николаевна сказала:

— Заходите!

Я открыл дверь, но увидел не кабинет, а небольшой тамбур, куда были втиснуты маленький столик и два стула, то есть и это местечко было обжитое, удобное. Твардовский поднялся из-за стола и протянул руку. В те времена я имел обыкновение пожимать руки что есть мочи, но рука Твардовского ответила не менее мощным пожатием. Удивился: у классика такая сила в руке! А ведь Твардовский был тогда молодым человеком — тридцать девять. Впрочем, мне было двадцать четыре, и он мне казался умудренным годами, *всего достигшим* писателем. Почти таким же, как Федин.

Внимательно и как-то сверху вниз — с волос до галстука, — изучающе строго оглядывая меня, Твардовский спросил мое отчество. Я сказал.

— Так вот, Юрий Валентинович, я прочитал вашу повесть. Вызвали мы вас потому, что с рукописью надо что-то делать: во-первых, редактировать, во-вторых, может быть, сокращать, она великовата...

Первые фразы были сказаны сухо, даже несколько официально. Но смысл, смысл! Редактировать. Сокращать. Значит, хотят печатать? Конечно, я догадывался, что меня вызывают телеграммой не для того, чтобы сообщить плохое, и все же услышать от главного редактора слова с подобным *смыслом* — мгновенный шум в голове, как от легкого теплового удара. Подробности разговора помню плохо. Какое-то смутное именованное настроение во мне самом. Помню, Твардовский выяснял, что написано до повести и что напечатано, и с недоверием переспрашивал: «Всего один рассказ?» Я, кажется, был смущен, потому что наврал, напечатано было два рассказа: в альманахе «Молодая гвардия» рассказ «В степи», о котором



я упомянул, и еще один, бесконечно слабый, в журнале «Молодой колхозник». Про тот я скрыл. И в моем подавленном тепловым ударом мозгу мелькнула мысль: вдруг он читал рассказ в «Молодом колхознике» и теперь ловит меня на вранье? Стал поспешно оправдываться, бормотал про «Колхозник». Помню, он допытывался, откуда я родом: «Москвич? Коренной? Родители тоже москвичи?» Я объяснил про родителей. «Москва у вас хорошо видна», — сказал Твардовский, и это было, кажется, единственное прямое высказывание о повести. Потом познакомил меня со своим заместителем, Сергеем Сергеевичем Смирновым, который размашисто влетел из соседней комнаты в кабинет; молодой, быстрый, скачущий, суетливый, он двигался и разговаривал совсем в другом ритме, чем неторопливый Твардовский. «Тот самый Трифонов». — «А? Так, так, так... — Здоровенной ручищей Смирнов тряс мою руку. — Будем готовить договор, Александр Трифонович».

«Редактировать. Сокращать. Договор.» — впервые эти слова, которые сопровождали меня потом то в реальности, а то в мечтах и в кошмарах всю жизнь, я услышал в тот день.

Прощаясь, Твардовский сказал:

— А Константин Александрович прав: читается ваша рукопись с интересом... Но сору там много. Дадим опытного редактора, поработаете как следует... — И вдруг прозрачно-голубые глаза, сохранявшие прохладную дистанцию, стали теплыми, близкими. — А знаете, Юрий Валентинович, моя жена заглянула в вашу рукопись и зачиталась, не могла оторваться. Это неплохой признак! Проза должна тянуть, тянуть, как хороший мотор...

Редактора для рукописи вскоре нашел сам Твардовский — Тамару Григорьевну Габбе. И должен сказать, что мне необычайно повезло и даже, точнее, *посчастливилось* с этим редактором. Тамара Григорьевна была близким другом Маршака, а Маршак был другом Твардовского, и в первые недели редакторства Александра Трифоновича в журнале, занятия, для поэта нового, Маршак — мудрый

человек, искушенный в организации литературного дела, создавший когда-то в Ленинграде целую литературную фабрику по выделке детских книг, где, кстати, трудилась и Тамара Григорьевна Габбе — много и энергично помогал Александру Трифоновичу советами. Тамара Григорьевна рассказывала мне, что весной 1950 года Твардовский советовался с Маршаком по всяким редакционным делам очень часто. По-видимому, Маршак был тогда его главным советчиком. Он и рекомендовал Габбе.

Тамара Григорьевна, с которой во время трехмесячной работы мы очень подружились, признавалась мне, что вначале не хотела браться за редактирование: давно не занималась этим делом, утратила к нему интерес, да и своя литературная работа не оставляла времени (книги для детей, статьи, пьесы, среди них такая известная, как «Город мастеров»). Но Маршак настоял, говоря, что «Твардовский очень просит». Тамара Григорьевна решила посмотреть рукопись. Посмотрев, согласилась — рукопись ее заинтересовала. Рекомендации журнала — о них я тогда не знал, Тамара Григорьевна рассказала позже — были: сократить наполовину. Но это, кажется, был самый простой способ доработки рукописи.

Тамара Григорьевна оценила рукопись иначе: там *не лишнее*, а там *не хватает*. Надо углублять, мотивировать. По ее советам я написал почти три листа нового текста. Рукопись достигла двадцати трех листов. Редакторская работа по всей рукописи была проделана очень большая, но то было не мелочное перечеркивание фраз, не стрижка и не причесывание (в «Октябре», когда готовился один мой рассказ для какого-то мифического сборника, редактор всегда вымарывал слово «задумчиво» и писал «раздумчиво»), а насыщение смыслом. Тамара Григорьевна никогда не вписывала никаких своих слов и фраз. Она была, конечно, замечательный редактор, высочайшей квалификации, про нее говорили «лучший вкус Москвы», а еще раньше — «лучший вкус Ленинграда». (Впрочем, между ленинградской и московской школами редактирования существовало некоторое соперничество, что я обнаружил позже, когда работал с Софьей

Дмитриевной Разумовской, тоже великолепным мастером своего дела.)

Примерно так: Разумовская относилась к рукописи так же, как Роден — к куску мрамора: «Я отсекаю все лишнее!» В результате вмешательства мастера возникает шедевр. Габбе доверяла силам автора, она их отыскивала, побуждала к действию. Тут был расчет на то, чтобы мрамор как бы ваял себя сам. Конечно, разделение грубое: и Разумовская полагалась на силы автора, и Габбе порой бестрепетно отсекала, но я говорю об общих, может быть, бессознательно осуществляемых принципах. И так, мы работали. Почтя все лето. К нашей работе менее всего применимы слова «шедевр», «мрамор». Это была тяжело-весная и вместе водянистая проза начала пятидесятых годов. Несколько раз в день работу прерывали звонки Маршака: он советовался с Тамарой Григорьевной, читал по телефону стихи, отрывки из статей. Иногда звонил, чтобы прочесть одну какую-нибудь строчку. Тамара Григорьевна терпеливо выслушивала, подробно высказывалась. Я терпеливо ждал. Иногда мы отрывались от работы, чтобы поговорить о книгах, о писателях. Тамара Григорьевна удивляла меня своим спокойным, если не сказать, прохладным отношением к Хемингуэю, перед которым я — по традиции Литинститута — благоговел, зато бесконечно говорила о Толстом, о Герцене. О современных писателях отзывалась как-то иронически: «Мне кажется, они все в кого-то играют... Один — нынешний Тургенев... Другой — нынешний Достоевский...»

Она была маленького роста, живая, миловидная, быстро и легко двигалась, разговаривала мягко, шутливо. Трудно было поверить, что эта женщина перенесла тяжкие невзгоды. Муж ее погиб в лагере. О муже она рассказывала, но позже, когда зашел разговор о моих родителях. В то время я ничего не скрывал. Мне казалось, что люди — обыкновенные — должны понимать все, как нужно. Одна знакомая моей матери по лагерю рассказала, что была свидетельницей гибели мужа Тамары Григорьевны. В Казахстане случилось страшное наводнение, люди спасались на крышах лагерных бараков, и муж Тамары Григорьевны,

ленинградский врач, бросился с крыши в воду кому-то на помощь и так и не выплыл. Об этом я узнал потом. Тамара Григорьевна о своей жизни не говорила, о своем творчестве — тоже никогда. Вообще она была человеком необычайной скромности и бескорыстия. «Самуил Яковлевич считает, что у меня нет мускулов честолюбия!»

Для меня навсегда незабываемы встречи с Тамарой Григорьевной в ее крохотной комнатке на Сушевском, где стоял секретер красного дерева, на откидной крышке которого мы кое-как раскладывали бумаги, где за стеклом старинного шкафа теснилась обширная библиотека. (Сейчас книги находятся в библиотеке ЦДЛ, переданные туда как дар Тамары Григорьевны по ее завещанию, о чем сообщает табличка, и каждый раз, поднимаясь в библиографический кабинет, я вижу шкаф, табличку и знакомо мерцающие за стеклом книги, которые за двенадцать лет после смерти Тамары Григорьевны не вынул из шкафа, наверное, ни один человек, и на миг вспоминается давнее, что происходило в том смутном пятидесятом году со мной и со всеми вокруг, и скорбь сжимает сердце. Помните у Маршака: «Каких людей я только знал! В них столько страсти было! Но их с поверхности зеркал как будто тряпкой смыло».) И вот, говорю я, встречи в крохотной, загроможденной мебелью комнате, споры о словах, чтение вслух, работа без усталости до поздноты, до сладостных ночных вагонов метро... И казалось, что все будут так же желать мне удачи, так же жадно подсказывать, радоваться хорошей фразе. И только так и никак иначе, казалось мне, делается литература.

Сейчас из романа «Студенты», изданиями которого набита целая полка в моем шкафу, я не могу прочесть ни строки. Даже страшновато взять в руки. Были бы силы, время и, главное, желание, я бы переписал эту книгу заново от первой до последней страницы.

Но зачем? Не надо возвращаться к тому, что ушло. Это все равно, что пытаться наяву переделывать нечто, существующее лишь во сне, или же бежать вверх по эскалатору, спускающемуся вниз.

С Твардовским не было встреч до конца лета, когда я принес в «Новый мир» законченную рукопись. Габбе считалась внештатным редактором, теперь следовало отдать повесть на просмотр и, может быть, доработку штатному новомирскому редактору. Им оказалась дама средних лет, восседавшая в одной из клетушек. С дамой сразу возник конфликт. Это была редактриса того распространенного типа, который я бы назвал типом *бесталанного самомнения*: талантом, то есть чутьем и пониманием литературы бог обидел, а самомнениеросло с годами от сознания своей власти над рукописями и авторами.

Почти сразу я почувствовал некоторую холодность к себе, к рукописи и, главное, через меня и рукопись — к Тамаре Григорьевне. Дама, кажется, была уязвлена тем, что для первой большой редакторской работы новый руководитель журнала позвал человека со стороны. Было сказано какое-то насмешливое словцо по адресу Тамары Григорьевны. Работа началась с чирканья и перестановки слов на первой же странице. Я вступил в спор. Дамское самомнение кипело. Я упорно не уступал. Больше всего меня задело пренебрежение дамы не к моему тексту, а к авторитету Тамары Григорьевны. Чиркать и переставлять слова во фразе, ею одобренной! И эдак с маху, с налету! А Тамара Григорьевна вовсе не брала ручку и ничего сама не правила в рукописи. Да и что за замечания? «Которые... которые... как... как...» Можно не согласиться. Я решил не соглашаться. В то время я производил впечатление тьюфяка, этаким флегматичным орясины, и дама была, кажется, изумлена, обнаружив мою гранитную неуступчивость.

— Я вижу, у нас дело так не пойдет! — сказала она гневно.

— Я тоже так полагаю, — сказал я.

Пожалуй, я вел себя рискованно. Но тогда этого не сознавал. Я пошел к Твардовскому и попросил назначить мне другого редактора. Он спросил: в чем дело? Мы друг друга не понимаем. Стало было рассказывать о предмете спора, но Твардовский прервал, ему все было ясно.

— Мы вам дадим другого редактора, хотя не думаю, что это необходимо. Габбе очень хороший редактор.

А вашей знакомой, с которой вы не сошлись характерами, нужна ведь не литература, а... — он выразился грубо.

Смирнов, стоявший рядом, ослабился. Спустя несколько дней дама была уволена. Не по моей, разумеется, жалобе, а потому, что настал ее черед. Твардовский менял людей, бывших при Симонове, хотя не всех. Кое-кто из симоновских кадров остался при Твардовском, потом снова при Симонове и снова при Твардовском, а некоторые даже дотянули до Косолапова. Дама, которая наскочила на меня, как баржа на мель, переплыла в «Советский писатель» и лет двадцать благополучно подчеркивала там слова «который» и «как».

Твардовского я не видел несколько месяцев, он выглядел иначе: как-то уверенней, энергичней, разговаривал кратко, твердо. К себе я не почувствовал большого интереса. Мне было сказано, что повесть планируется на осень. Она вышла в двух номерах: октябрьском и ноябрьском 1950 года. Моя жизнь изменилась. Внезапно я стал известным писателем. Теперь сомневаюсь: писателем ли? Но тогда, конечно, не сомневался ни минуты. Обрушились сотни писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города. Все это началось в декабре и продолжалось, нарастая, в течение всей зимы. В редакцию «Нового мира» я заходил за письмами, которые Зинаида Николаевна собирала в толстые пакеты и, передавая их мне, шептала с изумлением: «Послушайте, ну кто бы подумал! Ведь только Ажаев получал столько писем!» Члены редколлегии, которые раньше меня не замечали и едва здоровались — с какой бы стати им замечать? — теперь останавливали меня в зальчике и задавали вопросы,

Катаев сказал, что в два счета сделал бы из меня Ильфа и Петрова.

— Небось уж подписались в Бюро вырезок? И носят вам на квартиру такие длинные конверты со всякой трюхой? — спросил он.

Я не слышал, что существует какое-то Бюро вырезок. Твердо решил: не подпишусь. Но через год все-таки подписался.

Александр Трифонович ко всей этой внезапной и ошеломившей меня шумихе вокруг «Студентов» относился благожелательно. Ведь это был успех журнала. Десятый и одиннадцатый номера «Нового мира» достать было невозможно, в библиотеках записывались в очередь. Но официальное отношение к повести было пока неясно. До меня доносились слухи, что есть недовольные, говорят, что вещь чересчур бытовая. Елизар Мальцев, мой приятель по фединскому семинару и в то время уже лауреат, автор «От всего сердца», один из панферовской плеяды, сказал, что слышал такое мнение: «Слишком много евреев».

Твардовский сказал:

— Вы не думайте, что вы всех очаровали. Даже в нашей редколлегии есть люди, которые протестовали резко.

Я посмотрел вопросительно, перебирая в уме: кто бы это? Спросил:

— Бубеннов?

— Бубеннов! — строго и с нажимом произнес Твардовский. — Главный наш зоил. Мужчина серьезный, имейте в виду. Как он Катаева-то поставил по стойке «смирно»! Но мы с ним не посчитались. И вообще, я думаю, он у нас тут не загостится...

С Бубенновым я познакомился в сентябре в кабинете Твардовского. Твардовский и познакомил: «Миша, вот Юрий Трифонов, повесть которого у нас идет...» Наверно, был обо мне разговор, потому что Бубеннов поглядел внимательно, но ничего не сказал. Речи его прозвучали через полгода, когда меня поставили на правее в секретариате Союза писателей. Твардовский угадал: Бубеннов продержался в журнале недолго, опираться ему было не на кого, Шолохов далеко, остальные члены редколлегии — Федин, Катаев, Смирнов и Тарасенков — стояли, конечно, за Твардовского. Заседания заканчивались руганью Твардовского с Бубенновым. Александр Трифонович умел людей, которые ему были неприятны или которых он мало уважал, подавлять и третировать безжалостно: и ехидством, и холодным презрением, а то и просто бранью.

В январе в «Правде» появилась статья Л. Якименко, положительно оценившая «Студентов». Верховное одобрение пришло. По тем временам это был громадный успех. Мне звонили товарищи, поздравляли. Посыпались всякие лестные предложения: с «Мосфильма», из театра, радио, из издательства. Люди, меня окружавшие, были ошарашены, я же, представьте, принимал все *как должно!* И вел себя глупо. На предложение «Мосфильма» писать по «Студентам» сценарий я ответил отказом: видите ли, посчитал для себя унижительным эксплуатировать успех. (В кругу приятелей мы потешались над одним слегка очумевшим автором, который сделал по своему роману фильм, пьесу и либретто для оперы.) В «Советском писателе» тоже гордо отказался от договора, ибо, как объяснил удивленному редактору, пригласившему меня, кажется, это был Кузьма Горбунов, я когда-то, полтора года назад, дал обещание редакторше из «Молодой гвардии» Вилковой передать книгу им. Горбунов резонно заметил: «Это молодежное издательство. Они все равно вас издадут». — «Нет, я обещал им первое издание. Не могу их обмануть». Горбунов отпустил меня с богом, издание в «Советском писателе» задержалось на несколько лет. Зато на предложение театра имени Ермоловой сделать инсценировку по «Студентам» я согласился. Мне очень понравился главный режиссер театра Андрей Михайлович Лобанов. Он прочитал повесть, как только она появилась, и сразу пригласил меня в театр.

Я сказал Твардовскому, что согласился на предложение театра. Александр Трифонович презрительно скривился.

— Зачем вам это нужно? Отдали бы на откуп каким-нибудь ловким дельцам.

Шум вокруг «Студентов» уже стал, мне кажется, Александра Трифоновича несколько раздражать. Спустя двадцать два года попробую разобраться в причинах шума. Что за время было в литературе? Лучшие книги, появившиеся в эти годы, были книги о войне: Некрасов, Панова, Казакевич, Гроссман. Небесталанной была и книга Бубеннова, первая часть. Все *не о войне* было значительно



серее, недостоверней. Читателям же хотелось книг о сегодняшней, знакомой жизни. Качество прозы вообще резко снизилось по сравнению с тридцатыми, не говоря уже о двадцатых годах. На первый план выдвинулись бездарные романы Панферова, бесцветная проза Шпанова, Первенцева. Все это была мнимая литература, за которую, однако, выдавались премии, все блага жизни. О современных писателях Запада не могло быть и речи. Их не издавали вовсе. Цвела «холодная война». В «Правде» художники Кукрыниксы изображали «Выплатной день Уолл-стрита». В очереди к кассе стояли шеренгой безобразные уродцы с портфелями: Синклер, Жид, Сартр (в дамских панталонах), Мальро, Хаксли. Подпись объясняла: «Очередь цивилизованных дикарей». Был настоящий читательский голод. Помню, каким событием оказалось появление американского романа, вполне посредственного, Айры Уолферта «Банда Тэккера». Его читала вся Москва. И, однако, жажда чтения, страсть к книгам были громадным, всеохватным увлечением — после войны, несчастий, карточной системы, после того, как книги продавали, чтоб купить хлеб. Поэтому произведения, где теплилась хоть какая-то правда, встречались с фантастическим и, казалось, необъяснимым восторгом. Дискуссии вокруг романов Ажаева «Далеко от Москвы» или «Кружилиха» Пановой собирали тысячные аудитории. А что было обсуждать? Вокруг чего дискутировать? Все там ясно, бесспорно. Этот шум, рассуждение с трибун, споры, крики были выражением страстной и истосковавшейся любви к книге.

В истории России никогда не было более благодарной читательской аудитории, чем после окончания войны.

И в повести «Студенты» была некоторая бытовая правда, были подробности, напоминавшие жизнь. И не где-то и когда-то, а жизнь сегодняшнюю, московскую. Обсуждения «Студентов» тоже собирали тысячные аудитории. В иных вузах диспуты длились по два дня. «Новый мир» в февральской книжке под рубрикой «Трибуна читателя» опубликовал подробную, на нескольких страницах стенограмму диспута в Московском пединституте. Помню,

редакция «Нового мира» встречалась с читателями московского автозавода. Поехали Твардовский, Смирнов, Тарасенков, Катаев и я. Встреча была многолюдной в клубе ЗИСа.

Первое время я боялся встреч с читателями. Меня пугала не возможная критика, а необходимость выступать самому. Выступал я плохо, мямлил, бормотал и часто разочаровывал слушателей. Встречи длились обычно три, четыре часа, и уставшая публика ждала к концу в виде отдыха и развлечения остроумную речь автора. Я не оправдывал надежд. В президиум поступали записки: «Выступление т. Трифонова нас не удовлетворило». Но постепенно я, что называется, «поднатаскался». У меня отштамповалась со временем некая модель выступления с набором анекдотов и шуток, которые действовали безотказно. И я перестал бояться встреч с читателями. Впрочем, вру. До сих пор всякая такая встреча и вообще всякое прилюдное выступление с трибуны для меня — пытка, казнь.

В клубе ЗИСа я отбарабанил «по модели» десять минут. Твардовский, наклонившись, спросил тихо:

— Ну что, может, теперь усики заведете, как Симонов?

Явное издевательство над моей «славой». Но я слишком любил Твардовского, чтобы обижаться.

— Нет, Александр Трифонович, не заведу, — пообещал я.

— А жениться не думаете?

— Нет.

— Что ж так? Это вы напрасно. — И вдруг всерьез: — А жениться надо рано. Я рано женился...

Я сказал:

— Я в Ленинград собираюсь, Александр Трифонович.

— Ну, это все равно, что жениться!

Опять мне почудилось, что надо мной издеваются. Я ему все прощал. Я считал: *он имеет право надо мной издеваться*, ибо я нахожусь в смешном положении едва испеченной знаменитости. В Ленинград я ехал по приглашению Ленинградского университета на дискуссию.

Мы разговаривали с Твардовским вполголоса в то время, как на трибуне кто-то говорил. Это был последний оратор. Когда все кончилось, спустились вниз, оделись, Твардовский спросил:

— Не хотите поехать с нами куда-нибудь посидеть за доброй чаркой?

Такое прямое приглашение в свою компанию от Твардовского я услышал впервые. За доброй чаркой мне приходилось сидеть с ним раза два, но бывало это случайно — я встречал его в баре № 4 на Пушкинской. Теперь же меня приглашали, как равного. И, конечно, я был польщен, мне страшно хотелось пойти с Твардовским и Катаевым в какое-то заманчивое «куда-нибудь». Но ведь я был нелепым молодым обормотом! Меня ждали девицы, компании, добрые чарки, и все было заранее договорено, предусмотрено — квартира находилась как раз неподалеку от клуба ЗИСа. Да, очень хотелось пойти с Твардовским и Катаевым, но, что поделать, к девицам хотелось еще сильнее. И я честно признался в этом Александру Трифоновичу. Он, кажется, не понял моей откровенности, попросался сухо. Утром я проснулся в чужой квартире, разбитый, с головной болью. Комната была перегорожена надвое. Приятели мои исчезли. На другой стороне, за шкафом, старуха мыла тарелки. И я с тоской думал о своей вчерашней глупости, но все же утешал себя: впереди долгая жизнь и я еще не раз отправлюсь с Твардовским и Катаевым «куда-нибудь».

Да, было, отправлялся, но спустя много лет, без Катаева и без *того* Твардовского, и без *того* меня. Впрочем, было-то иначе, не «где-нибудь», а по-домашнему, на веранде. То, что упущено в юности, упускается навсегда. Поэтому долгая жизнь оставляет много времени для сожалений.

Было несколько встреч в баре на Пушкинской. Александр Трифонович жил тогда рядом, на улице Горького, в бар заходил часто. А мы, бывшие студенты Литинститута, и вовсе считали бар своим домом. Всегда после стипендии — туда! Помню, пришел с Евдокимовым. Твардовский увидел меня, пригласил за столик. Это было,

наверное, в ноябре, сразу после выхода номера с окончанием «Студентов». Твардовский сидел один. Перед ним стояла водка в стакане, кружка пива и тарелка с ломтиком красной рыбы. К рыбе он за весь вечер не притронулся.

Если в редакции Александр Трифонович был со мной корректен, суховат и я не ощущал его истинного отношения, то теперь вдруг почувствовал какое-то произвольное движение теплоты, интереса к себе. Он так радушно жестом позвал меня за столик, так почтительно поздоровался с моим товарищем и так мягко, приветливо стал меня расспрашивать.

Я что-то говорил о своих планах. Планов было множество, но ничего определенного. Уже несколько недель я находился в состоянии эйфории.

— Да, вы теперь должны поднять новый пласт. Поехать куда-то на стройку, на завод... Только, бог ты мой, не пишите продолжения! — внушал он тихим голосом. — Нынче модно: первая книга, вторая книга... Чуть у кого такусенький успех, он сейчас на этом плацдарме окапывается, строит долговременную оборону. А надо дальше идти. И вот выжимают, выжимают... Не будете писать продолжения? Нет? Обещаете?

— Нет, не буду, Александр Трифонович. Точно не буду. — И не мог удержаться от хвастовства: — Хотя многие советуют...

— Дураки советуют! Не слушайте дураков! — сердито сказал он и вдруг другим тоном, как бы про себя, безучастно: — Ах, бог ты мой, дело ваше. Хотите, слушайте...

И была минута-другая какого-то внезапного ледяного отчуждения, он отсутствовал, смотрел в сторону, я мучился недоумением и не знал, что делать. Может, я ему опротивел? Встать и уйти? Но затем снова интерес, приветливость.

— Вот что я вам скажу: не спешите с новой вещью. Изучайте людей... Когда будете знать их так же хорошо, как вы знаете своего профессора Козельского...

Профессор Козельский — из моей повести, злой гений, формалист и низкопоклонник.

— И запомните еще: сейчас у вас самое ответственное время... Сейчас успех — опасность страшная! — Он грозил пальцем. И вдруг, приблизившись вплотную, зашептал на ухо, чтоб не услышал Евдокимов: — Мы вас на премию хотим выдвинуть. Только пока молчать! Ни я никому, ни вы никому. Ничего не известно, и, разумеется, я вам зря говорю... Забудьте, не придавайте значения...

Но как я мог забыть? И Евдокимов, сидевший рядом и, конечно, слышавший громкий шепот, при всем желании не мог бы забыть.

— Испытание успехом — дело не шуточное. У многих темечко не выдержало...

Это выражение — относительно темечка — я слышал от Александра Трифоновича не раз на протяжении лет. Говорилось о разных лицах, об авторах первого прихода Александра Трифоновича в «Новый мир» и об авторах второго прихода, когда в журнале получили литературное крещение многие таланты, и у иных «темечко не выдерживало».

Помню, тот вечер в баре закончился нелепой историей. Какой-то человек за соседним столиком — был уже поздний час, мы засиделись до полночи — вдруг заговорил, обращаясь к Александру Трифоновичу:

— Вы Твардовский? Автор «Василия Теркина»? Зачем же вы ходите в низкопробные, последние кабаки? — Человек говорил ровным, негромким голосом. То ли это был идиот, то ли особого сорта нахал. — И вам не стыдно? Сидите с кем попало, пьете водку... Разве Пушкин так проводил свободное время? А Лермонтов?

Александр Трифонович слушал с каким-то скорбным, терпеливым вниманием и кивал, кивал. Мы с Евдокимовым, уже в сильном подпитии, подскочили к человеку, грубо его оборвали. Кричали, что он, кабацкая шваль, не имеет права так разговаривать с великим поэтом. Хватали его за руки. Нам хотелось подраться. Человек был невзрачен, в пожилом возрасте, драться ему было ни к чему, и он, слабо сопротивляясь, вырывал свои руки из наших, продолжая восклицать:

— С Есенина пример не берите! Есенин не образец!.. Почему вы не берете пример с Пушкина?..

Но каким-то людям из-за соседнего столика хотелось подраться и они вступились за этого человека. Началась ссора, толчки, подбежал официант. Александр Трифонович, не замечая всего этого и даже не глядя в нашу сторону, сидел один за столиком и, обняв ладонью лоб, по-прежнему скорбно, отрешенно кивал, кивал. Потом я провожал Александра Трифоновича домой — через Пушкинскую площадь в новый дом предвоенной постройки, где жила элита. Я дошел только до прихожей. Квартирка показалась мне небольшой. Александру Трифоновичу было в ней тесно. Он знакомил меня с женой, приговаривая настойчиво: «Маша, ведь ты читала?.. Ты же читала, Маша?..» Мария Илларионовна, маленькая озабоченная женщина, ни подтверждала, ни отрицала — ей было не до того. Она лишь шепнула: «Спасибо вам», — и я исчез.

Другой раз там же, в баре. Опять случайная встреча. Твардовский сидел с каким-то писателем, познакомил меня. Был январь. Писателя, сидевшего с Твардовским, не помню. Помню только, что Александр Трифонович говорил ему «ты» и держался с ним по-простому, но немного свысока. Чем больше Александр Трифонович меня хвалил — а делал он это с преувеличенным напором, как бы нарочно, — тем более холодно, а потом уж вовсе с ненавистью глядел на меня писатель. Наконец попрощался сквозь зубы и ушел.

Александр Трифонович смеялся.

— Парень недурной, но уж больно завистник злой. Я его в шутку заводил. Вы всерьез мои слова не принимайте. Повестушку вы написали свеженькую, но не бог весть что...

Мы остались вдвоем. Не помню уж, как зашел разговор — я рассказал о судьбе отца и матери. Он слушал без особого интереса и так, будто все это ведомо, слышано. Не спрашивал: «А с кем же вы остались? А есть ли какие сведения?» — что спрашивают обыкновенно, проявляя любопытство, ему все было понятно разом. А подробности не интересовали. Он заговорил о своем отце.

И тут я впервые понял, что то, что случилось с его отцом и что случилось с моим, — части единого целого российской трагедии. Это связано, слитно, это по какому-то высшему счету *одно и то же*.

Он говорил, как отец прощался, как его увозили...

И в голосе была открытая боль, что меня поразило, ведь он и старше меня, и разлука с отцом произошла давно, двадцать лет назад, а у меня тринадцать лет назад, но я думал об отце гораздо спокойней. Боли не было, засохла и очерствела рана. А он плакал.

— Наделали дел, бог ты мой! Старика, который всю жизнь трудился, — шептал еле слышно. — Помню его руки, рабочие, на столе — в мослах, мозолях...

О чем он плакал? О безвозвратном детстве? О судьбе старика, которого любил? Или о своей собственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талантливых стихах воспел то самое, что сгубило отца. Он плакал, не замечая меня, наверно, и забыл, что сижу рядом. А я подумал: мы оба дети репрессированных. И пусть он наверху, на Олимпе, а я внизу, в жалкоте, в коммунальной гуще, но некая печать отверженности лежит на нас обоих. От этого вовсе не было горько, наоборот — было как-то покойно, тепло.

На другой день зачем-то пришел в «Новый мир», сидел в зальчике, разговаривал с Зинаидой Николаевной. Было начало дня. Вошел Твардовский в шубе, суровый, насупленный. Зинаиде Николаевне процедил «Добрый день», мимо меня прошел, как мимо стула, поглядел в упор, не видя. Я пробормотал «Здрате», да так и остался с разинутым ртом. Зинаида Николаевна шептала, гримасничая своим старым, нелепо покрашенным, очкастым лицом: «Не обращайтесь внимания. Плохое настроение». Ну зачем мне понадобилось после прекрасного вечера лезть ему на глаза в «Новом мире»? Все это что-то напоминало. Я не сразу догадался — чаплинский миллионер! Потом привык к таким историям и почему-то не обижался. Лишь однажды обиделся. Но об этом речь позже.

Весною, кажется, в апреле, в Москве собрали Второе совещание молодых писателей. На Первом совещании, в 1947 году я был в семинаре у Валерии Герасимовой и подвергся убойной критике за два рассказа. Теперь попал в семинар к Гроссману. Как раз во время совещания в «Правде» появилось сообщение о премиях. За повесть «Студенты» — третья премия.

Тогда они давались пачками, чуть ли не по тридцать, сорок штук в год. Вместе со мной третьей премии получили Антонов, Караваева, Шагинян, Стельмах, Закруткин, Кассиль и еще человек шесть, вторые — Рыбаков, Бабаевский, Ибрагимов, еще кто-то, а первые — Гладков и Николаева.

Бурный расцвет литературы. Что же осталось сегодня из этого книжного Вавилона? Что можно читать? Ничего, пожалуй. Может, какой-нибудь рассказик с деревенскими пейзажами, да и то скука. Все ухнуло в колодец, дна не имеющий, который называется: забвение.

Но тогда, в апреле, ярким днем... Никому не ведомый, мальчишка, двадцать пять лет, едва выскочил на страницы журнала, даже *книги нет и не член Союза* — и вдруг лауреат! Факт ошеломительный, невыносимый. Ведь для большинства, для сотен бедных творцов за последние годы единственной целью и страстной грезой жизни стала не книга, не творение, а таинственная благодать — лауреатство. Это была земля обетованная, берег с райскими кущами, куда надо доплыть, и они плыли, гребли, махали руками, выбивались из сил. Правда, достичь берега удавалось многим, но все же не всем. Все это я понял гораздо позже. А тогда влетел в литературу, как дурак с мороза.

Помню, день объявления премий меня, конечно, обрадовал, но не то, чтобы потряс или ошастливил. Я принял известие довольно спокойно. К десяти утра, к началу занятий в семинаре Гроссмана, поехал в ЦК комсомола, к Ильинским воротам, где происходило совещание. В вестибюле меня встретил литинститутский приятель Медников, который глядел на меня минуту-другую с изумлением и потом спросил:

— Старик, ты газету читал сегодня?



— Читал. Насчет премий?

— А я думал, не знаешь! Старик, но по тебе совершенно ничего не видно!

И я замечал в тот день, что многие мои приятели потрясены этой новостью гораздо сильнее, чем я. В лифте ехал на третий этаж с Медниковым, еще с какими-то ребятами из семинара, меня поздравляли, шутили, балагурили, только один человек не поздравил, не проронил ни слова, и я поймал на секунду злобно-черный, я бы сказал, *испепеляющий* взгляд. Это был один из руководителей нашего семинара, писатель Анатолий Калинин. «Ого! — подумал я. — Мы ведь почти не знакомы. За что ж он этак-то люто?»

Мне вспоминаются мелочи, чепуха, неуловимое, даже не поступки, не слова, просто взгляды. Но что делать, если взгляды запомнились. На этом совещании из меня, кажется, намеревались делать *фигуру*. Еще бы, участник совещания, комсомолец и уже лауреат! Я открывал прения. От меня ждали восклицаний, благодарностей, клятв. Я разочаровал, мямлил о чем-то несущественном. Вождь комсомола Михайлов в своей речи меня поправил и несколько осадил.

Но настоящая «осада» началась недели через три. Как гром среди ясного неба — исключение из комсомола за то, что я скрыл, что являюсь сыном врага народа. Начался новый пароксизм шумихи вокруг «Студентов», на этот раз скандал. Теперь уж я стал действительно *знаменитостью* или, говоря словами Слуцкого, «широко известен в узких кругах». Лауреат, которого следовало исключить. Ах, вот была жалость для руководителей Союза, что не успели меня принять в члены и теперь были лишены сладости исключать! Впрочем, некоторую сладость все-таки испытали, вопрос обсуждался на секретариате. Кажется, особенно свирепствовали Бубеннов, Соболев, Панферов и Шагинян. Она требовала чуть ли ни отобрать у меня премию. Были бы рады это сделать, но страх перед именем — премии-то *сталинские* — леденил руки. Эту историю я, может, расскажу когда-нибудь подробнее. Я ведь прошел все круги комсомольского исключения: собрание

в Литинституте, где я состоял на учете, райком и горком. Дело завершилось строгим выговором с предупреждением. Оставили жить. Но райские кущи отодвинулись: договора на переиздания на меня, как на других лауреатов, не сыпались, а единственное договорное издание «Молодой гвардии» застряло и вышло лишь через год.

Кто же подставил плечо той нелепой весной, когда на меня, сбивая с ног, обрушилось почти одновременно два ливня: горячий и ледяной? Только друзья. Но они были молоды, слабосильны, не имели ни авторитета, ни связей. Из писателей — Гроссман. Он один выступил на секретариате в мою защиту.

Я прерываю писание, потому что пришел молодой человек, начинающий писатель. Ему тридцать лет, он работает в газете, пишет рассказы, повести. Он по-настоящему талантлив. Был болен, подвергся тяжелой операции и написал об этом повесть: «Операция». Его стилистика — от Платонова, Зощенко. Поговорив о его вещах, я решаюсь на эксперимент: читаю ему полный список лауреатов пятидесятого года, двадцать четыре человека. Кого он знает? Кто *остался* для него как писатель? Имена слышал, но почти никого не читал или же читал и забыл. Кажется, когда-то в начальных классах читал «Чайку» Бирюкова. А про «Студентов» даже не слышал. Он знает меня только по новомирским вещам. Все нравится, особенно «Предварительные итоги». Я показываю ему на полку, набитую «Студентами» на разных языках. Он глядит с недоумением и пожимает плечами.

Так вот, возвращаюсь на двадцать два года назад. Рассказывали, что на заседании Комитета по премиям, когда обсуждалась моя кандидатура, кто-то сказал: «Он сын врага народа». Не помню уж кто, то ли Бубеннов, то ли кто другой из этой компании. Была минута ужаса. Сталин присутствовал, и было сказано для его ушей. Но он спросил: «А книга хорошая?» В самом вопросе уже содержался намек на ответ, и Федин нашел мужество сказать: «Хорошая». Повесть была выдвинута на вторую

премию, ей дали третью. Может быть, Сталин вспомнил отца, которого хорошо знал еще по Юго-Восточному фронту. Или вспомнил дядю Евгения, которого тоже знал и недолюбливал с царицынских времен? Это была любимая игра: дети целуют руки, обогранные кровью их отцов.

Итак, заступились Гроссман, Федин. Впрочем, Федин еще до того, как разыгралась свистопляска с моим исключением. Был еще один писатель, Ажаев, который сдержанно сочувствовал мне в тяжелую минуту. Он возглавлял Комиссию по работе с молодыми. Кстати, ем-то я признался перед тем, как заполнять анкету для премии, и спрашивал совета: писать правду про отца или нет? Ажаева я знал мало. Но мне казалось: свой брат, пострадавший, поймет и даст ответ. Он сказал: «Напишите. Они все равно знают». Я написал. Меня колотили за прежнее: за то, что скрыл при вступлении в комсомол и при поступлении в институт. Твардовский и редакция «Нового мира» держались нейтрально. Я к ним не заходил, они меня не искали. В день объявления премии я получил телеграмму от Твардовского, а затем наступило молчание.

Я задумывался: не оскорбил ли я Твардовского и «Новый мир» тем, что вокруг меня заварилась такая каша? Ведь им было бы гораздо спокойней, если бы ничего этого со мной не случилось. Они меня напечатали, выдвинули, хлопотали о премии. А я вместо благодарности устроил им такую неприятность. Ведь им же неприятно. Печатают, а кого, не знают. Замаскировался, вполз в доверие. Был даже такой слух: фамилия моя вовсе не Трифонов, я взял псевдоним, чтобы подмазаться к Александру Трифоновичу. Вот интересно: почему молодой писатель, еще не имевший врагов, не принадлежавший ни к какой группе, *совершенно никому неведомый*, оказался в изоляции и никто, кроме Гроссмана, не осмелился сказать доброго слова в его защиту? Ну, еще Ажаев сочувствовал. У других же обычное для нашей братии равнодушие, и ревность к успеху, и презрительное отношение к этому успеху. Но главное в ином. Это было время страшных слов.

От этих слов люди шарахались. Подальше, подальше! «Сын врага народа!» — от такого словосочетания подсакивало давление, повышался сахар в крови и мог случиться коллапс. Люди берегли себя, вот и все.

Через год, весной пятьдесят второго, когда положение мое несколько упрочилось и определилось — а то было неясно, то ли я лауреат, то ли сын врага народа, едва не исключенный из комсомола — и в «Молодой гвардии» вышла наконец книга, я пришел в «Новый мир» просить командировку. Хотелось уехать подальше. Увидеть жизнь, не похожую на ту, о которой я писал прежде. Попросил командировку в Среднюю Азию, на стройку Туркменского канала. Александр Трифонович одобрил. В апреле я улетел на юг.

Мотался по Каракумам на вездеходах, на верблюдах, в маленьких самолетах, знакомился, узнавал, записывал. В Черкесской экспедиции, стоявшей штабом в Казанджике, но с отрядами, разбросанными по всей пустыне, работала геоботаником сестра Таня, только что окончившая МГУ. Она помогла проникнуть в некоторые секреты полевой, изыскательской жизни. Я начал писать повесть об изыскателях на трассе канала. Писал осень, зиму — работа шла туго, материал был далек, необжит, необмят. Да и где было обжить и обмять за месяц галопа по пустыне. А я привык писать лишь о том, что знаю досконально. Дело стопорилось. Отвлекали великие пустяки жизни. Мне казалось, что я разучился писать. Но все же треть повести, страниц сто двадцать, была написана к марту пятьдесят третьего, когда умер Сталин. Я собирался весной снова поехать в Туркмению. Внезапно пришло известие: стройку Туркменского канала законсервировали как нерентабельную. После смерти Сталина многие «великие стройки» были в одночасье закрыты. Таня, приехав, рассказывала: все обрезалось враз, некоторые отряды, застрявшие в песках, не могли выбраться без транспорта и без денег.

Моя повесть застряла, как эти отряды в песках. Но без надежды выбраться. Кому нужна книга о стройке, которую закрыли? Ничего не писалось. Все бесконечно

разговаривали. Писать по-старому было неинтересно, писать по-новому еще боялись, не умели и не знали, куда все это повернется. Говорили, что Твардовский плакал в президиуме в Доме кино на траурном собрании по поводу смерти Сталина. И слезы были, конечно, искренние. Таковую же искреннюю скорбь я наблюдал в собственной семье. Мать, прошедшая карагандинские и акмолинские лагеря, боялась, что будет хуже. Бабушка горевала от души. Она знала Сталина с 1912 года, когда он жил в ее квартире на Васильевском острове в Петербурге, знала по Секретариату ЦК, где семнадцать лет, с двадцатого по тридцать седьмой, работала дежурным секретарем у Стасовой. Бабушка не пострадала. Но вся ее семья — сын, дочь, зять — попала под колеса тридцать седьмого. Зять, мой отец, расстрелян. Расстреляны почти все друзья. И, однако, книжечка главного палача «О Ленине и ленинизме» (первое издание, 1924 год) с надписью «Дор. товарищу Словатинской на память о совместной работе в нелегальное время. От автора» стояла на почетном месте в шкафу. В тот мартовский вечер, когда сотни людей погибли под сапогами толпы — а я с двумя приятелями ходил по Сретенскому бульвару, чему-то неясно радуясь, наверное, запаху перелома, который чуялся в воздухе, и рядом, стиснутое оградой и домами, медленно ползло вниз, к Трубной, это темное, шаркающее, глухо стонущее, объятые горем, ужасом, любопытством, болью и бессмысленным бараньим одушевлением, еще не ведающее своей судьбы, бедное человеческое стадо, — в тот вечер бабушка трижды прошла в Колонном зале мимо гроба со Сталиным. Как старого члена партии, ее проводили какими-то безопасными подземными ходами.

Близкие мне люди — один человек, меня воспитавший, другой, давший мне дорогу в литературу — плакали над этим гробом. Бабушка умерла через четыре года и вряд ли успела понять умом и душой то, что произошло. Твардовский прожил еще немалую и главную свою жизнь. Ах, боже мой, малую, мучительно малую, беспощадно малую прожил он жизнь!

Но за это время он во многом безоглядно переменился. Он не переменял положения своего тела, своих рук и ног — как делают многие, как делают большинство, кого тянет и переворачивает время, как бывает с камнями или бревнами, которые тащит и переворачивает поток, — он переменялся сутью, естеством.

Однажды на Пахре я говорил ему о фильме, кажется, Бондарева, где о Сталине было сказано что-то хитро-мудро-хвалебное. Тогда было в новинку, и все обратили внимание.

— Как же можно сейчас хвалить Сталина? — сказал Александр Трифонович с искренним изумлением.

Теперь — после того, как узнали, что пережили, чем перестрадали. Теперь ему казалось невыносимо. А ведь и он писал когда-то: «Черты портрета дорогого...»

В пятьдесят четвертом я написал пьесу о художниках для театра Ермоловой. Ее поставил Андрей Михайлович Лобанов. «Советская культура» напечатала разносный подвал. Пьеса, конечно, была жидкая. Но в спектакле кое-что удалось, били меня, по-моему, чрезмерно ретиво и вусмерть. Я сунулся в театральные дебри, где хозяйничала мафия, и получил по сусалам. Вспоминаю этот эпизод, потому что с пьесой была связана еще одна попытка — последняя в «первый приход» Александра Трифоновича — напечататься в «Новом мире». Вдруг позвонил Смирнов и попросил немедленно прислать экземпляр пьесы. Выпал из номера какой-то материал, срочно искали замену. Я не верил, что пьеса пройдет в журнале, все-таки чувствовал ее слабинку. А вот мужества отказаться, не послать — не нашлось! Послал. Через два дня вернули. Мне было стыдно перед Александром Трифоновичем.

И потом в том же пятьдесят четвертом я пришел в журнал с просьбой о договоре на новый роман. Признаться, надеялся получить аванс, так как сидел без денег. Дело обыкновенное. Премия давно растаяла, деньги за молодогвардейскую книгу пролетели, а заграничные издания, которые на меня посыпались, не приносили ни копейки. Я был нищ, у меня не было квартиры, автомобиль, купленный сгоряча в пятьдесят первом году, мы продали.

Просьба о договоре окончилась ужасным и незабываемым конфузом.

Так как эта история наложила отпечаток на дальнейшие несколько лет моих отношений с Александром Трифоновичем, я расскажу о ней подробнее. Вообще-то в просьбе о договоре не было ничего зазорного или дурного. Все писатели живут от аванса до аванса. Но в моем случае был ряд причин, которые делали эту просьбу рискованной. Я должен был почувствовать, что отношение Александра Трифоновича ко мне за последние года два заметно охладело. Я, может, и чувствовал кое-что, но не придавал значения и не задумывался. Ну что ж, не зовут в журнал, не приглашают на встречи с читателями, не предлагают командировок, а когда встречал вдруг Александра Трифоновича в Доме литераторов, он кивнет сдержанно и пройдет, как проходят мимо постороннего и мало знакомого человека: естественно, полагал я, ведь я ничего не пишу и интерес пропал. Я сам виноват. Помню, шел как-то с Ниной, увидел Александра Трифоновича, шепнул: «Вон Твардовский! Сейчас я вас познакомлю!» — бросился к нему, волнуясь, бормотал что-то, он холодно поклонился и, ни слова не сказав, прошел дальше. Тут была не просто утрата интереса, тут было уже нечто другое: *неприязнь*. Нина была поражена, ведь я ей столько рассказывал о Твардовском. «А он тебя не любит!» Я этого не понимал, ибо не понимал главного: за что бы он мог меня не любить? Пускай я бездарность, не напишу больше ни строчки, но зачем же *не любить*, окатывать таким ледяным холодом? Впрочем, Александр Трифонович — человек особенный. Он относится к литературе очень страстно, лично.

Я вспомнил, как в другие времена, когда он еще меня любил, он говорил, что литературу надо любить ревниво, пристрастно. «Мы в юности литературные споры решали как? Помню, в Смоленске в газете затеялся какой-то спор о Льве Толстом, один говорит: «А, Толстой — дерьмо!» — «Что, Толстой дерьмо?» — не думавши, разворачиваюсь и по зубам. Получай за такие слова! Он с лестницы кувырком...»

Вот я и думал, что перемена отношения Александра Трифоновича ко мне — оттого, что я творчески скис. Ни черта ведь не получалось, не писалось. Оно так и было, конечно. Но было и другое. Позднее, когда я узнал Александра Трифоновича ближе, я понял, какой это затейливый характер, как он наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни, ясновельможного гонора и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях. Были какие-то разговоры, какие-то сплетни, слухи. Ведь наша среда в этом смысле окаянная. Об этих наговорах и сплетнях впервые услышал от Леши Фатьянова, с которым иногда схлестывались то в «Коктейль-холле», то в ВТО у «Бороды», а Леша был соседом Александра Трифоновича по его новому дому на Фрунзенской набережной. Леша каждый раз сообщал неприятное: «Твардовский по твоему адресу бурчит», «Твардовский покривился, когда я сказал о тебе». А однажды передал такое: кто-то Твардовскому сказал, что на какой-то литературной встрече я отозвался о нем будто бы неуважительно. Это уж был вовсе бред. Я заорал: «Кто сказал? На какой встрече?» Леша пожимал плечами. Подробности неизвестны. За что купил, за то продал. Но, кажется, испытывал удовольствие. Мне советовали пойти к Твардовскому и попробовать объясниться. Я не решался. Казалось глупым: зачем напоминать о своей персоне? В конце концов, для меня одного это важно и болезненно, даже более чем болезненно — перемена Твардовского меня глубоко ранила, в чем я никому не признавался, — для него же, может быть, все это пустяки, несущественность. Забыл и забыл. А приходится, напоминать, «размазывать» — вроде чеховского чиновника, который чихнул на лысину генерала и все пытался потом *объясниться*.

Таковы были мои отношения с Твардовским к тому дню, когда я отправился насчет договора. Вернее, отношений не было, были лишь смутные переживания по поводу их отсутствия и надежда как-то дело поправить. Между тем Александру Трифоновичу было вовсе не до меня в эти дни. Журнал подвергался критике. Именно



в пятьдесят четвертом году в «Новом мире» появились приметы той литературы, которая составила ему славу в шестидесятые годы, и критика это учуяла — началась пальба. Били статью Федора Абрамова «О деревенской прозе», били — и жестоко — статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Забот и тревог у Александра Трифоновича хватало.

Сначала я поговорил со Смирновым в его маленьком кабинетике, потом Смирнов, ничего не решив, предложил зайти к главному редактору. В кабинете кроме Твардовского были Тарасенков и Сутоцкий.

Твардовский церемонно со мной поздоровался. Я стал объяснять: есть замысел романа, современного, действие происходит в Москве, хотелось бы договор, если это возможно. Александр Трифонович слушал, затягиваясь папиросой и глядя на меня пристально и сощурившись. Не дав мне договорить, он усмехнулся и сказал, обращаясь к присутствующим:

— Роман написать! Да сейчас Шолохов не может романа написать, а вы говорите! Присутствующие одобрительно закивали.

— Какой роман? О чем? Что за идея? — продолжал он с напором. — То, что вы рассказали, весьма туманно и, простите меня, неубедительно. У нас нет возможности рисковать договором. Ведь вы же куда-то ездили, что-то собирались делать. Совсем не то, о чем рассказываете сейчас.

Я объяснил про Туркменский канал, про закрытие, про свою брошенную повесть. Александр Трифонович, внимательно выслушав, вдруг сказал резко:

— Вот о чем надо писать. Об этом и пишите: как планировали, кинули миллионы, вдруг закрыли...

— Вы такую повесть напечатаете?

— Да вы напишите сначала! — крикнул он раздраженно.

Я молчал, понимая, что всякое возражение бессмысленно. Попал в дурную минуту. Члены коллегии тоже молчали — для них это было вроде спектакля. Твардовский не спешил меня отпускать. Он стал говорить о том, что все хотят писать романы, диологии, трилогии, эпопеи, а не могут путем написать рассказ. И мне предлагал:

«Начните с рассказа. Попробуйте написать рассказ на десять страниц и приносите». И это *начните* говорилось редактором, который недавно — хотя какое недавно? Четыре года прошло! — напечатал мою книгу в двадцать с лишним листов. Значит, ее как бы и нет? Как бы и не существовало? В то время я не мог с этим согласиться. Показалось, что меня намеренно обижают. Впрочем, так оно и было. Мало того, что отказали в договоре, но еще и отняли то, что было: *мое блистательное начало*. Как говорили некоторые. А я, дурак, верил.

Оторопевший от такого афронта, я все же пытался защитить свою честь.

— У вас, по-моему, не так-то много молодых писателей... — глупо пробормотал я.

Эта фраза, в которой слышался своего рода укор, окончательно взорвала Твардовского. Злорадно фыркнув, он сказал:

— Знаете, у нас в деревне говорили: к одному мужику пришел сын, просил денег. Тятя, говорит, ты своему дитю должен помочь! А сам вот этой штукой стучит по столу...

Члены редколлегии покатались со смеху.

Я попрощался и ушел. Смирнов догнал меня в зальчике, где Зинаида Николаевна остолбенело таранилась на меня: как видно, я был заметно не в себе. Смирнов счел нужным подбить итог:

— Понимаете, Юрий Валентинович, есть элемент недоверия...

Чего же не понимать? Я понимал. Не понимал одного: зачем этот элемент надо проявлять с таким охотничьим азартом? И я решил никогда больше не переступать порога «Нового мира».

## II

Спустя двенадцать лет я опять напечатался в журнале Александра Трифоновича. А что до того? Время текло, ломалось, падало белой стеной и разбивалось с грохотом: водопадное времечко! И мы неслись в его пене,

вертелись в водоворотах, ныряли, тонули, выскакивали на свет божий с безумной надеждой в глазах. А насчет писания дело у меня не очень клеилось. Я мотался в Туркмению едва ли не каждый год. В пятьдесят восьмом сочинил несколько туркменских рассказов, и очень захотелось понести их Александру Трифоновичу, который как раз тогда опять возглавил журнал. Обида помнилась мне, но слабо.

Кого только не обижали в те годы! И самого Александра Трифоновича: сняли с редакторства, четыре года он был как бы проштрафившийся.

Но все же прийти прямо к Александру Трифоновичу я не решался. Принес рассказы в отдел, Заксу. Тот быстро прочел и отверг. Приговор был лаконичный: «Какие-то общечеловеческие темы!» До Твардовского мои сочинения не дошли. Эти рассказы — их было штук десять, я относился к ним всерьез и считал в некотором смысле своим достижением — я показал Тамаре Григорьевне Габбе. Тамара Григорьевна жила в новой квартире, у «Аэропорта». Мы не виделись долго, но я вновь ощутил тепло, интерес к себе. Ничего особенного, но как это было дорого, непривычно! Рассказы Тамаре Григорьевне понравились. «Не огорчайтесь отказом Закса. Я попробую через Самуила Яковлевича сделать так, чтобы их прочитал Твардовский».

Через некоторое время Тамара Григорьевна смущенно сообщила, что Маршак говорил с Твардовским обо мне и тот сказал: «Закс мой работник, я ему доверяю». И не стал рассказов читать. В 1959 году они вышли в «Знамени». С этого времени примерно на шестилетие я стал автором «Знамени». С Александром Трифоновичем почти не виделся. Была встреча на похоронах Тамары Григорьевны Габбе в шестидесятом году, и опять я невольно сделал так, что восстановил Александра Трифоновича против себя. *Еще более восстановил!*

Тамара Григорьевна умерла еще не старой женщиной, пятидесяти семи лет. Близких людей, кроме Маршака, у нее не было. Александр Трифонович очень сочувствовал горю старшего друга. Был звонок из Союза писателей:

от имени Твардовского меня просили выступить на траурном митинге. Я сказал, что не смогу, не умею. Это была истинная правда. С трудом и то в силу величайшей необходимости я выступал на собраниях, а на траурном митинге, где каждое слово должно быть значительно, я не смог бы выговорить двух фраз, бормотал бы постыдно.

Прошло много лет с тех пор, я многих похоронил, научился тупо стоять в карауле, притерпелся к скорбному обиходу, к повязкам, цветам, выносу, вносу, тихим разговорам и на собраниях выступаю довольно связно, но заговорить над гробом — а ведь есть что сказать! — и теперь не хватает духу. Это только кажется, будто *есть что сказать*. Нету слов для этого. Не существует...

Встретились с Александром Трифоновичем в тесной, набитой людьми квартире Тамары Григорьевны, вместе несли гроб с третьего этажа, и Александр Трифонович глядел на меня не то что неодобрительно, а как бы с изумлением: и как же ты мог? Да, да, мог, вернее, не мог. Постепенно, я чувствовал, у Александра Трифоновича возникало отчетливое представление обо мне — весьма далекое от того, что я есть на самом деле. Но ничего поделать было нельзя. Я надеялся на время: что-нибудь сочиню совсем не так, как сочинял прежде, меня напечатают, тогда поговорю, объясню, докажу. Хотя что, собственно, надо было доказывать? Все это пустое, недоказуемое. Иногда мне мерещилось, будто моя безответная приверженность к Александру Трифоновичу, скрытно мучающая, какое-то неизжитое мальчишество, незрелость души. Да черт бы меня взял! Какой-никакой, я все же самостоятельный писатель, и находились люди, правда, не так-то много, которые считали меня хорошим писателем, а мои родные считали меня даже очень хорошим писателем, но, едва завидев Твардовского, я краснел и покрывался потом, как мальчишка, встретивший вдруг на улице своего любимого спортсмена. Впрочем, тут не было странного — я был не одинок. Наступали годы, когда имя Твардовского приобретало все больше приверженцев, болельщиков, прямо-таки фанатических поклонников среди читающей России. А затем

очень скоро, с непостижимой быстротой это имя сделалось легендарным.

В конце шестьдесят второго года, когда я закончил роман «Утоление жажды» и Кожевников вдруг отказался его печатать — а я писал роман по договору со «Знаменем», — из «Нового мира» прилетело предложение показать роман. Предложение от Евгения Герасимова, который заведовал отделом прозы. «Покажите! А вдруг?» Я показал. Через день Герасимов позвонил с отказом. Не понимал тогда, не понимаю теперь, как можно за день прочитать роман в двадцать печатных листов.

Скорее всего, тут подействовало то, возникшее с годами отчетливое представление обо мне и о том, *что я могу написать*. Александр Трифонович мог и не знать, что Герасимов звонил насчет романа, а узнав, покривился. Роман вышел в «Знамени», а «Новый мир» отозвался кислосладкой рецензией Феликса Светова. Я был уязвлен, счел рецензию несправедливой и со Световым перестал здороваться. Господи, какая глупость! Сейчас мне плевать на все, что обо мне пишут. Лишь бы не убивали, конечно. Я несколько не уязвляюсь самыми злобными статьями (такие появились именно сейчас, что там кислятина Феликса!) и не шибко радуюсь похвалам. Все это элементарно, но до такой элементарности надо доползти, докарабкаться — должны пройти годы. Со Световым мы сейчас хорошие приятели и нас ничто не разделяет. Кроме единственного: той проклятой рецензии, на которую я давно наплевал.

В 1964 году мы с Александром Трифоновичем оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. Александр Трифонович купил дом недавно умершего Дыховичного, я почти одновременно приобрел недостроенную дачу Слободского. Участки находились рядом и соединялись калиткой — соавторы, как видно, часто бегали друг к другу. Первое время соседство с Александром Трифоновичем никак не отражалось на наших отношениях, по-прежнему далековатых. А. Т. заколотил калитку. Мы встречались изредка, здоровались через забор. По утрам

Александр Трифонович возился в саду, трещал сучьями, жег костер или рубил дровишки на маленьком рабочем дворе за своей временкой, как раз возле угла нашего общего забора. Часов в шесть утра я слышал кашель Александра Трифоновича, знал, что он уже встал, возится с сучьями, и тоже вставал и выходил в сад. Я делал гимнастику, приседал и махал руками в еще сыром и темном саду, приближаясь к тому углу забора, неподалеку от которого работал Александр Трифонович. Какой у меня сад! Лес, высокая трава, ели, березы, осина.... Приблизившись к забору, я говорил в ту сторону, откуда раздавался треск сучьев: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» Иногда мы разговаривали о садовых делах. Александр Трифонович советовал разредить лес, вырубить молодняк, в особенности осину.

Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин. Александр Трифонович это сообразил и перестал давать мне советы — не в коня корм. Он только говорил иногда с оттенком удивления о том, какой отличный сельский хозяин Григорий Яковлевич Бакланов, живший в нашем поселке.

В то лето, первое на Пахре, нам все там очень нравилось: лес, воздух, дорога на речку, речка, магазинчики, молочница на велосипеде. Единственное, что отравляло жизнь, — радио. Звуки радио доносились с участка Александра Трифоновича. В тихом воздухе радиоголоса и музыка были казною. Я мучился много дней, не мог работать. Обратиться к Александру Трифоновичу и попросить его сделать радио потише представлялось мне бестактностью. Наконец не вынес и как-то утром, когда запело радио и одновременно стал слышен знакомый треск сучьев, подошел к углу забора, поздоровался и спросил:

— Александр Трифонович, это не у вас радио поет?

— Нет, — сказал Александр Трифонович, кажется, даже растерявшись от моего вопроса. — У нас радио никогда не поет. Мы его вообще не заводим.

Оказалось, радио пело на участке, находившемся за участком Александра Трифоновича. Ему оно мешало еще больше, чем мне. Почему же не попросить людей?

Он пожимал плечами.

— Как попросишь? Мы незнакомы. И неловко как-то — взрослые люди... Такова была его деликатность. Может, на дне этой деликатности, в глубине самой находилось нечто иное, например, гордыня. Ведь надо же *попросить!* А это непросто. Дело кончилось тем, что я обратился к приятелю, тоже нашему соседу, Юзику Дику, а тому никакой черт не страшен и никакая просьба не в тягость, он поговорил с теми людьми, радио заткнулось.

Зимой шестьдесят пятого я на Пахре не жил, только недели две в январе. Александр Трифонович жил на даче круглый год. Житье там ему, по-видимому, очень нравилось. Время было шумное, журнал Александра Трифоновича набирал высоту и силу. Верней сказать, высоту он набрал года два назад, когда появился Солженицын, а теперь старался держаться на уровне, что было трудно. Во всех смыслах. Авторы, которые считались истинно новомирскими и еще недавно там густо печатались, теперь уже не выдерживали критерия — планка поднялась высоко. Не столько в смысле *о чем*, сколько — *как*. Всякого рода «остроту» в журнал тащили все, но отбор прозы становился строже. Я ничего не давал в «Новый мир», было несколько рассказов, но дать их не решался. Было известно, что в отделе прозы сидит необыкновенно требовательный редактор Анна Самойловна Берзер, или, как ее называли все, даже не-близко знавшие, Ася Берзер, и вот «пройти» через эту Асю страшно трудно. Так говорили мои знакомые, печатавшиеся в «Знамени» и в других журналах, но получившие отказы в «Новом мире». Много было обиженных, уязвленных, раздраженных против журнала и его редактора за эти отказы, говорилось о групповщине, чванстве, дурном вкусе, об отсутствии широты, но в этих разговорах звучал писк лисицы по поводу винограда — на самом-то деле все литераторы, хоть чуть себя уважавшие, стремились стать авторами журнала Твардовского. То было всеобщее писательское вожделение. Не обошло оно и меня.

Но, боже мой, как не хотелось получать по мордасам! Ведь мы солидные авторы, нас хвалит печать, издают в «Роман-газете». А журнал Твардовского, как говорили

сведущие люди, ко всем относится одинаково: к секретарям, к маститым, к начинающим, к неведомым авторам из самотека. И больше того: неведомые авторы из самотека даже пользуются, по слухам, некоей предпочтительностью по сравнению с маститыми. «Надо пройти Асю!» — говорили сведущие люди за столиками ЦДЛ. Ася имеет большое влияние на Дороша. Пройти Асю — значит, пройти отдел. Ну, а там все зависит, конечно, от того, как посмотрит АТэ.

«АТэ» — таково было внутрижурнальное, кодовое имя, произносимое, конечно же, за глаза, со школьным благоговением и трепетом, и люди, позволявшие себе всуе, за столиками ЦДЛ, произносить это имя, как вы причисляли себя — уже одним этим знанием кода — к *сонму близких посвященных*. Увидеть АТэ, поговорить с ним было для всех, не только для авторов, но и для сотрудников журнала делом редким и непростым.

Я же встречал АТэ возле забора, разговаривал о сжигании листьев, уборке мусора. Зимой по вечерам мы стиливались на темных обледенелых аллеях — издали были слышны его твердые шаги и стук палки. Той зимой он часто ходил один, быстро, не задерживаясь ни с кем из встречавшихся на дороге знакомых, напряженно о чем-то думая. Одинокая его фигура казалась мощной, большой, порывисто куда-то устремленной. Думал ли он о журнале, о своих друзьях и врагах или о том, что происходило в стране и в мире? Может быть, в эти минуты под стук палки и скрип снега возникали стихи? Но помню отчетливо: эта фигура, быстро шагавшая чуть обочью дороги, чтобы не мешать дачникам, гулявшим кучно, семейно, поражала необычайной сосредоточенностью.

Если мы разговаривали о чем-то, то о делах поселка, о новостях, принесенных эфиром и почтальоншей, но никогда о журнале. Я старался не задавать вопросов, которые могли показаться попыткой проникнуть в редакционные тайны. Слишком много людей хотело бы проникнуть в эти тайны.

Постепенно в разговорах обнаружилось, что мы на многое — на дачных соседей, на события и на книги,



о которых между прочим, между разговорами о жестянщике Коле, большом плуте и обманщике, и о сбрасывании снега с крыши, вдруг заходила речь — смотрим с Александром Трифоновичем одинаково. Летом мы стали встречаться и разговаривать чаще. Александр Трифонович еще не чувствовал во мне полного единомышленника, хотя я был именно таковым, привычная настороженность и какие-то старые недоразумения еще давали о себе знать, но доверие росло, правда, медленно. Был разговор о повести «Отблеск костра», Александр Трифонович впервые после долгого перерыва — лет в тринадцать, что ли? — проявил интерес к моим сочинениям. Расспрашивал об отце, Миронове, Сольце. Интерес был, но сдержанный. Мне кажется, крупным недостатком повести в глазах Александра Трифоновича было то, что она напечатана в «Знамени». Все, напечатанное в «Знамени», выпестованное «Знаменем», имевшее хоть какое-то отношение к «Знамени», встречалось Александром Трифоновичем недоверчиво. Все должно было быть с изъязцем.

В повести «Отблеск костра» изъязцы, разумеется, существовали, но не в том смысле, какой предполагался традиционным новомирским мышлением. В «Знамени» ничего не может появиться! Если же появляется, то вопреки. Между тем появлялось.

И как раз вещи того смысла, о котором горячее других хлопотал «Новый мир». Повесть «Отблеск костра» вышла своего рода сенсацией — резкий антисталинский тон в ту пору, когда уж казалось, что ничего более не дадут сказать.

Сильно антикультовской оказалась повесть Бакланова «Июнь 1941», отвергнутая «Новым миром». Александр Трифонович разнес баклановскую рукопись, Гриша был убит, понес Кожевникову, тот напечатал. Теперь Александр Трифонович, наверное, сожалел о том, что упустил баклановскую повесть. Это было время, когда журнал Твардовского с помощью новой мерки перекраивал ряды авторов. В разговорах «между Колей-жестянщиком и уборкой мусора» я слышал краткие, но довольно суровые, порой иронические, порой едкие отзывы о недавних

любимцах «Нового мира». Про одного говорилось, что «темечко не выдержало», у другого «нет языка», третий «слишком умствует, философствует, а ему этого не дано». Давно не печатались в журнале Тендряков, Бондарев, Липатов, Бакланов, зато возникли новые имена: Домбровский, Семин, Войнович, Искандер, Можаяев.

И вот об этих, пришедших в последние годы, говорилось с интересом, порою увлеченно. Если в журнале готовилась к опубликованию какая-нибудь яркая вещь, Александру Трифоновичу не терпелось поделиться радостью, даже с риском выдачи редакционной тайны.

— Вот прочтаете скоро повесть одного молодого писателя... — говорил он, загадочно понижая голос, будто нас в саду могли услышать недоброжелатели. — Отличная проза, ядовитая! Как будто все шуточками, с улыбкой, а сказано много, и злого...

И в нескольких словах пересказывался смешной сюжет искандеровского «Козлотура».

Так же в саду летом я впервые услышал о можаяевском Кузькине. Об этой вещи Александр Трифонович говорил любовно и с тревогой. «Сатира первостатейная! Давно у нас такого не было. И не упомню, было ли когда...» А тревога оттого, что вещь еще не прошла цензуру, и Александр Трифонович беспокоился на сей счет.

— Если там не заколодит, прочитайте обязательно.

То, что Александр Трифонович делился со мной такими редакционными сокровенностями, значило много, и я гордился этим. Иногда Александр Трифонович приходил утром, очень рано, стучал палкой в стекло веранды.

— Тургенев говорил: русский писатель любит, чтобы ему мешали работать...

Признаюсь, я действительно радовался приходу Александра Трифоновича, откладывал писанину, работа прерывалась на несколько часов, а иногда на целый день. Я приближаюсь к теме больной и необходимой. В том смысле *необходимой*, что ее *не обойти*. Если писать правду. Он сам требовал этого от литературы, и, говоря о нем, нельзя об этом не помнить. В правде не бывает купюр. Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей

и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злосчастьи. Это было то, что — вкупе с врагами Александра Трифоновича — отнимало у него силы в великой борьбе почти в одиночку, которую он вел последние годы. «России веселие есть пити» — в этой легендарной премудрости скрыта, если вдуматься, тысячелетняя печаль.

Я никак не мог для себя решить: что правильнее, раздувать пожар вместе или пытаться гасить? Правильней, конечно, было второе, да только средств для этого *правильного* ни у меня, ни у кого бы то ни было не доставало. Пожар сей гасился сам собой, течением дней. Мария Илларионовна однажды сказала: «Он все равно найдет. Уж лучше пусть у вас, и мне спокойней». И верно, находил. Были знакомцы по этой части, специалисты по «нахождению» в любой час, на рассвете, в полночь — среди них Коля-жестянщик первый. Коля — забавнейший тип. В нем была какая-то обманчивая доброта, привязчивость, готовность сию минуту помочь и сделать что-либо бескорыстно; кипела страсть изобретательства, он выдумывал, сочинял, бросался в разные артельные и единоличные предприятия, ничем не гнушался, но вершиной всех его хитроумнейших замыслов бывало одно: трояк на бутылку. Почему это я вдруг вспомнил про Колю? Он как-то прочно впаялся в мою жизнь на Пахре. Мы часто говорили о нем с Александром Трифоновичем, обсуждали его живописные качества. Угадывали его хитрости, смеялись над его словечками. «Александр Трифонович, жализо для крыши не надоть? Могу завтра принести. Только сегодня трояк нужен — ребятам отдать...» Его так и звали: Коля-жализо.

Александр Трифонович относился к Коле хорошо, поручал ему изредка мелкую работенку — то водосток сделать, то колпачок над трубой, — до того дня, когда Коля, на свою беду, не совершил вопиющей неосторожности. Александр Трифонович однажды заметил, как Коля, находившийся на соседнем участке и собиравшийся прийти к нему, вздумал сократить путь и сиганул через забор. Александр Трифонович крайне возмутился.

Несколько раз Александр Трифонович рассказывал об этой истории с гневом:

— Человек, который прыгает через забор, когда есть калитка, способен на все...

Вначале такая категоричность показалась мне странной, потом я понял, что резон тут есть. И Коля впоследствии, кстати, доказал, что способен если не на все, то на многое...

Александр Трифонович был ровен, проницателен и как-то по высшему счету корректен со всеми одинаково: с лауреатами премий, с академиками, с жестянщиками. Те ровность и демократизм, которые были свойственны редактору «Нового мира» в его отношении с авторами, отличали Александра Трифоновича и в обыденной жизни, и поэтому он пользовался необыкновенным уважением всех людей, которые как-либо с ним соприкасались. Ну, и я был одним из этих людей, соприкасаясь с ним посредством деревянного заборчика, возле которого мы часто стояли и, держась за его сыроватые планки, разговаривали о всякой всячине.

И мне казалось невероятным, что когда-то я был автором Александра Трифоновича, а он был моим редактором, добрым редактором! Все то, что было пятнадцать лет назад, исчезло навсегда и окончательно. И я не огорчился. Ибо это, исчезнувшее, было связано со временем, справедливый удел которого был — исчезнуть. Александр Трифонович как будто и в уме не держал, не вспоминал о том, что я писатель. Пожалуй, я был для него читатель, квалифицированный, толковый, правильно мыслящий, с кем небезынтересно поговорить о литературных новинках. К его фразам, которые он произносил иногда, прощаясь после прекрасного застолья на свежем воздухе в саду или на веранде с открытыми окнами, вроде такой: «Почему вы нам ничего не приносите? Приносите! Нам интересна каждая ваша страница!» — я относился с мучительным недоверием. Я подозревал в них глубоко — впрочем, и не очень глубоко — спрятанную иронию. Может быть, я ошибался, но, скорей всего, так и было. Уж очень непохожей на него была эта фраза: «Нам интересна каждая ваша страница!» Конечно же, он смеялся надо мной, когда уходил, прощаясь после прекрасных вечеров на свежем воздухе.

Повторяю: у меня были рассказы, но дать их Александру Трифоновичу я не решался. Кроме того, что пугал возможный отказ, удар по самолюбию, я еще боялся нарушить наши отношения, умеренно дружественные. Боялся того, что он подумает, что я думаю, что, коль мы встречаемся по-соседски, это дает мне право...

Осенью 1966 года Борис Слуцкий взял три моих рассказа и отдал Асе Берзер. Спустя несколько дней Ася Берзер позвонила мне и сказала, что рассказы ей понравились и она думает, что они будут напечатаны. Во всяком случае, два из трех: «Вера и Зойка» и «Был летний полдень».

Эти два рассказа прошли с необыкновенной быстротой все ступени редакционной лестницы и появились в декабрьском номере того же, 1966 года. Я снова стал автором «Нового мира». В марте следующего, 1967 года «Новый мир» напечатал рецензию И. Крамова на книгу «Отблеск костра», только что изданную «Советским писателем», — это был первый и, пожалуй, единственный основательный отклик на книгу, появление которой в тогдашние времена представлялось фактом загадочным. Весною 1967 года я поехал по командировке «Нового мира» в Ростов — собирать материалы для документальной книги о двадцатом годе.

Помню, Александр Трифонович зашел в маленькую комнатку ответственного секретаря Хитрова, когда тот выписывал мне командировку, и, узнав, что я еду в Ростов, сказал одобрительно:

— Хорошо, хорошо. Надо его посылать...

В этих словах было много: «хорошо» для редакции, «хорошо» для меня.

Я написал рассказ о поездке в Болгарию — «Самый маленький город», отнес Асе Берзер. С этим рассказом дело было так. Прочли в отделе, прочел Дорош, кто-то из членов редколлегии, одобрили, послали в набор. Александр Трифонович читал обыкновенно верстку — кроме крупных вещей, с которыми знакомился, конечно, в рукописи. Летом шестьдесят седьмого я на Пахре не жил. Приехал как-то осенью, встретился с Александром

Трифоновичем, и он сказал мне, что только что прочитал «мой рассказик». Так и сказал: ваш рассказик.

Я почувствовал холодноватость отношения к «рассказику». Да, разумеется, это было не *свое, новомирское* — по манере, по стилистике, по художественной задаче. В рассказе «Самый маленький город» не было ничего из того, что особенно ценилось журналом «Новый мир» и ставилось во главу угла, из так называемого *социального*. Хотя, на мой взгляд, социальное в глубинном, высшем его понимании — изображение общества как сплетение характеров — должно существовать и существует во всякой истинной литературе, какой бы далекой от социологизации она ни казалась. Один мой приятель, литератор, в конце пятидесятых годов всегда спрашивал, когда речь заходила о каком-либо романе, о рассказе или повести: «Против чего?» Скажешь ему, что пишешь, мол, рассказ или повесть, он сразу: «Против чего?» Все лучшие новомирские произведения, напечатанные за последние годы, очень четко отвечали на этот вопрос. А рассказ о Болгарии был как будто ни против чего. Несколько лет назад Б. Закс сказал по поводу туркменских рассказов с неодобрением и даже, пожалуй, презрительно: «Какие-то вечные темы!..» Те рассказы были отвергнуты, на этот же раз отдел меня одобрил, хотя и со скрипом. Донеслось ворчливое высказывание Ефима Яковлевича Дороша: рассказ написан в какой-то западной манере, но печатать можно. «У Трифонова есть свой читатель».

В общем, ко мне относились гораздо лучше, чем несколько лет назад, и это было основанием надеяться на то, что рассказ пойдет. Очень хотелось его напечатать, он казался мне настоящим. Я и сейчас считаю его одним из лучших — из пятерки — своих рассказов. Кроме того, мне непонятно высокомерие, с каким иные литераторы говорят о западной литературе, будто эта литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной, все же где-то «литература второго сорта». Там, мол, чтиво, а здесь пища мозгам; там стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века,

не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений — от гениального Достоевского до полуграмотного Шевцова. Пусть простят меня почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с именем графомана, но делаю так лишь затем, чтобы показать, сколь необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит. Есть там и орбита Ефима Яковлевича Дороша, да и весь «Новый мир» — теперь пусть простят почитатели замечательного журнала — тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое «почвой» или, скажем, «родной землей».

В рассказе «Самый маленький город» было на ортодоксальный новомирский взгляд три порока: он был написан о Болгария, а не о родной земле (о Болгарии должны писать болгары, а иные попытки — от лукавого), в его стилистике замечалось влияние не русской классической прозы, скажем, Толстого или Бунина, а скорее Хемингуэя, и вдобавок в нем совершенно не было «против чего». Но я-то считал, что «против чего» там было. Ну, может быть, так: против горечи жизни, против несправедливости судьбы, против... да бог знает против чего еще! Против смерти, что ли. Против обыкновенного житейского ужаса *нигде и никогда*, с чем мы примиряемся и живем.

Но все это было чересчур обще и не нужно.

Я не удивился тому, что Александр Трифонович сразу обнаружил холодность к рассказу, хотя сказал довольно мягко:

— Я понимаю, вы хотели бы такой памятник... Но на вашем месте я бы рассказ теперь не печатал. Пусть полежит.

Никакого «памятника» я не хотел. Даже в уме не держал. Написалось, и все. Возражать я не стал и спокойно принял известие, что рассказ не пойдет. Почему-то была уверенность в том, что напечатаю в другом месте. Но Александр Трифонович неожиданно и каким-то безразличным тоном произнес:

— Если хотите, мы его напечатаем. Как хотите. Но мой вам совет — подождать.

Подумавши полминуты, я сказал:

— Александр Трифонович, я хочу его напечатать.

Это был странный разговор с редактором: хотите, не хотите. Мне было неловко, что не внял доброму совету, пошел наперекор Александру Трифоновичу, и, однако, уж очень мне хотелось этот рассказ напечатать.

Итак, рассказ был одобрен и определен в один из ближайших номеров. Между тем был у меня еще один рассказ, застрявший в отделе: «Голубиная гибель». Он, кажется, не очень понравился Дорошу или Асе Берзер, потому что был отсечен от тех двух, напечатанных в шестьдесят шестом. Я считал, что по качеству он ничуть им не уступает, да и по смыслу не худ. Словом, я набрался наглости и передал его как-то осенью в один из приездов на дачу — прямо через забор — в руки Александру Трифоновичу. Это было первый и единственный раз, когда я действовал помимо отдела, воспользовавшись выгодой соседства. Прошло всего дня три, а Александр Трифонович сказал, что рассказ ему понравился и он передал его в отдел.

— Он лежал у меня на столе, Мария Илларионовна прочитала, — сказал Александр Трифонович. — Хороший, говорит, рассказ, но почему конец такой грустный? Прямо, говорит, жить не хочется. Вы там что-нибудь сделайте с концом...

Потом был разговор об этом рассказе в редакции. Меня вызвали туда срочно. Звонил сам Дорош. Тут я понял, что значило для отдела, когда материал со своим «добром» передает Александр Трифонович. Все делалось с поразительной быстротой, с опаской не успеть, не доделать. Я должен был мгновенно учесть все замечания на полях, потому что рассказ добавлялся к болгарскому и шел в первый, январский номер шестьдесят восьмого года. Александр Трифонович просил зайти к нему в кабинет, на второй этаж. Об этом мне так же поспешно и с некоторым волнением сообщил Дорош.

Александр Трифонович подробно прошелся по всему тексту. Замечания его были точные, четкие. Ни одно не



вызвало возражений, все шло на улучшение, уточнение рассказа. Он, например, подчеркнул везде слово «карниз» и заменил его словом «отлив». Предложил убрать несколько фраз в сцене ареста Бориса Евгеньевича, отчего все стало выразительней и сильнее.

— Хорошо он у вас говорит: «Разве вы не знаете, я же вчера человека убил?»

Я признался, что эту фразу не придумал, она из жизни. Мне рассказывала вдова Виктора Кина Цецилия Исааковна Кин, что, когда Кина уводили ночью из дома в тридцать седьмом году, няня их сына воскликнула: «Виктор Павлович, да за что же?» Кин ей ответил: «Разве ты не знаешь, Федора, я же вчера человека убил».

Александр Трифонович помолчал супясь. Все было ведомо, слышано много раз, передумано с болью, и каждый раз боль снова. Он покачал головой.

— Эта фраза, я думаю, не пострадает, а вот во что вцепятся: полковник в отставке. Он у вас довольно зло... Вцепятся непременно.

— Убрать, вы думаете?

— Убирать пока погодим. Но вы увидите, они его не пропустят.

Речь шла о члене домкома Брыкине. Я писал сей персонаж почти с натуры. Концовка рассказа тревожила Александра Трифоновича меньше, чем этот Брыкин, он лишь посоветовал снять в конце фразу о смерти Сталина, обозначающую перелом времени. Фразу я снял. Внимательный читатель поймет, о каком времени говорится.

Оба рассказа были пропущены без замечаний, однако «Голубиная гибель» только в «Новом мире» прошла в первоначальной редакции. В двух сборниках моих рассказов, вышедших в «Советской России» и в Гослитиздате, рассказ опубликован в изувеченном виде: сцена ареста изъята и вся тема «голубиной» гибели этой семьи отсутствует. Теперь это просто сентиментальный рассказ.

«Новый мир» в это время подвергался все более ожесточенным нападкам, номера с трудом продирались через цензуру и выходили с опозданием иногда на два, на три месяца. Все, что печаталось в журнале Твардовского,

официальная критика рассматривала в лупу. За всем виделись злоумышления, второй план. Именно теперь модным, у всех на устах сделался литературоведческий термин «аллюзия», известный прежде лишь профессорам. («Аллюзия» от латинского *allusio* — шутка, намек).

Январский номер с двумя рассказами вышел лишь в марте. Весной я написал рассказ «В грибную осень», отдал Асе Берзер. Ко мнению Аси я прислушивался более, чем ко мнению любого другого сотрудника журнала — за исключением, разумеется, Александра Трифоновича. Вообще роль Анны Самойловны Берзер в становлении новомирской прозы очень велика, гораздо выше той скромной должности — помощницы Дороша, — которую она занимала. Фанатическая преданность литературе, огромная работоспособность, тонкий, болезненный ко всякой фальши вкус и умение ненавязчиво, великодушно и вместе с тем твердо отстаивать свои взгляды — эти качества Анны Самойловны как редактора и *собирателя* прозы были, конечно, неопределимо полезны журналу. К ней тянулись молодые писатели. Она умела разглядеть, угадать, почувствовать талант, умела и без колебаний, невзирая на маститость и положение, отвергнуть слабую рукопись. Для будущих исследователей тринадцатилетней истории «Нового мира» явится задачей — определить КПД деятельности Анны Самойловны в журнале. И можно сказать с уверенностью: он высок. При тех отношениях, какие у меня сложились с Александром Трифоновичем, я мог бы отдавать рукописи прямо ему — он даже предлагал это, когда бывал в добром расположении духа, — но я проявлял осмотрительность и отдавал в отдел. (Так было и со следующей вещью, повестью «Обмен».) Кроме всех прочих соображений для меня было важно и существенно мнение Аси Берзер.

Прочитав рассказ «В грибную осень», Ася сказала: «Очень сильно!» Я ликовал, не показывая вида. Ася сказала, что будет предлагать рассказ в какой-то из летних номеров, седьмой или восьмой. Все шло поразительно удачно: как что ни принесу, все идет с хода! Рассказ вышел в августовском номере. Этот номер был сдан в набор

тридцатого мая, а подписан к печати девятнадцатого октября. Подписчики получили его в ноябре.

Вот так обстояло теперь дело с «Новым миром». Шли разговоры о том, что журнал разгоняют, Твардовского снимают. Этим слухам верили и не верили. Да, номера выходили с трудом, каждый рождался в муках, приходилось пробивать, отстаивать, спорить с чиновниками, и все же номера выходили, дело двигалось. Тут была какая-то странность. В печати, на собраниях журнал честили почем зря, обвиняли чуть ли ни в антисоветчине — особенно кидались на «Новый мир» те, кому досталось от отдела критики, армия этих оскорбленных с каждым годом росла и злобнела, — но почему-то оргвыводы не делались; изъятие Дементьева и Закса из редколлегии не изменило, разумеется, ничего. Ибо два литератора мало что решали. Решал Александр Трифонович и решал напор авторов, а оба эти фактора продолжали существовать. И в замороженных мозгах интеллигенции уже зрела такая безумная догадка: «Новый мир» никогда не будет разогнан, ибо он для чего-то нужен.

Летом шестьдесят восьмого я отдыхал на Рижском взморье, каждый вечер слушал новости из Чехословакии. Там происходило нечто громадно важное. Первого августа я вернулся в Москву. Сразу же по приезде на дачу встретил Александра Трифоновича, мы разговаривали долго — не о литературе, а о том, что происходило, о чем тогда разговаривали все, и я давно не видел его таким энергичным, упругим, в каком-то празднично веселом возбуждении.

— Вот видите, не могут они этого сделать! Не могут, не могут! — говорил почти с торжеством. — Кишки не хватает! — и шепотом: — И с нами то же самое: и хочется, и колется, и ...не могут!

Но прошло три недели и оказалось: могут.

Двадцать первого утром я был в Москве и услышал о том, что могут, по радио. На другой день поехал в Пахру, и в тот же вечер или, может, спустя день Александр Трифонович зашел ко мне. Вид его был ужасен. Он был то,

что называется *убит*. Взгляд померкший, разговаривал еле слышным шепотом.

— Конец.... Все кончилось...

Мы сидели на веранде за большим пустым столом. Он ничего не хотел. Палку, с которой ходил обычно, поставил между ног, опирался на нее двумя руками тяжело, бессильно. Вдруг заговорил со мною на «ты»:

— Хорошо, что у тебя тут дача.... Вот и живи тут, копайся в саду... Правильно сделал, что купил...

Он говорил так, и состояние его было таково, будто все уже произошло, он изгнан, журнал уничтожен. Однако он ошибался, как многие. Дали отсрочку еще года на полтора.

И прошло отчаяние, как все проходит, опять были заботы о номере, пробивание, борьба, надежды, радость....

Зимой мы виделись редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать, — я писал тогда повесть «Обмен», — мы виделись с Александром Трифоновичем чуть ли не каждый день.

Стоял свежий теплый июнь.

Каждое утро мы ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним — боялся быть навязчивым, — а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: «К барьеру!» Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот

уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.

Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи; местами даже стынью обдает, плывешь, плывешь и — холодом по ногам.

Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватаясь за склоненный низко над водой — будто по заказу — не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали могучностью. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго медленно плывал.

В июне шестьдесят девятого года теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он победит! Настроение у Александра Трифоновича в те дни было и вправду боевое. Номера выходили хорошие. Только что опубликовали новую повесть Быкова «Круглянский мост», на выходе был Белов; какие-то уморительные «байки» или

«бухтины», о которых Александр Трифонович говорил с удовольствием. Интеллигенция все еще жужжала восторженно о двух повестях Катаева (редактор восторга не разделял, но было приятно, что вокруг журнала шум), а тут снобам новая сласть: повесть «Кубик». Оглянувшись с озорным видом, будто кто мог подслушать, шептал: «А я вам говорю — дерьмо!» Я спорил. Катаев мне нравится. Первую повесть я считал блестящей и даже написал какую-то статью в ответ Дудинцеву, но «Литературка» не напечатала. Впрочем, дудинцевской грубой и высокомерной статьей Александр Трифонович был возмущен. Мы с ним говорили. Но то было давно, а теперь его уже раздражало ликование снобов. Напечатанием катаевских вещей он все же гордился, так как считал их, конечно же, литературой в отличие от многого, что печаталось, и литературой, *имевшей право на существование*, но ему не близкой и даже в некотором смысле чуждой, однако же вот печатал, и не одну вещь, а три. Была известная гордость собой, своей широтой, великодушием. Отношение Александра Трифоновича к Катаеву меня не удивляло. Это был твердый, закаленный годами труда и размышлений вкус: видеть в литературе не стиль, а суть. Стиль часто мешал сути. (При этом забывалось изречение Бюффона.) Писатели из окружения Александра Трифоновича исповедовали ту же эстетику, одни подлаживались к нему, другие совершенно искренне, как, например, Казакевич и Дорош. В письме о моей первой книжке рассказов Казакевич ругал как раз те рассказы (туркменского цикла), которые мне казались лучшими в сборнике, заметив при этом: «Для меня нет ничего ненавистнее *стиля*».

Александр Трифонович начисто отвергал Набокова. Однажды был разговор о прекрасной книге воспоминаний Набокова «Другие берега». Я читал ее с упоением. Александр Трифонович сказал, что она фальшива, искусственна, ничтожна, глупа и что у него терпения не хватило дочитать до конца. О «Лолите» говорил как о пакости. Нет, не читал ее, ибо пакость противно брать в руки. Из западных писателей он, по-моему, более других ценил Томаса Манна.

В июне по дороге на речку и с речки мы разговаривали о разных вещах. Не помню уж сейчас, о чем, когда и как. К сожалению, ничего не записывал, и это было величайшей глупостью. Рассуждения Александра Трифоновича всегда отличались своеобразием, глубиной, острыми и неожиданными мыслями. Тут мой грех: непривычка вести дневник, записные книжки. Помню, много говорили о статье Дементьева в последнем, недавно появившемся апрельском номере «Нового мира» и в связи с нею о журнале «Молодая гвардия» и группке критиков, возомнивших себя новыми славянофилами.

Об этой публике Александр Трифонович говорил презрительно. Помню, он признался, что не читал Розанова, никогда не было желания искать и читать этого писателя, а теперь захотелось познакомиться. Слишком много разговоров о нем. У меня была одна книга Розанова — «О легенде «Великий инквизитор»». Александр Трифонович попросил ее и, вернув очень скоро, дня через два, сказал, что разочарован, все где-то читано, знакомо.

Был один писатель, в оценке которого мы сходились полностью. Александр Трифонович говорил о нем восторженно и — странно было слышать из его уст — почти с преклонением. Как-то сообщил мне секретно — это было не июньскими прогулками, а раньше, — что читает новый роман. Речь шла о «Круге»\*. И шепотом, с какой-то необыкновенной значительностью, даже палец подняв: «Это велико!» А в то лето так же по секрету сказал, что получил начало нового романа, исторического, и поражен: как сильно! Ему казалось, что сей автор может замечательно писать только о том, что пережил сам, и потому брал рукопись с некоторой тревогой. Историческое произведение — это ведь совсем другой жанр, другая специфика. Однако те сто страниц, которые ему привезли — привез сам автор, приезжал на своем «Москвиче» сюда в Пахру, — совершенно его покорили. Проза густая, полновесная, удивительно достоверная. В этих нескольких главах появляются, наверно, пятьдесят действующих лиц,

---

\* А. Солженицын. В круге первом. (Прим. ред.)

и все живые фигуры! И какая беда, что русский читатель, для кого это писано, не сможет прочитать...

Не знаю, может быть, я много на себя беру и это дерзость с моей стороны — рассказывать о литературных вкусах и пристрастиях Александра Трифоновича. Он сам об этом писал, и люди, более близкие к нему, работавшие с ним в журнале, напишут авторитетней и подробней. Со мной-то Александр Трифонович говорил мимоходом, а с ними — с тем же Дементьевым, жившим у нас на Пахре — разговаривал куда чаще и больше, обстоятельней, откровенней. Но не знаю, когда и что напишут другие, поэтому позволю себе записывать все мелочи, все мимолетное, оставшееся в памяти, может, это и покажется кому-то «превышением права».

Июнь шестьдесят девятого — это была, кажется, лучшая пора в последнем году Александра Трифоновича — редактора, физически он был крепок, духом бодр, как видно, ему хорошо работалось. И все же давление страшного атмосферного столба, которое то увеличивалось до чугунной тяжести, то чуть отпускало и даже якобы исчезало, обманчиво вовсе, чувствовалось над головой журнала постоянно.

И если это чувствовали все мы, авторы близкие и далекие, чувствовали читатели необъятной России, то каково же было ему!

Помню, был разговор, от которого сжалось сердце. Очень хорошо помню: на моем участке в саду спустились со ступенек крыльца и шли к калитке. Он вдруг остановился и сказал тихо, с какой-то невыразимой, правдивой болью:

— А знаете, Юрий Валентинович, иногда проснешься утром и думаешь: а не бросить ли всё это? Не послать ли куда? Ведь сил не хватает на борьбу... Ведь, ей-богу же, и сам я кое-что еще могу написать, руки есть, голова есть... А вот силы кончаются... А потом подумаешь — сколько же людей ждут этот журнал, как праздник, как надежду какую-то! В захолустных городках где-то, в деревнях подписываются, ждут, я же знаю... обмануть их? Уйти в благополучную жизнь? Нельзя, невозможно. И говоришь



себе, как протопоп Аввакум своей Марковне: «А до самой смерти, Марковна». Она его спрашивала: «Доколе нам, Петрович, так мучиться?»

Окончилось это спокойное время начального лета поездки Александра Трифоновича в гости к Соколову-Микитову. Александр Трифонович любил старого писателя, они были земляками, дружили. Я не знал, что он уехал. Сказала мне Мария Илларионовна, и как-то с опаской: «Боюсь, как бы он не сорвался...» Да, видно, уж точно знала, обреченно предчувствовала: сорвется. Так и вышло. Случайно я был на шоссе, когда Александр Трифонович возвращался. Машина остановилась, дверца отхлопнулась, и Александр Трифонович крикнул что-то, зовя меня. Я подошел.

Мне почему-то кажется, что после этой поездки началась вся цепь дальнейших несчастий.

Впрочем, все шло к тому, к несчастьям, неотклонимо, и поездка ничего изменить или прибавить не могла. Александр Трифонович оступился, упал с лестницы в своем доме — лестница вела на второй этаж, — сильно разбил голову, повредил шею и был увезен в Кунцевскую больницу. Случилось это, кажется, в августе. Недели две или три были невозможны ни работа, ни чтение. И, наверное, он не мог по-настоящему вникать в ту отвратительную кампанию клеветы и травли, которая развернулась тогда, летом, на страницах некоторых газет и журналов. «Социалистическая индустрия», «Огонек» и какая-то еще газетка, не помню сейчас, какая, печатали гнусные статейки теперь уже не против «Нового мира», а против его редактора лично. Такого беспардонного вранья, такого рассчитанного и циничного хамства в нашей печати давно не бывало — со времен, может быть, пресловутой «борьбы с космополитизмом».

Неизвестно, откуда дул ветер и кто был закоперщиком кампании. Возможно, инициатива шла снизу, из тех газет и журнальчиков, где сидели господа, особенно люто ненавидевшие «Новый мир». Это догадки. Кто-то знает доподлинно, я не знаю.

Так или иначе, шла артподготовка к главному сражению: снятию Твардовского с поста редактора. А сделать

это было, как видно, непросто. Уж очень велики в народе, в интеллигенции, в армии, во всей стране популярность и авторитет создателя «Василия Теркина».

Мы читали пасквильные сочинения, возмущались, надо было противодействовать. Решили написать письмо. В какое-то августовское воскресенье на даче у Бакланова такое письмо настучали. Не помню сейчас, в какой именно адрес: то ли в секретариат Союза писателей, то ли куда-то выше. Письмо было очень короткое, резкое. Возмущены кампанией клеветы, которой подвергается любимый поэт советского народа и главный редактор лучшего в стране журнала, и требуем ее немедленного пресечения. Что-то в этом духе.

Тут же вечером побежали по поселку за подписями. Тендряков подписал, разумеется, сразу. Бондарев несколько мялся и редактировал текст, Бакланов с ним не кланялся и не разговаривал, поэтому он ждал на аллее, а вел переговоры я, затем, получив подпись Бондарева, пошли к Нагибину, который в своем музейном, в золоте и бронзе, кабинете поставил подпись легко. Утром в понедельник поехали с Баклановым в город, зашли к Бедному, старому приятелю по Литинституту, и он, к изумлению моему, не то что помявшись или поколебавшись, а очень решительно отказал:

— Нет, ребята, я этого подписывать не стану!

Тут мне открылось многое. Мне представлялось раньше, что громадное большинство писателей стоят на стороне Твардовского и только очень немногие — из числа «подонков» — являются врагами Александра Трифоновича и его журнала. Однако дальнейшее показало, что между друзьями и врагами Александра Трифоновича колышется необмерное море не тех и не других, но все же склоняющихся ближе к недоброжелателям, а еще точнее — к ущемленным, обиженным за что-то, когда-то.

Я, вообще говоря, убежден в том, что «Новый мир» погиб оттого, что взорвался пороховой погреб писательских самолюбий. Слишком многих писателей этот журнал задел, слишком важные персоны раздел, обнаружив голых королей.

Роковыми для журнала оказались не повести Семина или Можаява, а статьи против Алексева, Кочетова или Кривицкого.

Письмо в защиту Александра Трифоновича подписали еще несколько человек: Антонов, Рыбаков, Каверин, Алигер, еще кто-то. Я ездил в Переделкино, Александр Трифонович об этой деятельности, разумеется, ничего не знал. Сейчас уж не помню, повлияло ли наше письмо или действия Симонова и Суркова, но газетная травля прекратилась. Скорее всего, ее прекратили намеренно, и вовсе не под воздействием наших писем, а потому, что свою роль она выполнила.

Александр Трифонович долго находился в больнице. Слухи о ходе его болезни и лечении доходили неясные. Все были удручены неизвестностью, переспрашивали друг у друга, передавали сведения от Марии Илларионовны и удивлялись тому, что все так затянулось и так неясно. Кто-то говорил, что лечат неправильно и что Александру Трифоновичу давно должно бы стать лучше, а ему хуже. Те, кто навещал его в больнице, говорили, что он сильно изменился. Раньше Александр Трифонович очень прямо и гордо держал голову, это было характерно для его фигуры, а теперь — как рассказывали те, кто видел его в Кунцеве, — неузнаваемо сгорбился. От падения повредились шейные позвонки. Все эти рассказы вызывали тревогу.

Летом я закончил повесть «Обмен», отнес ее в «Новый мир». Ася Берзер прочитала быстро, ей понравилось. Сказала, что это лучшая моя вещь. Прочитали Дорош, другие члены редколлегии, все были «за». Повесть пошла в набор и была намечена на декабрьский номер. Александр Трифонович вернулся из больницы где-то в сентябре, скорее всего, в начале сентября. Встретив его случайно в один из приездов на дачу, я с болью почувствовал, как правы были больничные посетители: он постарел резко, это бросалось в глаза. Двигался медленно, голову держал слегка опущенной, как бы постоянно понурился, отчего весь облик принял неприветливое, чуждое выражение. Какая-то стариковская согбенность — вот что

выражал его облик, и это было так дико, так несуразно и несогласно со всей сутью этого человека!

Надеялись на то, что болезнь пройдет, все восстановится. И наверняка бы восстановилось, если бы другая жизнь... Да где было ее взять, другую?

В начале ноября, перед праздниками, исключили из Союза писателей Солженицына. Это был удар, разумеется, не только против злокозненного автора, но и против журнала, его открывшего, и против редактора, его взлеявшего. Новая кампания! Александр Трифонович едва отдышался после летней газетной травли, кое-как восстановил равновесие и сохранил журнал. Что же теперь? На ноябрьские дни я приехал на дачу. Помню, восьмого ноября Александр Трифонович зашел ко мне, как он выражался, «на огонек». Он был в осеннем просторном бушлате, с палкой, ясный и спокойный. Принес книгу, которую брал читать, не помню уж какую. Кажется, какой-то номер «Красной летописи». Сели за столом внизу, Александр Трифонович достал пачку сигарет: курил он, несмотря на болезнь, по-прежнему много и все один сорт, крепчайшую, без фильтра «Приму».

Александр Трифонович сказал, что ему прислали верстку декабрьского номера, он прочитал повесть «Обмен», сделал некоторые замечания на полях, хорошо бы, я зашел к нему сегодня или лучше завтра, он эти замечания покажет. Разговор был обыкновенный деловой. Отношения к повести Александр Трифонович не высказал, но было очевидно, что он не против опубликования, а стало быть, повесть им *одобрена*. Я, конечно, был безмерно счастлив, хотя обстоятельства, окружавшие Александра Трифоновича и журнал, были невеселые. И радоваться теперь было как-то неприлично. О Солженицыне Александр Трифонович сказал скупое несколько фраз, спросил, нет ли каких новостей из эфира по этому поводу, и сразу разговор прекратил. Заговорил о «Красной летописи», где была занятная статья — ради нее и брался журнал — Книжника-Ветрова о семнадцатом годе в Питере. Оценки и суждения Александра Трифоновича были, как всегда, острые, метафоричны.

Однако было ясно, что ни моя повесть, ни «Красная летопись» не занимали Александра Трифоновича по-настоящему, мысли его были захвачены событиями в Рязани \*. То было самое страстное, самое жгучее и болезненное переживание праздничных дней ноября шестьдесят девятого года, непереносимо мучительных еще в силу своей праздничности и невозможности действовать.

На другой день, созвонившись с Александром Трифоновичем, я зашел к нему на дачу и мы посидели полчаса в его маленькой рабочей комнатке на нижнем этаже, где был стол, заваленный письмами и бумагами, загроможденный книгами, книжные полки, и больше ничего. Настоящий кабинет с библиотекой был на втором этаже, но Александр Трифонович любил работать здесь, внизу, видя перед собой дорожку в саду и в глубине, за деревьями, калитку. Теперь я услышал одобрительные слова о моей повести, несколько замечаний по языку, с которыми согласился, и одно конструктивное предложение:

— Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском — претензии на что-то большее... Вот вы подумайте, не лучше ли убрать.

Я был совершенно убежден в том, что убирать нельзя. Может быть, Александр Трифонович не слишком внимательно читал — было не до того, — а может, в виду сгушавшейся опасности проявлял некоторую осторожность, нежелание рисковать зря. Повесть мою он, наверное, не считал кардинальной вещью журнала, а рисковать и подставляться под копы следовало только ради чего-то кровного и дорогого. Могли быть нападки, очень нежелательные в то огнеопасное время. Но, когда я сказал, что поселок красных партизан для меня важен и убирать его не стоит, ибо исчезнет второй план, Александр Трифонович легко согласился: «Пожалуйста, оставляйте...»

---

\* Речь идет об исключении из Союза писателей А. Солженицына, жившего тогда в Рязани. (Прим. ред.)

В этом легком согласии я почувствовал не только великодушные редактора, но и некое грустное безразличие...

И это было то, что омрачало радость.

«Обмен» появился без единой цензурной поправки. Как мне сказал один из членов редколлегии: «Подержали в зубах и выпустили». Видимо, вопрос о журнале был уже решен и следить за добропорядочностью последних номеров не имело смысла. «Обмен» вышел в предпоследнем номере, подписанном Твардовским, а последним оказался первый, январский семидесятого года с повестью «Белый пароход» Айтматова.

### III

Сразу после ноябрьских праздников, а может, через день или два я пришел зачем-то в Дом литераторов и увидел в фойе Можая, Окуджаву и Максимова, которые меня весело и энергично окликнули. Оказывается, собрались идти депутатией к Воронкову по поводу Солженицына. Пойду ли с ними? Сказал, что пойду. Настроение было приподнято-шутливое. Ждали Бакланова и Антонова, те вскоре подошли, и мы направились через служебный выход в соседнее здание «большого» Союза. Там в приемной к нам присоединился Тендряков. Разговор с Воронковым был очень краткий. Говорили два злоуста — Можая и Бакланов. О том, что нам не ясны причины исключения Солженицына из Союза писателей и хотелось бы услышать об этом на заседании правления. Все было очень достойно и в рамках правил. Воронков так же достойно, со всей мерой уважения к товарищам пообещал, что доложит о нашем пожелании секретариату.

— Мы вам ответим, товарищи. Вы получите ответ, — обещал Воронков, с чувством пожимая каждому из нас руку.

Мы разошлись по своим делам. Было впечатление, будто совершили *поступок*, хотя дураку было ясно, что все это бесполезность и ерунда. Вечером об этом *поступке* уже трещал эфир, безбожно путая имена, и один мой

приятель прибежал ко мне с вытаращенными глазами: «Вы слышали?..» На следующий день я пришел в «Новый мир». Я обещал Александру Трифоновичу, что зайду именно в этот день: он должен был вернуть мне рукопись Гроссмана, которую я дал почитать несколько дней назад \*.

Прежде чем подняться на второй этаж, я зашел, как обычно, в комнаты на первом этаже: в отдел прозы и в клетушку завредакции. Аси Берзер не было в редакции. Дорош отсутствовал. Зато за своим столом, утопающим в верстках, казенных письмах, рапортичках на папиросной бумаге, сидела Наташа Бианки, моя добрая знакомая по очень старым новомирским временам, когда я печатал «Студентов». Она, как всегда, была в курсе последних новостей. Она сообщила, что все нервничают, Твардовский нервничает, редколлегия нервничает, что вчера приезжал — не желая произносить имени, что было вздором, жестом изобразила бороду — и привез копию своего заявления \*\*. Тут она заперла дверь на защелку и показала страничку текста. Успели перепечатать. Заявление было вызывающе резкое. Пока я вникал в текст, она пошла за чем-то на второй этаж, предусмотрительно замкнув меня на ключ, а вернувшись через короткое время, сказала, что Александр Трифонович спрашивал, не пришел ли я.

— Я сказала, что ты здесь. Он просил зайти...

Я пошел наверх, абсолютно не подозревая, что через три минуты совершу один из самых идиотских поступков в своей жизни.

Александр Трифонович молча пожал мне руку, затем достал из ящика стола рукопись, аккуратно завернутую в толстую оберточную бумагу и даже перевязанную бечевкой — Гроссман, но в тщательно упакованном виде, — и протянул мне, сказав «спасибо». И это было подчеркнуто *все* о Гроссмане. Спустя несколько месяцев был разговор об этой рукописи, которая Александру Трифоновичу

---

\* Видимо, речь шла о рукописи повести «Все течет».

\*\* Копия письма А. И. Солженицына в Союз писателей.  
(Прим. ред.)

не понравилась. Кажется, его коробило то, что Гроссман взялся описывать ужасы коллективизации. Он сказал тогда довольно грубо: «Понимаете, тут есть некое «вай-вай». И добавил извинительно, но в то же время настаивая на своем праве выражаться именно так, наиболее точно и верно: «Не мне говорить и не вам слушать...» Мне рукопись Гроссмана нравилась чрезвычайно. Я понял тогда, что тут имеют место какие-то застарелые предвзятости. Предвзятости не общечеловеческие, а персональные, касающиеся конкретных людей. Что касается предвзятостей общечеловеческих, то Александр Трифонович был их лишен, но в силу насмешливого и острого ума допускал в своем кругу безобидные, домашние шуточки, иногда, впрочем, ядовитые. Таково, быть может, было отношение Чехова к проблеме: в серьезную минуту он выказывал твердость, а в каком-нибудь рассказе мог проявить едкую наблюдательность. В общем, это было вполне невинно и напоминало мне отца, которому мать однажды сказала полушутя: «Все-таки ты евреев не любишь!» — на что он ответил: «А почему я должен их любить?» У отца были друзья евреи, он женился на еврейке, но он не понимал, почему он должен любить евреев вообще. Это было, по его мнению, так же бессмысленно, как не любить евреев вообще. О Гроссмане не проронили ни слова. Я спрятал рукопись в портфель. Александр Трифонович был мрачен, как-то собран, напряжен.

— Слышал о вашем походе, — сказал он. — Расскажите, кто да кто...

Я рассказал коротко. Он внимательно слушал, затягиваясь «Примой».

— Это не худо, конечно, но... — сделал движение рукой, как бы желая сказать «толку не будет», однако не сказал.

И тут я ляпнул — черт меня дернул за язык! — о том, что прочитал письмо Солженицына. Александр Трифонович спросил быстро:

— Где взяли?

Я сказал: в редакции, на первом этаже.



Он изменился в лице. Глядя на меня белыми остановившимися глазами, крикнул:

— Кто вам дал письмо?

Тут я понял, что совершил ужасную глупость. Я сказал:

— Нет, Александр Трифонович, я вам сказать не могу.

— Анна Самойловна? — кричал он. — Кто дал письмо? Не хотите говорить? Ну хорошо, а как вы к этому письму относитесь?

Он сверлил меня взглядом такой ярости, что я опешил, забормотал невнятное:

— По-моему, очень... сильное письмо...

— Это не письмо, а листовка! Провокация! Нож в спину тем, кто хотел ему помочь! Зачем это сделано? Для того чтобы шум поднять, тарарам на весь свет? — орал он, мечась по кабинету, в то время как я стоял неподвижно, как соляной столб, оглушенный криком и смыслом того, что до меня долетало. — Кому на руку? Только его и нашим врагам! И в каком виде мы теперь предстаем? Мы же головы ломаем, мы на все идем, чтобы его спасти, а он на всех наплевал! Темечко-то не выдержало, голова от всемирной славы кругом пошла! Нет, я к этому человеку не могу теперь относиться, как прежде...

И что-то еще кричал. Даже кулаком стучал по столу. Никогда не видел его в таком состоянии — истинного бешенства. Я, грешным делом, подумал — после уж, задним числом, а в ту минуту я и думать не мог, только лишь трепетал и сокрушался по поводу собственной глупости, — что шуму и крику чересчур много для меня одного. Ей-богу, тут был какой-то пережест. Он словно взорвался и шарахнул в меня всем, что копилось днями. Выкричал то, чего не докричал вчерашнему гостю. Гнев и мысли накатили с опозданием.

Но, может, этак кричать и буйствовать было ему для чего-то необходимо, ведь редакция — организм сложный, непрозрачный, попробуй разберись в нем со стороны...

Я вышел из кабинета, пошатываясь, ничего не понимая, кроме одного — что я идиот.

Не заходя никуда, я пошел домой. Вечером посыпались телефонные звонки от людей, близких к «Новому

миру». Берзер я встретил днем у железной калитки — я выходил из редакции, она туда возвращалась. Рассказал в двух словах, что произошло. Ася побледнела.

— Какое счастье, что меня не было в журнале! — сказала она, бросаясь к подъезду с таким пылом, будто в помещении начался пожар и надо спасать детей.

Вечером она сообщила мне по телефону, как развивались события после моего ухода. Было бог знает что, АТэ поднял редакцию вверх дном. Кто дал Трифонову письмо? Такого неистовства она не помнит за все годы. Продолжалось часа два. И опять Ася повторяла: «Какое счастье, что меня не было!» Самое смешное, что «секретное» письмо, о котором автор его сообщил АТэ вчера, будто оно существует лишь в двух экземплярах, *вчера же* вечером было передано по эфиру. После Аси звонила Наташа Бианки. «Что случилось? Ты сошел с ума?» Я оправдывался: «Я думал, что у вас, так сказать, одна семья, нет секретов...» — «Хорошенькая одна семья! Меня топтали, уничтожали». Трубку взял Саша Письменный, муж Наташи, который сказал, что не поверил Наташе, когда она рассказала эту ужасную историю. Неужели, Юра, вы действительно могли это сделать? Мог, мог.

Разбирательство в журнале длилось несколько дней. Как раз в это время сдавался в типографию номер с «Обменом», я приходил по каким-то делам, встречался с Александром Трифоновичем. Он был со мной сдержанно приветлив, как всегда. Инцидент с письмом не поминался. Ася и Наташа спрашивали с тревогой: «Как он с вами?» Я говорил: ничего, нормально. Наташа Бианки хотела, кажется, признаться Александру Трифоновичу, но ее отговорили, дело заглохло.

А отношение к автору письма, тогда меня поразившее, Александр Трифонович изменил очень решительно и скоро. Вновь я слышал от него слова высокого уважения.

Напряженность росла. Опять пришло время *последних* слухов: решено окончательно, есть приказ, приказа нет, но вопрос согласован, закрывают, заменяют, исключают, снимают, выводят... Вышел двенадцатый номер. Давно

не бывало: ни одной цензурной поправки ни в одном материале! Это была совсем дурная примета. «Обмен» имел читательский успех. Многие звонили мне с изумлением: «Как удалось это напечатать?» Я догадывался, что тут просто удачно сложились печальные обстоятельства. Настроение у меня было смутное. С одной стороны — успех, с другой — неизвестность, тревога. Эти неизвестность и тревога касались как будто не меня лично, а журнала, Твардовского, редколлегии, но и меня тоже. В том-то и дело, что неизвестность и тревога переносились с общего, громадного понятия «журнал» на нечто маленькое и конкретное — на меня лично и одновременно на нечто еще более необъятное и величественное — на всю русскую литературу, имеющую быть в будущем. Но где? Под какой крышей? В журнале «Октябрь», где шумела несъедобной ботвой кочетовская псевдолитература? Или в «Знамени», где через десять фильтров процеживали дистиллированную воду?

Не помню, видел ли я Александра Трифоновича до февраля. Может быть, и нет, потому что на дачу зимою я ездил редко. И вот в середине февраля наступил «день икс». В «Литературной газете» появилось сообщение о переменах в редколлегии «Нового мира».

Для меня день икс выразился в следующем: в послеобеденное время, часу в пятом, когда я мирно сидел за столом и, по выражению Казакевича, «махал ручкой», раздался звонок. Звонила Ася Берзер. Обыкновенным голосом спросила, не буду ли я сегодня в редакции. Я сказал, что не собирался. Зачем-то я нужен? Да, было бы хорошо, если бы, не откладывая в долгий ящик, вот сейчас я приехал. Меня хочет видеть и проконсультироваться о каком-то молодом писателе Юра Буртин. Зная новмирскую манеру тайн и иносказаний, я сообразил, что меня ждут по важному делу. Сел в такси и поехал.

Таинственность продолжалась: Ася, ничего не объясняя, пошла за Буртиным, тот спустился на первый этаж и, также ничего не объясняя, попросил меня выйти вместе с ним на бульвар. Он накинул пальто, мы вышли. На бульваре стали прохаживаться по аллеям — как сейчас

помню, было сыро, Буртин без шапки, рыжие волосы всклокочены, весь он как-то ежился, мялся то ли от зябкости, то ли от волнения, — и он сообщил, что вывод из редколлегии нескольких человек есть прямой удар по Александру Трифоновичу, *вынуждение* его подать в отставку. Хорошо бы, чтоб писатели, несколько авторов, близких к журналу, написали по этому поводу спокойное, разумное письмо. Что-то вроде болванки было им составлено. Действовать нужно немедленно, так как дорог не только каждый день, но каждый час. Александр Трифонович об этой деятельности не знает и не должен знать.

Я сказал, что сделаю, что смогу. Тут же позвонил Можаяеву и попросил прийти в редакцию. Он примчался через пятнадцать минут. Теперь уж я повел его на бульвар, но не на Страстной, где мы гуляли с Буртиным, а в сквер на Пушкинскую площадь. Решили завтра с утра ехать вдвоем в Переделкино.

С этого вечера началась эпопея борьбы, в которой было много шума, страстей, суеты, волнующих разговоров, но не было надежды и прока. Впрочем, тогда нам так не казалось. Мы верили, что можем изменить ход дела. В Переделкине сразу пришли к Рыбакову, вызвали туда по телефону Каверина и составили текст.

События марта так переплелись, встречи и разговоры так сплывались в моей памяти, что весь этот месяц представляется теперь как один суматошный, трагический, шумный, нелепый день бреда, что-то вроде русских поминок. Мы с Можаяевым метались на такси то в Пахру, то в Переделкино, то еще куда-то. Писатели встречали нас в халатах, в пижамах, в гостиных среди золотых багетов, на аллеях с палочками после инфаркта, на дачных верандах, на улицах и в пронизанных миазмами коридорах Дома литераторов. Было много неожиданного, забавного и достойного кисти Айвазовского. Писатель А. поставил свою подпись в самом углу и такими мелкими буквами, что надо было брать лупу, чтобы прочитать. Писатель Б., вскормленный «Новым миром», решительно отказал. Другой сказал, что подпишет только в том случае, если Александр Трифонович будет поставлен в известность

и одобрит, то есть он не хочет делать чего-либо против воли Александра Трифоновича. По сути, это был отказ, ибо условие, поставленное им, было невыполнимо. Писатель В., когда-то много печатавшийся в «Новом мире» и гордившийся дружбой Александра Трифоновича, сказал, что подумает и ответит на другой день. Позвонив рано утром, он сказал мне, что решил не подписывать. Я представил себе, какую бессонную ночь провел В. в разговорах с женой. Еще один писатель, Г., так же, впрочем, как и писатель Д., подписал с необыкновенной легкостью, даже не вчитываясь в текст. Писатель Е., которого Александр Трифонович любил и много печатал, честно признался, что он боится и, если подпишет, повредит себе.

Писатель Ж. пригласил меня пить чай и желчно объяснял, почему он не станет подписывать. Причин было две. Во-первых: почему он должен защищать журнал, который ни разу не защитил его? Робкое замечание: но ведь он, журнал, безотказно печатал вас. Еще бы им не печатать! Но они не ударили палец о палец, когда я подвергся газетной травле. И, во-вторых, кто же подписал прошение — А., Б., В., Г., Д. и Е.? Разве это писатели? И уж тем более К. Сосед. Нет, одно письмо вместе с К. он никогда не подпишет. Это значило бы плюнуть себе в лицо. Зато писатели М. и Н., которые, нам казалось, вряд ли подпишут — один слишком осторожен, язвительного ума, всегда держался особняком, а другой презрительно отвергался журналом, — подписали немедленно без раздумья. Писателя Ч. мы встретили на шоссе. Он был бел, сед, ветх после болезни, и ему бы, конечно, пристало думать о боге. По-видимому, он и думал о боге, потому что прочел письмо с видом полнейшего равнодушия и, покачав головой, пошел себе дальше.

Я далек от того, чтобы кого-либо осуждать за конформизм и кого-либо восхвалять за доблесть. Просто хочется сделать этот моментальный снимок — пусть фотография останется без комментариев, даже без названия, — а лет через сто люди будут потешаться над этой фреской из жизни русских шестидесятников. Какая крамола была в нашем жалком прошении? Мы защищали самого большого

поэта России, известного своим патриотизмом и преданностью Советской власти, усыпанного правительственными наградами и любимого народом. О, я, кажется, сбиваюсь на комментарии и, что хуже, на *осуждение*, посему прикушу язык.

Где-то у Пушкина в дневниках: когда долго сидишь в нужнике, перестаешь замечать запах. Не надо делать вид, будто ты задыхаешься от вони. Если задыхаешься — умирай. А если живешь, значит, дышишь наравне со всеми, прилачился, приспособил носовую полость, легкие, сердце, потроха.

Комментировать и осуждать — дело не наше, а тех, кто явится на свет божий через много, много лет.

Было, кажется, не одно письмо, а несколько, в разные адреса. Каждый день внизу, на первом этаже редакции на подоконниках, столах громоздились шубы, портфели и шапки, сбегались авторы «Нового мира», передавали слухи, сочиняли проекты, гадали и спорили. Приходили Бек, Тендряков, Искандер, Войнович, Корнилов, Владимов, Светов и многие еще. Прибегал Евтушенко, обещал протекцию «своего человека» где-то на самом верху. У Владимова тоже были какие-то связи. Можаяев обнаруживал поразительное могущество: он знал «Петьку», мог поговорить с «Васькой», тот имел прямой ход к «Ивану», так что наше письмо в понедельник утром, в пятницу в три часа дня, в четверг сразу после обеда будет лежать на столе. Каждая надежда теплилась не более двух дней.

Ответов на наши письма не было.

Александр Трифонович и члены редколлегии заседали на втором этаже. Они тоже ждали ответа или хотя бы телефонного звонка. Александр Трифонович приходил каждый день, строгий, собранный, как никогда, скованный напряженным ожиданием. Он не хотел уступать своих людей и работать с теми, кого ему навязывали. Это было гордое, отчаянное сопротивление, и, однако, то, что *окончательного ответа* до сих пор не было, вселяло ничтожную надежду, какую-то тень надежды. Однажды пришел Солженицын. Можаяев познакомил меня. Новоявленный Нобелевский лауреат выглядел крепким, бодрым

и каким-то очень трезвым и уравновешенным по сравнению с возбужденными авторами и подавленно молчаливыми — со следами отрешенности на лицах — членами редколлегии. Солженицын пожал мне руку, глядя внимательно и, как мне показалось, приветливо, и сказал: «А, вот он какой, наш Юра!» Не знаю, что он имел в виду, потому что встреча была на толчке, в коридоре, он спешил наверх к Александру Трифоновичу.

Большинство из нас, собиравшихся внизу, в отделе прозы, не подымались наверх, не желая обременять Александра Трифоновича унылым и бесполезным сочувствием. Ведь никакой конкретной помощи не мог предложить никто. Однажды добрый и суетливый Бек загорелся какой-то идеей спасения, показавшейся ему гениальной, и он побежал наверх, чтобы поскорей сообщить идею Александру Трифоновичу. Тот был занят разговором со своими помощниками и, не дослушав Бека, прервал его довольно грубо, и Бек, сконфузясь, ушел. Планов спасения не существовало. Следовало предаться року. Вниз проскочил слух, что Исаич, как любовно называли первого автора журнала, уговаривал Александра Трифоновича не подавать заявления об уходе, принять какую угодно редколлегию, но остаться. Более всего там желают его ухода. Не надо идти навстречу.

Теперь, по прошествии времени, я думаю, это был правильный совет. Александр Трифонович *переварил* бы каких угодно членов, даже такие дубины, как Б. и О., тем более что оставались старые члены редколлегии: Хитров, Марьямов, Дорош. Оставался сплоченный, готовый самозабвенно трудиться и бороться коллектив редакции. А этот коллектив, такие люди, как Буртин, Озерова, Берзер, Бианки, Борисова, Койранская, значили для журнала и делали для него не меньше, а больше, чем иные члены редколлегии. Кроме того, вполне вероятно, что четыре вновь назначенных члена редколлегии — Косолапов, Смирнов, Рекемчук и Литвивов — стали бы поддерживать во внутриредакционной борьбе Александра Трифоновича. Самым оскорбительным и непереносимым было включение О., который недавно на каком-то собрании

назвал Александра Трифоновича «кулацким поэтом». Введение его было сознательной гнусностью, делавшей *невозможной* работу Александра Трифоновича в такой редколлегии.

«И все же, все же, все же...» — говоря словами Александра Трифоновича. И все же можно было пойти на все, и на это, и на борьбу, если бы не две силы, управляющие, как мне кажется, поведением Александра Трифоновича.

Одной силой было понимание или, может быть, ощущение того, что сил нет. Для тяжелейшей нечеловеческой борьбы, какую предлагал Исаич, требовались громадные силы. И не только духа, а просто физические, что, впрочем, в наш век и в нашей жизни есть одно. Раньше Александр Трифонович с его богатырским зарядом справился бы с этим подвигом, но теперь, после шестнадцати лет непрерывного напряжения, порох был на исходе.

Другой могущественной силой, руководившей Александром Трифоновичем в эти роковые дни, была природа его существа — он был в высоком смысле человеком чести. Был абсолютно не способен на поступок, называвшийся в старину *неблагодарным*, то есть на такой, который унизил бы его в собственных глазах. Согласие на вывод Лакшина, Кондратовича и других представлялось ему предательством товарищей.

Так что все было predetermined.

И все же, все же, все же... Сознание долга в его высшем, историческом понимании — долга перед Россией, перед судьбой народа — было так велико в этом человеке, что он еще раз победил себя, победил свою физическую слабость, свою усталость, победил самое свое существо. К концу марта, когда все средства борьбы оказались исчерпанными, он, по-видимому, решил отступить до последней черты: он согласен на вывод намеченных лиц, но предлагает ввести вместо них других, по своему выбору. Я знаю это потому, что в один из последних дней марта встретил Александра Трифоновича у подъезда редакции — я туда спешил, а он выходил оттуда и направлялся к черной редакционной «Волге», стоявшей в двух



шагах от подъезда, — мы поздоровались, и он, задержав мою руку в своей и помедлив мгновение, сказал:

— Юрий Валентинович, если вам, возможно, позвонят и спросят, согласны ли вы быть членом редколлегии «Нового мира», вы, пожалуйста, не отказывайтесь.

— Хорошо, — сказал я. — Конечно, Александр Трифонович.

— Если позвонят. Не думаю, чтоб это случилось, но чтоб вы знали.

Я молча кивнул. Александр Трифонович выглядел бесконечно усталым, голову по-прежнему держал опущенной, смотрел исподлобья. Было ясно, что предложение о новом составе редколлегии было жестом отчаянным и бесплодным: никто не надеялся, что наверху дадут согласие. Александр Трифонович сел в машину, а я с тяжелым сердцем пошел в редакцию. Знак доверия Александра Трифоновича в эту последнюю минуту перед кончиной журнала не то что не радовал меня — радовал, конечно, но радостью ума, а не чувства. Я как бы удостоился генеральского звания в армии, которая проиграла войну и теперь должна была думать не о будущих битвах, а о нудном прозябании в лагерях для интернированных.

Не знаю, каких еще писателей прочил Александр Трифонович в эту несостоявшуюся редколлегию. Конечно, никто мне не позвонил. Дня через два явился Косолапов и произошла сдача дел.

Потом еще несколько месяцев жизни на даче, встреч, разговоров — необыкновенно печальных, спокойных, мудрых. Горе было безмерное, но он нес его с великим достоинством. Иногда шутил над собой: «Я теперь, как министр в отставке, стану писать воспоминания...» Это было всерьез. Он работал. По его словам, должна быть книга о работе в журнале, о всех событиях долгих шестнадцати лет, и называться будет: «Шестнадцать лет». Вообще он мне часто говорил, как важны воспоминания очевидцев, пускай в рукописях, без надежды напечатать: это та правда времени, которая не должна пропасть. Высоко оценивал воспоминания Газаряна, написал интереснейшее

письмо их автору. Книга Евгении Гинзбург нравилась ему меньше, но он считал ее полезной. О первой части книги Рыбакова \* тоже отзывался одобрительно и, помню, сказал: «Ведь был вполне обыкновенный автор, что-то там для детей, юношества, а как коснулся пережитого — совсем другой писатель. И читать интересно».

Должен признаться, что и мою книгу «Отблеск костра» Александр Трифонович считал небезынтересной и, помню, попросил меня подарить ему второй экземпляр, так как кто-то у него книжку зачитал. Однажды он рассказал, как, отдыхая в Барвихе, познакомился с Поскребышевым и убеждал его написать книгу воспоминаний о Сталине и как Поскребышев вдруг заплакал и сказал: «Ах, не могу я о нем писать, Александр Трифонович! Ведь он меня бил! Схватит вот так за волосы и бьет головой об стол...»

У одних не хватало мужества, у других терпения, третьим неизжитое холуйское чувство не давало написать правду — даже такую ничтожную, какую поведал Поскребышев.

По-видимому, Александр Трифонович придавал своей работе над книгой «Шестнадцать лет» очень большое значение. И это наверняка была бы замечательная книга.

Весной и в начале лета семидесятого года я часто бывал на Пахре. Опять просыпался рано, слышал кашель поутру, треск сучьев — в углу неподалеку от забора затевался маленький костерок и тянуло дымом. Я выходил для своей вялой гимнастики в сад, здоровался с Александром Трифоновичем. Он спрашивал: «Какие новости?» Вопрос был обычный, интерес к новостям спокойный. Я что-нибудь рассказывал, хотя сам знал немного.

— Мало, мало у вас новостей, — шутливо укорял Александр Трифонович. — А для нас, пенсионеров, новости — первое дело».

Вокруг этой темы — отставки, пенсии — крутился в мыслях, в шутках постоянно.

— Что это у вас, Юрий Валентинович, ботинки без шнурков? Этак одни пенсионеры ходят, им уж все равно...

---

\* Рукописный вариант «Детей Арбата».

В один из майских дней гуляли по аллейке и он по привычке высматривал в траве по обочинам сухой хворост, палки, дощечки — все, что годилось для костра. Собирал охапкой и тащил к себе на участок, сжигать. Я тоже подбирал какие-то палки, щепки ему в помощь. И за этим занятием разговаривали. О наших общих знакомых, моих сверстниках, которые быстро продвигались по лестнице казенных успехов: один стал секретарем, другой недавно ездил в Америку в компании с писателем, который только что травил Александра Трифоновича. Александр Трифонович недоумевал: «Не понимаю, как с ним можно ехать в Америку!» Недоумение было совершенно искреннее: обоих писателей он считал *своими*, ибо известность им принес «Новый мир».

— А вот вы, Юрий Валентинович, ничего не добьетесь, — сказал он вдруг. — На собраниях вы молчите, выступать не умеете. Какой-то вы тугой....

Было это сказано без одобрения или сочувствия, но, однако, и без осуждения.

От этого определения — «тугой» — я даже внутренне вздрогнул. Показалось: точно. Разговор как-то перекинулся на мою персону, и Александр Трифонович стал расспрашивать об отце, его гибели, как это произошло. Когда подошли к его участку, к калитке, он спросил:

— Вы пойдете к себе на дачу? Идите, я к вам зайду через короткое время.

И не объяснил зачем. Я вернулся на дачу, ждал. Мучился загадкой: зачем зайдет? Вместо него вдруг зашел мой сосед и старинный приятель Юзик Дик. У Александра Трифоновича с Диком были отношения добрососедские, они даже говорили друг другу «ты». Александр Трифонович часто говорил мне, что восхищается диковским жизнелюбием, веселым и добрым нравом: «Ведь другой бы на его месте волком сделался!» Как писателя он Дика не рассматривал вовсе, но как соседа ценил. Заходил к нему, стучал палкой в стекла маленькой диковской верандочки и говорил: «Иосиф, на выход!» Дик отвечал немедленной пионерской готовностью. Разговаривали они между собой шутливо, дружески.

Пришел он через полчаса, степенный, неторопливый, с палкой. Увидев Дика, сказал:

— А, и ты здесь! Это хорошо...

Мы сели в пустой комнате на первом этаже, залитой солнцем. День был изумительно свежий. Александр Трифонович вынул из кармана сложенные вдвое листки, развернул их — оказалась верстка — и стал читать:

Сын за отца не отвечает —  
Пять слов по счету, ровно пять,  
Но что они в себе вмещают,  
Вам, молодым, не вдруг понять.  
Их обронил в кремлевском зале  
Тот, кто для всех нас был одним  
Судеб вершителем...

Александр Трифонович прочитал целиком всю поэму и два стихотворения. Я, конечно, знал, какой вокруг этих вещей разгорелся сыр-бор, но читать не приходилось. В журнале по требованию Александра Трифоновича очень строго следили за всеми верстками, боялись утечки. И все равно утекло, мне достался список, но то было позже. Теперь же я услышал впервые и из уст самого автора! Стихи были замечательные и ударили нас с Диком в самое сердце. У Дика на глазах были слезы. Ведь это о нас, обо мне и о Дике:

О, годы юности немилрой,  
Ее жестоких передряг.  
То был отец, то вдруг он — враг...  
И здесь, куда — за полководьем  
Тех лет — спешил ты босиком.  
Ты именуешься отродьем,  
Не сыном даже, а сынком...  
А как с той кличкой жить парнишке,  
Как отбывать безвестный срок, —  
Не понаслышке,  
Не из книжки  
Толкует автор этих строк...

Да, все, о чем говорилось в стихах, мы трое знали не понаслышке. И это *знание* горестной солидарностью и любовь к нашим отцам внезапно соединили нас — на миг — в тот майский день с солнцем, пением птиц...

Тогда же, весной, развернулась история с якобы сумасшедшим Жоресом Медведевым. Александр Трифонович проявил в этом деле большое мужество и благородство. Вместе с Тендряковым он ездил в Калугу в психиатрическую больницу, разговаривал с Жоресом и врачом Лифшицем. Тендряков рассказывал мне, что на обратном пути всю дорогу спорили.

— Не могу я с ним! — признавался Володя с горечью. — Как заходит разговор о литературе, так спорим, прямо до ругани...

Характеры обоих были чем-то похожи: оба предельно независимые, со своими остро обозначенными пристрастиями и вкусами. Оба не очень-то умели соглашаться с другим мнением. И оба то, что называется «гонористые». Володя рассказывал с возмущением:

— Ты понимаешь, на обратном пути из Калуги проголодались, решили остановиться где-то, закусить. Нашли какую-то чайную, поели, я расплатился, у него денег в кармане не оказалось. Потом спорили до крика. А когда приехали на дачу, он просит меня подождать на улице и выносит пятерку... Ты представляешь?! Этакая фанаберия! Ну, тут уж я ему выдал! Тут я отыгрался! Он очень сконфузился, пятерку забрал...

И все же, хотя и спорили временами, отношения между соседями — дачи их стоят одна напротив другой, через дорогу — были, конечно, глубоко дружественные. Во всем главном они были единомышленники. И вместе добивались спасения Жореса Медведева. Победа, которой окончилось это дело, очень обрадовала Александра Трифоновича. Может быть, даже окрылила. И, может быть — не ручаюсь, не знаю, но есть смутная угадка, — вселила какую-то надежду на то, что и *его дело* еще не закрыто окончательно, еще переменится. Ведь было однажды: сняли с редакторства, потом призвали обратно. Участие Александра Трифоновича в вызволении Медведева, такое открытое

и демонстративное, было актом мужества и независимости, ибо, по некоторым сведениям, Александра Трифоновича в связи с его шестидесятилетием в июне ожидала высокая награда — чуть ли не звание Героя Социалистического Труда. Все понимали, что теперь это вряд ли состоится.

День рождения Александра Трифоновича — двадцать первое июня. Это число особое. Самый длинный день в году. День начала войны. А в моей жизни число роковое: в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня тридцать седьмого года был арестован отец. Был такой же жаркий солнечный день, такая же теплая ночь. Александр Трифонович дня за два пригласил меня прийти «выпить чайку». Я ломал голову: что подарить? Было дома старинное, лет полтора, деревянное блюдо, расписанное каким-то народным мастером. Александру Трифоновичу подарок пришелся по душе. Он мне сказал потом:

— А ваша-то штука настоящая! Мне молодые сказали, они у меня художники, понимают.

Мария Илларионовна, хлебосольная хозяйка, пригласила всех на веранду. Пришли друзья и добрые знакомые Александра Трифоновича из числа пахринских жителей: Верейские, Ильина с Реформатским, Дементьев, Тендряков, Фиш, Владимир Жданов, Бакланов, Антонов, Федоров, Дик, Гердт, приехали из Москвы Закс, Кондратович, еще кто-то. Накануне Александра Трифоновича навестили сотрудники «Нового мира», остававшиеся пока там работать: Берзер, Озерова, Бианки, Борисова, Койранская, Марьямов, Буртин и автор журнала, критик Левицкий. К этому времени уже сделалось чувствительным больное место, которое вскоре превратилось в открытую и тяжкую рану: момент сотрудничества с новой редколлегией. Женщины, приехавшие с самоваром, а также Марьямов и Буртин продолжали работать в аппарате, так же как Хитров и Дорош. Марьямов и Дорош подали заявления об уходе, но начальство просило их остаться. Они остались вопреки своей воле временно, на три или четыре месяца. Хитров тоже временно оставался ответственным секретарем. Буртин то подавал заявление, то брал

его назад. До меня доносились слухи о том, что Марьямов и Дорош, а также женщины из отделов прозы и критики сурово осуждены кем-то из ушедших работников за то, что остались в журнале. Атмосфера была нервная. Кто-то с кем-то перестал здороваться, кто-то с кем-то порвал отношения. Осуждение честнейших Марьямова и Дороша, так же как полезнейших работников Берзер, Озеровой, Борисовой, представлялось мне несправедливостью. Казалось, вначале ее можно было объяснить только некоторой затуманенностью мозгов горячими парами обиды, что вполне объяснимо. Но время шло, а осуждение не гасло, наоборот, разгоралось. Тогда стало ясно, что подчас люди заботились не о деле, судьбы литературы отступали на второй план.

Это было грустное зрелище. Недавние творцы и охранители «Нового мира» спешили как можно скорее его разрушить. Они требовали, чтоб все старые работники покинули журнал, чтоб авторы забирали свои произведения. Некоторые авторы так и поступили. А между тем надо было делать как раз обратное: стараться не уничтожать, а всеми силами продолжать громадное дело Александра Трифоновича — *собрание русской литературы!* По-моему, тут была сама очевидность. И жизнь показала, что Александр Трифонович воздвиг такое мощное здание, заложил такие основы, что окончательно уничтожить все это не удалось ни чиновникам, ни вновь пришедшим деятелям, ни разрушителям из числа бывших строителей, которые твердили «чем хуже, тем лучше» и полагали, что чем ужаснее будут произведения на страницах журнала, тем полезней.

Раскол становится все глубже, но Александр Трифонович, по-видимому, не знал всех подробностей того, что происходило после его ухода. Не знал, наверное, того, что Солженицын заходил к Асе Берзер в редакцию и говорил, что она должна оставаться там как можно дольше, что некто, встретившись с Асей на улице, не поздоровался. Работа Аси в редакции превращалась в двойную пытку: угнетала необходимость иметь дело с новыми руководителями журнала и мучили, конечно же, разговоры

за спиной бывших коллег. А ведь Ася Берзер, как и все оставшиеся в журнале, стремилась к единственному: сохранить все, что возможно, от старого «Нового мира» и как можно более долго. Бывшие коллеги говорили: ничего не удастся! Напрасно себя обманываете. Надо уходить, и пусть этот журнал станет еще хуже, чем «Октябрь».

Разумеется, старый «Новый мир» умирал. Но кое-что — усилиями таких людей, как Ася — на его страницах продолжало появляться. В течение семидесятого года появились рассказы Абрамова, Искандера, Тендрякова, Семина, Некрасова, цикл рассказов Шукшина, повесть Быкова «Сотников», публикация Паустовского, последняя часть «Деревенского дневника» Дороша, роман Фоменко «Память земли». Мне хочется сказать о том, как непредвиденно сложно и мучительно происходило умирание журнала. Он не хотел умирать! Он сопротивлялся, как мог сопротивлялся молодой, полный сил и жажды жизни организм. Этот организм был — молодая литература, созданная Александром Трифоновичем и его журналом и ставшая магнитом для всей читающей и пишущей России. Куда, по мнению бывших коллег, должны были направлять свои рукописи десятки начинающих авторов из российских медвежьих углов и тьмутараканей? А ведь все это по привычке текло сюда и попадало все к тем же Берзер и Борисовой. И они делали, что могли. И терзались при этом. И каждый день решали для себя вопрос: уйти или еще подождать?

Драма и гибель Александра Трифоновича повлекли за собой другие драмы, другие гибели, поводом для которых были не только одно *главное*, но и какие-то *вторичные* страдания.

Очень скоро сгорели Дорош и Марьямов, не вынесшие разгрома журнала и осуждения, которому они подвергались со стороны некоторых бывших товарищей. «Преступление» Дороша было двойное: во-первых, он задержался в редколлегии, во-вторых, напечатал в сентябрьском номере свой «Деревенский дневник». После смерти Александра Трифоновича Дорош и Марьямов не прожили и года.



Все эти роковые болезни и смертельные исходы уже завязывались — пока еще недоступно зрению — в тот жаркий июньский день. Александр Трифонович не знал подробностей раскола. Ему не рассказывали, да и он, вероятно, мало интересовался. Женщины волновались, направляясь на дачу. Как-то он их примет? Может быть, убийственно сухо, обольет презрением? Ася рассказывала: встретил очень обрадованно и тепло. Подарок, который они привезли — самовар, — был поставлен на видное место, на стол в углу веранды, и, когда я пришел с другими гостями на следующий день, Александр Трифонович, показывая на самовар, говорил: «Это мои привезли!» Говорил с удовольствием. И то, что «мои», значило много. Нет, не прощение, не отпущение грехов, а великодушие, широту сердца и ума, вот что значило это «мои».

Вообще в тот день, двадцать первого июня семидесятого года, Александр Трифонович был как-то необыкновенно прост, радушен, спокоен и терпелив. Терпеливо, с мудрым смирением выслушивал заздравные речи, иные из которых были довольно трескучие и помпезные. Но были и речи замечательно искренние, от которых слезы наворачивались на глаза. Ведь всем хотелось сказать хоть несколько слов. И он был одинаково терпелив и внимателен ко всем. А потом читал стихи, написанные в последнее время. Читал по листочкам, по рукописям. Все это происходило на веранде, гости сидели вокруг стола уже в некотором подпитии, уже затевался шум, общие разговоры, кто-то вышел в сад, кто-то сидел в комнатах, и вдруг все протрезвели и притихли. Стихи поразили нас. Они были о конце жизни. О смысле жизни. О том, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что... В суете и волнениях вокруг журнала, принимавших, надо сказать, планетарный характер — разгон «Нового мира» обсуждался в эфире на всех языках, — как-то отодвинулось и порой совсем выпадало из сознания то обстоятельство, что Александр Трифонович — поэт громадной мощи, может быть, самый большой поэт сейчас на этой планете, занятой шумом вокруг его журнала. И вот негромкий голос напомнил

об этом. И мелькнула, вдруг благодарная мысль: а может, все к лучшему? У него будут теперь время и силы для главного дела, к которому он призван на землю.

Но к лучшему ничего не было. Время и силы подошли к концу.

Как-то в июле, вскоре после дня рождения, сидели мы с Александром Трифоновичем и Диком на маленькой диковской веранде с пивом, воблой и сигаретами «Прима», и Дик вдруг сказал со своим простодушием детского писателя:

— А все же, Александр Трифонович, зря ты подал заявление об уходе. Не надо было тебе уходить.

Это была бестактность, но Дик-то все прощалось. Я думал, что Александр Трифонович отмахнется презрительно или же вовсе не обратит внимания, как если бы человек сделал за столом нечаянную оплошность. Но Александр Трифонович внезапно закрыл руками лицо и с необычайной болью и силой прошептал:

— Да как же вы не понимаете, что я не мог, не мог *иначе! Не мог!*

Тогда же или чуть позже, в августе. Зачем-то он зашел ко мне на участок. В углу участка у забора лежали доски, оставшиеся от строительства террасы. Хозяин я нерадивый, и доски лежали плохо, не укрытые ничем — мне на них, честно говоря, было плевать, я считал, что они не понадобятся. Помню, года четыре назад Александр Трифонович просил у меня несколько досок для каких-то своих нужд. И вот, зайдя в августе, вдруг сказал:

— Я когда-то все удивлялся: как это можно, думаю, оставлять доски вот так лежать под дождем, гнить... А сейчас думаю: правильно, а чего беречь? И сами сгнием...

Печаль была непомерная. То, что называется, смертная печаль.

К концу лета он стал чувствовать себя хуже, как-то заметно ослаб. Жаловался на эмфизему. Врачи велели бросить курить, но он и этого сделать *не мог*. Несколько дней

телефон у него на даче почему-то не работал, и А. Т. заходил ко мне чуть ли не ежедневно: звонить.

В один из начальных дней сентября у нас произошел такой разговор. В августе я закончил повесть «Предварительные итоги», дал почитать знакомым, среди них Софье Дмитриевне Разумовской. Софья Дмитриевна редактировала мои вещи в «Знамени», я ценил ее вкус, давал ей читать свои сочинения в рукописи. О «Предварительных итогах» Софья Дмитриевна сказала: «Кожевникову это нельзя даже показывать!» Итак, «Знамя» отпало. «Дружба народов» тоже отпала из-за фигуры туркменского поэта, написанного ядовито. С «Москвой» не было никаких отношений и идти туда не имело смысла. Словом, я решил по старой привычке дать почитать Асе Берзер и отнес повесть в «Новый мир». Мне не хотелось, чтобы Александр Трифонович узнал об этом от работников журнала, а не от меня, и я сказал ему:

— Александр Трифонович, я был на днях в вашем бывшем журнале.

— Зачем же? — спросил он.

Я сказал, что отнес повесть. Выговорить эти слова было тяжело и неприятно, но нужно. Александр Трифонович, помолчав, сказал:

— Что ж, Юрий Валентинович, время прошло... Первые полгода было как-то трудно примириться, а теперь, что ж, мне все равно. А вам, я понимаю, тяжелей идти к Кожевникову, чем к этим людям, вам неизвестным...

Почему-то он упомянул именно Кожевникова, что точно соответствовало моим размышлениям. И сразу после этого заговорили о другом.

Были еще разговоры и встречи в сентябре. Погоды стояли теплые, я дольше обычного задержался на даче. Помню, числа одиннадцатого Александр Трифонович жаловался, что ночью с ним сделалось так худо, что «думал уж, помираю». Эмфизема проклятая замучила. Потом-то выяснилось, что мучила не эмфизема, а опухоль в легком. Дышал Александр Трифонович невероятно тяжело, шумно, в груди сипел целый орган. Такое

бывало и раньше, но теперь это приняло характер катастрофический. И при этом курил без передышки свои сильнейшие сигареты «Прима». Когда я по этому поводу заикнулся, он махнул рукой. Семнадцатого сентября я уехал с дачи. Через пять дней Александра Трифоновича увезли в Кунцевскую больницу.

Борьба с болезнью длилась год и три месяца. Я несколько раз навещал Александра Трифоновича, когда его привезли из больницы на дачу. Был на последнем в его жизни праздновании дня рождения, когда он сидел в кресле, с пледом на коленях, перед накрытым столом, и встречал всех входивших добрым, мучительным взглядом, а к некоторым тянулся лицом, и мы его целовали. Говорить он уже не мог. Слишком тяжело обо всем этом вспоминать, и я умолкаю. Скажу лишь: могучий организм, задуманный на столетие, сопротивлялся с отчаянной и поражающей медиков силой. Но что можно сделать с болезнью, смертью и злобой людской? В декабре семьдесят первого он умер. И о похоронах писать нет сил. Напишут другие, людей было очень много. Я сидел в фойе на втором этаже, смотрел на полумертвые лица писателей и каких-то неведомых людей, толкавшихся в скорбных кучках, и думал: «Господи, да ведь это какой-то знакомый ужас! Ведь с Россией все это уже было! Почему же снова? Зачем же? И неужели никто, никто, никто не может понять, что так нельзя?»

1972

## НАЧАЛО

Что сказать о начале? Может быть, просто вспомнить... Какое-то самомучительство, глухота, немота, неверие, подозрительность. Неверие в свои силы, подозрительность к себе. А вдруг я не тот, за кого сам себя себе выдаю? Ведь я твержу себе днем и ночью, вижу во сне, будто я — ну, не гений, скажем, но одаренная личность...

Без тайного фанфаронства начала не бывает.

Со стороны не видно, никто не догадывается. Но я-то знаю, что думаю о себе. И — ужасаюсь своим мыслям. Ничего ведь еще не сделано, не напечатано да и не написано даже, и тем не менее где-то внутри неиссякаемо бьет фонтанчик: «Я! Я! Я! Я!» Ну, а что, собственно, я? Какое, к шутам, я? Несколько рассказиков, не принятых ни в одном журнале, да четыре главы неоконченной повести, которая непонятно что? Кому нужно? Кто будет печатать? Кто будет читать? Совершенно ничтожная мура. Ниже нуля. Порвать и никому не показывать. Литературу делают волы, как сказал Ренар. Дело не в том, чтобы написать одну гениальную страницу, а в том, чтобы написать триста. Разве ты похож на вола? Разве способен триста? Да никогда в жизни!

И, однако, фонтанчик бьет — я! я! я!..

Только в начале бывает такое гнетущее ощущение собственной бездарности и такое сказочное упоение собственным творчеством. Есть рассказ про композитора Гуно: «В двадцать лет я говорил: «Гуно!», в тридцать: «Гуно и Моцарт!», в сорок — «Моцарт и Гуно!», в пятьдесят я говорю — «Моцарт!». Я помню, как мне очень нравилась в юности одна девушка, и когда меня с ней познакомили и сказали, что я «пишу», она сказала: «О, я что-то читала, помню вашу фамилию!» В то время не было напечатано ни одной моей строчки, и, однако, я мгновенно поверил

в то, что она «читала» и «помнит». То есть поверил, разумеется, на долю секунды, на что распространялась сила моего тайного фанфаронства: ведь в глубине сознания я ощущал себя писателем. И к тому же — известным. В следующую секунду окатило холодом другое чувство: я бездарность, и никто никогда меня не узнает. Но тот первый рефлекс поразителен!

У Олеши где-то есть замечание о том, что все писатели мира, нынешние и древние, — это как бы один писатель. Речь не только о писателях, разумеется, о художниках вообще. О самоощущении художника. Оно всегда полно, тотально. Поэтому мне кажется — начинающих художников не существует. В течение долгих лет мы приобретаем лишь сумму приемов и опыт жизни, но самоощущение — какое в начале, такое до конца дней.

И это самоощущение — сплав горького отчаяния и величайшей веры в себя. Должен, ли художник верить в себя, как в бога? Да. Должен ли постоянно угрызаться и сомневаться в своих возможностях? Да. И спрашивать себя: кому нужна чепуха, которой я занимаюсь? Да! Да! Да!

Поэтому все равны. Начинающие, маститые, неудачники, мировые знаменитости. Десять лет назад в Париже я искал одного художника, который переселился в Париж до революции. Он начинал когда-то вместе с Марком Шагалом и другим художником, оставшимся в России, который дал мне адрес и просил передать привет Шагалу и этому второму. Шагал оказался на юге, второго я нашел на окраине Парижа. Он был анималистом, теперь уже давно не работал. Жил на пенсию. Это была абсолютная безвестность и почти нищета. Его дочь жила с семьей в Ницце, в Париже он был одинок. В квартиру на второй этаж вела железная лестница вроде пожарной, только приставленная к дому не вертикально, а наклонно, и я подумал: ну и ну! Как же он подымается, старик? Шел дождь, железные ступени скользили под ногами, как намыленные. «Когда дождь, — подумал я, — он не выходит из дома».

Комната была одновременно мастерской. Все знакомо, как везде, как в старых мастерских в доме художников

на Верхней Масловке, где я прожил пять лет: гипсы, подрамники, кушетка, запах краски, электроплитка, на которой стоял чайник. Анималист был глубоко стар, общителен, мил, покоен. Говорили о художниках, с которыми он начинал. Он сказал: «Марку повезло. Художник он неплохой, особенно синий цвет у него хорош. Но в общем-то повезло...» Анималист говорил спокойно. Это было его твердое убеждение, выношенное годами в мансарде, куда вела железная лестница, похожая на пожарную. «Но все-таки, — заметил я, — Марк кое-чего добился в своей области, не правда ли?» «Повезло, — твердил анималист. — Были художники гораздо сильнее. Среди нас был такой Кремень. Слышали эту фамилию?» — «Нет, не слышал». Анималист воодушевился: «О, замечательный художник! Бесспорный мастер! Ну, что вы, вот это настоящий художник! Кремень. Жаль, его никто не знает». — «Почему ж так случилось?» — «Просто не повезло...»

Я не знаю, что именно надо делать для того, чтобы повезло. Ну, работать, разумеется, не разгибая спины, стать графоманом, киноманом, театроманом, архитектуроманом, сделаться на некоторое время — хотя бы для начала — немножко сумасшедшим. Слегка как бы свихнуться на любимом деле. Потом можно выправиться, не беда. А можно и не выправляться, тоже не страшно...

Чехов говорил о том, что «многописание — великая, спасительная вещь». Особенно важно многописание — я бы сказал: бурнописание, страстнописание — в начале, о чем идет речь. Нельзя, решив посвятить себя искусству, выдавливать, как из тюбика, кусочками, полусохшую пасту. В начале происходят поиски — темы, стиля, возможностей, себя, и надо кидаться в разные стороны, пробовать одно, другое, третье. Не говорю о тех, кто сразу себя находит, — это бывает редко. Кроме того, мне кажется, надо сразу ставить себе большие задачи. Пожалуй, даже почти непосильные задачи, на грани невозможного.

В последние годы я работаю со студентами Литературного института, веду семинар прозы. Молодые люди,

как почти все начинающие (которых не существует), двигаются на ощупь, их мучает немота, неуверенность, связанность... О чем я толкую им почти на каждом семинаре? О том, что спасти их могут только графомания, только груды исписанной бумаги — а не отдельные листочки и тетрадки, — только полное погружение в стихию прозы. Во всяком случае, из такой схватки непременно что-то выйдет — или шедевр, или открытие правды о самом себе.

У меня есть знакомые, которые не любят свое детство. Не хотят вспоминать о нем. В их детстве не было ничего ужасного, ни войны, ни семейных кошмаров, было обыкновенное детство с обыкновенными страданиями. Знакомые, о которых я говорю, женщины. Они не хотят вспоминать о предженском существовании. О жизни гадкого утенка. У мужчин таких комплексов я не знаю. Эти женщины вспоминают с содроганием: господи, как меня томило, и мучило, и казалось неисполнимым все то, что потом пришло! Нет, говорят они, не хотела бы я начинать все сначала именно из-за этих мук... Рождение художника чем-то, наверное, похоже на рождение женщины. Женщина плодоносит, и этим — ближе. Но вот как бы избежать начала со всеми его тяготами? Перескочить сразу в другой мир, в иное существование?

Я думаю, это возможно. Сократить путь до минимума. Иные художники пересказывают. Иные женщины тоже. Нужны отвага, готовность идти на риск, знание того, что жизнь краткая, нельзя терять время на раскачку.

Андрей Белый в «Котике Летаеве» пытался вообразить, записать ощущения младенца, даже эмбриона. «Первое «ты — еси» схватывает меня безобразными бредами, и — какими-то стародавними, знакомыми искони; невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение математически точное, что ты — и ты, и не ты, а... какое-то набухание в никуда и ничто, которое все равно не осилить...»



Было бы занимательно для писателя и психолога внедриться в ощущение художника во младенчестве, в эмбрионе. Я назвал бы такое внедрение, будь то повесть или нечто эссеобразное: «Немота». Тут вся боль немоты, несказанности: есть что сказать, но ты безглаголен.

Тридцать лет назад я учился в Литературном институте, посещал семинары Федина, Паустовского. Терзания тех лет хорошо помню — врезались в память навеки. Один из моих товарищей, окончив институт, продолжал там несколько лет работать и однажды сказал мне: «Знаешь, какая разница между студентами нашего времени и нынешними? Мы встречались в коридоре и говорили друг другу: «Я вчера рассказик написал. Давай почитаю?» И тут же на подоконнике — у нас был такой отдаленный подоконник в торце дома — принимались глушить товарищей «рассказиком» страниц на двадцать. А нынешние, встречаясь, говорят: «Я вчера рассказик написал. Как думаешь, куда волочь: в «Огонек» или «Сельскую молодежь?»»

Когда это было рассказано, меня покорило: слишком очевидны благородство и бескорыстие первых, неблагородство и корыстолюбие вторых. Теперь же думаю: чепуха! Нынешние сокращают начало.

Начало лучше всего обрубать. В искусстве тоже. Раскачку — к черту! Когда-то я написал рассказ, который был напечатан в спортивной газете. В одном номере рассказ не поместился, разбили на два. Помню, Арбузов, прочитав второй отрывок и не поняв, что это продолжение, бурно меня хвалил. «Так и надо, Юра: начало немного странное, неожиданное, даже несколько непонятное, — говорил он, — зато, все достоверно. И не нужно ничего объяснять. Вы молодец!» Я не чувствовал себя молодцом. Но отчетливо понял, что начало — то, от чего следует отделяться как можно скорей.

Не топчитесь слишком долго в прихожей, врываются в комнату. Не засиживайтесь в начинающих, которых не существует. Но имейте в виду: дальше легче не станет!

## НЕТ, НЕ О БЫТЕ — О ЖИЗНИ!

Мне не хочется повторяться — хотя я люблю повторяться и считаю, что писатель должен повторяться, если желает, чтобы его идеи дошли до широкого круга читателей, ибо для этого необходимо пробить толстый слой читательской инерции, привычек и, если хотите, равнодушия, надо долбить одно и то же много раз, да, собственно, наши учителя, великие писатели, это и делали и были в чем-то однообразны — но здесь повторяться нет смысла. Всем и так ясно, что литература есть выражение и отражение современной нравственности. И ничего более важного для изучения и описания, чем нравственность, в литературе не существует.

В памяти человечества почти не сохранились — или, может быть, сохранились, но не вызывают большого интереса — описания кораблей Одиссея, их постройки, хода его путешествия, военных предприятий и прочих практических дел, которыми жили герои Гомера, но навсегда отпечаталась нравственная суть Одиссея, его товарищей, его жены Пенелопы. Это оказалось вечным. Всю историю Одиссея и Пенелопы с женихами современные критики назвали бы, вероятно, бытовой. Вообще, Гомера можно было бы очень серьезно критиковать за бытовизм. Чего я делать не собираюсь. Потому что не понимаю, что такое бытовизм. И даже более того — что такое быт.

В русском языке нет, пожалуй, более загадочного, многомерного и непонятного слова. Ну что такое быт? То ли это — какие-то будни, какая-то домашняя повседневность, какая-то колготня у плиты, по магазинам, по прачечным. Химчистки, парикмахерские... Да, это называется бытом. Но и семейная жизнь — тоже быт. Отношения мужа и жены, родителей и детей, родственников дальних и близких друг другу — и это. И рождение

человека, и смерть стариков, и болезни, и свадьбы — тоже быт. И взаимоотношения друзей, товарищей по работе, любовь, ссоры, ревность, зависть — все это тоже быт. Но ведь из этого и состоит жизнь!

Есть термин в литературоведении: бытописание. Это литература, имеющая отношение к очерку, публицистике, к этнографии, географии. Писатели-народники с увлечением писали такого рода очерки о населении отдаленных краев России, о народах Кавказа, о переселенцах. Называлось: «Быт и нравы». Это была дельная, честная литература, которой увлекались так же, как статистикой, потому что то и другое рисовало правдивую картину российской действительности — но какое это имело отношение к повестям о любви Тургенева, писавшего в то же время?

Нам, по-моему, следует словечко «быт» как-то укоротить. Поставить его на место. Иначе будем без конца путаться и недоумевать. Благодаря тому, что оно столь резиновое, столь замечательно неопределенное, оно повторяется множество раз по самым разнообразным поводам — то в виде спокойной информации, а то и как в виде упрека, осуждения и даже насмешки. Объем этого понятия так велик, что включает в себя все или почти все. Им можно обозначить множество различных и самых сложных явлений, которые бывает затруднительно определить нормальным русским языком.

Слово «быт» это какая-то вселенская смазь. То и дело читаешь: «бытовой материал», «бытовые ситуации», а иногда прямо — как в журнале «Москва» была статья: «О некоторых возможностях бытовой литературы».

Да что это еще за литература такая? Ну, есть «бытовая комиссия», «бытовой сектор», «бытовой сифилис»... Но чтоб литература бытовая?

Скажут: «Трифонов наводит тень на ясный день, защищает бытовизм...» А я прошу одного: объясните, что это значит?

Недаром ни в одном языке такого понятия не существует и перевести слово «быт» невозможно. Я видел зарубежные статьи, где слово «быт» давалось без перевода.

Еще одно легендарное, непере译имое русское понятие. В газете «Unita» слово «быт» напечатано латинскими буквами «bit». Иностранцы, по-видимому, сделают вывод, что таинственный «bit» — какая-то особая форма русской жизни.

Расхожее противопоставление «быта» — «бытию» не проясняет дело, ибо смысл первого понятия, я уже говорил, какой-то безразмерный. Допустим, так: «быт» — это жизнь низменная, материальная, а «бытие» — жизнь возвышенная, духовная. Но человек живет одновременно и в той и в другой жизни. Это слитно, это нельзя разъять. Самое низменное, на первый взгляд, является самым возвышенным. И наоборот. Что такое семья? Ячейка общества, как известно из марксизма. Значит, изобразив семью, можно изобразить общество. Изобразив любовь двух людей или смерть человека — можно показать и общество, и государство, и прошлое, и будущее каждого человека в отдельности — как показано, например, в истории смерти человека по имени Иван Ильич.

Я слушал горчайший, я бы сказал, потрясающий список людей, ушедших от нас за последние годы, и думал о том, сколько горя пронеслось над нами, ведь многих из этих людей мы знали близко и бесконечно близко — и вот живем без них, продолжаем заседать, спорить — правильно, жизнь продолжается, — но неужели простое состояние человеческой души, столкнувшейся с горем, надо называть «бытом», «бытовой темой»?

Да это наверняка что-то другое!

Я топчусь на этом так долго, потому что эти вопросы, по-моему, волнуют сейчас многих писателей, и молодых, и средних, и старых. Так называемые произведения «на моральную тему» — это произведения о простой, неприкрашенной, реальной жизни. С осуждением чего-то дурного, с симпатией к хорошему. С картинками, подробными описаниями, со стремлением изобразить знакомых — живых — людей. Книги разного уровня, разной степени выразительности, но написанные с желанием показать достоверную жизнь. Книги Гранина и Слуцкиса, Георгия

Семенова и Залыгина, Семина и Искандера, Крутилина, молодых Василевского, Проханова, Арачкеева.

Можно назвать много других писателей, которые пишут будто бы о быте, на самом деле — о жизни. Вот еще одно лукавое словцо: мещанство. Говорят, мои повести не только «бытовые», но и «мещанские». Тут не понятно, все в кучу: мещанские, антимещанские. Как в анекдоте: или он украл, или у него украли... Словом, что-то вокруг мещанства...

Мещанство, как и быт, признается предметом, пригодным для литературы, но как бы второго сорта. Вроде шить из этого сукна можно, но что-нибудь простенькое, небогатое. И место для мещанства определено заранее: оно гнездится в городе, в хороших квартирах и, конечно, среди интеллигенции. Но разве эгоизм, своекорыстие, стремление к наживе не присущи, например, иным деревенским жителям?

Однако деревенских жителей не называют мещанами. Если отвратительные качества встречаются среди деревенских жителей, то причины их видят одни в кулацких пережитках, а другие — в дурном влиянии города, то есть того же мещанства. Мы пишем о сложной жизни, где все переплетено, о людях, про которых не скажешь, хороши они либо плохи, здоровы или больны, они живые, в них то и это. Как нет абсолютно здоровых людей — это знает каждый врач, так нет и абсолютно хороших — это должен знать каждый писатель.

Мы пишем не о дурных людях, а о дурных качествах. Потому что это должно быть про всех, а не только про злокозненных мещан: это должно быть про читателей, про близких автора, про него самого. Не надо, увидев ярлычок, с облегчением отмахиваться: «А, опять про каких-то мещан! Разоблачают...» Нет, читатель, не про каких-то, а про нас с вами. После того как появилась повесть «Предварительные итоги», меня познакомили с одной женщиной, историком. Она спросила: «Это вы написали «Предварительные итоги»? Зачем вы это сделали? Ведь неприятно читать!» Я обрадовался: «Правда?» «Ну, конечно, — сказала она. — Очень!» Я объяснил, что к этому и стремился: чтоб было неприятно читать.

Мы делаем одно общее дело. Советская литература это громадная стройка, в которой участвуют разные и непохожие друг на друга писатели. Из наших усилий создается целое. Между тем критика подчас требует такой цельности, такой универсальности от каждого произведения, будто каждое произведение должно быть энциклопедией. Неким универсамом, где можно достать все. «Почему здесь нет этого? Почему не отражено то-то?» Но, во-первых, это невозможно. Во-вторых — не нужно. Пусть критики научатся видеть то, что есть, а не то, чего нет. Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением: они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть.

Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую, а они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды.

Между прочим, критики такого рода есть не только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься: вот уж поистине умение видеть *то, чего нет!*

В словосочетании «нравственные искания» мне кажется особенно важным слово «искания». Ибо искать значит находиться в движении. Значит — еще не все найдено, не все совершенно и не все ясно. Из некоторых статей кажется, что мы достигли литературного рая. Но ведь это катастрофа, ибо из рая никуда не надо двигаться.

В русской литературе было движение дальше и после Пушкина, и после Достоевского, и после Чехова, будет оно и после нас, разумеется. До конечной станции еще не доехали, мы находимся на каком-то длинном перегоне, и это ощущение — по-моему, самое трезвое и самое плодотворное, помогающее искать и двигаться дальше...

# СОДЕРЖАНИЕ

## РАССКАЗЫ

Вера и Зойка	8
Голубиная гибель	26
В грибную осень	39
Путешествие	54

## ПОВЕСТИ

Обмен	60
Другая жизнь	125
Дом на набережной	285
Опрокинутый дом	434

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. <i>Роман</i>	490
----------------------------	-----

## ВОСПОМИНАНИЯ, ЭССЕ

Записки соседа	658
Начало	740
Нет, не о быте — о жизни!	745

**Юрий Валентинович  
ТРИФОНОВ**

**Рассказы  
Повести  
Роман  
Воспоминания  
Эссе**

**Редактор С. Семухина  
Технический редактор  
Т. Шабурова  
Корректор М. Попова  
Компьютерная верстка  
А. Кайсин**

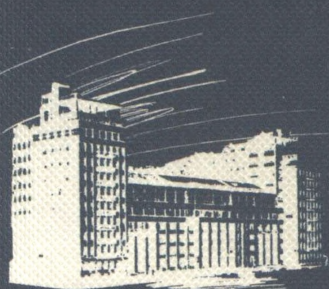


Лицензия ЛР 064283 от 08.11.95

Подписано в печать 19.10.99. Формат 84x108  $\frac{1}{32}$ .  
Гарнитура «NewtonСТТ». Печать офсетная. Бумага офсетная  
Усл. печ. л. 39,48.  
Тираж 15 000 экз. (1-й завод: 1—6500)  
Заказ № 468

ООО «У-Фактория»  
620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 77

Отпечатано с готовых оригинал-макетов  
в ФГУИПП «Уральский рабочий»  
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13



РАССКАЗЫ

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ  
и другие повести

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ  
роман

ЗАПИСКИ СОСЕДА  
Воспоминания